

П.И. МЕЛЬНИКОВ
/АНДРЕЙ ПЕЧЕРСКИЙ/

В ЛЕСАХ









Digitized by the Internet Archive
in 2023

П.И. МЕЛЬНИКОВ
/АНДРЕЙ ПЕЧЕРСКИЙ/

В ЛЕСАХ

A large, ornate decorative element featuring stylized flowers and swirling foliage, positioned below the title 'В ЛЕСАХ'.

В ДВУХ КНИГАХ
КНИГА ВТОРАЯ

ББК Р1
М48

Художники А. Жестарев, К. Васильев

Мельников П. И. (Андрей Печерский)

М 48 В лесах. В 2-х книгах. Книга 2. — Фирма «Фора», Иваново, 1994. — 576 с.

ISBN 5-87179-045-3

© Художественное оформление,
Фирма «Фора», 1994

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ







Глава первая



Весенние гулянки по селам и деревням начинаются с качелей Святой недели и с радуничьих хороводов. Они тянутся вплоть до Петрова розговенья. На тех гулянках водят хороводы обрядные, поют песни заветные — то останки старинных праздников, что справляли наши предки во славу своих развеселых богов.

По чистому всполью, по зеленым рощам, по берегам речек всю весну молодежь празднует веселому Яр-Хмелю, богу сердечных утех и любовной сласти... То-то веселья, то-то забав!.. Милованью да затейным играм конца нет...

До солнечного восхода раздаются звонкие песни и топот удалых плясок на тех праздниках... Кроме дней обрядных, лишь только выдастся ясный тихий вечер, молодежь, забыв усталость дневной работы, не помышляя о завтрашнем труде, резво бежит веселой гурьбой на урочное место и до свету водит там хороводы, громко припевая, как «Вокруг города Царева ходил-гулял царев сын королев», как «В Арзамасе на украше собирались молодушки в един круг», как «Ехал пан от князя пьян» и как «Селезень по реченьке сплавливал, свои сизые крылышки складывал»... Слышатся в тех песнях помины про Дунай-реку, про тихий Дон, про глубокие омуты днепровские, про широкое раздолье Волги-матушки, про московскую реку Сомородину... Лебеди белые, соколы ясные, вольная птица журинька, кусты ракитовые, мурава зеленая, цветы лазоревые, духи малиновые, мосты калиновые, — одни за другими вспо-

минаются в тех величавых, сановитых песнях, что могли вылиться только из души русского человека на его безграничных, раздольных, от моря до моря раскинувшихся равнинах.

Не успели оглянуться после Радуницы, как реки в берега вошли и наступило пролетье... Еще день-два миновало, и прикатил теплый Микула с кормом¹. Где хлеба довольно в закромах уцелело, там к Микулину дню брагу варят, медá ставят, братчину-микульщину справляют, но таких мест немного. Вешнему Микуле за чарой вина больше празднуют.

В лесах на севере в тот день первый оратай русской земли вспоминался, любимый сын Матери Сырой Земли, богатырь, крестьянством излюбленный, Микула Селянинович, с его сошкой дорога́ чёрна дерева, с его гужиками шелковыми, с омешиком² серебряным, с присошками красна золота.

Микулу больше всего смерд³ чествовал... Ему, поильцу, ему, милостивому кормильцу, и честнее и чаще справлял он праздники... Ему в почесть бывали пиры-столованья на братчинах-микульщинах⁴.

В день Микулы с кормом, после пиров-столований у богатых мужиков, заволжски ребята с лошадьми всю ночь в поле празднуют... Тогда-то в ночной тишине раздаются громкие микульские песни... Ими приветствуют наступающий день именин Матери Сырой Земли.

Микула свет, с милостью
Приходи к нам, с радостью,
С великою благостью!

¹ 9 мая, когда поля совсем покрываются травой — кормом для скота.

² Омёжь — сошник, лёмех — часть сохи. Присошек то же, что полица — железная лопаточка у сохи, служащая для отвала земли.

³ Крестьянин, земледелец.

⁴ Как почитанье Грома Гремучего при введении христианства перенесли у нас на почитанье Ильи Громовника, а почитанье Волоса, скотьего бога, — на святого Власия, так и чествованье оратая Микулы Селяниныча перевели на христианского святого — Николая Чудотворца. Оттого-то на Руси всего больше Николе Милостивому и празднуют. Весенний праздник Николаю Чудотворцу, которого нет у греков, заимствован был русскими у латинян, чтоб приурочить его к празднику Матери Сырой Земли, что любит «Микулу и род его». Празднество Микуле совпадало с именинами Матери-Земли. И до сих пор два народных праздника рядом сходятся: первый день «Микулы с кормом» (9 мая), другой день (10 мая) «именины Матери Сырой Земли».

Держимся за сошку,
За кривую ножку...
Мать Сыра Земля добра,
Уроди нам хлеба,

Лошадушкам овсеца,
Коровушкам травки!..

Минул праздник Микулы, минули именины Матери Сырой Земли, с первым сбором целебных зелий и с зилотовыми хороводами¹. Глядь, честной Семик на дворе — завиванье венков, задушные поминки. В тот день под вечер, одни, без молодцев, собираются девушки. Надев зеленые венки на головы, уходят они с песнями на всполье и там под ракитовым кустом стряпают «сборну яичницу», припевая семицкие песни. Завив венки, целуются через них и «кумятся» при звонких веселых песнях:

Покумимся, кума, покумимся,
Мы семицкою березкой покумимся.
Ой Дид Ладо! Честному Семику.
Ой Дид Ладо! Березке моей,
Еще кумушке да голубушке!
Покумимся,
Покумимся,
Не сваряся, не браняся!
Ой Дид Ладо! Березка моя!

Тут же и «кукушку крестят». Для того, нагнув две молодые березки, связывают верхушки их платками, полотенцами или лентами и вешают на них два крестательника². Под березками расстилают платки, кладут на них сделанную из кукушкиных слезок³ птичку, и, надев на нее крест, попарно девушка с девушкой ходят друг другу навстречу вокруг березок, припевая:

Ты, кукушка ряба,
Ты кому же кума?
Покумимся, кумушка,
Покумимся, голубушка,
Чтобы жить нам, не браниться,
Чтоб друг с дружкой не свариться.

¹ Зилотовы хороводы справляются в день, когда «Земля именинница», 10 мая. В тот день церковь празднует апостолу Симону Зилоту. Оттого хороводы и зовутся зилотовыми.

² Тельник — крест, носимый на шее.

³ Растение *Orchis maculata*.

С тех пор семицкие кумушки живут душа в душу целых три дня, вплоть до Троицы. Случается, однако, что долгий язычок и до этого короткого срока остужает семицкое кумовство... Недаром говорится пословица: «Кукушку кстили, да языка не прикусили».

А чрез день от честного Семика — «Клечальна суббота»... В тот день рубят березки, в домах и по улицам их расставляют ради Троицы, а вечером после всенощной молодежь ходит к рекам и озерам русалок гонять. Всю семицку неделю, что слывет в народе «зелеными святками», шаловливые водяницы рыщут по полям, катаются по зеленой ржи, качаются на деревьях, залучая неосторожных путников, чтоб защекотать их до смерти и увлечь за собой в подводное царство дедушки Водяного. Всю троицкую ночь с березками в руках молодые парни и девушки резво и весело, с громким смехом, с радостными кликами бегают по полям, гоняя русалок, а на солнечном восходе все вместе купаются в водах, уже безопасных от ухищрений лукавых водяниц... На Троицу у молодежи хороводы, на Троицу развиванье семицких венков, пусканье их на воду и гаданье на них... А у степенных женщин и старушек на тот день свои заботы — идут они на кладбища и цветными пучками, что держали в руках за вечерней, прочищают они глазыньки родителям¹.

И так день за день, неделя за неделей, вплоть до Петрова дня... Что ни день, то веселье, что ни вечер, то «гулянка» с песнями, с играми, с хороводами и гаданьями... Развеселое время!..

В скитах гулянкам места нет... То бесовские коби, твердят старицы белицам, от Бога они отводят, к бесам же на пагубу приводят. То сатанино замышление, враг божий тем позорам людей научил, да погубит их в вечной муке, в геенне огненной... Имели скиты влияние на окрестные деревни — и там водят хороводы не так часто, не так обрядно и не так весело, как в других местах России. Молоды ребята больше играют в городки²,

¹ Пучками цветов или березками обметают они могилы. Это и называется «*прочищать глаза у родителей*».

² *Городки*, иначе *чушки*, *рюхи* — игра. Ставят ряд чурок и сбивают их издали палками.

а девушки с молодницами сидят перед ними на завалинах домов и редко-редко сбегутся вместе за околицу песенок попеть да походить в хороводах вялой, неспешной поступью... Зато другие за Волгой забавы есть: катанья в ботниках¹ по вешним разливам с песнями, а часто и с ружейной пальбой, веселые гулянки по лесам и вечерние посидки на берегах речек... Опречь того, есть еще особый род сходбищ молодежи, только заволжским лесам и свойственный.

В лесах Керженских, Чернораменских скиты стоят издавна, почти с самого начала церковного русского раскола. Одни еще по смерти своих основателей обезлюдели; другие уничтожены по время «Питиримова разоренья»². На местах запустелых скитов остались гробницы старцев и стариц. Некоторые из них почитаются святыми. К этим-то гробницам и сходятся летом в известные дни на поклоненье. Матери-келейницы служат там «каноны за единоумершего» и поставляют прихожим богомольцам привезенную с собой трапезу. Оттого охотников до богомолий на гробницах всегда бывает довольно. Под полами приносят они и штофы с вином, и балалайки, и гудки, и гармоники. Только что кончится трапеза, вблизи гробницы на какой-нибудь поляне или в перелеске гульба начинается, и при этой гульбе как ни бьются, как ни хлопочут матери-келейницы, а какая-нибудь полногрудая белица уж непременно сбежит к деревенским парням на звуки тульской гармоники.

Такие сборища бывают на могиле старца Арсения, пришедшего из Соловков вслед за шедшей по облакам Шарпанской иконой Богородицы; на могиле старца Ефрема из рода смоленских дворян Потемкиных; на пепле Варлаама, огнем сожженного; на гробницах многоучительной матушки Голиндухи, матери Маргариты одинцовской, отца Никандрия, пустытника Илии, добрым подвигом подвизавшейся матери Фотинии, прозорливой старицы Феклы; а также на урочище «Смольянах», где лежит двенадцать гранитных необделанных камней над двенадцатью попами, не восхотев-

¹ Маленькая лодка, выдолбленная из одного дерева.

² *Питирум* — архиепископ нижегородский (1719—1738), известный своими действиями против раскола в заволжских лесах.

шими Никоновых новин прияти¹. Но самое главное, самое многолюдное сборище бывает в Духов день на могиле известного в истории раскола старца Софонтия. Его гробница в лесу неподалеку от деревни Деянова.

Мать Манефа была очень довольна троицкой службой, отправленной в ее часовне. От согласного пения обученных Васильем Борисычем певиц пришла она в такое умиление, что не знала, как и благодарить московского посла. Осталась довольна и убранством часовни, в чем Василий Борисыч также принимал участие. Он расставлял вокруг аналогия цветы, присланные от Марьи Гавриловны, он украшал иконы, он густыми рядами расставлял березки вдоль часовенных стен... Как было удержаться московскому певуну от таких хлопот, когда тут были все пригожие белицы, весь правый клирос Марьюшкин, а в том числе и полногрудая, румяная смуглянка Устинья Московская?..

— Уж как же я вами благодарна², Василий Борисыч, — говорила Манефа, сидя после службы с московским посланником за чайным столом. — Истинно утешил, друг... Точно будто я на Иргизе стояла!.. Ангелоподобное пение!.. Изрядное осмогласие!.. Дай тебе, Господи, доброго здоровья и души спасения, что обучил ты девиц моих столь красному пению... Уж так я много довольна тобой, Василий Борисыч, уж так много довольна, что рассказать тебе не умею.

— Таких певиц, какие у вас, матушка, подобраны,

¹ Гробница Арсения находится в лесу, недалеко от уничтоженного в 1853 году Шарпанского скита, близ деревни Ларионова. Могила Ефрема Потемкина — в тех же местах, близ деревни Зименок. Место, где сгорел Варлаам, показывают в Полóмском лесу, вблизи скитов Улангера и Фундрикова. Могила Голиндухи, современницы Софонтия и противницы Онуфрия (в последних годах XVII и в начале XVIII столетий), указывают в лесу, между скитами Комаровым и Улангером. Мать Маргарита Одинцовская схоронена близ бывшего скита Одинцовского, в лесу, недалеко от деревни Астафьевой; отец Никандрей — неподалеку от села Пафнутова и деревни Песочной. Пустынный Илия и мать Фекла — в лесу, близ Фундрикова скита; мать Фотиния — в лесу, неподалеку от гробницы Голиндухиной. «Смоляны» — место скита, основанного дворянами, выходцами из Смоленска Потемкиными, из Москвы Салтыковым, из Пошехонья Токмачевым и другими, находится в лесу, близ Шарпана и деревни Малого Зиновьева. Все эти места в Семеновском уезде Нижегородской губернии.

² В лесах за Волгой говорят: «благодарен вами», вместо «благодарю вас» и т.п.

обучать дело не мудрое, — с скромным и ласкающим выраженьем в лице ответил Василий Борисыч. — Хороши певичы в Оленеве, а до ваших далеко им...

— Вы это только одни приятные для нас слова говорить хотите, а сами вовсе не то думаете, — с лукавой усмешкой вступилась Фленушка. — Куда нашим девицам до Анны Сергевны, либо до Олимпиады, али до Груни келарной в Анфисиной обители!

— И те певичы хорошие — охаять нельзя, — молвил Василий Борисыч, обращаясь к Манефе. — Зато в певчей стае Анфисиных нет такой согласности, как у вас, матушка.

— Кланяйся, Марьюшка, благодари учителя, — засмеялась Фленушка вошедшей на ту пору головщице. — Тебе честь приписывают, твоему клиросу.

Марья головщица быстро взглянула на Василья Борисыча, едва заметно пересмеялась с Фленушкой и потупила глаза как ни в чем не бывало.

— Да, надо благодарить учителя, беспреренно надо, — говорила Манефа. — Ты бы вот, Фленушка, бисерну лестовку вынизала Василью-то Борисычу, а ты бы, Марьюшка, подручник ему шерстями да синелью вышила, а тебе бы, Устинья, поясок ему выткать хорошенький.

— Ох!.. Искушение!.. Напрасно это вы, матушка, — молвил Василий Борисыч.

— За труды, друг, за труды, — сказала Манефа. — Без того нельзя. У нас в лесах не водится, чтоб добрых людей оставлять без благодарности. Уж это как ты себе хочешь, а поминок от учениц прими, не побрезгуй их малым приношением... Эх, как бы ты у меня, Василий Борисыч, всех бы девиц перепробовал, да которые из них будут способны, ту бы хорошенько и обучил. Вот уж истинно благодяние ты бы нашей обители сделал!.. Ну, да спасибо и за то, что над этими потрудился. Узрим плоды трудов твоих, навеки останемся благодарны.

— Какие же труды мои, матушка? — с смиренной улыбкой говорил на то Василий Борисыч. — Никаких мне трудов тут не было. Самому приятно было... Не за что мне подарков приносить.

— Со своим уставом в чужой монастырь, Василий Борисыч, не ходят, — отвечала Манефа. — Со вторника за работу, девицы.

— Искушение! — проговорил Василий Борисыч и молча допил простывшую перед ним чашку чая.

— А ты уж, Василий Борисыч, хоть сердись на меня, хоть не сердись; а я тебя из обители скоро не выпущу, — после недолгого молчания сказала Манефа. — По тому делу, по которому послан ты, обсылалась я с матерями, и по той обсылке на Петров день будет у нас собрание. Окроме здешних матерей, Оленевски ко мне приедут, из Улангера тоже, из Шарпана, из других скитов кое-кто. Из Городца обещали быть и с Гор...¹ Мы пособорует, а ты при нас побудь — дело-то тебе и будет виднее. На чем положим, с тем в Москву тебя и отпустим.

— Право, не знаю, матушка, что и сказать вам на это, — ответил Василий Борисыч. — Больно бы пора уж мне в Москву-то. Там тоже на Петров день собрание думали делать... Поди, чать, заждались меня... Шутка ли! Больше десяти недель, как из дому выехал.

— Да что у тебя дома-то?.. Малы дети, что ли, плачут? Отчего не погостить?.. Не попусту живешь... Поживи, потрудишься, умирения ради покоя христианского, — сказала Манефа.

— Ох, искушение! — со вздохом проговорил Василий Борисыч. — Боюсь, матушка, гнева бы на себя не навести... И то на Вознесенье от Петра Спиридоныча письмо получил — выговаривает и много журит, что долго замешкался... В Москве, отписывает, много дела есть... Сами посудите, — могу ли я?

— Завтра же напишу Петру Спиридонычу, — перебила Манефа. — И к Гусевым напишу, и к матушке Пульхерии. Ихнего гнева бояться тебе нечего — весь на себя сниму.

— Искушение!.. — со вздохом молвил Василий Борисыч. — Опасаюсь, матушка, вот как перед истинным Христом, опасаюсь.

— Ин вот что сделаем, — сказала Манефа, — отпишу я Петру Спиридонычу, оставил бы он тебя в скитах до конца собраний и ответил бы мне бесприменно с первой же почтой... Каков ответ получим, таково и сотворим. Велит ехать — часу не задержу, остаться велит — оставайся... Ладно ли так-то будет?

— Нечего делать, — пожав плечами, ответил Васи-

¹ То есть с правого берега Волги.

лий Борисыч и будто случайно кинул задорный взор на Устинью Московку. А у той во время разговора московского посла с игуменьей лицо не раз багрецом подергивало. Чтобы скрыть смущенье, то и дело наклонялась она над скамьей, поставленной у перегородки, и мешкотно поправляла съехавшие с места полавошники.

— А тем временем мы работы для подаренья Василью Борисычу кончим, — молвила Фленушка.

— А вы на то не надейтесь, работайте без лени да без волокиты, — молвила Манефа. — Не долго спите, не долго лежите, вставайте поране, ложитесь попозже, дело и станет спориться. На ваши работы долгого времени не требуется, недели в полторы можете все исправить, коли лениться не станете... Переходи ты, Устинья, в келью ко мне, у Фленушки в горницах будете вместе работать, а спать тебе в светелке над стряпущей... Чать, не забоишься одна?.. Не то Минодоре велю ложиться с тобой.

Радостью глазки у Василия Борисыча сверкнули. Та светелка рядом была с задней кельей, куда его поместили. Чуть-чуть было он вслух не брякнул своего: «искушенье!»... А Устинья застенчиво поднесла к губам конец передника и тихо промолвила:

— Чего ж, матушка, бояться во святой обители?

— Скажи матери Ларисе — указала я быть тебе при мне, — сказала Манефа. — Сегодня же перебирайся.

До земли поклонилась Устинья Московка игуменье. Честь великая, всякой белице завидная — у игуменьи под крылышком жить.

— А я бы, матушка, если благословите, сегоднѣ же под вечерок в путь бы снарядился! — молвил Василий Борисыч.

— Куда Бог несет? — спросила Манефа.

— Имею усердие отцу Софонтию поклониться, — ответил Василий Борисыч. — Завтра, сказывают, на его гробнице поминовение будет, так мне бы оченно желательно там побывать.

— Доброе дело, Василий Борисыч, доброе дело, — одобряла московского посланника Манефа. — Побывай на гробнице, помяни отца Софонтия, помолись у честных мощей его... Великий был радетьель древлего благочестия!.. От уст его богоданная благодать яко светолучная заря на Кёрженце и по всему христианству

воссияла, из рода в род славна́ память его!.. Читывали ты житие-то отца Софонтия?

— Не приводилось, матушка, — ответил Василий Борисыч. — Очень оно редкостно... Сколько книг ни прочел, сколько «сборников» да «цветников» на веку своем ни видал, ни в одном Софонтиева жития не попадалось.

— *Сказание о житии и жизни преподобного отца нашего Софонтия и отчасти чудес его* точно что редкостно; мало где найдется его, — молвила Манефа. — Ты послушай-ка, вот я расскажу тебе про него, про нашего керженского угодника, про скитского молитвенника преподобного и богоносного отца нашего Софонтия... Был священноиноком в Соловецкой киновии, крещение имел старое, до патриарха Никона, хиротонию же новую, от новгородского Питирима... Пришел отец Софонтий в здешние страны и поставил невеликий скиток неподалеку от Деянова починка, в лесу. Первый он был в здешних лесах священник новой хиротонии... С него и зачалось «бегствующее» от великороссийской церкви священство... А до пришествия Софонтиева на Керженец, на Смольянах, у бояр Потемкиных да у Салтыкова, жил черный поп Дионисий Шуйский, пребывая в великом подвизе, да Трифилий иерей, пришедый из Вологды, да черный поп Сергей из Ярославля... И те отцы старого рукоположенья соборне прияли отца Софонтия... И жил отец Софонтий в здешних лесах немалое время, право правящее слово истины... Церковные обычаи утвердил, смущения и бури на церковь Божию, от Онуфрия воздвигнутые, утишил, увещающе возмутителей и приводяще им во свидетельство соборные правила... Подвиги же его духовные и труды телеснии кто исповесть?.. И по многих подвизах течение сверши — ко Господу отыде... И честные мощи его нетленны и целокупны во благоухании святыни почивают... Великие исцеления подают с верою к ним притекающим... И в том все христиане в наших лесах уверены довольно.

— Сказывали, матушка, про отца Софонтия, что людей он жигал. Правда ли это? — спросил Василий Борисыч.

Нахмурилась Манефа, взглянув на совопросника.

— Не нам судить о том, — строго сказала она. — Нам ли испытывать дела отец преподобных?.. Это с то-

го больше взяли, что отец Софонтий священноинока Варлаама с братиею благословил в келии сгорети... А смутьяны Онуфриева скита в вину ему то поставили, на Ветку жалобны грамоты о том писали, а с Ветки отца Софонтия корили, обличить же не обличили... А хотя бы и вправду людей он жигал?.. Блажен извол о Господе!.. Это нынешним слабым людям, прелестию мира смущенным, стало на удивление, а прежним ревнителям древлего благочестия было за всеобдержный обычай... Оттого-то теперешни люди не токмо дивуются, но хулят даже сожжение грешныя плоти небесного ради царствия... Крепости прежней не стало, по бозе ревности нет — оттого и хулят... Не читал разве, что огненное страдание угашает силу огня геенского?..

— Читать-то читал, матушка, — потупясь, ответил Василий Борисыч. — Как не читать?.. А что ж это вы про отца Варлаама помянули? — спросил он Манефу, видимо желая отклонить разговор на другое. — Про него я что-то не слыхивал.

— Из здешних же отцов был, из керженских, — сказала Манефа. — Жил в пустынной келье с тремя учениками... В Полѳомском лесу недалеко от Улангера, на речке на Кѳзленце, келья у него была. До сих пор благочестивые люди туда сходятся поклониться святому пеплу Христа ради сожженных... Пришел Варлаам в здешние леса из Соли-Галицкой, а в Соли-Галицкой был он до того приходским попом в никонианской церкви. Познав же истину, покинул тамошний град и паству свою, хотя пустыню лобызати и в предании святоотеческом пребыть... Принят же был от отца Софонтия вторым чином, пострижения иноческого от руки его сподобился и, живя безысходно в келии, все священные действия над приходящими совершал. Много душевным голодом томимых, много спасенья жаждущих в пустыню к нему притекало, он же, исправляя¹ их, причащал старым запасом², что от лет патриарха Иосифа был сохранен. Книг же имея довольно, отовсюду собираше правоверных на книгоучение, утверждая их в древнем благоверии. Уведали о том мирские галицкие начальники и послали ратных людей со всеоружием и огненным боем изыскать отца Варлаама

¹ Исповедуя.

² Запасные дары.

и учеников его... И более шести недель ходили ратные люди по лесам и болотам, ищучи жительства преподобного. Он же, божественным покровом прикровен, избежа рук мучителей... Тогда изыде Варлаам из пустыни и прииде к отцу Софонтию совета ради, что сотворити при таковом тесном обстоянии... И много беседоваху преподобные отцы от Святого Писания и всю ночь пребыли в молитвах и псалмопениях. И благословил пречестный отец Софонтий того пустынножителя Варлаама огненною смертию живот свой скончати, аще приидут к нему ратные люди, лести же их отнюдь не послушат... Тако поучал Варлаама блаженный Софонтий златоструйными своими усты: «Не бойся, отче Варлааме, сего временного огня, помышляй же о том, како бы вечного избежать... Малое время в земном пламени потерпети, вечного же царствия достигнути!.. Недолго страдати — аки оком мигнуть, так душа из тела выступит... Егда же вступишь во огонь, самого Христа узришь и ангельские силы с ним. Емлют они, ангелы, души из телес горящих и приносят их к самому Христу, царю небесному, а он, свет, их благословляет и силу им божественную подает... Чего бояться огня?.. Гряди с мучениками во блаженный чин, со апостолы в полк, со святители в лик!..» И тако довольно поучи Варлаама и благослови его идти в пустынную келию на сожжение... На утрие же ратные люди обретоша келию и восхотеша яти отца Варлаама со ученики его... Они же, замкнув келию, зажглися... И ужаснулись ратные, видя такое дерзновение... Лестию пытали самовольных Христовых мучеников из запаленной келии вызвать, обещая учинить их во всем свободны... Они же не смутишася... Аки отроцы вавилонстии в печи горящей, тако и они в келии зажженной стояли и среди пламени и жупела псалом воспевали: «Изведи из темницы душу мою, — мене ждут праведницы!..» И тако сгорели телесами... Души же блаженных страстотерпцев, аки злато в горниле очищенное, ангелы Божии взяху и в небеса ко Христу царю понесли... Господь же благослови жертву сию чисту и непорочну...

— Невдалеке от Улангера то место, говорите вы, матушка? — погодя немного, спросил Василий Борисыч.

— Лесной тропой вряд ли пять верст наберется, — ответила Манефа. — В том же лесу учительной матери

Голиндухи гробница. И к ней богомольцев много приходит.

— Знать то место, где сожглись? — спросил Василий Борисыч.

— Признаку теперь не осталось, ведь больше полтора ста годов после того прошло! — ответила Манефа. — Малая полянка в лесу, старый голубец¹ на ней стоит, а возле четыре высоких креста... Вот и все... От жилья удалено, место пусто, чему там быть?.. Лет восемьдесят или больше тому еще находили угольки от сожженной Варлаамовой кельи. А ныне и того нет — все разобрано правочерными... По обителям те Варлаамовы уголки сохраняются... И у нас в обители есть такие уголки... Воду с них болящим даем, и по вере пьющих целения бывают.

— Дивные у вас, матушка, места по лесам, — с умилением молвил Василий Борисыч. — Ваши пустыни, яко книги, проповедают силу Божию, явленную во святых его угольниках.

— Дивен Бог во святых его!.. — набожно сказала Манефа, опуская очи. — Люди мы, Василий Борисыч, простые, живем не ради славы, а того только испытуем, како бы вечное спасение восхитити. Потому бумаге и чернилам повести о наших преподобных не предаем... Токмо в памяти, яко в книге, златом начертанной, храним добропобедные подвиги их... Поживи с нами, испытай пустынные наши места — возвестят они тебе славу Божию, в преподобных отцах явленную... Много святопочитаемых мест по лесам Керженским и Чернораменским... Яко крин, процветала пустыня наша, много в ней благодати было явлено... А теперь всему приходит конец!.. — с тяжелым вздохом прибавила Манефа и поникла головой.

Все молчали.

— Благословите же, матушка, — прервал молчание Василий Борисыч. — После бы трапезы отправился я к отцу Софонтию — утрению там ведь с солнечным восходом зачинают... Надо поспеть...

— Поспеешь, друг, поспеешь, — сказала Манефа. — Нешто я тебя пеша пущу?.. Обвечерее, вслю подводу

¹ Могильный памятник, состоящий из деревянного сруба с кровлей на два ската и с крестом на ее середине. Прежде в лесных сторонах ставили их на кладбищах; теперь они запрещены.

сготовить, к свету-то доедешь — ночи теперь светлые!.. На Ларионово поезжай, напрямиком... Дорога благо́, зато недалеко... Пятнадцать верст, больше не наберется.

— Из вашего послушания, матушка, выйти не могу, — ответил Василий Борисыч. — Может, из обительских кто поедет? — спросил он.

— Как не поехать?.. Поедут, — молвила Манефа. — Завтра увидишь, как у нас память отца Софонтия справляют: сначала утреню соборне поем, потом часы правим и канон за единоумершего... А после соборного канона особные зачнут петь по очереди от каждой обители, из которой приедут старицы... Прежде сама я каждый год к отцу Софонтию езжала, ноне не могу, опять боюсь слечь... Аркадию пошлю, уставщицу, у нее же сродственники в Деянове есть, оно и кстати. И тебе с нею будет где пристать... Успокойшься там после службы-то... Служба будет долгая и ранняя.

— И нас бы, матушка, с Марыюшкой да с Устиньей пустила, — молвила Фленушка, обращаясь к Манефе.

— Без себя не пущу... Бед натворите, — строго ответила Манефа.

— Никаких бед не натворим, — подхватила Фленушка. — Как только отпоем канон, прямо в Деяново.

— И не поминай, — сказала Манефа. — Тут, Василий Борисыч, немало греха и суеты бывает, — прибавила она, обращаясь к московскому гостю. — С раннего утра на гробницу деревенских много найдет, из городу тоже наедут, всего ведь только пять верст до городу-то... Игрища пойдут, песни, сопели, гудки... Из ружей стрельбу зачнут... А что под вечер творится — о том не леть и глаголати.

— Да ведь мы бы с матушкой Аркадией... — завела было опять Фленушка.

— Углядеть ей за вами!.. Как же!.. — возразила Манефа. — Устинюшка!

Из-за перегородки выглянула Устинья Московка.

— Молви Дементью, подводы готовил бы к отцу Софонтию ехать, — стала приказывать Манефа. — Гнедка с соловенькой в мою кибитку, сам бы Дементий вез — Василий Борисыч в той кибитке с Аркадией поедет. А сивую с буланой в Никанорину повозку заложить... Править Меркулу — а кому в той повозке сидеть, после скажу... Аркадии накажи, перед солнеч-

ным заходом зашла ко мне бы... Виринеюшке молви, канун бы сготовила да путную трапезу человек на десяток... Матери Таифе скажи — поминок сготовила бы деяновскому сроднику Аркадии, обночуют, может статься, у него. Мучки пшеничной полмешка припасла бы, овса четверть да соленой рыбы сколько придется, пряников да орехов ребятишкам, хозяйке новину... Да чтоб Аркадия ладану взять не забыла да свеч. А кацею брала бы из стареньких, нову-то не поломать бы дорогой... Бутыль взяла бы побольше на воду из кладезя, а того бы лучше бочонок недержанный — бутыль-то разбиться может дорогой... Прикажи, чтоб должным порядком все было... Ступай.

Сотворив перед игуменьей метания, вышла Устинья Московка.

— А воротишься от Софонтия, — молвила Манефа Василью Борисычу, — на пепел отца Варлаама съезди да заодно уж и к матери Голиндухе. Сборища там бывают невеликие, соблазнов от мирских человек не увидишь — место прикровенное.

В это время отворилась дверь и вошла в келью казначея Таифа. Положив уставной семипоклонный начал и сотворив метания, подала она игуменье письмо и сказала:

— Канон Елфимовский привез. В город ездил, там ему Осмушников Семен Иваныч отдал.

Молча распечатала Манефа письмо, посмотрела в него и молвила:

— От Дрябиных из Питера.

— От Дрябиных? — спросил Василий Борисыч. — Вы с ними тоже в знакомстве, матушка?

— Благодетели, — ответила Манефа. — Дрябины давно нашей обители знаемы, еще ихни родители с покойницей матушкой Екатериной знакомство водили. Когда нашим старицам в Питере случается бывать, за всегда пристают у Никиты Васильича.

— Ведь они с Громовыми были первыми затейщиками австрийства, — сказал Василий Борисыч.

— Знаю, — ответила Манефа. — Они же ведь и в сродстве меж собой. Дочка Никиты Васильича, Акулина Никитишна, за Громова выдана.

— Так точно, — подтвердил Василий Борисыч.

— По родству у них и дела за едино, — сказала Манефа. — Нам не то дорого, что Громовы с Дрябиными

да с вашими москвичами епископство устроили, а то, что к знатым вельможам вхожи, и какие бы по старообрядству дела ни были, все до капельки знают... Самим Грозовым писать про те дела невозможно, опаску держат, так они все через Дрябиных... Поди, и тут о чем-нибудь извещают... Читай-ка, Фленушка.

Манефа подала ей письмо, и та начала:

— «Пречестной матушке Манефе о еже во Христе с сестрами землекасательное поклонение. При сем просим покорнейше вашу святыню не оставить нас своими молитвами ко Господу, да еже управити путь наш ко спасению и некосно поминати о здравии Никиты, Анны, Илии, Георгия, Александры и Акилины и сродников их, а родителей наших по имеющемуся у вас помяннику беспереводно. Гостила у нас на святой Пасхе старица Милитина из ваших мест, из Фундрикова скита, а сама родом она валдайская. И сказывала нам матушка Милитина, что вам, пречестная матушка Манефа, тяжкая болезнь приключилась, но, Господу помогающе, исцеление получили. И мы со всеми нашими домашними и знаемыми много тому порадовались и благодарили Господа, оздравевшего столь пресветлосияющую во благочестии нашу матушку, крепкую молитвенницу о душах наших. При сем, матушка, с превеликим прискорбием возвещаем вам, что известный вам человек в прошедший вторник находился во едином месте и доподлинно узнал о бурях и напастях, хотящих на все ваши жительства восстати. И та опасность не малая, а отвратить ее ничем не предвидится. Велено по самой скорости шо шле лтики послать, чтоб их ониласи и шель памоц разобрать и которы но мешифии не приписаны, тех бы шоп шылсак...»¹

¹ Это так называемая «тарабарская грамота», бывшая в употреблении еще в XVII веке и ранее. Некогда она служила дипломатической шифровкой, теперь употребляется только старообрядцами в их тайной переписке. Пишут согласные буквы русской азбуки в таком порядке

б, в, г, д, ж, з, к, л, м, н,

щ, ш, ч, ц, ф, т, с, р, п

и употребляют б, вместо щ, щ вместо б и т. д. По этой тайнописи в письме к Манефе было написано: «Велено по самой скорости во все скиты послать, чтобы их описать и весь народ разобрать, и которы по ревизии не приписаны, тех бы вон выслать». Кроме этой, самой употребительной, тайнозаписи, у старообрядцев есть еще несколько других.

— Подай, — прервала Манефа. — Сама разберу... О Господи, владыко многомилостивый! — промолвила она с глубоким вздохом, поднимая глаза на иконы. — Разумеешь, друг, тайнописание? — обратилась она к Василию Борисычу.

— Маленько разумею, матушка, — ответил он.

— Понял? — спросила Манефа.

— Понял.

— Чем бы вот с Софронами-то вожжаться — тут бы руку-то помощи Москва подала, — с жаром сказала Манефа. — Да куда ей! — примолвила она с горькой усмешкой. — Исполнились над вашей Москвой словеса пророческие: «Уты, утолсте, ушире и забы Бога создавшего»... Соберешься к Софонтию — зайди ко мне, Василий Борисыч.

Встала Манефа, и матери и белицы все одна по другой в глубоком молчаньи вышли из кельи. Осталась с игуменьей Фленушка.

Последнею вышла Устинья. За ней петушком Василий Борисыч. Настиг он румяную красотку на завороте у чуланов и щипнул ее сзади.

— Ох!.. чтоб тебя!.. — чуть не вскрикнула Устинья.

В ту самую пору вышла из боковой кельи Марьюшка.

Вздохнув, Василий Борисыч промолвил вполголоса:

— Искушение!..

Затем приосанился и тихо догматик запел:

— «Всеми-и-ирную славу, от человек прозябшую...»

Проводя московского посланника, Манефа принялась за перевод тарабарского письма Дрябиных. Грозны были петербургские вести.

Извещал Дрябин, что в комитете министров решено дело о взятой на Дону сборной Оленевской книжке. Велено переписать все обители Оленевского скита и узнать, давно ли стоят они, не построены ли после воспрещенья заводить новые скиты, и те, что окажутся недозволенными, уничтожить... Писал Дрябин, что дошло до Петербурга о Шарпанской иконе, и о том, что тамошни старицы многих церковников в старую веру обратили... Навели справку в прежних делах, нашли, что Шарпанский скит лет пятнадцать перед тем сгорел дотла, а это было после воспрещенья заводить новые

скиты. Потому и хотят послать из Петербурга доверенных лиц разузнать о том доподлинно, и если Шарпан ставлен без дозволения, запечатать его, а икону, оглашаемую чудотворной, взять... Уповательно, прибавлял Дрябин, что и по всем другим скитам Керженским и Чернораменским такая же переборка пойдет, дошло-де до петербургских властей, что много у вас живет беглых и беспаспортных... Громы, писал в заключение Дрябин, неотступно просили, кого нужно, хоть на время отвести невзгоду от Керженца... Два обеда ради того делали, за каждым обедом человек по двадцати генералов кормили, да на даче у себя Громы великий праздник для них делали. Всем честили, всем ублажали, однакож ни в чем успеть не могли — потому что вышел сильный приказ впредь староверам потачки не давать и держать их в строгости... О красноярском деле ни слова — не дошли еще, видно, вести о нем до Питера.

Призадумалась Манефа. Сбывались ее предчувствия... Засуча рукава и закинув руки за спину, молча ходила она ровными, но быстрыми шагами взад и вперед по келье... В глубоком молчаньи сидела у окна Фленушка и глаз не сводила с игуменьи.

— Почтову бумагу достань, — сказала Манефа. — Со слов писать будешь... Здесь садись... Устинья!

Фленушка вышла за бумагой, Устинья явилась в дверях.

— Никого ко мне не пускать ни по коему делу. Недосуе, мол, — сказала ей Манефа.

Низко поклонясь, Устинья спряталась в свою боковушу.

Через минуту она опять выглянула и спросила:

— Обедать не собрать ли?.. В келарне давно уж трапезуют.

— Не до еды, — резко ответила ей Манефа. — Ступай в свое место, не докучай...

Минуты через две Фленушка сидела уж за письмами. Ходя по келье, Манефа сказывала ей, что писать.

Первое письмо писали в город к тамошнему купцу Строинскому, поверенному по делам Манефы.

«Ради Господа, благодетель Полуехт Семеныч, — писала Фленушка, — похлопочи купчие бы крепости на дома совершить как возможно скорее. Крайний дом к соляным анбарам купи на мое имя, рядом с ним — на

Фленушку; остальные три дома на Аркадию, на Таифу да на Виринею. Хоть дорожиться зачнут Кожевниковы, давай, что попросят, денег не жалея — остались бы только за нами места. За строеньем тоже не гонись — захотят свозить на иное место, пущай их свозят. Отпиши сколь можно скорее, сколько денег потребуется — с кем-нибудь из матерей пришлю. Покучься в суде Алексею Семенычу; дело бы поскорее обделал, дай ему четвертную да еще посули, а я крупчатки ему, опричь того, мешка два пошлю, да икру мне хорошую из Хвалыни прислали, так и ей поделюсь, только бы по скорости дело обладили. Да нет ли еще поблизости от Кожевниковых продажного местечка али дома большого для Марьи Гавриловны. Хочет по вашему городу в купечество приписаться и торги заводить...»

Кончив письмо к Строинскому, Манефа другое стала сказывать — к Патапу Максимычу. Извещала брата о грозящих скитам напастях и о том, что на всякий случай она в городе место под келью покупает... умоляла брата поскорее съездить в «губернию» и там хорошенько да повернее узнать, не пришли ли насчет скитов из Петербурга указы и не ждут ли оттуда больших чиновников по скитским делам. «А хоша, — прибавляла Манефа, — и не совсем еще я от болезни оправилась, однакож, хоть через великую силу, а на сорочины по Настеньке приеду, и тогда обо всем прочем с тобою посоветую».

В Москву писаны были письма к Петру Спиридонычу, к Гусевым и на Рогожское, к матери Пульхерии. Извещая обо всем, что писали Дрябины, и о том, какое дело вышло в Красноярском скиту, Манефа просила их в случае неблагополучия принять на некое время обительскую святыню, чтоб во время переборки ее не лишиться. «Посылаю я к вам в Москву и до Питера казначею нашу матушку Таифу, а с нею расположилась отправить к вам на похранение четыре иконы высоких строгоновских писем, да икону Одигитрии Богородицы царских изографов, да три креста с мощами, да книг харатейных и старопечатных десятка три либо четыре. А увидясь с матушкой Августой, шәрпанской игуменьей, посоветую ей и Казанскую Богородицу к вам же на Москву отправить, доколь не утишится воздвигаемая на наше убожество презельная буря озлоблений и напастей. А то, оборони Господи, лишиться

можем столь бесценного сокровища, преизобильно верующим подающего исцеления». Насчет епископа Софрония писала, что, удостоверясь в его стяжаниях и иных недостойных поступках, совершенно его отчуждилась и попов его ставленья отнюдь не принимает, а о владимирском архиепископе будет на Петров день собрание, и со всех скитов съедутся к ней. Что на том собрании уложат, о том не преминет она тотчас же в Москву отписать. Уведомляла и о Василье Борисыче, благодарила за присылку столь дорогого человека и просила не погневаться, если задержит его на Керженце до окончания совещаний о новом архиепископе и о грозящих скитам обстоятельствах.

За письмом к Дрябину долго просидела Фленушка... Все сплошь было писано тарабарской грамотой. Благодаря за неоставление, Манефа умоляла Дрябиных и Громовых постараться отвратить находящую на их пустынное жительство грозную бурю, уведомляла о красноярском деле и о скором собрании стариц изо всех обителей на совещание о владимирском архиепископе и о том, что делать, если придут строгие о скитах указы.

Кроме того, были писаны письма во все скиты к игуменьям главных обителей, чтоб на Петров день непременно в Комаров к Манефе съезжались. Будет, дескать, объявление о деле гораздо поважней владимирского архиепископства.

День к вечеру склонялся, измучилась Фленушка писавши, а Манефа, не чувствуя усталости, бодро ходила взад и вперед по келье, сказывая, что писать. Твердая, неутомимая сила воли виднелась и в сверкающих глазах ее, и в разгоревшихся ланитах, и в крепко сжатых губах. Глядя на нее, трудно было поверить, чтоб эта старица не дольше шести недель назад лежала в тяжелой смертной болезни и одной ногой во гробу стояла.

Когда Фленушка кончила письма, Манефа внимательно их перечитала и в конце каждого сделала своей рукой приписку. Потом запечатала все и тогда только, как Фленушка надписала на каждом, к кому и куда письмо посылается, заговорила с ней Манефа, садясь у стола на скамейке:

— Потрудились мы с тобой, Фленушка, ради праздника. Заморила я тебя. Кому Троицын день, а нам с то-

бой сочельник... Подь-ка, голубка, потрапéзуй да скажи Устинье, кликнула бы скорее Таифу.

— Я было хотела просить тебя, матушка, — молвила Фленушка, не трогаясь с места.

— Что тебе надо, моя ластушка? — мягким голосом, ласково спросила ее Манефа.

— Отпусти к Софонтию, — умильно взглянув на нее, молвила Фленушка.

— Сказано «не пущу», значит, не о чем и толковать, — нахмурясь, сказала Манефа.

— Каждый год езжали... — потупясь, вполголоса проговорила Фленушка.

— Со мной, — перебила Манефа. — Так и я, бывало, жду не дождусь, кончилась бы служба, да скорей бы с поляны долой... Все глаза, бывало, прогляжу за вами... А матери Аркадии как усмотреть?

Ни словечка не ответила Фленушка. Подошла к столу, отобрала письма к матерям и спросила:

— С Аркадией пошлешь?.. К Софонтию со всех обитателей матери съедутся... Зáраз бы всем можно было раздать... А с работниками посылать — когда развезут?

— Правда твоя, — молвила Манефа. — Так будет лучше... Не хотелось бы только с Аркадией отправлять. В разговорах лишнего много от своего ума наплетет.

— А надо еще и на словах с матерями говорить? — спросила Фленушка.

— Без того нельзя, — ответила Манефа.

— А про то, что Дрябины пишут, не всем же, чай, матерям сполна сказывать? — продолжала Фленушка.

— До поры до времени можно ль всем про то говорить? — молвила Манефа. — Попробуй-ка Евникее Прудовской сказать, в тот же день всему свету разблагостит.хлопот после не оберешься.

— А матушке Августе Шарпанской, думаю, надо сказать, — продолжала Фленушка. — Из Оленева матушке Маргарите тоже, я думаю, надо; матушке Фелицате тоже... А еще кому?

— Да больше-то, пожалуй, и некому, — молвила Манефа. — А до Петрова дня все дело бесприменно надо втайне держать, чтоб успеть в городе места подешевле купить. А то, пожалуй, при совершении-то купчей сделают препятствие либо задержку какую. Да и Кожевниковы, как узнают, что готовится нам из обитателей выгонка, такую цену заломят, что только ахнешь...

Не сумеет этого Аркадии, не сумеет! Очень уж она невоздержна на язык... Опять же у Евникеи в Прудах Аркадины сродницы живут — хоть наказывай ей, хоть не наказывай, не утерпит — до капельки все расскажет им, а те Евникее. А Евникее сказать — все едино, что на базаре с барабаном в народ объявить...

— Разве матушку Таифу пошлешь? — сказала Фленушка.

— То-то и есть, что нельзя, — молвила Манефа. — В Москву Таифе надо ехать да в Питер... Завтра же ей отправляться.

— Кого же, коли не Таифу?

— Ума не приложу, — ответила Манефа. — Вот вертись тут одна, как знаешь: обитель большая, а доведется нужное дело, опричь Таифы, и послать некого.

— Пошли меня, матушка... Все управлю, — подхватила Фленушка.

— С ума сошла?.. По тебе ль такое дело? — подняв голову и пристально взглянув на Фленушку, молвила Манефа.

— Попробуй — увидишь, — сказала Фленушка, глядя в упор на Манефу.

— Полно пустяки городить, — проговорила Манефа. — Статочно ли дело тебя посылать?

— Вольно тебе, матушка, думать, что до сих пор я только одними пустяками занимаюсь, — сдержанно и степенно заговорила Фленушка. — Ведь мне уж двадцать пятый в доходе. Из молодых вышла, мало ли, много ли — своего ума накопила... А кому твои дела больше меня известны?.. Таифа и та меньше знает... Иное дело сама от Таифы тайшь, а мне сказываешь... А бывало ль, чтоб я проговорила когда, чтоб из-за моего болтанья неприятность какая вышла тебе?

— Да к чему ты все это говоришь мне? — спрашивала Манефа.

— А к тому говорю, чтоб к Софонтию меня ты послала. Аркадия свое дело будет управлять, а я с матерями что надо переговорю, — решительным голосом сказала Фленушка.

— Набаламутишь, — молвила Манефа.

— Да что я за баламутница в самом деле? — резко ответила Фленушка. — Что в своей обители иной раз посмеюсь, иной раз песню мирскую спою?.. Так это, матушка, дома делается, при своих, не у чужих людей

на глазах... Вспомнить бы тебе про себя, как в самой-то тебе молодая кровь еще бродила.

— Замолчи!.. — остановила Манефа Фленушку. — С чего ты взяла такие речи мне говорить?.. А?..

— Стары матери мне сказывали, что была ты у отца с матерью дитя любимое, балованное, что до иночества была ты развеселая — что на уме у тебя только песни да игры бывали... Видно, и я в тебя, матушка, — усмехнувшись, сказала Фленушка.

— Какие матери тебе сказывали?.. Которые?.. — взволнованным голосом спросила Манефа.

— Покойница Платонида говаривала, — ответила Фленушка.

— Нешто помнишь ее? — с испугом спросила Манефа и тяжело перевела дыхание.

— Как же не помнить? Как теперь на нее гляжу, — отвечала Фленушка. — Ведь я уж семилеткой была, как она побывшилась.

— Что ж Платонида тебе сказывала?.. Что?.. Говори... все, все говори, — дрожащим от волнения голосом говорила Манефа, опуская на глаза камилавку и закрывая все лицо креповой наметкой.

— Мало ли что... Всего не упомнишь, — ответила Фленушка. — Добрые советы давала: «Почитай, говорила, матушку Манефу, как родную мать свою».

— Что-о-о?.. — вскрикнула Манефа, но тотчас же сдержала порыв встревоженного сердца. Обдернув наметку, она склонила голову.

— «Почитай, говорила, ее, как мать родную, — повторила Фленушка. — Тебе, говорила она, во всем свете никого нет ближе матушки Манефы... » Вот что говорила мне Платонида.

— А еще? — глухо прошептала Манефа.

— Не помню, — ответила Фленушка.

Смолкла Манефа, а Фленушка все еще стояла перед ней и молча общипывала листья со стоявшей в углу троицкой березки. Минут с пять длилось молчанье.

— Обедать ступай, — сказала Манефа.

— Не хочется, — обиженным голосом ответила Фленушка, продолжая ощипывать березку.

Взглянула на Фленушку Манефа, а у ней слезы по щекам бегут.

— Устинья! — крикнула игуменья.

Устинья вошла и стала перед нею.

— Кликни Таифу, — молвила ей Манефа, а когда Устинья вышла, обратилась к Фленушке и сказала:

— Собирайся к Софонтию.

Фленушка промолчала. Нескорой поступью подошла к столу, взяла письма и спросила:

— Раздать?

— Раздай, — ответила Манефа.

— Марье с Устиньей собирать?

— Хорошо, — молвила Манефа и с нетерпением махнула рукой.

Тихими шагами пошла Фленушка в боковушу. Там у окна сидела грустная, угрюмая Марьюшка. С тоски да со скуки щелкала она каленые орехи.

— Турись, турись, Марюха!.. Наспех сряжайся!.. К Софонтию!.. — попрыгивая перед ней, кричала Фленушка.

— Взбесилась, что ли?.. Аль совсем с ума своротила? — привередливо ответила головщица и с досадой отвернулась от подруги.

— Попадья взбесилась — не я, — захохотала Фленушка, и хоть голодна была для праздника, а пустилась в пляс перед Марьюшкой, прищелкивая пальцами и припевая:

Как у нашего попа
Староверского
Взбесилась попадья,
Вовсе стюшилася!..
Староверский поп
Был до девок добр —
Нету денег ни гроша,
Зато ряса хороша.
Он и рясу скидает,
Красным девкам отдает.

— Да отвяжешься ли ты?.. Господи, как надоела!.. — плаксиво вскрикнула головщица, оттолкнув Фленушку, в порыве причуд вздумавшую ерошить ей голову...

— Не верещи!.. Толком говорю!.. К Софонтию едем, — топнув ногой, крикнула Фленушка. — Вот письма к матерям... Со мной посылает.

Пересмотрела Марьюшка письма и уверилась, что в самом деле велено Фленушке ехать к Софонтию.

— С кем поедешь? — спросила она.

— С тобою да с Устиньей, — ответила Фленушка. —

Аркадия поедет, Васеньку прихватим, он нам песенку дорогой споет.

— За Васенькой давеча я кое-что заметила, — молвила Марьюшка.

— Чего ты заметила? — спросила Фленушка.

— С Устиньей заигрывает, — сказала головщица.

— А тебе завидно?

— Ну его к бесу, чернорылого! — вскрикнула Марьюшка. — Нужно мне этакого!.. Захочу, в тысячу раз лучше твоего Васьки найду.

— А ты, девка, больно-то не зарывайся, — молвила Фленушка. — Чем тебе Василий Борисыч не казист?.. Совсем как есть молодчик — ростом не вышел, зато голосом взял.

— Лёгко ли дело! — перебила головщица. — Ножки как луточки, ходит приседает, ровно редьку сажает.

— С тобою говорить надо поевши, а у меня сегодня, кроме чая, маковой росинки во рту не бывало, — сказала Фленушка. — Принеси-ка чего-нибудь, а я меж тем в дорогу стану собираться.

Неподалеку от деревни Деянова, в стороне от большой дороги, стоят два деревянных креста, каждый сажени по полторы вышиной. От этих крестов в глубь леса идет узенькая тропинка. Конного езду тут нет.

Пройдя без малого версту по этой тропе, встретится поляна, поросшая лесными травами. Среди ее ветхий, полусгнивший голубец с тесовой крышей на два ската. Скат, обращенный к северу, от старости почти сплошь порос серо-зеленым ягелем¹. Под нижним венцом голубца много ям, нарытых руками богомольцев, бравших песок ради целения от недугов. Рядом с голубцем возвышаются саженные старые деревянные кресты, а меж ними выросла в землю невысокая часовенка; в ней на полке несколько облинявших образов. В стороне неглубокий колодезь. Вода его тоже слывет в народе целебной. Больше нет ничего на поляне. Лишь крапива напоминает, что когда-то тут было жилье.

Это гробница Софонтия.

Пусто теперь место, где, укрываясь под сенью дре-

¹ Ягель — лишай, растение, близкое ко мхам, *Lichen pulmonaris*.

мучего леса, когда-то стояла невеликая, но по всему Керженцу, по всему старообрядству славная обитель соловецкого выходца Софонтия... Зимой всю поляну снегом заносит; из сугробов не видать ни гробницы, ни часовенки, только верхушки крестов немного заметны... Летом ходят сюда на поклонение отцу Софонтию, но редко... Большие сборища бывают только на Духов день... Разоренная Питиримом часовня Софонтьева скита ставлена была во имя этого праздника, и, по скитскому обычаю, ежегодно на этот праздник собирались к Софонтию прихожие богомольцы, для них поставлялись у него столы с великими кормами и чинились великие учреждения¹. В память того праздника и тех кормов до сих пор ежегодно на Духов день собирается сюда окрестный и дальний народ.

Запустело место, где жил отец Софонтий, куда сходились на соборы не только отцы с Керженца и со всего Чернораменья, но даже из дальних мест, из самой зарубежной Ветки. Запустело место, откуда выходили рьяные проповедники «древлего благочестия» в Прикамские леса, на Уральские бугры и в дальнюю Сибирь... «Кержаками» доньше в тех местах старообрядцев зовут, в память того, что зашли они туда с Керженца, из скитов Софонтьева согласия.

Запустело место, где Софонтий боролся с соседними онуфрианами, чтившими за свято богоборные письма Аввакума о пресвятой Троице. Запустело место, где Софонтий отстаивал самостоятельность Керженца, не покоряясь зарубежной Ветке... Процвела во дни Софонтия пустыня, им насажденная, и не дожил он до грозного дня, когда по повелению Питирима, капитан Ржевский послал из Нижнего рассыльщиков по бревнам разнести и часовни и кельи обительские...

Тогда-то совершилось «падение Керженца». Семьдесят семь скитов было разорено рассыльщиками. Голова Александра дьякона скатилась под топором палача в Нижнем Новгороде, несколько старцев сожжено на кострах возле села Пафнутова. И сорок тысяч старообрядцев, не считая женщин, бежало из Керженских лесов за литовский рубеж в подданство короля польского.

Все то было и былою поросло.

¹ Угощение.

Еще утренняя заря не разгоралась, еще солнышко из-за края небосклона не выглядывало, как на большой дороге у Софонтьевых крестов одна за другою зачали становиться широкие уёмистые скитские повозки, запряженные раскормленными донельзя лошадьми и нагруженные пудовыми пуховиками и толстыми матерями.

Это был первый летний сбор келейниц на одном месте... Чинны и степенны были их встречи. По-заученному клали они друг перед другом низкие поклоны, медленно ликовались и невозмутимо спрашивали одна другую «о спасении». Разговоры велись недолгие, все спешили пешком к гробнице Софонтия.

Там по всем полкам часовенки наехавшие матери расставили ярко горевшие золоченые иконы, украшенные жемчугами и самоцветными камнями, повешали под ними бархатные, парчовые и атласные пелены, расставили подсвечники и зажгли в них не одну сотню свеч. Гробницу также покрыли пеленами. Клубы дыма от росного ладана наполняли часовню и голубыми струями вились из нее по свежему утреннему воздуху... Началась служба... Громкое пение нескольких десятков съехавшихся из всей обители певиц оглашало пустынное место... Уже совсем обутрело, и отправляемая на гробнице служба подходила к концу, когда толпы народа в праздничных нарядах стали мало-помалу сходиться на поляну. Ситцевые и кумачные рубахи деревенских парней и разноцветные сарафаны молодых и девушек смешались с черными рясами келейниц... Пестрая толпа вскоре сделалась еще разнообразней. Пришли горожане. Все приходившие молились у гробницы, брали песочку, иные отламывали кусочки гнилушек от голубца, а потом шли умываться к целительному кладезю, по преданью, ископанному руками самого Софонтия.

Скитские матери только что кончили службу, загасили в часовенке свечи, сняли образа и пелены и все отнесли к повозкам... Когда пришла на поляну праздничная толпа, и часовня и гробница имели уже обычный свой вид. На поляне скоро стало тесно. Народ разбрелся по лесу.

Сжавшись в кучку, матери держались в сторонке. Рассевшись в тени меж деревьев, поминали они преподобного отца Софонтия привезенными из обителей яс-

твами и приглашали знакомых разделить с ними трапезу. Отказов не было, и вскоре больше полутора ста человек, разделяясь на отдельные кучки, в строгом молчании ели и пили во славу Божию и на помин души отца Софонтия... Деревенские парни и горожане обступили келейниц, и взглядывая на молодых старочек и на пригоженьких белиц, отпускали им разные шуточки.

А вот в стороне от гробницы городской торгош раскинул крытый парусинным шатром подвижной стол с орехами, пряниками, рожками и другими «гостинцами»... С другой стороны Софонтьевой поляны появилась такой же стол и такой же парусинный шатер с вареной печенкой, со студенью и другими закусками, с расписными жбанами ядреного квасу и с мягкими, с обоих концов востроносими сайками, печенными на соломе... Рядом юркий целовальник из елатомцев, в красной александрийской рубахе и плисовых штанах, поскрипывая новыми сапогами, расставлял на своем прилавке полштофы и косушки, бутылки с пивом и медом... Веселый говор сменил только что стихшие заупокойные стихеры. Где-то в лесу послышалась гармоника, забренчала балалайка. Кто-то залился громкой залихватской песнью, к нему пристали десятки мужских и женских голосов. Раздался выстрел из мушкетона, другой, третий... Матери подобру-поздорову долой с Софонтьевой поляны, где народное гульбище стало разыгрываться нараспашку.

Вплоть до позднего вечера продолжался широкий разгул поклонников Софонтия. Хороводов не было, зато песни не умолкали, а выстрелы из ружей и мушкетонов становились чаще и чаще... По лесу забродили парочки... То в одном, то в другом месте слышались и шелест раздвигаемых ветвей, и хруст валежника, и девичьи вскрикивания, и звонкий веселый хохот... Так кончились Софонтьевы помины.

Выйдя из лесу на большую дорогу, разложили келейницы свой скарб по повозкам и одна за другою пошли пешком в Деяново. Тут недалеко, всего версты полторы. У каждой матери были в той деревне свои знакомые, с раннего утра ожидавшие Софонтьевых поклонниц. В каждом доме хозяйки, рук не покладаячи,

варили рыбные похлебки, пекли пироги и оладьи, стряпали яичницы, пшённики да лапшённики, пшённицы да лапшённицы, кисели черничные, кисели малиновые, кисели брусничные и другие яствы праздничного крестьянского обеда... За эти трапезы келейницы щедро расплачивались разными припасами, а иногда и деньгами.

Вот одни за другими идут матери, окруженные белицами... Идут, а сами то и дело по сторонам оглядываются, не улизнула ли которая белица в лесную опушку грибы собирать, не подвернулся ли к которой деревенский парень, не завел ли с ней греховодных разговоров. Еще на Софонтьевой поляне только что закончили службу, старицы покрыли свое «иночество»¹ широкими черными платками... Но, несмотря на такое «скрытие иночества» под шерстяным платком, всякий узнавал скитницу по ее поступи и по всему наружному виду.

Вот впереди других идет сухопарая невысокого роста старушка с умным лицом и добродушным взором живых голубых глаз. Опираясь на посох, идет она не скоро, но споро, твердой, легкой поступью и оставляет за собой ряды дородных скитниц. Бодрую старицу сопровождают четыре инокини, такие ж, как и она, постные, такие ж степенные. Молодых с ними не было, да очень молодых в их скиту и не держали... То была шарпанская игуменья, мать Августа, с сестрами. Обогнав ряды келейниц, подошла к ней Фленушка.

— Там на многолюдстве, в большом собрании, не посмела я доложить вам, матушка Августа, про одно дельце, — сказала она. — Матушка Манефа нарóчито послала меня сюда поговорить с вами.

— Говори, что наказано, — молвила Августа строго, но с кроткой на устах улыбкой.

— Пройдемтесь сторонкой, — сказала Фленушка.

— Аль по тайности что? — равнодушно спросила мать Августа.

— По тайности, — ответила Фленушка.

И обе перешли на другую сторону широкой столбовой дороги.

— Эку жару Господь посылает, — молвила Августа,

¹ Так называется весь головной убор старообрядских инокинь: камилавка, наметка и апостольник.

переходя дорогу. — До полдён еще далеко, а гляди-ка, на солнышке-то как припекает... По старым приметам, яровым бы надо хорошо уродиться... Дай-ка, Господи, благое совершение!.. Ну, что же, красавица, какие у тебя до меня тайности? — спросила она Фленушку, когда остались они одадь от других келейниц.

— Письмецо матушка Манефа до вас прислала и на речах кой о чем приказала, — молвила Фленушка, отдавая письмо.

— Не матушкина рука, — взглянув на письмо, сказала Августа и спрятала его под апостольник.

— Не совсем еще оправилась она после болезни-то, — ответила Фленушка. — Самой писать еще не могу... Я с ее слов написала.

— Ты писала? — кротко спросила мать Августа, вскинув глазами на Фленушку.

— С матушкиных слов, — ответила Фленушка. — На конце и ее руки приписка есть. Поглядите.

— Погляжу, — молвила Августа. — Какие ж тайности ты мне скажешь?

— Да насчет того, что тут писано... Матушка велела вам на словах объяснить...

— Что ж такое? — спросила Августа.

— Зовет к себе на Петров день, — сказала Фленушка. — Собрание будет у нас в обители. Из всех скитов съедутся матери.

— По какому это делу?

— Из Москвы насчет епископа прислали посланника...

— Не приемлем, — отрезала Августа. — Из-за этого не стоит стары кости трясти... Не буду.

— Софронию отвержену быть, — продолжала Фленушка.

— Не наше дело, — сказала Августа.

— Нового архиепископа думают поставить — владимирского, — продолжала-таки свое Фленушка.

— Не приемлем, — еще раз отрезала Августа и хотела идти через дорогу к своим старицам.

— Да еще про скит ваш писано, матушка, и мне больше про это поговорить наказано, — молвила Фленушка.

— Что ж такое? — бесстрастно спросила Августа.

— Из Питера письма получены, — сказала Фленушка. — Казанскую у вас хотят отобрать... Насчет вашего

скита велено разузнать: не после ли пожара он ставлен...

— Слышала, — равнодушно отозвалась мать Августа.

— На этот счет и велено мне с вами переговорить — молвила Фленушка. — Дело общее, всем бы надо вместе обсудить его, как и что делать.

— Судить-то нечего, — молвила Августа.

— Как беду отвести, где искать помощи, заступников... — говорила Фленушка.

— Есть у нас и помощь и заступа, — сказала мать Августа. — Других искать не станем.

— Где же ваша заступа? — спросила Фленушка.

— У царицы небесной, — твердо ответила Августа. — Покаместь она, матушка, убогого дома нашего не оставила, какую еще нам искать заступницу?.. Не на помощь человеческую, на нее надежду возлагаем... Скажи, красавица, матушке Манефе: не погневалась бы, не посердитовала на нас, убогих, а не поеду я к ней на собрание.

— Посоветовались бы, матушка, — молвила Фленушка.

— Нечего мне советоваться, не об чем, — прервала ее Августа. — Одна у меня советница, одна и защитница — царица небесная, Казанска Богородица... Отринуть ее да пойти на совет человеческий — как же я возмогу?.. Она, матушка, — стена наша неборимая, она крепкая наша заступница и во всех бедах скорая помощница. Нет, красавица, не поеду я на ваше собрание.

— А как отнимут у вас икону-то? Тогда что заговорите? — резко сказала Фленушка, сбрасывая напущенную на себя скромность.

— Не попустит владычица, — молвила Августа и, низко поклонясь Фленушке, пошла к своим старицам.

— Матушка, — сказала, догоняя ее, Фленушка. — Попомните, что на Петров день у нас праздник в часовне. В прежни годы, бывало, вы к нам на Петров день, мы к вам на Казанскую.

— Благодарим покорно, — с поклоном ответила мать Августа. — Коли жива да здорова буду, не премину побывать, а уж насчет собрания не погневалась бы матушка Манефа. Наше дело сторона.

И пошла к своим.

Фленушка подошла к оленинскому. Высокая, смуглая

старица со строгим и умным выражением в лице шла рядом с малорослою, толстою инокиней, на каждом шагу задыхавшейся от жары и непривычной прогулки пешком. То были оленевские игумены: Маргарита и Фелицата, во всем с Манефой единомысленные. Фленушка передала им письма еще на Софонтьевой поляне и там обо всем нужном переговорила.

— Ну, что сказала мать Августа? — спросила Маргарита у Фленушки, когда та подошла к ней.

— На празднике быть обещалась, а на собрание не хочет идти, — ответила Фленушка. Ее дело, как знает, — с досадой молвила Фелицата. — Об епископе, конечно, советоваться ей нечего.

— Не приемлет, так и разговору нет. А насчет скита ихнего что сказала? — спросила Маргарита у Фленушки.

— Надеюсь, говорит, на владычицу. Она у меня, говорит, и советница и заступница, других не желаю, — ответила Фленушка.

— Экая гордыня-то, экая гордыня!.. — вскрикнула Фелицата. — Чем бы сообща дело обсудить да потом владычицу в Москву свезти аль в другое надежное место припрятать, она — поди-ка что — умнее всех хочет быть. — Ну, Господь с ней, как знает, так пускай и распоряжается. Не наше дело, Фелицатушка, — успокаивала Маргарита приятельницу.

— Как не наше дело? — горячилась Фелицата. — Как не наше дело? Сама знаешь, что будет, коли отберут из Шарпана владычицу. Тут всех скитов дело касается, не одного Шарпана... Нет — этого нельзя!.. На собораньи надо эту гордячку под власть подтянуть, чтобы общего совета слушалась. Так нельзя!..

— А чем ты ее под власть-то подтянешь? — спросила Маргарита. — Не захочет слушать — чем приневолишь?

— Как по общему согласью решим, так должна будет послушать, — сказала Фелицата.

— А плевать ей на общее-то наше согласие, — с усмешкой молвила Маргарита. — Кому пойдешь на нее жалобиться?

— В Москву напишем, — сказала Фелицата.

— А что ей Москва-то? — продолжала Маргарита. — Шарпански и без того ее знать не хотят. Не нам с тобой они чета, Фелицатушка: за сборами не ездят,

канонниц по домам не рассылают, никому не угождают, а всех богаче живут.

В это время скитницы подошли к деревне и стали расходиться по знакомым. Тут Фленушка успела раздать все привезенные письма.

Оленевские с Манефиными в одном доме пристали. Обед, предложенный радушным хозяином, продолжался долго. Конца не было пшённикам да лапшённикам, пшённицам да лапшённицам.

Совсем смерклось, когда старицы велели работникам лошадей запрягать. Оленевские игуменьи уехали, а мать Аркадия долго еще оставалась у гостеприимного сродника... Искали Василья Борисыча... Кто его знает — куда запропастился... Устинью тоже не вдруг сыскать могли. Сказывала, к улангерским матерям повидаваться ходила.

Всю дорогу ворчала на нее мать Аркадия. Устинья хохотала, а Василий Борисыч то и дело восклицал:

— Ох, искушение!..

Глава вторая

И весна и лето выдались в том году хорошие. Каждый день с утра до вечера яркое солнце горячо нагревало землю, но засухи не было... А не было засухи оттого, что ночи по три на неделе перед утренней зарей небо тучками обкладывалось и частым, крупным, обильным дождем кропило засеянные поля. Такая была благодать, что старые люди, помнившие Пугача и чуму московскую, не знавали такого доброго года. Двумя неделями раньше обыкновенного шли полевые работы: яровой сев кончили до Егорья, льны посеяли и огурцы посадили дня через два после Николы. Про холодные сиверы, про медвяные росы и градобои слухов даже не было.

Не нарадуются православные, любуясь на пышные всходы сочной озими, на яркую зелень поднимавшейся яри. О том только и молят, о том только и просят Господа — даровал бы он хлебу совершение, засухой бы не пожег, дождями бы не залил, градом бы не побил надежду крестьянскую.

Каждому радостно, каждому весело на зеленые поля глядеть; но всех радостней, всех отраднее любо-

ваться на них крестьянину деревни Поромовой Трифону Михайлычу Лохматому. Тридцать недель не прошло с той поры, как злые люди его обездолили, четырех месяцев не минуло, как, разоренный пожаром и покражами, скрепя сердце благословляя он сыновей идти из теплого гнезда родительского на трудовой хлеб под чужими кровлями... И вот, благодаря создателю, во всем хозяйстве успел он справиться. И новую токарню сладил, лучше прежней, и лошадок купил, и хорошей одеждой обзавелся, и покраденное дочернее приданое стал помаленьку заменять новокупленным.

«Уж спасибо ж тебе, Алексеюшка! — думает сам про себя Трифон Лохматый, любуясь всходами на надельной полосе своей. — Разумом и досужеством сумел ты полюбовиться богатому тысячнику и по скорости поставил на ноги хозяйство наше разоренное... Благослови тебя Господи благостным благословением!.. Дай тебе Господи от сынов своих вдвое видеть утешения супротив того, сколь ты утешил меня на старости лет!»

Только и думы у Трифона, только и речей с женой, что про большего сына Алексеюшку. Фекле Абрамовне ину пору за обиду даже становилось, отчего нечасто поминает отец про ее любимчика Саввушку, что пошел ложкарить в Хвостиково. «Чего еще взять-то с него? — с горьким вздохом говорит сама с собой Фекла Абрамовна. — Паренек не совсем на возрасте, а к Святой неделе тоже десять целковых в дом принес».

Раскидывает Трифон Лохматый умом-разумом: «Отчего это Алексей до такой меры стал угоден спесивому своеобычному Чапурину?» До сей поры у Трифона никаких дел с Патапом Максимычем не бывало, и видал-то его раз-другой мельком только издали, но от людей знал по наслуху, что хоть он и справедлив, до рабочих людей хоть и милостив, однакож никого из них до близости с собой не допускает... «Да как и допускать? — продолжает раздумывать Трифон Михайлович. — Водится он с купцами первостатейными, с людьми чиновными, к самому губернатору вхож — в версту ль ему мелкую сошку к себе приближать? Пущай у сына руки золотые, пущай всем известно, что другого такого токаря за Волгой нет и не бывало, — да ведь потом и руками у белорукого богача в честь не войдешь. Из себя пригляден — так не девка Патап-от Максимыч, не стать ему зариться на красоту молодецкую.

Другое еще темяшится в голове Трифона Лохматого. Четыре месяца пожил Алексей в Осиповке, а совсем стал другой — узнать нельзя. Бывало, в праздничный день на деревне только и слышно его, песню ли спеть, в хороводы ли с девками, в городки ли с ребятами, Алексей везде из первых... А теперь, придя о Пасхе к отцу на побывку, ровно иночество на себя наложил: от игры, от веселья сторонится, хмурый ходит да думчивый. Попытать бы сына, расспросить, отчего стало ему невесело, да не отцовское то дело, не родителю сыну поминать про качели да хороводы и про всякую мирскую суету. Как-то к слову пришлось — жене Трифон наказал, будто мимоходом, шутки ради, с сыном речь повести, зачем-де от потех сторонится, отчего с девками на прежнюю стать не заигрывает. И Фекла не добилась толку от Алексея. Сестры от себя принимались у него кой-что выведывать, про чапуринских девиц пытались речь заводить — только цыкнул на них Алексей. Саввушка, по материну наказу, тоже речь начинал — ни слова ему брат не ответил.

Чужим глядел Алексей в дому родительском. Как малое дитя, радовалась Фекла Абрамовна, что и кулич-то ее стряпни удался к светлому празднику, и пасха-то вышла сладкая да рассыпчатая, и яйца-то на славу окрасились. Все домашние разделяли радость хозяйкину; один Алексей не взглянул на стряпню матери и, сидя за обедом, не похвалил ни жирных щей со свежиной, ни студени с хреном, ни жареного поросенка с белым, как молоко, мясом и с поджаристой кожицей. Горько показалось это старушке, слезы у ней на глазах даже выступили... Для великого-то дня, для праздника-то, которому по божественной песни всяка тварь радуется!.. Но сдержала слезы Абрамовна, пересилила горе обидное, не нарушила радости праздника. «Что ж! — тихонько поворчала сама с собой. — Привык к сладкой еде купеческой, навадился сидеть за столами богатыми — невкусна ему кажется хлеб-соль родительская». Но вечером в задней горнице, где ставлена была у Лохматого небольшая моленная, справив уставные поклоны и прочитав положенные молитвы, долго и тоскливо смотрела огорченная мать на лик Пречистой Богородицы. Раздумывая о сыне, не слыхала она, не чуяла, как слезы ручьем потекли по впалым щекам ее.

«Отрезанный ломоть!» — вспало на ум Абрамовне.

И, постояв малое время перед иконами, стала она класть поклон за поклоном о здравии и спасении раба божия Алексея.

И сам Алексей сознавал, что он отрезанный ломоть от родной семьи. Еще с той поры, как только стал входить в возраст, любил он тешить себя игрой мыслей, по целым, бывало, часам задумывался над вещами несбыточными, над делами несодеянными. Бывало, стоя за токарным станком, либо крася олифой горящину, представляет он себя то сильным могучим богатырем, то царем небывалого царства, а чаще всего богачом: у него полны сусеки серебра да золота, у него бочки жемчугов и камней многоценных в кладовой стоят. Расходятся, бывало, мысли, разгуляются, как вода вешняя, не зная удержу, и не один час проработает Алексей, не помня себя, времени не замечая, чужих речей не слыша... Но неясны и несвязны были тогда его думы о богатом житье-бытье. Не бывал он еще нигде, кроме своего Поромова да окольных деревушек, не видал, как люди в довольстве да богатстве живут, как достатками великими красят жизнь свою привольную... Попал в дом тысячника, увидел, как люди в чести да в холе живут, узнал, как богачи деньгами ворочают... Тогда смутные думы стали ясней и понятнее...

И сотворил Алексей в душе своей кумира... И поклонился он тельцу златому... Только теперь у него и думы, только и гаданья, каким бы ни на есть способом разбогатеть поскорее и всю жизнь до гробовой доски проводить в веселье, в изобилии и в людском почете.

И тесна и грязна показалась ему изба родительская, мелка деннонощная забота отца с матерью о скромном хозяйстве, глупы речи неотесанных деревенских товарищей, неприглядны лица красных девушек... Отрезанный ломоть!..

Когда Патап Максимыч объявил Алексею, что не станет дольше держать его, крепко парень призадумался. Все случилось так быстро, так для него неожиданно. Решение огорченного Чапурина застало Алексея врасплох... Куда деваться?.. Домой идти — силы нет... Не ужиться ему под одной кровлей со стариками, — воли, простору, богатой жизни ищет душа молодецкая... Трудом богатство нажить?.. А сколько годов на это надобно?.. Марья Гавриловна?.. Но Алексею

хоть и думалось, а как-то все еще не верилось, чтоб она за крестьянского сына пошла.

Недели полторы после Настиних похорон приехал к Патапу Максимычу из Городца удельный крестьянин Григорий Филиппов. Запершись в задней горнице, добрый час толковал с ним горемычный тысячник. Кончив разговоры, повел он приезжего по токарням, по красильням, по всему своему заведению.

Затем наказал Пантелею, скликнул бы он рабочих.

— Алексея Трифонова доводится мне в Красну Рамень послать, — объявил Патап Максимыч стоявшей без шапок толпе работников. — Оттоль ему надо еще кой-куда съездить. Потому с нонешнего дня за работами будет смотреть Григорий Филиппыч... Слушаться его!.. Почитать во всем... У него на руках и расчеты за работков.

— Слушаем, батюшка Патап Максимыч! — в голос отозвались токари и красильщики, искоса поглядывая на нового приказчика.

Понутив голову, неспешными шагами пошел Патап Максимыч домой. Мимоходом велел Пантелею Алексея к нему позвать да пару саврасых вятков в тележку на железных осях заложить. А сиденье в тележке наказал покрыть персидским ковром, на котором сам выезжал в дальнюю дорогу.

Вошел Алексей в хозяйскую боковушу, положил Богу уставные поклоны, низко поклонился стоявшему у окна хозяину.

— Новый приказчик поряжон, — сухо, не глядя на Алексея, сказал Патап Максимыч.

Молчал Алексей, склонив голову.

— Пора тебе. Ступай с Богом, — молвил угрюмо Чапурин.

— Слушаю, — едва слышно ответил Алексей.

— Для видимости..., спервоначалу ехать тебе в Красну Рамень — на мельницы, — сказал Патап Максимыч, глядя в окошко. — Оттоль в город. Дела там нет тебе никакого... Для видимости, значит, только там побывай... Для одного отводу... А из городу путь тебе чистый на все четыре стороны... Всем, кого встретишь, одно говори — нашел, дескать, место не в пример лучше чапуринского... Так всем и сказывай... Слышишь?

— Патап Максимыч... — начал было Алексей.

— А ты молчи да слушай, что люди старей тебя говорят, — перебил Патап Максимыч. — Перво-наперво обещанье держи, единым словом не смей никому заикнуться... Слышишь?

— Слушаю, Патап Максимыч, — полушепотом сказал Алексей.

— Смалчивать будешь — не успокаешься... По гроб жизни тебя не оставляю, — продолжал Патап Максимыч. — Не то что девичьей глупостью где похвалиться, болтнешь чуть что ненароком — не уйдешь от меня. Помни это, заруби себе на носу...

— Буду помнить, Патап Максимыч, — отозвался Алексей глухим, едва слышным голосом.

— То-то. Не мели того, что осталось на памяти, — молвил Патап Максимыч. — А родителю скажи: деньгами он мне ни копейки не должен... Что ни забрано, все тобой заслужено... Бог даст, выпадет случай — сам повидаясь, то же скажу... На празднике-то гостивши, не сказал ли чего отцу с матерью?

— Никому ничего я не говаривал, — упалым голосом отвечал Алексей.

— И не говори!.. Оборои тебя Господи, если кому проговориться смеешь, — строго сказал Патап Максимыч, оборотясь лицом к Алексею. — Это тебе на разживу, — прибавил он, подавая пачку ассигнаций, завернутую в розовую чайную бумагу. — Не злом провожаю... Господь велел добром за зло платить... Получай!

— Патап Максимыч! — вскрикнул было Алексей, не принимая подарка.

— Чего еще? — грозно закричал на него Чапурин, сверкнув глазами.

— Тяжелы ваши милости! — едва переводя дух, проговорил Алексей.

— Молчать! — громче прежнего крикнул Патап Максимыч. — Смеет еще разговаривать... Бери!

Не протянул руки Алексей.

— Да бери же, босопляс ты этакой!.. Бери, коли дают, — топнув ногой, крикнул на него Патап Максимыч. — Ломаться, что ли, передо мной вздумал? Чваниться?.. Так я те задам!.. Бери, непуть¹ этакой!..

¹ Непутный человек, иногда бес.

Дрожмя дрожали руки у Алексея, когда принимал он подарок от Патапа Максимыча. Хоть корыстен был, а эти деньги ровно калено железо ожгли его.

Ни слова не говоря, до земли поклонился он Патапу Максимычу.

— Для че валяешься? — строго молвил ему Патап Максимыч, оборачиваясь к окну. — Только Богу да родителям в ноги следует кланяться — больше никому.

Встал Алексей и замолчал, потупя очи.

— Нужда придет — письмо пиши: помогу, — говорил Патап Максимыч, глядя в окно. — А сам глаз не смей показывать... Есть ли место на примете?

— Никакого нет, — ответил Алексей.

— В Комарове побывай. Марья Гавриловна Масляникова, что живет у сестры в обители, вздумала торги заводить, пароход покупает. Толкнись к ней — баба добрая... Без приказчика ей нельзя... Скажи: от Патапа, мол, Максимыча прислан.

Вздрогнул Алексей от речей Чапурина. И слышится, да не верится.

«Как же это так? — думает он. — Отчего же она сама не сказала мне?»

— Ну, с Богом... — после долгого молчанья сказал Патап Максимыч, продолжая глядеть в окно. — Отправляйся.

— Патап Максимыч!.. — упалым голосом начал было Алексей.

— Нечего тут!.. Коли сказано «с Богом», так берись за скобку да шасть за косяк... — угрюмо сказал Патап Максимыч, не отворачиваясь от окна. — Пару саврасых с тележкой дарю. На них поезжай...

— Прости ты меня, ради Господа... — зарыдал Алексей, падая к ногам Патапа Максимыча.

— В шею, что ли, толкать? — закричал тот. — Убейся, куда цел!

Грустно поднялся Алексей и неспешными шагами вышел из горницы. И тут не обернулся Патап Максимыч.

Но долго по уходе Алексея глядел он в окно. Очей не сводя, мрачно смотрел, как тот сряжался в дорогу, как прощался с Пантелеем и с работниками, как, помолвившись Богу на три стороны, низко поклонился покидаемому дому, а выехав за околицу, сдержал саврасок, вылез из тележки, еще раз помолился, еще раз покло-

нился деревне... Вот тихо рысцой запылел он по лучистой дорожке, что пролежала меж ярко-зеленых полос озими. Вот и скрылся в темном перелеске... Улеглась и пыль, взбитая звонкими копытами дареных лошадок, а Патап Максимыч все стоит у окна, все глядит на перелесок.

Пусто и безлюдно показалось ему в доме, когда воротился он с погоста, похоронив Настю... еще пустей еще безлюдней показалось ему теперь, по отъезде Алексея... Широкими шагами ходит Патап Максимыч взад и вперед по горнице. Громко стучат каблуки его по крашеному полу, дрожит и звенит в шкапах серебряная и фарфоровая посуда... Тяжкие думы объяли Чапурина... Не выходит из мыслей дочь-покойница, не сходит и обидчик с ума... Рад бы радешенек из мыслей вон его, да крепко засел в голове — ничем оттуда его не выбьешь, не выживешь... Все гребтится Патапу Максимычу: куда-то он денется, каково-то будет ему в чужих людях жить.

«Эх, грому на тя нет! — бранится сам про себя Патап Максимыч. — Малого времени подождать не мог!.. Что теперь наделал, пустая голова?.. И себе навредил, и ее погубил, и меня обездолил... Ежа бы те за пазуху!»

Опустилось солнышко за черную полосу темного леса; воротились мужики домой с полевой работы, торопились они засветло отужинать — после Николина дня грешно в избах огонь вздувать. Трифон Лохматый, сидя на лавке возле двери, разболокался¹, Фекла с дочерьми ставила на стол ужину... Вдруг к воротам подкатила пара саврасок.

Выглянула Фекла в окно, всплеснула руками. Бросив столешник, что держала в руках, накрывая стол для ужина, кинулась вон из избы с радостным криком:

— Алексеюшка!

— Кони-то знатные какие, надо быть хозяйские, — нараспев проговорила Параня, высунувшись до половины из среднего подъемного окна.

— Опять по делам, видно, послан, — проворчал разувавшийся Трифон.

¹ Раздевался.

Скрипнули ворота. Алексей въехал во двор и, не заходя в избу, хотел распрягать своих вятков, но мать была уже возле него. Горячо обнимает его, а сама заливается, плачет. Вся семья высыпала на крыльцо встречать дорогого неожиданного гостя.

— Куда Бог несет? — спросил Трифон у сына, когда тот перездоровался со всеми.

— Да по разным местам, батюшка, — отвечал Алексей. — Теперь покуда в Красну Рамень на мельницы... оттоль и сам не знаю куда.

— Как так? — удивился Трифон. — Едешь в путь, а куда тот путь, сам не ведаешь.

— На мельницах от хозяина приказ получу... А там, может, и на все лето уеду... На Низ, может, сплыву, — отвечал Алексей, привязывая саврасок оборотями к заду тележки.

Фекла всхлипнула.

— Приводится тебе, дитятко, спознавать чужую дальнюю сторону, — на голос причитанья завела было она, но Трифон унял жену.

— Заверещала, ничего не видя! — крикнул он. — Не в саван кутают, не во гроб кладут... Дело хорошее — дальняя сторона уму-разуму учит... Опять же Алёхе от хозяйских посылов отречься не стать... На край света пошлют, и туда поезжай.

— Чужбина-то ведь больно непотачлива, — горько молвила, утирая слезы, Абрамовна.

Не ответил Трифон старухе.

— Есть ли овес-то в запасе? — обратился он к сыну. — Не то возьми из клетки, задай лошадам, да пойдем ужинать. Знатные кони! — примолвил старик, поглаживая саврасок. — Небось дорого плачены.

Не сказал Алексей, что дорогие лошадки подарены ему Патапом Максимычем.

Хоть заботная Фекла и яичницу-глазунью ради сынка состряпала, хоть и кринку цельного молока на стол поставила, будничная трапеза родительская не по вкусу пришлась Алексею. Ел не в охоту, и тем опять прикручинил родную мать. Еще раз вздохнула Фекла Абрамовна, вспомнив, что сердечный ее Алешенька стал совсем отрезанным от семьи ломтем.

Ужин в молчании прошел. По старому завету за трапезой говорить не водится... Грех... И когда встали из-за стола и Богу кресты положили, когда Фекла с

дочерьми со стола принялись собирать, обратился Трифон Лохматый к сыну с расспросами.

— Долго ль у нас погостишь? — спросил он.

— Дело у меня, батюшка, спешное, — несмело и тихо ответил Алексей. — Заутре выехать надо.

Сроду впервые сказал перед отцом он неправду. Оттого и голос дрогнул немножко.

— Коли дело наспех, засиживаться нечего. С Богом, — отозвался Трифон.

— Одну только ноченьку и проночуешь, — плаксиво обратилась Фекла Абрамовна к сыну. — И наглядеться-то не дашь на себя!

Не ответил Алексей матери.

— Что у вас там в Осиповке-то приключилось? — перебил Трифон Абрамовну, садясь на лавку и обращаясь к сыну. — Беда, говорят, стряслась над Чапуриными? Дочку схоронили?

— Схоронили, — глухо ответил Алексей.

— Девица, сказывают, была хорошая, — вступилась Фекла... — Из себя такая, слышь, приглядная, и разумом, говорят, вышла. Мало, слышь, таких девиц на свете бывает.

Ни полслова на то Алексей. Сидит молча супротив отца, опутив на грудь голову...

— Тоскует, поди, Патап-от Максимыч? — спросил старик.

— Тоскует, — сквозь зубы промолвил Алексей, не поднимая головы.

— Как не тосковать? Как не тосковать? — вздыхая, подхватила Фекла Абрамовна. — До всякого доведись!.. Что корове теля, что свинье порося, что отцу с матерью рожоно дитя — все едино... Мать-то, поди, как убивается.

— Тоскует и мать, — подтвердил Алексей.

— Что же такое случилось с ней? — спросила Фекла Абрамовна. — Много всякого здесь плетут. Всех вещей не переслушаешь.

— Доподлинно не знаю, — ответил Алексей. — Дома меня в ту пору не было, на Ветлугу послан был. Воротился в самы похороны.

— Силом, слышь, замуж сердечную выдать хотели... За купца за какого-то за приезжего, — продолжала Фекла Абрамовна. — А она, слышь, с горя-то да с печали зельем себя опоила, не к ночи будь сказано.

— Ничего такого не было, — ответил Алексей, подняв голову. — Ни за кого выдавать ее не думали, а чтоб сама над собой что сделала — так это пустое вранье.

— Мало ль чего не плетут ваши бабьи языки, — строго промолвил жене Трифон Лохматый. — Не слыша слышат, не видя, а вестей напустят, смóтницы, что ни конному, ни пешему их не нагнать, ни царским указом их не поворотить... Пуговицы вам бы на губы-то пришить... Нечего тут!.. Спать ступайте, не мешайте нам про дело толковать.

Поворчав немного под нос, Фекла вышла из избы с дочерьми. Остался Трифон с сыном с глазу на глаз.

— Зачем на Ветлугу-то посылали? — спросил Трифон. — Аль и там дела у Чапурина?

— И там были дела, — неохотно сквозь зубы процедил Алексей.

— По мочалу аль по лубу?

— И по мочалу и по лубу, — молвил Алексей, смущаясь от новой лжи, отцу сказанной. Никогда ему даже на ум не впадало говорить отцу неправду или что скрывать от родителей... А теперь вот дошло до чего — что ни слово, то ложь!.. Жутко стало Алексею.

— Аль притомился? — спросил у сына Трифон. — Ишь глаза-то у тебя как слипаются.

— И то приустал, — молвил Алексей. — Целу ноченьку глаз не смыкал.

— Что так?

— Да с вечеру счета с хозяином сводили, — отвечал Алексей. — А там кой-чем распорядиться надобность была. Встал с солнышком — новому приказчику завененье сдавать.

— Как новому приказчику? — быстро спросил удивленный Трифон.

— Заместо меня другого взял Патап Максимыч. Григорья Филиппова не слыхал ли? Удельный из-под Городца откуда-то.

— А тебя как же? — тревожно спросил отец.

— Меня-то, кажись, по посылкам больше хочет, — смутясь пуще прежнего, сказал Алексей.

— По посылкам! — медленно проговорил Трифон и задумался. — Что же, как рядились вы с ним? Погодно аль по каждой посылке особь?

— Патап Максимыч не обидит, — ответил Алексей.

— Знаю, что не обидит, — заметил Трифон, — а все бы лучше договориться. Знаешь пословицу: «Уговор крепче денег»... Однакож прежню-то ряду сполна за тобой оставил аль по-новому как?

— Больше положил, — отвечал Алексей.

— Сколько?

— Два ста на серебро выдал вперед до осени, до Покрова, значит. Это на одни харчи... А коль на Низ поплыву, еще выслать обещал, — продолжал Алексей. — По осени полный расчет будет, когда, значит, возворочусь... Опять же у меня деньги его на руках.

— Где ляжешь? На повети? Али в чулане? — спросил Трифон.

— Да я бы в тележке, возле лошадок соснул. На воле-то по теперешнему времени легче, — ответил Алексей.

— В тележке так в тележке... Как знаешь, — согласился Трифон. — А деньги мне подай... На ночь-то схороню, не то всяко может случиться.

Алексей подал пачку, что на прощанье подарил ему Патап Максимыч.

Старик молча пересчитал деньги.

— Тысяча! Хозяйских, значит, тут восемьсот. Так ли? — сказал он сыну.

— Так точно, — ответил Алексей.

— Хозяйски деньги завсегда надо особь держать, — молвил Трифон. — Никогда своих денег с чужими не мешай — с толку можешь сбиться. Вот так, — прибавил он, отсчитав восемьсот рублей и завернув их в особую бумажку. — Деньги не малые — по нашему деревенскому счету, по старине то есть, две тысячи восемьсот... Да... Ну, а это твои? — спросил он, указывая на восемь четвертных.

— Мои батюшка, — проговорил Алексей.

И зажгло, защемило в то время у Алексея сердце. Пришло ему на ум, что ровно бы крадет он у отца восемьсот рублей.

— Много ль в дом-от оставишь? — спросил Трифон.

— Сколько велишь, батюшка, столько и оставляю. Я твой и вся власть надо мною твоя. В угодку будет, и все возьми — противиться не могу, — покорно отвечал Алексей.

— Без тебя знаю, что все могу взять, — сухо ответил Трифон. — Про то говорю: много ль тебе на про-

житок до новой получки потребуется. Сколько потребуется, столько и бери, остальные в дом...

— Да с меня, батюшка, было бы за глаза и пятидесяти целковых, — отвечал Алексей, чувствуя сильное волнение на сердце.

— Ладно, — молвил Трифон. — Пятьдесят так пятьдесят... Полтора ста целковых, значит, в дом?

— Так точно, батюшка, — подтвердил Алексей. — Да вот еще что наказывал Патап Максимыч тебе объявить. Скажи, говорит, родителю, что деньгами он мне ни копейки не должен. Что, говорит, не было вперед забрано — все, говорит, с костей долой.

— Полно ты? — с радостным удивленьем, вскакивая с лавки, воскликнул Трифон.

— Право слово, батюшка. Так и сказал — ни единой копейки родитель твой мне не должен.

Трифон обратился к божнице и положил иконам три земных поклона. Потом, сев на прежнее место, сказал Алексею:

— За такие великие милости должен ты, Алексеюшка, Патапа Максимыча словно отца родного всю жизнь твою почитать. Весь век по гроб жизни твоей моли за него творца небесного... Экие милости!.. Экие щедроты неслыханные!.. И чем, я дивлюсь, Алексеюшка, заслужил ты у него?.. Весь свет обойди — про такие милости нигде не услышишь... Подумай: шутка ли — двести рублей на Пасху подарил, теперь больше семисот долгу простил — ведь это почитай целая тысяча... Дай ему, Господи, доброго здоровья и души спасения!.. Экой человек-от!.. Экой человек!.. Почитай же его, Алексеюшка, почитай своего благодетеля. За добро добром платить надобно. Служи ему честно, верой и правдой... Пошли ему, Господи, всякого добра... Утешь, успокой его, царица небесная, во понешни слезовые дни родительской печали его!..

И, поднявшись с лавки, опять обратился Трифон к святому углу, опять положил три земных поклона за благодетеля своего Патапа Максимыча.

— Так из этих денег уж брать ли мне теперь? — с довольной улыбкой сказал Трифон, показывая на лежавшие особо восемь двадцатипятирублевых бумажек.

— Вся воля твоя, батюшка, — отозвался Алексей. — Я уж сказал тебе: хочешь, так все возьми.

— Чепухи не мели, когда отец про дело с тобой рассуждает, — строго сказал ему Трифон Михайлыч. — Не обидеть желаю, долг родительский справляю... Потому пустых слов не должен ты говорить... Постой, сам я смекну, сколько денег тебе надо... — До Покрова семнадцать недель: десять недель — семьдесят дён, да в семи неделях без одного пятьдесят. Значит, всего-на-все сто двадцать дён без одного. По целковому в день на харчи и на все тебе с залишком хватит... Значит, восемьдесят целковых в дом. До Покрова считаю, не до новой полочки... Понял?..

И, отложив восемьдесят рублей, Трифон спрятал все деньги в скрыню и запер ее в сундуке.

— Ну, Алексеюшка, — радостно сказал старик, — на эти восемьдесят целковых девкам приданое справим, тогда у нас в дому все по-прежнему станет, ровно бы злодеи нас и не забижали. А всё, парень, твоим трудом да разумом... Спасибо, родной, что помог отцу поправиться... Бог и добрые люди тебя за то не оставят, а от меня, старика, вот какая тебе речь пойдет. За то, что тебя я вырастил, за то, что вспоил-вскормил тебя, на ноги поставил тебя, ты мне сполна заплатил... В расчете, значит, с тобой, — прибавил старик, улыбаясь и глядя рукой сыновние кудри.

— Ведь я твой, батюшка, и все твое, — завел было прежнюю песню Алексей, но отец перебил его:

— А ты молчи да слушай, что отец говорит. На родителя больше ты не работник, копейки с тебя в дом не надо. Свою деньгу наживай, на свой домик копи, Алексеюшка... Таковы твои годы пришли, что пора и закон принять... Прежде было думал я из нашей деревни девку взять за тебя. И на примете, признаться, была, да вижу теперь, что здешние девки не пара тебе... Ищи судьбы на стороне, а мое родительское благословение завсегда с тобой.

— Батюшка, на другое хочу я твоего благословенья просить, — после долгого молчанья робко повел новую речь Алексей. — Живучи у Патапа Максимыча, торговое дело вызнал я, слава Богу, до точности. Счеты ль вести, другое ли что — не хуже другого могу...

— Так что же? — спросил Трифон.

— Поеду теперича я на Волгу, а там на Низ, может статься, сплыву, — продолжал Алексей. — Может, подходящее местечко выпасть, повыгоднее, чем у Патапа

Максими́ча... Благослови, батюшка, на такое место идти, коль такое найдется.

Нахмурился Трифон.

— Неладное, сынок, затеваешь, — строго сказал он. — Нет тебе на́ это моего благословенья. Какие ты милости от Патапа Максими́ча видел?.. Сколь он добр до тебя и милостив!.. А чем ты ему заплатить вздумал?.. Покинуть его, иного места тайком искать?.. И думать не моги! Кто добра не помнит, Бог того забудет.

— Не стал бы я, батюшка, говорить о том, когда б сам Патап Максимыч не советовал мне на стороне хорошего места искать.

— Что ж это такое? Разве ему ты неугоден стал?.. Ненадобен?.. Говори прямо, прогнал, что ли? — резко спросил Трифон у сына.

— Когда бы прогнал, денег бы не дал, долгов не скостил бы¹, — в сильном смущении отвечал отцу Алексей. — Сам видел, батюшка, какую сумму препоручил он мне.

«Ума не приложу», — раздумывал старик Лохматый.

— А если, говорил Патап Максимыч, свое дело вздумаешь зачинать, — продолжал Алексей, — от себя, значит, торговлю заведешь, письмо ко мне, говорит, пиши, на почин ссужу деньгами, сколько ни потребуется.

— В разум не возьму, что за человек этот Патап Максимыч, — молвил Трифон. — Ровно ты, парень, корнями обвел его... Не родня ты ему, не сват, не брат... За что же он так радеет о тебе... Что тут за притча такая?

Промолчал Алексей.

— Коли так, Бог тебя благослови, — помолчавши немалое время, сказал Трифон. — Ищи хорошего места. По какой же части ты думаешь?

— Пароходы хвалят теперь, батюшка, — ответил Алексей. — На пароходы думаю поступить... Если б те-перича мне приказчиком пароходным определиться — жалованье дадут хорошее, опять же награды каждый год большие... По времени, можно и свой пароходишко сколотить...

¹ Скостил — сложил с костей долой (на счетах), то же, что похерил, уничтожил, сквитал.

— Широко, брат, шагаешь — штанов не разорви, — молвил старый Трифон. — Пароход-от завести — не один, поди, десяток тысяч надо иметь про запас. Больно уж высоко ты задумал!..

— Патап Максимыч не оставит, — молвил Алексей.

— Нет, это уж больно жирно будет. Это уж совсем дело несбыточное, — сказал Трифон. — Как возможно, чтобы хоть и Патап Максимыч такими великими деньгами ссудил тебя!.. Не золотые же горы у него!.. Стать ли швырять ему тысячами?.. Этак-как раз прошвыряешься... А ты вздоров-то да пустых мыслей в голову не забирай, несодеянными думами ума не разблажай, веди дело толком... На пароходы, так на пароходы рядись, а всего бы лучше, когда б Патап Максимыч по своему великодушию небольшим капитальцем тебя не оставил, да ты бы в городе торговлишку какую ни на есть завел... Такое дело не в пример бы надежнее было.

— По времени и за торговлю можно будет приняться... не вдруг. Обглядеться надо наперед, — молвил Алексей.

— Вестимо дело, надо оглядеться, — согласился Трифон. — Твое дело еще темное, свету только что в деревне и видел... на чужой стороне поищи разума, поучись вокруг добрых людей, а там что Бог велит. Когда рожь, тогда и мера.

— Так искать, батюшка, на пароходе местечка-то? Патап Максимыч на пароходы больше советуют, — сказал Алексей отцу, выходя с отцом вон из избы.

— Ищи, коли Патап Максимыч советует. Худу не научит, — решил Трифон.

Целу ночь напролет сомкнуть глаз не мог Алексей. Сказанная отцу неправда паче меры возмутила еще не загложшую совесть его. Но как же было правду говорить!.. Как нарушить данное Патапу Максимычу обещанье? Ведь он прямо наказывал: «Не смей говорить отцу с матерью». Во всем признаться — от Патапа погибель принять...

Путаются у Алексея мысли, ровно в огневице лежит... И Настина внезапная смерть, и предсмертные мольбы ее о своем погубителе, и милости оскорбленного Патапа Максимыча, и коварство лукавой Марьи Гавриловны, что не хотела ему про место сказать, и поверивший обманным речам отец, и темная неизвестность будущего — все это вереницей одно за другим

проносится в распаленной голове Алексея и нестерпимыми муками, как тяжелыми камнями, гнетет встревоженную душу его...

На другой день, пообедавши, в путь снарядился. Простины были черствые... Только Фекла Абрамовна прослезилась, благословляя сына на разлуку. Сестры были неприветны; старик сдержан, суров даже несколько.

Решили, если выйдет Алексею хорошее место в дальней стороне, приезжал бы домой проститься, да кстати и паспорт года на два выправил.

Недолго, кажется, прогостил Алексей в дому родительском — суток не минуло, а неприветно что-то стало после отъезда его. Старик Трифон и в токарню не пошел, хоть была у него срочная работа. Спозаранок завалился в чулане, и долго слышны были порывистые, тяжкие вздохи его... Фекла Абрамовна в моленной заперлась... Параня с сестрой в огород ушли гряды полоть, и там меж ними ни обычного смеху, ни звонких песен, ни деревенских пересудов... Ровно замерло все в доме Трифона Лохматого.

Глава третья

Справивши дела Патапа Максимыча в Красной Рáмени, поехал Алексей в губернский город. С малолетства живучи в родных лесах безвыездно, не видавши ничего, кроме болот да малых деревушек своего околотка, диву дался он, когда перед глазами его вдруг раскинулись и высокие крутые горы, и красавец-город, и синее широкое раздолье матушки Волги.

Стояло ясное утро, когда он, приближаясь к городу, погонял приуставших саврасок. День был воскресный и базарный, оттого народу в праздничных одеждах и шло и ехало в город видимо-невидимо... Кто спешил поторговать, кто шел погулять, а кто и оба дела зараз сделать. Слыхал Алексей, что перевоз через Волгу под городом не совсем исправен, что паромов иной раз не хватает, оттого и обгонял он вереницу вozов, тяжело нагруженных разною крестьянской кладью и медленно подвигавшихся по песчаной дороге, проложенной середь широкой зеленой пóймы. На счастье подъехал он к берегу как раз в то время, как вернувшиеся с нагор-

ной стороны перевозчики стали принимать на паром «свежих людей»... Зачем так суетился, зачем хлопотал Алексей, зачем перебранивался с перевозчиками и давал им лишнюю полтину, лишь бы скорей переехать, сам то не ведал. Ровно в чаду каком был. Ровно толкало его вон из родного затишья заволжских лесов, ровно тянул его к себе невидимыми руками этот шумный и многолюдный город-красавец, величаво раскинувшийся по высокому нагорному берегу Волги.

Город блистал редкой красотой. Его вид поразил бы и не такого лесника-домоседа, как токарь Алексей. На ту пору в воздухе стояла тишь невозмутимая, и могучая река зеркалом лежала в широком лоне своем. Местами солнечные лучи огненно-золотистой рябью подергивали синие струи и круги, расходившиеся оттуда, где белоперый мартын успевал подхватить себе на завтрак серебристую плотвицу¹. И над этой широкой водной равниной великанами встают и торжественно сияют высокие горы, крытые густолиственными садами, ярко-зеленым дерном выровненных откосов и белокаменными стенами древнего Кремля, что смелыми уступами слетает с кручи до самого речного берега. Слегка тронутые солнцем громады домов, церкви и башни гордо смотрят с высоты на тысячи разнообразных судов от крохотного ботника до полуверстных коноводок и барж, густо столпившихся у городских пристаней и по всему плёсу².

Огнем горят золоченые церковные главы, кресты, зеркальные стекла дворца и длинного ряда высоких домов, что струной вытянулись по венцу горы. Под ними из темной листвы набережных садов сверкают красноватые, битые дорожки, прихотливо сбегające вниз по утесам. И над всей этой красотой высоко, в глубокой лазури, царем поднимается утреннее солнце.

Ударили в соборный колокол — густой малиновый³ гул его разлился по необъятному пространству... Еще удар... Еще — и разом на все лады и строи зазвонили

¹ Мартыном, или мартышкой, на средней Волге зовут птицу рыболова, чайку. Плотвица — небольшая рыбка, *Syrpinus idus*.

² Плёс, или плесо — колено реки между двух изгибов, также часть ее от одного изгиба до другого, видимая с одного места часть реки.

³ Малиновым зовут приятный, стройный звон колоколов или колокольчиков.

с пятидесяти городских колоколен. В окольных селах нагорных и заволжских дружно подхватили соборный благовест, и зычный гул понесся по высоким горам, по крутым откосам, по съездам, по широкой водной равнине, по неоглядной пойме лугового берега. На набережной, вплотную усеянной народом, на лодках и баржах все сняли шапки и крестились широким крестом, взирая на венчавшую чудные горы соборную церковь.

Паром причалил. Тут вконец отуманило Алексея. Сроду не впадало ему в голову, чтоб могло быть где-нибудь такое многолюдство, чтобы мог кипеть такой несмолкаемый шум, такая толкотня и бестолочь. Оглушающий говор рабочего люда, толпами сновавшего по набережной и сбиравшегося местами в огромные кучи, крики ломовых извозчиков, сбитенщиков, пирожников и баб-перекупок, резкие звуки перевозимого и разгружаемого железа, уханье крючников, вытаскивавших из барж разную кладь, песни загулявших бурлаков, резкие свистки пароходов — весь этот содом в тупик поставил не бывалого во многолюдных городах парня. Оглядевшись, стал он расспрашивать встречного и поперечного, как бы проехать ему на постоянный двор. Но, заметя в Алексее новичка, одни несли ему всякий вздор, какой только лез в их похмельную голову, другие звали в кабак, поздравить с приездом, третьи ни с того ни с сего до упаду хохотали над неловким деревенским парнем, угощая его доморощенными шутками, не всегда безобидными, которыми под веселый час да на людях любит русский человек угостить новичка. У баб спросил Алексей про постоянный двор — а те хватают его за кафтан и норовят всучить ему студени с хреном, либо вареных рубцов, либо отслужившие срок солдатские штаны и затасканную кацавейку; другие, что помоложе, улыбаются масляной улыбкой и, подмигивая, зовут в харчевню для праздника повеселиться. Подвернулись и лошадиные барышники, один, видимо, цыган, другой забубенный барин в военном сюртуке с сиплым голосом, должно быть, спившийся с кругу поручик, и двое мещан-кулаков в красных рубахах и синих поддевках. Не слушая Алексея, что кони его не продажные, они смотрят им в зубы, гладят, подхлывают, мнут бока, оглядывают копыта и зовут парня в трактир покончить дело, которого тот и начи-

нать не думал. То и дело ощупывая тайник¹ и оглядывая своих вятков, насилу отделался Алексей от незваных покупателей, и то лишь с помощью пригрозившего им городского. Пуще отца родного возрадовался Алексей знакомому мужичку, что великим постом ряжён был Патапом Максимычем по последнему пути свезти остаток горянщины на Городецкую пристань.

— Дядя Елистрат!.. Земляк!.. — крикнул он ему, не выпуская из рук поводя коренной савраски. — Яви божескую милость — подь сюда.

Медленным шагом подошел к нему дядя Елистрат и спервоначалу не признал Алексея.

— Меня, что ль, кликал мóлодец? — спросил он.

— Аль не узнал меня, дядя Елистрат? — заискивающим голосом заговорил Алексей. — Ведь ты постом посуду возил из Осиповки? Чапуринскую, Патапа Максимыча?

— Мы-ста возили. Да ты кто ж такой будешь? — спросил Елистрат.

— А приказчик-от ихний, Алексей-от Трифионов. Помнишь?.. Аль запоматовал?

— И впрямь дело, ты! — молвил Елистрат. — Ну, паря, подобрел же ты и прикраснел. В жизнь бы не узнать... как есть купец-молодец.

— Какой купец! — отозвался Алексей. — Далеко еще до купцов-то.

— Всякие, молодец, бывают купцы, — засмеялся дядя Елистрат. — По здешним местам есть таки купцы, что продают одни рубцы, да сено с хреном, да еще суконны пироги с навозом... Ты не из таковских... Первостатейным глядишь.

Стоявшие кругом громко захохотали. Дядя Елистрат как собака на них накиннулся. Человек бывалый и к тому ж не робкого десятка.

— Чего галдеть-то, дуй вас горой!.. Коему лешему возрадовались? — задорно крикнул он, засучивая на всякий случай правый рукав. — Земляки сошлись промеж себя покалякать, а вы — лопнуть бы вам — в чужое дело поганое свое рыло суετε!.. О!.. Рябую б собаку вам на дуван². Провалиться бы вам, чертям этаким!.. Подступись только кто — рыло нá сторону!..

¹ Тайник — бумажник с деньгами.

² Дуван — дележ добычи.

Смекнули шутники, что дядя Елистрат человек опытный. Подобрать-поздорову один за другим в сторонку.

— Научи ты меня Христа ради, земляк, как мне отселева до постоянного двора добраться? В городе отродясь не бывал, ничего-то не знаю, никого-то знакомых нет — очутился ровно в лесу неизвестном, — умолял Алексей дядю Елистрата.

— На постоянный тебе? — сказал дядя Елистрат, ухватясь рукою за край Алексеевой тележки. — А ты вот бери отселева прямо... Все прямо, вдоль по набережной... Переулок там увидишь налево, налево и ступай. Там улица будет, на улице базар; ты ее мимо... Слышь? Мимо базара под самую, значит, гору, тут тебе всякий мальчишка постоянный двор укажет. А не то поедем заодно, я те и путь укажу и все, что тебе надобно, мигом устрою.

И, не дождавшись ответа, взобрался дядя Елистрат на тележку и развалился на персидском ковре, покрывавшем сидение.

— Пошел! — крикнул он присевшему сбоку облучка Алексею. — Прямо пошел!.. Эй, вы, калина с малиной, красна смородина!

Запрыгала тележка по булыжной мостовой, вдоль и вкось изрытой промоинами и рытвинами, и вскоре земляки добрались до постоянного двора. Не мог отказать Алексей от докучного дяди Елистрата, не рад был, что и связался с ним. Хотя ни на пристани, ни на базаре ничего он не покупал, ничего и не продал, однако дядя Елистрат счел нужным сорвать с Алексея магарыч, sprysнуть, значит, счастливый приезд его в город. Делать нечего, должен был Алексей угощать земляка, указавшего путь-дорогу к постоянному двору. Чутьем ли пронюхал, по другому ль чему смекнул дядя Елистрат, что чапуринский приказчик при деньгах, и повел он его не в кабак, не в белую харчевню, а в стоявшую поблизости богатую гостиницу, куда его в смуром кафтане едва-едва пропустили.

В глазах зарябило у Алексея, робость какая-то на него напала, когда, взобравшись по широкой лестнице, вошел он с дядей Елистратом в просторные, светлые комнаты гостиницы, по случаю праздника и базарного дня переполненные торговым людом. Горницы Патапа

Максими́ча, бывшие до тех пор Алесею за ди́ковину, в сравнении с этими показались темными кле́вухами. Покои двухсаженной вышины, оклеенные пестрыми, хоть и сильно загрязненными обоями, бронзовые люстры с подвесными хрусталями, зеркала хоть и тускловатые, но возвышавшиеся чуть не до потолка, триповые, хотя и закопченные занавеси на окнах, золоченые карнизы, расписной потолок, — все это непривычному Алексею казалось такою роскошью, таким богатством, что в его голове тотчас же сверкнула мысль: «Эх, поладить бы мне тогда с покойницей Настей, повести бы дело не как у нас с нею случилось, в таких бы точно хоромах я жил...» Все дивом казалось Алексею: и огромный буфетный шкаф у входа, со множеством полок, уставленных бутылками и хрустальными графинами с разноцветными водками, и блестящие медные тазы по сажени в поперечнике, наполненные кусками льду и трепетавшими еще стерлядями, и множество столиков, покрытых грязноватыми и вечно мокрыми салфетками, вокруг которых чинно восседали за чаем степенные «гости», одетые наполовину в сюртуки, наполовину в разные сибирки, кафтанчики, чапаны и поддевки. Дивуется небывалый новичок низким поклонам, что ему, человеку заезжему, незнакомому, отвешивают стоящие за буфетом дородные приказчики и сам сановитый хозяин с дорогими перстнями на пальцах и с золотой медалью на застегнутой наглухо бархатной жилетке. Дивится пестрой толпе бойких, разбитных половых, что в белых миткалёвых рубахах кучкой стоят у большого стола середь комнаты и, зорко оглядывая «гостей», расправляют свои бороды или помахивают концами перекинутых через плеча полотенец. При входе Алексея с дядей Елистратом они засуетились, и один ровно оторвавшись от кучки товарищей, немилосердно передергивая плечами и размахивая руками, подвел «новых гостей» к порожнему столику, разостлал перед ними чистую салфетку и, подпершись о бок локотком, шепеляво спросил, наклоня русую голову:

— Чем потчевать прикажете?

— Перво-наперво собери ты нам, молодёц, четыре пары чаю, да смотри у меня, чтобы чай был самолучший — цветочный... Графинчик поставь, — примолвил дядя Елистрат.

— Какой в угодность вашей милости будет? Рябино-

вой? Листовки? Померанцевой? Аль, может быть, все-российского произведения желаете?

Дядя Елистрат пожелал всероссийского произведения, и минуты через три ловкий любимовец¹, ровно с цепи сорвавшись, летел уж к своим гостям. Одной рукой подняв выше головы поднос с чашками и двумя чайниками, в другой нес он маленький подносик с графинчиком очищенной и двумя объемистыми рюмками. Ловко бросив подносы один за другим на столик, отошел он к среднему столу и там, подбоченясь фертотом, стал пристально разглядывать Алексея с Елистратом.

Алексей в гостиницу пошел неохотно. Если бы дядя Елистрат чуть не силком затащил его, ни за что бы на свете не переступил он порога ее. С раннего детства наслушался он от отца с матерью и от степенных мужиков своей деревни, что все эти трактиры и харчевни заведены молодым людям на пагубу, что там с утра до ночи идет безобразное пьянство и буйный разгул, что там всякого, кто ни войдет туда, тотчас обокрадут и обопыют, а иной раз и отколотят ни за что ни про что, а так, здорово живешь. Старухи келейницы, жившие в доме у его родителей для обучения ребятишек грамоте, называли трактиры корчемницами, по действию диаволу поставленными от слуг антихриста ради уловления душ христианских. Вообще посещение таких заведений Алексей почитал делом позорным, и беспокойно было у него на сердце, когда уселся он с дядей Елистратом за отведенный услужливым половым столик. Но вот окидывает он глазами — сидят все люди почтенные, ведут речи степенные, гнилого слова не сходит с их языка: о торговых делах говорят, о ценах на перевозку кладей, о волжских мелях и перекатах. Неподалеку двое, сидя за селянкой, ладают дело о поставке пшена из Сызрани до Рыбной; один собеседник богатый судохозяин, другой кладчик десятков тысяч четвертей зернового хлеба. С другого бока сидит за чаем старик с двумя помоложе, разговор идет у них об отправке к Калужской пристани только что купленной им на пермских ладьях соли. Там идет речь о Телячьем Броде и Харчевинском пере-

¹ В трактирах приволжских городов и в обеих столицах половыми служат преимущественно уроженцы Любимского уезда Ярославской губернии.

кате ¹, там о ценах на харчи в верховых городах, там о починке поломанной встречным пароходом коноводки, а там еще подальше расспрашивают какого-то армянина, много ль в Астрахани чихирю заготовлено для отправки к Макарью. Разговоры все деловые, путные. Прислушиваясь к ним, Алексей смотрит бодрее, на душе у него становится спокойней, пожалуй, хоть и спасибо сказать дяде Елистрату, что привел его в такое место, где умные люди бывают, где многому хорошему можно научиться.

Покончили лесовики с чаем; графинчик всероссийского целиком остался за дядей Елистратом. Здоров был на питье — каким сел, таким и встал: хоть в одном бы глазе.

— А что, земляк, не перескусить ли нам чего по малости? — спросил он Алексея, вздумав сладко поесть да хорошенько выпить на даровщинку.

— По мне, пожалуй, — согласился Алексей. — Теперь же время обедать.

Дядя Елистрат постучал ложечкой о полоскательную чашку, и, оторвавшись от среднего стола, лётом подбежал половой.

— Сбери-ка, молодёц, к сторонке посуду-то, — сказал ему дядя Елистрат, — да вели обрядить нам московскую селянку, да чтоб было поперчистей да покислей. Капусты-то не жалели бы.

— С какой рыбкой селяночку вашей милости требуется? — с умильной улыбкой, шепеляво, тоненьким голоском спросил любимовец.

— Известно с какой!.. — с важностью ответил дядя Елистрат. — Со стерлядью да со свежей осетриной... Да чтоб стерлядь-то живая была, не снулая — слышишь?.. А для верности подь-ко сюда, земляк, — сказал он, обращаясь к Алексею, — выберем сами стерлядку-то, да пометим ее, чтоб эти собачьи дети надуть нас не вздумали.

И, подойдя к медному тазу с рыбой, выбрал добрую стерлядь вершков одиннадцати и пометил рыбу, ударив ее раза два ножом по голове, да кстати пырнул и в бок острием.

— Так-то вернее будет, — примолвил дядя Елистрат. — Теперь не могут подменить — разом могу под-

¹ Большие мели на Волге.

лог приметить. Здесь ведь народец-то ой-ой! — прибавил он, наклоняясь к Алексею. — Небывалого, хоть тебя, к примеру, взять, оплетут как пить дадут — мигнуть не успеешь. Им ведь только лясы точить да людей морочить. Любого возьми — из плута скроён, мошенником подбит!.. Народ отпетый!..

— Напрасно, ваше степенство, обижать так изволили, — ловко помахивая салфеткой и лукаво усмехаясь, вступился любимовец. — Мы не из таковских. Опять же хозяин этого очень не любит, требует, чтобы все было с настоящей, значит, верностью... За всякое время во всем готовы гостя уважить со всяким нашим почтением. На том стоим-с!..

— Знаем мы вашего брата, знаем!.. — отшучивался дядя Елистрат. — Из Любима города сам-от будешь?

— Так точно-с, любимовские, — заодно тряхнув кудрями, с лукавой ужимкой ответил половой.

— Значит — «Не учи козу, сама стянет с возу, а рука пречиста все причистит»¹. Так, что ли, молодец? — продолжал свои шутки дядя Елистрат.

— А сами-то из каких местов будете? — развязно и с презрительной отчасти усмешкой спросил половой.

— Мы, брат, из хорошей стороны — из-за Волги, — ответил Елистрат.

— Значит — «Заволжска кокура, бурлацкая ложка, теплый валеный товар»... Еще что вашей милости потребуется? — ввернул в ответ любимовец, подбоченясь и еще зазорней тряхнув светло-русыми, настоящими ярославскими кудрями.

— Ах ты, бабий сын, речистый какой пострел! — весело молвил дядя Елистрат, хлопнув по плечу любимовца. — Щей подай, друг ты мой сердечный, да смотри в оба, чтобы щи-то были из самолучшей говядины... Подовые пироги ко щам — с лучком, с мачком, с перечком... Понимаешь?.. Сами бы в рот лезли... Слышишь?.. У них знатные щи варят — язык проглотишь, — продолжал дядя Елистрат, обращаясь к Алексею. — Еще-то чего пожую, земляк?

— По мне все едино, заказывай, коли начал, — ответил Алексей.

— Гуся разве с капустой?.. А коль охота, так и жареного поросенка с кашей мигом спроворят. Здесь,

¹ Шуточная поговорка про любимовцев.

брат, окромя птичьего молока, все есть, что душе твоей ни захочется... Так али нет говорю, молодец? — прибавил он половому, снова хлопнув его по плечу дружески, изо всей мочи.

— Все будет в самой скорой готовности, что вашей милости ни потребуется, — бойко подхватил любимовец, отстороняясь, однако, от назойливых ласк наянливого дяди Елистрата.

— Разве еще селянку заказать? Из почек? — спросил Алексея знакомый с трактирными кушаньями дядя Елистрат.

— Пожалуй, — равнодушно ответил Алексей.

— Валяй! — крикнул Елистрат половому. — Да чтоб у меня все живой рукой поспело — тотчас!.. Стрижена девка косы б не успела заплести!.. Вот как!..

— Значит: щей, да селяночку московскую, да селяночку из почек, да пирогов подовых, да гуся с капустой, да поросенка жареного, — скороговоркой перебирал половой, считая по пальцам. — Из сладкого чего вашей милости потребуется?

— Девки, что ль, к тебе есть-то пришли? — захохотал дядя Елистрат. — Сладким вздумал потчевать!.. Эх ты, голова с мозгом!.. А еще любимец-невыдавец!.. Вместо девичья-то кушанья мадерцы нам бутылочку поставь, а рюмки-то подай «хозяйские»: пошире да поглубже. Проворь же, а ты, разлюбезный молодец, проворь поскорее.

Алексею обед понравился, пришлась по вкусу и мадера ярославского произведения изо всякой всячины знаменитых виноделов братьев Соболевых¹. Но как ни голоден, как ни охоч был дядя Елистрат до чужих обедов, всего заказанного одолеть не смог. Гусь остался почти нетронутым. Дядя Елистрат по горло сыт, но глаза еще голодны, и потому, нимало сумняся, вынул из-за пазухи синий бумажный платок и, завязав в него гуся, сунул в карман — полакомиться сладким кусом на сон грядущий.

Половые пересмеялись.

— Кармашки-то не извольте засалить, — сказал один

¹ В разных городах из русского чихиря делают иностранные вина в огромном количестве. Особенно замечательны были такие производства братьев Соболевых в Ярославле, Зызыкина и Терликова в городе Кашине.

из них, по-видимому, на́больший, опираясь на середний стол закинутыми назад руками.

— Не крадено беру, пла́ченное... Что зубы-то скалишь?.. Аль самому захотелось? — огрызнулся на него дядя Елистрат, запуская в карман и остатки поросенка.

— Мы не собачьей породы — объедками нашего брата не удивишь, — презрительно отозвался на́больший, и ровным медленным шагом отошел в сторону.

— Ерихоны, дуй вас горой!.. Перекосило б вас с угла на угол, — бранился дядя Елистрат, кладя в карманы оставшиеся куски белого и пеклеванного хлеба и пару соленых огурцов... — Ну, земляк, — обратился он к Алексею, потягиваясь и распуская опояску, — за хлеб, за соль, за щи спляшем, за пироги песенку споем!.. Пора, значит, всхрапнуть маленько. Стало брюхо что гора, дай Бог добрость до двора.

Алексей не отвечал. В самую ту минуту из соседней комнаты разлились стройные звуки органа, только что привезенного из Москвы и что-то очень дорого стоившего... Орган был на редкость... Чтобы послушать его, нередко в ту гостиницу езжали такого даже сорта люди, что высидеть час-другой середь черного народу считают за Бог весть какое бесчестье. Сама губернаторша, как дошли до нее слухи о «дивном оркестрионе», возгорела желанием насладиться его звуками и по этому случаю пригласила к себе на вечер чуть не полгорода. Оказалось, однако, что, несмотря на все старания полицеймейстера и городского головы, музыкальное диво в губернаторский дом перевезти было невозможно. Тогда было отдано приказанье хозяину в такой-то день в гостиницу никого не пускать, комнаты накурить парижскими духами, прибрать подальше со столов мокрые салфетки, сготовить уху из аршинных стерлядей, разварить трехпудового осетра, припасти икры белужьей, икры стерляжьей, икры прямо из осетра, самых лучших донских балыков, пригласить клубного повара для приготовления самых тонких блюд из хозяйских, разумеется, припасов и заморозить дюжины четыре не кашинского и не архиерейского¹,

¹ Архиерейским называли в прежнее время шипучее вино, приготовляемое наподобие шампанского из астраханского и кизлярского чихиря в нанимаемых виноторговцами Макарьевской ярмарки погребах архиерейского дома в Нижнем Новгороде.

а настоящего шампанского. Насчет плодов не велено беспокоиться: губернский предводитель из своих подгородных теплиц обещался пожертвовать и персики, и сливы, и абрикосы, и что-то еще в этом роде. Хозяин гостиницы, разумеется, остался в накладе, зато удостоился чести принимать у себя «самолучшую публику», что ее ни было в городе, и с сердечным умилением, ровно ко святым мощам, благоговейно приложиться толстыми губами к мякотьной, крошечной, благоуханной ручке ее превосходительства. Хоть не раз после такого счастья чесал он там, где в часы невзгоды любит чесать себя русский человек, однако был услажден не только целованием ручки у губернаторши, но и размашистыми ласками полицеймейстера. Полковник, похлопав купчину по плечу, с шутиливой речью и юркой развязностью гвардейского штаб-офицера, ткнул его пальцем в объемистый живот и обещался на днях же заехать в нему на дом поиграть в тринку и посоветоваться насчет предстоявшего выбора в городские головы. В заключение полицеймейстер объявил, что добровольного пожертвования на детский приют с хозяина гостиницы в нынешнем году не потребуются и не пришлют ему от губернаторши толстой пачки билетов на концерт в пользу дамского благотворительного общества. Обрадованный купец, кланяясь в пояс, благодарил за такие великие милости. Угощение бояр и закрытие на целый день гостиницы сполна окупались обещанными льготами, избавляя от пожертвований, ежегодно делаемых российским купечеством добровольно, то есть наступая на горло.

Ровными, согласными волнами льются величавые звуки «Жизни за царя». Непривычному, неразвитому слуху непонятна вся прелесть художественной музыки, недоступно наслаждение потрясающими чувства и возвышающими дух созвучиями; но вечно юная, вечно прекрасная музыка Глинки обаятельно действует на русского человека, стой он на высоте развития или живи полудикарем в каком-нибудь безвестном захолустье. Будь он самый грубый, животный человек, но если в душе его не замерло народное чувство, если в нем не перестало биться русское сердце, звуки Глинки навеют на него тихий восторг и на думные очи вызовут даже невольную сладкую слезу, и эту слезу, как заветное сокровище, не покажет он ни другу-приятелю.

лю, ни отцу с матерью, а разве той одной, к кому стремятся добрые помыслы любящей души... В этих звуках так много заветного, так много святого скрыто для русского человека. Слышатся в них и глухой перекатный шум родных лесов, и тихий всплеск родных волн, и веселые звуки весенних хороводов, и последний замирающий лепет родителя, дающего детям предсмертное благословенье, и сладкий шепот впервые любимой девушки, и нежный голос матери, когда, бывало, погруженная в думу о судьбе своего младенца, заведет она тихую, унылую песенку над безмятежной его колыбелью... И тут же, рядом с заунывною, веками выстраданною песней, вдруг грянет громогласное, торжественное, к самому небу парящее величанье русской хлеб-соли и белого царя православного.

Не алая заря по небу разгорается, не тихая роса на сыру-землю опускается — горит, пылает лицо белое, молодецкое, сверкает на очах слеза незваная.

И взгрустнулось от той музыки Алексею... Настеньку вспомнил, красоту ее неописанную, речи ее тихие, любовные, ласки ее нежные, судьбу ее вспомнил горькую... Хоть бы в Волгу головой, так в ту же пору.

Облокотясь на стол, закрыл он глаза ладонью, а дядя Елистрат, постукивая пальцами по столу, исподтишка взглядывал на земляка и лукаво усмехался.

— Захмелел, — молвил он. — Пойдем-ка, Алексей Трифонович... Пора на боковую... Так-то не в пример лучше — теперича это будет пользительно.

На этих словах кончилась музыка. Алексей ровно ото сна очнулся... Размашисто тряхнул он кудрями и, ни словом, ни взглядом не ответив дяде Елистрату, спешной походкой направился к буфету, бросил хозяйину гостиницы бумажку и, не считая сдачи, побежал вон из гостиницы.

Дён через пять огляделся Алексей в городе и маленько привык к тамошней жизни. До смерти надоел ему охочий до чужих обедов дядя Елистрат, но Алексей скоро отделался от его наянливости. Сказал земляку, что едет домой, а сам с постоянного двора перебрался в самую ту гостиницу, где обедал в день приезда и где впервые отроду услышал чудные звуки органа вызвавшие слезовую память о Насе и беззаветной любви ее, — звуки, заставившие его помимо воли заглянуть в глубину души своей и устыдиться черноты ее и грязи.

Но такое доброе настроение скоро миновало. Куда ни пойдет Алексей, где ни вздумает прислушаться к людским толкам, везде одни и те же речи: деньги, барыши, выгодные сделки. Всяк хвалится прибылью, пуще смертного греха боится убыли, а несправедливой наживы ни один человек в грех не ставит.

Вот сидит Алексей за чаем на том самом месте, где намеренно обедал с дядей Елистратом. Орган играет по-прежнему, но звуки его летят мимо ушей Алексеевых, досаждают даже ему, мешая прислушиваться к чужим разговорам. А разговоры заманчивые, толкуют про пользы да выгоды, про то рассказывают, как люди в немногие годы наживаются. Про откупа говорят, про золотые промыслы, про казенные подряды, про займы и ловкие банкротства, даже про разбои и перевод поддельных бумажек. И никто из собеседников не порицает людей, разжившихся грехом да неправдой, всяк дивится ловкости их, находчивости, умению денегу сколотить да концы схоронить...

Слышит один день такие разговоры, слышит другой — и пуще прежнего забродили у него в голове думы о богатстве, привольной жизни и людском почете со всех сторон... Но как достичь такого богатства?.. Как добыть его скоро, сейчас же?.. Откупа, золотые прииски, казенны подряды не с руки Алексею: ими начинать, надо большие деньги иметь в руках. Отчего бы, пожалуй, и банкротом не объявиться, нахватавши побольше займов, да какой же дурак незнакомому человеку поверит хоть самые малые деньги?.. Насчет разбоев и «красноярков»¹ страшно. Был еще Алексей малым ребенком, как однажды двое пьянчуг мужиков из их деревни вздумали при безденежье ради выпивки на счет проезжавшей с ярмарки дьяконицы пожить... И через год с небольшим привезли под караулом в Поромово обоих воров да плечистого, краснолицего мужика, в красной рубахе, с зверским лицом. И как же крошил он мясо на спинах пьянчуг... Поминать даже страшно!.. Не забыл Алексей и лязга кандалов на Стуколове и на всей честной красноярской братии... Нет, страшно!.. Мимо!.. Мимо!..

Но что же делать, за что приняться?.. Не жить же в городе без толку, тратя деньги по-пустому?..

¹ Фальшивые кредитные билеты.

Опять и опять вспоминает Алексей слова Патапа Максимыча про Марью Гавриловну... «Вздумала торги заводить, вздумала пароходы покупать — приказчика ищет». Тогда смутили его эти слова, не выходили они и теперь из памяти. Отчего же Марья Гавриловна сама не сказала про то, когда встретилась с ним в светлице Настиной?.. Брату в Казань писать обещалась, не найдется ли у него подходящего места, а про свои намеренья хоть бы заикнулась. Значит, другой есть у ней на примете... Отчего же так испугалась она, когда Алексей вошел в светлицу, отчего зарделась и глаза опустила, а потом так порывисто вздыхала, так умильно улыбалась, так любовно на него глядела?.. Видно, это только баловство одно было — дай, мол, потешусь над парнем, пущай забирает себе невесть чего в голову.

Так порешил Алексей: «В Комаров не ездить, Марью Гавриловну из мыслей вон...» Ну ее! Пропадай она со всем лукавством своим.

Каждый вечер до полночи бродил Алексей взад и вперед по своему «номеру». Об одном думы раскидывает — как бы разбогатеть поскорей, достичь житься-бытья привольного. «Эх, как бы эта гора была да золотая, — думал он сам про себя, глядя на кручу¹, поднимавшуюся перед его окнами, — раскопал бы ее своими руками, вынул бы из земли несметное богатство, зажил бы всем на славу и удивленье!.. Поклонился б мне тогда народ православный, а я бы житием своим утешался, построил бы каменны палаты, с утра до ночи у меня пиры бы пировали, честь мою и богатство прославляли!..» Эх! мало ли чего не придумает бедный человек, жаждущий довольства и привольной жизни!..

И на пристани, и в гостинице, и на хлебной бирже прислушивается Алексей, не зайдет ли речь про какое местечко. Кой у кого даже выпрашивал, но все понапрасну. Сказывали про места, да не такие, какого хотелось ему. Да и на те с ветру людей не брали, больше все по знакомству либо за известной порукой. А его ни едина душа во всем городе не знает, ровно за тридевять земель от родной стороны он заехал. Нет добрыхотов — всяк за себя, и не то что чужанина, земляка — и того всяк поровит под свой ноготь гнуть.

¹ Отвесная, стоймя стоящая гора.

Не с кем словом перекинуться, не с кем по душе побеседовать — народ все черствый, недобрый, неприветливый. У каждого только и думы, что своя выгода... Тяжело приходилось горемычному Алексею.

И вспомнил он рассказы келейниц, учивших его грамоте, про этот город, про эти каменные стены и про заклатье, святым мужем на них наложённое. Еще в ту пору, как русская земля была под татарами, ради народного умиренья проходил в орду басурманскую святитель Христов Алексей, митрополит московский. Проходил чудотворец свой путь не во славе, не в почести, не в своем святительском величии, а в смиренном образе бедного странного человека... Подошел святитель к городу, перевозчики его не приняли, перевезти через реку не восхотели, видя, что с такого убогого человека взять им нечего, и невидимо мирским очам на речные струи быстрые распростер чудотворец свою мантию. И на той мантии переплыл на другую сторону. А там на берегу бабы белье моют; попросил у них свят муж милостинки, они его вальками избили до крови... Подошел свят муж к горе набережной, в небеси гром возгремел, и пала на ту гору молонья палючая, и из той горы водный источник струю пустил светлую. У того родника чудотворного укрухом черствого хлеба святитель потрапезовал, богоданной водицей увлажил пересохшие уста свои. И прозвалась та гора «Гремячею», и тот источник до сего дня из нее течет... Хоть и видели злые люди божье знамение, но и тут свята мужа не могли познать, не честью согноли его со источника, и много над ним в безумии своем глумилися. Искал святитель ночлега, ночь ночевать, ходил от дому до дому — нигде его не приняли. И тогда возмутилась святая душа, — возрев на каменные стены кремлевские, таково заклатье изрек: «Город каменный — люди железные!»

«И до сих пор, видно, здесь люди железные, — бродило в уме Алексеевом. — Дивно ль, что мне, человеку странному, захожему, не видать от них ни привета ни милости, не услышать слова ласкового, когда Христова святителя встретили они злобой и бесчестием?» И взгрустнулось ему по родным лесам, встосковалась душа по тихой жизни за Волгою. Уныл и пуст показался ему шумный, многолюдный город.

— Какими это судьбами? Давно ль в наших пале-

стинах? — широко разводя руками, вскрикнул Сергей Андреич Колышкин, завидя Алексея на набережной.

— Друга́ неделя пошла, — снимая картуз, ответил ему Алексей.

— Что ж ты, парень, до сей поры ко мне не заглянешь? Ах ты, лоботряс этакой!.. Ну что крестный?.. Здоров ли?.. Перестает ли тосковать помаленьку?.. Аль все по-прежнему?

— Давно уж не видал я его, — ответил Алексей. — Четверта неделя, как выехал я из Осиповки.

— Где ж побывал?

— Да в Красну Рамень хозяин посылал на мельницы, оттоль вот сюда приехал.

— Из Красной-то Рамени крупчатку, что ль, куда ставите? — спросил Колышкин.

— Нешто́, — подтвердил Алексей.

— По-моему, не надо бы торопиться — выждать бы хорошей цены, — заметил Сергей Андреич. — Теперь на муку цены шибко пошли под гору, ставят чуть не в убыток... В Казани, слышь, чересчур много намололи... Там, брат, паровые мельницы заводить теперь стали... Вот бы Патапу-то Максимычу в Красной Рамени паровую поставить. Не в пример бы спорей дело-то у него пошло. Полтиной бы на рубль больше в карман приходилось.

— Известно, — согласился Алексей.

— Говорил я ему намердн, — продолжал Колышкин, — да в печалях мои слова мимо ушей он пустил.

Промолчал Алексей.

— Однако покаместь прощай, — молвил Сергей Андреич, хлопнув по плечу Алексея. — У меня сегодня пароход отваливает... Некогда... Заходи ко мне — покалякаем. Дом-от мой знаешь?

— Нет, не знаю, — отвечал Алексей.

— А у Ильи пророка. Вот в полугоре-то церковь видишь: золочена глава, — говорил Сергей Андреич, указывая рукой на старинную одноглавую церковь. — Поднимись в гору-то, спроси дом Колышкина — всякий укажет. На правой стороне, каменный двухэтажный... На углу.

— Слушаю, Сергей Андреич, беспреренно побываю, — отвечал Алексей, кланяясь Колышкину.

Сергей Андреич пошел было дальше по набережной, но шагах в пятнадцати от Алексея встретил пол-

ного, краснолицего, не старого еще человека, пышущего здоровьем и довольством. Одет он был в свежий, как с иголочки, летний наряд из желтоватой бумажной ткани, на голове у него была широкополая соломенная шляпа, на шее белоснежная косынка. Борода тщательно выбрита, зато отпущены длинные русые шелковистые бакенбарды. Встретя его, Колышкин остановился.

Слушает Алексей разговор их... Ни слова не может понять. Говорили по-английски.

«Надо быть, не русский, — подумал Алексей. — Вот, подумаешь, совсем чужой человек к нам заехал, а матушка русска земля до усов его кормит... А кровному своему ни места, ни дела!.. Ишь, каково спесиво на людей он посматривает... Ишь, как перед нехристом народ шапки-то ломит!.. Эх ты, Русь православная! Заморянину — родная мать, своим детушкам — злая мачеха!..»

И в досаде, тихими стопами, опустя голову, побрел он в гостиницу.

Глава четвертая

На другой день, только что отпели вечерню, пошел Алексей искать дом Сергея Андреича. Отыскать его было не трудно. Только что поднялся он к Ильинской церкви и у первого встречного спросил про дом Колышкина, ему тотчас его указали. Дом большой, каменный, в два яруса, с зеркальными стеклами в окнах, густо уставленных цветами, с резными дубовыми дверями подъезда. Сквозь высокую чугунную решетку, заменявшую забор, виднелся широкий чистый двор с ярко-зеленым дерном, убитыми толченым кирпичом дорожками и небольшим водометом. Среди двора важно расхаживала красивая птица, распутив широкий хвост, блестящий на солнце золотыми и зелеными переливчатыми перьями. Сроду не видавший павлинов, как чуду дивился, глядя на него, Алексей. Дивуется, а сам на хоромы Сергея Андреича взглядывает да заветную думу свою думает: «Разжиться бы вволю, точь-в-точь такие палаты построил бы!»

Несмелыми шагами, озираясь на стороны, взошел Алексей на крыльцо колышкинского дома, взялся за дверную ручку — хватить, а дверь на запоре... Как

быть?.. Спросить некого — на дворе, кроме павлина, ни единой души. Заглянул за угол дома, а там такое же крыльцо, такая же дверь, и тоже запертая. В окошко бы по-деревенскому стукнуть — высокó, не достанешь... «Крепко же в городе живут, — подумал Алексей, — видно, здесь людям не верь да запирай покрепче дверь, не то мигом обчистят». И, долго не думавши, по лесному обычаю стал изо всей силы дубасить в дверь кулаками, крича в истошный голос:

— Эй вы, крещеные!.. Отомкните хоромы-то!

Дверь отворилась, в ней показался здоровенный человек, бритый, в немецком платье, у картуза околыш обшит золотым галуном... Сробел Алексей. «Должно быть, чиновный, — подумал он, — пожалуй, больше станowego. Ишь ты, шапка-то какая!.. Золотом обшита!.. Большого, надо быть, чину!..»

— Взбесился, что ли, ты? — накинулся здоровяк на Алексея. — Чего в дверь-то колотишь!.. Не видишь разве колокольчика?

Понять не может Алексей, про какой колокольчик он толкует ему.

— Не взъищите Христа ради, ваше благородие, — испуганным голосом сказал Алексей, снимая шапку и отвешивая низкие поклоны. — Наше дело деревенское. Мне и теперь не в примету, где тут колокольчик висит...

— Вот колокольчик, в него звонить следует, — внушительно указывая на ручку, сказал человек с галуном.

Все-таки не может понять его слов Алексей. «Какой же это колокольчик?» — думает он, глядя на повешенную у двери бронзовую ручку.

— Кого тебе? — спросил его здоровяк.

— Да вечор Сергей Андреич к себе наказывал побывать... Колышкин Сергей Андреич, — отвечал Алексей. — Домом-то не опознался ли я, ваше благородие? — прибавил он, униженно кланяясь. — А поступался, вот те Христос, безо всякого умыслу, единственно по своей крестьянской простоте... Люди мы, значит, небывалые, городских порядков не знаем...

— Здесь Сергей Андреич живет, — помягче прежнего ответил картуз с галуном. — Как про тебя доложить?

— Алексей, мол, Трифонов зашел... Из-за Волги, дескать... Что у Чапурина, у Патапа Максимыча, в при-

казчиках жил, — все еще несмелым голосом, стоя без шапки и переминаясь с ноги на ногу, отвечал Алексей.

— Пойдемте, — еще мягче молвил тот и повел Алексея в хоромы.

Глазам не верил Алексей, проходя через комнаты Колышкина... Во сне никогда не видывал он такого убранства. Беломраморные стены ровно зеркала стоят, — глядись в них и охорашивайся... Пол — тоже зеркало, ступить страшно, как на льду поскользнешься, того гляди... Цветы цветут, каких вздумать нельзя... В коврах ноги, ровно в сыпучем песке, грузнут... Так прекрасно, так хорошо, что хоть в царстве небесном так в ту же бы пору.

Вошел Алексей в комнату, где хозяин сидел с тем самым англичанином, что встретился ему накануне на пристани. Сидят, развываясь на широком диване, сами сигары курят.

— Здорово, Алексей Трофимыч... Али Трифоныч?.. Как, бишь, тебя? — ласково протягивая Лохматому жилистую руку, радушно встретил его Сергей Андреич. — Садись — гость будешь. Да ты к нам прилаживайся... Сюда на диван... Места хватит... Авось не подеремся!..

Не смел Алексей сесть на диван, крытый бархатом, но с приветливой улыбкой взял Колышкин его за руку и, подтащив к дивану, чуть не силком посадил его промеж себя и англичанина.

— Так как же тебя звать-позывать?.. Трифоныч аль Трофимыч будешь? — спрашивал Колышкин все еще торопевшего Алексея.

— Трифонов, — отвечал тот.

— Познакомьтесь, — молвил Сергей Андреич англичанину. — Помните друга моего, благодетеля, Патапа Максимыча Чапурина, из-за Волги?

Англичанин молча кивнул головой, не выпуская изо рта сигары.

— Это его приказчик Алексей Трифоныч, — продолжал Колышкин. — А это, — сказал он, обращаясь к Алексею, — господин Кноп, директор то есть, по-вашему говоря, — на́больший по здешнему пароходному обществу. Восемь пароходов у него под началом бегает... Андрей Иванычем по-русски зовем его.

— Рад вашему знакомству, — привстав с места и подавая Алексею руку, отчетливо и довольно чисто по-русски сказал Андрей Иваныч.

— Чем же дорогого гостя мне потчевать? Ведь этим треклятым зельем поганиться с нами не станешь? — молвил Сергей Андреич, показывая на ящик с сигарами. — Чайком разве побаловаться?.. Не даром же нас, нижегородов, водохлебами зовут... Эй! — крикнул он, хлопнув три раза в ладоши.

Дверь неслышно растворилась, и вошел тот самый человек, что показался Алексею чином больше станového.

— Чаю вели подать, — приказал ему Колышкин и, обращаясь к Кнопу, сказал:

— Вот намерены вы спрашивали меня, Андрей Иванович, про «старую веру». Хотя я сам старовером родился, да из отцовского дома еще малым ребенком взят. Оттого и не знаю ничего, ничего почти и не помню. Есть охота, так вот Алексея Трифоныча спросите, человек он книжный, коренной старовер, к тому же из-за Волги, из тех самых лесов Керженских, где теперь старая вера вот уж двести лет крепче, чем по другим местам, держится.

— А! — обрадовался Андрей Иванович. — Очень буду обязан вам, господин Трифоныч, если вы преподадите мне о русской старой вере.

— Ты голубчик, Алексей Трифоныч, Андрея Ивановича не опасайся, — внушительно сказал Колышкин. — Не к допросу тебя приводит. Сору из избы он не вынесет. Это он так из одного любопытства. Охотник, видишь ты, до всего этакого: любит расспрашивать, как у нас на Руси народ живет... Если он и в книжку с твоих слов записывать станет, не сумевайся... Это он для себя только, из одного, значит, любопытства... Сказывай ему, что знаешь, будь с Андреем Ивановичем душа нараспашку, сердце на ладонке...

— Мне что же-с? — смешался было Алексей. — Отчего же не сказать, что знаю. Кажись, худого в том ничего не предвидится. Не знаю только, что будет угодно спрашивать ихней милости. Хотя я и грамотен, да не начетчик какой, от божественного писания говорить не могу.

— Будете столь добры, господин Трифоныч, преподавать мне, какая заключается разность вашей старой веры от государственной церкви?

И русскими словами говорит Андрей Иванович, а не

понять Алексею. С недоумением взглянул он на Ко-
лышкина.

— Андрею Иванычу хочется узнать, в чем состоит старая вера, чем она рознится от нашей, от никонианства, говоря по-вашему? — пояснял Сергей Андреич. — Чем она, значит, отлична от нашей?

— Да, то есть какие существуют правила вашей русской старой веры? Из чего состоят сии правила? — подтвердил Андрей Иваныч.

— Значит, то есть на чем наша стара вера держится, в чем то есть она состоит... — догадался, наконец, Алексей. — Известно в чем: перво-наперво в два пёрста молиться, второе дело — в церкву не ходить, третье — табаку не курить и не нюхать... Чего бишь еще?.. Да... бороды, значит, не скоблить, усов не подстригать... В немецком платье тоже ходить не годится... Ну, да насчет этого по нынешенему времени много из нашего сословия баловаться зачали, особливо женский пол.

— О! любезный мой господин Трифоныч, — с едва заметным нетерпением перебил его англичанин. — Вы мне рассказываете обряды, но я желаю знать правила вашей русской старой веры... Правила... Понимаете?

— Правила! как не понимать!.. Это понимать завсегда можем!.. — невпопад догадался Алексей. — У мирских правила не полагаются... Это у старцев да у стариц... У монахов, чтобы понятнее вам доложить, да у монахинь. Так и зовется у них «келейное правило». Нашему брату его, пожалуй, и не снесть... Великим постом земных поклонов сот по восьми на день этого правила закатывают, а на Марьино стоянье¹ — так без малого целу тысячу. У нас ведь по старой-то вере келейницы — ой-ой! как здоровы на молитву-то. Ина сот пять поклонов отломает по лестовке и глазом даже не поморщится.

— Это вы, господин Трифоныч, также рассказываете обряды старой веры, — толковал свое англичанин, — а я желаю знать правила веры, то есть ее каноны.

— А! Значит, насчет «правильных канонов», — бой-

¹ *Марьино стояние*, или *стояние Марии Египетской*, бывает вечером в четверг на пятой неделе Великого поста. Тогда читается великий канон св. Андрея Критского, и во время его у старообрядцев и единоверцев полагается 952 земных поклона.

ко подхватил Алексей. — Накануне больших праздников да накануне воскресеньев после вечереи они бывают. Только и правильных канóнов в миру не полагается — по кельям читают их да в Городецкой часовне.

— Канóны, я вам говорю, господин Трифоныч, канóны, — с невозмутимым спокойствием добивался от Алексея толкового ответа любознательный британец. — Какие суть канóны русской старой веры, я желаю от вас узнать... Канóны... Понимаете вы меня?

— Канóны!.. Как не понимать!.. — ответил Алексей. — Мало ли их у нас, канóнов-то... Сразу-то всех и келейница не всякая вспомнит... На каждый праздник свой канóн полагается, на Рождество ли Христово, на Троицу ли, на Успенье ли — всякому празднику свой... А то есть еще канóн за единоумершего, канон за творящих милостыню... Да мало ли их... Все-то канóны разве одна матушка Манефа по нашим местам знает, и то навряд... Куда такую пропасть на памяти держать!.. По книгам их читают...

Тут уж ровно ничего не понял Андрей Иванович. Глядит на Алексея во все глаза, а сам не знает, что и спрашивать... Колышкин молчит, покуривая сигару, и слегка улыбается.

— В русской старой вере многие секты есть? — еще раз попробовал спросить у Алексея Андрей Иванович, видя, что о правилах и канонах толку от него не добиться.

— Это так точно, — отвечал Алексей. — Много их, всяких этих сект, значит... Вот хоть бы наши места взять: первая у нас вера по беглому священству, значит, по Городецкой часовне, покрещеванцы тоже бывают, есть по спасову согласию, поморские... Да мало ли всех!.. Не сосчитаешь... Ведь и пословица есть такая: «Что мужик — то вера, что баба — то устав».

— Какая заключается разница сих вер? — настойчиво спрашивал Андрей Иванович.

— А такая и разница, что не едят вместе да не молятся... Значит, не сообщаются ни в ястии, ни в питии, и на молитву вместе не сходятся, молятся, значит, каждый со своими. В том вся и разница, — сказал Алексей.

— Между вашими верами споры бывают? — продолжал спрашивать англичанин.

— Для че спорить? — отозвался Алексей. — Чего

нам делить-то? Споры да ссоры — неладное дело. В миру да в ладу не в пример согласнее жить. Зачем споры? Значит, кто в чем родился, тот того и держись. Вот и вся недолга. Да и спорить-то не из чего? Язык только чесать, толку ведь никакого из того не выйдет — баловство одно, а больше ничего. Для чего спорить?

— Для того, чтоб убедить противника, чтоб он свою веру оставил и к вам превратился, — внушительно сказал Андрей Иванович.

— Есть из чего хлопотать! — с усмешкой отозвался Алексей. — Да это, по нашему разумению, самое нестоющее дело... Одно слово — плюнуть. Каждый человек должен родительску веру по гроб жизни сдержать. В чем, значит, родился, того и держись. Как родители, значит, жили, так и нас благословили... Потому и надо жить по родительскому благословию. Вера-то ведь не штаны. Штаны изнасятся, так на новы сменишь, а веру как менять?.. Нельзя!

Едва заметно Андрей Иванович улыбнулся.

— Ой! Алексей Трифоныч! — захохотал между тем Колышкин, откидываясь взад на диване. — Уморишь ты меня, пострел этакой, со смеху!.. Ишь к чему веру-то применил!.. Ну, парень, заноза же ты, как я посмотрю!.. Услыхали б тебя келейные матери — ух! задали бы трезвону!.. Право!.. Ах, озорник ты этакой!.. Ха-ха-ха!.. Вера не штаны!.. Ха-ха-ха!..

Колышкин так и катался со смеху... Громкий хохот его гудел по высоким хоромам. Андрей Иванович с едва заметным удивлением посматривал на Сергея Андреича.

— Неправду разве говорю? — быстро вскинув глазами на Сергея Андреича, молвил Алексей. — Если б я таперича, например, своему Богу не верен был, разве бы кто мог поверить мне хоть на один грош?.. Сами бы вы, Сергей Андреич, из первых не поверили...

— Следовательно, из русской старой веры никто никогда в другие секты не переходит? — спросил еще Алексея Андрей Иванович.

— Всякого народа на свете есть, — ответил Алексей. — Может статься, иной и переходит. Так ведь что ж это и за народ?.. самый, значит, последний... Вся цена тому человеку пятак, да и тот ломаный.

— Удивительный народ! — обратился британец к

Сергею Андреичу, вставая с дивана и взяв соломенную свою шляпу.

Так ничего насчет старой веры и не добился он от Алексея. Поговорив еще немного с Сергеем Андреичем насчет каких-то кладей, Андрей Иванович ушел, ласково простясь с «господином Трифонычем» и высказав сожаление, что он не совсем правильно изъясняется по-русски, отчего, вероятно, и понять вопросы его Алексею было затруднительно.

— Ну что ж ты подделываешь, Алексей Трифоныч? — спросил Колышкин, садясь возле Алексея по уходе Андрея Ивановича.

— Да как вам сказать, Сергей Андреич, — потупляясь, ответил Алексей. — Без дела, можно сказать, безо всякого... Сиднем сажу... И концов тому сиденью не вижу.

— Как это так?

— Заехал я сюда, Сергей Андреич, по своему делу. Счастья попытать хочется... Местечко по приказничьей части ищу, — сказал Алексей.

— Отошел разве от Патапа-то Максимыча? — сухо спросил его Колышкин.

— Отошел-с, — вскинув бровями, ответил Алексей.

Слегка нахмурился Сергей Андреич и с видом досады быстро взглянул на Алексея. Тот сразу догадался, что нехорошее про него подумал Колышкин, и продолжал:

— Не то чтобы по какому неудовольствию али противности отошел я, Сергей Андреич, а единственно, можно сказать, по той причине, что самому Патапу Максимычу так вздумалось. «Ты, говорит, человек молодой, нечего, говорит, тебе киснуть в наших лесах, выплывай, говорит, на большую воду, ищи себе место лучше... А я, говорит, тебя ни в чем не оставляю. Если, говорит, торговлю какую вздумаешь завести, пиши, — я, говорит, тебе всякое вспоможение капиталом, значит, сделаю...»

— Не врешь ли? — пристально взглянув прямо в глаза Алексею, молвил Колышкин. — Ты, парень, сказывай мне, как попу на духу, ни в чем не таись... Может статься, пригожусь... Сам бы, пожалуй, к хорошему месту тотчас же тебя я пристроил, потому что вижу — голова ты с мозгом, никакое дело из рук у тебя не валится, это я от самого Патапа Максимыча не один раз слыхал, — только сам посуди, умная голова, могу

ли я для тебя это сделать, коли у вас что-нибудь вышло с Патапом Максимычем? Крестному остуды сделать не захочу... Ни за что на свете.

— Ничего промеж нас не выходило, Сергей Андреич, никакого то есть художества по моей поверенности не было. Хоть самого Патапа Максимыча извольте спросить — и он тоже скажет, — отвечал на те речи Алексей, избегая зорко смотревших на него испытующих глаз Сергея Андреича.

— Признаться сказать, понять не могу, как это вздумалось Патапу Максимычу отпустить тебя, когда он столько дорожил тобой, — ходя взад и вперед по комнате, говорил Сергей Андреич. — Великим постом заезжал он ко мне не на долгое время, — помнишь, как он на Ветлугу с теми плутами ездил. В ту пору он тобой нахвалиться не мог... Так говорил: «С этим человеком по гроб жизни своей не расстанусь». Как же у вас после того на вон-тараты пошло?.. Скажи по правде, не накуролесил ли ты чего?

Смутился немножко Алексей и промолчал. Опять нахмурил брови Сергей Андреич.

— Если там у вас какая бедушка стряслась, наперед тебе сказываю — не помощник я тебе и не заступник, — продолжал он. — Супротив Патапа Максимыча ни в каком разе я не пойду... А место есть. Хорошее место. И жалованья достаточно и всего прочего, да не в том главное дело, а вот в чем: прослужишь ты на этом месте год, и, если по твоему усердию и уменью в том году довольно прибыли будет, oprичь жалованья, тебе пай дадут... Еще больше прибыли — другой пай... А кроме того, кредит открыт, если б свое дело задумал. Только наперед говорю — не списавшись с Патапом Максимычем, того места я тебе не предоставляю. Как он присоветует, так и делу быть... Хочешь, сегодня же нарочного pošлю в Осиповку?

— Сделайте такое ваше одолжение, Сергей Андреич, — ответил Алексей, низко кланяясь. — А где, осмелюсь спросить, такое местечко находится?

— Не больно далече отсюда, — сказал Сергей Андреич. — У меня на пароходах. Возьму тебя, Алексей Трифоныч, со всяким моим удовольствием, если только Патап Максимыч отпишет, что расстался с тобой добрым порядком. А без его решенья принять тебя на службу мне нельзя... Сам знаешь, он ведь мне заместо

отца... Вот и попрошу я по этому делу его родительского благословенья, навеки нерушимого, — добродушно подсмеялся Колышкин.

Стали говорить об условиях. Видит Алексей, что место в самом деле хорошо. Разбогатеть сразу нельзя, а в люди выйти можно. Особенно паи его соблазняли. До тех пор, что значит пай, он не слыхивал.

— Ты где пристал? — прощаясь с Алексеем, спросил Колышкин.

— У Бубнова в номерах, в гостинице, — ответил Алексей.

— Знаю, — молвил Сергей Андреич. — Так мы вот как сделаем, Алексей Трифонович: воротится нарочный и по письму Патапа Максимыча взять тебя будет можно, спосылаю я за тобой. А если что не так, пришлю сказать, что места у меня нет. Понял?

— Понимаю, Сергей Андреич, — отозвался Алексей и отправился в гостиницу.

На другой день пошел Алексей по набережной. Надобности не было никакой, но до того залегла у него тоска на сердце, до того завладела им тревога душевная, полная боязни, опасенья и горестных воспоминаний, что не сиделось ему в одиночестве, а поминутно тянуло на многолюдство... К полудню время близилось, на пристани кипело сильное движение: одни пароходы приставали, другие в путь снаряжались. Резкий, раздражающий уши свист паровиков, звяканье якорных цепей и громкие, разноголосые и разноязычные крики людей на миг не умолкали. И река и набережная полны были оглушающего гула разнородных звуков, ясных и несвязных. Облокотясь на перила, стоял Алексей, безучастно глядя на реку и заворачивавшие по ней пароходы, на незнакомые лица приезжавших и отъезжавших, на груды товаров, загромождавших палубы, на суету рабочих, опускавших якорья и захлестывавших причальные концы¹ за столбики, поставленные на дощатых мостках, устроенных для подхода к судам. Рядом с ним, облокотясь на надолбы и навалившись широкой грудью на поручни перил и от нечего делать поплеывая в воду, стояло несколько не-

¹ Тонкий канат, которым причаливают суда к пристани.

знакомых ему людей, судя по одежде, торговцев средней руки. Лениво перекидывались они отрывистыми словами и делали замечания, большей частью ругательные, насчет того или другого парохода. Слушал Алексей речи их, но не внимал им.

Пароходы меж тем один за другим причаливали. Других на это утро не ждали... Но вот вдали за широкой песчаной отмелью, из-за угла выдавшейся в реку и стоящей красно-бурой стеною горы, задымился еще пароход. Алексеевы соседи тотчас на него взáрились.

— Еще бежит, — молвил молодой парень, приглядываясь вдаль и защищая ладонью глаза от солнечного света.

— И впрямь еще пароход, — отозвался стоявший плечо о плечо с Алексеем пожилой человек в широком синем сюртуке и в мягкой валеной шляпе. — Что запоздал? Аль закусывал на Телячьем Броду?¹

— Закусил песком на Телячьем, да, видно, еще отдохнуть вздумал в Собачьей Дыре², — подхватил со стороны какой-то чернорабочий в пропитанной дегтем и салом рубахе, с расстегнутым воротом и с коричневой от загара грудью.

— Чьему бы это быть? — молвил пожилой человек в валеной шляпе, пристально глядя на вышедший в середину плёса буксирный пароход, тянувший огромную баржу, заваленную чуть не до самой райны³ высокими белыми бунтами какой-то, надо быть, легковесной, клади.

— Молявинский, — подхватил молодой парень. — Бела труба с красным перехватом⁴. Надо быть, «Воевода».

— «Воевода» вечор пробежал, — заметил стоявший одаль торговец.

— Так «Соболю», надо быть, — сказал пожилой купец в синем сюртуке. — Так и есть — «Соболь», — прибавил он, вглядываясь в приближавшийся пароход. — Бунты большие — хлопок, значит. Из Самары бежит.

¹ Мель, известная под названием Телячьего Брода.

² Собачья Дыра — местность на Волге, находящаяся неподалеку от Телячьего Брода, тоже неблагоприятная для судоходства.

³ Райна — иначе рея — поперечное дерево на мачте, к нему привязывается нижний край паруса.

⁴ На Волге у пароходов одного хозяина или одной компании дымогарные трубы окрашиваются условными красками. Оттого издали можно узнать, кому принадлежит пароход.

— Скоренько же выбежал, — заметил молодой парень. — Мы из Самары отваливали, он только что грузиться начинал.

— Ходкий пароход. Изо всех молявинских первый ходок, — сказал пожилой купец, стоявший рядом с Алексеем.

— Чтой-то вздумалось Молявиным продать такое сокровище? — вставил стоявший одаль широкоплечий торговец в широком пальто оливкового цвета, с толстой суковатой можжевеловой палкой козьмодемьянкой¹.

— Разве продали? — спросил у него Алексеев сосед.

— Продали... Как же. На прошлой неделе за пятьдесят тысяч продали. И денежки чистоганом получили, без рассрочек, — ответил тот. — Теперь «Соболь» последний раз от Молявиных бежит... Как разгрузится — к новой хозяйке поступит. Сдавать его здесь будут.

— Кому продан-то? — спросил Алексеев сосед, снимая валеную шляпу и пестрым бумажным платком отирая пот, обильно выступивший на лысой лоснящейся голове его.

— В Казани продавали, — ответил торговец с можжевеловой палкой, подходя ближе к Алексееву соседу. — Про Залетова Антипа Гаврилыча не слыхали ль?

— Знаем маленько Антипу Гаврилыча, — сказал Алексеев сосед. — С покойными родителями хлеб-соль вживали.

— Сестра ихняя «Соболь»-от купила. Масляникова Марья Гавриловна, — молвил торговец с палкой.

Ровно оттолкнуло от перил Алексея. Изумленно взглянул он на торговца. Тот был немолодых лет и степенной наружности, с здоровым румянцем в лице и полуседыми кудрявыми волосами.

— Вправду Марья Гавриловна «Соболя» купила? — спросил его Алексей.

— Врать, что ли, я тебе стану? — сурово отозвался румяный торговец, едва взглянув на Алексея. — Коли говорю «купила» — значит, купила. Пустых речей болтать не люблю... — и, обратясь к Алексееву соседу, сказал: — На той неделе в четверг Молявин Василий Игнатьич в Казани находился. При мне у маклера с За-

¹ Лучшие можжевеловые палки делаются около города Козьмодемьянска и зовутся козьмодемьянками.

летовым был... При мне и условие писано. Антип-от Гаврилыч, значит, по сестриной доверенности.

— Та-ак, — протянул купец в валеной шляпе. — Так-с. И деньги, значит, чистоганом?

— Двадцать тысяч тут же вручил, не говоря худого слова, — ответил торговец. — Задатку, значит. Достальные здесь после сдачи договорился получить чистоганом враз. Так и условие писано — на семидневный срок.

— Кто ж принимать-то здесь будет? Не самой же Масляниковой. Ес дело бабье, ничего в этом разе понимать она не может, — заметила валеная шляпа.

— Уж этого я доложить не могу, — ответил румяный торговец. — Поминал в ту пору Антип Гаврилыч Молявину: сестра-де хотела приказчика выслать, а другое дело: не знаю, как они распорядятся. Да ведь и то надо сказать — принять пароход по описи не больно хитрое дело. Опять же Молявины с Залетовым никак сродни приходятся — свояки, что ли...

— Свояки, на родных сестрах женились, — подтвердил кто-то из толпы.

— Так «Соболь»-от теперича, значит, Масляниковский. Вот оно что! — промолвил купец в валеной шляпе. — Знатный пароход!.. Знатный!.. Таких по Волге не много. Давно ли плавает?

— Всего три воды ¹, четверта пошла.

Меж тем «Соболь» величаво выбежал к пристани. Медленно описав широкий круг перед набережной, поворотил он корму против течения и бросил якоря. Бывшие на пароходе пассажиры торопливо стали сходить на берег и рассыпались по набережной. Палуба немного очистилась, и Алексей, взойдя на нее, спросил одного из рабочих, где ихний капитан. Тот указал ему на молодого человека, по-видимому из татинцовских лоцманов ², в широком коричневом пальто, из-под которого выглядывали вздетая навывпуск рубашка красной александрийки и смазанные конопляным маслом кимряцкие личные сапоги по колена ³.

¹ То есть три года.

² Татинец — село на Волге близ устья Керженца. Лучшие волжские лоцмана́ большою частью из крестьян этого села.

³ Так называемые личные сапоги, употребляемые преимущественно простонародьем, шьются большей частью в селе Кимрах, находящемся на Волге в Тверской губернии. Личные сапоги шьются мездрую внутрь, а той стороною, где была шерсть, — вверх. Они смазываются маслом или дегтем.

— Почтенный! чьих хозяев ваш пароход? — обратился к нему Алексей.

— Братьев Молявиных, — отрывисто ответил капитан.

— Продали, слышь, его Молявины-то?

— Ну, продали так продали. Тебе до того какое дело? — с недовольной ужимкой сказал капитан.

— Кому продали-то? — спросил еще Алексей.

— Масляниковой купчихе. Разгрузимся, сдавать станем, — отходя от Алексея, отозвался капитан.

— Самой сдавать-то?

— Куда ей самой! Не бабье дело, — с самодовольной улыбкой ответил капитан. — Приказчик должен от нее приехать. Семь ден будем ждать его, неделю значит, а потом неустойка пойдет... Да тебе что?

— Нет, я так... — проговорил Алексей, снял картуз, поклонился капитану и быстрым шагом сошел на берег.

«Теперь все дело как на ладони, — думал он, крупными шагами идя вдоль набережной. — Тешилась, значит, ведьма треклятая, одурачить меня думала... Коли б в самом деле на мыслях у нее в те поры про меня было, не стала бы у брата места сулить, сказала бы, что сама задумала пароход покупать... А я-то дурак, ровно ошалел тогда!.. Вся теперь надежда на Сергея Андреича».

И закипела злость в душе Алексеевой. Злость на Марью Гавриловну, так недавно еще царившую над его думами, над его помыслами. Но, злобясь на коварную вдову, только вспомнит про очи ее соколиные, про брови ее соболиные, про высокую грудь лебединую, про стан высокий да стройный, что твоя сосенка, так и осыплет его мурашками, трепетно забьется горячее сердце, замрет, — и незванные слезы на глаза запросятся.

Перестал Алексей с того часу слоняться по набережной. Глаза бы его не глядели на проклятого «Соболя». Не видать бы ему парохода Марьи Гавриловны!..

Через три дня воротился нарочный, посланный Колышкиным. Сергей Андреич послал за Алексеем. Тот не замедлил.

Теперь уж знал он, как звонят в колокольчик. Человек с галуном на картузе встретил его не по-прежнему. Заискивал он в Алексея, старался угодить ему, говорил почтительно. Добрым знаком счел Алексей та-

кое обращение колышкинской прислуги. Должно быть, добрый ответ получен от Патапа Максимыча.

— Здравствуй, Алексей Трифоныч! Все ль подобра-
поздорову? — весело и радушно встретил его Сергей
Андреич. — Ну, брат, — продолжал он, садясь к пись-
менному столу рядом с Алексеем, — ума приложить
не могу, что такое крестный творит. Полезного чело-
века прочь от себя, а на место его принимает в дом са-
мопервейшую по здешним местам бестию!.. Знаю я
Григорья Филиппова! В Сибири б ему место, а не в
честном дому. Не рехнулся ли с печали-то Патап Мак-
симыч? Ведь этот Гришка трех хозяев на своем веку
обворовал, к четвертому теперь подъезжает... Непре-
менно надо писать крестному — остерегся бы, попоа-
сился... И какой плут всучил ему такое сокровище!..
Досада даже берет... Завтра же буду писать.

— На мой-то счет, Сергей Андреич, какой ответ по-
лучен? — спросил Алексей.

— На твой счет? — с доброй улыбкой отозвался Ко-
лышкин. — На твой счет, Алексей Трифоныч, крест-
ный такой ответ написал, что не всякий отец про сына
родного такой напишет. Да вот письмо. Читай сам, а я
сейчас ворочусь, надо приказанье в конторе отдать.

И, подав Алексею письмо, вышел из комнаты.

Читает Алексей знакомые, крупные, полууставные
почти буквы. Патап Максимыч ровно перед ним сто-
ит... Как наяву видит он его душевными очами.

«А что пишешь ты насчет Алексея Лохматого, что
просится к тебе на место, и ты его прими безо всякого
сумленья. Недолго у меня жил, а много себя показал,
и я бы, кажись, во веки веков с ним не расстался. Те-
перь на его месте Григорий Филиппыч, что у Заруби-
ных в приказчиках жил. Человек бывалый, знающий, а
дня не проходит, чтоб не поминал я Алексеюшку. Яви
божескую милость, Сергей Андреич, устрой парня как
можно в наилучшем виде — сам после спасибо мне
скажешь. Христом Богом прошу тебя, любезный мой
крестничек, держи ты его в приближении, не как дру-
гих служащих. А я отвечаю тебе за Алексея Лохматого
всеим моим капиталом. Сколько мне доверяешь, столь и
ему поверь. Христом Богом прошу, полюби Алексеюш-
ку и всячески жалуй его — поверь Богу, он тебе заслу-
жит. Прежде было думал я предоставить ему место у
Марьи Гавриловны Масляниковой, которую ты у меня в

Осиповке видел. Она у Молявиных пароход купила, «Соболь» прозывается, восемьдесят сил, буксирный, плавал всего только три воды, строен в Сóромове у Бенардаки¹. Окромя того, думает Марья Гавриловна и другие торги заводить. Капитал у нее значительный после мужа достался. Нарочно спрашивал я письмом Марью Гавриловну, не пожелает ли к тому делу приставить известного мне надежного человека, за такого, что я бы ручаться готов со всяким моим удовольствием; да тут вышла неудача. Ответила Марья Гавриловна, что такой человек у нее готов... После того полагал я в Самару писать да в Хвалынь к приятелям, — слышал, что у них на пароходах есть места, а вышло, что у тебя к тому времени очистилось место. Сделай милость, любезный друг мой Сергей Андреич, успокой ты меня, старика, устрой Алексея сколь можно лучше. Какую милость к нему явишь, те милости твои я к себе причту. Положи ты ему жалованье хорошее, и харчи и содержание хорошее дай, не как другим прочим, яви такую милость. А буде случится Алексею какая надобность, дай ему, пожалуйста, денег, сколько нужно, и тотчас ко мне отпиши, заплачу немедля со всяким моим удовольствием...»

Инда руки опустились у Алексея, как дочитал он письмо Патапа Максимыча. «Что за человек, что за милостивец! — думает он. — И впрямь не всякий отец об сыне так печется, как он обо мне... И это после того... после такой обиды!..»

И вдруг он дрогнул. По-прежнему неведомый тайный голос шептал ему: «От сего человека погибель твоя!»

В то время воротился из конторы Сергей Андреич.

— Прочитал? — спросил он Алексея.

— Прочитал, — в смущенье ответил Алексей, отдавая письмо.

— Как полюбил-то он тебя, просто на удивление! — сказал Колышкин. — Уж мне то вспало на ум, не прочит ли за тебя он дочку.

Зарделся Алексей, едва мог проговорить:

— Помилуйте, Сергей Андреич! Да разве это возможно?

¹ Пароходный завод близ Нижнего, на Волге, возле дер. Сóромовой.

— У него все возможно. Таков уж поров у крестного, — сказал Сергей Андреич. — Что в голову залезло, клином не выбьешь... Конечно, по достаткам его, особенно же теперь, как одна дочь осталась, любой перво-статейный готов за сына ее посватать, да крестному это все наплевать. Забрело на мысли — шабаш. Право, не в зятя ли он тебя прочит? — прибавил Колышкин с радужным смехом, хлопнув рукой по плечу Алексея.

— Как это возможно? — говорил тот.

— Смотри, чтоб не вышло по-моему, — усмехнувшись, продолжал Сергей Андреич. — Не то как же это рассудить? Сам в человеке души не чаает, дорожит им, хлопочет ровно о сыне, а от себя на сторону пускает... Вот, дескать, я его на годок из дому-то спущу, сплетен бы каких насчет девки не вышло, а там и оженю... Право, не так ли?.. Да ты сам просился от него?

— Сам, — глухо промолвил Алексей.

— Что ж тебе вздумалось? — спросил Сергей Андреич. — Ведь тебе не житье было — масленица. Чем не понравилось?

— Что ж, Сергей Андреич, — смущенным голосом промолвил Алексей. — Известное дело: рыба ищет, где глубже, человек, где лучше.

Пристально посмотрел на него Колышкин, сморщил немного брови и прошелся раза два-три по комнате.

— Ну так должность твоя вот какая будет, — начал он, продолжая ходить по комнате и от времени до времени взглядывая на Алексея.

Подробно объяснил он, в чем будут состоять Алексеевы обязанности. Жалованья положил столько же, сколько получал он у Патапа Максимыча. На харчи особо, на квартиру, на разъезды тоже особую плату назначил. Всякий новичок в торговом деле от таких выгодных условий запрыгал бы с радости; Алексей поблагодарил, как водится, но в душе остался недоволен. Не того хотелось ему... Богатства скорей да людского почета!.. Богатства!.. Сейчас же!.. Вынь да положь — хоть по щучьему веленью, как в сказке сказывают...

Кончили тем, что через неделю, когда придет из Астрахани колышкинский пароход «Успех», разгрузится и возьмет свежую кладь до Рыбинска, Алексей поедет на нем при клади и тем временем ознакомится с пароходным делом. Затем было обещано ему место капитана на другом пароходе Колышкина.

Сергей Андреич спросил у него паспорт, Алексей вынул из кармана и подал.

— Ну, брат, этот паспорт нам не с руки, — взглянув на него, сказал Колышкин. — Трехмесячный, и срока только две недели остается. Тебе надо годовой хоть выправить, а еще того лучше года на три.

— Слушаю, Сергей Андреич, — отвечал Алексей.

— Медлить некогда, сегодня ж отправляйся домой и торопись с паспортом. Годовой надо будет в казначействе брать, в уездный город, значит, ехать, в удельном-то приказе, пожалуй, не выдадут. Похлопочи, чтоб скорее... Денег не жалея; где придется колеса подмазать — подмажь, только поскорее ворочайся. Через десять дён надо тебе беспрерывно здесь быть — пароход не ждет... Денег на дорогу не надо ль?

— Нет, — отозвался Алексей. — Благодарю покорно, деньги найдутся... Так я сегодня же отправлюсь.

— С Богом. Увидишь Патапа Максимыча, поклонись ему да молви про Гришку Филиппова — не больно бы ему доверялся. Сергей Андреич, мол, говорит, что это плут преестественный...

По́д вечер, переправляясь через Волгу, поскакал Алексей на своих саврасках в Поромово.

Глава пятая

С поля на́ поле от деревни Поромовой, возле самого болота Долгого, на маленьком пригорке стоит село Песочное. Опричь поповских домов, в том селе всего семь дворов, да одадь от них большой дом городской постройки. Обшит он тесом, выкрашен желтой охрой; крыша на четыре ската, окна растворчатые, крыльцо на самой середке. Саженья в пятнадцати от того дома другой такой же, только поменьше. Заборы решетчатые; дворы не крытые. Тотчас видно, что строенье казенное: почтовая станция, либо волостное правление, а не то пересыльный этап. И в самом деле в большом доме помещался удельный приказ, а в том, что поменьше, — училище, небогатое, впрочем, учениками.

В головах Песоченского приказа сидел Михайло Васильевич Скорняков, тот самый, что на именинах Аксиньи Захаровны втянулся было в затеянное Стуколовым ветлужское дело. Жил он верстах в десяти от Пе-

сочного, в приказ приезжал только по самым важным делам. Всем заправлял писарь, молодой парень из удельных же крестьян. Обыкновенно должность писаря в удельных приказах справлялась мелкими чиновниками; крестьяне редко на нее попадали. Одним из таких был Карп Алексеич Морковкин, писарь Песоченского удельного приказа.

Родом он был из-за Волги, но какого села, какой деревни, один Господь ведает.

Повыше Балахны, на высоких глинистых горах Кирилловых да на горе Оползне, вытянувшись вдоль левого берега Волги, стоит село Городец. Кругом его много слобод и деревушек. Они с Городцом воедино слились. Исстари там ребятишек много подкидывают. Из подкидышей целой губернии половина на долю Городца приходится. Хоть поется в бурлацкой песне:

В Городце на горе
По три девки на дворе, —

но нельзя думать, чтобы всех этих подкидышей приносили городецкие красавицы. Мудрено и то подумать, чтоб келейницам керженским, чернораменским обязан был Городец таким множеством найденышей. Иная тому причина: издавна повелось верст из-за сотни и больше свозить в то село незаконных детей. Случалось, что бедные крепостные законных детей в Городце подкидывали, чтобы вольными они выросли.

Найденыша обыкновенно несли в удельный приказ, а там сдавали на воспитанье желающему принять ребенка. Очередь даже велась меж крестьянами; воспитанье подкидышей стало у них чем-то вроде повинности. Чужих детей принимали крестьяне с великою радостью, из-за них даже свары и ссоры бывали — и тому взять хочется и другому охота. Такую страсть до чужих детей надо тем объяснить, что по возрасту они взамен родных детей в рекруты сдавались. В лесах за Волгой таких приемышей зовут «захребетниками»¹.

В один летний день нашли подкидыша не в урочном месте — в овраге. Благо, что у игравших в лапту

¹ *Захребетниками* в былое время звали еще людей, купленных крестьянами на имя своего помещика. Они исправляли за своих хозяев барщину и работали на них.

ребятишек мяч туда залетел. Спустившись в овраг, нашли они там маленького захребетника... Пришли десятские из приказа, ребенка взяли, окрестили, и как найден был он 26-го мая, то и нарекли его Карпом, по имени святого того дня. Во рту раба божия Карпа соску с жеванной морковью нашли — оттого прозвали его Морковкиным.

Время стояло глухое. Больше половины городецких хозяев в Верх на расшивах ушло либо уплыло на сплав с горянщиной. К тому ж незадолго перед тем пол-Городца выгорело, и не нашлось в самом селе Карпушке приемных родителей. Подвернулся староста с десятским из деревни Поромовой. Малым делом потолковали они меж себя и выпросили у городчан Карпушку себе в «захребетники». Вспало на ум поромовским: рекрутов по теперешним временам требуют часто — вспоим, вскормим целым миром найденыша; как вырастет он, да загудит над землей царский колокол¹, тотчас сдадим его в рекруты. С таким добрым намереньем и свез староста Карпа Морковкина в деревню Поромову. Того старосту звали Алексеем, оттого поромовскому мирскому захребетнику вышло полное прозвище: Карп Алексеев Морковкин.

Семибатькин сын, семиматерное детище росло себе да росло в деревне Поромовой... Годы шли; оглянуться не успели, мальчишка уж в разум начал входить... В сиротстве жить — только слезы лить... Будь Карпушка одного хозяина захребетником, не плохое бы житье было ему: поили б, кормили его, как сына родного, привязались бы к нему незваные отец с матерью, как к детищу рождённому. Зачастую в русском простонародье бывает, что приемыш зауряд с родным сыном идет, наследство даже с ним равное по смерти богоданных родителей получает. Но Карпушка был захребетником целой деревни, оттого и выпало ему на долю горькое горе — слезовая доля.

— Христос с ним — пушай растет, — говаривали мужики поромовские, — в годы войдет, в солдаты пойдет — плакать по нем будет некому.

И крепко-накрепко наказывали бабам поберегать парнишку, приглядеть иной раз, чтоб грехом не окривел аль зубов передних ему не вышибли... Тогда беда

¹ То есть объявлен будет рекрутский набор.

непоправимая — за́даром пропадут хлеб-соль и мирское о сироте попечение — нельзя будет в рекруты сдать.

И быть бы Карпушке солдатушкой, шагать бы по белу свету с ранцем за плечами, без алтына в кармане, всю бы жизнь чиститься не вычиститься, учиться не выучиться, но на сиротскую долю иная судьба выпала... Сбылось на мирском захребетнике вековечное слово: «Сирий да вдовый плачут, а за сирым да вдовым сам Бог стоит».

Выходил от начальства строгий-престрогий указ отдавать с каждой волости по столько-то человек в «грамоту». Сельских школ тогда еще не было, оттого и велено было ребятишек в губернский город везти. Там заводилось первое в ту пору удельное училище.

По селам бабы воют, по деревням голосят; по всем по дворам ребятишки ревут, ровно во всяком доме по покойнику. Каждой матери боязно, не отняли бы у нее сынишка любимого в ученье заглазное. Замучат там болезного, заморят на чужой стороне, всего-то натерпится, со всяким-то горем спознается!.. Не ученье страшно — страшна чужедальня сторона непотачливая, житье-бытье под казенной кровлею, кусок хлеба не матерью печенный, щи не в родительской печи сваренные.

В Поромове бабы не выли, мужики не задумывались — у них мирской захребетник рос. Чего еще ждать Карпушкина возраста? Кто еще знает его, может искалечится, либо с голоду повадится по чужим клетям ходить да под суд угодит... Тогда миру изъян, в солдаты таких не бреют... Лучше до греха теперь же за мир в ученье его отдать: жив останется, и ученый наших рук не минует... Мир в барышах еще будет: без хлопот тогда примут Карпушку в рекруты, потому что начальство грамотным не в пример приятнее лбы забривает... И то еще льстило мужикам поромовским, что, отдавши Карпушку в училище, справят они повинность за целую волость Песоченскую... И тут барыши: коль не деньгами, так подводами другие деревни Карпушкину сдачу заверстают... Хлеб-соль, на мирского захребетника потраченный таким побытом, в деревню воротится, еще прибыток кой-какой миру при расчете окажется... Так судили-рядили мужики деревни Поромовой, и все двенадцать дворов в один голос ре-

шили сдать Карпушку в училище — пусть его учится да мучится, а родные ребятки на печке лежат.

И свезли в губернский город мирского захребетника и сдали его, куда следовало. Стал Карпушка учиться — грамота парнишке далась, ученье на лад пошло. Да так оно на лад пошло, что через год какой-нибудь стал Морковкин что ни на есть первым учеником: без запинки читает по-церковному и по-гражданскому, пишет, ровно бисер нишет, на счетах кладет и на бумаге всякие числа высчитывает — одно слово, стал с неба звезды хватать. Пали про то вести в деревню Поромову, и бабы решили, что Карпушке надо быть роду боярского, оттого и даются ему науки боярские — значит, так уж это у него от рождения, кровь, значит, такая в нем. И проводывали и наведывались, от кого бы Карпушке на свет божий родиться — мекали на дворянского заседателя, на винного пристава, не обошли и протопопа, но дела решить не могли. Две кумы навеки из-за Карпушки тогда перессорились: одна крестилась и божилась, что он боярского отродья, а другая образ со стены тащила, что ихний захребетник непременно роду поповского. Спорили бабы, спорили, да на людях друг про дружку и ну подноготную всю выкладывавать. А затем уж известно — повойники долой да в косы.

Годы идут, а Карпушка учится да учится. Однажды песоченский удельный глава (не Михайло Васильевич, а другой, что до него в головах сидел), воротясь из города, так говорил на волостном сходе, при всем честном народе:

— Будучи в городе, по приказу господина управляющего, сидел я в училище: пытали там ребят, кто чему обучался. Такое собрание тут было, что ни вздумать ни взгадать: ахриерей с архимандритом, губернатор с высокими чинами, барыни разряженные, — посмотреть, так дорого дашь!.. И читали там, вычитывали, каково каждый паренек обучается, а которые ребята отучились, тем аттестаты раздавали на большой бумаге за красной печатью, за подписом самого господина управляющего. И наш Карп Алексеев Морковкин, мирской захребетник деревни Поромовой, такой же аттестат принял из рук самого господина губернатора. А выдан Морковкину тот похвальный аттестат за то, что во всех тамошних науках он произошел да, кроме того, малевать, собачий сын, наострился. Господин

управляющий малеванье его мне показывал: «Вот, говорит, это вашего, песоченского!..» Голу девку с самострелом да с собакой намалевал¹: стоит ровно живые — глядеть даже зазорно. И ту девку в Питер послали — в департамент, потому, значит, что очень хорошо потрафил. А после того, как я на дому у господина управляющего был, изволил его высокородие такой приказ мне сказать: Карпа Морковкина на родину отпускаем — было б ему от вас всякое устроенье. А как родных у него нет — в зятя не пожелает ли кто?.. А покаместь, говорит, пущай его в приказе живет — писарю помогает. Так вот, православные, не пожелает ли кто Карпа Морковкина в зятя к себе? Парню двадцать с годом, от начальства взыскан, наукам обучен, по малом времени сюда его вышлют. Так не пожелает ли кто?

Никто не пожелал принять в зятя захребетника. То еще на уме у всех было: живучи столько лет в казенном училище, Карпушка совсем обмирщился, своротил, значит, в церковники, попал в великороссийскую. Как же взять такого в семью, неуклонно в древнем благочестии пребывающую?.. Пришлось Морковкину проживать при удельном приказе.

Науке обучился, а от крестьянства отстал. Казенный грамотей — не пахарь, соха с приказным пером в ладу не живут, борона Карпушке не к руке, пахать тоже уменья нет, мастерства никакого не знает... Выйдя раз на жнитво за девками погоняться, пожать было вздумал, так мизинец чуть не прочь отхватил. На что сенокос — по работе самое последнее дело — и тут Карпушка не годится. Гадают мужики: «Хоть и грамотен, а oprичь что в солдаты, никуда не годится, — такая уж, видно, судьба ему». «И в самом деле, православные, — решил голова, — не голых же девок ему малевать, сдадим за мир в рекруты — пущай служит Богу и великому государю: ученые люди царю надобны — пожертвуем царскому величеству своим мирским захребетником...»

Новый управляющий на ту пору в удельну контору поступил. А был он не такого сорта, как прежний. Прежний — от под старость подходил, а все ветрогоном жил, все бы ему в городе с барынями, а по деревням с

¹ Диана.

девками возжаться. Тем барыням, что из себя попригляднее были, из удельных магазинов весь хлеб роздал, а друзей-приятелей деньгами из мирских сумм снабжал. Мужиков подначальных не знал, да и знать не хотел. Был начальник задорный — мужики и на судьбище к нему не ходили, потому что одно пустое дело из того выходило. «Ты ему резонт¹, а он тя в рыло», — говаривали мужики.

Новый управляющий не из таковских был: понимал мужика вдоль и поперек, всяко крестьянско дело и деревенские обычаи ведал, ровно сам в крестьянской избе родился. Объезжая приказы, увидел он в Песочном Морковкина, поговорил с ним, заставил ведомость какую-то составить, бумагу написать и похвалил. Видя, что Морковкин бобыль, и слыша, что мужики норовят его в солдаты отдать, управляющий велел ему в контору явиться. Там Карпушка пробыл года с четыре, в приказных делах наторел, и все ему стало с руки: просьбу ль написать, дело ль в котору надо сторону своротить, — на всякое художество собаку съел. Открылось в Песоченском приказе место писаря. Карпушку туда.

И стал Карпушка не Карпушка, а Карп Алексеич. Удельного голову в руки забрал, старшин за бороды стал потряхивать. У него вся волость: ходи как лить по дну, а воды замутишь не могли.

Разжился Карп Алексеич, ровно купец городской: раз по пяти на дню чай пивал, простым вином брезговал, давай ему кизлярки да на закуску зернистой икры и с калачом. Не то что становой, сам исправник у Карпа Алексеича гащивал, но из крестьян хорошие люди знать его не хотели. Голова Михайло Васильевич поневоле в добрых ладах с Морковкиным жил, но крепко тяготился, когда писарь наезжал к нему в дом погостить-побеседовать. Патап Максимыч к каждому празднику посылал ему барашка в бумажке: нельзя — сам удельный, но дружбы с Морковкиным не заводил и к себе в дом ногой его не пускал. И рядовому крестьянству и тысячникам всем равно насолил Карп Алексеич...

Не дай Бог свинье рога, а мужику барство. Нелегко крестьянам начальство бритое, не в пример тяжелей —

¹ Французское *raison*, попавшее из помещичьих хором в крестьянские избы.

бородатое. То больше обидно стало песоченскому обществу, что не наезжий писарь аль не чиновник какой над ними властвует, а свое отродье, тот самый Карпушка, что недавно в Поромовой с поросятами в грязи валялся.

А каково было старикам поромовским, вскормившим Карпушку в мирских захребетниках?.. Каково было им без шапок на морозе стоять перед Карпом Алексеичем, кланяться ему до сырой земли, просить да молить, чтобы над ними помилосердствовал?

«Знать бы да ведать, — меж собой говорили они, — не сдавать бы в науку овражного найденыша!.. Кормить бы, поить его, окаянного, что свинью на убой, до самых тех пор, как пришлось бы сдавать его в рекруты. Не ломался б над нами теперь, не нес бы высоко поганой головы своей. Отогрели змею за пазухой! А все бабы! Они в ту пору завыли невесть с чего...»

И доставались бабам колотухи здоровенные... Доставалось и тем, что в те поры, как сдавали Карпушку в ученье, и бабами еще не были. Не разбирать же стать, когда мужичьему кулаку расходиться вздумается. Пушай бабье меж собой разбираются: котора из них правая, котора виноватая.

Наехавши писарем, не замедлил Карп Алексеич побывать в деревне Поромовой. Поромовские — известно: и «Голубчик ты наш!» и «Родной-то — ты воскормленник наш!», и «Вот какого Бог привел выкормить!» Тот ему дядей, другой сватом называется. В прежнее время Карпушку хворостиной со двора, а теперь — «Желанный ты наш, разлюбезненький». Сватьев не оберется, свояков не огребется, а женского кумовства до Москвы не перевешаешь. Но, невзирая на ласки поромовцев, не по-родственному обошелся Морковкин со своими поильцами-кормильцами.

Помнил он ребячество, помнил, как изо дня в день держали его впроголодь, а водили в обносках, что от ветхости с плеч родных детей сваливались. Помнил он щипки, рывки и потасовки ребятишек. Бывало, Боже сохрани ответить тем же, — драчуны разревутся, нажалуются, и мирского захребетника за ушко да на солнышко, да выпорют еще вдобавок без милосердия. Не было в Поромове мужика, который бы хоть раз в неделю не нарвал вихров захребетнику. А пуще всего бабы памятны были Карпу Алексеичу: то и дело колотили

они парнишку и за дело и без дела. Да все зря, чем ни попало: скалкой так скалкой, ухватом так ухватом, а не то и поленом, коли под руку угодило.

Попил, поел, погостил у поромовских Карп Алексеевич, да вместо спасибо за хлеб за соль, назавтра велел мужикам с поклоном в приказ приходить.

— По гривне с души, — сказал он. — По иным деревням у меня пятак положон, а вы люди свои: с вас и гривна не обидна. Надо бы побольше, да уж так и быть, хлеб-соль вашу поминаючи, больше гривны на первый раз не приму.

Делать нечего — писарь велик человек, все у него в руках, а руки на то и привешаны, чтобы посулы да подносы от людей принимать. Поклонились гривной с души воскормленнику... Что делать? Поневоле к полю, коли лесу нет... Взял деньги Морковкин — не поморщился да, издеваясь, примолвил старосте:

— Не даю потачки своим, чтоб страху задать чужим. Гривной с души поромовские от бед и обид не избыли. К мужикам по другим деревням Карп Алексеевич не в пример был милостивей: огласки тоже перед начальством побаивался, оттого и брал с них, как следует. А «своим» спуску не давал: в Поромовой у него бывало всяко лыко в строку.

Жаловаться в конторе пробовали — вышло хуже.

А жаловаться по мирскому решению ходил Трифон Михайлыч Лохматый. Правду сказать, он не то чтоб настоящим ходоком от миру был, чтоб нарочно в город посылали его с жалобой, на это он ни за что бы в свете не пошел. Было у него на ту пору свое дело в городе, так уж кстати было и просьбу снести. Управляющий жалобу выслушал, очень на писаря прогневался и послал доверенного чиновника по всем деревням Песоченской волости разведать, вправду ль на него Лохматый жаловался. Чиновник тот человек был ловкий, слыл добросовестным и бескорыстным, а исподтишка любил лапку в чужой карман запустить... До мужиков неповаден был и злобен, даром что Доброхотовым прозывался. Коли знает, бывало, что начальство про дела его сведать может, — за правду горой, и мужика в обиду не даст; а коль можно втихомолку попользоваться — на руку охулки не положит. А пуще всего брал языком. Кто по другим ведомствам служит, все у него воры да мошенники, один он свят человек. Ловко на-

чальство надувал и веру к себе получил от него большую. Что ни скажет, бывало, Доброхотов управляющему, так тому делу и быть. С Морковкиным спознался, когда тот еще в конторе служил. Приехав в Песочное, три дня и три ночи угощался он у писаря: день сам-друг чайничают, ночь в две пары с солдатками бражничают. После трех ден гульбы стал Доброхотов мужиков созывать да про писаря Морковкина расспрашивать. Всех деревень крестьяне сказали, что очень им довольны, никаких обид от него не видали. Недовольных только и нашлось, что двенадцать хозяев деревни Поромовой. А как им поверить, коли тысячи других в полной мере одобряют писаря. Управляющий добрый нагоняй задал поромовским. Больше всех досталось Лохматому. Тем дело и покончилось.

Карп Алексеич узнал от приятеля, кто на него челобитчиком был. Только что уехал Доброхотов, злобно закусил он губу и, не таясь стоявших поблизости людей, громко вымолвил:

— Помни ты это, Трифон Лохматый, а я про тебя не забуду.

Но Трифон Лохматый по правде жил да по истине, придраться к нему было мудрено. Как ни хитрил, какие ямы писарь под ним не подкапывал, подцепить никак не мог. Еще пуще оттого зло разобрало Морковкина.

— Ладно же, — говорит, — ладно, не отвертись ты у меня, Трифон Лохматый... Дойму не мытьем, так катаньем!..

И с того часа положил на него вражду и лютую злобу.

Хоть велик человек был Карп Алексеич, хоть велики стали достатки его, но не хватало ему по деревенскому свычаю-обычаю настоящей силы важности, потому что человек был молодой, да к тому ж неженатый. Известно, что семейному всегда ото всех больше почету, особенно если ему над другими начальство дано...

Пора бы и Морковкину семьей заводиться, да жениться-то по окольности не на ком: крестьянскую девушку взять не хочется, купецкая дочь не пойдет за мирского захребетника, на солдатке жениться зазорно, на мещанке накладно, на поповне спаси Господи и помилуй!.. А недобро жить одному: одна головня и в поле гаснет, а две положи — закурятся. Нельзя Карпу Алек-

сеичу век свой холостым переколачиваться, непременно надо ему помощницу: ведь холостому помогай Боже, а женатому хозяйка поможет... Да и что за жизнь неженатому?.. Одному и у каши нѣспоро, одному и топиться скучно идти. Во своем одиночестве завелся Морковкин кумушками, и было их у него вдоволь, но что ни толкуй, дело то греховное, зазорное... не в пример лучше совершить закон по божьей заповеди.

Стосковался безродный, безженный Карп Алексеев сын. Теплы в приказе хоромы казенные, дров на них не жалеют, топят на деньги мирские. Есть-пить Морковкину слава те Господи, — иным дворянам только по великим праздникам поест так приходится: рому, кизлярки, всяких водок от челобитных приносов хоть полы подмывай, чаю-сахару хоть коням заместо овса засыпай, других всяких запасов ни счету, ни меры нет... Да с кем греться теплом, с кем над сладким кусом порадоваться, с кем распивать даровые напитки приносные?.. «Эх, — чаще да чаще стал подумывать сам с собой Карп Алексеич: — кого бы одеть в шелки-бархаты, кого б изукрасить дорогими нарядами, кого б в люди показать: глядите, мол, православные, какова красавица за меня выдана, каково краснó она у меня изукрашена!.. Сторонись, сиволапые! Зарься, гляди, честной народ, каково убранство на моей на хозяйушке!»

Как у старого до смерти душа на вынута, так у молодца до свадьбы сердце не запечатано, оттого повсюду Морковкин искал-поискивал ответного сердца девичья. Весной ли, бывало, как девки за околицей зачнут хоровады водить да песни играть, по осени ль как на супрядках они собираются, о Пасхе ли на качелях, о святках ли на игрищах, о масленой на ледяных горах, что ставились ребятами по крутым спускам, прямо над прорубями, — Карп Алексеич тут как тут... Но сиротство-одиночество на роду ему было писано. С парнями девки заигрывают: кого в затылок кулаком, кого ладонью вдоль спины изо всей мочи, кому жбан квасу на голову, коли вздумает девичьи разговоры под окнами подслушивать, — Карпу Алексеичу ни привета, ни ответа: молча поклонятся писарю девки низким поклоном, сами не улыбнутся писарю и тотчас и в сторону. Как с великим человеком шутики шутить! Пожалуй, прогневается... И на супрядках место ему не у гóлбца,

где деревенски ребята стоят, а место поповское — в переднем, почетном углу под иконами. И речи ведут к нему не шуточные, говорят слова все покорные, потчуют Карпа Алексеича на девичьих супрядках, ровно по па на поминах родительских. К хороводу подойдет, парни прочь идут, а девкам без них скучно, и ругают они писаря ругательски, но сторожась, втихомолку: «Принес-де леший Карпушку-захребетника!» Прозвище горького детства осталось за ним; при нем никто бы не посмел того слова вымолвить, но заглазно все величали его мирским захребетником да овражным найденным. Как ни старался он угождать девкам в хороводах и на супрядках, какого ни приносил им угощенья — не помогали гостинцы: не льнули девки к писарю, задаром только харчился он... На что поповичи, и тем девки были доступнее, чем бесталанному Карпу Алексеичу.

Беда, горе великое на людях жить одинокому, но та беда еще полбеда. Вот горе неизбывное, вот беда непоправимая, как откинешься от добрых людей, да отчаливши от берега, к другому не причалишь! Хуже каторги такая жизнь!.. Такова довелась она Карпу Алексеичу.

А меж тем старики да молодые люди женатые, глядя на писаря в беседах девичьих, то и дело над ним издеваются. «Вишь какого, — судят промеж себя, — даровали нам начальника: ему бы возле подола сидеть, а не земски дела вершать. И девки-то плохи у нас, непутные: подпалили бы когда на супрядках захребетнику бороду, осрамили б его, окаянного... Да и парни-то не лучше девчонок: намяли б ему хорошенько бока-то, как идет темной ночью домой с девичьих супрядок. Право слово, так».

Одна девка посмелей была. То Паранька поромовская, большая дочь Трифона Михайловича. Не таковская уродилась, чтобы трусить кого, девка бывалая, самому исправнику не дуется в ус. Такая с начальством была смелая, такая бойкая, что по всему околотку звали ее «губернаторшей». Стала Паранька ради смеху с Карпушкой заигрывать, не то чтоб любовно, а лишь бы на смех поднять его. Подруги корить да стыдить девку зачали:

— Срамница ты этакая!.. С кем заигрывать вздумала!.. От парней рыло воротить, а к мироеду на шею мечешься... Эх, ты!.. А еще губернаторша!

— Да ведь я так, девы, ради одного смеху, — оправдывалась Паранька Лохматая.

— То-то для смеху!.. — бранили ее девки. — Намедни захребетник зачал с тобой говорить, а у тебя и глаза запрыгали, и в горле перехватило, и голос стал ровно надтреснутый... Смотри, Паранька, не осрамись... То попомни, что коль у вас с писарем до греха дойдет, тебе одна дорога — в кельи идти... То разумеи, что девуку, мирским захребетником обцелованную, не то что хороший парень, последний кабацкий пропойца за себя не возьмет... Да и от нас подальше убирайся тогда. Не водиться девицам с Карпушкиной полюбовницей... Помни это, Паранька, помни, не забывай...

— Ну вас туту! Стану я взаправду думать о писаре!.. — крикнет да захохочет, бывало, девкам в ответ Паранька Лохматая. — Да по мне, Карпушка хоть на ноже торчи... Ишь чем попрекать меня вздумали!

— То-то, губернаторша, смотри! — говорили девки, веря словам ее. В голову никому прийти не могло, чтоб, опричь солдаток, вздумал кто гулять с мирским захребетником.

А Паранька меж тем с писарем заигрывала да заигрывала... И стало ей приходиться в голову: «А ведь не плохое дело в писарихи попасть. Пила б я тогда чай до отвалу, самоваров по семи на день! Ела б пряники да коврижки городецкие, сколь душа примет. Ежедень бы ходила в ситцевых сарафанах, а по праздникам в шелки бы наряжалась!.. Рубашки-то были бы у меня миткалевые, а передники, каких и на скитских белицах нет».

Зачал и Карп Алексеич на Параньку глаза распускать, одинокому человеку ласковое девичье слово всегда душу воротит вверх дном. Но жениться на Параньке и на мысли ему не впадало... То на уме Карп Алексеич держал: «Сплету лапоть без кочедыка, возьму девуку без попа, в жены не годится — в кумушки бредет». И повел свое дело...

Стали девки замечать, что дело не на смех у них становится. Говорят Параньке:

— Что ты, дура отятая... Куда ты с-бешеной головой своей лезешь?.. Надует тебя захребетник, как пить даст!.. Даром только ославишься!

А «губернаторша» как цыкнет им на ответ, да одной подруге еще примолвила:

— Не тебя стригут, так ты и молчи.

Дошли слухи до родителей. Не верил отец, чтоб писарь с Паранькой венцом порешил, но поверила тому Фекла Абрамовна.

Проведав про дочкины проказы, старый Трифон указал ей на плетъ, а писарю при случае обещался виски поправить.

— Да я, — говорит, — скорей детище свое в куль да в воду, чем за мирского захребетника замуж отдам!.. В нашем роду бесчестных людей не бывало, нам с Карпушкой родниться не стать.

Заглянул однова Трифон в овин, — писарь с Паранькой обнимаются. Схватил старик цеп, да и ну, молотить.

После того у писаря три дня и три ночи голова болела, а на правую ногу три недели прихрамывал... Паранька в люди не казалась: под глазами синяки, а что на спине, то рубашкой крыто — не видать... Не сказал Трифон Фекле Абрамовне, отчего у дочери синяки на лице появились, не поведала и Паранька матери, отчего у ней спинушку всю разломило... Ничего-то не знала, не ведала добродушная Фекла Абрамовна.

«Постой же ты у меня, — кряхтя и охая, думал Карп Алексеич. — Все припомню, все: и жалобы твои и побои!.. Узнаешь меня, косматая борода!.. Дай только на ноги подняться!..»

Да справившись, выбрав ночь потемнее и пошел сам один в деревню Поромову, прямо к лохматовской токарне. Стояла она на речке, в поле, от деревни одаль. Осень была сухая. Подобрался захребетник к токарне, запалил охалку сушеной лучины, да и сунул ее со склянкой скипидара через окно в грудку стружек. Разом занялась токарня... Не переводя духу, во все лопатки пустился бежать Карп Алексеич домой, через поле, через кочки, через болота... А было то дело накануне постного праздника Воздвиженья креста господня.

На Покров у Лохматого лошадей угнали, на Казанскую в клетки все до нитки обворовали. Тут Карп Алексеич был неповинен. В том разве вина его состояла, что перед тем незадолго двух воров в приказ приводили, и писарь, как водится, обругав их, примолвил десятскому:

— Вот дураки-то!.. К кому забрались!.. Как куры во щи и попали... Это не Трифон Лохматый, у того и кони не в призоре, да и в клеть хоть на тройке въезжай.

Воры были удельные, обокрали удельного. Удельный приказ, не доводя дела до суда, распорядился по-домашнему: воров выпорол и отпустил... И вспомянули воры слово писарево, и очистили догола старика Лохматого.

Спалив токарню, сам же писарь, как ни в чем не бывало, подговаривал Трифона подать становому объяснение. «Как зачнется следствие, — думал он, — запутаю Лохматого бумагами, так оплету, что овина да жалоб и на том свете не забудет». Спознал Морковкин, что Трифон не хочет судиться, что ему мужики спасибо за то говорят.

«Деньгами спутать!..» — подумал он и шепнул своей сударушке:

— Молви, лебедка, матери: пущай, мол, тятка-то на нову токарню денег у меня перехватит. Для тебя, моя разлапушка, рад я радехонек жизнью решиться, не то чтобы деньгами твоему родителю помочь... Деньги что?.. плевое дело; а мне как вам не пособить?.. Поговори матери-то, Паранюшка... И сам бы снес я, сколько надо, Трифону Михайлычу, да знаешь, что меня он не жалует... Молви, а ты молви матери-то, она у вас добрая, а я от всего своего усердия.

— Поговорю, Карпушенька, беспрременно поговорю... — отвечала на те речи Паранька. — И спасибо ж тебе, соколик мой!.. А и что это у нас за тятенька! Не родитель детям, а злой лиходей... Ровно я ему не родная дочь, ровно я ему наемная работница!.. Не жалеет он меня ни на сколько! И за что это он невзлюбил тебя?

— Не кручинься, моя ягодка, не горюй, яблочко наливчатое, — отвечал Морковкин, обнимая свою разлапушку. — Бог милостив: будет праздник и на нашей улице... А Трифона Михайлыча, нужды нет, что меня не жалует, уважить я завсегда готов... Что ни есть нажитого, все, до последней копейки, рад ему отдать... Так и скажи Фекле Абрамовне.

— Скажу, соколик мой, беспрременно скажу, — страстно отвечала Паранька, ласкаясь к писарю. — Только уж не знаю, как тятенька-то...

— А что?

— Загубил он мою молодость!.. — утирая рукавом слезы, зарыдала Паранька. — Не дает воли сердечушку, не велит любиться с желанным моим!..

— Да ведь любимся же, Паранюшка, — утешал ее захребетник. — Не гневи Бога, не кори отца.

— Любится-то мы любимся, голубчик мой, — сказала Паранька, — да все ж под страхом, под боязнью. А мне вольной любви хочется! Передо всеми бы людьми добрыми не зазорно было обнять тебя, не украдкой бы говорить с тобой речи любовные, не краснеть да не зариться со стыда перед подругами...

— Бог милостив, Паранюшка, придет час воли божией, — говорил Карп Алексеич. — А матери ты говори, про что я наказывал.

— Ох ты, добрый мой!.. Ох ты, радостный! — полными белыми руками обвивая шею писаря и жарко целуя его, говорила Параня. — Тятка зло тебе мыслит, а ты ему добром хочешь платить... Какой же ты славный, Карпушенька!

И жарко целовала Параня полюбовника, и сладко миловала его, и крупные слезинки, что жемчужинки, выкатались из ясных очей ее.

А под вечер все рассказала матери: про гульбу свою с Морковкиным, про надежду писарихой быть, жить-поживать в холе, в почете, в великом богатестве... И про то рассказала Фекле Абрамовне, что в ови не приключилось по осени, и про то молвила, что сулит Морковкин денег на токарню дать и на все на прочее, сколько понадобится... Фекла Абрамовна разревелась-расплакалась, не нашла слов на похвалу Карпу Алексеичу и долго и строптиво ворчала на своего старого... Потому-то и пыталась она подъехать к сожителю со словами советными, попросил бы он денег у писаря, но не принял Трифон советов жениных, не восхотел поклониться мирскому захребетнику: послал Алексея к Патапу Максимычу, Саввушку ложкарить в Хвостиково.

За великую досаду стало это Морковкину: «Уж как ты там себя не вывертывай, — говорил он сам про себя, — а доеду я тебя, Трифон Михайлович, попомню овин да жалобы!» А сударушке иное расписывал:

— Бога не боится родитель твой — в чужи люди сыновей послал! Саввушку-то жалко мне очень — паренек-от еще не выровнялся, пожалуй, и силенки у него не хватит на работу подряженную. Много, пожалуй, придется и побой принять, коль попадется к хозяину немилостивому. Чем сыновей-то в кабалу отдавать, у

меня бы денег позаймовал. Не потерпит ему Господь за обиды родным сыновьям.

Паранька плакала, передавала писаревы слова матери и чуть не каждый божий день приводила ее в слезы разговорами о тяжелой работе в чужих людях Алексея да Саввушки.

— Не говори ты, Паранюшка, не надрывай моего сердечушка! — тосковала и рыдала Фекла Абрамовна, слушая речи дочерние. — Сама знаю я, девонька, какая чужедальняя сторонюшка: горем она сеяна, слезами поливана, тоскою покрывана, печалью горюжена, — причитала она, сидя на лавке и качаясь станом взад и вперед.

Когда пали слухи, что Алексей у Патапа Максимыча хорошо пристроился, что осиповский тысячник премного его жалует, сделал даже своим приказчиком, мирской захребетник задумался. Слышит от людей, что Трифон Лохматый нову токарню выстроил, лошадей купил и всем прочим по хозяйству справляется. Раза по два на неделе бегают к нему Паранька, говорит, что деньги на расходы Алексей приносил... Разобрало зло писаря пуще прежнего.

Говорит удельному голове Михайле Васильевичу:

— Давно мне хотелось сказать вам насчет Алексея Лохматого, что живет у Чапурина в Осиповке.

— Что ж такое? — спросил у него Михайло Васильевич.

— У отца у его токарню по осени спалили, а потом обокрали беднягу.

— Знаю, — отвечал голова. — Кругом разорили. А хозяин исправный был!

— Теперича, Михайло Васильич, — продолжал Морковкин, — Трифон Лохматый нову токарню ставит, не в пример лучше прежней, и пару коней купил — лошади доброезжие, немалых денег стоят, опять же из пожитков, что было покрадено, живой рукой справляет.

— Что же? Слава Богу, что поспособляет доброму человеку справляться, — молвил на те речи Михайло Васильевич.

— Все это на плохой конец четырех сот целковых стоит, — сказал Морковкин.

— Стоит. Как по нынешним ценам не стоить! — подтвердил голова.

— А у Лохматого больших денег никогда не важи-

валось, — продолжал писарь. — Которы и были, те покрадены. Откуда ж взялись они? Не с неба ж свалились, не клад же дался ему.

— Известно, — поддакнул Михайло Васильевич.

— Я доподлинно от самых верных людей узнал, — продолжал Карп Алексеич, — что деньги большой сын приносит из Осиповки... Живет у Чапурина без году неделя, когда ему такие деньги заработать?.. Тут, надо быть, другое что есть.

— Что ж такое?

— Да не стянул ли он деньги-то? — сказал писарь. — Не мешало бы хорошенько приструнить его... Чтобы после не было каких неприятностей.

— Не может быть того, чтоб Трифонов сын воровскими делами стал заниматься, — молвил Михайло Васильич. — Я у Патапа Максимыча наемдни на хозяйкиных именинах гостил. Хорошие люди все собрались... Тогда впервые и видел я Алексея Лохматого. С нами обедал и ужинал. В приближение его Патап Максимыч держит и доверье к нему имеет большое. Потому и не может того быть, чтоб Алексей Лохматый на такие дела пошел. А впрочем, повижусь на днях с Патапом Максимычем, спрошу у него...

Не того хотелось Карпу Алексеичу. Думалось ему уговорить Михайлу Васильевича отписать в удельну контору о сдаче Лохматого в рекруты за порочное поведение.

Прошло сколько-то времени, — говорит голова Морковкину: виделся-де он с Патапом Максимычем, и Патап-де Максимыч ему сказывал, что он деньги давал займы Трифону Лохматому, а коль понадобится, говорит, так и вдвое и втрое дам ему, а сыном его Алексеем так доволен Патап Максимыч, как больше нельзя...» А вот это на его же Алексея Лохматого счет», — примолвил Михайло Васильевич, вынимая из кармана рекрутску квитанцию.

Остолбенел мирской захребетник — не то ему чаялось... А меж тем голова велел записать, где следует, квитанцию, что идет она за семью Лохматого и что теперь та семья от рекрутства свободна...

Ту квитанцию голова получил от Патапа Максимыча.

О Святой под качелями Паранька шепнула возлюбленному, что брат вместо красного яичка много денег

принес. Теми словами она любовника своего прикручинила. Чуть не задохся со злости Карп Алексеич.

«Рано ли, поздно ли, попадешься ты мне! — думал он. — Погоди, гусь лапчатый, не отморозить бы тебе красны ноженьки! Быть тебе, сорванцу, под красной шапкой, — такое дельце состряпаю, что не поможет тебе и рекрутска квитанция».

Злоба к отцу перешла на сына. Чуть ли еще не сильнее была.

А Паранька, только что наступила весна, то и дело в Песочное.

Приелась девка Карпу Алексеичу, иной красоты захотелось... Воззрился на меньшую дочь Лохматого, Натальюшку.

Однажды, когда на горячие милованья голубки Паранюшки неохотно отвечал соколик Карпушенька, девушка навзрыд разрыдалась и стала укорять полюбовника, что он вконец загубил жизнь ее горегорькую, объявила, что стала не праздная.

Безответно осталось сердце захребетника. «Чтобы черт тебя побрал и с отродьем твоим!..» — подумал он и хмарю тучей нахмурился.

— Хочешь не хочешь, голубчик Карпушенька, а надо скорей дело венцом порешить, — умоляла писаря Прасковья Трифоновна.

— Знаю, — грозно отвечал захребетник. — Да как же статья тому? Старик-от согласья не даст.

— Уходом, Карпушенька, — подхватила Паранька. — Тебе же с руки: великороссийская под боком, поп Сушила приятель тебе — свенчает как раз.

— Так-то оно так, — промычал под нос себе Карп Алексеич и крепко задумался.

Глава шестая

Петра солноворота¹ — конец весны, начало лету. Своротило солнышко на зиму, красно лето на жары пошло. Останные посевы гречихи покончены, на самых запоздалых капустниках рассада посажена, на последнюю рассадину горшок опрокинут, ди-

¹ Июня 12-го.

карь¹ навален и белый плат разостлан с приговорами: «Уродись ты, капуста, гола горшком, туга камешком, бела полотняным платком».

По утренней росе, в одних рубахах, опоясавшись шерстяными опоясками, досушие хозяйки ходят, бродят по огородам. Зорко высматривают они, не зажелтел ли где в приземистой огуречной травке золотистый новичок — первенький цветочек. И только что завидит которая желанного гостя, тотчас красную нитку из опояски вон, и с молитвой царю Константину и матери Олене наклоняется над грядкой и тою ниткой перевязывает выглянувший на свет божий цветочек. А сама заговор шепнет: «Как густо мой пояс вязался, так бы густо вязались мои огурцы, не было б меж них пустоцвету!..»

В деревнях, что подальше в захолустьях, на Тиховы дни иное старинное действо справляют. О ту пору сорные травы меж сеянной и саженой огородини разрастаются, пора девичьей работы подходит — гряды полоть. Но перед тем по старому завету надо «гряды обегать». Собираются красны девицы гурьбою и в глухую полночь обегают гряды веселой вереницей. А сами все до единой в чем мать на свет родила. От того обеганья ни червь на гряды не нападет, ни лютые медвяные росы, ни солнышком овощи не припечет, ни дождиком их не зальет.

Не уставлено урочного дня грядному обеганью — никому не узнать, в какую ночь станут девицы свое действо справлять. Не скажут они ни брату, ни снохе, ни малым ребятам, ни родителям. И без того немало забот, чтоб девичье действо обошлось без помехи, чтоб не было ему какого ни на есть порушенья. Но в каком тайном свете дело свое девицы не держат, парии, лукавый их знает как, беспременно узнают — и ночью, как действо зачнется, они тут как тут. Еще с вечера в копани по загородью пострелы запрячутся, либо залягут в крапиву — жги-пали, окаянная, только б глазком взглянуть на красоту девичью, как ее Господь Бог без покрова созда́л... Хоть действо бывает и полночью, да на Тиховы дни заря с зарей сходятся, какой горячий молодецкий взор в те белые ночи не разгля-

¹ Гранитный камень. В лесах за Волгой немало таких гранитных валунов.

дит голеньких красоточек?.. А потом, как сойдутся на всполье хороводы водить, либо песни играть, иной бахвал захочет, да еще озорную речь поведет: «У тебя, скажет, Степанида Марковна, возле спины-то сбоку родинка»... И сгорит от стыда Степанида Марковна, обзовет недобрым словом бесстыжего, а тому, что с гуся вода: стоит ухмыляется да при всем честном народе еще брякнет, пожалуй, во все горло: «Сам своими глазами видел — хошь образ со стены!.. Вот и Егорку спроси, да и Ванька с Петряйкой солгать не дадут — и они тоже видели...» Батюшки святы!.. Снял долой с плеч головушку!.. Совсем осрамил! А что с нахальником сделаешь? Стали замолкать соловьи, стали стихать и другие голосистые пташки. Не слышать больше звонкого, переливистого их щебетанья. Иные певуны с иными песнями сменили их: только что закатится солнышко, в озимях перепела затюкают, в дымящемся белым туманом болоте дергач¹ закричит, да на разные лады заведут любовные песни лягушки... Полетела пчела — божья угодница — на расцветшие луга и поляны, за обножую². Отколь ни возмись комариная сила, и напал на скотину овод; по лугам и перелескам во все стороны заметалась скотина, забегала, задрав хвосты, ровно бешеная. Межипарье³ пришло, вывезли мужики на паровые поля, сколько у кого накопилось, навозу, двойчатыми железными вилами бабы по всей полосе раскидали его, чтоб лежал ровненько — уродил хлеба полненько... Конец первой страды⁴. Не за горами и вторая; а вторая страда горше первой. Известно дело: на первую страду выльешь поту жбан, на вторую полный чан. Травы налились, зацвели, раздушились... Недалеко косовица — зеленый покос, не за горами и жнитво, озимая пахота, сев. Выволакивают мужики заброшенные по задворкам после яровой пахоты сохи и косули, вынимают из клетей серпы да косы. Тут не без хлопот;

¹ Болотная птица *Rallus crex*, иначе коростель.

² Обножь, иначе взятки, колошки, поноска, понос — добыча, которую пчела собирает за один вылет.

³ Межипарье — пора между весенними и летними полевыми работами от конца посевов до начала сенокоса.

⁴ Страда — рабочее время в полях. Первая, или малая, страда бывает весной (пахота и сев ярового поля). Она гораздо легче второй, или большой, страды, бывающей в июле и августе. Тут и сенокос, и жнитво, и пахота, и засев озимых полей.

косы надо наклепать, серпы назубрить, брусницы¹ варом облить да песком усыпать. Брусницу сладить — дело неважное, и подросток сможет, но клепка кос и зубрение серпов не всякому зипуну к рукаву подойдет. Тут нужны сметка в голове да провор в руке; без умения колоти молотком по заклепкам сколько хочешь, одна пустая маята выйдет, пожалуй, еще порча... Но вот стук-бряк по улице косами да серпами. С конца деревни до другого веселые крики несутся...

— А!.. Старый знакомый!.. Масляно рыло!.. Краснобайный язык!.. Добро пожаловать, милости просим!

Это булыня². Вот идет он возле подводы, а сам подпрыгивает, косами да серпами побрякивает, затейными прибаутками народ смешит. У него на возу и косы-литовки, и косы-горбуши³, и серпы немецкие, а захочешь, так найдутся и топоры из самого Пучежа... Брякнет булыня косой о косу, звякнет серпом о серп — не успеешь Богородицу прочитать, цела деревня от мала до велика кругом воза стоит. Краснобай от клепки кос, от зубрения серпов мужиков отговаривает — берите, мол, новые, не в пример дешевле обойдутся. И денег добрый человек не берет — по осени, говорит, приеду, бабы льном заплатят, хошь мыканым, хошь немыканым, хошь изгрёбным⁴, как им в ту пору будет сподручнее. Мне ведь, говорит, все едино, что сланец, что моченец, что пла-

¹ Брусница, или брусовец — дощечка, в виде маленькой лопаты, облитая варом (сосновая, еловая, пихтовая и всякого другого хвойного дерева смола, очищенная и сгущенная варкой, а потом посыпанная песком, который крепко пристаёт к вару). Брусница употребляется для точенья кос и горбуш.

² Бродячий по деревням скупщик, преимущественно льна, всегда большой руки плут и балясник. Оттого ему и прозвище «масляно рыло, краснобайный язык». Лен скупает булыня по осени и зимой, а летом торгует косами и серпами. Он большей частью отдает их в долг, что крестьянам на руку, оттого что лето у них — пора не денежная. Осенью, забирая лен, булыня охулки на руку не кладет — процентов двести придется ему за отдачу в долг серпов и кос.

³ Литовка — русская большая коса, с прямым косьем (рукояткой). Горбуша — малая коса, с коротким и кривым косьем.

⁴ Изгрёбной лен, или просто изгрёбь — грубые лыняные волокна, остающиеся от вычески отмятого и отрепанного щеткою льна. Из него делают рядно — самый грубый холст, идущий на мешки, на покрышки возов и т. п.

ун, что долгунец¹ — всякий Демид в мой кошель угодит.

И в тот же день во всяком доме появляются новые серпы и новые косы. Летошних нет, на придачу булыне пошли. А по осени «масляно рыло» возьмет свое. Деньгами гроша не получит, зато льном да пряжей туго-натуго нагрузит воза, да еще в каждой деревне его отцом-благодетелем назовут, да не то что хлеб-соль — пшенники, лапшенники, пшенницы, лапшенницы на стол ему поставят... Появятся и оладьи, и пряженцы, и курочка с насести, и косушка вина ради почести булыни и знакомства с ним напередки. А лет через десять, глядишь, тот булыня в купцы выписался, фабрику завел, каменный дом себе склал. А лесным бабам заволжанкам того и невдомек, что булынин-от дом из ихнего льна строен, ихней новиной покрыт, ихними тальками² огорожен.

Межипарье — развеселая пора деревенской молодежи; веселей той поры во все лето нет. Работы мало, что ни вечер, то на всполье хороводы, либо песни, либо лясы, балясы да смехи на улице у завалин... А тут, глядишь, и земляника в мураве заалела, и черника вызрела, и тройчатая костяника, — пошел и сизый гонобобель³. Вслед за ягодами из земли грибы полезли, ровно прет их оттуда чем-нибудь. Первым явился щеголек масляник⁴ на низеньком корешке в широкой бурой шляпке с желтоватым подбоем, а за ним из летошной полусгнившей листвы полезли долгоногие березовики и сине-алые сыроежки, одним крайком стали

¹ Лен сланец — первый сбор волокна, моченец — второй, плаун — волокно короткое, мягкое и тонкое, долгунец — длинные, но жесткие волокна.

² Талька — моток ниток, состоящий из 20 пасем, а пасьма — из 15 чисменок, в чисменке четыре нитки (кругом), каждая по четыре аршина. Таким образом, в тальке 4 800 аршин пряжи. Такой счет ведется в Нижегородском и Костромском Заволжье, в Вятской губернии и вообще на севере. По другим местам другой счет пряжи ведут; около Москвы, например в Калужской и Тульской губерниях, в тальке считают 20 пасем, каждая из 10 чисменок в четыре нитки, то есть 3 200 аршин в тальке.

³ Костяника, или каменика — *Rubus saxatilis*, у нее всегда по три ягодки вместе. Гонобобель, по другим местам голубица, пьяница, дурила ягода — *Vaccinium uliginosum*.

⁴ Масляник — *Boletus lateus*, самый ранний гриб, кроме сморчков (*Morchella*), которые крестьянами за грибы не считаются и в пищу не употребляются.

высовываться и белые грибы. Радуются девки грибкам-первачкám, промеж себя уговор держат, как бы целой деревней по грибы идти, как бы нажарить их в темном перелеске, самым досыта наестся и парней накормить, коли придут на грибовные девичьи гулянки. Прийти бы только долговязым!.. Вволю бы девки над ними на-тешились, до крови нарвали бы уши пострелам на нову новинку¹. Для того больше грибовны девичьи гулянки и затеваются... Маслом надо да сметаной раздобыться, благо Пасха была поздняя — грибы наперед Всех святых уродились², значит не грешно первачков на новинку и скоромных поест. Но матери ворчливы, не то что масла, кислого молока у них не выпросишь; дрожат хозяйки надо всяким молочным скопом в летнюю пору. Ну, да ради грибовных гулянок авось и поп во грех не поставит, если та аль другая красotka с погребá у матери кое-что и спроворит. Уговорились девки; с раннего утра в каждой избе хлопотливо снуют они вокруг матерей у печей, помогая стряпать наспех — скорей бы отобедать да в лес с кузовками... Рассыпались девки по лесу, хрустят под их ногами сухие прутья, хлещут древесные сучья и ветки, раздвигаемые руками деревенских красавиц. Клики не смолкают, ауканьям конца нет, стоном стоят по лесу звонкие голоса. Пришли и парни. Они без плетюх, без туесов — их дело не грибы собирать, а красным девкам помогать. Только что в лес — хохот, взвизги. Верны девки старому завету: с кем зимой на супрядках, с тем летом на грибкаx да на ягодках. А все парочками. По-набравши грибов, парни огни развели, девки в глиняных плошках принялись грибы жарить. Ложек парни не захватили, девки кормят каждая своего из своей ложки. А кормя, норовят, чтоб парень, ошпарив язык, глаза выпучил и слова не мог бы промолвить. А тут ложкой его по лбу да за уши драть, не забыл бы новой новинки... Что смеху тут, что веселья!.. А под вечер каждый с зазнобушкой в кустики... И тут чуткому уху доводится слышать, как звонко да смачно деревенская молодежь целуется... Ох, грибы-грибочки! тем¹

¹ Известный старинный обычай — драть за уши всякого, кто первый раз в том году ест новинку: первые ягоды, первые грибы, овощи и пр.

² С воскресенья Всех святых начинается Петров пост.

ные лесочки!.. Кто вас позабудет, кто про вас не вспомнит?

Жила-была в лесах бабушка Маланья, древняя старуха. Сколько от роду годов, люди не знали, сама позабыла... Языком чуть ворочает, а попу каждый год кажется, что давным-давненько, во дни молодые, в годы золотые, когда щеки были алы, а очи звездисты, пошла она в лес по грибочки, да нашла девичью беду неправную... «Бабушка, — говорит ей поп, — много раз ты в этом каялася: прощена ты Господом от веку до веку». — «Батюшка, — отвечает старушка, — как же мне, грешнице, хоть еще разок не покаяться? Сладкое ведь сладко и вспомнить».

Эх, грибы-грибочки, темные лесочки!.. Кто вас смолodu не забывал, кто на старости не вспоминал?.. Человек человеческим живет, пока душа из тела не выпута.

Лишь за три часа до полуночи спряталось солнышко в черной полосе темного леса. Вплоть до полуночи и за полночь светлынь на небе стояла — то белою ночью заря с зарей сходились. Трифон Лохматый с Феклой Абрамовной чем Бог послал потрапезовали, но только вдвоем, ровно новобрачные: сыновья в людях, дочери по грибы ушли, с полдён в лесу застряли.

Поворчал на девок Трифон, но не больно серчал... Нечего думой про девок раскидывать, не медведь их заел, не волк зарезал — придут, воротятся. Одно гребело Лохматому: так ли, не так ли, а Карпушке быть в лесу. «Уж коли дело на то пошло, — думает он про Параньку, — так пусть бы с кем хотела, только б не с мироедом...» Подумал так Трифон Михайлыч, махнул рукой и спать собрался.

Брякнули бубенчики на улице, заржали кони у ворот Лохматого. Подкатила ко двору пара лихих саврасок Алексеевых.

— Алексеюшка! — радостно вскрикнула Фекла Абрамовна и, семеня старыми ногами, бросилась отворять дорогому гостю ворота.

— Где был-побывал? Откудова Бог несет? — спрашивал Трифон Лохматый, здороваясь с сыном.

— В городе был, батюшка, места искал, — ответил Алексей.

— Что же? — спросил отец.

— Доброе местечко мне выпало, — сказал Алексей, — приехал твое благословенье принять.

— Что ж за место такое? — с любопытством спрашивал у сына Трифон.

— Хорошее местечко, батюшка, — отвечал Алексей. — Только надо трехгодовой пачпорт выправить.

— Для чего долгой такой?

— В дальни места придется отъехать, — молвил Алексей. — На долгое время...

— В дальнюю сторонushку!.. На три-то годика!.. — всплеснув руками, зарыдала Фекла Абрамовна и, поникши головой, тяжело опустилась на скамейку. — Покидаешь ты нас, дитятко!.. Покидаешь отца с матерью!.. Покидаешь родиму сторонushку!..

— Завыла! — сурово молвил Трифон Михайлыч. — Убейся, не мешай про дела разговаривать.

Утирая рукавом слезы и едва сдерживая рыдания, побрела Абрамовна в заднюю горницу вылить материнскую скорбь перед святыми иконами. Отец с сыном остались один на один.

— Какое ж то место? — спросил Алексея Трифон Лохматый.

— У Колышкина место, батюшка, у Сергея Андреича, — отвечал Алексей. — Приятель Патапу Максимычу будет... Пароходы у него по Волге бегают... На одном пароходе мне место сулит — всем заправлять, чтоб, значит, все было на моем отчете.

— По силам ли будет тебе такое дело? — молвил Трифон.

— Сладим, батюшка, — молодецки потрянув кудрями, ответил отцу Алексей. — Хитрость не великая, приглядывался я на пристани довольно. — Мелей на Волге много, перекатов, а ты человек не бывалый. Долго ль тут до греха?.. — заметил отец.

— То лоцманово дело, батюшка, — сказал Алексей. — Ему знать мели-перекаты, мое дело за порядком смотреть да все оберегать, кладь ли, людей ли... Опять же хозяйские деньги на руки, за нагрузкой смотреть, за выгрузкой.

— То-то смотри! Коим грехом не оплошай, — молвил Трифон.

— Бог милостив, батюшка, управимся, — с уверенностью сказал Алексей.

— На три года, говоришь, пачпорт? — спросил Трифон Михайлыч.

— Так точно, батюшка.

— А скоро ль надобно?

— Да через неделю бесприменно надо на пароход поспеть. К тому времени с Низу он выбежит: приму кладь, да тем же часом в Рыбную.

— Ой, Алексеюшка, в неделю с пачпортом тебе не управиться. Задержки не вышло бы какой, — сказал Трифон Михайлыч.

— Какая же задержка? — спросил Алексей. — Подати уплочены, на очереди не состою, ни в чем худом не замечен... Чего еще?

— Не подати, не очередь, не худое что, другое может задержать тебя, — сказал Трифон. — Аль забыл, кто делами-то в приказе ворочает?

— Как забыть? — усмехнувшись, ответил Алексей.

— То-то и есть, — молвил Трифон. — Из всей волости нашу деревню пуще всех он не жалует. А из поромовских боле всего злобы у него на меня...

— Да что ж он сделает? — горячо заговорил Алексей. — Разве может он не дать пачпорта?.. Не об двух головах!.. И над ним тоже начальство есть!

— Эх, молодо-зелено! — сказал сыну Трифон Лохматый. — Не разумеешь разве, что может он проволочить недели три, четыре?.. Вот про что говорю.

— Так я в город, — подхватил Алексей. — В казначействе выправлю.

— Так тебе и выдали!.. Держи карман!.. Казначей без удельного приказа не даст! — сказал Трифон Лохматый. — Нет, парень, без Карпушки тебе не обойтись... В его руках!..

Озадачили Алексея отцовы речи. Руки опустил и нос повесил.

— Как же быть-то? — спросил он отца упалым голосом.

— А вот как, — сказал Трифон. — Утре пораньше поезжай ты к Патапу Максимычу, поклоняйся ему хорошенько, чтоб удельному голове словечко закинул, чтоб голова бесприменно велел Карпушке бумагу для казначея тебе выдать. А в приказе пачпорта не бери... Карпушка такую статью, пожалуй, вlepит, что в первом же городе в острог угодишь... На такие дела его взять!

К Патапу Максимычу!.. В Осиповку!.. Легко молвить, мудрено сделать... Заказан путь, не велено на глаза показываться. Сказать про то родителю нельзя, смолчать тоже нельзя... Что же делать?.. Опять, видно, грех на грех накладывать, опять обманные речи отцу говорить... Что же?.. Теперь уж не так боязно — по-привык.

— Ладно, — пробормотал Алексей, — съезжу. А все-таки наперед к Морковкину попытаюсь, — прибавил он.

— Попытайся, пожалуй, — молвил Трифон. — Только помяни мое слово, без Патапа Максимыча тебе не обойтись.

— Увидим, — сказал Алексей, решаясь в случае неудачи ехать не в Осиповку, а прямо к голове. Благо по ветлужскому делу человек знакомый.

— Смотри только, Алексеюшка, с Карпушкой-то не больно зарывайся! — молвил Трифон. — У него ведь всяко лыко в строку. Чуть обмолвишься, разом к ответу... А ведь он рад-радехонек всех нас в ложке воды утопить... Памятлив, собака!

— Что Паранька-то? — после недолгого молчанья спросил Алексей.

— Гуляет, — насупив брови, сквозь зубы процедил Трифон, а сам, поднявшись с лавки и отодвинув оконницу, высунул на волю седую свою голову.

— Ни слуху, ни гулу, ни шороху, — молвил, отходя от окошка. — Кочетам полночь пора опевать, а их нет да нет... И пес их знает, куда до сих пор занесло непутных!..

— Гулянки, что ль, какие? — спросил Алексей.

— По грибы пошли, — молвил Трифон. — Как только отобедали, со всей деревни девки взбузыкались. А нашим как отстать?.. Умчались, подымая хвосты... А Карпушка беспрерывно уж там... Караулит, леший его задерит...

— Не посмеет, — слегка тряхнув кудрями, молвил Алексей. — Не дадут ребята спуску, коли сунется на игрище.

— Да он игрища-то и в глаза не увидит, — сказал Трифон Михайлыч. — Лес-от велик, места найдется... Да что лес!.. На что им лес!.. Паранька в Песочно повадилась бегать... Совсем девка с похвей сбилась... Ославилась хуже последней солдатки!.. На честной родительский дом позор накинула — ворота ведь дегтем ма-

зали, Алексеюшка!.. После этого как Параньке замуж идти?.. Ни честью, ни уходом никто не возьмет. И Наталья-то по милости ее терпеть приходится... Уж чего не приняла от меня Паранька, уж как не учил ее!.. Печки одной на ней не бывало!.. А ей и горяшка нет, отлежится, отдышится, да опять за свои дела. Потеряла девка совесть, забыла, какой у человека и стыд бывает!.. Ох-охó-хохó!..

И жжет и рвет у Алексея сердце. Злоба его разбирает, не на Карпушку, на сестру. Не жаль ему сестры, самого себя жаль... «Бог даст в люди выйду, — думает он, — вздумаю жену из хорошего дома брать, а тут скажут — сестра у него гулящая!.. Срам, позор!.. Сбыть бы куда ее, запереть бы в четырех стенах!..»

— В кельи ее, батюшка! — молвил он. — Черная ряса все покрывает.

— И то думаю, — ответил Трифон Михайлыч. — Только ведь ноне и по келейницам эта слабость пошла. В такой бы скит ее, где бы накрепко хвост-от пришили... А где такого взять?

— В Шарпане, сказывают, строго келейниц-то держат, — заметил Алексей.

— В Шарпане точно будет построже. И черной работы больше, дурить-то некогда... Да примет ли еще мать Августа наше чадушко? Вот что... — сказал Трифон.

— Попробуй... — молвил Алексей.

— И то надо будет, — отозвался Трифон. — То маленько обидно, что работницей в дому меньше станет: много еще Паранька родительского хлеба не отработала. Хоть бы годок, другой еще пожила. Мать-то хилеть зачала, недомогает... Твое дело отделенное, Савелью до хозяйки долга песня, а без бабы какое хозяйство в дому!.. На старости лет останешься, пожалуй, один, как перст — без ухода, без обиходу.

— Бог милостив, батюшка; Наталья останется, — утешал отца Алексей.

— И на нее плоха, парень, надежда, — вздохнул Трифон. — Глядя на сестру, туда же смотрит.

— В Шарпан Параньку, в Шарпан, батюшка... — настаивал Алексей.

— Эка память-то у меня стала! — хватился Трифон. — Про скиты заговорили, только тут вспомянул... Из Комарова была присылка к тебе... Купчиха там московская проживает...

Алой зарницей вспыхнуло лицо Алексея, огнем сверкнули черные очи... Духу перевести не может.

— В пятницу от Манефиных работник на субботний базар в Городец проезжал, с ним Масляникова купчиха, что в Комарове живет, — наказывала тебе побывать у нее — место-де какое-то вышло, — продолжал Трифон, не замечая смущения сына.

Вдруг слышались на улице веселый шум и звонкий смех... Затренкала балалайка, задребезжала гармоника, бойко затянул «запевало», вторя ему пристали «голоса»: один заливался, другой на концах выносил... Им подхватили «подголоски», и звучной, плавной волной полилась расстанная песня возвращавшейся с «грибовной гулянки» молодежи:¹

Веселая голова,
Не ходи мимо сада,
Дороженьки не тори,
Худой славы не клади.

Пробудились на печках от уличной песни старые старухи, торопливо крестились спросонок и творили молитву. Ворчали отцы, кипятились матери. Одна за другой отодвигались в избах оконницы и высывались из них заспанные головы хозяек в одних повойниках. Голосистые матери резкою бранью осыпали далеко за полночь загулявших дочерей. Парни хохотали и громче прежнего пели:

Мил дорожку проторил,
Худу славу наложил,
Отцу с матерью бесчестье,
Роду-племени покор.

Не сразу угомонилась и разбрелась по дворам молодежь. Долго брэнчала балалайка, долго на один нескончаемый лад наигрывала песню гармоника. По избам слышались брань матерей и визгливые крики девок,

¹ Русская песня начинается *запевалой*, самым голосистым песенником из всех. Он, как говорится, «затягивает» и ведет песню, то есть держит голос, лад и меру. Запевало — обыкновенно высокий тенор; к нему пристают два «голоса»: один тенор, другой бас, первый «заливается», другой «выносит», то есть заканчивает каждый стих песни в одиночку. *Подголосками* называются остальные песенники. *Расстанная песня* (по иным местам *разводная*) — та, что поют перед расходом по домам. Таких песен много, все веселые.

смиряемых родителями. Наконец, все стихло, и сонное царство настало в деревне Поромовой.

Паранька одна воротилась. Кошкой крадучись, неслышными стопами пробралась она по мосту¹ к чулану, где у нее с сестрой постель стояла. Как на грех скрипнула половица. Трифон услышал и крикнул дочь.

Ни жива ни мертва переступила порог Паранька.

— Наталья где? — грозно спросил ее отец.

— Дома, надо быть... — дрожа от страха, ответила она.

— Кликни ее сюда, — молвил Трифон.

Паранька ни с места.

— Да я не знаю... Она, видно, отстала...

И, еще ничего не видя, заревела.

— Я те задам: «отстала»! — зарычал старик и, схватив с полицы плетъ, стал учить дочку уму-разуму.

Выскочила Фекла Абрамовна... Плач, крики, вопли!.. Опершись о стол рукою, молча, недвижно стоял Алексей... Ничего он не видел, ничего не слышал — одно на уме: «Марья Гавриловна зовет».

Глава седьмая

Поднявшись с постели только ко второму уповодку², Карп Алексеич Морковкин, в бухарском стеганом и густо засаленном халате, доканчивал в своей горнице другой самовар, нимало не заботясь, что в приказе с раннего утра ждет его до десятка крестьян. Покончив с чаем, принялся писарь за штофик кизлярки да за печеные яйца с тертым калачом на отрубях, известным

¹ Мостом называют большие холодные сени между переднею и заднею избами, в иных местах — только пол в этих сенях.

² В деревнях простой народ часов не знает, считает время по «уповодкам». Уповодок — собственно время работы за один прием: от еды до еды, от роздыха до роздыха. Зимой во дню три уповодка, летом четыре. Первый летний уповодок от восхода солнца и перекуски (ломоть хлеба) до завтрака (то есть с четырех или пяти часов до восьми часов утра); второй — от завтрака до обеда (с восьми часов утра до полудня); третий — от обеда до «пауженки» (еда между обедом и ужином), то есть от полудня до трех или четырех часов полудни; четвертый — от пауженки до солнечного заката и ужина, то есть до восьми или девяти часов. За Волгой и вообще в лесах на севере завтракают с восходом солнца, обедают в девять часов утра, в полдень полудничают, в три или четыре часа бывает паужина, на закате солнца ужин.

под названьем «муромского». И калач, и яйца, и кизлярка, разумеется, были не покупные: за стыд считал мирской захребетник покупать что-нибудь из съестного. По его рассуждению, как поп от алтаря, так писарь от приказа должен быть сыт.

Позавтракал Карп Алексеич и лениво поднялся с места, хотел идти принимать от мужиков приносы и краем уха слушать ихние просьбы... Вдруг с шумом и бряканьем бубенчиков подкатила к крыльцу тележка. Выглянул писарь в окно, увидел Алексея.

Стал середь горницы Карп Алексеич. «Алешку Лохматого дьявол принес, — подумал он. — Наташка не проболталась ли?.. Ишь каким барином?.. На Чапуринских!.. Ну, да ведь я не больно испужался: чуть что — десятских, да в темную...»

Храбрится, а у самого поджилки трясутся, мурашками спину так и осыпает, только что вспомнит про здоровенный кулак и непомерную силу Алексея.

«Повременю, скоро не выйду... Пущай пождет — прохладится... Пусть его помнит, что писарь — начальство».

И опять принялся за кизлярку да за муромский калач с печеными яйцами. Напусти, дескать, Господи, смелости!

Добрые полчаса прошли... Наконец, мимо кланявшихся чуть не до земли мужиков прошел Карп Алексеич в «присутствие» и там развалился на креслах головы.

— Пускать мужиков поодиночке, — приказал он ставшему у двери десятскому.

Десятский впустил Алексея.

— Черед соблюдать! — крикнул писарь. — Другие ждут спозаранок, этот последним явился.

— Да мне бы всего на пару слов, — зачал было Алексей.

— Черед наблюдать! — пуще прежнего крикнул десятскому Карп Алексеич.

Алексей вышел.

Надивиться не могут мужики, отчего это писарь никого не обрывает, каждого нужду выслушивает терпеливо, ласково переспрашивает, толкует даже о делах посторонних. А это все было сделано ради того, чтоб Алексею подольше дожидаться. Знай, дескать, что я тебе начальство, чувствуй это.

Наконец, все мужики были отпущены, но писарь все-таки не вдруг допустил до себя Алексея. Больно уж хотелось ему поломаться. Взял какие-то бумаги, глядит в них, перелистывает, дело, дескать, делаю, мешать мне теперь никто не мог, а ты, друг любезный, постой, подожди, переминайся с ноги на ногу... И то у Морковкина на уме было: не вышло б передраги за то, что накануне сманил он к себе Наталью с грибовной гулянки... Сидит, ломает голову — какая б нужда Алексею в приказ привела.

Настал час воли писаря, допустили Алексея в присутствие. Перед тем как позвать его, Морковкин встал с кресел и, оборотясь спиной к дверям, стал читать предписания удельного начальства, в рамках за стеклом по стенам развешанные. Не оглядываясь на Алексея, писарь сердито спросил:

— Зачем?

— За пачпортом.

— За каким?

— За трехгодовым. Трехгодовой пачпорт мне нужен, потому что, отъезжая, значит, по пароходной части в разные города и селения Российской империи... — начал было Алексей, но писарь прервал его словом:

— Нельзя!

— А отчего бы это нельзя? — подбоченясь и выставя правую ногу вперед, задорно спросил Алексей.

Не оглядываясь, писарь ответил:

— Бланок таких в приказе нет... Писать не на чем... Недель шесть подожди, — к ярманке вышлют.

— Могу из казначейства выправить. Бумагу бы только мне, — твердым голосом молвил Алексей.

— Нет тебе бумаги.

— А почему б это? — шагнув вперед, спросил Алексей.

— Рекрутский набор будет зимой, — прошипел, не оглядываясь, Морковкин.

— Что мне набор? — молвил Алексей. — За меня квитанция есть.

— А подати?

— Заплочены, а надо, так еще за три года вперед внесу.

— Ишь тысячник какой! — с злобной усмешкой сказал писарь. — За три года вперед!.. Да откуда у тебя такие деньги?

— Это уж мое дело... Мне бумагу в казначейство надо. Вот что... — молвил Алексей.

— Сказано — нельзя, — возвысив голос, проговорил писарь. — Справки надо собрать, впрямь ли квитанция представлена, подати уплочены ли, под судом не состоишь ли, к следствию какому не прикосновен ли, взысканий на тебя не подступило ли, жалоб, долговых претензий... Этого сделать скоро нельзя.

— А много на то время потребуется? — спросил Алексей.

— Месяца два, либо три, не то и больше, — ответил Карп Алексеич.

Стиснув зубы и хмуря брови, еще шагнул Алексей. Хотел завернуть крепкое словцо Морковкину, но сдержал порыв, опомнился и молвил:

— Счастливо оставаться.

Быстрыми шагами пошел вон из приказа.

Так и не видал лица стоявшего спиной к дверям Морковкина. А тот и по уходе Алексея долго еще разглядывал висевшее на стене предписание.

Прямо из приказа покати́л Алексей в Клюкино́ к удельному голове Скорнякову. Приехав в ту пору, как, восстав от послеобеденного сна, Михайло Васильич с хозяйшкой своей Ариной Васильевной и с детками засел за ведерный самовар чайком побáловаться, душеньку распарить.

Скорняков был не из последних тысячников по За-волжью. Хоть далеко было ему до Патапа Максимыча, однакож достатки имел хорошие и жил в полном изобилии и довольстве.

Дом у него стоял большой, пятистенный, о двух ярусах, с боковушами и светлицами; убран не так богато, как Чапуринский, однакож походил на городской купеческий дом средней руки. В передней горнице стояла русская печь, но была отделена филенчатой перегородкой, доходившей до потолка и обитой, как и стены, недорогими обоями. Лавок в тех горницах вдоль стен не было; стояли диван и кресла карельской березы, обитые черной волосянкой, плетеные стулья и два ломберные стола, крытые бумажными салфетками с вытканными изображениями города Ярославля. Возле огромной божницы красного дерева со стеклами, наполненной иконами в золоченых ризах, булавками приколоты были к обоям картины московской работы.

Они изображали райских птиц Сирина, Алконаста и Гамаюна, беса, изувешанного тыквами, перед Макарием Египетским, Иоанна Новгородского, едущего на беге верхом в Иерусалим к заутрене, и бесов, пляшущих с преподобным Исакием. Ни одна картина духовного содержания для народа без дьявола у нас не обходится — хоть маленький бесенок, хоть в уголке где-нибудь, а непременно сидит на каждой картине. По другим стенам скорняковского дома красовались картины мирские — Хозрев Мирза, взятие Анапы, похождения Малек Аделя. Над ними висели клетки с жирными перепелами. Охотник был до перепелов Михайло Васильич, любил пронзительные их крики и не обращал внимания на ворчанье Арины Васильевны, уверявшей встречного и поперечного, что от этих окаянных пичуг ни днем ни ночью покоя нет. Каждый год, только наступят Петровки, Михайло Васильич каждый день раза по три ходит на поля поглядеть, не носится ль над озимью тенетник, не толчется ли над нею мошка — хорош ли, значит, будет улов перепелиный. Хоть не больно пристало к важному, сановитому виду Михайлы Васильича, к заиндевевшим кудрям его и почетной должности, но целые ночи, бывало, пролеживал он в озимях, приманивая дудочкой любимых пташек под раскинутые сети. Нефедов день¹ для Скорнякова был самым большим праздником в году, чуть ли не больше самого светлого воскресенья. Какая ни случись в тот день погода, какие ни будь дела в приказе, непременно пролежит он в поле с солнечного заката до раннего утра, поднимая перепелов на дудочки.

Радушно встретил Михайло Васильич Алексея. Не видал он его с тех самых пор, как в его боковушке, в нижнем жиле дома Патапа Максимыча, судили-рядили они про золото на Ветлуге. Был Михайло Васильич в Осиповке на похоронах Насти, но тогда, кроме Колышкина и Марьи Гавриловны, ни с кем из гостей Алексей не видался. Знал Скорняков и про то, что опять куда-то уехал Алексей из Осиповки, что в дому у Патапа Максимыча больше жить он не будет и что все это вышло не от каких-либо худых дел его, а от того, что Патап Максимыч, будучи им очень доволен и радея о нем как о сыне, что-то такое больно хорошее

¹ Июня 20-го, Мефодия Патарского — праздник перепелятников.

на стороне для него замышляет... Не за много дён ездил Скорняков в Осиповку, и Патап Максимыч Христом Богом просил его не оставить Алексея, если ему, как удельному крестьянину, до него какая ни на есть нужда доведется.

— Добро пожаловать!.. Милости просим!.. — радушно проговорил Михайло Васильич Алексею, когда тот, помолившись иконам, кланялся ему, Арине Васильевне и всему семейству. — Значит, добрый человек — прямо к чаю!.. — промолвил голова. — Зла, значит, не мыслит.

— Какие ж у меня могут быть злые мысли?.. Помилуйте, ваше степенство, — сказал Алексей.

— Да это я так. К слову молвится, — смеялся Михайло Васильич. — Садись-ка, гостем будешь.

Рад Алексей и ласковой встрече и доброму привету. Присел к столу, принялся за чай с двупосыми сайками, печенными на соломе.

— Ну что?.. Дела как?.. Много ли золота накопал на Ветлуге? — добродушно смеясь, спросил у него Михайло Васильич.

— Самим, ваше степенство, известно, какое оно золото вышло, — улыбнувшись, сказал Алексей.

— Знаю, парень, знаю... Патап Максимыч все до тонкости мне рассказывал, — молвил Михайло Васильич. — А ты умно тогда сделал, что оглобли-то поворотил. Не ровен час, голубчик, попал бы в скит, и тебе бы тогда, пожалуй, да и нам с тобой на калачи досталось... Ты смотри про это дело никому не сказывай... Покаместь суд не кончился, нишкни да помалчивай.

— Помилуйте, ваше степенство, возможно ль про такие дела без пути разговаривать? Слава Богу — не махонькой, могу понимать, — ответил Алексей.

— То-то, поберегайся. Береженого и Бог бережет, — заметил Скорняков. — Эко, подумаешь, дело-то, — продолжал он. — Каким ведь преподобным тот проходимец прикинулся... Помнишь, про Иерусалим-от как рассказывал — хоть в книгу пиши... Как есть свят муж — только пеленой обтереть, да и в рай пустить!.. А на поверку вышло, что борода-то у него апостольская, да усок-от дьявольский... Много, сказывают, народу они запутали... У нас из волости двоих в острог запрятали, тот же Стуколов оговорил... Вот те и преподобные!.. Вот те и святые отцы, шут бы их побрал!.. Давно ль Патапа Максимыча видел?

— Давненько, ваше степенство. Чуть не с месяца времени будет, — ответил Алексей. — Отхожу ведь я от него.

— Сказывал он, сказывал, — молвил Михайло Васильич. — Возлюбил же он тебя, парень!.. Уж так возлюбил, что просто всем на удивленье... Ты теперь в Осиповку, что ли?.. Послезавтра и я туда же всем домом. Сорочины по Настасье Патаповне будут...

— Не угодить мне туда, — потупив глаза, отвечал Алексей. — Спешное дельце есть, ваше степенство. Я до вашей милости, — продолжал он, встав со стула и низко кланяясь.

— Что тебе?.. Какое твое дело?.. — чинно и немножко строго спросил голова.

— Да так как я теперича, значит, место себе получил по пароходной части и надобно мне в дальнюю отлучку на долгое время, так мне бы трехгодовой пачпорт надо получить, — начал Алексей.

— Что ж? Получай с Богом, — перебил Михайло Васильич. — Рекрутской очереди ведь нет за тобой?

— Нет.

— Подати уплочены?

— Сполна уплочены, ваше степенство. А понадобится, готов хоть за год, хоть за два, хоть за три вперед внести, — сказал Алексей.

— Так явись в приказ, — молвил Михайло Васильич.

— Был я в приказе-то, ваше степенство, писарь не выдает.

— Отчего? — быстро вскинув глазами, спросил голова.

— Какие-то находит препятствия. Говорит: «Взысканий на тебя нет ли, да не под судом ли, али не под следствием ли каким».

— Гм! — промычал Михайло Васильич. — А взыскания-то есть?

— Никаких нет, ваше степенство, да никогда и не бывало, — отвечал Алексей. — А насчет того, чтобы к суду, тоже ничего не знаю... Не проведаль ли разве Карп Алексеич, что я тогда по вашему приказу на Ветлугу ездил?.. А как теперича тут дело завязалось, так не на этот ли он счет намекает...

— Гм! — опять промычал Михайло Васильич и притом почесал в затылке.

— Теперь, говорит, в приказе трехгодовых бланок

нет... — продолжал с лукавой покорностью Алексей. — Об удостоверенье кучился Карпу Алексеичу, сам было думал в город съездить, чтоб пачпорт в казначействе выправить — и того не дает. Раньше, говорит, трех месяцев не получишь.

— Так что же?

— Да мне долго ждать никак невозможно, ваше степенство, на той неделе надо беспрерывно на пароходе в Рыбинск бежать... К сроку не успею — места лишиться могу... Явите божескую милость, ваше степенство, прикажите выдать удостоверение, я бы тем же часом в город за пачпортом... — с низкими поклонами просил Алексей Михайлу Васильича.

Ловко попал он, кинув словцо, что не на поездку ли к отцу Михайлу намекал ему писарь... Призадумался Михаил Васильич... Забота о самом себе побуждала его скорей спровадить в дальние места Алексея, чтобы он где-нибудь поблизости не проболтался, не накликал бы беды на всех затевавших тогда копать золото на Ветлуге. Хоть большой беды, пожалуй, тут и не вышло бы, а все же бы под суд упрятали... А суд людям не на радость дан... Будь чист, как стекло, будь светел, как солнце праведное, а ступил в суд ногой, полезай в мощну рукой: судейский карман, что утиный зоб — и корму не разбирает и сытости не знает... Да то еще не беда, что на деньгу пошла; вот беда, коль судья холодным ветерком на тебя дунет... Он ведь что плотник: что, захочет, то и вырубит, а закон у него, что дышло — куда захочет, туда и поворотит!

«Как ни быть, а Лохматого в дальни места надобно сбыть, — думал Михайло Васильич. — Какие б заминки писарь не делал, пущу. Покаместь дело идет, лучше, как подальше будет от нас».

— Выдам бумагу, — сказал он Алексею. — По ней в городе пачпорт тотчас выправишь. Только, парень, надо обождать маленько.

— А много ли ждать-то, ваше степенство — смиренно спросил Алексей.

— Да не ближе недели, — сказал голова.

— Нельзя ли поскорей, ваше степенство? Этак мне на пароход не попасть, места лишиться могу, — просил Алексей.

— Экой ты приткой какой! — молвил Михайло Васильич. — Тебе бы вынь да положь, все бы на скорую

ручку — комком да в кучку... Эдак, брат, не водится... Сам считай: послезавтра надо на сорочины, Патап Максимыч раньше трех дён не отпустит, вот тебе с нынешним да с завтрашним днем пять дён, а тут воскресенье — приказ, значит, на запоре, это шесть дён, в понедельник Нефедов день, тут уж, брат, совсем невозможно.

— Отчего же так, ваше степенство, осмелюсь спросить? — робко спросил Алексей.

— А слышь, птички-то распевают!.. Слышь, как потюкивают! — сказал Михайло Васильич, любуясь на оглушавших Алексея перепелов. — Это, брат, не то, что у Патапа Максимыча заморские канарейки — от тех писк только один... Это птица расейская, значит, наша кровная... Слышь, горло-то как дерет!.. Послушать любо-дорого сердцу!.. В понедельник ихний праздник — Нефедов день!.. Всю ночь в озимях пролежу, днем заваюсь отдыхать... Нет, про понедельник нечего и поминать... Во вторник приходи... Через неделю значит.

— Завтра нельзя ли, ваше степенство? — с низким поклоном умолял Алексей.

— Завтра, брат, тоже никак невозможно, потому что завтра весь день стану отдыхать, — сказал Михайло Васильич. — Давеча перед обедом по полю я ходил — тенетнику над озимью видимо-невидимо, и мошка толчется, — улов будет богатый... Нет, завтра нельзя... Разве записку снесешь к Карпу Алексеичу, чтоб, значит, беспрерывно выдал тебе бумагу.

— Да разве может он без вашей подписи выдать? И казначей без вашей руки не поверит, — молвил Алексей.

— И то правда, — согласился голова, — без нашей, значит, подписи поверить казначею никак невозможно... Тенетнику-то давеча что летало!.. — задумался он. — Опять же мошка!.. Такого дня во все лето не бывало! Нет уж, как не верти, придется до той недели обождать, — решительно сказал Алексею. — И рад бы радехонек... Со всяким бы моим удовольствием, да сам видишь, какое дело подошло...

— Нечего делать, — вздохнул Алексей. — Не судьба, видно, получить то место, надобно оставаться дома.

— Зачем, зачем? — тревожно перебил его Михайло Васильич. — Нет, Алексеюшка, ты поезжай, поезжай, друг любезный, беспрерывно поезжай... Что тебе дома-

то киснуть?.. Чужая сторона и ума в голове и денег в кармане прибавит.

— Справедливы ваши речи, Михайло Васильич, — сказал Алексей. — Сам теперь знаю про то... Много ли, кажется, поездил — только в город, да еще тогда по вашему приказу к отцу Михаилу, а и тут можно сказать, что глаза раскрыл.

— То-то и есть, — молвил Михайло Васильич. — Нет, как можно тебе оставаться?.. Поезжай, беспрерывно поезжай.

— На пароход-от не ужогу, ваше степенство... Через неделю ему отваливать, — сказал Алексей, и немного помолчав, стал перед святыми иконами уставные поклоны творить.

— Прощенья просим, ваше степенство. Счастливо оставаться, — вымолвил он и, низко поклонясь Михайле Васильичу, пошел вон из горницы.

Пока Алексей справлял семипоклонный начал, голова раздумывал: «Остаться ему не годится... Узнает Морковкин про Ветлугу, разом его приплетет... А этот на следствии покажет, что я посылал... Съездить, видно, завтра в приказ да выдать бумагу-то?.. А тенетник-от!.. А мошки-то!.. Приспичило же пострела в такое нужное время!..»

— Погоди, погоди, — громко сказал голова Алексею, когда тот взялся за дверную скобу. — Так уж и быть, ради милого дружка и сережка из ушка!.. Ради Патапа Максимыча по-твоему сделаю, завтра поутру побывай в приказе — приеду, обделаю... А уж это я тебе скажу все едино, что ты у меня от сердца кусок отрываешь... Тенетнику-то что, мошки-то!.. Улов-от на заре какой будет!..

На другой день рано поутру Алексей был уж в приказе, Михайло Васильич раньше его приехал туда... Не утерпел голова, залег-таки в озими и, до солнечного восхода накрыв без одного сорок перепелов, повез их не домой, а в приказ. Надивиться не мог Карп Алексеевич, увидав, что вслед за начальством десятские тащат в приказ пять больших корзин, укрытых сетями, с прыгавшими там перепелами. Еще больше удивился он, когда Михайло Васильич настойчиво приказал ему писать в казначейство бумагу о выдаче трехгодового паспорта Алексею. Долго спорил Морковкин, но голова крепко стал на своем. Когда же Карп Алексеевич наотрез

отказался писать ту бумагу, Михайло Васильич позвал приказного мальчика, велел ему написать удостоверение, подписал и своими руками казенную печать приложил.

Когда Алексей явился в приказ, дело было уж сделано и бумага ему тотчас же выдана. Ступай, значит, на все четыре стороны.

— Ишь раскозырялся!.. — злясь и лютуя, ворчал Морковкин, стоя на крыльце, когда удельный голова поехал в одну, а Лохматый в другую сторону. — Ишь раскозырялся, посконная борода!.. Постой-погоди ты у меня!.. Я те нос-от утру!.. Станешь у меня своевольничать, будешь делать не по-моему!.. Слетишь с места, мошенник ты эдакой, слетишь!..

И, воротясь в свою горницу, усердно принялся за кизлярку, раскидывая умом, как бы насолить голове.

И придумал послать в удельную контору донос на Михайла Васильича.

Глава восьмая

Все други-приятели съехались к Патапу Максимычу на Настины сорочины. Приехал кум Иван Григорыч с Груней и с детками, приехал Михайло Васильич с Ариной Васильевной, кое-кто из Городца, кое-кто из городу. Из Комарова на пяти тройках жирных келейных лошадей матери и белицы прикатали. Сама матушка Манефа пожаловала, очень желательно было ей помянуть племянницу — не привел Господь в землю ее опустить, так хоть в сорочины над ее могилкой поминальную службу справить. А чтоб справить ту службу благолепнее, захватила она с собой уставщицу мать Аркадию да соборных стариц, мать Назарету да мать Ларису, и Марьюшку головщицу со всем правым клиросом... Фленушку тоже привезла и новую келейницу свою Устинью Московку... Прихватила и гостя обительского Василья Борисыча. Много звал Патап Максимыч на поминки Марью Гавриловну — не поехала — пуще да пуще в ту пору ей нездоровилось.

Без мала за неделю привезли в Осиповку Дарью Никитишну поминальны столы уряжать. Приходилось теперь знаменитой заволжской поварихе иное дело обделывать, не то, что было на именинах, и не то, что

было на похоронах. Не ждали к Патапу Максимычу ни Снежковых, ни других гостей, которым бы надо было городские столы уряжать, уставлять их яствами затейными, дорогими напитками заморскими; нужно теперь Никитишне учредить трапёзу по старине, как от дедов, от прадедов поминальные тризны справлять заповедано. А время такое подошло, что мирским надо стряпать рыбное, а келейным сухоядение. Шли Петровки — голодный пост... Никитишна лицом себя в грязь не ударила — столы на славу учредила. Ста два окрестных крестьян на поминки сошлось, для них еще с вечера на улице столы были поставлены.

И для крестьян, и для почетных гостей кутьи наварили, блинов напекли, киселя наготовили... Кутья на всех одна была, из пшена сорочинского с изюмом да с сахаром; блины в семи печах пеклись, чтобы всем достались горяченькие: в почетны столы пекли на ореховом масле, в уличные — на маковом, мирским — с икрой да со сметками, скитским — с луком да с солеными груздями. Кисели готовила Никитишна разные: почетным гостям — пшеничные с миндальным молоком, на улицу — овсяные с медовой сытой. Стерляжья уха на красный стол сварилась жирная, янтарная; тертые расстегаи вышли диковинные... Опричь того, сготовила Никитишна ботвинье борщевое с донским балыком да со свежей осетриной, двухаршинные сочные кулебяки, пироги подовые с молоками да с вязигой, пироги длинные с тельным из щуки, пироги вислые с семгой да с гречневой кашей, судаки под лимоны, белужью тёшку с хреном да с огурцами, окуней в рассоле, жареных лещей с карасями, оладьи с медом, левашники с малиновым вареньем... А келейницам похлебка была из тебеки¹ со свежими грибами, борщ с ушками, вареники с капустой, тертый горох, каравай с груздями, пироги с зеленым луком, да хворосты и оладьи, дыни в патоке и много другой постной яствы.

Ранним утром, еще летнее солнце в полдерево стояло, все пошли-поехали на кладбище. А там Настина могилка свежим изумрудным дерном покрыта и цветики на ней алеют. А кругом земля выровнена, утоптана, белоснежным речным песком усыпана. Первыми на кладбище пришли Матренушка с канонницей Евпрак-

¹ Тыква.

ссей, принесли они кутью, кацею с горячими углями да восковые свечи.

И видели они, что возле Настиной могилки, понурив голову и роняя слезы, сидит дядя Никифор. То был уж не вечно пьяный, буйный, оборванный Микешка Волк, но тихий, молчаливый горюн, каждый божий день молившийся и плакавший над племянницыной могилой. Исхудал он, пожелтел, голову седина пробивать стала, но глаза у него были не прежние мутные — умом, тоской, благодушьем светились. Когда вокруг могилы стали набираться званые и незваные поминальщики, тихо отошел он в сторонку.

Чинно, стройно, благолепно справили службу. Положив семипоклонный начál и поклонясь до земли перед могилой, Манефа надела соборную мантию, выпрямилась во весь рост и, при общем молчаньи, величаво проговорила:

— За молитв святых отец наших, Господи Исусе Христе, Сыне божий, помилуй нас.

И запели «канон за единоумершую». Далеко по свежему утреннему воздуху разносились стройные голоса певчей стаи, налаженной Васильем Борисычем и управляемой Марьей головщицей. Тишь стояла невозмутимая; дым ладана прямым столбом вился кверху, пламя на свечах не колебалось. Ни говором людей, ни шумом деревьев не нарушалось заунывное пенье, лишь порой всхлипывала Аксинья Захаровна, да звонко заливались жаворонки в сияющем поднебесье.

Патап Максимыч все время стоял возле Манефы, поникнув головою. Раза два левым рукавом отер он слезу... Все глядели на украшенную цветами могилу, никто не взглядывал по сторонам; только Василий Борисыч жадно и страстно впился глазами в стоявшую возле матери Парашу и, вполголоса подпевая: Надгробное рыдание творяще и поюще песнь ангельскую¹, «Ох, искушение, — думал сам про себя. — Эка девица-то сдобная да матерая!.. Грудь-то копна копной!..» Инда губы зачесались у посла московского, так бы взял да и расцеловал в пух и прах Прасковью Патаповну!.. Отвел глаза — Устинья Московка, сдвинув брови, палючие искры мечет из гневных очей.

¹ Так поется эта заукоинная песня по дониконскому переводу.

—Искушение!—прошептал Василий Борисыч, вздохнул и громко подтянул а л л и л у и ю.

По отпусте, приникнув лицом к дочерниной могиле, зарыдала Аксинья Захаровна; завела было голосом и Параша, да как-то не вышло у ней причитанья, она и замолкла... Приехавшая безо зва на поминки знаменитая плачая Устинья Клещиха с двумя вóпленницами завела поминальный плач, пока поминальщики ели кутью на могиле.

Уж ты слышишь ли, мое милое дитятко,
Моя белая лебедушка?
Уж ты видишь ли из могилушки
Свою матушку родную?
Дождалась ты меня, горегорькую,
Собралась я к тебе в гости скорешенько,
Не на конях я к тебе приехала, —
Прибежала на своих резвых ноженьках.
Мои скорые ноженьки не тянутся,
Белы рученьки не вздымаются,
Очи ясные не глядят на белый свет!..
И мне нету ласкового словечушка,
И мне нету теплого заветерья!
Не ясён день без красного солнышка.
Не весело жить без милой доченьки!..
Что сумнилася моя головушка,
Что сумнилася-сокрушилася?
С кем раздумать мне думу крепкую,
С кем размыкать мне горе горькое,
От кого услышать слово ласковое?
О том голова моя посумнилася,
Посумнилася, победная, сокрушилася,
Что шатаюсь я на свете, победна головушка,
Середь добрых людей, как травинушка,
Как травинушка-сиротинушка.
Что же спишь ты, моя белая лебедушка,
Что же спишь ты, не просыпаешься?
Сокрепила ты свое сердечушко
Крепче камня горячего,
И нигде-то я тебя, голубушку, не увижу,
Голосочка твоего звонкого не услышу!

Пропели вóпленницы плачи, раздала Никитишна нищей братии «задушные поминки»¹, и стали с кладбища расходиться. Долго стоял Патап Максимыч над дочерней могилой, грустно качая головой, не слыша и не видя подходивших к нему. Пошел домой из последних. Один, одадь других, не надевая шапки и грустно поникнув серебристой головою, шел он тихими стопами.

¹ Милостыня, раздаваемая по рукам на кладбище или у ворот дома, где справляют поминки.

Последним на кладбище остался Никифор. Подошел он к Настиной могиле, стал перед ней на колени, склонил голову на землю. Стали слышны глухие, перерывчатые его рыдания.

— Святая душенька, молись за меня за грешника! — говорил он, целуя могилу и орошая ее горячими слезами.

Встал и медленными шагами пошел к речке, что протекала возле погоста. Зачерпнул ведра, принес к могиле и полил зеленый дерн и любимые покойницей алые цветики, пышно распустившие теперь нежные, пахучие свои головки на ее могилке... Опять сходил на речку, принес ведра белоснежного, кремнистого песку берегового и, посыпав им кругом могилы, тихо побрел задами в деревню.

Где твои буйные крики, где твои бесстыдные песни, пьяный задор и наглая ругань?.. Тише воды, ниже травы стал Никифор... Памятуя Настю, принял он смирение, возложил на себя кротость и стал другим человеком.

Совсем обутрело, когда воротились с кладбища в деревню. Работники, деревенские мужики, бабы, девки и подростки гурьбой привалили к уличным столам и суетливо, но без шума, безо всяких разговоров, заняли места в ожидании чары зелена вина, кутьи, блинов, киселя и иного поминального брашна. Мать Аркадия, две старицы и плачущая Устинья Клещикха выносили четыре большие блюда и стали разносить на них кутью по народу. Каждый чинно брал ложку, крестился и поминал покойницу сладкою кутьею. Искусная в писании уставщица мать Аркадия, став посреди народа, громко начала поучать людей, что такое кутья означает.

— Кутья благоверная — святым воня благоуханная, — истово говорила она, — святые бо не пьют, не едят, токмо воню и благоуханием сыты суть. Благочестно, со страхом вкушайте сию святыню, поминая новопреставленную рабу Божию девицу Анастасию. Добре держит святая церковь в четырехдесятый день по преставлении кутью поставляти и над нею память по усопших творити. Того ради уставлено в сороковой день память о мертвом творити, что в сей день душа, прейдя мытарства злых миродержателей, воздушных мытареначальников, истязателей же и обличителей земных дел ея, святыми ангелами ко престолу Господню

приводима бывает. И тогда или оправдана бывает и освобождается от сонмов нечистых духов, или же осуждена и заключена в оковы, и возьмется демонами, да не узрит славы божией. Сие есть первый суд, предварение страшного суда Христова. Помолитесь же, православные, о душе новопреставленной девицы Анастасии, да упразднится прегрешений ее рукописание, да простятся грехи ее вольные и невольные и да внидет она в радость Господа своего. Аминь.

С умилением слушал народ красноглаголивую келейницу. Старушки всхлипывали, другие только вздыхали, все стояли безмолвно. Только беспокойный народ — ребятишки, держась ручонками за матерние подолы, пересмеивались меж собой во время проповеди, иные даже перебранивались, но вскоре унимались под невидимыми миру родительскими кулаками.

Вином обносить стали. Обносили старик Пантелей да новый приказчик Григорий Филиппыч. Они ж непьющих баб и девок ренским потчевали. Вынесли постные блины со сметками. Принялся за них народ со крестом да с молитвой, с пожеланьем покойнице небесного царства. Подали щи с головизной, на вторую перемену ставили свекольник с коренной рыбой, а на третью — пироги с гречневой кашей и соминой, да смачную ячную кашу с маковым маслом, в конце стола овсяный кисель с сыт^{ой} медовой. А вином, как всегда водилось у Патапа Максимыча, обносили по трижды, а пиво и сычневая брага в деревянных жбанах на столах стояли — сколько кто хочет, столько и пей.

Крестясь и поминаючи покойницу, низкими поклонами поблагодарив хозяев, тихо народ разошелся. Чапуринские стряпухи убрали посуду, работники столы и скамьи на двор унесли; улица опустела... По сеням, по клетям, да по сенницам улеглись мужики и бабы деревни Осиповки поспать-отдохнуть после сытного обеда. Девки с ребятишками — в лес по грибы да по ягоды. Пришлые поминальщики, направляясь к своим деревням, разбрелись по разным дорогам.

А хозяева и гости, воротясь с кладбища в дом Патапа Максимыча, отправились прямо в моленну. Там передо всеми иконами горели пудовые ослопные¹ свечи,

¹ Старинное слово: свеча, величиной в ослоп. А ослоп в лесах на севере и доселе означает дубину, стяг.

а в середине стоял крытый черным бархатом с серебряными галунами аналогий, на нем фарфоровое блюдо с узорочно разукрашенной цукатами кутьею. Облачась в соборную мантию, Манефа стала перед нею и замолитвовала. Пропели литию. Игуменья отведала кутьи, поминая покойницу, и, взяв блюдо на руки, обратилась к предстоящим. Один за другим подходили к ней и вкушали кутью...

Напившись чаю, за столы садились. В бывшей Настиной светлице села Манефа с соборными старицами, плачя Устинья Клещикха с вопленицами да еще кое-кто из певчих девиц, в том числе, по приказу игуменьи, новая ее наперсница Устинья Московка. Мирские гости расселись за столы, расставленные по передним горницам. Там рыбными яствами угощал их Патап Максимыч, а в Настиной светлице села с постниками Аксинья Захаровна и угощала их уставным сухоядением.

И кляла же тот обед Устинья Московка. Первое дело: свежей рыбки хотелось покушать ей, а главное, Василий Борисыч там сел, да там же и Прасковья Патаповна. Подметив на кладбище, как поглядывал на нее Василий Борисыч, дала Устинья волю пылкому, ревнивому сердцу... Если б можно было, взяла бы да и съела девичьего подлипалу... Горячая девка была!..

За поминальными обедами беседы не ведутся: пьют, едят во славу божью в строгом молчанье. Лишь изредка удельный голова вполголоса перекидывался отрывистыми словами с Иваном Григорьичем, да Фленушка шептала что-то на ухо Параше, лукаво поглядывая на Василия Борисыча. Кое-что и она подметила на кладбище и еще ране того, в Комарове во время дорожных сборов, кой-что про Парашу московскому послу рассказала.

В конце обеда, после поминального киселя, встали гости из-за трапезы и опять пошли в моленную. Там вместо аналогия стоял большой стол, крытый браной камчатой скатертью, а на нем ставлена была фарфоровая миса с «тризной» и пустые стаканы по числу гостей. Надев соборную мантию, Манефа замолитвовала, а девицы заупокойную стихеру шестого гласа запели: «Создателю и творче, зиждителю и избавителю, ослаби, отпусти, Христе Боже». А пели демеством. Василий Борисыч нарочно девиц

той стихере обучил, собираясь ехать в Осиповку на сорочины. Про эту стихеру на Керженце в лесах до тех пор не слыхивали¹, Всем она очень понравилась, и все много благодарили Василия Борисыча, что такую хорошую стихеру вывез из Москвы на Керженец... А во время пения той стихеры Никитишна серебряным ковшем тризну по стаканам разливала. И пили во славу божию, крестясь и поминая за упокой рабу Божию девицу Анастасию.

Тем сорочины и кончились.

Из моленной после трапезы отдохнуть разошлись. Фленушка да Марыюшка вместе с Парашей заперлись в ее светлице. Порывалась туда Устинья Московка, но мать Манефа ее не пустила. Ревностью пылая и в досаде на неудачи, больше получа́са растирала канонница ноги хворой игуменьи, сильно приуставшей после длинных служб и длинного обеда.

Успокоив, сколь могла, матушку и укрыв ее на постели одеялом, пошла было гневная Устинья в Парашину светлицу, но, проходя сенями, взглянула в окошко и увидела, что на бревнах в огороде сидит Василий Борисыч... Закипело ретивое... Себя не помня, мигом слетела она с крутой лестницы и, забыв, что скитской девице не след середь бела дня, да еще в мирском доме, видеться один на один с молодым человеком, стрелой помчалась двором и вихрем налетела на Василия Борисыча.

— Ты что?.. Ты что это вздумал?.. — задыхаясь, едва переводя дух, визгливо кричала она на него. — Куда, пес этакой, на кого бесстыжие глаза свои запускал?.. А?..

Озадаченный внезапным появлением Устиньи, как полотно побледнел Василий Борисыч и, поднявшись с места, дрожавшим от страха голосом едва мог промолвить:

¹ Полной заупокойной стихеры «Создателю и творче» ни в одной старопечатной книге нет. Только в «уставе» сказано: «По сем восстав от трапезы поем: „Создателю и творче“», но дальше ни одного слова текста стихеры не напечатано. Это некоторых ревнителей на Керженце вводило в немалое сомнение, пока не был приведен из Москвы полный текст поминальной стихеры. Он находится только в рукописных крюковых певчих книгах XVII столетия, довольно редких.

— Ох, искушение!

— Куда ты, стоя на кладбище, подлые зенки свои паялил? — неистово лютуя, кричала Устинья. — На кого глядел?.. А?..

— Да что ты?.. Что ты кричишь?.. В уме ли? — вполголоса стал было уговаривать ревнивую канонницу Василий Борисыч. — Опомнись!.. Могут услышать...

— Пущай их слышат!.. — пуще прежнего лютовала Устинья. — Наплевать мне! Хотя все сюда сходишь! Себя погублю, зато уж и тебя осрамлю, беспутного, осрамлю!.. Будешь меня помнить!.. Вытолкают по шеям!.. Всем скажу, что к хозяйской дочери примазаться хочешь!.. Чапурин не свой брат — на эти дела хуже черта... Свернет тебе голову, как куренку!.. Воротишься в Москву с поротой спиной!.. Я те докажу!.. Думал, на дуру напал?.. Нет, брат, шалишь, мамонишь!.. Снял с меня голову, так и я с тебя сниму!.. Изменщик ты мерзкий!.. Я ль тебя не любила?.. Я ли тебя...

И грянулась őземь в рыданиях.

Василий Борисыч вконец растерялся, стоит как вкопанный, придумать не может, что делать ему... Убедать — содому, окаянная, на весь дом, на всю деревню наделает, перебудит всех... Остаться — придет кто-нибудь, из окошка увидит.

— Ох, искушение!.. Настал час испытаний! — схватив себя за виски, говорил он и снова принялся уговаривать то рыдавшую, то надрывавшуюся от хохота Устинью.

— Образуься!.. Устиньюшка!.. Опомнись!.. — говорил он, боясь наклониться к ней, боясь и прочь отойти. — С ума, что ли, сошла?.. Стыд-от где у тебя?.. Совесть-та где?..

Устинья продолжала рыдать и, наконец, завопила в источный голос:

— Погубитель ты мой!.. Злодей ты этакой!.. Забыла твоя совесть, чем обещался ты мне?.. Ох, погубила я с тобой свою головоньку!..

— Искушение! — теребя в отчаяньи виски, потихоньку восклицал Василий Борисыч. — Да уймись же, окаянная, уймись, Устиньюшка, пожалуйста, уймись, говорю тебе, моя миленькая!.. Слушай... а ты слушай же!.. — обрадовавшись блеснувшей в уме его мысли, сказал он, наклоняясь к Устинье и боязливо поглядывая на окошки. — Видишь, лесок — близенько... Пойдем туда — там обо всем потолкуем... Ох ты, Господи, Гос-

поди!.. Вот искушение-то!.. Ох, дуй ты горой! Ну, пойдем же, моя ягодка, моя яблочко наливчатое, пойдем, — тут недалеко!

Медленно поднялась Устинья, глянула на всполье, на ближний перелесок и, отирая наплаканные глаза миткалевым рукавом, плаксиво сказала:

— Пойдем.

— Вместе идти не годится. Народу много — увидят, — посвободнее вздохнув, молвил Василий Борисыч. — Ступай ты вперед, Устинышка, я за тобой.

— Врешь, меня, голубчик, не надуешь! — перебила Устинья. — Спроводить хочешь, самому бы к своей крале лытнуть...

— Ну, ин я вперед, — сказал Василий Борисыч.

— А ты в лесу-то схоронишься, да обходом к ней, еретице, — возразила Устинья. — Нет, любезный, меня на бобах не проведешь... Вместе пойдем.

— Вот положение!.. — осторожно вскрикнул Василий Борисыч. — Ох, искушение!

И стал он клясться и божиться Устинье всеми клятвами, что не уйдет, не укроется, станет у ней на виду дожидаться ее в опушке перелеска.

Согласилась Устинья, и, весь дрожа от страха, Василий Борисыч спешил впритруску к перелеску. Ходок был плохой, на ноги слабый — одышка беднягу берет, а нечего делать, прибавляет да прибавляет шаг — поскорей бы укрыться от людских взоров. Трусит, идет побежкой, а сам горькую думу раздумывает: «Попутал же меня бес окаянный!.. Связало ж меня с безумной баламотницей!.. Ишь, чертовка, как привязалась!.. Вот они последствия-то какие!.. Не придумаешь, как подбру-поздорову отделаться от окаянной! Ох, искушение!.. А ведь глаз-от какой зоркий у шельмы! Словно прочла на уме!.. Нагрязнула беда, что ни дай, ни вынеси! Ну, как в Москву донесется!.. Гусевы, Мартыновы, Досужевы, матушка Пульхерья... Уставщик-от, мол, наш, книжник-от, девственник-от, постник!.. Ох, искушение!..»

А Устинья следом за ним. Мерными шагами, ходко спешит она к перелеску, огнем пышет лицо, искрами брызжут глаза, губы от гнева и ревности так и подергивает. «Коль не мне, никому за тобой не быть!.. Крови твоей напьюсь, а другой не отдам!.. А эту разлучницу, эту змею подколодную!.. Корнями ее обвести, зельем опоить, ножом зарезать!..»

Глава девятая

Часа через два по возвращении Василия Борисыча из лесу с Устиньей в передних горницах Патапа Максимыча гости за чаем сидели. Ни матери Манефы, ни соборных стариц, ни Аксиньи Захаровны, на шаг не отходившей от золовки-игуменьи, не было тут. Как ни старалась Устинья Московка попасть в передние горницы, где возлюбленный ее, чего доброго, опять, пожалуй, на хозяйскую дочь глаза пялить начнет, — никак не могла: Манефа приказала ей быть при себе неотлучно... Куда как досадно, куда как горько было этой ревливой каноннице.

Гости из Городца и городские гости уехали — за пуншами только четверо сидело: сам хозяин, кум Иван Григорьич, удельный голова да Василий Борисыч. Рядом в боковуше, за чайным столом, заправляемым Никитишной, сидели Параша, Груня, Фленушка да Марьюшка. У мужчин повелась беседа говорливая; в женской горнице в молчанки играли: Никитишна хлопотала за самоваром. Груня к мужским разговорам молча прислушивалась, Параша дремала, Марьюшка с Фленушкой меж собой перешептывались да тихонько посмеивались.

— Так как же ты, гость дорогой, в Неметчину-то ездил?.. Много, чай, поди было с тобой всяких приключеньев? — говорил Патап Максимыч Василию Борисычу. А тот сидел во образе смирения, учащал воздыхания, имел голову наклонну, сердце покорно, очи долу обращенны.

— Много было всяких приключений, — отвечал он тихим, сладеньким голоском своим.

— Много трудов приял?

— Всего было достаточно, — глубоко вздохнув, ответил Василий Борисыч. — Особенно прискорбно было, как ночью кордон мы проходили.

— Город, что ли, какой! — спросил кум Иван Григорьич.

— Какое город! — возразил смиренно Василий Борисыч. — По-нашему сказать — граница, рубеж, а по тамошним местам кордоном зовут.

— Что ж такое тут приключилось? — спросил Патап Максимыч.

— Пропуски там крепки, за нашими смотрят строго,

у нас же и заграничных пачпортов не было, поехали на божью волю... И набрались же мы тогда страха иудейска, — ответил Василий Борисыч.

— Расскажи, сделай милость. Очень любопытно узнать ваши похождения, — сказал Патап Максимыч.

И начал Василий Борисыч свой «проскинитарий»¹.

— Прибыли мы к кордону на самый канун Лазарева воскресенья. Пасха в том году была ранняя, а по тем местам еще на середокрестной рѣки прошли, на пятой травка по полям зеленела. Из Москвы поехали — мороз был прежестокий, метель, выюга, а недели через полторы, как добрались до кордона, весна там давно началась...

— Мудреное дело! — удивился Иван Григорыч.

— Такие уж теплые земли Господь своею премудростью создал, — наставительно молвил Василий Борисыч и, не дожидаясь ответа, продолжал проскинитарий: — Приехали мы в одну деревню, Грѳзенцы прозывается, версты три от кордона-то будет. Там христолюбец некий проживает, по нашему состоит согла́су. То у него и ремесло, что беглых, беспаспортных до нашего брата паломника тайком за кордон переправлять, а оттуда разны товары мимо таможен вѳзить — без пошлины, значит. И в том первые пособники ему жи́ды... Переправляют нашего брата не кучей, а в одиночку, и всегда в ночное время, чтобы, значит, таможенный объезд кого не приметил. Если ж увидят, дело плохое — тотчас музыку тебе на ноги², да по образу пешего хождения назад в Россию. В одну ночь товарища, с которым я за границу поехал, перевели благополучно, на другую ночь за мною пришли... Ох, искушение!.. Перерядили меня, раба божия, хохлом и повезли в другу деревню, а от той деревни четверти версты до кордона не будет... В самую полночь меня повели... Идем по задворкам, крадучись тихими стопами, яко тати... Искушение, да и только!.. И страх же напал на меня!.. Не приведи Господи никому такого страха принять!.. Дрожу, ровно в лихоманке, сам в шубе, а по всем суставам мороз так и бегаёт, на сердце ровно камень навалило — так и замирает. Пошел было, как

¹ От греческого — поклоняюсь. Описание путешествия ради поклонения святым местам.

² Кандалы.

обычно хожу, а проводник в самое ухо мне шепчет: «Тише на землю ступай, услышат...» Господи, Боже мой, и по земле-то надо с опаской ходить!.. Огонь, вижу, близехонько светится, двухсот шагов, кажись, не будет... «Деревня, что ли?..» — спрашиваю. «Молчи, — шепчет проводник, — это кордон и есть, тут караульня объездчиков, сторожка...» Оглянулся в другую сторону, и там огонек!.. «Ложись, — говорит проводник, — ползи за мной на четвереньках...» Пополз я ни жив ни мертв, сам молитву творю, а дух у меня так и занимает... А лютые псы и с той и с другой караулки лают, перекликаются, окаянные, меж собою. Думаю себе: «Бросятся, треклятые, тут мне и конец...» Поползли мы к канаве... Сажень ширины, полнехонька воды... «Это что?» — спрашиваю. «Молчи, — шепчет проводник, — это самый кордон и есть, здесь вот Россия, за канавой Неметчина... Полежай за мной, да воду-то не больно бултыхай — услышат...» Ох, искушение!.. Вот, думаю, смерть-то моя пришла!.. Вода-то студеная, канавы-то глубокая, чуть не по самое горло... Говорю: «Простудиться боюсь — не полезу в канаву...» А проводник изругал меня ругательски, да все шепотом на самое ухо: «Лодку, говорит, что ль для тебя, лешего, припасти?.. Аль мост наводить?.. Ишь неженка!.. Лезь, — не сахарный, не растаешь...» А собаки-то шибче да шибче... Господи, думаю, не нас ли почуяли?.. Ну, тут слава тебе, Господи!.. Потерпел создатель грехам, не предал меня явной гибели... Кладочка тоненькая проводнику под ноги попала, положил он ее через канаву, и с шестом в руке, что в деревне мне дали, сух перешел на немецкую сторону... Перейдя кордон, опять на четвереньки, опять ползком... С полверсты так ползли... А потом стало посмелее: пошли на ногах, а пройдя с версту, видим — пара лошадей с телегой стоит, нас дожидаются... Тут уж мы поехали безо всякой опаски и добрались до места живы, здоровы, ничем невредимы...

— Да, нечего сказать, приключения! — заметил Патап Максимыч. — И вот подумаешь — охота пуще неволи, — лезет же человек на такие страсти... И не боится.

— Во хмелю больше переходят, — отозвался Василий Борисыч. — Товарищ мой, Жигарев, рогожский уставщик, как его переправляли, на ногах не стоял. Ровно

куль, по земле его волочили... А в канаве чуть не утопили... И меня перед выходом из деревни водкой потчевали. «Лучше, говорят, как память-то у тебя отшибет — по крайности будет не страшно...» Ну, да я повоздержался.

— А на месте-то свободно проживали? — спросил удельный голова.

— Нельзя сказать, чтоб совсем свободно. И там пришлось в переделе быть, — сказал Василий Борисыч.

— В каком же это переделе? — спросил Патап Максимыч.

— И там полиция есть, — отвечал Василий Борисыч. — От нее, от этой самой немецкой полиции, мы едва не пострадали.

— Как же это случилось? Расскажи, пожалуйста: очень занятно про твои немецкие похождения слушать... — сказал Патап Максимыч.

— А вот как дело было, — начал Василий Борисыч. — Дня через три после того, как приняли нас в монастыре, сидим мы в келарне, беседуем с тамошними отцами. Вдруг входит отец Павел, что митрополита сыскал, лица на нем нет... «Беда, говорит, ищут вас, мандатор гайдуков прислал, стоят у крыльца, ни на шаг не отходят». А мандатор по-ихнему как бы у нас становой, а гайдуки как бы сотские, только страшнее... Я так и присел, ну, думаю, приспел час воли божией — сейчас музыку на ноги да в Москву... Жигарев посмелей меня был, да и пьян же к тому, даром, что страстная, полы в зубы да, не говоря худого слова, мах в окошко... Только крякнул спрыгнувши да, поднявшись, не больно чтоб шибко в монастырский сад пошел... А сад у них большущий да густой — нескоро в том саду человека отыщешь... А у меня смелости нет, с места не могу сдвинуться, ноги как плети, как есть совсем их подкосило... Поглядел в окно — от земли высоко — убьешься... Прыгнуть, как Жигарев, пьяному только можно, потому что Господь, по своему милосердию, ко всякому пьяному, если только он благочестно в святой вере пребывает, ангела для сохранности и обереганья приставляет... Вот и стою я, ровно к смерти приговорен: в ушах шумит, в глазах зелень, пальцем не могу двинуть — вот что страх-от значит... Не приведи Господи!.. «Что, говорю, делать-то буду?» А сам плачу, слово-то насилу вымолвить мог... Отец Павел ублажает: «Поколь гайду-

ки, говорит, не взошли, надевай клобук да камилавку, подумают — здешний инок, не узнают...» — «А после-то как же? — спрашиваю я отца Павла, дрожа от страха. — Ведь иночество-то, говорю, не снимают, после этого надо ведь будет постричься...» — «Что ж? — отвечает отец Павел. — За этим дело не станет, завтра ж облечем тебя в ангельский образ...» Что тут делать?.. А у меня никогда и на мыслях не было, чтоб в иночестве жизнь проводить... А делать нечего, одно выби-рай: музыку на ноги, либо клобук на голову... А гайдуки уж в сених. Шумят там, отцы уговаривают их, а они силой в келарню-то рвутся... Решился... Ну, думаю: «Буди, Господи, воля твоя...» И уж за камилавку со-всем было взялся, да вспомнилось отцу келарю — дай Бог ему доброго здоровья и душу спасти, — вспомни-лось ему, что из келарного чулана сделана у них ла-зейка в сад... Меня туда; а лазеечка-то узенькая, хоть из себя я и сухощав, а насилу меня пропихали, весь кафтанец ободрали, и рукам досталось и лицу... Только что они, Господь их спаси, меня пропихали, гайдуки, слышу, в келарне — обыскивают... Я в сад. Забьюсь, думаю, куда подальше, в самую чащу. Пошел, хочу в кусты схорониться, ан кусты-то терновник — руки-то в кровь... Куда идти?.. — думаю да по сторонам озира-юсь... Глядь, а тут разваливающий анбаришка стоит, и от-туда кто-то осторожным, тихим голосом меня призы-вает, по имени кличет... Смотрю, ан это Жигарев, мой товарищ; и хмель у него соскочил... Забрался и я к не-му... «Вот, брат, — говорю ему, — какие последствия-то, а еще в Москве толковали, что здесь свобода...» — «Да, да, — говорит Жигарев, — надо подобру-поздорову отсюда поскорей восвояси, а главная причина, больно я зашибся, окно-то, дуй его горой, высокое, а под ок-ном дьявол их угораздил кирпичей навалить...» С час времени просидели мы в анбаришке, глядим, кто-то через забор лезет... Батюшки светы!.. Гайдуки, должно быть, сад обыскивать... Пришипелись мы — ни гугу, а я ни жив, ни мертв... А это был от отца Павла паренек по нас послан. Отвел он нас версты за две от монасты-ря... Совсем уж стемнело, как иноки за нами пришли, «уехали, говорят, гайдуки». Ну, а потом все было спо-койно.

— Как же так? — спросил Патап Максимыч.

— Известно как, — отвечал Василий Борисыч. —

Червончики да карбованцы и в Неметчине свое дело делают. Вы думаете, в чужих-то краях взятки не берут? Почти все наших лупят... Да... Только слава одна, что немцы честный народ, а по правде сказать, хуже наших становых... Право слово... Перед Богом — не лгу.

— Все, видно, под одним солнышком ходим — по всем, видно, странам кривда правду передолила, — заметил кум Иван Григорыч.

— Именно так, — со вздохом подтвердил Василий Борисыч.

— Так за этим страхом ты, гость дорогой, совсем было в преподобные угодил, — смеялся Патап Максимыч. — Вот дела так дела!.. А не хотелось? — промолвил он, подмигнув Василию Борисычу и прищурясь на левый глаз.

— Призвания свыше на то не имею, — смиренно склонив голову, с покорностью ответил Василий Борисыч.

— И хорошо, по-моему, что не имеешь того призвания, — сказал Патап Максимыч. — Что это за иночество, что это за келейное наше старчество?.. Одно пустое дело... Послушай только, чего не плетут у нас на Керженце старцы да келейницы... В Оленевском скиту старица была, не то Минодора, не то Нимфодора — шут ее знает, — та все проповедовала, что Господь всякого человека монашеского ради жития созда́л... И многие ее вранье слушали да сдуру-то еще похваливали... Могла ли этакое слово дурища Нимфодора сказать, когда сам Господь повелел людям плодиться и множиться... Так ли?.. Ведь повелел?

— Это точно... Сказано в Писании, — ответил Василий Борисыч, — однако в том же Писании и житие иноческое похваляется, ангельский бо чин есть... Земные ангелы, небесные человеки!.. Только известно: не всякому дано — могий вместити да вместит.

— Да... Вот краснаярский игумен есть, отец Михаил... Он, брат, вместил... Да еще как вместил-то!.. В крепкий дом на казенну квартиру попал, — с усмешкой молвил московскому уставщику Патап Максимыч.

— Испытаниями, горестями, озлоблениями же и лишениями преисполнено житие иноческое, — смиренно проговорил Василий Борисыч.

— Одно пустое дело!.. — стоял на своем Патап Максимыч. — Захочешь спастись, и в миру спасешься — живи только по добру да по правде.

Не отвечал Василий Борисыч.

— Чего ведь не придумают! — продолжал Патап Максимыч. — Человеку от беды неминуемой надо спастись, а для того стоит ему только клобук да манатью на себя вздеть... Так нет, не смей не моги, не то в старцах на всю жизнь оставайся... В каком это писании сказано?.. А?.. Ну-ка, покажи — в каком?

— Можно и отбыть в таком разе иночество, — уклоняясь от прямого ответа, молвил Василий Борисыч.

— Как же так? — спросил Патап Максимыч.

— Повелено иноческую одежду сожечь на том человеке, — сказал Василий Борисыч. — Когда на нем сгорит она, тогда и он свободен от иночества... Так положено...

— Положено, положено! — слегка горячася и громчей прежнего заговорил Патап Максимыч. — Где оно положено?.. Кто положил?..

— Святые отцы, — молвил Василий Борисыч.

— Все на святых отцов взваливают!.. Чего им, сердечным, и на ум не впадало, все валят на них, — еще громче заговорил Патап Максимыч. — Нет, коли делом говорить, покажи ты мне, в каком именно писании про это сказано?.. Не то что́ без пути-то попусту язык о зубы точить?

Стихнул Василий Борисыч перед вспыхнувшим тысячником, решил не говорить ни слова. Только вздыхает да псалом на утешение гневных сердец про себя говорит: «Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его».

— Это, Патап Максимыч, он правду говорит, — вступился удельный голова. — Намедни у нас точно такое дело было.

— Что-о-о... Иночество на живом человеке жгли?.. — засмеялся Патап Максимыч. — Ай да голова!.. Ишь чем у них в приказе забавляются!.. Ха-ха-ха!.. Карпушка, что ли, поджигал?.. Ха-ха-ха!..

— А ты выслушай да потом и гогочи... Попусту смеяться не след... Беса значит это тешить — кого хочешь спроси, — с малой досадой на приятеля ответил Михайло Васильич. — Слушай, как дело было. В летошнем году разных деревень девки на Китеж Богу молиться ходили. Было на том богомолье келейных матерей сколько-то и скитских белиц. С вечера, известное дело: читали, молились, к утру приустиали и над озером

в роще вповалку спать полегли... Тут, надо думать, которая-нибудь из келейных с озорства ли, со злобы ли, аль на смех, шут ее знает, возьми да на девицу на одну деревенскую, на сонную-то, иночество и возложи — манатейку, значит, на шею-то ей. Проснулась девка, да и взвыла. Она, видишь, была просватана, конца Петровок дожидали свадьбу-то играть... Как быть! И замуж охота, и манатейки-то скинуть нельзя!.. А келейницы ей в один голос: «Чудо сотворилось! Это уж такое тебе знамение от Бога!.. Ты, говорят, сама рассуди, на каком месте это с тобой совершилось — ведь у самого невидимого града, у самого Великого Китежа... Слышала, какой с вечера «Летописец»-от читали?.. Есть, видишь ты, в том невидимом граде Китеже честные монастыри, чудные старцы и старицы... Сколь много веры надо иметь, сколь много духовных подвигов соделать, чтобы воочию узреть тех богоносных незримых отец и матерей? А к тебе блаженные сами пришли, сами на тебя иночество надели. Кто, как не они, свято-блаженные? Сама посуди? Это божие дело — Господь тебя призывает, правый путь к вечному блаженству сам тебе указывает». Да такими словесами девку с толку и сбили: и замуж-то ей хочется и в праведницы охота... Кончилось тем, что девка в скиты ушла... А женихов отец меж тем издержался, к свадьбе готовясь, в долги вошел, с невестиных родителей стал у нас в приказе убытки править... Так вот какое дело было, а ты уж сейчас: иночество на живом человеке жгли.

— Мошенницы! — отозвался Патап Максимыч. — Спросить было сестрицу мою родимую, — прибавил он, усмехаясь, — не из ихней ли обители белицы сонную девку в ангельский чин снарядили!.. От них станется... Дошлые девки в Комарове живут!.. На всякие пакости готовы!..

Как выскочит Фленушка, хотела за своих вступиться, но Патап Максимыч так поглядел на нее, что та, ровно язык отморозивши, прижала хвост да смиренным делом назад... Зато оправившийся от смущенья Василий Борисыч возревновал ревностью. Смиренно поникнув головою, тихим методичным гласом обратился он к хозяину:

— В отеческом писании немало есть сказаний о знамениях и чудесах, коими Господь привлекает чело-

веков от суетного мира в тихое пристанище равноангельского жития. В «Патериках» и «Прологах» много тому примеров видим.

— Полно-ка ты, Василий Борисыч, со своими «Патериками» да «Прологами». Ведь это книги не божественные... Такие ж люди писали, как и мы с тобой, Грешные... Читывал я эти книги — знаю их... Чего-то, чего там не напутано, — сказал Патап Максимыч и потом радушно примолвил: — Ты вот лучше пуншику еще пропусти!.. Никитишна! сготовь Василью Борисычу хорошенького!

— Не следует такие речи говорить, Патап Максимыч. Грех великий!.. — заметил ему Василий Борисыч.

— Про пуншик-от не следует разговаривать? Аль насчет наших преподобных, столпов древлего благочестия? — смеялся Патап Максимыч. — Насчет пунша смеяться не годится, потому пошло доброе, а над пустосвятами при веселой беседе потешиться греха нет, ни великого, ни малого... Не про книги тебе говорю, не над книгами смеюсь, над старцами да над старицами... Пустосвяты они, дармоеды, больше ничего!.. Слухи пошли, что начальство хочет скиты порешить... Хорошее, по-моему, дело... Греха меньше будет — надо правду говорить... Кто в скитах живет?.. Те, что ли, про которых в твоих «Патериках» писано?.. Постники?.. Подвижники?.. Земные ангелы?.. Держи карман!.. Обойди ты все здешни скиты да прихвати и Стародубские слободы, Рогожское на придачу возьми, найди ты мне старицу меньше девяти вершков в отрубе... Десятка не наберешь!.. Вот каковы у них пост да воздержание!..

— Ох, искушение! — глубоко вздохнув, вполголоса сказал Василий Борисыч.

— Сызмалетства середь скитов живу, — продолжал Патап Максимыч, — сколько на своем веку перезнал я этих иноков да инокинь, ни единой путной души не видывал. Нашел было хорошего старца, просто тебе сказать — свят человек, — и тот мошенником оказался. Красноярского игумна, отца Михаила, знавал?

— Личного знакомства иметь не доводилось, — ответил Василий Борисыч, — а слышать про отца Михаила слышал.

— Служба у него, любезный ты мой, такая, какой у вас и на Рогожском нет... Во всем порядок, на хозяйство его монастырское любо-дорого посмотреть... А уж

баня, я тебе скажу, братец, какая!.. Липовая, парятся с мятой да с калуфером!.. На каменку квас... А чистота, чистота!.. И дух такой легкий да вольный!.. Век бы парился — не напарился!.. Царям только и мыться в такой бане, сроду такой не видывал, — с жаром продолжал Патап Максимыч. — А сам-от отец Михаил инок благочестивый, учительный, по всем здешним скитам нет такого, да и не бывало. Просто, как есть свят человек, не здесь, кажись, ему место, а в блаженном раю возле самого Авраама... Что ж на поверку вышло?.. Воровскими делами занимался, фальшивы деньги работал... Вот те и праведник!.. А баня знатная!.. Что хорошо то хорошо, надо правду говорить!..

— И сатана светоносного ангела образ приемлет, егда восхощет в сети своя слабого человека уловить, — молвил Василий Борисыч.

— Это что ж ты хочешь сказать?.. Думаешь, в отца Михаила сатана сам уселся?.. Так, что ли?.. — захохотал Патап Максимыч.

— К тому говорю, что дьявольскому искушению ни числа, ни меры нет, — ответил Василий Борисыч. — Захотелось врагу соблазнить вас, Патап Максимыч, навести вас на худые мысли об иноческом житии, и навел на красноярского игумна.

— Сам к нему поехал... Что понапрасну на черта клепать! — засмеялся Патап Максимыч. — Своя охота была... Да не про то я тебе говорю, а то сказываю, что иночество самое пустое дело. Работать лень, трудом хлеба добывать не охота, ну и лезут в скиты дармоедничать... Вот оно и все твое хваленое иночество!.. Да!..

— Вражее смущение!.. — проговорил Василий Борисыч. — Это лукавый вас на такие мысли наводит... Бороться с ним подобает, не поддаваться дьявольскому искушению...

— Толкуй себе!.. Послушать тебя все едино, что наших керженских келейниц: все бес творит, а мы, вишь, святые, блаженные, завсегда ни при чем. Везде один он, окаянный, во всем виноват... Беденький!.. — молвил Патап Максимыч.

— Этого я не говорил, Патап Максимыч, — возразил Василий Борисыч. — Как же можно сказать, что бес все делает?.. Добра никогда он творить не может и правды такожде... Где зло, где неправда, там уж, конечно, дело не наше, его.

— Ну, Василий Борисыч, — засмеялся Патап Максимыч, — я бы тебя в игуменьи поставил... Право... Вон у меня есть сестрица родимая: ни дать, ни взять твои же речи... Послушать ее — так что в обителях худого ни случится — во всем один бес виноват. Сопьется старица — бес споил, загуляет с кем — он же, проворуется — тот же бес в ответе... Благо ответчик-от завсегда наготове, свалить-то есть на кого... А слыхал ли ты, друг любезный, какое у нас, годов двадцать тому назад, в Комаровском скиту чудо содеялось?.. Как один пречестный инок беса в окошко махнул да чуть до смерти его не зашиб?..

— Не доводилось, — ответил Василий Борисыч.

— Как так?.. Столько времени у моей сестрицы гостишь, а про такие чудеса не слыхивал? — шутливо удивился Патап Максимыч. — Про отца Исакия, иже в Комарове беса посрами, знаешь?

— Нет, не знаю...

— Ну, так ты, Василий Борисыч, ничего, любезный мой, не знаешь... Ничего, как есть ничего, — продолжал Патап Максимыч. — Дивиться, впрочем, тут нечему: про такие чудеса наши старицы приезжим рассказывать не охотницы. Хочешь — расскажу тебе повесть душеполезную?.. Спасибо скажешь — можно в тетрадь написать поучения ради.

— Расскажите, коли такое есть ваше желание, — безучастно ответил Василий Борисыч, зная наперед, что услышит про такое чудо, какого ни в одном «Патерике» не отыщется.

— В Комарове, — начал с лукавой важностью в первый еще раз после Настинной смерти расшутившийся Патап Максимыч, — в Комарове теперь женски только обители. А прежде и мужские были... Вкупе-то, знаешь, веселей души спасать!.. Ионина обитель была там, часовня и теперь стоит. Спасался в ней старец искусен, житием сияя, яко светило, — преподобный отец Исакий... Подвизался богоугодно, дара пророчества сподобился — значит, стал прозорливцем... Много к нему народу ходило: охоч ведь народ-от будущу судьбу узнавать. Приношения, как водится, бывали: тем и держалась обитель. Прославился всюду Исакий — во всю землю произыде слава его... Ну, тут известное дело — бес... Позавидовал преподобному, приступил к нему и начал мечтаниями смущати, сонные видения

представлять. Старец же посрамлял его ежечасно... Видит бес, что одному ему с Исакием не сладить — пошел в свое место, сатану привел, чертенят наплодил, дьявола в кумовья позвал да всем собором и давай нападать на отца Исакия... Знал и я Исакия-то — ростом был с коломенску версту, собой детина ражий, здоровенный, лицом чист да гладок, языком речист да сладок; женский пол от него с ума сходил — да не то чтоб одни молодые, старухи — и те за Исакием гонялись. Спроси-ка при случае Аркадию либо Таифу... А был он лет сорока, не больше. Строил дьявольский собор ему козни и навел на Исакия искушение — лестовка на руке, а девки на уме. Рядышком с Иониной обителью матушки Александры обитель стоит — Игнатьевых прозывается. Девоч множество, все на подбор — одна другой краше. Старец их прочь не гонял... Жил таким образом преподобный года три, либо четыре, намолвки не наводил, бес ли его покрывал, сам ли умел концы хоронить — доподлинно сказать не могу. Приехала из Ярославля к матери Александре сродница — девица молодая, купеческого роду, хороших родителей дочь, воспитана по-доброму, в чистоте и страхе Господне, из себя такая красавица, что на редкость. Воззрился на нее преподобный, а бесовский-от собор и ну его под бок и ну разжигать. «Хоть голову на плаху, — помышляет Исакий, — хоть душу во ад, а без того мне не быть, чтобы с той девицей покороче не познакомиться». Старая приятельница нашлась: мать Асклепиодота помогла преподобному. Наговорила гостейке турус на колесах: святой-де у нас в шабрах живет, благочестивый, учительный, постник, великий дар прозорливости имеет — всю судьбу твою как на ладонке выложит... Девица, известно — умок-от легок, что весенний ледок, — захотелось судьбу проведать, где, дескать, мой суженый, в каку сторону буду выдана, каково будет житье замужем. Согласилась — пошли. Тут-то чудо и сотворилось...

— Какое? — спросил Василий Борисыч.

— А вот какое, — допив стакан пуншу, продолжал Патап Максимыч. — Предста преподобному бес во образе жены и нача его смущати; он же отвеща ему глаголя: «Отыди от меня, сатано!» Бес же нимало не уязвился, дерзностно прельщая преподобного. Тогда отец Исакий поревнова, взял беса и изрину его из оконца...

И товарищ твой крикнул, Василий Борисыч, как с высокого-то окна в Белой Кринице прыгнул, а девичье тело понежней Жигаревского будет... Насмерть расшиблась...

— Искушение!.. — шепотом прибавил Василий Борисыч.

— До начальства дело дошло: скрыть нельзя... — продолжал Патап Максимыч... — Еще умрет, пожалуй, тогда всем беда, опять же родитель из Ярославля приехал, всех на ноги поднял... суд да дело... Так ведь и в суде-то преподобный на своем стоял: «Я, говорит, полагал, что это бес, он ведь всегда в образе жены иноков смущает. Я было, говорит, крестным знамением его — неймется, заклинаниями — не внемлет. Ну тогда со дерзновением махнул его из окна... Вот, говорит, и вся моя вина...» Ты про такие чудеса в книгах-то читал ли?

— Искушение! — только и мог ответить Василий Борисыч на слова Патапа Максимыча.

— Поплатился Исакий за искушение, — прибавил Патап Максимыч. — Первым делом — в острог, второе — чуть в Сибирь не угодил, а третье горше первых двух — со всеми деньгами, что за пророчество набрал, расстался... И обитель с той поры запустела.

— Искушение! — еще раз вздохнул Василий Борисыч.

— Нет, ты мне вот что скажи, Василий Борисыч, — продолжал Патап Максимыч, — какое насчет этого куда будет твое рассуждение?.. Может, к отцу-то Исакию и на самом деле бес во образе ярославской девицы являлся?.. Может такое дело стать аль не может?.. Как по-твоему?

— Конечно, может, — ответил Василий Борисыч.

— Можно, значит, беса и в окошко? — усмехнулся Патап Максимыч.

— Можно! — отрывисто и с сердцем молвил Василий Борисыч.

— И ребра переломать?

— Можно.

— Значит, исправник да суд понимали неладно, обидели, значит, Исакия понапрасну, — засмеялся Патап Максимыч, и богатырский хохот его впервые после Настиной кончины громкими раскатами по горницам раздался. Смеялись и кум Иван Григорьич с Михайлом Васильичем, смеялась и женская половина гостей. Груня

одна не смеялась, да еще рьяный поборник древлего благочестия Василий Борисыч... Под шумок довольно громко он вскрикивал:

— Маловеры!.. Слепотствующие!.. Ох, искушение!..

Под общее веселье пуще прежнего расходился Па-тап Максимыч.

— Это новы дела у Иониных, — сказал он, — а слы-хал ли ты, Василий Борисыч, про старые?.. Не про старца Иону говорю тебе — тот жил давно, памятков про него, опричь чудотворной ели, никаких не осталось... А надо думать, что был свят человек, потому что богомольцы ту ель теперь до половины прогрызли... чудодействует, вишь, от зубной скорби, лучше самого Антипия помогает... Да не об ели хочу поведать тебе, а про слезы, печали и великие сокрушенья бывшего игумна той обители, отца — как бишь его? — Филофея никак... Батюшко родитель мой знал этого Филофея, частенько, бывало, про его слезы рассказывал... Не знаешь про те слезы?.. Слушай!.. Ионина обитель в те поры первую обителью по всему Керженцу была, ионинский игумен был ровно архиерей надо всеми скитами, и мужскими и женскими... А это оттого, что отовсюду христолюбцы деньги на раздачу по скитам к Иониным присылали, вот как теперь к сестрице моей любезной присылают. Оттого она теперь у них и за патриарха... Право!.. Спроси хоть ее самое!.. А тогда, по той же причине, все ихнее житие было у ионинского игумна в руках. Поступил к ним Филофей не то из Москвы, не то из Слобод, одно слово — не здешний... Ладно, хорошо... Приезжает он во свою честную обитель... Глядят, старец постный, строгого жития, как есть подвижник, от юности жены не позна, живучи где-то в затворе... Казначей был у Иониных-то, отец Парфений... Всех прежних игумнов в руках держал, слабостям их помогая. И стал он примечать, на какую бы удочку этого осетра изловить... Замечает старец Парфений: как только про женски обители речь поведется, у отца Филофея глаза так и запрыгают... Казначей себе на ус, говорит ему: «Отче святой, в горницах у тебя грязненько, не благословишь ли полы подмыть?» Тот благословляет... А Парфений: «При прежних, говорит, игумнах девицы полы подмывали, для того и очередь меж ними водилась. Благослови, отче святой, в женские обители наряд нарядить». Игу-

мен так и замахал руками: «Не хочу, значит: не благословляю...» А Парфений ему: «Без того нельзя, отче святой, грязи нарастет паче меры, а полы подмывать дело не мужское, ни один послушник за то не возьмется. Да к тому же белицы в мужских кельях полы подмывают спокон веку, с самого, значит, Никонова гоненья. А стары обычаи преставлять не годится — ропот и смущение могут быть большие, молва по людям пойдет — в Иониной-де обители новшества возлюбили — в старине, значит, не крепки. Подумай об этом, старче божий, ты человек новый, наших обычаев не знаешь». Нечего делать, согласился игумен, но только что белицы с шайками в келью, он в боковушу да на запор. «Эту комнатку, — Парфению молвил, — после когда-нибудь...» Зачали девицы полы подмывать, а игумен на келейну молитву стал... Тут известно дело — бес... «Погляди да погляди, дескать, в замочну дырочку...» Послушался беса отец Филофей, приник к дырочке, взглянул — да глаза оторвать и не может. Белицы-то все молодые, подола-то у всех подоткнуты. Сроду Филофей таких видов не видал... Поборол, однако, врага, отошел от двери, прямо к иконам... Молится с воздыханиями, со слезами, сердцем сокрушенным, уничиженным, даровал бы ему Господь силу и крепость противу демонского стреляния... А бес-от его распаляет — помолится, помолится старец, да и к дырочке... Приходит наутре другого дня Парфений, говорит игумну: «Ну, вот, отче святой, теперь у тебя в кельях-то и чистенько, а в боковушке как есть свиной хлев, не благословишь ли и там подмыть?» — «Как знаешь», — ответил игумен, а сам за лестовку да за умную молитву¹. «Боковуша не величка, — молвил Парфений, — достаточно будет и одной...» Отвечает игумен: «Как знаешь». — «Так я под вечер наряжу, святой отче...» А игумен опять то же слово: «Как знаешь!...» На другой день поутру опять к нему отец Парфений приходит, глядит, а игумен так и рыдает, так и разливается-плачет... Парфений его утешать: «Что ж, говорит, отче святой, — ведь это не грех, а токмо падение, и святые отцы падали, да угодили же Богу покаянием... Чего тут плакать-то?... До тебя игумны бывали, и с теми то же бывало... Не ты, отче, первый, не ты и последний!...» А отец

¹ Умная молитва — мысленная, без слов.

Филофей на ответ ему: «Дурак ты, дурак, отец Парфений!.. О том разве плачу?.. О том сокрушаюсь?.. До шестого десятка я дожил... не знал...»

— Искушение! — опустил очи, воскликнул Василий Борисыч. А самому завидно.

Долго шла меж приятелей веселая беседа... Много про Керженски скиты рассказывал Патап Максимыч, под конец так разговорился, что женский пол одна за другой вон да вон. Первая Груня, дольше всех Фленушка оставалась. Василий Борисыч часто говорил привычное слово «искушение!», но в душе и на уме бродило у него иное, и охотно он слушал, как Патап Максимыч на старости лет расходился.

Глава десятая

Правду говорил удельный голова Алексею: раньше трех дён Патап Максимыч гостей не пустил. И кум Иван Григорыч с Груней, и Михайло Васильич с Ариной Васильевной, и матушка Манефа с келейницами, и московский посол Василий Борисыч волей-неволей гостили у него три дня и три ночи.

— Тому делу нельзя быть, чтоб раньше трех дён гостей отпустить... Сорочины что именины — до троих суток роспуску нет, — говорил Патап Максимыч на неотступные просьбы тосковавшего по перепелам Михайла Васильича.

— Уехали ж городецкие, отпустил ты и городских гостей, — молил голова гостеприимного своевольника, — яви божескую милость, отпусти меня с Ариной Васильевной.

— Гость гостью рознь — иного хоть брось, а с другим рад бы век свековать, — отвечал на те слова Патап Максимыч. — С двора съехали гости дешевые, а вы мои дорогие — ложись, помирай, а раньше трех дён отпуска нет.

— Поверь же Богу, Патап Максимыч, — вздумал продолжать удельный голова. — Нужные дела по приказу есть, непременно надо мне домой поспешать.

— Пустых речей говорить тебе не приходится, — отрезал тысячник. — Не со вчерашнего дня хлеб-соль водим. Знаешь мой обычай — задурят гости да вздумают супротив хозяйского хотенья со двора долой, найдется

у меня запор на ворота... И рад бы полетел, да крылья подпешены¹. По́пусту разговаривать нечего: сиди да гости, а насчет отъезда из головы выкинь.

И должны были гости покориться воле Патапа Максимыча. Было б напрасным трудом спорить с ним. Не родился тот на свет, кто бы переспорил его.

И томился тоской Михайло Васильич, поглядывая на плававшие в воздухе длинные пряди тенетника и на стоявшие густыми столбами над хлебом и покосами толкунцы². Тянуло его к сетям да к дудочкам — хоть бы разок полежать в озимях до Нефедова дня... Да что поделаешь с своеобразным приятелем? Хоть волком вой, а гости до трех дён у Чапурина.

Иной выливает горе слезами, другой топит его в зеленом вине, Патап Максимыч думал размыкать печаль в веселой беседе с приятелями. Не было к нему ближе людей Ивана Григорыча с Михайлой Васильичем — то были други верные, приятели изведенные, познал их Чапурин и в горе и в радостях, и в счастье и в печалях. И хотелось ему с ними развеять мрачные думы, душу свою хотелось ему отвести... Новый знакомец тоже по нраву пришелся... Но Василий Борисыч человек молодой, к тому ж за скиты и за всяко духовное дело стоит через меру, оттого и тешился над ним Патап Максимыч, оттого и поддразнивал его затейными рассказами про житье-бытье старцев и келейниц лесов Чернораменских. Шутит Чапурин веселые шутки, трунит над Васильем Борисычем; добродушное лицо его сияет сердечною радостью... Но нет-нет, а вдруг отколь ни возмись — налетит хмара темная, потускнеет ясный взор отца горемычного, замлеет говорливый язык, и смолкнет Патап Максимыч, вспоминая красоту свою ненаглядную, покойницу Настю-голубушку, и слеза, что хрусталь, засверкает на ресницах его... Смолкнут и други-приятели, глядя на хозяина, потупят очи речистые, зная, чем повеяло на душу Патапа Максимыча... По недолгом времени ровно ото сна воспрянет он; опять за шутки, опять за издевки над Васильем Борисычем. Про скиты речь поведет, про Белую Криницу, зачнет путем, сведет на смеховое дело,

¹ Подпешить — сделать птицу пешею посредством обрезки крыльев.

² Толкунцы, или толкачи — рои мошек.

пойдет балагурить насчет беглого священства да австрийского архиерейства, насчет келейного жития, уставов, поверий, скитских преданий... Патап Максимыч был истый великорусс: набожник, ревностный к вере отцов богомольник, но великий суеслов; а как расхочется да разгуляется, и от кощунства не прочь... Сидя в соседней боковуше, в ужас приходила мать Аркадия, слыша, как потешался он над Васильем Борисычем... В душевном смятенье вполголоса читала она псалом царя Давида: «Рече безумец в сердце своем».

Василий Борисыч в споры. Нельзя же московскому послу оставаться без ответа, слушая такие речи; нельзя не показать ревности по древнему благочестию. Но с Патапом Максимычем спорить не то что с другим — много надо иметь и ума и умения, чтоб свое защитить и ему поновить. Другой слов бы не нашел для разговоров с Чапуриным, но Василий Борисыч на обхождение с такими людьми был ловок, умел к каждому подладиться и всякое дело обработать по-своему... Оставшись подростком по смерти сначала зажиточных, потом разорившихся родителей, круглый, безродный сирота, обширной начитанностью, знаньем церковного устава и пения обратил он на себя внимание рогожских попов, уставщиков и попечителей часовни... И в самом деле был он великий начетчик, старинные книги, как свои пять пальцев, знал; имея же острую память, многое из них целыми страницами читал наизусть, так, бывало, и режет... Но, читая старые книги, и новыми он не брезговал, не отрещивался от них, как другие староверы, напротив, любил их читать и подчас хорошее слово из них в речь свою вставить. Сильные своим влияньем тузы московского старообрядства дорожили такими людьми и уважали Василья Борисыча за острый ум и обширные познания... Не раз изведав ловкость его, стали посылать его в разные места по духовным делам, и, куда, бывало, ни пошлют, всюду он порученье исполнит на славу. Это ему, бедному человеку, не только хороший хлеб давало, но даже доставило возможность купить в Сыромятниках¹ хорошенький домик и сколотить себе небольшой капи-

¹ Одна из отдаленных частей Москвы, поблизости Рогожского кладбища. В Сыромятниках живет немало старообрядцев рогожского согласия.

талесц. Большое богатство мог бы скопить, да страстишка в нем завелась — карты возлюбил... Ни трынка, ни горка, ни новоявленная макао не везли Василию Борисычу... А как был он по пословице «несчастлив в игре, да счастлив в любви», так и на это счастье деньги понадобились и, бывало, из кармана, как по внешней воде, уплывали... А все-таки в довольстве жил, бедовать ему не доводилось... Главное — с людьми ужиться умел... То затейник, то балагур, то скромник и строгий постник, то бабий прихвостень и девичий угодник, был он себе на уме: с кем ни повстречается, ко всякому в душу без оглобелъ въедет, с кем беседу ни зачнет, всякого на свою сторону поворотит...

С первого взгляда он насквозь узнал Патапа Максимыча, понял, что́ это за человек, и разом сумел к нему подладиться. Заметив, что не жалуется он потаковников, а любит с умным, знающим встречником¹, поспорить, охотно пускался с ним в споры, но спорил так, чтоб и ему угодить и себя не унизить. Послушает, бывало, мать Манефа, либо которая из келейниц, как ведет он речи с Патапом Максимычем, сердцем умилится, радоваться не может... А Патап Максимыч тоже рад и доволен. Ласково поглядывает на Василья Борисыча, самодовольно улыбается, а сам про себя думает: «Вот так человек!.. Из молодых да ранний — на все горазд: и себя огородить и старшему поноровить! Опять же и книжен. Таких начетчиков мало мне встречать доводилось. По всему старообрядству таких раз-два обчелся».

Но не все же шутить да балагурить — надоест. Досыта натешившись над скитами и над старою верой, на иное Патап Максимыч беседу свел. С Иваном Григорычем да с удельным головой пошли у него разговоры про торги да промыслы. Василий Борисыч и тут лицом в грязь себя не ударил. Увидел Патап Максимыч, что и по торговому делу он был столько же сведущ, как и в книжном писанье. Исходив много стран, многое видел на веку своем Василий Борисыч, все держал на памяти и обо всем мог иметь свое сужденье. Московские фабрики, ржевские прядильни, гуслицкие ткачи, холуйские богомазы, офени-коробейники, ростовские огородники, шуйские шубники, вичужские салфетчики, сапожники-кимряки, пряничники-вязьмичи вдоль и

¹ Встречник — противник в споре, иногда враг.

поперек были ему известны. Куда ни заносила Василия Борисыча непосредная жизнь, везде дружился он с зажиточными старообрядцами. А те по многим местам держат в руках и торговлю и промышленность. Оттого ему и сподручно было так хорошо изведать торговое дело.

Когда повелись толковые, деловые разговоры, Василий Борисыч в какой-нибудь час времени рассказал много такого, чего ни Патапу Максимычу, ни куму Ивану Григорычу, ни удельному голове Михайле Васильичу и на ум до того не впадало. Про то разговорились, как живется-можетсЯ русскому человеку на нашей привольной земле. Михайло Васильич, дальше губернского города сроду нигде не бывавший, жаловался, что в лесах за Волгой земли холодные, неродимые, пашни и покосы скудные, хлебные недороды частые, по словам его выходило, что крестьянину-заволжанину житье не житье, а одна тяга; не то, чтобы деньги копить, подати исправно нечем платить.

— А промысла, — жаловался он, — что спокон века здешний народ поили-кормили, решатся один за другим. На что ни оглянись, все под гору катится, все другими перебито. На что славна была по всем местам наша горянщина, и ту изобидели: крещане¹ у токарей, юрьевцы да кологривцы у ложкарей отбивают работу. В прежние годы из нашей Чищи² валенок да шляпа на весь крещеный мир шли, а теперь катальщики чуть не с голоду мрут... Угораздило крещеных у немца картуз перенять!.. От саратовских колонистов тот картуз по Руси пошел и дедовску шляпу в корень извел... Прежде в Чищи для каждой стороны особую шляпу работали: куда шпилёк, куда верховку, куда кашник³, а теперь, почитай, и валять-то разучились... Хизнула шляпа, остались сапоги с валенками, и те Кинешма с Решмой перебивают, а за Кинешмой да Решмой калязинцы⁴. Красную Рамень взять: прежде на всю Россию весовые коромысла работала, теперь и этот промысел стал подходить... Нет, плохое житье стало по нашим лесам!..

¹ Жители Крестецкого уезда Новгородской губернии.

² Чищею называется безлесная полоса вдоль левого берега Волги шириною верст на двадцать, двадцать пять и больше.

³ Разные виды русских поярковых шляп.

⁴ Город и большое село на Волге в Костромской губернии. Калязин — город Тверской губернии, тоже на Волге.

— Гневить Бога вам нечего, — возразил Василий Борисыч. — Посмотрели бы вы, как по другим-то местам люди живут, не стали б хаять да хулить свою сторону...

— Сторона наша плохая, хлеба недороды, иной год до Рождества своего хлеба не хватит, — возразил удельный голова.

— А посмотреть бы вам, Михайло Васильич, каково народ по тем местам живет, где целу зиму на гумне стоят скирды немолоченные, — сказал на то Василий Борисыч. — По вашим лесам последний бедняк человеком живет, а в степных хлебородных местах и достаточный хозяин заодно со свиньями да с овцами.

— Уж ты наскажешь! только послушай! — сказал Михайло Васильич. — Как же возможно с овцами да со свиньями жить?..

— Не во гнев твоей милости будь: того и в посмешных песнях не поют и в сказках не сказывают.

— В сказках не сказывают, и в песнях не поют, — молвил Василий Борисыч, — а на деле оно так. Посмотрели б вы на крестьянина в хлебных безлесных губерниях... Он домосед, знает только курные свои избенки. И если б его на ковре-самолете сюда, в ваши леса перенести да поставить не у вас, Патап Максимыч, в дому, а у любого рядового крестьянина, он бы подумал, что к царю во дворец попал.

— Ну уж и к царю! — самодовольно улыбнувшись, молвил Патап Максимыч.

— Истинную правду вам сказываю, — решительно ответил Василий Борисыч. — Посмотрели б вы на тамошний народ, посравнили б его со здешним, сами бы то же сказали... Здесь любо-дорого посмотреть на крестьянина, у самого последнего бедняка изба большая, крепкая, просторная, на боку не лежит, ветром ее не продувает, зимой она не промерзает, крыта дранью, топится по-белому, дров пали сколько хочешь; у каждого хозяина чисто, опрятно, и все прибрано по-хорошему... А там избенка малая, низкая, курная, углы морозом пробиты, несет из них, а печку навозом либо соломой топят... Пол-от в избе земляной, стены да потолок что твой уголь. Вместе с людьми и овцы с ягнятами, и свиньи с поросятами, и всякая домашняя птица... Корову в избе же доят и корму ей там задают...

— Быть того не может! — вскрикнул удельный го-

лова. — В жизнь свою не поверю, чтоб корова в избе жила и всякая скотина и птица.

— Побывайте в степях, посмотрите, — молвил Василий Борисыч. — Да... Вот что я вам, Михайло Васильич, скажу, — продолжал он, возвыся голос, — когда Христос сошел на землю и принял на себя зрак рабий, восхотел он, владыко, бедность и нищету освятить. Того ради избрал для своего рождества самое бедное место, какое было тогда на земле. И родился царь небесный в тесном, грязном вертепе среди скотов бессловесных... Поди теперь в наши степи — что ни дом, то вертеп Вифлеемский.

— Отчего ж это так? — в недоумении спросил Михайло Васильич.

— Оттого, что земля там родима, оттого, что хлеба там вдоволь, — с улыбкой ответил московский посол.

— Понять не могу, — разводя врозь руками, молвил Михайло Васильич. — Хлеб всему голова: есть хлеб — все есть; нет — ложись, помирай.

— Не всегда и не везде так бывает, — сказал Василий Борисыч. — Если ж в тех хлебородных местах три, четыре года сряду большие урожаи случатся, тогда уж совсем народу беда.

— Как так? — спросил Патап Максимыч. Удивился и он речам Василья Борисыча.

— Да очень просто, — ответил Василий Борисыч. — Промыслу нет никакого, одно землепашество... Хлебато вволю, а мужику одним хлебом не изжить, и на то и на другое деньги ему надобны: и соли купить, и дегтю, и топор, и заступ, и серпы, и косы, да мало ль еще чего... У церковников попу надо дать, как с праздным придет, за исповедь, за свадьбы, за кстины¹, за похороны; винца тоже к празднику надо, а там подати, оброки, разные сборы, и все на чистоган. А чистогана, опричь как хлебом, достать нечем. А хлеб-от вези на базар, верст за двадцать, за тридцать. Сколько тут надо прохарчить, сколько времени эти поездки возьмут, а дороги-то осенью, да и летом, коли много дождей, не приведи Господи! В черноземе-то, как его разведет, телега по ступицу грузнет, лошаденка насилу тащит ее... Что тут маяты, что убыток!.. Хорошо вон теперь железны дороги почали строить, степняку от них житье

¹ Крестины.

не в пример лучше прежнего будет, да не ко всякой ведь деревне чугунок подведут... Хорошо еще, коли хлеб в цене; тогда и примет мужик маяты, а все-таки управится, и деньги у него в мошне будут. А как большие-то урожаи да каждый-то год, да как цена-то на хлеб упадет!.. По хлебным местам такая намолвка идет: «Перерод хуже недороду».

— Поди вон оно дело-то какое! — удивился Михайло Васильич.

— А лесу ни прута, — продолжал Василий Борисыч. — Избы чуть не из лутошек, по местам и битые, из глины в чести, топливо — солома, бурьян да кизяк...¹ Здесь, в лесах, летом все в сапогах, зимой в валенках, там и лето и зиму в одних родных лапотках, да еще не в лычных, а в веревочных. По здешним местам мясное-то у мужика не переводится, да и рыбы довольно — Волга под боком, а в хлебных местах свежину только в светло воскресенье едят да разве еще в храмовые праздники...

— Чудное дело!.. — дивился Михайло Васильич.

— По вашим местам — щи с наваром, крыты жиром, что их не видать, а в хлебных местах — щи хоть кнутом хлещи — пузырь не вскочит... — продолжал Василий Борисыч. — Рыбного тоже нисколько, речонки там мелкие, маловодные, oprичь пискаря да голова, ничего в них не водится. Бывает коренная, да везена та рыба из дальних мест и оттого дорога... Где уж крестьянину деньги на нее изводить — разве поесть немножко на маслянице, чтоб только закон справить... Хлеба — ешь не хочу, брага не переводится, а хоть сыты живут, да всласть не едят, не то что по вашим местам. Вот каковы они хлебны-то места, Михайло Васильич!

— Мудрены дела твои, Господи! — молвил удельный голова и задумался. И, малое время помолчав, спросил он Василья Борисыча:

— Перепелов, поди, чай, сколько в хлебе-то!

— Этого добра вдоволь, — ответил Василий Борисыч, — тьма-тьмущая!

— Голосисты? — спросил голова.

— Беда! — молвил Василий Борисыч.

— Эка благодать!.. — вздохнул Михайло Васильич. — Сотнями, чать, кроют...

¹ Кизяк — сухой навоз, обделанный в форму кирпича.

— Оно и выходит, что хлеба много — лесу нету, лесу много — хлеба нету, — вставил в беседу речь свою кум Иван Григорьич.

— Не в лесе, Иван Григорьич, сила, а в промыслах, — сказал ему на то Василий Борисыч. — Будь по хлебным местам, как здесь, промысла, умирать бы не надо...

— Отчего ж не заводят? Кажись бы, не хитрое дело? — спросил Иван Григорьевич.

— Оттого и не заводят, что хлебные места, — ответил Василий Борисыч. — Промысла от бесклубья пошли, бесклубье их породило... В разных странах доводилось мне быть: чуть не всю Россию объехал, в Сибири только не бывал да на Кавказе, в Австрийском царстве с Белокриницкими отцами до самой Вены доезжал, в Молдаве был, в Туречине, гробу Господню поклонялся, в Египетскую страну во славный град Александрию ездил... И везде, где ни бывал, видел одно: чем лучше земля, чем больше ее благодатью Господь наделил, тем хуже народу живется. Смотришь, бывало, не надивуешься: родит земля всякого овоща и хлеба обильно, вино и маслины и разные плоды, о каких здесь и не слыхивали, а народ беден... Отчего?.. Промыслу нет никакого... Земля-то щедра, всегда родит вдоволь, уход за ней не великий, человек-от и обленился; только б ему на боку лежать, промысла и на ум ему не приходят. А как у нас на святой Руси холод да голод пристукнут, рад бы поленился, да некогда... И выходит: где земля хуже, там человек досужей, а от досужества все: и достатки и богатство...

— А ведь это так, это он дело рассказывает, — кивнул Патап Максимыч куму Ивану Григорьичу. — Говорится же ведь, что всяко добро от божьего ума да от человеческого труда.

— Да, — подтвердил Василий Борисыч. — Всё трудом да потом люди от земли взяли... Первая заповедь от Господа дана была человеку: «В поте лица снеси хлеб твой»... И вот каково благ, каково премудр отец-от небесный: во гневе на Адама то слово сказал, а сколь добра от того гневного слова людям пришло... И наказуя, милует род человеческий!..

— Известно... На то он и Бог, — молвил удельный голова.

— А скажи-ка ты мне, Василий Борисыч, как по тво-

ему замечаную... Можно по хлебным местам промысла развести али нельзя? — спросил у него Патап Максимыч.

— Можно-то можно, люди бы только нашлись, — ответил Василий Борисыч. — Самому крестьянству на промыслы сразу подняться нельзя... Начинать ново дело русский человек не охотник, надо ему ко всякому делу допрежь приглядеться.

— Как же завести-то их? — спросил Патап Максимыч.

— А вот как, — ответил Василий Борисыч. — Человеку с достатком приглядеться к какому ни на есть месту, узнать, какое дело сподручнее там завести; да, приглядевшись, и начинать с божьей помощью. Год пройдет, два пройдут, может статься и больше... А как приглядятся мужики к работе да увидят, что дело-то выгодно, тогда не учи их — сами возьмутся... Всякий промысел так начинался.

— Фабрику, значит, поставить либо завод какой? — сказал Патап Максимыч.

— Нет, — возразил Василий Борисыч. — Нет, нет, оборони Боже!.. Пушай их по городам разводят... Фабричный человек — урви ухо¹, гнилая душа, а мужик — что куколь: сверху сер, а внутри бел... Грешное дело фабриками его на разврат приводить... Да и то сказать, что на фабриках-то крестьянскими мозолями один хозяин сыт... А друго дело то, что фабрика у нас без немца не стоит, а от этой саранчи крещеному человеку надо подальше.

— Самое истинное дело, — согласился Патап Максимыч.

— Ты ему воли на вершок, а он, глядь, и всем заводел, — вставил свое слово Михайло Васильич.

— Не фабрики, кустарей по какому ни на есть промыслу разводять — вот что надо, — сказал Василий Борисыч. — И пример с них мужики скорее возьмут, и веры в тот промысел будет побольше... Да вот к примеру хоть Вичугу² взять, от здешних лесов не больно далеко, и там земля неродима... До французского года³ ни одного ткача в той стороне не бывало, а теперь

¹ Плут.

² Кинешемского уезда Костромской губернии.

³ 1812 год.

по трем уездам у мужиков только и дела, что скатерти да салфетки ткать. И фабрики большие завелись, да речь не об них... По иным деревням, что ни дом, то стан... Заобихожий¹ круглый год за работой; тяглецы, как не в поле, тоже за станом стоят... И что денег тем мастерством добывают!.. Как живут!.. А как дело-то начиналось?.. Выискался смышленный человек с хорошим достатком, нашего согласия был, по древлему благочестию, Коноваловым прозывался, завел небольшое ткацкое заведение, с легкой его руки дело и пошло да пошло... И разбогател народ и живет теперь лучше здешнего... Да мало ль таких мест по России... А везде доброе дело одним начиналось!.. По-больше бы Коноваловых у нас было — хорошо бы народу жилось.

— Да, — промолвил Патап Максимыч и крепко задумался.

И когда расходились гости на сон грядущий, не сказал он никому ни единого слова, но молча трижды расцеловался с Василием Борисычем.

А уйдя в боковушу, долго ходил взад и вперед, закинув руки за спину.

«Слышал и я про Коновалова, — думал он сам про себя. — Добром поминают его по всему околотку, по всем ближним и дальним местам... Можно про такого человека сказать: «Сеял добро, посypал добром, жал добро, оделял добром, и стало его имя честно и памятно в род и род». Голодного накорми, слабому пособи, неразумного научи, как добро наживать трудом праведным, нет тех дел святее перед Господом и перед людьми... От людей вечный помин, от Господа грехов отпущенье... И в Писании сказано: «блажен»... Что каменны палаты в Петербурге?.. Что железны дороги да расчистка волжских перекатов — коноваловское дело превыше всего... И капитала много меньше потребуется... Смогу!.. А смышлен этот Василий Борисыч!.. Из себя маленек, годами молоденек, а разумом и старого за пояс заткнет... Сынка бы такого разумного!.. Не привел Господь!.. Что делать?.. На волю божью не подайшь просьбу... А этот лучше того долговязого!.. Острый разум!.. И угораздило ж его в бабы дела ввязаться!.. Кельи да старицы, уставы да архиереи!.. Все еди-

¹ Заобихожий — лишний в доме.

но, что вздешь сарафан да с девками в хороводы... Последнее дело!..»

Утром третьего дня сорочин Патап Максимыч опять с гостями беседовал. В ожидании обеда Никитишна в передней горнице закуску им сготовила: икры зернистой, балыка донского, сельдей переславских и вяленой рознежской¹ стерляди поставила. Хрустальные с разноцветными водками графины длинным рядом стояли на столе за тарелками.

— Дивлюсь я тебе, Василий Борисыч, — говорил ему Патап Максимыч. — Столько у тебя на всякое дело умения, столь много у тебя обо всем знания, а век свой корпишь над крюковыми книгами², над келейными уставами да шатаешься по белу свету с рогожскими поручённостями. При твоём остром разуме не с келейницами возиться, а торги бы торговать, деньгу наживать и тем же временем бедному народу добром послужить.

— Всякому человеку от Бога свое дело положено, — молвил Василий Борисыч. — Чему обучен, чему навык, тому делу и должен служить. Да и можно ль мне в торговлю пуститься? Ни привычки, ни сноровки.

— Так говорить не моги, — перебил его Патап Максимыч. — Мы, стары люди, видим подальше тебя, больше тебя разумеем. Птичка ты невеличка, да ноготок у тебя востер. По малом времени в люди бы вышел, тысячником бы стал, богачом.

— Что есть, и того довольно с меня, — молвил Василий Борисыч. — Не в богатстве сила, в довольстве... Я, слава Богу, доволен.

— Доволен! — усмехнулся Патап Максимыч. — И лягушка довольна, пока болото не пересохло... А ты человек, да еще разумный. Чтó в писании-то сказано о неверном рабе, что данный от Бога талант закопал? Помнишь?

— Дело-то óпасно, — немного подумав, молвил Ва-

¹ Рознежье — село на левом берегу Волги, повыше Васильсурска. Здесь весной во время водополя ловят много маломерных стерлядей и вялят их.

² Певчие книги. Крюки — старинные русские ноты, до сих пор обиходные у старообрядцев.

силией Борисыч. — Батюшка родитель был у меня тоже человек торговый, дела большие вел. Был расчетлив и бережлив, опытен и сметлив... А подошел черный день, смешались прибыль с убылью, и пошли беда за бедой. В два года в доме-то стало хоть шаром покати... А мне куда перед ним? Что я супротив его знаю?.. Нет, Патап Максимыч, не с руки мне торговое дело.

— Напрасно так рассуждаешь, — возразил Патап Максимыч. — Добра тебе желаючи, прошу и советую: развяжись ты с этими делами, наплюй на своих архиереев да на наших келейниц... Ну их к шуту!.. На такие дела без тебя много найдется... Повел бы торги — и себе добро и другим польза.

— Нет, Патап Максимыч! — молвил Василий Борисыч. — Такой уж несмелый я человек — всего опасуюсь, всего боюсь, опять же привычка... А привычка, не истопка¹, с ноги не сбросишь... Боюсь, Патап Максимыч, оченно мне боязно за непривычное дело приняться...

— Волка бояться — от белки бежать, — сказал Патап Максимыч. — Не ты первый, не ты будешь и последний... Знаешь пословицу: «Смелому горох хлебать, робкому пустых щей не видать»? Бояться надо отпетому дураку да непостоянному человеку, а ты не из таковых. У тебя дело из рук не вывалится... Вот хоть бы вечер про Коновалова помянул... Что б тебе, делом занявшись, другим Коноваловым стать?.. Сколько бы тысяч народу за тебя день и ночь Богу молили!..

— Такого дела мне не снести, — молвил Василий Борисыч.

— Отчего? — спросил Чапурин.

— Не к лицу пироги разбирать, коли хлеба нет, — молвил Василий Борисыч. — Торги да промыслы заводить, надо достатки иметь, а у меня, — прибавил он усмехаясь, — две полы, обе голы, да и те не свои — подаренные.

— Нет капитала, в долю бы шел, — сказал Патап Максимыч. — Такого, как ты, всякий с радостью примет.

— В супрядках не пряжа, в складчине не торг, — отозвался Василий Борисыч.

— Это так точно, — с довольной улыбкой подтвер-

¹ Истопки — изношенные лапти.

дил Чапурин. — Сам тех же мыслей держусь. Складчина последнее дело... Нет того лучше, как всякий Тит за себя стоит... А эти нонешни акции, да компании, да еще пес их знает какие там немецкие штуки — всем им одна цена: наплевать.

— Значит, ты и артели порочишь? — вступился удельный голова.

— Кто их порочит! — с досадой возразил Патап Максимыч. — Артель порочить нельзя, артель та же братчина, заведение доброе; там все друг по другу, голова в голову, оттого и работа в артели спора... Я про нынешни компании помянул, их не хвалю... Тут нажива только тому, кто дело к рукам умеет прибрать... А другим пайщикам обида одна... Нет, я так советую тебе, Василий Борисыч, шел бы ты в долю к какому ни на есть богатому да хорошему человеку: его бы деньги, твое уменье... Говорил ты намерении, что по разным городам у тебя большое знакомство... Неужто не сыщется, кто бы тебе деньгами пособил?..

— Как не сыскаться, — молвил Василий Борисыч. — Есть доброхотов довольно.

— Что ж ты?

— Просить охоты нет, — сказал Василий Борисыч.

— А ты попробуй — без просьбы нельзя же: дитя не плачет, мать не разумеет, — молвил Патап Максимыч. — Ну-ка, попробуй!..

— Искушение! — вполголоса проговорил Василий Борисыч, смиренно поникнув головою.

— Что стал?.. Пробуй! — упершись в колени руками и наклонясь к Василию Борисычу, сказал Патап Максимыч.

— Не могу я просить, Патап Максимыч, язык не поворотится.

Плюнул с досадой Чапурин.

— Сами, что ли, деньги-то тебе в карман влезут? — крикнул он, выпрямясь во весь рост. — Сорока, что ли, тебе их на хвосте принесет?.. Мямля ты этакой, рохля!.. Мог бы на весь свет загреметь, а ему по скитам шляться да с девками по крюкам петь!.. Бить-то тебя некому!

— Искушение!.. — с глубоким вздохом, полусшепотом промолвил Василий Борисыч.

— Добро ему кажут, на широку дорогу хотят его вывести, а он, ровно кобыла с норовом, ни туда, ни

сюда, — шумел Патап Максимыч... — Сказывай, непуть этакой, много ль денег требуется на развод промыслов где-нибудь поблизости?.. Ну хоть на Горах¹, что ли?

— Ох, искушение! — глубже прежнего вздохнул Василий Борисыч. Сроду не случалось бывать ему в таком переделе...

А Патап Максимыч так зашагал по горнице, что стоявшая на горках посуда зазвенела... Вдруг стал он перед Василием Борисычем и взял его за плечи.

— Получай деньги, Васильюшка, — сказал ему. — Брось голубчик, своих чернохвостых келейниц да посконных архиереев, наплюй им в рожи-то!.. Васильюшка, любезный ты мой, удружи!.. Богом тебя прошу, сделай по-моему!.. Утешь старика!.. Возлюбил я тебя...

— Нет, уж увольте, Патап Максимыч, — собравшись с духом, молвил Василий Борисыч. — Не надо — не могу я ваших денег принять...

— Дурак! — крикнул вскипевший гневом Чапурин и порывисто вышел из горницы, хлопнув дверью, так что окна зазвенели.

— Что ж ты тревожишь его? — говорил Василью Борисычу кум Иван Григорыч. — Видишь, как расходился!.. Для че упорствуешь?.. Не перечь... покорись, возьми деньги.

— Не к рукам мне его деньги, — ответил Василий Борисыч. — Какой я купец, какой торговец?.. Опять же не к тому я готовил себя.

— Про то не думай, — внушительно сказал ему удельный голова. — Патап Максимыч лучше тебя знает, годишься ты в торговое дело али нет!.. Ему виднее... Он, брат, маху не даст, каждого человека видит насквозь... И тебе бы, Василий Борисыч, ему не супротивничать, от счастья своего не отказываться.

— Ох, искушение! — руками даже всплеснул Василий Борисыч. А самому бежать бы — так в пору.

— Нет, уж ты не прекословь, Василий Борисыч, — продолжал уговаривать его Иван Григорыч. — Потешь старика, пожалей — добра ведь желает тебе.

— Да толком же я говорю: не могу того сделать, — чуть не со слезами ответил Василий Борисыч. — Заводить торговое дело никогда у меня на уме не бывало, во снах даже не снилось... Помилуйте!..

¹ На Горах — на правом берегу Волги.

— Экой ты человек неуклончивый! — хлопнув о полы руками, воскликнул Иван Григорьевич. — Вот уж истине: в короб нейдет, из короба не лезет и короба не отдает... Дивное дело!.. Право, дивное дело!..

— Старого человека надо уважить, — молвил Михайло Васильич. — Из-за чего ты в самом деле расстроил его?.. Ну и впрямь, что за охота тебе с келейницами хороводиться?.. Какая прибыль?.. Одно пустое дело!..

Под эти слова дверь быстро распахнулась, и Патап Максимыч вошел в горницу. Лицо его пылало, пот крупными каплями выступал на высоком челе, но сам он несколько стих против прежнего.

— Слушай, — сказал он, подойдя к Василию Борисычу и положив ему руки на плечи. — Чего торгов боишься? Думаешь, не сладишь?.. Так, что ли?

— Так точно, — ответил Василий Борисыч.

— Ладно, хорошо... Будь по-твоему, — сказал Патап Максимыч, не снимая рук с плеч Василья Борисыча. — Ну, слушай теперь: сам я дело завожу, сам хочу промысла на Горах разводить — ты только знаньем своим помогай!

— Какое ж мое знание, Патап Максимыч? Помилуйте, Господа ради!.. — возразил было Василий Борисыч.

— Лучше тебя знаю, каково твоё знание, — прервал его Патап Максимыч. — Помогай же мне, ступай в приказчики...

— Ох, искушение! — вздохнул Василий Борисыч.

— Да ну его к шуту, твоё «искушение». Заладил, что сорока Якова, надоед даже... Идешь в приказчики?

Молчит Василий Борисыч, мутится взор его под горячими взглядами Патапа Максимыча.

— Житье на всем на готовом, жалованья — сколько запросишь. Дело вести без учета, без отчету, все как сыну родному доверю... Что же?.. Чего молчишь?.. Аль язык-от отсох!.. Говори, отвечай! — сильно трясая за плечи Василья Борисыча, говорил Патап Максимыч.

— Не знаю, что отвечать, — тихо промолвил Василий Борисыч... А у самого на уме: «Спаси от бед раба своего, Богородице!»

— Толком спрашиваю, толком и ответ давай! — чуть не на весь дом крикнул Патап Максимыч.

— Дайте сроку... — едва проговорил Василий Борисыч.

— Много ли?

— Недель шесть... — сказал Василий Борисыч.

— Долго... — молвил Патап Максимыч.

— Меньше нельзя. Чужие дела в руках, зря их бросить нельзя, — ответил Василий Борисыч.

— Дело сказал, — молвил Патап Максимыч. — А все бы маненько убавить надо...

— Никак невозможно, Патап Максимыч, — решительно сказал Василий Борисыч.

— Ну, была не была, — согласился Чапурин. — Шесть недель так шесть недель. Будь по-твоему... Только смотри же у меня, не надуй...

— Помилуйте!.. Как это возможно!.. — а сам на уме: «Только б выбраться подобру-поздорову».

— Ладно, хорошо, — сказал Патап Максимыч. И, обняв Василия Борисыча, трижды поцеловал его со щеки на щеку.

— Никитишна! — крикнул он, маленько отворив сенную дверь.

Кума-повариха вошла в горницу.

— Ставь-ка нам, кумушка, смолёну, головку холоденькую, — молвил ей повеселевший Патап Максимыч.

Кумушка скоро воротилась, неся на железном тагильском подносе бутылку шампанского с четырьмя хрустальными стаканчиками.

— С новым приказчиком! — поздравлял Чапурина удельный голова.

— С новым торгом! — подхватил кум Иван Григорыч.

И скорым делом бутылку покончили.

Василий Борисыч пил, но крепко задумался.

Глава одиннадцатая

Обедать сели. То был последний обед сорочин.

Пол-обеда не прошло, забренчали на дворе бубенчики, колокольчик стал позвякивать: то Михайле Васильичу стоечных лошадей запрягали. Не терпелось ему. Из-за стола прямо в тарантас, и во весь опор, как ездят только исправники, покатыл он в Ключино, чтобы с вечера на перепелов в озимях залечь... Только свалит жар, собирался ехать кум Иван Григорыч с Груней; а с солнечным закатом хотела отправляться и Манефа со старицами, белицами и с Васильем Борисы-

чем. Патап Максимыч не на долгое время и Парашу в Комаров отпускал, позволял даже ей с матерями съездить в леса на богомолье и в ночь на Владимирскую¹ невидимому граду Китежу поклониться... Денька через три хотела выехать из Осиповки и Аксинья Захаровна. Ехать думала наперед к Груне, а повременя, как только Манефа из Шарпана с Казанской воротится, к ней в обитель. Одному Патапу Максимычу не сидеть дома, и он собрался в Красную Рамень на мельницы, а оттол в город.

За обедом развеселый Патап Максимыч объявил во услышанье, что к первому Спасу² будет у него новый приказчик и что с ним он новы торгovy дела на Горах заведет. И, сказав, показал на Василия Борисыча.

Молнией сверкнули черные очи Манефы... Переглянулись белицы и старицы, с недоуменьем взглянула на мужа Аксинья Захаровна, вздохнула и покорно опустила глаза... Ни с того ни с сего зарделась Прасковья Патаповна, а бойкая, разудалая Фленушка, взглянув на нее, а потом на склонившегося над тарелкой Василия Борисыча, улыбнулась лукавой улыбкой... На этот раз Устинья Московка за тем же столом обедала, сидела рядом с игуменьей. Ровно громом оглушили ее слова Патапа Максимыча, багрецом подернулись щеки, побледнели алые губы, заблестели очи искрами палючими, и слезинки, что росинки, засверкали на длинных ресницах ревнивой канонницы. Никто ни слова, ни звука... И любо было Патапу Максимычу, что всех огорошил вестью неожиданною. Повел разговоры:

— По нонешним временам человеку с достатком и стыд и грех на печи сложа руки сидеть... Не по-старому жить приходится, не в кубышку деньги копить да зарывать ее в подполье либо под углом избы... Ход да простор возлюбили ноне денежки... К тому ж и Господь повелел, себя помня, ближнего не забывать... Теперь, по милости божией, по околотку сотня другая людей вокруг меня кормится, и я возымел такое желание, чтобы, нажитого трудами капитала не умаляя, сколь можно больше народу работой кормить, довольство бы по бедным людям пошло и добрая жизнь... Благословил бы только Господь...

¹ Июля 23-го.

² Августа 1-го.

— Господь повелел богатому нищей братье именье раздать и по нем идти, — истово и учительно, но резко сказала Манефа, приосанясь и величаво взглянув на брата.

— Ту заповедь и держу в помышление, — молвил он.

— «Нищие всегда имате с собою», рек Господь, — продолжала игуменья, обливая брата сдержанным, но строгим взглядом. — Чем их на Горах-то искать, вокруг бы себя оглянулся... Посмотрел бы, по близности нет ли кого взыскать милостями... Недалёко ходить, найдутся люди, что постом и молитвой низведут на тебя и на весь дом твой Божие благословение, умолят о вечном спасении души твоей и всех присных твоих.

— Никак на своих чернохвостниц мекаешь? — насмешливо молвил Патап Максимыч. — Нет, матушка, шалишь-мамонишь — с жиру взбеситесь!.. Копейки не дам!

— Вольному воля! — понизив голос, ответила Манефа. — Господь призрит на нища и убога — проживем и без твоих милостей.

— Ну и живите, только других не корите, — молвил Патап Максимыч и, обратясь к Ивану Григорьичу и удельному голове, прибавил: — Эко, подумаешь, бездонная кадка эти келейницы!.. Засыпь их кормом поверх головы, одно вопят: «Мало, еще подавай!»

— Не суесловь, безумный! — возвысила голос Манефа. — Забыл, что всяко праздно слово на последнем суде взыщется?

— Много ж тебе с твоими келейницами ответов-то придется давать тогда, — усмехнулся Патап Максимыч. — Ведь у вашей сестры, что ни слово, то вранье либо сплетня какая.

— Безумное слово, нечестивая речь!.. — вспыхнула мать Манефа, но тотчас же стихла. Не слышать ее голоса больше.

И, не внимая усердным потчеваньям Аксиньи Захаровны, не вкушала она от сладких брашен, сготовленных Никитишной. Глядя на свою матушку, и старицы с белицами воздержались от ястия и пития, хоть и было это им за великую досаду. Только Фленушка с Марьюшкой, как не их дело, кушали во славу Божию... Устинья Московка не ела, рвалось и кипело у ней сердце, мутился разум. Чужа недоброе, глаз не спускала она с Василия Борисыча и зорко стерегла, не взглянет ли он

на хозяйскую дочь... Но он сидел, ровно к смерти приговоренный... Молчит, потупя очи, и тоже ни единой яствы не касается... Собравшись с духом, спросила у мужа Аксинья Захаровна, что за дела вздумал он на Горах заводить. Не ответил Патап Максимыч. Не взглянул даже на сожительницу.

Проводили удельного голову, проводили и Груню с Иваном Григорьевичем. Манефа спешно в путь снаряжается. Узелкам, коробкам, укладочкам да сундучкам у келейниц ни конца, ни счета: у каждой старицы, у каждой белицы свой дорожный обиход. Опречь перин да подушек, надо весь скарб собрать и в повозки покласть... А тут подоспели Парашины сборы. В один чемодан всего не убрать, другой прихватили... Одного платья что брала... Платки левантиновые, две шали турецкие, лент в косу десятка два, передники всякие, рукава, сарафанов дюжины полторы: ситцевые для прохлады, шерстяные для обиходу, шелковые для наряду в часовню аль при гостях надеть... Нельзя же Параше без дорогих нарядов — не простая девица в скиты едет, — одна-единственная дочка Патапа Максимыча.

Сидя в бывшей Настиной светлице, молча глядела Манефа, как Фленушка с Устиньей Московкой укладывали пожитки ее в чемоданы. Вдруг распахнулась дверь из сеней, и вошел Патап Максимыч, одетый по домашнему: в широкой рубахе из алого канауса, опоясанной шелковым поясом, вытканым в подарок отцу покойницей Настей. Поглядел он на укладыванье, поглядел на Манефу, почесал слегка голову и молвил сестре:

— Ну, ты, спасена душа, подь-ка ко мне в боковушу...

И медленно вышел вон из светлицы.

Еще того медленней поднялась с места Манефа, не промолвив ни слова, неспешною поступью пошла она вслед за братом.

— Садись и ты... Чего стоять-то?.. Не вырастешь, — сказал вошедшей в боковушу игумень сидевший за столом и раскладывавший по пачкам деньги Патап Максимыч.

Села напротив брата Манефа. Оба ни слова.

— Сколько здесь с тобою старец? — спросил он.

— Уставщица мать Аркадия, да мать... — начала было Манефа.

— Счетом сказывай, — прервал Патап Максимыч.

— Три, — сказала Манефа.

— Белиц?

— Двенадцать, Фленушка тринадцатая.

— Чертова дюжина! — усмехнулся Патап Максимыч, отсчитывая деньги. — Сколько теперь у тебя в обители всего-навсего стариц и сколько белиц?

— Тридцать четыре старицы, без одной пятьдесят белиц, — отвечала Манефа.

— Сколько во всем Комарове вас живет? Огулом сказывай, — спрашивал Патап Максимыч, отсчитывая новую пачку.

— Лицевых ¹ семьсот двадцать пять да двести неписанных, — отвечала Манефа.

— Беглых, попросту сказать. Чтó мало? — усмехнулся Патап Максимыч.

— Всякая с пачпортом, только что в списках не значится. У родных гостят, — молвила матушка Манефа.

— Знаем, как они у вас у родных-то гостят!.. — опять усмехнулся Патап Максимыч и, отложив другую пачку, спросил сестру: — Много ль обителей по другим скитам?

— В Улангере двенадцать, в Оленеве... — начала было Манефа.

— Чохом говори, — прервал ее брат.

— Дай срок смекнуть, — молвила Манефа и, посчитав, сказала: — Пятьдесят обителей.

Патап Максимыч опять стал деньги считать. Оба молчали.

Затем, подвигая к сестре пачку за пачкой, стал говорить:

— Старицам, что здесь с тобой, по синей, белицам по зеленой, эту красну особо Фленушке дай, да без огласки, смотри... В твою обитель по зеленой на старицу, по полутора целковых на белицу. А эта красная на твоих обительских трудников... Вот тебе еще пятьсот целковых в раздачу на Комаровские обители. Слишком по полтине серебра на душу придется, раздавай как знаешь, в кою обитель больше, в кою меньше, тебе лучше знать... Это на комаровских сирот, а это на другие скиты, по десяти целковых на обитель, — продолжал Патап Максимыч. — Куда больше, куда меньше, твое де-

¹ То есть записанных в полицейские списки.

ло... Да смотри, Настасью бы поминать не ленились... Припасов кой-каких завтра тебе с работником пришло... А вот сто рублей на Прасковьины гостины. Ей не говори, что дал... А это тебе, — прибавил Патап Максимыч, придвигая пять сотенных к Манефе.

— Благодарю покорно, — молвила игуменья, встав и низко поклонившись брату. — Дай-ка мне бумажку да перышко, запишу, сколько куда назначил. Не то забуду. После болезни памятью что-то стала я хуже.

Не говоря ни слова, придвинул Чапурин к сестре бумагу, перо и чернильницу, а сам начал мерить горницу крупными шагами. Манефа медленно записывала раздачу.

Кончив запись, подняла она голову и молвила брату:

— Можно с тобой путем потолковать, Патапушка?

— Говори, — отрезал Патап Максимыч и, не взглянув на сестру, продолжал ходить взад и вперед по горнице.

— На саму на Троицу недобрые вести дошли до нас, — начала Манефа. — Пишут Дрябины из Питера: беда грозит.

— Решать думают? — молвил Патап Максимыч.

— Так пишут благодетели, — подтвердила Манефа. — Шлют, слышь, из Питера самых набольших чиновников, станут-де они Оленевски обители переписывать, не строены ль которы после воспрещенья. И которы найдут новыми, те тут же и порешат — запечатают...

— А найдется таких? — спросил Патап Максимыч.

— Как не найтись! — ответила Манефа. — Воспрещенью-то теперь боле тридцати годов, а как пол-Оленева выгорело — и пятнадцати не будет... Новых-то, после пожару ставленных, обителей чуть не половина... Шарпан тоже велено осмотреть, а он тоже весь новый, тоже после пожара строен. Казанску владычицу из Шарпана-то велено, слышь, отобрать... И по всем-де скитам такая же будет переборка, а которы не лицевые, тех, слышь, всех по своим местам, откуда пришли, разошлют...

— Слышал и я про́ то. И мне писали... Дело не ладное... Опять же не грех под это самое время отец-от Михаил с вором Стуколовым подвернулись.

Потупила очи Манефа и торопливо опустила на них креповую наметку.

— Видно, куда ни кинь, везде клин, — продолжал Патап Максимыч, подойдя к окну и зорко приглядываясь к черневшей вдали опушке леса. — Такие строгости, каких не бывало!.. А все сами виноваты. Жили бы смиреннько, никто бы вас не тронул... А то вздумали церковников к себе залучать да беспаспортных, архиерея выдумали, с чужестранными царствами сноситься зачали. Вот и попали в перекрестную, что нидохнуть, ни глгнуть... С одной стороны — вы-то уж больно пространно жить захотели, а с другой — начальство-то, ровно муха его укусила.

— Съездить бы тебе, Патапушка, к губернатору, попросить бы от него милостей... — молвила брату Манефа.

— Ничего тут губернатор не поделает, — ответил Патап Максимыч. — Был у меня с ним насчет вас разговорец. Со всяким бы, говорит, моим удовольствием, да не могу: власти, говорит, такой не имею... Известно, хоть и губернатор, а тоже под начальством живет, и его по головке не погладят, коль не сделает того, что сверху ему приказано.

— Может, потянул бы в нашу пользу, коли бы ты-то хорошенько ему поклонялся, — молвила Манефа.

— Да как же ему в вашу-то пользу тянуть, когда самому за то ответ придется давать? — сказал Патап Максимыч. — Когда можно было — в просьбах мне не отказывал.

— Ох, владычица, царица небесная! — вздохнула игуменья.

— И про то пытал я у губернатора, — продолжал Патап Максимыч, — нельзя ли вам как-нибудь с теми чиновниками повидеться, чтобы, знаешь, видели не видали, слышали не слыхали... И думать, говорит, про то нечего, не такие люди.

— Полно, Патапушка, все одного кустика ветки, всех одним дождичком мочит, одним солнышком греет, — сказала Манефа. — Может, и с ними льзя по-доброму да по-хорошему сладиться. Я бы, кажись, в одной свитке осталась, со всех бы икон ризы сняла, только бы на старом месте дали век свой дожить... Другие матери тоже ничего бы не пожалели!.. Опять же и благодетели нашлись бы, они б не оставили...

— Пустое городишь, — прервал ее Чапурин. — Не исправник в гости собирается, не становой станет кельи

твои осматривать. То вспомни: куда эти питерские чиновники ни приезжали, везде после них часовни и скиты зорили... Иргиз возьми, Лаврентьев монастырь, Стародубские слободы... Тут как ни верти, а дошел, видно, черед и до здешних местов... Что же ты, как распорядилась на всякий случай?

— Да я казначею мать Таифу на другой же день в Москву и в Питер послала, — отвечала Манефа. — Дрябину Никите Васильичу писала с ней, чтобы Громы всеми мерами постарались отвести бурю, поклонялись бы хорошенько высшим властям; Громы ко всем вельможам ведь вхожи, с министрами хлеб-соль водят.

— Ничего тут и Громы не поделают. Не такое время, — молвил Патап Максимыч.

— Ох, уж и Никита-то Васильич твои же речи мне описывает, — горько вздохнула Манефа. — И он пишет, что много старания Громы прилагали, два раза обедами самых набольших генералов кормили, праздник особенный на даче им делали, а ни в чем успеха не получили. Все, говорят, для вас рады сделать, а насчет этого дела и не просите, такой, дескать, строгий о старовегах указ вышел, что теперь никакой министр не посмеет ни самой малой слабы попустить...

— Вот видишь, — молвил Патап Максимыч. — Нэзачем было тебе и Таифу гонять... В Москву-то что с ней наказывала?

— А послала я с ней в Москву главную нашу святыню: пять икон древних, три креста с мощами, десятка четыре книг, которые поредкостней.

— Чем такую даль ехать, ко мне бы могла свезти, и у меня б сохранны были, — сказал Патап Максимыч.

— Думала я про то, Патапушка, думала, родной. Чего бы ближе, как не к тебе, да вот чего, признаться, поустрашилась. Как пойдут, думаю, у нас переборы да обыски, хоть и узнают, что святыня в Москву отправлена, все-таки ее не досягнут — Москва-то велика, а кому отдана святыня, знаем только я да матушка Таифа, да вот тебе еще на смертный случай поведаю: Гусевым. А чтоб к тебе свезти, того поопасилась: люди узнают, совсем ведь скрыть этого невозможно; ну, как, думаю, грехом, питерские-то чиновники от какой-нибудь болтуны про то сведают, так, чего доброго, пожалуй, и к тебе нагрянут с обыском... Сам посуди...

— Что дело, то дело. Распорядки твои хороши, — молвил Патап Максимыч. — А насчет себя как располагаешь, коли разгонят вас?

Манефа не отвечала.

— Хотя мы с тобой век бранимся, а угол тебе у брата всегда готов, — сказал Патап Максимыч. — Бери заднюю, и моленная в твоей, значит, будет власти, поколь особого дома на задах тебе не поставлю. Егозу свою привози, Фленушку-то... Еще кого знаешь, человек с пяток прихвати. Авось сыты будете.

— Много благодарна за твои милости, Патапушка, — ответила Манефа. — Только уж я, не поставь во гнев, на́ этот счет маленько не так распорядилась. В Иргизе и по другим местам, где начальство обители разоряло, всех тамо живших рассылали по тем местам, где по ревизии они приписаны и из тех мест всем им выезд на всю останную жизнь был заказан. Как было там, так, надо полагать, и у нас будет. А ведь и я, и Фленушка, и другие кой-кто из обители к нашему городку приписаны. Ходу, значит, нам из него до́ смерти не будет... Потому и приискала я в городе местечко дворовое и располагаю там строиться... Кожевниковых дом, чать, знаешь, крайний к соляным амбарам, его покупаю, да по соседству еще четыре местечка желательно прикупить: на имя Фленушки одно, на имя матери Таифы другое, третье Виринеюшке, а четвертое матери Аркадии.

— Значит, ты в городе новый скит расплодишь? — усмехнулся Патап Максимыч.

— Ну, уж ты, батька, и скит!.. Чего не скажет! — тоже улыбнувшись, молвила Манефа. — Сиротское дело, Патапушка, по-сиротски и будем жить... А ты уж на-ка поди: скит!

— Ну, заводись, заводись, стройся, — сказал Патап Максимыч. — Дозволят, чай, скитско-то строенье в город свезти?

— По другим местам дозволяли, — ответила Манефа.

— Стало быть, только место купить да плотникам за работу?

— Только, — подтвердила Манефа.

— Что за места-то просят? — спросил Патап Максимыч.

— Да за все-то за пять местов больше тысячи целковых.

— Счетом сказывай.

— Да тысячу двести, — сказала Манефа.

— Получай, — вот тебе тысяча двести, — сказал Патап Максимыч, подвигая к сестре деньги. — За Настю только хорошенько молитесь... то вам от нее, голубушки... Молитесь же!.. Да скорей покупай; места-те, знаю их, хорошие места, земли довольно. А строиться зачнешь — молви. Плотникам я же, ради Настасьи, заплачу... Только старый уговор не забудь: ни единому человеку не смей говорить, что деньги от меня получаешь.

— Помню, родной, помню... — молвила Манефа, пряча деньги в карман.

— Ну, теперь делу шабáш, ступай укладывайся, — сказал Патап Максимыч. — Да смотри у меня за Прасковьей-то в оба, больно-то бáловаться ей не давай. Девка тихоня, спать бы ей только, да на то полагаться нельзя — девичий разум, что храмина непокровенна, со всякой стороны ветру место найдется... Девка молодая, кровь-то играет — от греха, значит, на вершок, потому за ней и гляди... В лесах на богомолье пущай побывает, пущай и в Китеж съездит, только чтоб, опричь стариц, никого с ней не было, из молóдцов то есть.

— Василий Борисыч со старицами в леса да на Китеж располагал съездить, — молвила Манефа.

— Этот ничего... — сказал Патап Максимыч. — Василий Борисыч человек иной стати. Его опасаться нечего. Чтоб московских скосырей да казанских хахалей тут не было — вот про что говорю. Они к тебе больно часто наезжают...

— Благодетели... — молвила Манефа.

— То-то благодетели!.. Чтоб духу их не было, пока Прасковья у тебя гостит, — строго сказал Патап Максимыч.

— Будь спокоен, Патапушка, будь спокоен, ухранию, уберегу, — уверяла его Манефа. — Да вот еще что хотела я у тебя спросить... Не прими только за обиду слово мое, а по моему рассуждению, грех бы тебе от господней-то церкви людей отбивать.

— Это кого? — спросил Патап Максимыч.

— Да хоть бы того же Василья Борисыча. Служит он всему нашему обществу со многим усердием; где какое дело случится, все он да он, всегда его да его куда надо посылают. Сама матушка Пульхерия пишет,

что нет у них другого человека ни из старых, ни из молодых... А ты его сманиваешь... Грех чинить обиду Христовой церкви, Патапушка!.. Знаешь ли, к кому церковный-то насильник причитается?..

— К кому? — слегка улынувшись, спросил Патап Максимыч.

— А вот к кому — слушай, — молвила Манефа и медленно, немного нараспев прочитала: — «Аще кто хитростию преобидети восхощет церкви божии: аще грады, или села, или лугове, или озера, или торжища, или одрины, или люди, купленные в дома церковные, или виноград, или садове, и вся какова суть от церковных притяжений...»

Манефа приостановилась.

— Что стала? Дочитывай, — молвил Патап Максимыч. Не впервой доходилось ему слушать читаемые сестрой статьи из устава или Стоглава.

— «...первое: еже святые Троицы милости, егда предстанем страшному судилищу, да не узрит, — продолжала Манефа, смотря в упор на Патапа Максимыча, — второе же: да отпадет таковой христианския части, яко же Иуда от дванадесятого числа апостол; к сему же и клятву да примет святых и богоносных отец».

— Значит, по-твоему, Василий-от Борисыч — купленный раб? — с усмешкой молвил Патап Максимыч. — Кто ж его покупал?

— У тебя, Патапушка, все смехи да шутики. Без издевок ты ни на час... Ты ему дело, а он шутики да баламутки, — сказала Манефа.

— А ты, спасёна душа, не отлынивай, держи ответ на то, про что спрашивают. Это ведь ты из Стоглава мне вычитала, знаем и мы тоже маненько книжно-то писанье... Там про купленных людей говорится... Сказывай же про ряду: кто купил Василья Борисыча, у кого и какая цена за него была дадена? — продолжал шутить Патап Максимыч.

— В Стоглаве не про одних купленных в церковны дома людей говорится... Тамо сказано: «...и вся какова суть от церковных притяжений», — сдержанно, но с досадой молвила Манефа.

— Притяжение-то что означает? — спросил Патап Максимыч. — То же, что стяжание, имущество, значит... Так разве он не человек, по-твоему, а имущест-

во, вот как этот стол, аль эта рубаха, аль кони да коровы, не то деньги?.. Крещеный человек может разве притяжением быть?.. Не дело толкуешь, спáсенница.

— С тобой, батька, не сговоришь. У тебя уж нрав такой, — молвила Манефа. — А что, отбивая Василья Борисыча от церкви, чинишь ей обиду — в том сумленья не имей. Дашь ответ пред Господом!.. Увидишь!..

— Ладно, хорошо. Это уж мое дело, — сказал Патап Максимыч. — Авось отмолимся, вас же найму грехи-то замаливать.

— Суеслов! — недовольным голосом сказала Манефа, вставая со стула. — Я уж пойду, надо собираться, ехать пора. Благодарим покорно, — примолвила она, низко поклонясь брату, и с этим словом тихо вышла из боковуши.

Оставшись один, долго взад и вперед ходил Патап Максимыч. «Ишь какое слово молвила, — думал он. — Церковное притяжание!.. Чего только эти келейницы не вздумают!.. Человека к скоту аль к вещи какой бездушной применила!.. А губа не дура — понимает, каков он есть человек... Дорожит... Жаль отпустить... На Москве-то как взбесятся!.. То-то прочитают мне!.. И в самом деле, пожалуй, к церковным татам причтут!.. Да ну их совсем!.. Не детей крестить... Что мне Москва?.. Плевать!.. А с Васильем таких делов наделаем, что всем за удивленье станет!.. На Горах новы промыслы разведем, божьему народу хлеб-соль дадим!.. Дóвеку не забудут Патапа Чапурина!.. Какие же бы промысла-то завести?.. Приглядеться надо, говорит, что будет сподручнее... Ну, да это его дело... Выдумывай!.. А умен, пес на него лай!.. Вот сынок-от будет так уж сынок!.. Не Алешке чета... А что-то он, сердечный?..»

Жар свалил. По вечерней прохладе двинулись келейные гости из Осиповки. В восьми повозках ехали. В каждой по две, в иной и по три келейницы сидело: всех впереди мать Манефа с Васильем Борисычем, за ними Параша с Фленушкой, потом Марьюшка головщица с уставщицей Аркадией, потом другие матери и белицы, сзади всех мать Лариса с Устиньей. Неразговорчива была с девицами и к тому же сонлива мать Лариса, а Устинья молчала со злости и досады на то, что едет в скит Прасковья Патаповна, что поедет она

на богомолье с Васильем Борисычем и что мать Манефа, пожалуй, с ними ее не отпустит.

Зато в двух передних повозках разговоры велись несмолкаемые. Фленушка всю дорогу тараторила, и все больше про Василья Борисыча. Любила поспать Прасковья Патаповна, но теперь всю дорогу глаз не свела — любви показались ей Фленушкины разговоры. И много житейского тут узнала она, много такого, чего прежде и во сне ей не грезилось.

Мать Манефа всю дорогу с Васильем Борисычем пробеседовала. Говорили больше про намеренья Патапа Максимыча взять его к себе в приказчики.

— Что ж, Василий Борисыч? Неужели и в самом деле покинешь ты дело божие? — спрашивала его Манефа.

— И сам еще не знаю, матушка, — ответил Василий Борисыч. — Силом вырвал он из меня слово... Допрежь того никогда и в ум мне не прихаживало, чтоб торговым делом займаться... Так пристал, так пристал, что сам не знаю, как согласие дал... Ровно в тумане в ту пору я был.

— Он хоть кого отуманит. Его на то взять, — молвила Манефа. — Любого заговорит, и не хочешь, согласие дашь. Такой уж человек, Господь с ним... Какие ж твои мысли насчет этого, Василий Борисыч? — поправляясь на пуховике, сказала Манефа.

— Не могу еще теперь ничего сказать, — ответил Василий Борисыч. — Шесть недель — время... Успею обдумать.

— Конечно, шесть недель достаточно, — сказала Манефа. — А по теперешним-то твоим мыслям куда больше склоняешься?

— Не знаю, как вам доложить, матушка, — уклончиво отозвался Василий Борисыч. — И Патапа-то Максимыча оскорбить не желательно, потому что человек он добрый, хоть и востёр на язык бывает, да и московских не хочется в досаду ввести — Петра Спиридоныча, Гусевых, Мартыновых... А уж от матушки Пульхрии что достанется, так и вздумать нельзя!..

— Ты людей поминаешь, о Боге-то хоть маленько подумай, — сказала Манефа. — Перед Богом-то право ли поступишь, ежели церковны дела покинешь?.. Вот о чем вспомяни: о душевном своем спасении, а Гусевы да Мартыновы что?.. Сила не в них.

— Очень уж вы меня возвышаете, матушка, паче меры о моих кой-каких церковных послугах заключаете, — после недолгого молчания ответил Василий Борисыч. — На эти дела много людей смышленей да поумней меня найдется.

— Этого не говори. Нам виднее, — сказала Манефа. — За смиренные речи хвалю, а все-таки помяну, что уничижение бывает паче гордости.

— Ох, искушение! — воскликнул Василий Борисыч.

— Вот хоть теперешнюю твою порученность взять. Наперед говорить не стану — принимать нового владыку аль не принимать — в Петров день на собрание соборный ответ дадим тебе... А теперь вот о чем хочу я спросить у тебя, Василий Борисыч, назови ты мне хоть единого человека, который бы лучше тебя мог это дело устроить? Кто лучше тебя может церковный мир водворить, смятения, несогласия утишить, всякого на истинный путь направить? Наперечет знаю всех рогожских уставщиков и других книжных людей тоже знаю. По именам называть не стану, осуждать не годится, а прямо тебе скажу, что вряд ли можно кому такое дело препоручить. Иной книжен и начитан, да слабостью одержим — испивает. Другой разумен и дело церковное, пожалуй, не хуже твоего сумеет обделать, да утроба несытая, за хорошие деньги не токмо церковь, самого Христа продаст... У иного ветер в голове, — ради женской красоты и себя и дело забудет... А иной правом не годится: либо высокоумен и спесив не в меру, либо крут и на язык невозддержан... Правду аль нет говорю, Василий Борисыч?

— Ох, искушение! — молвил он. — Не смущайте вы меня, матушка... Неужто и в самом деле свет клином сошелся, неужто во всех наших обществах только и есть один я пригодный человек? Найдется, матушка, много лучше меня.

— Да где они, где? — с жаром возразила Манефа. — Укажи, назови хоть одного. Нынче, друг мой Василий Борисыч, ревностных-то по бозе людей мало — шатость по народу пошла... Не Богу, мамоне всяк больше служит, не о душе, о кармане больше радеют... Воистину, как древле Израиль в Синайской пустыне — «Сотвориша тельца из злата литого и рекоша: сей есть Бог».

Не отвечал Василий Борисыч на Манефины речи. А она, помолчав, продолжала:

— И что ты станешь делать у Патапа? Промысла́ на Горах, говорит он, хочу разводить... А какие промысла́ — сам не знает. Нравом-то он у нас больно упрям, заберет что в голову, дубиной не вышибешь. И что ему больше перечить, то хуже. Вот так и теперь... Вздумал что-то несодеянное да, не обсудивши дела, ну людей смущать, от божьего дела их отвлекать... Я, Василий Борисыч, от мира хоша и отреклась, но близких по плоти, грешница, не забываю. Потому, о пользах брата радеючи, всякого успеха ему желаю и завсегда о том Бога молю... А ежели он ради житейских стяжаний вздумал теперь нужных церкви людей к себе переманивать, тут я ему не спешница и не молитвенница... Потому и советую тебе и Богом тебя прошу: не прельщайся ты его словами, не ломай совести — будь верен делу, тебе данному, не променяй церкви божией на Патапа... О душе подумай, Василий Борисыч, о вечном спасении.

— Все это, матушка, я очень хорошо и сам могу понимать, — сказал Василий Борисыч. — Чего лучше того, как Господу служить? Но ведь я, матушка, высоко о себе не полагаю и никак не могу вменить в правду ваших обо мне слов, будто я церкви уж так надобен, что без меня и обойтись нельзя... Это вы только по своей доброте говорите... А Патапа Максимыча оскорбить мне тоже нежелательно, хоть и он обо мне тоже уж больно высоко задумал, чего я и не стою... А по душе признаться, откровенно вам доложить, матушка, и боязно мне огорчать-то его... Не оставит он втуне, если поперек его воли пойдешь, а я человек маленький, к тому же несмелый, меня обидеть не то что Патап Максимыч, всякий может.

— Нечего тебе бояться, — возразила Манефа. — Сегодня здесь, завтра уехал. Где он тебя возьмет?

— Э, матушка! — молвил Василий Борисыч. — У Патапа Максимыча рука долга, на дне моря достанет.

— Да ведь ты не беззаступен! — сказала Манефа. — Гусевы, Мартыновы, Досужевы в обиду не дадут.

— Не дадут! — горько улыбнувшись, молвил Василий Борисыч. — Мало вы знаете их, матушка, московских-то наших тузов!.. Как мы с Жигаревым из Белой-то Криницы приехали, что они тогда?.. Какую заступу оказали?.. Век того не забуду...

— А что такое? — спросила Манефа.

— Да вот что, — начал свой рассказ Василий Борисыч. — В самое то время, как мы ездили за границу, проживал в Москве Белокриницкого монастыря настоятель — отец архимандрит Геронтий. За сбором в Россию был послан, деньги на построенье соборного храма, утварь всякую церковную, облачения, иконы древние собирал от христолюбцев для митрополии... Проведали о нем, и велено было взять его, как только из Москвы со всем своим сбором выедет... А мы едем себе обратно, ничего не ведаем и совершенно спокойны... В Туле узнали, что Геронтий под караулом, а по Москве строгие розыски идут насчет переписки с митрополией... Слышим, старообрядцы все в тревоге... Мы, конечно, испугались, думали не ехать в Москву, а наперед написать да спроситься, что делать... Послали письмо, ответу не дождались, а на словах посланный от тех, что нас посылали, сказал: «Делайте, что хотите, — мы вас никуда не посылали, знать вас не знаем, ведать не ведаем». Вот оно каково, матушка!.. Подумали мы, подумали — что делать, что предпринять?.. И положились во всем на божью волю: что будет, то и будь, — поехали. А подъезжая, в сторону взяли на Кожухово и, не заехавши в Москву, прямо на Рогожское. Сдали миро и другую святыню, что привезли, да в город. К тому придем, к другому, кто нас посылал-то, а они сторонятся, ровно чумы мы с собой завезли. «Нашли, говорят, время, когда воротиться! До вас ли теперь. Не смейте, говорят, и к домам нашим близко подходить, мы вас никогда не знали и никуда не посылали!» Так вот они каковы, заступники-то!.. Вот какова надежда на них, матушка!..

Негодование разлилось по лицу Манефы. Молчала она. Нечего было сказать на слова Василья Борисыча. Он продолжал:

— Когда мирно да тихо, тогда от правительства ослаба — высоко тогда они мостятся, рукой не достать, глазом не вскинуть: «Мы-ста да мы-ста!.. Мы общество!.. Первостатейные!..» А чуть понахмурилось — совсем иные станут: подберут брызжи, подожмут хвосты и глядят, что волк на псарне... И тогда у них только о самих себе забота — их бы только чем не тронули, о другом и заботы нет; все тони, все гори, — пальцем не двинут... Эх, матушка, мало вы их знаете!.. Петр апостол трижды от Христа отрекся, а наши-то столпы, на-

ши-то адаманты благочестия раз по тридцати на дню от веры во время невзгод отрекаются... Да и не токмо во время невзгод, завсегда то же делают... Знакомство с господами имеют, жизнь проводят по-ихнему. Спросят Господа: «Зачем-де вы, люди разумные, в старой своей вере пребываете?» Отречься нельзя; всяк знает, чего держаться, что ж они делают?.. Смеются над древним-то благочестием, глупостью да бабьими враками его обзывают. «Мы-де потому старой веры держимся, что это нашим торговым делам полезно...» А другой и то молвит: «Давно бы-де оставил я эти глупости, да нельзя, покамест старики живы — дяди там какие али тетки. Наследства-де могут лишить...» Вот как они поговаривают... А ведь это, матушка, стоицею хуже, чем Петровски Христа отречься страха ради иудейска...

— Неужто вправду ты говоришь, Василий Борисыч? — взволнованным голосом спросила Манефа.

— Как перед Богом, матушка, — ответил он. — Что мне? Из-за чего мне клепать на них?.. Мне бы хвалить да защищать их надо; так и делаю везде, а с вами, матушка, я по всей откровенности — душа моя перед вами, как перед Богом, раскрыта. Потому вижу я в вас великую по вере ревность и многие добродетели... Мало теперь, матушка, людей, с кем бы и потужить-то было об этом, с кем бы и поскорбеть о падении благочестия... Вы уж простите меня Христа ради, что я разговорами своими, кажись, вас припечалил.

— О Господи долготерпеливый и многомилостивый! — вздохнула Манефа.

— Вы думаете, матушка, что, устроая церковные эти дела, вот хоть насчет архиерейства, что ли, или насчет другого чего, из ревности по вере они так поступают? — продолжал Василий Борисыч. — Нисколько, матушка, о том они и не думают... Большие деньги изводят, много на себя хлопот принимают из одного только славолубия, из-за одной суетной и тщетной славы. Чтобы, значит, перед людьми повиситься... Не вера им дорога, а хвала и почести. Из-за них только и ревнуют... Ваше же слово молвлю: мамоне служат, златому тельцу поклоняются... Про них и в Писании сказано: «Бог их — чрево».

Скорбные думы о падении благочестия в тех людях, которых жившая в лесах Манефа считала незыб-

лемыми столпами старой веры и крепкими адамантами, до глубины всколебали ее душу... Не говорила она больше ничего Василию Борисычу насчет поступленья его в приказчики к Патапу Максимычу. Ни отговаривала, ни уговаривала. Замолчала она; не заговаривал и Василий Борисыч... Молча доехали в самую полночь до Комарова.

«И что это, что это с нами будет? — думала Манефа, выйдя из повозки и взглянув на черневшую в ночном сумраке часовню. — Извне беды, бури и напасти; внутри нестроение, раздоры и крайнее падение веры!.. О Господи!.. Ты единая надежда в печалях и озлоблениях... устрой вся во славу имени своего, устрой, Господи, не человеческим мудрованием, но ими же веси путями».

Потом, прощаясь с Васильем Борисычем у входа в свою келью, тихонько шепнула ему:

— Ты, Василий Борисыч, никому не говори, про что мы с тобой беседовали... Зачем смущать?

— Вполне понимаю, матушка, — отвечал он также шепотом. — Как можно?.. Слава Богу, не маленький.

— То-то, смотри поостерегись, — молвила Манефа и, пожелав гостю спокойного сна, низко ему поклонилась и отправилась в келью...

Было уж поздно, не пожелала игуменья говорить ни с кем из встретивших ее стариц. Всех отослала до утра. Хотела ей что-то сказать мать Виринея, но Манефа махнула рукой, примолвив: «После, после». И Виринея покорно пошла в келарню.

Глава двенадцатая

Когда Марья Гавриловна воротилась с Настиних похорон, Таня узнать не могла «своей сударыни». Такая стала она мрачная, такая молчаливая.

Передрогло сердце у Тани. «Что за печаль, — она думает, — откуда горе взялось?.. Не по Насте же сокрушаться да тоской убиваться... Иное что запало ей на душу».

Две недели прошло... Грустная, ко всему безучастная Марья Гавриловна вдруг оживилась, захопотала, и что ни день, то делалась суетливее. За то дело хватит, за другое примется, — ни того, ни другого не

доделает. То битый час сидит у окна и молча глядит на дорогу, то из угла в угол метаться начнет, либо без всякой видимой причины порывистыми рыданиями зарыдает. Путного слова не может Таня добиться — попусту гоняет ее Марья Гавриловна туда и сюда, приказывает с нетерпением, отсылает с досадой... Спросит о чем ее Таня — промолчит, ровно не слыхала, либо даст ответ невпопад. По ночам вздыхает, тоскует, станет поутру Таня постель оправлять, думка¹ хоть выжми — мокрехонька вся. И каждый день хуже да хуже — тает Марья Гавриловна, ровно свеча на огне.

«Лихие люди изурóчили², — думает Таня, не зная, чем иным растолковать необычные поступки и странные речи Марьи Гавриловны. — Либо притку³ по ветру на нее пустили, либо след ее из земли вынули». Как тому горю пособить, кому сурочить⁴ с «сударыни» злую бóлесть, лиходеями напущенную?

Слыхала Таня, что по соседству с Каменным Вражком в деревне Елфимове живет знахарка — тетка Егориха и что пользуется она от урóчных⁵ скорбей, от призора очес⁶ и от всяких иных, злою ворожкой напускаемых на людей, недугов. Заговор ли отчинить, порчу ли снять, кумоху⁷ ль отогнать, при резах, порубах кровь остановить, другое ль знахарство какое понадобится — все деревенские тетке Егорихе кúчатся и за-всегда от нее пользу видят... Но в честных обителях скита Комаровского знахарку не жаловали. Матери келейницы распускали про Егориху славу нехорошую — она-де с нечистой силой знается, решилась-де креста и молитвы и душу свою самому сатане предала. От кобей и волхваний Егорихи честные старицы святыми молитвами скит ограждали, а белицам строго-настро́го наказывали не то, что говорить с нею, не глядеть даже на кудесницу, угрожая за ослушание по-

¹ Думка — маленькая подушка, подкладываемая под щеку.

² Изурочить — колдовством навести на человека болезнь, испортить.

³ Притка — посредством порчи напущенная болезнь с обмороками, беспричинными рыданиями и истерическими припадками.

⁴ Сурочить — знахарскими заговорами снять напущенную на человека болезнь.

⁵ Урок — порча.

⁶ Призор очес, сглаз — порча, происходящая от взгляда недобрым глазом.

⁷ Кумоха — лихорадка.

мстою¹ от Господа... При каждом упоминании имени знахарки, крестясь и на левую сторону отплевываясь, старицы одна речистей другой чудные дела про нее рассказывали... Говорили, что водится Егориха и с лесною, и с водяною, и с полевою нечистью, знаетса со всею силой преисподнею, черным вороном летает под облаки, щукой-рыбою в водах плавает, серой волчицей по полям рыскает... От нее, еретицы, улетают птицы в высь поднебесную, от нее уходит рыба в яры-омуты, от нее звери бегут в трущобы непроходные... Раз, сидя в келарне на посидках у матери Виринеи, уставщица Аркадия при Тане рассказывала, что сама она своими глазами видела, как к Егорихе летун² прилетал... «Осенью было дело, — говорила она, — только что кочет³ полночь опеи³, засидевшись у Глафириных, шла я до своей обители и в небе летуна заприметила... Красён, что каленый уголь, не меньше доброго гуся величиной; тихо колыхаясь, плыл он по воздушям и над самой трубой Егорихиной кельи рассыпался кровавыми мелкими искрами...» Кривая мать Измарагда, из обители Глафириных, однажды зашедшая со своими белицами к Манефиным на беседу, с клятвой уверяла, что раз подстерегла Егориху, как она в горшке ненастье стряпала... «Сидя на берегу речки у самого мельничного омута, — рассказывала Измарагда, — колдунья в воду пустые горшки грузила; оттого сряду пять недель дожди лили неуёмные, сиверки дули холодные и в тот год весь хлеб пропал — не воротили на семена...» А еще однажды при Тане же приходила в келарню из обители Рассохиных вечно растрепанная, вечно дрожащая, с камилавкой на боку, мать Меропея... Та клялась всеми угодниками, что видела, как ранним утром в день Благовещенья черти Егориху, ровно шубу в Петровки, проветривали: подняли ведьму на воздуси и долгое время держали вниз головою, срам даже смотреть было. Хоть мать Меропея паче меры любила слезу иерусалимскую⁴, однако и черницы и белицы пове-

¹ Пóмста — наказание, мщение.

² Летучий воздушный дух, огненный змей.

³ Кочет — петух. Первые кочета «полночь опевают», вторые (перед зарей) «чертей разгоняют», третьи (на заре) «солнышко на небо зовут».

⁴ В скитах и вообще в Керженских и Чернораменских лесах иерусалимской слезой в шутку называют водку.

рили ее рассказням... И мало ль чего не судачили по скитам про елфимовскую знахарку... И молоко-то она из чужих коров выдаивает, и спорынью-то из хлеба выкатывает, и грозы-то и бури нагоняет, и град-от и м^олость¹ напускает, и на людей-то порчу посылает... «Правда, иной раз и снимает она болести, — прибавляли матери, — но тут же на иных людей переводит... А на кого озлится, оборотит того в зверя либо в птицу какую... Егориха молода овдовела и в прежние годы с пареньком любила. Жил он у язвицких ямщиков в работниках, а сам был дальний, с Гор, из-за Кудьмы. Подарила ему Егориха конька да кобылку, и стал паренек от себя хозяйствовать, на своих лошадушках три года с тремя месяцами... Что же вышло? Ездил парень на родном батюшке да на родной матушке...». Озлбилась за что-то Егориха на родителей своего полюбовника да в лошадей их на три года с тремя месяцами и оборотила... «Что стоит такой ведьме над человеком пагубу стрясти, — толковали келейницы, — коли месяц с неба красть умеет, а солнышко круторогим месяцем ставить».

Не то про Егориху по селам и деревням говорили. Там добрая слава ходила про нее, там ее любили и честили великим почетом. Ото всяких болезней она пользовала травами и кореньями, снимала порчу заговорами и все с крестом да молитвою. Опять же за то любили ее, что была она некорыстная — за лечбу ли, за другое ли что подарят ее, возьмет с благодарностью, а сама ни за что на свете не попросит. Знали про нее и то, что много тайной милостыни раздает она, много творит добра потаенного... Слушая, что толкуют скитские матери про добрую знахарку, не в шутку по деревням на них сердитовали. «Поглядели б они, пустобайки чернохвостые, — говорили мужики деревенские, — поглядели б, как наши ребятишки любят Егориху, а в младенце душа ангельская, к бесовской нечисти разве можно ей лнуть?»

Родом будучи дальняя, живучи безысходно в обители, не слыхала Таня, какие речи в миру ведутся про Егориху, а страшных рассказов от обительских стариц вдоволь наслушалась. Келья елфимовской знахарки

¹ Молостью за Волгой зовут ненастье, слякоть, мокрую и ветреную погоду.

представлялась ей бесовским вертепом, исполненным всяких страхов и злых чарований, а сама знахарка горбатою, безобразною старухой с кошачьими глазами, свиными клыками и совиным носом. То думалось Тане — сидит Егориха на змеиной коже, варит в кипящем котле разных гадов, машет над ними чародейной ширинкой и кличет на помощь бесов преисподней... То представлялось ей, как Егориха верхом на помеле быстрей стрелы несется по воздуху, как в глухую полночь копает на кладбище могилы, а оттуда в лес бежит и там, ровно кур да гусей, — змей подкожных на кормежку скликает... Каких страхов про знахарку на обительских беседах Таня не наслушалась!.. Каких чудес не насажали ей болтливые келейницы!..

Думает Таня: «Кроме тетки Егорихи, таких людей, кто б умел притку сурочить, поблизости нет... Как же быть?.. Молвить Марье Гавриловне, позвала бы к себе знахарку?.. Не захочет с ведьмой хороводиться¹. Да и то взять — приведешь ее сюда, после, пожалуй, с нечистью не развяжешься... Ну, как приманишь к себе бесовскую силу?.. Ну, как летун прилетит да рассыплется по нашим горницам огненными искрами?.. Ну, как по ночам вокруг домика демоны зачнут на сходку собираться да треклятые свои мечтания² заведут: гóлки и клики, бесстыдные скаканья, неистовые свисты, и топоты ножные, и вой, и гудение, и мерзкое в долони плескание?.. Оборони, Господи, и помилуй от такой напасти!.. Читают же каноницы за трапезой, что самим угодникам Божиим такие напасти от нечисти бывали, как же нам-то, грешным, от нее устоять?.. Опять же тетке Егорихе в обитель и ходу нет: увидят матери, кочергами да ухватами из скита ее вытурят... Разве самой тихими стопами, по тайности, сходить в Елфимово да попросить тетку Егориху порчу заглазно снять, да страшно и подумать к ней в келью войти... И подступить близко к ведьмину жилью страшно — неравно наступишь на какую-нибудь нашептанную щепку, либо перешагнешь через заговоренную ямку, не то сухой листочек либо соломинку ветром свесет

¹ Хороводиться — знаться, водиться с кем.

² Мечтание, мечта — в народном языке употребляется лишь в смысле привидения, призрака, обмана чувств сверхъестественною силою.

с колдуньиной кровли — как раз злая притка накатит на тебя».

От одной мысли идти к Егорихе Тане всю спину мурашками осыпало.

А Марье Гавриловне с каждым днем хуже да хуже. От еды, от питья ее отвадило, от сна отбило, а думка каждую ночь мокрехонька... Беззаветная, горячая любовь к своей «сударыне» не дает Тане покою ни днем, ни ночью. «Перемогу страхи-ужасы, — подумала она, — на себя грех сойму, на свою голову сворочу силу демонскую, а не дам хилеть да болеть моей милой сударыне. Пойду в Елфимово — что будет, то и будь».

Раз до вторых кочетов не спала Марья Гавриловна, ночь ноченскую провздыхала да проплакала... До зари не смыкала глаз Таня, сидя на корточках у двери спальной горницы и прислушиваясь ко вздохам и рыданиям дорогой своей «сударыни». Растопилось сердце преданной девушки жалостью, и только что забылась дремотой Марья Гавриловна, поспешно надела она на босу ногу выступки¹, вздела на плечи стеганный капотец, повязала голову шерстяной косыночкой и, не переводя духа, бегом побежала в Елфимово.

Манефина обитель на краю Комарова стоит, до Елфимова от нее версты не будет. Скорехонько долетела резвоногая Таня, благо обитель спала еще и никто ее не приметил. Все обошлось ладно, да вот какая беда приключилась: Елфимово деревушка хоть и маленькая, двенадцать дворов в ней не наберется, да не вестно было Тане доподлинно, в каком дворе искать знахарку, под коим окном стукнуться к тетке Егорихе... А на улице ни души — рань глубокая, еще не звали кочетов, на небо солнышка, не чирикали воробьи подзастрешные², не мычали под навесами коровушки, а псы сторожковые, за ночь досыта налаявшись, свернулись в клубки и спали на заре под крыльцами... Кого спросить, кому покучиться?... «Экая я глупая, экая неразумная, — бранит себя Таня, в раздумье стоя на елфимовской улице, — не спознала наперед, в каком доме искать ее!..»

¹ Выступки — род женских башмаков с высокими передами и круглыми носками.

² Застреха — желоб под скатом крыши, в который упираются нижние концы теса или драни. На застрехах по деревням обыкновенно воробьи живут, отчего и называются *подзастрешными*.

Тут завидела Таня, что идет к ней навстречу с другого конца деревни высокая, статная женщина, далеко еще не старая в темно-синем крашенинном сарафане с оловянными пуговками, в ситцевых рукавах, с пестрым бумажным платом на голове и с лычным пестером¹ за плечами. Бодрым ходом подвигается она к Тане. Поравнявшись, окинула девушку пытливым, но добрым и ласковым взором и с приветной улыбкой ей молвила:

— Путь тебе чистый, красавица!

Таня поклонилась, но ни слова не ответила на привет незнакомой женщины.

— Отколь будешь, девица? — спросила ее та женщина.

— Из Комарова, тетушка, — робко ответила Таня, доверчиво глядя в добрые голубые глаза приветливой незнакомки.

— Что раненько таково?.. Куда идешь-пробираешься? Дело пытаешь аль от дела лытаешь? — спросила она.

— По своему делу, — ответила Таня.

— Девица, вижу, ты хорошая, — молвила та женщина, глядя с любовью на Таню. — Не тебе б по зарям ходить, молоды ребята здесь бессовестные, старые люди обидливые — как раз того наплетут на девичью голову, что после не открестишься, не отмолишься.

— Знахарка у вас на деревне живет, — стыдливо краснея, молвила Таня. — Я было к ней...

— К тетке Егорихе? — улыбнулась встречная женщина.

— Да... — молвила Таня, опуская очи наземь.

— Какое ж дело твое, девонька?.. Ведь я сама и есть знахарка Егориха.

Слова не может вымолвить Таня... Так вот она!.. Какая ж она добрая, приветная да пригожая!.. Доверчиво смотрит Таня в ее правдой и любовью горевшие очи, и любо ей слышать мягкий, нежный, задушевный голос знахарки... Ровно обаяньем каким с первых же слов Егорихи возникло в душе Тани безотчетное к ней доверие, беспричинная любовь и ничем необоримое влечение.

— Какое ж у тебя до меня дело, красавица? — спросила тетка Егориха.

¹ Пестер, иначе пещур — заплочная котомка из лыка, иногда прутьев.

— Не мое дело, — ответила Таня, — а моей «сударыни». Благодетельница моя, мать родная, может слыхала ты про купчиху Масляникову, про Марью Гавриловну, что живет в Манефиной обители?..

— Слыхала, девонька, слыхала, — молвила знахарка. — Много доброго про нее слыхала я. Кроткая, скаывают, сердобольная, много горя на долю ее выпало, а сердце у ней не загрузело... И честно хранит вдовью участь... Все знаю, лебедушка... Николи не видывала в глаза твоей Марьи Гавриловны, а знаю, что вдовица она добрая, хорошая.

— Ангел божий — вот она какова, тетушка, — с глубоким чувством любви порывисто молвила Таня.

— И ты, по всему вижу, девушка добрая, хорошая, — сказала знахарка. — Хороших людей только хорошие любят.

— Больнехонька она, тетушка, напущено на нее... — начала было Таня.

— Погоди, погоди маленько, красавица, — все по ряду расскажешь, — сказала Егориха, взглянув на разгоравшуюся в небе зарю. — Видишь, солнышко близится, скоро народ подыматься учнет — нехорошо, как тебя на деревне увидят, парни у нас бедовые... Не ровён случай — со стороны кто увидит тебя — нехорошая слава пойдет... Дойдут напрасные речи до Марьи Гавриловны, она оскорбится на тебя... Пойдем-ка мы с тобой на всполье, да там походя, спустимся в Каменный Вражек... Сегодня на Тихов день¹ тиха, добра Мать Сыра Земля... И солнышко сегодня тихо течет по небу... И певчие пташки с нынешнего дня затихают... Свет тихий святых славы господней сегодня сияет!.. От него все травы полным соком наливаются и вплоть до Иванова дня в целебном соку стоят... Нельзя упустить сегодняшней росы утренней. На Тиховой росе — надо травы рвать, корни копать, цветы собирать... Пойдем... Ходючи со мной, порасскажешь про болезнь Марьи Гавриловны.

Сердце замерло у Тани, страсть напала на нее... «Зелья собирать, коренья копать!.. Колдунье помогать!» — шевельнулось у ней на уме, но Егориха ровно прочла что у нее по мыслям прошло.

— Именем Христовым да именем Пресвятой Бого-

¹ Июня 16-го св. Тихона.

родицы те травы собираются... — сказала она. — Сорви травку без имени божьего — не будет от нее пользы человеку... Ты не верь тому, красавица, что келейницы про Господне создание рассказывают... По-ихнему — и табак трава, не Богом сотворенная, а дьяволом, и дорогой травой¹ лечиться не следует потому-де, что, когда Господь по земле ходил, все травы перед ним преклонились, не поклонилась одна дорогая трава... И гулёна², по-ихнему, содомское яблоко, и чай от Бога отчаивает, и кофий строит ков на Христа... Много пустого плетут ваши старицы...

Таня молчала, с удивлением слушая речи знахарки.

— Над старыми книгами век свой корпят, — продолжала та, — а не знают, ни что творят, ни что говорят... Верь мне, красавица, нет на сырой земле ни единой былиночки, которая бы на пользу человеку не была создана. Во всякой травке, во всяком цветочке великая милость Господня положена... Исполнена земля дивности его, а любви к человеку у него, света, меры нет... Мы ль не грешим, мы ли злобой да кривдой не живем?.. А он, милосердный, все терпит, все любовью своей покрывает...

Отлегло у Тани от сердца. С простодушной доверчивостью спросила она:

— Так взаправду ты, тетенька, с крестом да с молитвой свое дело творишь?

— А то как же? — ответила знахарка. — Без креста, без молитвы ступить нельзя!.. Когда травы собираешь, корни копаешь — от Господа дары принимаешь... Он сам тут невидимо перед тобой стоит и ангелам велит помогать тебе... Велика тайна в том деле, красавица!.. Тут не суетное и ложное — доброе, полезное творится, — Богу во славу, божьему народу во здравие, от лютых скорбей во спасение.

— А как же я боялась тебя, тетушка!.. — промолвила Таня.

— Еще б не бояться!.. В скиту живешь, — улыбнулась Егориха. — Поди, там про меня и не знай чего в уши тебе ни напели. С бесами-де водится, с демонами... Так, что ли?

¹ Smillax sarsaparilla.

² Картофель.

— Что говорить, тетенька!.. Всякого было наказы-
но, — ответила Таня, оправляя на голове косынку.

— Бог с ними! — незлобно и тихо промолвила знахарка. — А ты вот что знай, вот что ведай, красавица: есть тайны добрые, есть тайные темные. Добрые от Бога, темные от врага идут. Тайную божью силу ничто отменить не может, а темную силу вражью господней силой побороть можно... Есть знахари, что темной силой орудуют, и то человеку на вред и гибель... А кого умудрил Господь свою тайную силу познать иль хоть самую ма́лицу силы той, — тому человеку легко отделать¹ вред лихим знахарством напущенный... Темная сила от имени божия трепещет, от силы его, как дым, исчезает... И кого умудрит Господь уразуметь тайную силу его, тот видит ее и в зорях алых, и в радуге семицветной, и в красном солнышке, и в ясном месяце, и в каждом деревце, в каждой травке, в каждом камешке... Везде, во всем разлита тайная божья сила...

— И тебя умудрил Господь? — умильно спросила Таня, с любовью глядя в светлые очи знахарки.

— Умудрил, красавица, хоть на малость самую, а умудрил, — с благоговеньем ответила Егориха. — И за тот великий дар денно и ночью благодарю я Создателя... Все-таки иной раз доведется хворому, недужному пользу принести, все-таки иной за тебя Богу помолит-ся... Однако прибавим шагу, туманы вздымаются, роса умывает лицо Матери Сырой Земли... Гляди, какие полотенца по́ небу несутся. Утираться ими Матери Сырой Земле... Видишь? — прибавила она, указывая на утренние перистые облака, что розовыми полосами с золотистыми краями подернули небесную глубь.

— Рассказывай теперь про Марью Гавриловну... Что такое приключилось с ней? — молвила Егориха, когда подошли они к Каменному Вражку.

Таня рассказала, как умела. Внимательно слушала ее знахарка и, когда девушка кончила, так заговорила:

— На самое бы надо взглянуть, да ходу мне в вашу обитель нет... Ну — не беда: дам я тебе корешков да травок, зашей ты их в какую ни на есть одёжу Марьи Гавриловны, да чтоб она про то не знала, не ведала... Всего бы лучше в рубаху да поближе к вороту... А ста-

¹ Отделать — снять порчу.

нешь те травы вшивать, сорок раз «Богородицу» читай. Без того не будет пользы... Ну вот и пришли...

Вынула знахарка косарь из пёстера и, обратясь на рдеющий зарею восток, велела Тане стать рядом с собою... Положила не взошедшему еще солнцу три поклона великие да четыре поклона малые и стала одну за другою молитвы читать... Слушает Таня — молитвы все знакомые, церковные: «Достойно», «Верую», «Богородица», «Помилуй мя, Боже». А прочитав те молитвы, подняла знахарка глаза к небу и вполголоса особым напевом стала иную молитву творить... Такой молитвы Таня не слыхивала...

То была «вещба» — тайное, крепкое слово.

— «Встану я, раба божия Наталья, помолясь-благословясь, пойду во чисто поле под красное солнце, под светел месяц, под частые звезды, под полетные облаки. Стану я, раба божия, во чистом поле на ровном месте, что на том ли на престоле на господнем... облаками облачусь, небесами покроюсь, на главу положу венец-солнце красное, подпояшусь светлыми зóрями, обтычусь частыми звездами, что острыми стрелами... Небо, ты, небо!.. Ты, небо, видишь!.. Ты, небо, слышишь!.. Праведное солнце! благослови корни копати, цветы урвати, травы собирать!.. А на что их собираю, было б на то пригодно!.. Во имя Отца и Сына и Святого духа. Аминь».

Потом пала ниц на́ землю. Тут на иной лад, иным напевом завела она мольбу к Матери Сырой Земле.

Ох ты гой еси, сыра земля!
Мати нам еси родная,
Всех еси ты породила,
Воспоила-воскормила
И угодем наделила...
Для людей — своих детей —
Зелий еси породила
И злак всякий напоила,
Польгой ¹ беса отгоняти
И в болезнях помогати, —
Повели с себя урвати
Зелий, снадобьев, угодьев
Ради польги на живот,

И, встав, поклонилась трижды на восток... И со сло-

¹ Вместо «польза» в Нижегородском и Костромском Заволжье говорят «польга».

вами: «Господи, благослови» — стала косарем копать коренья и класть их в лычный пёстер.

И, принимаясь за рытьё каждого корня, «Господи, благослови» говорила, а копая — «Богородицу» читала.

Слушает Таня, сама дивуется. «Что за речи такие, что за молитвы чудные? — думает она про себя. — А нет в тех молитвах никакой супротивности, ни единого черного слова знахарка не промолвила. Божьим словом зачала, святым амином закончила».

То были вещие слова, с которыми наши предки в мольбах своих обращались к Небу ходячему, к Солнцу высокому, к Матери Сырой Земле... Как ни старалась церковность истребить эти остатки языческой обрядности, затмить в народной памяти все, что касалось древней веры, — все-таки много обломков ее доселе хранится в нашем простонародье. Святочные гаданья, коляда, хороводы, свадебные песни, плачи во пленниц, заговоры, заклятья — все это остатки языческой обрядности, а слова, при них употребляемые, — обломки молитв, которыми когда-то молились наши предки своим старорусским богам. Но ни в каких песнях так полно и так цельно не сохранились слова стародавних молитв, как в таинственных заговорах и заклинаньях. Составляя предмет знания немногих, цельней и сохранней переходили они из рода в род... Русский народ, будучи в делах веры сильно привержен к букве и обряду, сохраняет твердое убеждение, что молитва ли церковная, заговор ли знахарской действуют лишь тогда, если в них не опущено и не изменено ни единого слова и если все прочтено или пропето на известный лад исстари установленным напевом. Оттого в заговорах и в заклятьях и дошли до нас сохранно древние молитвы предков, воссылавшиеся ими излюбленным, родным богам своим. Со временем в иных заговорах появились обращения к христианским святым и к византийским бесам, о которых понятия не имели старорусские поклонники Грома Гремучего и Матери Сырой Земли. Святых включили в заговоры, чтоб не смущать совести верующих, а под незнакомыми язычникам бесами народ, по наставлениям церковных пастырей, стал разуметь древних богов своих. Несмотря на такие искажения, слова заговоров доселе веют стариной отдаленной... В них уцелела обрядность, чтимая давними нашими предками...

— Гляди, красавица, — говорила Тане знахарка, ко-
пая один корень руками. — Вот сильная трава... Ростом
она с локоть, растет кусточком, цветок у ней, вишь,
какой багровый, а корень-от, гляди, крест-накрест...
Железом этот корень копать не годится, руками надо
брать... Это Петров крест¹, охраняет он от нечистой
силы... Возьми.

Таня взяла корешок. Знахарка продолжала сбор
трав и рытье корней... Тихо и плавно нагибалась она
стройный стан свой, наклоняясь к земле... Сорвет ли
травку, возьмет ли цветочек, выроет ли корень — тихо
и величаво поднимает его кверху и очами, горящими
огнем восторга, ясно глядит на алую зарю, разливав-
шуюся по небосклону. Горят ее щеки, высоко подыма-
ется грудь, и вся она дрожит в священном трепете...
Высоко подняв руку и потрясая сорванной травой в
воздухе, восторженно восклицает:

— Небо, ты видишь!.. Небо, ты слышишь!.. Правед-
ное солнце, благослови!

Набрав несколько трав, знахарка стала подавать их
одну за другою Тане... А подавая, так говорила:

— Вот Адамова глава², полезна ото всякой болезни,
ото всякого зла, отделявает порчу, отгоняет темную
силу... Бери... А вот плакун-трава³. Эта трава всем тра-
вам мати. Когда жиды Христа распинали, пречистую
кровь его проливали, тогда Пресвятая Богородица по
сыне слезы ронила на матушку на сыру землю... И от
тех слез зарождалась плакун-трава... От плакун-травы
бесы и колдуны плачут, смиряет она силу вражию, ру-
шит злое чародейство, сгоняет с человека уроки и
притку... Бери... А это чертогон-трава⁴, гонит бесов,
порчу, колдунами напущенную, сурочивает, всякие бо-
лезни целит и девичью зазнобу унимает... Бери... А вот
и беленький одолень⁵ нашелся, — сказала знахарка,
ступая в болотце, по которому пестрели ярко-желтые
купавки и полевые одолени. Чуешь, каков благоухан-
ный цвет!.. Одолеет он всякую силу нечистую!.. Мать

¹ Петров крест — *Lathraea Squammaria*.

² Адамова голова, иначе Адам-трава, или кукушкины сапож-
ки — *Cypripedium Calceolus*.

³ Плакун, иначе луговой зверобой — *Hypericum Ascyron*.

⁴ Чертогон — *Scabiosa Succissa*.

⁵ Одолень — *Nymphaea alba*. Тем же именем «Одолень» зовется и
другое растение — *Euphorbia pilosa*.

Сыра Земля со живой водой тот цветок породили — от того равна у него сила на водяницу и на поляницу¹. Возьми цветик, красавица... А вот и прострел-трава². Когда сатана был еще светлым ангелом и в гордыне своей восстал на творца-создателя, Михайло архангел согнал его с неба высокого на сыру землю. Сатана со своими демонами за прострел-траву спрятался, а Михайло архангел кинул в него громову стрелу. Прострелила стрела ту траву сверху донизу, от того прострела разбежались демоны и с самим сатаной провалились в преисподнюю... И с той самой поры бесовская сила боится прострел-травы и бежит от нее на двенадцать верст. Избавляет прострел-трава от призора очес, от урочных скорбей, от порчи, от притки и ото всякого бесовского наважденья... Бери... А вот и седьмая трава нам надобная — это царь-трава³. Как громовые стрелы небесные гонят темных бесов в преисподнюю, так и царь-трава могучей своей силою далеко прогоняет силу нечистую... Вот и все семь трав, что пригодны к утолению скорби Марьи Гавриловны... Отломи от каждой по кусочку — да не забудь — с молитвой и, перекрестясь, зашей, как я сказывала... Дня через три прибеги сюда на Каменный Вражек сказать, будет ли какая перемена у Марьи Гавриловны. Не будет — ино другим тогда пособию... А теперь беги скорей, красавица, — солнышко на восходе, келейницы ваши скоро проснутся, увидеть тебя могут смотницы...⁴ Ваши матери нанести небыль на девушку в грех не поставят... Беги, девонька, проворней беги!.. Христос с тобою!..

Простясь со знахаркой, бегом пустилась Таня по поляне, направляясь к Манефиной обители... Но когда бежала она мимо часовни, рябая звонариха Катерина колотила уж в свои била и клепалы, сзывая келейниц к заутрене.

Не целят корни и травы Марью Гавриловну, нет ни малого от них облегченья. Не раз бегала Таня на Каменный Вражек, не раз приносила новые снадобья от знахарки и клала их под постель Марьи Гавриловны

¹ Водяница — нечистая сила в водах, поляница — в полях и вообще на земле.

² Прострел-трава, иначе лютик — *Aconitum lycoctonum*.

³ Иначе купальница — *Ranunculus acris*.

⁴ Смотница — сплетница, клеветница.

либо в воду, что приносила умываться ей... Пользы не виделось.

Что ж за недуг такой Марье Гавриловне приключился?.. Что за немощ такая на нее накинута?

Через две недели наказывала она Алексею в Комаров побывать. Прошло четыре, а его нет как нет... Оттого и беспокойные думы с утра до ночи, оттого и сутня хлопотливая, оттого и думка каждое утро мокрая.

Не огни горят горючие, не котлы кипят кипучие, горит-кипит победное сердце молодой вдовы... От взоров палючих, от сладкого голоса, от всей красоты молодечки распалились у ней ум и сердце, ясные очи, белое тело и горячая кровь... Досыта бы на милого наглядеться, досыта бы на желанного насмотреться!.. Обнять бы его белыми руками, прижать бы его к горячему сердцу, растопить бы алые уста его жарким поцелуем!..

Про Евграфа помину нет... Ровно она его не знавала, ровно его на свете никогда не бывало...

Глава тринадцатая

Натерпелась Марья Гавриловна. До смерти истомилось бедное сердце ее в безотрадной неизвестности, в мрачных тяжелых думах и в тревогах, день и ночь мучивших ее душу. Ровно в тесном затворе посхимленная старица, сидит она безвыходно в уютном своем домике. В часовню даже по праздникам перестала ходить, людей не видит и знать не хочет, что за порогом ее домика делается. Заходили было к ней иной раз Фленушка с Марьюшкой время скоротать, но безответною оставалась на веселые разговоры их Марья Гавриловна, безучастно слушала келейное их празднословье.

— Заспесивилась наша краля, зачванилась, — топнув с досадой ногой, молвила Фленушка, выходя однажды с Марьюшкой из домика Марьи Гавриловны. — Битый час сидели у ней, хоть бы единое словечко выронила... В торги, слышь, пускается, каменные палаты закладывать собирается, куда с нашей сестрой ей водиться!.. А мне наплевать — ноги моей не будет у грубиянки; и ты не ходи к ней, Марьюшка.

Не раз заглядывала к Марье Гавриловне и матушка Манефа. Но и с ней не вязалась беседа у молодой вдово-

вы. Сколько раз искушенная житейскими опытами игуменья пыталась вызвать ее на искреннее, откровенное признание в сокровенных думах и затаенных чувствах, всегда холодна, всегда безответна оставалась Марья Гавриловна. Сердечная скорбь ее тайной повита и семью печатями запечатана.

«Мир обуял, — решила Манефа. — Прелесть тщетного жития смущает бедную, мятежные мысли буруевают душу ее».

Но какие мысли, о ком, о чем, — не могла придумать игуменья.

И с Таней, душой и телом преданной своей «сударыне», и с той ни слова Марья Гавриловна... Одна переживает печали, одна переносит горе сердечное.

Где прежняя ласка приветная, куда кануло беззаботное веселье и тихий, невозмутимый покой души, отдохнувшей от бывшего горя, забывшей старые сердечные раны? Все как ветром свеяло.

Перед отъездом Манефы на сорочины в Осиповку Марья Гавриловна получила от брата письмо. Уведомлял он о покупке «Соболя», писал, что надо как можно скорее принимать его да, набрав клади, отправлять к Верху. Но про того, кого ради куплен тот пароход, ни слуху, ни духу: Алексей словно в воду канул. Обещал побывать в Комарове через две недели, — пятая в исходе, а его нет как нет... Стороной узнала Марья Гавриловна, что отошел он от Патапа Максимыча и уехал в город, но воротился ль оттуда, или дальше куда отправился, разведать не могла.

Сидит под окном да тоскует, недвижно сидит, устремив слезные очи на черную полосу леса, и слышит разговор какого-то проезжего крестьянина с обителем конюхом Дементьем о дороге в Городец, на какие деревни надобно ехать. Дементий в числе деревушек помянул Поромово.

«Чего еще лучше? — подумала Марья Гавриловна. — Авось воротился из города, авось у отца теперь с матерью... Накажу тому мужичку побывать в Поромовой, разузнать о нем». Вздумано — сделано. Наказала Марья Гавриловна проезжему крестьянину, непременно бы повидал он Алексея Лохматого, сказал бы ему, что место на пароходе для него готово, чтоб, не медля ни минуты, ехал в Комаров. Два рубля серебром обещала, если тот крестьянин на возвратном пути ей ответ

привезет. Писать хотела, но сил не достало и стыдно как-то было...

Дён через пять посланный воротился за сулевыми рублями. Сказал, что Алексея в Поромовой нет, поехал-де в город, а где теперь, не знают. Что наказывала, все сказал старику Лохматому, а тот обещал, как только воротится сын, тотчас его в Комаров прислать.

Пуще прежнего налегла тоска на победное сердце молодой вдовы.

Еще прошло с неделю времени. Собралась мать Манефа в Осиповку на сорочины. Накануне отъезда вечером зашла она посидеть к Марье Гавриловне.

— Ну что, сударыня, облегчило ли вас хоть маленько? — спрашивала Манефа, садясь на диван возле Марьи Гавриловны.

— Плохо мое здоровье, матушка, — отвечала вдовушка, облокотясь на стол и медленно склоняя на руку бледное лицо свое.

— Надивиться не могу я вашей болезни, сударыня, — молвила Манефа. — Кажись, и лежать не лежите, и боли, как сказываете, нет никакой, а ровно свечка вы таете; жалость даже смотреть, на себя не похожи стали...

— Болезнь не красит человека, — отозвалась Марья Гавриловна.

— Ин за лекарем бы послали, сударыня, а то что же хорошего этак маяться, — сказала игуменья.

— Послать за ним не пошлю, — ответила Марья Гавриловна, — а не будет легче, сама поеду в город лечиться. Мне же и по делам надо туда. Брат пишет — в Казани у Молявиных пароход мне купил. Теперь он уж к нашему городу выбежал, — принимать надо.

Нахмурилась Манефа.

— Не дешево, поди, заплатили? — холодно спросила она.

— Пятьдесят тысяч, — сказала Марья Гавриловна.

— Пятьдесят тысяч! Не малые деньги, не малые... Много добра на такие деньги можно сделать, — проговорила Манефа.

— Пароход ходкий, совсем еще новенький, только четвертую воду бегаёт. Тех денег стоит, — молвила Марья Гавриловна.

— Суэта!.. — строго, но сдержанно сказала Манефа и, немного подумав, прибавила: — Стало быть, вы по-

кинете, сударыня, нашу святую обитель? В город жить переедете?

— Ни на что еще я не решилась, матушка, сама еще не знаю, что и как будет... Известно дело, хозяйский глаз тут надобится. Рано ли, поздно ли, а придется к пристани поближе на житье переехать. Ну, да это еще не скоро. Не сразу устроишься. Домик надо в городе купить, а прежде всего сыскать хорошего приказчика, — говорила Марья Гавриловна.

— Не нашли еще? — спросила Манефа.

— Нет еще, — слегка вздохнув, ответила Марья Гавриловна.

— Скоро ль к такому делу хорошего человека прищешь! — молвила Манефа. — Тут надо человека верного, неизменного, чтоб был все едино, что сама хозяйка. Такого не вдруг найдешь.

— Надолго ли, матушка, отправляетесь? — спросила Марья Гавриловна, видимо, желая свести разговор на что-нибудь другое.

— Прежде пяти дён вряд ли воротимся, — ответила Манефа, — Патап Максимыч скоро гостей отпускать не любит... В понедельник, надо думать, будем домой не то во вторник.

— Кланяйтесь Патапу Максимычу, — молвила Марья Гавриловна. — Скажите: всей бы душой рада была у него побывать, да вот здоровье-то мое какое. Аксинье Захаровне поклонитесь, матушка, Параше...

— Будем кланяться, — чинно, с легким поклоном, вполголоса ответила Манефа. — Чем бы, чем бы, кажется, вам не житье здесь, сударыня Марья Гавриловна, — прибавила она, вставая с дивана и быстрым взором окидывая комнату. — И тихо, и уютно, и всякое довольство во всем. Суеты восхотели, житейских тревожений!.. Не пришлось бы в миру вам успокаиваться!.. Не пришлось бы слезно поминать про здешнее тихое пристанище, под кровом святых обители. Лукав ведь мир-от — прельстит человека, заманит в свои сети, а потом и посмеется ему, поругается...

— Матушка! Сами же вы говорили, что обительская жизнь стала непрочна. По скорости, говорите, скиты совсем порешат.

— Если общий жребий господнею волей свершится, рядом бы с нами в уездном городке построились, — сказала Манефа. — И тогда б у нас было все по-преж-

нему, никакой бы перемены не случилось. Намедни и сами вы, сударыня, так говорили, а теперь вот уж возле пристани поселиться возжелали, в губернском городе.

— Дело-то, матушка, такое вышло, что поневоле должна я поблизости от пристани жить, — отозвалась Марья Гавриловна. — Сами знаете, что издали за хозяйством нельзя наблюдать, каких хороших людей ни найми.

— Конечно, — сдержанным голосом сказала Манефа.

— Заглазное хозяйство — не хозяйство, — продолжала Марья Гавриловна. — Что лучше хозяйского глаза?.. Говорится же: «Свой глаз — алмаз, а чужой — стекло».

— Что сказать супротив этого?.. Что сказать... — как бы нехотя молвила игуменья и, холодно простившись с Марьей Гавриловной, медленными шагами направилась к своей келье.

Уехала Манефа в Осиповку, и в обители стало тихо и пусто. Не суетятся матери вокруг игуменьиной «стаи» в ожидании Манефиных распоряжков по хозяйству, не раздаются веселых криков Фленушки; все почти молодые белицы на сорочины уехали, остались пожилые старицы да с утра до ночи копавшиеся в огороде чернорабочие трудницы. Хоть Марье Гавриловне давно уже постыла обитель и на думax ее было не обительское, однакож и ей стало скучней и грустней против прежнего, когда вокруг нее все затихло.

Склонялся день к вечеру; красным шаром стояло солнце над окраиной неба, обрамленной черной полосой лесов; улеглась пыль, в воздухе засвежело, со всех сторон понеслось благоухание цветов и смолистый запах ели, пихты и можжевельника; стихло щебетанье птичек, и звончей стал доноситься из отдаленья говор людей, возвращавшихся с полевых работ.

Сидя у раскрытого окна, Марья Гавриловна чутким ухом прислушивается к отдаленному шуму подъезжавшей к Каменному Вражку тележки... Не деревенский стук... По сухой дороге резко постукивают окованные толстыми шинами колеса, ровно и плавно шумят железные оси, колокольчика нет. Значит, не начальство, не крестьянин... Захолонуло сердце у Марьи Гавриловны при мысли — не Алексей ли это, наконец...

Но вот шум ближе и ближе... Подъезжают прямо к Манефиной обители... Видит Марья Гавриловна, как пара саврасок подкатила тележку к конному двору, как остановилась она у работницкой «стаи»... Слезает с тележки кто-то высокий, из себя такой статный... При надвинувшихся на небо сумерках не может разглядеть Марья Гавриловна в лицо приезжего, но сердце ей подсказывает, что это гость давно жданный, давно желанный... Алым бархатом подернулись бледные щеки молодой вдовы, и ровно скошенная травка поникла она на месте. Встать не может, пальцем двинуть нет силы.

А ровная, твердая поступь ближе и ближе звучит в вечерней тиши... Ничего не видит, Марья Гавриловна, в глазах разостлался зеленый туман, словно с угару. Только и слышит мерные шаги, и каждый шаг ровно кipyтком обдаёт её наболевшее сердце.

Таня к ней подошла.

— Какой-то человек вас спрашивает, — сказала она.

— Что? — едва могла промолвить Марья Гавриловна.

— Тот самый, что в Радуницу приезжал, — ответила Таня, удивленными глазами глядя на свою «сударыню».

Ни словечка Марья Гавриловна.

— Позвать аль сказать в другое бы время побывал? — не слыша отзыва Марьи Гавриловны, молвила Таня.

— Позвать?.. Да, позови... Нет, нет, постой, погоди, Таня, — говорила Марья Гавриловна. А сама не понимала, что говорила.

Широко раскрытыми глазами глядела на нее изумленная Таня. Сообразить не могла, что за новое диво содеялось над ее «сударыней»...

— А не то... поди, Таня... позови сюда... — дрожащим от волнения голосом сказала Марья Гавриловна. — Да ставь самовар поскорей...

И когда Таня, думчиво склонив голову, вышла из горницы, Марья Гавриловна бессознательно повернулась к зеркалу и наскоро поправила волосы и шелковый голубой платок, накинутый на голову.

Медленно, но широко распахнулась дверь, и в горницу вошел Алексей. Чин чинoм, прежде всего сотворил он уставные поклоны перед иконами, а потом, молодецки встряхнув кудрями, степенно отдал поклон как маков цвет зардевшейся хозяйке. Сдержанно ответила она ему малым поклоном.

— Посылали за мной? — тихо проговорил он, вертя в руках шляпу и опустив глаза в землю.

— Ждала я вас... долго ждала... дожждаться не могла... Теперь пароход...

И не могла закончить трепетно перерывчатой речи.

Ступил Алексей шаг, ступил другой, приближаясь к Марье Гавриловне... Вскинул черными, палючими очами на дрожавшую от сердечной истомы красавицу... И она взглянула... Не светлые алмазы самоцветные, а крупные слезинки неожиданной радости и неудержимой страсти засверкали под темными ее ресницами... Взоры встретились...

Ни слова, ни восклицанья...

Не гибкая повилика¹ бело-розовые цветики вокруг зеленого дуба обвивает, не хмелинушка вкруг тычиночки вьется — обвивает белоснежными руками красавица желанного гостя... И млеет и дрожит она в сладкой истоме.

Долго сидели вдвоем, до вторых петухов сидели. Времени много, мало разговора. Друг на дружку любят, друг на дружку наглядеться не могут.

Багрецом заалел восточный закрой неба: тут только опомнились. Пора расставаться.

И когда на прощанье горячими устами прильнул Алексей к сиявшему счастьем лицу Марьи Гавриловны, он тихо промолвил ей:

— Не тайком бы, не крадучись целовать мне тебя, моя милая, дорогая моя! Не зазорно бы при всем народе обнять тебя...

— Как же это сделать? — едва слышно проговорила Марья Гавриловна, поникая головой в объятья Алексея.

— Жениться, — молвил он. Хотел еще что-то сказать, но не может сойти на уста крылатое слово.

Крепче прежнего прижалась к нему Марья Гавриловна, тише прежнего она промолвила:

— Женимся!..

Ой леса, лесочки, хмелевые ночки!.. Видишь ты, синее звездистое небо, как Яр-Хмель-молодец по Матушке Сырой Земле гуляет, на совет да на любовь молодых людей сближает?.. Видишь ты, небо, все ты слышишь, все: и страстный шепот, и тайные, млеющие речи... Щедро, ничего не жалея, жизнью и счастьем

¹ Cuscuta.

льешь ты на землю, жизнью-любовью ты льешь... Праведное солнце!.. Ты корень, источник жизни, взойди, взгляни, благослови!..

И вырезался из-за черной, как бы ошетинившейся, лесной окраины золотистый луч солнышка и облил ярким светом, как снег, белое платье красавицы и заиграл переливчатыми цветами на синем кафтане и шелковой алой рубахе Алексея.

— Прощай!

— Прощай!

А на пороге еще обнялись. И долго озаряло их высоко поднявшееся из-за леса солнце.

На другой день Марья Гавриловна решила как можно скорей перебраться с Алексеем на житье в город. Покаместь он будет вести хозяйство на «Соболе», Марья Гавриловна станет готовить теплое гнездышко для житья с возлюбленным, купит домик, устроит его как следует, а там, по осени, когда и дом будет готов и паромходство кончится — веселым пирком да за свадебку... Уехать из Комарова чем скорей, тем лучше... Благо матери Манефы нет в обители, а то советам, разговорам не было б ни конца, ни края. Сбить Марию Гавриловну, отговорить ее от задуманной перемены в жизни игуменя не успела бы, но без неприятностей, без неудовольствий дело не обошлось бы. А Марья Гавриловна не забывала добра, что сделала ей Манефа во дни житейских невзгод, твердо помнила, что старушка внесла мир в истерзанную ее душу, умела заживить сердечные ее раны. Нет, лучше, не в пример лучше будет, если, не дождавшись матушкина возврата, покинет она обитель. После, когда дело будет кончено, повидается она с Манефой, все расскажет ей, все объяснит и, конечно, помиритсЯ с доброю и горячо любимую старицей.

Тотчас же поехал Алексей в соседний городок нанимать извозчиков для поездки Марьи Гавриловны и для вывоза из скита ее пожитков. Только что укатил он на своих саврасках, Марья Гавриловна, веселая, игравая, ровно из мертвых вставшая, велела Тане запереть изнутри домик и, пылая радостью, сказала ей:

— Давай, Таня, укладываться; завтра мы едем.

С места не могла двинуться Таня, слова промолвить

не могла: так удивили ее неожиданные речи Марьи Гавриловны.

— В городе станем жить, в большом каменном доме, — говорила ей Марья Гавриловна, принимаясь за укладыванье. — Весело будет нам, Таня, народу там много, будем кататься в коляске на хороших лошадях, по реке на пароходе поедем кататься... Видала ль ты пароходы-то?.. Да нет, где тебе видать!.. Вот увидишь, Таня, у меня теперь свой пароход и свой дом будет. Весело будем жить, Танюшка, весело.

— А как же матушка-то? — молвила Таня.

— Что ж матушка!.. Матушке своя жизнь, нам другая... Не век же в кельях жить, этак не увидишь, как и молодость пройдет... Пропустить ее не долго, а в другой раз молодá не будешь... Пожить хочется, Таня, пожить!..

И ни с того ни с сего бросилась целовать ее. Смеется, как дитя, веселится, а у самой слезы на глазах. Надивиться не может Таня внезапной перемене своей «сударыни».

— Видала?.. Это жених мой, Таня!.. Только ты покаместь об этом никому не рассказывай... никому, никому на свете... Придет Покров — повенчаемся, в городе будем жить. Ты у меня заместо дочери будешь, жениха тебе сыщем славного... Наградим тебя, всем наградим... Дом тебе выстрою, обзаведенье все... Барыней заживешь, в шелках-бархатах станешь ходить... во всяком довольстве будешь жить... Смотри же, не рассказывай, никому не рассказывай!

Ровно красные дни девичьей жизни воротились к Марье Гавриловне. Как, бывало, в Казани в родительском садике вольной птичкой весело порхала она, распевая звонко любимые песенки, так и теперь, ожившая для счастья, расцветшая для новой жизни, резвится и веселится Марья Гавриловна. Десяти лет как не бывало. Всё поклали в сундуки — и одежду, и посуду, и другие вещи; мебель только да цветы остались. Уложившись, успокоилась Марья Гавриловна, и не то утомилась она непривычною работою, не то на́ душу темное облачко налетело, вдруг опустилась и взгрустнула.

Заботно и нежно спросила у ней Таня, с чего вдруг она припечалилась.

— Дорогая ты моя, Танюшка, — молвила на то Марья Гавриловна. — Жизнь пережить — не поле перейти;

счастье с несчастьем, что ведро с ненастьем, живут переменчиво. Над судьбою своей призадумалась я: зачастую ведь случается, Танюшка, что где чается радостно, там встретится горестно... Спознала я, будучи замужем, какая есть на свете жизнь — горе-горькая... Как знать, что́ впереди?.. Как судьбу узнать?

— Можно узнать, — живо подхватила Таня. — Рядом со скитом живет такая женщина...

И рассказала она Марье Гавриловне про елфимовскую знахарку, про добрую тетку Егориху, нелюбимую келейницами, а всеми окольными крестьянами почитаемую благодетельницей.

Суеверный страх объял душу Марьи Гавриловны, когда узнала она, что Таня, сведя знакомство с колдуньей, клала ей под подушку зелья и давала умываться водой с волшебных корней, нарытых знахаркой.

— Ах, Таня, Таня, что́ ты наделала!.. — упрекала она любимицу, закрывая лицо руками.

— Да вы не бойтесь, сударыня Марья Гавриловна, — отвечала ей Таня. — Она ведь предобрая и все с молитвой делает. Шагу без молитвы не ступит. Корни роет — «Богородицу» читает, травы собирает — «Помилуй мя, Боже». И все, все по-божественному, вражьего нет тут нисколько. Со злобы плетут на нее келейницы; обойдите деревни, любого спросите, всяк скажет, что за елфимовскую Наталью денно и ночью все Бога молят. Много пользы народу она делает. А уж какая разумная, какая добрая, и рассказать того невозможно.

Много рассказывала Таня про елфимовскую знахарку, так хвалила кротость ее и доброхотство, с каким великую пользу чинит она людям безо всякой корысти. Суеверный страх покинул Марью Гавриловну, захотелось ей узнать от Егорихи, какая будет ей судьба в новом замужестве. Но в скит знахарку позвать невозможно: келейницы и близко не подпустят. Надо самой идти. Таня взялась устроить свиданье с Егорихой.

На другой день по отъезде Алексея, перед самыми вечерами, вышла Марья Гавриловна с Таней на Каменный Вражек. Оттуда резвоногая девушка летом слетала в Елфимово и по скорости воротилась оттуда с Егорихой.

— Здравствуй, Марья Гавриловна! Здравствуй, сердобольная вдовушка! — с низким поклоном весело молвила знахарка, подойдя к сидевшей на луговине

Марье Гавриловне. — Много про тебя наслышана, а Бог привел напоследях только с тобой видеться.

— Душой рада с тобой видеться, Наталья, извини, что не знаю, как величать по отчеству. Не привел Господь прежде ознакомиться, но с хорошим человеком знакомство николи не поздно свести.

— На ласковом слове спасибо, сударыня, — снова кланяясь Марье Гавриловне, молвила тетка Егориха.

Таня была девочка догадливая, отходила в сторонку и пускалась вдоль Вржжкя цветочки рвать.

Разговорилась Марья Гавриловна со знахаркой... И не может надивиться, отчего это с первого взгляда почувствовала к ней такое доверие, какого ни к кому до того не имела, такую любовь задушевную, такую близость, какой ни к кому, кроме одного, никогда не чувствовала... Ровно мать родная воротилась с того света и воркует теперь над дочерней головкой, познавшей много горя, мало радостей. Всей душой, всем сердцем открылась знахарке Марья Гавриловна и услышала не сухие поученья, как от матери Манефы, а слова живого участия, освежившие взволнованную душу молодой вдовы. Все, все рассказала ей про себя Марья Гавриловна.

— Какова-то будет судьба моя? Чего ожидать мне в новом замужестве? — склонив голову, спросила она.

— Чего ж ты желаешь? Чтоб я твою судьбу рассказала? Чтоб тебе как на ладонке выложила все, что впереди тебя ждет? — кротко улыбаясь, спросила у Марьи Гавриловны знахарка.

— Да, тетушка, да... Не утай, что ведаешь... Скажи, будет ли доля моя счастлива? — отвечала вдова.

— Полно, сударыня. Полно, Марья Гавриловна. Кроме Бога, будущего не знает никто, — величаво подняв голову, сказала Егориха. — Всякий вещун, коего б духа пророчество его ни было, — ложь есть перед людьми и перед Богом. Скажет ли кто тебе, что чарами или тайными вещими словами может узнать судьбу человека, — не верь... Скажет ли, что по звездам узнает ее, аль по руке, али по сну, аль по иному чему, — не верь... Скажут тебе про святошу какого-либо, про юрода, что знает он будущее, — не верь... Те же басни, что от колдуна, что от святоши. Будущего знать людям не дано. И в том божия любовь к людям, великая премудрость его. Что бы за жизнь человеку была, если б

он знал наперед всю свою жизнь до гробовой доски? Не было б тогда на земле ни надежды, ни радостей, жил бы человек как скотина бессловесная.

— Другим открываешь же ты, что будет с ними, — молвила Марья Гавриловна.

— Никому я никогда не пророчила, — кротко ответила знахарка. — Советы даю, пророчицей не бывала. Правда, простому человеку мало добрый совет подать, надо, чтоб он его исполнял как следует... Тут иной раз приходится и наговорить, и нашептать, и пригрозить неведомою силой, если он не исполнит совета. Что станешь делать? Народ темный, пока темными еще путями надо вести его.

— Что же мне скажешь, какой мне совет дашь? — спросила Марья Гавриловна.

— В смирении стяжи душу свою, — отвечала елфимовская знахарка. — Смирись передо всем и перед всеми. В том смиренье счастье человека. Умей понять мой совет да хорошенько его исполнить. Делай добро, у тебя на то достатков довольно: бедного, сирого не забудь, голодного накорми, о больном попечалуйся. И делай все, не возносясь, а смиряясь, не в свое превозношение, а во славу имени божия. А выпадет доля терпеть — носи золото — не изнашивай, терпи горяшко — не сказывай... Вот и все, больше сказать тебе нечего... Вот разве что еще: какой бы тебе грешный человек в жизни ни встретился, не суди о грехах его, не разузнавай об них, а смирись и в смирении думай, что нет на земле человека грешнее тебя. Грех, что болезнь, иной раз и против воли в человека входит; грехи осуждать все едино, что над болезнями смеяться. Только злему человеку сродно чужие грехи осуждать, сам Господь не осуждает их, а прощает... Осуждает грехи только дьявол и все ему послужившие.

Долго беседовала Марья Гавриловна, сидя в Каменном Вражке с елфимовской знахаркой. И так было ясно и отрадно на душе у ней; ввек бы, кажется, не рассталась она с теткой Егорихой.

И когда, прощаясь, Марья Гавриловна денег хотела ей дать, та не взяла.

— По милости Господней всем я довольна, — сказала она. — Малое, слава Богу, есть, большего не надо. А вот что: поедешь ты завтра через деревню Поляну, спроси там Артемья Силантьева, изба с самого края

на выезде... Третьего дня коровенку свели у него, четверо ребятишек мал мала меньше — пить-есть хотят... Без коровки голодают, а новую купить у Артемья достатков нет... Помоги бедным людям Христа ради, сударыня.

И низко-пренизко поклонилась колдунья Марье Гавриловне.

И легко и светло было на душе Марьи Гавриловны, когда под пытливыми, но невидимыми ей взорами обительских матерей и белиц возвращалась она из Каменного Вражка в уютный свой домик. Миром и радостной надеждой сияла она и много жалела, что поздно узнала елфимовскую знахарку. Под яркими лучами заходящего солнца мрачна и печальна казалась ей обитель Манефина.

На другой день воротился Алексей, и Марья Гавриловна оставила Комаров без тяжких дум, без сожалений. Когда выехала она со своим возлюбленным из скита, ей вздохнулось легко и показалось, будто из какого-то глухого подземелья, из какой-то темной темницы свободною и счастливою выпорхнула она на ясный, радостный мир божий.

Глава четырнадцатая

Если девичье сердце затрепещет первую любовью в ранней молодости, чистую душу ее она возведет до блаженства... Счастьем, радостью она засияет, светлым, прекрасным вольный свет ей покажется: и солнце будто ярче горит, и небо ясней, лучезарней, и воздух теплей, благовонней, и цветы краше цветут, и вольные птички поют веселее, и все люди кажутся добрее и лучше... Бегать бы да беззаботно резвиться, а если бы крылья — лететь бы, лететь в синее небо, подняться выше облака ходячего, выше тучи гремучей, к солнышку красному, к месяцу ясному, к частым звездочкам рассыпчатым... Та святая любовь ангелом божьим из рая приносится, и, глядя на нее, радуются блаженные жители неба... И такую любовь испытала Марья Гавриловна, когда просватана была за Евграфа.

Иного рода бывает любовь... Проведет женщина молодые годы в напрасных ожиданиях, сердце у ней очерствеет, и станут ему недоступны чувства блажен-

ства первой любви... Если ж она полюбит в ту пору такого человека, что хоть на два либо на три года моложе ее, тогда любовь для нее не радость сердечная, вместо любви жгучий пламень по телу тогда разливается... И тот пламень не светлое чувство души, но буйная страсть, неудержно влекущая женщину в объятия того, кого она полюбила... И отдается она той страсти безрассудно и беззаветно... Ни сожаленья о минувшем, ни опасений за будущее!.. Ум засыпает, думы туманом кроются, на очи ровно завеса спускается, вся жизнь замирает, остается живым одно обуянное пылом страстности сердце. Сердцем той женщине видится, сердцем ей слышится, пошлет ей вольный свет, ни на что б она, кроме милого, не смотрела, ничего бы она, кроме любовных его речей, не слыхала... Со всякою страстью душевная скорбь неразлучна... И такую страсть, такую скорбь познала Марья Гавриловна, полюбив Алексея...

Не дай ей Бог познать третью любовь. Бывает, что женщина на переходе от зрелого возраста к старости полюбит молодого. Тогда закипает в ней страсть безумная, нет на свете ничего мучительней, ничего неистовей страсти той... Не сердечная тоска идет с ней об руку, а лютая ненависть, черная злоба ко всему на свете, особенно к красивым и молодым женщинам... Говорят: первая любовь от Бога, другая от людей, а третья от того ангела, что с рожками да с хвостиком пишут.

И в девицах, и замужем, и в Манефиной обители Марья Гавриловна жила затворницей. Посторонних людей, особенно мужчин, она никогда почти не видала. Только и встречала кой-кого у брата в Казани, у Патапа Максимыча в Осиповке да у матушки Манефы, когда приезжали к ней богатые, именитые «благодетели». Заехав в шумный незнакомый город, она как в лесу очутилась... И напала на нее робость, и стало ей стыдно на чужих людей смотреть... На кого ни взглянет, все ей кажется, что смеются над нею: «Вот, мол, вдовушка так вдовушка, подцепила молодчика, да и живет с ним без стыда, без совести...» Заговорят ли погромче в соседних комнатах гостиницы, раздастся ли там веселый смех, все ей думается, что про нее пересуды идут, над нею люди смеются... Измучилась...

Сказала Алексею, что в гостинице она жить не ста-

нет, завтра же переедет на квартиру и останется в ней, пока не приищется дом для покупки... Алексей спорить не стал.

На другой день нанял он особый домик, на краю города, в глухом, немощеном и поросшем травой переулке... На то было непременно желанье Марьи Гавриловны... Переезжая, потребовала она, чтоб Алексей оставался в гостинице и навещал ее только днем... Поморщился тот, но спорить не стал.

Домик, где поселилась Марья Гавриловна, был построен на венце высокой, стоямя над Волгой стоящей горе. С трех сторон окружает его садик, вишеньем глухо заросший, из окон видны и могучая река и пестрая даль Заволжья... По синим струям взад и вперед птицами летят пароходы, оставляя за собой полосы черного дыма вверх, белые ленты пены кипучей внизу... Не стая белоснежных лебедей плавно несется по водным зыбям, широко раскинув свои полотняные крылья, — стройные расшивы по Волге бегут и еле двигаются черепашьям ходом неуклюжие коноводки, таща за собой целые города огромных ладей... А там, за темно-синими струями реки, за желтыми песками мелей и лугового берега, привольно раскинулась необозримая даль, крытая зелеными пожнями, сверкающими на солнце озерами, заводами, поло́ями¹ и черными рядами больших двужилых бревенчатых изб в многочисленных заволжских деревушках... А под самым закроем небосклона синее и будто трепещет в сухом тумане полоса лесов, в глуши которых Марья Гавриловна отдохнула от великой душевной скорби и заживила сердечные раны под тихим, безмятежным покровом Манефы.

По целым часам безмолвно, недвижно стоит у окна Марья Гавриловна, вперив грустные очи в заречную даль... Ничего тогда не слышит она, ничего не понимает, что ей говорят, нередко на темных ресницах искрятся тайные тихие слезы... О чем же те думы, о чем же те слезы?.. Жалеет ли она покинутую пристань, то-

¹ Полóй — более или менее обширная яма вблизи лугового берега большой реки. В полое через все лето остается залившаяся во время весеннего разлива вода. Заводь — узкий полый, отделенный от реки узенькою гривкой, за которою заливная вода стоит до усышки.

скует ли по матери Каменного Вражка, или мутится душа ее черными думами при мысли, что ожидает ее в неизвестном будущем?.. Нет...

Видна из окон другая река многоводная. Ровно исполинской щетиной, устье ее покрыто мачтами разнообразных судов, тесно расставленных от одного берега до другого. Льет та река свои мутно-желтые воды в синее лоно матушки Волги... За той за рекой другое заречье. Обширней оно лесного Заволжья, веселей, оживленней... Ровной, гладкой низиной расстилается оно к солнечному закату. Вдали меж пологих берегов блещет на солнце верховая Волга, над нею, мешаясь с дымом береговых фабрик и бегущих к Рыбинску пароходов, клубится дым Балахонского усолья... Искрятся и сверкают озера, сияют белые церкви обширных селений, пламенем пышут стальные заводы, синеют дальние леса, перерезанные надвое вытянутой, как струнка, каменной дорогой; левей, по краю небосклона, высится увенчанный дубовыми рощами хребт красно-бурых с белоснежными алебастровыми прослоями гор, что тянутся вдоль прихотливо извивающейся Оки... По сыпучему песку лугового берега, насупротив города, раскинулся длинный, непрерывный ряд слобод, и в них, среди обширных деревянных строений, гордо высятся двух- и трехэтажные каменные дома. На стрелке¹ целый город огромных некрашенных кирпичных зданий, среди которых стройно поднимаются верхи церквей и часовен, минареты мечетей, китайские киоски, восточные караван-сарай. То — Макарий.

Сюда, на этот пестрый своеобразный город, обращены слезливые взоры Марьи Гавриловны. По целым часам не сводит она глаз с ярмарочных строений — чего-то все ищет.

Середь множества однообразных построек хочется ей отыскать китаечный ряд, а в нем бывшую отцовскую лавку... Но с тех пор как Гаврил Маркелыч Залетов ездил торговать к Макарию, ярмарка не один раз сгорала дотла, и на месте китаечного ряда давно уж был построен трехэтажный каменный дом, назначенный для гостиниц и трактиров... Исчезла уютная ла-

¹ Верховую Волгой называется эта река выше устья Оки. Усолье — соляные варницы. Каменная дорога — шоссе. Стрелка — мыс, образуемый слиянием двух больших рек.

вочка, исчезли и тесные над нею горенки, где Марья Гавриловна узнала на малое время сладость земного блаженства... Там, просватанная за Евграфа, немного дней провела она в спокойном, радостном счастье, там целые часы проводила она в сладкой беседе с милым избранником непорочного сердца.

И вот она опять невеста!.. Опять по целым часам беседует с новым избранником сердца!.. Но те беседы уж не прежние, не те, что велись с покойником Евграфом. Толкуют про «Соболя», толкуют про устройство хозяйства, про то, как бы получше да посходнее дом купить, как бы Алексею скорей в купцы записаться... Не цвести по два раза в лето цветочкам, не знаять Марье Гавриловне прежней любви.

Чаще и чаще вспоминает она про Евграфа и молится за него Богу усердней. Задумчивей прежнего стала она, безпричинная тоска туманит сердце ее.

Но только послышится звонкий голос Алексея, только завидит она его, горячий, страстный трепет пробежит по всему ее телу, память о промелькнувшем счастье с Евграфом исчезнет внезапно, как сон... Не наглядится на нового друга, не наслушается сладких речей его, все забывает, его только видит, его только слышит... Ноет, изнывает в мучительно-страстной истоме победное сердце Марьи Гавриловны, в жарких объятьях, в страстных поцелуях изливает она кипучую любовь на нового друга.

Но лишь только уйдет Алексей, опять за прежние думы, опять за воспоминанья о былом блаженстве. И светлый образ Евграфа опять во всей красе восстает тогда пред душевными ее очами.

Нет тихой радости, нет сердечной улады — одна тоска, одна печаль плакучая!..

Дивится не надивуется на свою «сударыню» Таня... «Замуж волей-охотой идет, а сама с утра до ночи плачет... Не́ спроста это, тут дело не чисто — враг-лиходей напустил «притку присуху»... Не властна, видно, была сурочить ее тетка Егориха... Враг-лиходей сильнее ее...»

«Кто же тот лиходей? — спрашивает себя Таня... — Никто, как он, некому быть, окромя Алексея. Он присушил, он вражьем колдовством приворожил к себе Марью Гавриловну...» И вспоминает Таня все, что прежде слыхала от людей про любовную присуху,

приворотные корешки и другие волшебные чары. «Когда он, недобрый, впервые был у нас в Комарове, когда он без зову, без спросу вошел к нам в домик, меня на ту пору не было дома... Не иначе, что подкинул он тогда под порог наговоренное воронье перо... Не иначе, что у него тогда на кресте было навязано заколдованное ласточкино гнездо... Супротив тех волхвований не устоять ни девице, ни вдовице, ни мужней жене: памяти лишится, разума решится, во всем подчинится воле того человека, пока сам он не сурочит с нее чарованья... Верно, этот враг-лиходея с нечистой силой в дружбе, в совете живет!.. Может статься, в глухую полночь в нетопленной бане в молоке от черной коровы варил он лягушку да черную кошку!.. Может быть, выварил из них приворотные грабельки. Тронь теми грабельками девицу, вдовицу или мужнюю жену, закипит у ней ретивое сердце, загорится алая кровь, распалится белое тело, и станет ей тот человек красней солнца, ясней месяца, милей отца с матерью, милей роду-племени, милей свету вольного. Молиться от него не отмолишься, чураться не отчуждаешься, век свой будешь ему рабой безответной. Ни жить, ни быть, ни есть, ни пить без того человека нельзя... Как рыбе без воды, как телу без души, так и женщине без того человека... От лихого чарованья на нее, бедную, ветры буйные со всех концов наносят тоску тоскучую, сухоту плакучую, и ту тоску и ту сухоту ни едой заесть, ни питьем запить, ни сном заспать, ни думами развеять, ни молитвой прогнать... Так вот и Марья Гавриловна!.. Ворожила тетка Егориха, и на корни шептала, и на травы наговаривала, с уголька умывала, переполох выливала, а ни малой пользы не вышло из того... Не сильна была ведовством своим сурочить с Марьи Гавриловны притку-присуху любовную!..»

Чем же избавить «сударыню» от тех лихих чарований, чем отрезвить ее душу, чем разум оздравить?.. Не в силах Таня придумать... Глядя на тоскующую Марью Гавриловну, беззаветно преданная ей девушка забывает свою печаль, не помнит своей кручины... «В шелках, в бархатах станешь ходить, будешь мне вместо родной дочери, весело заживем — в колясках станем ездить, на пароходах по Волге кататься...» — говорила ей «сударыня» перед отъездом из Комарова, а вот теперь день-деньской словечка с ней не перекинет... Скука,

тоска, печаль великая!.. Но не сетует, не досадует Таня на Марью Гавриловну, во всем корит, во всем винит одного Алексея... И пуще огня боится его... «Долго ль в самом деле, — думает Таня, — такому кудеснику, такому чаровнику заморозить сердце бедной девушки, лишить меня покоя, насладиться на сердце тоску лютую, неизбывную... А как взглянешь на него — залюбуешься!.. Что за красота молодецкая, что за поступь удалая, богатырская!..»

И страшат и прельщают бедную Таню быстрые палящие взоры черных очей Алексея.

По приезде в город Алексею прежде всего надо было «Соболя» принять. На другой же день отправился он на пристань. Было уже за полдень, ото всех пристаней пароходы давно отвалили, наступило обеденное время рабочих, и они разбрелись по береговым харчевням; набережная совсем почти опустела. Не заметно на ней обычной суеты, не слышно ни песен, ни громких кликов, ни зычного гомона рабочего люда. Величаво поднимая кверху легкую мачту с тонкими райнами и широкую белую трубу с красным перехватом посередине, сиротой стоял опустелый «Соболь»: ни на палубе его, ни на баржах не было ни одного тюка, ни одного человека... Галки расселись и по райнам и по устью дымогарной трубы, а на носу парохода беззаботно уселся белоснежный мартын с красноперым окуном в клюве. Мерно плещется о борта и колеса пустого парохода легкий прибой волжской волны. На сходнях стоит тот самый капитан, что так неприветно обошелся с Алексеем, когда тот недели две перед тем впервые увидел «Соболя». Стоит капитан и, должно быть, от скуки и безделья щелкает кедровые орехи... Глаз не сводя, смотрит он в даль по Волге, глядит, как из-за бледно-желтой, заматавшей чуть не половину реки косы легко и свободно vyplывают один за другим низовые пароходы, увлекая за собой длинные, легкие, умиротворенные баржи.

Узнал Алексей капитана, подошел к нему. Важности напустил на себя — я, дескать, все едино, что хоззяин.

— Это «Соболь»? — спросил он.

— «Соболь», — сквозь зубы ответил капитан, не

взглянув путем на Алексея, не повернувшись даже к нему.

— Марьи Гавриловны Масляниковой? — снова спросил Алексей.

— Ее, — нехотя молвил капитан и по-прежнему глаз не сводил с подбегавших пароходов.

— К сдаче готов? — продолжал спрашивать Алексей.

— Пятнадцать дён попусту проживаем, — сказал капитан, искоса взглянув на Алексея, но и тут не вздумал ему поклониться.

— Как попусту? — спросил Алексей.

— Пароходной хозяйки нет, дуй ее горой... Поверенных не шлет, — время только даром проводим.

— Я приму, — сказал Алексей.

Капитан не смутился. Повернулся к Алексею и, продолжая щелкать орехи, внимательно оглядел его с головы до пяток.

— Доверенность?.. — протягивая руку, спросил он.

— Какая?

— Впервой, должно быть, на пристани-то? — усмехнулся капитан. — Пароход не дров поленица — без доверенности как его сдать? Доверенность от хозяйки нужна, от купчихи, значит, от Масляниковой...

И пристальней прежнего стал приглядываться к выплывавшим из-за песчаной косы пароходам и по-прежнему принялся щелкать кедровые орехи.

Закипела досада в Алексее. «Сгоню его бесприменно! — думает он. — Ишь какого барина гнет из себя, сиволапый!.. Слова путем не хочет промолвить!..» Повернулся и пошел вдоль по набережной. Десяти шагов не прошел, как капитан ему крикнул вдогонку:

— Эй, почтенный!.. В молодцах, что ли, служишь у хозяйки-то?

Взорвало Алексея, обидно стало... «В молодцах...».

— Тебе что? — грубо спросил он капитана, не повернувшись.

— Коль в молодцах у нее, так молви — приемкой бы не медлила, — на всю пристань орал капитан. — Я ей не караульщик!.. Мне на другом пароходе место готово... Лишусь по ее милости места, убытки взыщу... Скажи от меня ей, чернохвостнице: здесь, мол, не скиты, потачки не дадут... Так и скажи ей — тысячью, мол, рублей не отделаешься... Я ей щетинку-то всучу...

Куда как хотелось Алексею вернуться к пароходу и притузить капитана... Но воздержался — главное, полиции боялся.

Взял извозчика и к маклеру... Пробыл у него больше часа. У Патапа Максимыча негде было ему деловым порядкам научиться... Обещав хорошую плату, расспросил маклера, как пишут доверенности, как покупают и продают дома, пароходы, как в купцы приписываются, да уж кстати спросил и о том, нет ли у него на примете хорошего капитана на «Соболь».

Приехавши к Марье Гавриловне, таких страхов наговорил, что та совсем растерялась.

— Был я на «Соболе», — озабоченно и беспокойно сказал он. — Не больно там ладно.

— Что такое? — встревожилась Марья Гавриловна.

— Завтрашнего числа надо его бесприменно принять, — сказал Алексей, — не то много придется платить неустойки, да еще за простой... Судом грозит капитан, убытки взыскивать хочет...

— Сегодня же прими, голубчик, теперь еще не поздно, успеешь, — молвила Марья Гавриловна.

— Без доверенности не сдадут... Не дров поленица, — сказал Алексей, кстати ввернув слова капитана.

— Я тотчас ее напишу, — сказала Марья Гавриловна.

— Скоро блины пекут да сказки сказывают, — молвил Алексей. — Чтоб ее написать как следует, две либо три недели надо. Нарочно к маклеру ездил, советовался... Говорит то же самое... Скоро этого дела сделать никак невозможно, а если три недели еще пропустить, так этих проклятых неустоек да простоев столько накопится, что, пожалуй, и пароход-от не будет стоить того... И нужно же было братцу твоему любезному неустойку вписать!.. И без нее обошлось бы. А уж если без неустойки нельзя, так писал бы по крайности небольшую... Теперь вот поди и валандайся тут по его милости...

— Что ж нам делать, Алешенька?.. Что ж делать, голубчик ты мой? — почти со слезами говорила Марья Гавриловна, припав лицом к плечу возлюбленного.

— Сам не знаю, что делать, — холодно ответил Алексей. — Ума приложить не могу... Маклер, правда, советует... Да этого нельзя... Этого никак невозможно!.. Большие тогда надо убытки принять...

— Что такое? — спросила Марья Гавриловна.

— Да что!.. Пустое дело, — молвил Алексей. — Не стоит поминать.

— Да скажи, голубчик, скажи, милый ты мой, — крепко обнимая Алексея, спрашивала Марья Гавриловна.

— Продать советует, — сквозь зубы сказал он.

— Не хотелось бы мне продавать парохода, — грустно промолвила Марья Гавриловна. — Все говорят, что пустить хороший пароход на Волгу — дело самое выгодное... Прибыльней того дела по теперешним временам, говорят, не придумаешь. В Казани у брата ото всех так слыхала, и Патап Максимыч то же сказывал и Сергей Андреич Колышкин.

— Конечно, выгодно, — сказал Алексей. — Да вот эти окаянные неустойки, что братец твой в условие ввернул!.. Опять же прости... Благодарю братца, он так устроил.

Не ответила Марья Гавриловна. После недолгого молчания Алексей продолжал:

— Маклер говорит, покупщики завтра ж найдутся, только уж денег тех не дадут, сколько за «Соболя» плачено было. За половину продать, так слава Богу, он говорит.

— Господи!.. Да что ж это такое?.. — всхлипнула Марья Гавриловна... — Ведь это разоренье!..

— Сам то же думаю, — молвил Алексей.

И, встав с места, подошел к окну и, закусив нижнюю губу, стал по стеклу барабанить.

— Что ж нам делать?.. Что ж нам делать-то?.. — то-сковала Марья Гавриловна. — Алеша, хоть мы с тобой пока и не венчаны, а все ж ведь ты голова... Подумай, помоги — твое ведь... Где мне, глупой бабенке, знать да делать такие дела?.. Где мне было им научиться?..

И, зарывав, обняла Алексея и поникла на груди его головою.

— Еще маклер советовал, — сказал он. — Только не знаю как. По-моему, это совсем уж не подходящее дело.

— Что, что такое? — спрашивала Марья Гавриловна.

— Да нет!.. Пустяки — не статочное дело... Говорить не стоит, — сказал Алексей.

— Да скажи, голубчик мой, скажи ради Господа!.. Что не сказать?.. Ради творца небесного!.. Да пожалуйста, Алешенька!.. — молила его Марья Гавриловна.

Переминается Алексей, не скажи же, а Марья Гавриловна пуще молит, пуще просит, нежной рукой разглаживая хмурое чело жениха. — «Сказал он, наконец, будто с большой неохотой:

— Продать его скорей надежнее человеку... Пусть бы он заплатил неустойки, что по сей день накопилось, да, очистив пароход от долгов, воротил его тебе...

— За чем же дело стало? — быстро спросила Марья Гавриловна.

— А где такого человека найдешь? — спросил Алексей. — Нынче всяк за свой карман. Подпиши-ка ему крепость-то, он тебе поклон да и вои... Разве вот что: посылай в Казань эстафету, зови брата... Пусть его купит... Свои люди — сочтется.

Задумалась Марья Гавриловна... И, немного подумав, тихо сказала:

— Не пошлю я за братом, Алешенька. Бог знает, что у него на разуме... Может, и грешу... А сдается мне, что он на мои недостатки смотрит завидно... Теперь, поди, еще завиднее будет: прежде хоть думал, что не сам, так дети наследство от меня получат... Нет, не продам ему «Соболя».

— Больше некому, — промолвил Алексей. — Стало быть, пропадать пароходу?

— Зачем же пропадать? — весело сказала Марья Гавриловна. — А ты-то на что, голубчик?.. Кто ж мне ближе тебя?.. Для тебя же ведь его и покупала... Завтра ж на себя переписывай... Ведь я твоя и все, что ни есть у меня, твое... Все твое, голубчик, все... — страстно целуя Алексея, говорила она.

— Ладно ль будет так-то? — промолвил он. — Люди ведь злы, наскажут и невесть чего!..

— Что нам до людей?.. — в страстном порыве воскликнула Марья Гавриловна. — Делай скорей... Завтра же... А чтоб людям поменьше пришлось про нас толковать, сделаем вот что: говорено было венчаться осенью, повенчаемся теперь же... Ищи попа. Петровки пройдут — будем муж да жена.

Обнял Алексей Марью Гавриловну и стал горячо ее целовать.

— Либо в Москву, либо в Казань надо ехать, — сказал он. — Другого попа поблизости нет.

— Ни за что не поеду в Москву... — вскрикнула Марья Гавриловна. — Ни за что на свете, ни за что!..

Вспомнить она не могла про Москву, где провела печальные годы замужества.

— Так в Казань, — молвил Алексей.

— И в Казань не поеду, — решительно сказала Марья Гавриловна. — Там брат, там много родных и знакомых. Пойдут разговоры, пойдут пересуды... Нет, нет, не хочу, не поеду в Казань.

— Как же быть? — молвил Алексей. — Про Городец я проводывал, так раньше Вздвиженья там не будет попа — теперь, слышь, в разъездах... Где же венчаться-то?

— В церкви, — спокойно ответила Марья Гавриловна.

— Как в церкви?.. В какой?.. — с удивлением спросил ее Алексей.

— Да вон хоть в этой, — указала Марья Гавриловна в окно на церковный верх, возвышавшийся над домами.

— Да это великороссийская!.. — сказал Алексей.

— А тебе немецкую, что ли, надо? — улыбнулась Марья Гавриловна.

— Грех ведь, Марья Гавриловна, — раздумчиво сказал Алексей.

— Не слыхал разве, что по нужде и закону преме-
нение бывает? — спросила Марья Гавриловна.

— Да оно конечно... Только, знаешь, как-то все думается... Грех-от, кажется, больно велик, — колебался Алексей... — Пожалуй, еще не простой грех, пожалуй, из непрощенных!.. Погодим лучше до Вздвиженья, как поп в Городец воротится.

— Не стану я ждать, — с живостью сказала Марья Гавриловна. — Тяжела мне такая жизнь — долго ее не вынесешь... Что я теперь стала?.. Сам посуди... Ни в тех, ни в сех, от берега отстала, к другому не пристала, совестно даже на людей глаза поднять... Нет, Алеша, нет; ты уж не раздумывай... Не хочешь в великороссийской, в духовской¹ повенчаемся... Там обведут нас по́солонь, Исайю петь не станут, чашу растопчешь, молитвы поп прочитает те ж самые, что и в часовне².

¹ Единоверческой.

² У старообрядцев и единоверцев при совершении брака вокруг налож ходят по солнцу. Исаия ликуй не поют, вино пьют из стеклянного сосуда, который потом жених бросает на пол и растаптывает ногой. До Никона патриарха это было всеобдержным обычаем, он сохранился даже и на царских свадьбах.

— Так-то оно так, да все как-то, знаешь, оно... — продолжал колебаться Алексей.

— Что еще? — быстро взглянув на него, спросила Марья Гавриловна.

— Да я все насчет греха-то... Прощеный ли? — говорил Алексей. — Одна я с церковником в бане парилась, так и за это отец Афанасий на духу-то начал-начал меня, на поклоны даже поставил... А ведь это — сама посуди, — ведь это не баня!

— Полно-ка, голубчик, по времени исправимся, — перебила его Марья Гавриловна. — Ну поставит поп на поклоны... Эка важность!.. Как-нибудь да отмолимся.

— Делать, видно, нечего, в духовской так в духовской, — после долгого раздумья сказал Алексей.

— Оно ж и покрепче будет, — улыбаясь и обнимая Алексея, молвила Марья Гавриловна. — В духовской-то обвенчаемся, так венец не в пример будет крепче... Тогда уж ты меня как лапоть с ноги не сбросишь...

— Что ты, что ты?.. Эко слово какое сказала!.. — заговорил Алексей.

— А кто тебя знает!.. Я состареюсь, а ты еще в поре будешь... Как знать, что будет?.. — сказала Марья Гавриловна.

— Полно ты, полно!.. Эк, что выдумала!.. Придет же такое в голову!.. Да о чем же плакать-то?.. Что и в самом деле?.. Ну как не стыдно?.. — уговаривал Алексей Марию Гавриловну, а она, крепко прижавшись к плечу его, так и заливалась слезами.

Глава пятнадцатая

С помощью маклера Алексей Трифонович живой рукой переписал «Соболя» на свое имя, но в купцы записаться тотчас было нельзя. Надо было для того получить увольнение из удела, а в этом голова Михайло Васильич не властен, придется дело вести до Петербурга.

Внес, впрочем, гильдию и стал крестьянином, торгующим по свидетельству первого рода... Не купец, а почти что то же. Новый купец и владелец парохода явился на пристань. Новости там расходятся быстро, все одно что на базаре. Когда Алексей проходил по набережной, на него только что пальцами не указывали. Идет и слышит, как ведут про него пересуды...

— Ишь ты! Лыком шит, совсем как есть деревенщина, а тоже пароходчик!

— А ведь надо дело говорить — что ни на есть первый по Волге ходок.

— Кто?

— Да «Соболь»-от.

— «Соболь»-от? Да... А, поди, вон кому достался.

— Мужик, как есть мужик... А в купцы тоже лезет...

— При таких достатках сапоги дегтем мазаны!

— В длиннополой-то сибирке да в первую гильдию!

— Откудова это такие деньги взялись у него?

— Известно, не с неба свалились.

— Знамо, не с неба, да ведь пятьдесят тысяч на полу не подымешь,

— Может, дешевле ему обошлось.

— Как так?

— Масляничиха-то, сказывают, старуха, а он, гляди, какой здоровенный... Понял, какова коммерция-то?

— Понял.

— Грому-то на них нет!

— Тьфу ты пропасть!.. Не нашла она чище сиволапого... Да за такой пароход и не мужик бы со всяким усердием.

— Так уж, видно, пришлось... Да ну их ко псам!

Все слышит Алексей. Злоба всю душу в нем повернула, так бы и положил в лоск всех до единого.

Подошел к «Соболю». Капитан стоит у руля и молча вдаль смотрит. На палубе ни души. Сказывает про себя Алексей капитану, что он новый хозяин. Не торопясь, сошел капитан с рубки, не снимая картуз, подошел к Алексею и сухо спросил:

— Бумаги?

— Какие?

— Документы.

Вынул Алексей нужные бумаги, капитан внимательно пересмотрел их.

— Верно, — сказал он, возвращая бумаги, и тотчас отворотился.

— Принять желаю, — с досадой сказал Алексей. — Сейчас же, сию минуту, чтоб сдача была.

— Примай, — не оборачиваясь, небрежно ответил капитан.

— Сдавай! — крикнул ему Алексей, сделав три шага вперед.

— А ты больно-то не ори — печенка лопнет... Горлом, брат, здесь не возьмешь, сами орать-то здоровы — нас не перекричишь... — с нахальством сказал ему капитан.

Против «Соболя» на набережной собралась толпа праздного люда. Всякому в охоту послушать перебранку нового хозяина со старым капитаном.

— Своего требую!.. Пароход мой — ты должен его сдать, — горячился Алексей.

Капитан подпер бока руками и, склонясь немножко на сторону, ровным голосом, но с усмешкой сказал Алексею, подмигивая стоявшим на набережной:

— Пароходы покупаешь, а порядков не знаешь... Горе ты, не пароходчик!.. Как же я тебе стану сдавать без свидетелей?.. Опять же, где полиция, где водяной смотритель?.. Эх, ты!.. Не пароходы тебе покупать, навоз бы лучше из деревни на поля вывозил...

Толпа громко захохотала.

— Он на «Соболе»-то навоз возить зачнет!

— Кладь добрая!

— Пóставка хорошая!.. Почем с пуда-то?..

— Ах, дуй вас горой!

Видит Алексей, делать нечего, — опять к маклеру за советом. Осыпаемый насмешками, едва пробрался он сквозь набравшуюся толпу. Когда сел на извозчика, толпа ухнула враз и захохотала. Со злобы и досады слезы даже выступили у Алексея. Приехав к маклеру, рассказал ему все, не промолчал ни про нахальство капитана, ни про насмешки толпы. Маклер научил его, как принимать пароход, и посоветовал пригласить для приемки знающего человека, который бы обладал делом как следует. Алексей согласился, маклер указал ему человека.

— А насчет того, что на пристани собачатся, тут уж делать нечего, надо потерпеть, — сказал маклер. — По времени все обойдется, а на первый раз надо потерпеть. Главное дело, не горячитесь, делайте дело, будто не слышите их. Погломнят, погломнят — разойдутся... А приемку начинайте пóд вечер, часу в пятом либо в шестом, — тогда на пристани мало народу бывает, а иной день и вовсе нет никого... Да еще бы я вам советовал, коль не во гнев будет вам меня выслушать...

— Что такое? — спросил Алексей.

— Да видите ли что, Алексей Трифонович, — протяж-

но и внушительно стал говорить ему маклер. — Теперь вы в купцы еще не записаны, однакож, заплативши гильдию, все-таки на линии купца стоите... Вам бы одежду-то сменить... По-крестьянскому ходить теперь вам не приходится... Наденьте-ка хороший сюртук, да лаковые сапоги, да модную шляпу либо фуражку — совсем другое уважение к вам будет...

— Что ж? Я с моим удовольствием, — сказал Алексей.

— Вот вам билетец, — сказал маклер, подавая Алексею карточку. — С этим билетцем поезжайте вы к портному, у него готового платья завсегда припасено вдоволь. Да выбирайте не сами, во всем на него положитесь... Главное, чтобы пестрого на вас ничего не было, все чтобы черное, а рубашка белая полотняная, и каждый день чистую вздевайте... Постойте-ка, я портному-то записку напишу.

Алексей поблагодарил за совет.

— Да вот что еще, Алексей Трифоныч. Вам бы и речь-то маленько поизменить, чтоб от вас деревней-то не больно припахивало, — с добродушной улыбкой сказал маклер. — А то вот вы все на о говорите — праздному человеку аль какому гулящему это и на руку... Тотчас зачнут судачить да пересмеивать... Вам бы модных словец поучить, чтоб разговаривать политичнее.

Покраснел Алексей. Сознавал, что высоко залетел, что новая жизнь не под силу ему приходится, но сознаться в том перед маклером было стыдно.

— Не умею, — чуть слышно, сквозь зубы промолвил он.

— Учиться надо, Алексей Трифоныч, — ответил маклер. — Наука не больно хитрая... В трактиры почаще ходите, в те, куда хорошие купцы собираются, слушайте, как они меж себя разговаривают, да помаленьку и перенимайте... А еще лучше, в коммерческий клуб ходите... Хотите, я вас гостем туда запишу?..

— Что ж это такое? — спросил Алексей. — Трактир, что ли, какой?..

— Нет, не трактир, — улыбаясь, сказал ему маклер. — Это такое место, куда по вечерам собираются купцы меж собой побеседовать и повеселиться. Самые первостатейные там бывают и господа тоже. В карты играют... Умеете ли в карты-то?

— Игрывал, — отозвался Алексей.

— В какие игры? — спросил маклер.

— В хлюсты, в носки... В три листика еще, — ответил Алексей.

— Ну, эти игры там не годятся, про них и не помните — не то как раз осмеют... — сказал маклер. — Другие надобно знать... Да я обучу вас по времени... А теперь — прежде всего оденьтесь как следует, на руки перчатки наденьте в обтяжку, да чтоб завсегда перчатки были чистые... Под скобку тоже вам ходить не приходится... Прежде портного — зайдите вы к цирюльнику, там обстригут вас, причешут.

Алексей все сделал по совету маклера, и, когда завитой, раздушенный, распомаженный, одетый по моде вошел он к Марье Гавриловне, Таня так и шарахнулась в сторону, а Марья Гавриловна руками закрыла лицо.

— Этак будет политичнее, — сказал Алексей, повертываясь и охорашиваясь перед зеркалом.

— Чтой-то тебе, Алешенька, вздумалось так вырядиться?.. — жалобно проговорила Марья Гавриловна. — Нешто этак-то лучше?

— По той самой причине, что так как я теперича на линии купца, так нельзя же мне по-мужицки ходить... — с неумелой развязностью сердито молвил Алексей.

— Да я так сказала, спроста, — ответила Марья Гавриловна. — Мне только смешно глядеть-то на тебя на этакое, — с улыбкой прибавила она.

— И вовсе тут ничего смешного нет, — нахмурясь, сказал Алексей. — Все хорошие люди так ходят... А я обсевок, что ли, какой?.. Для че и мне полированным человеком не быть?..

В новом платье Алексей успел побывать в трактире и послушать там, как купцы говорят. Перенял кой-каких мудреных словец.

Заметив досаду Алексея, Марья Гавриловна тотчас же стала его уверять, что для нее он во всяком наряде хорош и, если ему нравится так ходить, воле его перечить не станет она.

— Не в одежде дело, милый ты мой, а в душе, — сказала она, ласкаясь к нему. — Люби только меня, не разлюбивай, во всем другом делай, как знаешь.

И нежно его поцеловала.

— Дом есть на примете, — сказал через несколько минут Алексей. — Маклер указал. Посмотрел я — хороший дом.

— А ценой? — спросила Марья Гавриловна.

— Ценой-то дорогонек, зато уж и хорош же, — сказал Алексей. — Каменный, двухэтажный, на хорошей улице, по лицу тринадцать окошек, на дворе флигеля большие, каменные... Можно будет их внаймы отдавать. Службы тоже все каменные, места пропасть, сад...

— Цена-то как? Цену скажи? — спрашивала Марья Гавриловна.

— Сорок тысяч целковых в первом слове, — сказал Алексей. — Тысячи три либо четыре спустят. Опять же и в доме все на хорошую руку: стулья всякие, столы, зеркала, на полах ковры — одно слово, богатенько...

— Что? — спросила Марья Гавриловна.

— Богатенько, говорю, — с ужимкой ответил Алексей.

— Что ж это за богатенько такая? — переспросила Марья Гавриловна.

— Животы, значит, всякие, достатки в самом лучшем виде, — сказал Алексей.

— Дорогонько-то оно дорогонько, — помолчав, молвила Марья Гавриловна. — А ежели все в хорошем виде, так денег нечего жалеть. На дом денег не жаль. Говорится же: что продано, то прожито, что куплено, то нажито...

— Это точно, — согласился Алексей. — Дом стоящий. Опречь того, что сами будем жить, флигеля, амбары, кладовые пустим внаймы — доход будет знатный... Только ведь и тут хлопоты... Надо будет тебе по присутственным местам ходить, в гражданской палате...

— Ну, этого уж не будет! — ровно встрепенувшись, молвила Марья Гавриловна. — Ни за что на свете! Пока не обвенчаны, шагу на улицу не ступлю, глаз не покажу никому... Тяжело ведь мне, Алешенька, — припадая на плечо к милому, тихо, со слезами она примолвила. — Сам посуди, как мы живем с тобой!.. Ведь эта жизнь совсем истомила меня... Может, ни единой ноченьки не провожу без слез... Стыдно на людей-то смотреть.

— Чего же тут стыдного? — сухо спросил Алексей.

— Да как же?.. Разве хорошо мы делаем? — жалобно заговорила Марья Гавриловна. — И перед Богом-то грех великий и перед людьми-то стыдным-стыдным-

хонько... Нет, уж ты меня лучше не уговаривай. Пока венцом греха не покроем, не буду я на людей глядеть... Оттого и желаю скорей обвенчаться... Богом прошу тебя, голубчик... Не томи ты меня, не сокрушай в горькой печали моей!..

И, горько зарыдав, закрыла лицо руками и тяжело опустила на кресло.

— О чем же это ты?.. Милая!.. — уговаривал ее Алексей. — Что ж это в самом деле?.. Как не стыдно!.. Полно, голубонька, перестань, моя ясынька!.. Ну, пожалуй... Для тебя я на все согласен... Хотя в самый же Петров день обвенчаемся... Только как же это будет у нас?.. Здесь, стало быть, придется, в этих горенках свадьбу-то играть?

— Как можно в этих горенках? — подняв заплаканные глаза на Алексея, сказала Марья Гавриловна. — При наших-то недостатках да в этих клетушках!.. Полно ты, полно!.. А дом-от?.. Купим до того времени... Неделя остается... Бог даст, управимся.

— Да ведь сказал же я тебе, что без того дома нельзя купить, чтоб самой тебе в гражданской палате в книге не расписаться, — сказал Алексей. — А если до венца с людьми видеться не хочешь, как же это сделать-то?

— На свое имя купи, — молвила Марья Гавриловна.

— Разве что так... — раздумчиво молвил Алексей. — Только знаешь ли?.. Пароход на твои деньги, теперь дом... Наскажут и не знай чего... Все ведь знают, что у меня ни кола, ни двора, за душой ни гроша... Опять же и самому мне как-то совестно... Как же это? Деньги твои, а дом будет мой?..

— А сам-от ты разве не мой? — с ясной улыбкой, обняв Алексея, сказала Марья Гавриловна. — Разве мужу с женой можно делиться?.. И в Писании сказано: «Оба в плоть едину»... Что твое — мое, что мое — твое. По моему рассуждению так, не знаю, как по твоему.

— Да оно конечно, — закусив губу, молвил Алексей. — Оно конечно... Только, право, боязно мне, чтоб сама ты после чего не подумала... Вот, дескать: еще не женился, а деньги уж высасывает.

— Полно ты, нехороший этакой, полно вздор-от молоть! — вскрикнула Марья Гавриловна, хлопнув слегка Алексея по лбу рукой. — Эх что вздумал!.. Придет же такое в голову... Бесстыдник!.. А знаешь ли что, Але-

ша? — сказала она, любуясь на жениха. — Как этак-то ты вырядился, ты ведь еще краше стал... Пригоженький, хорошенький!.. — приговаривала она, глядя Алексея по голове.

Когда Алексей выходил от Марьи Гавриловны, в сенях столкнулся с Таней. Та отступила и покраснелась как маков цвет.

И Алексей на минуту остановился, жадно взглянул на пышущее красотой лицо девушки и, опустя голову, пошел со двора.

«Экая девчонка-то! — думал он. — Красотка!.. И молоденькая еще!.. А Марья Гавриловна говорит: «Состареюсь, а ты еще в поре будешь!..» Гм!.. А ведь оно и так!.. Пароход пятьдесят, дом сорок — значит, теперь у нас собственного капитала девяносто тысяч!.. Важно!..»

А Марья Гавриловна, простясь с Алексеем, подошла к окну, и взор ее невольно устремился за Оку... Опять Евграф вспомнился... Опять печаль туманом подернула лицо ее...

Дня через два после того к дому Сергея Андреича Колышкина подъехала извозчичья коляска, запряженная парой добрых коней. В ней сидел высокий молодой человек в новеньком с иголочки пальто и в круглой шелковой шляпе. Если б коляска заехала в деревню Поромову да остановилась перед избой Трифона Лохматого, не узнать бы ему родного детища.

Хотя с непривычки и не совсем ловко вышел Алексей из коляски, но бойким шагом подошел к подъезду и дернул изо всей силы бронзовую ручку колокольчика. Тотчас же человек с галуном на картузе широко распахнул перед ним двери.

— У себя ли Сергей Андреич? — важно подняв голову, спросил Алексей.

— Принимают, — отрывисто ответил придверник, зорко оглядывая Алексея и вспоминая, как недели две перед тем он, одетый попросту, робко спрашивал у него про Сергея Андреича.

— Что принимает?.. Кладь, что ли, какую? — спросил Алексей.

— Какую кладь?.. — с усмешкой сказал тот. — Гостей принимают аль кто по надобности придет. — И, отступив в сторону от двери, примолвил: — Наверх пожалуйте.

Алексей скинул пальто. Был он в коротеньком сюртуке, в лаковых сапожках, белье из тонкого голландского полотна было чисто, как лебяжий пух, но все сидело на нем как-то нескладно, все шло к лесному добру-мóлодцу ровно к корове седло, особенно прическа с пробором до затылка, заменившая темно-русые вьющиеся кудри, что когда-то наяву и во сне мерещились многим, очень многим деревенским красным девицам.

Сердито смотрел картуз с галуном на Алексея, когда тот поднимался по широкой лестнице, покрытой ковром, обставленной цветами и зеленью. «Ишь привалило косолапому! — бормотал придверник. — А наш брат бейся, служи, служи, а на поверку в одном кармане клоп на аркане, а в другом блоха на цепи...»

— Для че на ковер-то харкнули?.. — крикнул он с досады вслед Алексею. — Плевательницы на то по углам ставлены... Аль не видишь?.. Здесь не изба деревенская аль не кабак какой...

Смутился Алексей, но не подал вида. Смело, мерными шагами вошел он в покои Сергея Андреича.

— Ишь как расфуфырился! — продолжал ворчать картуз с галуном. — Псу не дядя, свинье не брат!.. Вот оно деньги-то что означают...

На ту пору у Колышкина из посторонних никого не было. Как только сказали ему о приходе Алексея, тотчас велел он позвать его, чтоб с глазу на глаз пожурить хорошенько: «Так, дескать, добрые люди не делают, столь долго ждать себя не заставляют...» А затем объявить, что «Успех» не мог его дождаться, убежал с кладью до Рыбинска, но это не беда: для любимца Патапа Максимыча у него на другом пароходе место готово, хоть тем же днем поступай.

Но только что взглянул Колышкин на вошедшего Алексея, так и покатился со смеху, схватившись за живот обеими руками.

— Леший ты этакой!.. Кто это тебя таким шутком обрядил?.. Святки, что ли, пришли?.. Да тебе бы, пострелу, уж и хвост вертен¹ом¹ прицепить!.. Уморил, пострел!.. — судорожно вскрикивал Колышкин, когда понемножку стали у него перемежаться стремительные порывы веселого, добродушного смеха.

Смешался озадаченный неожиданной встречей

¹ Фрак.

Алексей Трифоныч, слова не может найти в ответ Сергею Андреичу. Обидно... А он-то думал, что Колышкин, увидавши его таким щеголем, ахнет от удивления и зачнет хвалить его за перемену одежды.

Маленько успокоившись, стал Сергей Андреич спрашивать Алексея, с чего это вздумалось ему так вырядиться... Неловко вертя в руках шляпу и поднимая кверху брови, заговорил Алексей:

— По тому самому, Сергей Андреич, что так как я теперь, будучи при таких, значит, обстоятельствах, что совсем на другую линию вышел, по тому самому должен быть по всему в окурате...

Расхохотался Колышкин пуще прежнего.

— А говорить-то не по-людски у кого научился?.. На линии!.. В окурате!.. У какого шута таких слов хватал?.. — от смеха едва мог промолвить он.

— По образованности, значит, — изо всей силы тараща кверху брови, сказал Алексей. — По тому самому, Сергей Андреич, что так как ноничи я собственным своим парходом орудую, так и должно мне говорить политичнее, чтобы как есть быть человеком полированным.

— Да ты что?.. Очумел, что ли, за Волгой-то?.. — спрашивал Сергей Андреич уж без шуток.

— Зачем чуметь, Сергей Андреич, помилуйте!.. Это даже совсем неблагоприятно чуметь!.. — отвечал Алексей. — Ежели я допрежь сего и находился в низком звании, в крестьянском, значит, был сыном токаря, так опять же теперича, имея намерение, по первой гильдии в купечество, а покаместь внес в здешнюю городскую думу гильдию и получил оттоль свидетельство по первому роду...

— Да ты говори толком... С неба, что ль, тебе деньги-то свалились аль в самом деле золотые россыпи на Ветлуге нашел? — с нетерпением спрашивал Колышкин Алексея.

— Деньги не вода — с неба не капаят, сами про то лучше меня знаете, Сергей Андреич, а золото на Ветлуге облыжное... Такими делами мы заниматься не желаем, — с ужимками, поводя по потолку глазами, сказал Алексей.

— Откуда ж у тебя деньги?.. И свой парход и по первой гильдии?

— По тому самому, Сергей Андреич, что имею,

значит, намерение законным браком, — отвечал Алексей.

«Так и есть, — крестный дочь за него выдает!.. — мелькнуло в голове Колышкина. — Эх, Патап Максимыч, Патап Максимыч, убил же ты бобра, любезный друг! На поверку-то парень дрянь выходит, как кажется».

— Крестный в зятя берет? — спросил Алексея.

— Никак нет-с... — отвечал Лохматый. — Потому что, сами извольте обсудить, Сергей Андреич: хорошая девица Прасковья Патаповна, по всему хорошая, и художеств за ней никаких не предвидится, однакож, живучи завсегда в деревне и не выдавши политичного обхождения, она теперича будет мне не по линии... Опять же, если взять и насчет капиталу — Прасковья Патаповна вся как есть в родительской власти... Ежели б ее, к примеру сказать, взять за себя, беспрременно пришлось бы из тестевых рук смотреть... Что ж тут хорошего... А теперича, по крайности, у меня все в своих собственных.

— Где ж такую невесту сосватал? С такими деньгами сот на пять верст кругом они все на перечете, — спрашивал Сергей Андреич.

Крякнул, отер тихонько лицо раздушенным батистовым платком Алексей Трифоныч и, подняв брови, спросил у Колышкина:

— Пароход «Соболь», что малявинский был, изволите знать?

— Ну? — торопил его Колышкин.

— Намедни того самого «Соболя» на мое имя переписали. Невеста, значит, подарила... — тихо, с расстановками проговорил Алексей.

— Врешь!.. — вскочив с места, вскричал удивленный Колышкин.

— Зачем врать, Сергей Андреич? Это будет неблагородно-с! — паяя изо всей силы кверху брови, сказал Алексей. — У маклера извольте спросить, у Олисова, вот тут под горой, изволите, чать, знать... А сегодняшнего числа каменный дом невеста на мое имя покупает... Наследников купца Рыкалова не знаете ли?.. Вот тут, маненько повыше вас — по Ильинке-то, к Сергию если поворотить.

— Рыкалова дом сорок тысяч стоит, — сказал, ушам не веря, Колышкин.

— Маненько не потрафили, — ответил Алексей с таким спокойствием, будто говорил о рублевой покупке. — Тридцать семь тысяч заплачено, купчая наша.

— Это Масляникова-то!.. Марья-то Гавриловна!.. — говорил Сергей Андреич и, заложив руки за спину, широкими шагами стал ходить взад и вперед по комнате, покачивая головою.

— Так точно-с, она самая невеста наша и есть... — отвечал между тем Алексей.

— Удивительно!.. Непостижимо!.. — сквозь зубы говорил Колышкин.

— А опричь дома и парохода у нас еще тысяч на сто, а пожалуй, и побольше капиталу наберется, — продолжал Алексей Трифоныч, охорашиваясь перед зеркалом. — И притом же весь тот капитал не в долгах аль в оборотах каких... Как есть до последней копейки в наличии.

— Ну, друг любезный, поздравляю, поздравляю! — сказал Сергей Андреич, остановясь перед Алексеем. — «Соболя» добыл и чернобурую лису поймал!.. Молодцом!.. Да как же это?.. Ведь она в монастыре жила, постригаться, кажись, хотела? — спросил он.

— Зачем же ей постригаться, Сергей Андреич?.. Зачем молодые годы в келье терять?.. — сказал Алексей. — Тоже во плоти, пожить хочется... А в кельях что?.. Сами рассудите.

— Однако она ведь постарше тебя годами-то будет?.. — молвил Колышкин.

— Маненечко, самое пустое дело — годиков на пять либо на шесть, — сказал Алексей.

— Однакож!..

— Это все единственно, Сергей Андреич... Был бы совет да любовь, а годы что?.. Последнее дело!.. — говорил Алексей. И, маленько помолчав, прибавил: — На свадьбу милости просим, не оставьте своим расположением.

— Благодарю покорно, — сухо ответил Сергей Андреич. — Когда свадьба-то?

— Думали после Покрова, да теперь приняли намерение — в самый Петров день, — сказал Алексей.

— Что заторопились? — спросил Колышкин.

— Да видите ли, Сергей Андреич, спервоначалу-то думали было мы после навигации обвенчаться, установивши, значит, «Соболя» на зимовку... — отвечал Алек-

сей. — Имели намеренье в Москву, чтобы там на Рогожском венчаться. Одначе на поверку вышло, что такой ваяж нам не с руки, потому что Марья Гавриловна оченно Москву не жалует, нежелательно, значит, ей туда ехать... Родства там много после первого ихнего супружества, а ей на брачной радости прошлых бед вспоминать неохота... И я с своей стороны имею также намеренье, чтобы здесь в городе в церкви повенчаться, в духовской, значит... Потому, изволите знать, церковное венчанье не в пример крепче староверского... Не ровён случай!.. Тогда, знаете, насчет капитала аль наследства, известное дело!.. У ней брат есть, племянники... Опять же нам желательно венчаться на публике, не крадучись, — так-то оккуратнее выйдет.

— Как же это так?.. Из скитов да к нам?.. В церковь то есть? — спросил Колышкин.

— В благословенную, значит, имеем намерение, в духовскую... — отозвался Алексей.

— Что ж? Дело хорошее, — молвил Сергей Андреич.

— Тут главная причина, Сергей Андреич, не в том-с, — сказал Алексей. — Тут самопервейшая статья насчет благоприобретенного и всего-с... Церковный-от поп как свенчает, так уж на всю жизнь до гробовой доски будет крепко... А часовенный поп, хоть и все по уставу справит, одначе венец его все-таки выйдет с изьянцем.

— Как с изьянцем? — спросил Сергей Андреич.

— Да как же-с? Венчают-то у нас не оченно прочно, — сказал Алексей. — Может статься, не случилось ли вам Мокеевых знавать, Петра Лаврентьевича сыновей?..

— Слыхал, — отозвался Колышкин. — Расшивы у них?

— И расшивы есть и пряжей торгуют, люди капитальные, — отвечал Алексей. — А вот часовенны-то венцы и у того брата и у другого как есть распаялись... Непрочно, стало быть, их по старой-то вере ковали, — с усмешкой прибавил Алексей.

— Как так? — спросил Колышкин.

— Большой-от брат Симеон Петрович брал жену в Плесу, из хорошей семьи, хоть и не больно богатой, — продолжал Алексей. — Венчались в селе Иванове у староверского попа и прожили времени с год, ребеночка прижили, и все меж ними, кажись бы, согласно было и любовно... Да на грех поехал Симеон Петрович с

пряжей в Москву, дорогой и заболел. Городок есть не-большой, Киржач прозывается, там лежал в хворости-то... Купец знакомый больного-то его в дом к себе взял, ходили за ним, лечили, оздравел Симеон Петрович... И приглянись тут ему того купца дочка, а купец-от богатеющий — фабрика у него, а дочь единственная. Как у них там было, не знаю, только что Симеон Петрович повенчался с ней, а повенчался-то в великорос-сийской... Приехал домой, одну жену в дом ведет, дру-гая его с ребеночком встречает... Туда, сюда... Обе ре-веть, а он молодой-то жене и говорит, успокаивает, знаете, ее: «Эта, говорит, бабенка в стряпках у меня живет. Греха, мол, таить не стану, было дело, а теперь ее со двора долой...» Это первую-то... Первой-от тесть, что из Плесу, дело вздумал было зачинать, однакоже вышло по суду, чтоб Симеону Петровичу жить со вто-рой, потому что первый-от венец нигде не писан... Первая жена к родителям воротилась — и стала ни девка, ни вдова, ни мужня жена... А Симеон Петрович в Киржач на житье переехал. Тесть-от помер, теперь у него фабрика знатнеющая, капиталы большущие... На-ши-те отлучили его как следует: ни в ястии за трапе-зой, ни в молитве с ним не сообщаться... А плевать ему на ихнее отлученье-то!.. Ему что?.. Церковником стал. А с другим братом-с Мокеевым, с Никитой Пет-ровичем, и того хуже вышло...

— Что ж такое? — спросил Сергей Андреич.

— Тоже по-нашему венчался, — продолжал Алек-сей. — Брал невесту богатую, шла за него поневоле... У ней, после дознались, допрежь венца в полюбовни-ках был отцовский приказчик — сирота, голь перека-тная, ни за ним, ни перед ним как есть ничего... Когда выдавали ее, понятное дело, он слова пикнуть не смел... А из петли тогда вынули, пожелал было удавиться... Года полтора молодые-то прожили, сыночка Бог дал, тут у жены родитель-от и помри... Капиталы, значит, стали ее. Только что помер родитель, она из мужнина дома в отцовский, да, принявши наследство, с полюбов-ником-то в великороссийскую... Повенчались. Никита Петрович туда-сюда, и жалобные просьбы подавал и все, а жена одно толкует: «Жила, говорит, я у тебя в полюбовницах и, восчувствовавши свой великий грех, законным браком теперь сочеталась. Докажи, говорит, записями, где я с тобой была венчана...» А какие тут

записи?.. Так за вторым мужем ее и закрепили... А Никита Петрович до сей поры без жены: закон помнит, брак честен не рушит... Молит, просит — ребеночка-то хоть бы ему отдали... Так и его не отдают... Вот какие обстоятельства бывают, Сергей Андреич... Можно ль после того у часовенных венчаться, сами посудите...

— Так-то оно так, — сказал Сергей Андреич. — Только, как угодно, а тут что-то неладно...

— Чего ж неладного-то? — возразил Алексей. — Закон.

— Закон-от законом, да совесть-то где? — жмурясь, промолвил Колышкин.

— Законом-то крепче, Сергей Андреич, — ответил Алексей. — Что хорошего, коли уйдет жена с деньгами!.. Капиталы тут главная причина... Это примите в расчет!..

— Капиталы! — молвил Колышкин. — Ну, Алексей Трифонович, из молодых ты, да ранний.

— Каков есть, Сергей Андреич... Весь тут перед вами, — пожав плечами, ответил Алексей.

— Да, да, — промолвил Колышкин.

Прошло минут с пять; один молчит, другой ни слова. Что делать, Алексей не придумает — вон ли идти, на диван ли садиться, новый ли разговор зачинать, или, стоя на месте, выждать, что будет дальше... А Сергей Андреич все по комнате ходит, хмуря так недавно еще сиявшее весельем лицо.

— Патап Максимыч знает? — спросил он, не глядя на Алексея.

— Никак нет-с, до сей поры еще неизвестны, — отвечал Алексей.

— А родители? Отец с матерью?

— Тоже не сделано еще к ним повешенья, — комкая шляпу в руках, сказал Алексей.

— Не мешало бы и благословенья попросить, — сквозь зубы процедил Колышкин.

— Мы с батюшкой теперича в расчете, — молвил Алексей, встряхнув по старой привычке кудрями, которых уж не было.

— Как в расчете? — став перед Алексеем, спросил удивленный Колышкин.

— Дóчиста рассчитались... За то, что вспоил-вскормил меня, я сполна чистоганом заплатил ему, — сказал Алексей, подняв голову.

Ровно мразью подернуло лицо Сергея Андреича, когда услышал он от Алексея такие речи.

— Получивши деньги, родитель-батюшка сам мне сказал: «В расчёте, говорит, мы с тобой, на родителей больше ты не работник. Ни единой копейки, говорит, в дом с тебя больше не надо...»

— Не про деньги говорю, про родительское благословенье, — горячо заговорил Сергей Андреич. — Аль забыл, что благословение отчее дома чад утверждает, аль не помнишь, коль хулен оставивый отца и на сколь проклят от Господа раздражая мать свою?.. Нехорошо, Алексей Трифоныч, — нехорошо!.. Бог покарает тебя!.. Мое дело сторона, а стерпеть не могу, говорю тебе по любви, по правде: нехорошо делаешь, больно нехорошо...

Смутился Алексей, но не очень. Бойко ответил он Сергею Андреичу:

— Батюшка-родитель наперед благословение дали мне... Ищи, говорит, своей судьбы сам, а мое благословенье завсегда тебе готово, — сказал Алексей.

— Да ведь он не за тридевять земель. Станет времени и благословенье получить и свадьбу сыграть, — молвил Сергей Андреич.

— Не управиться! — ответил Алексей. — Потому что уж очень много хлопот... Сами посудите, Сергей Андреич: и пароход отправить и дом к свадьбе прибрать как следует... Нельзя же-с... Надо опять, чтобы все было в близире, чтобы все, значит, самый первый сорт... А к родителям что же-с?.. К родителям во всякое время можно спсылать.

Передернуло Сергея Андреича. Говорит Алексею:

— Стало быть, место у меня на пароходе вам больше не требуется?

— Помилуйте!.. — самодовольно улыбаясь, ответил Алексей. — Когда теперича у нас у самих, можно сказать, первеющий по всей Волге пароход...

— Ну, очень рад, что у вас «первеющий» пароход... Желаю доброго здоровья и всякого успеха... До приятного свиданья!.. — сказал Сергей Андреич, остановясь у входной двери с заложенными за спину руками.

— Наше вам наиглубочайшее! — молвил Алексей, напрасно протягивая руку. — А уж насчет свадьбы-то попомните, Сергей Андреич... Пожалуйте-с... Угощение будет такое-с, что только ах: напитки заморские,

кушаньи первый сорт... от кондитера-с... Да мы к вам билетец пришлем, золотом слова напечатать желаем... Да-с...

И опять позабыв, что кудри у него были да сплыли, удальски тряхнул головой и пошел от Сергея Андреича.

Глава шестнадцатая

Поутру на другой день, как Манефа воротилась с Настиных сорочин, сидела она за самоваром с Васильем Борисычем, с Парашей и Фленушкой. Было уж довольно поздно, а в домике Марьи Гавриловны окна не отворялись. Заметив это, подивилась Манефа и спросила, что б это значило.

— Да ведь она вечор съехала, матушка, — молвила добродушная Вириная, вошедшая под это слово в келью игуменьи.

— Как съехала?.. Куда?.. — быстро спросила удивленная Манефа.

— Не могу этого доложить тебе, матушка, не знаем, куда съехала, — отвечала мать Вириныя. — Никому не сказалась, куда поехала и надолго ль.

— Что у вас тут без меня за чудеса творились? — вспыхнула Манефа и, встав с места, засучила рукава и скорыми шагами стала ходить по келье.

— Уж и подлинно чудеса, матушка... Святы твои слова — «чудеса»!.. Да уж такие чудеса, что волосы дыбом... Все, матушка, диву дались и наши и по другим обителям... Хоть она и важного роду, хоть и богатая, а, кажись бы, непригоже ей было так уезжать... Не было в счету сестер обительских, а все ж в честной обители житие провождала. Нехорошо, нехорошо она это сделала — надо б и стыда хоть маленько иметь, — пересыпала свою речь добродушная мать Вириныя.

— Да что ты тарантишь, старая?.. — с сердцем молвила, остановясь перед ней, Манефа. — Вертит языком, что веретеном, вяжет, путает, мотает, плутает — понять невозможно. Сказывай толком; по́ ряду все говори.

— Ну, вот видишь ли, матушка, — начала Вириная. — Хворала ведь она, на волю не выходила, мы ее, почитай, недели с три и в глаза не видывали, какая есть Марья Гавриловна. А на другой день после твоего

отъезда оздоровела она, матушка, все болести как рукой сняло, веселая такая стала да проворная, ходит, а сама подпрыгивает: песни мирские даже пела. Вот грех-от какой!..

— Быть того не может, — удивилась Манефа.

— Уехали то вы, матушка, поутру, а вечером того же дня гость к ней наехал, весь вечер сидел с ней, солнышко взошло, как пошел от нее. Поутру опять долго сидел у ней и обедал, а после обеда куда-то уехал. И как только уехал, стала Марья Гавриловна в дорогу сряжаться, пожитки укладываться... Сундуков-то что, сундуков-то!.. Боле дюжины. Теперь в домике, опричь столов да стульев, нет ничего, все свезла...

— Да куда ж, куда, я тебя спрашиваю? — с нетерпением спрашивала Манефа.

— Сказывала я тебе, матушка, что не знаю, и теперь та же речь, что не знаю... Через два дня тот гость опять приезжал, лошади с ним, тройка в тарантасе, туда сами сели, Танюшу с собой посадили, а имение сложили на подводы. На пяти подводах повезли, матушка.

— Что ж это за гость такой?.. Кто он, откуда?.. Брат ее, что ли?.. Залетов?.. — сыпала вопросами мать Манефа.

— Какое брат, матушка!.. Помнишь на Радуницу от Патапа Максимыча приказчик наезжал, еще ночевал у тебя в светелке... Алексеем зовут... Он самый и приезжал...

Всех озадачил рассказ Виринеи... Хотела что-то сказать Манефа, но слова не сошли с языка... Фленушка с Парашей меж собой переглядывались. Один Василий Борисыч оставался, по-видимому, спокоен и равнодушен.

— Ах ты, Господи, Господи!.. — всплеснув руками, вскрикнула, наконец, игуменья.

— С ним с самым и съехала... С собой вместе в тарантас посадила его и Танюшу тоже, — свое твердила мать Виринея. — И уж такая она, матушка, на последних-то была развеселая, такая умильная, что вот сколько уж времени прожила у нас, а такую я ее не видывала... Ровно козочка какая, так и попрыгивает, да турит все, турит Танюшу-то укладываться! А уезжая, всех одарила, старицам по зелененькой, а белицам которой рубль, которой два, опять же платьев что раздавала своих... Никого не забыла... Только вот чего еще не сказа-

ла я тебе, матушка. Вот это так уж истинно чудо чудное... Дело-то, как видится, делалось у них неспроста.

— Что такое? — спросила Манефа.

— А на другой день после того, как гость-от от нее уехал, за конями-то, знаешь, глядим мы, пошла она, этак перед самыми вечерними, разгуляться за околицу... Танюшу взяла с собой... Сидим мы этак у келарни на крылечке с матушкой Евсталией да с матушкой Филаретой, смотрим на нее, глядь, а она в Каменный Вражек; мы к околице, переговариваем меж собой, куда, дескать, это она пошла. И что же, матушка?.. К Елфимову. Мы подале пошли, в кусточках сели, смотрим, что тут у них будет. Видим — Танюша в Елфимово таково скоро пошла, бегом, почитай, побежала, а Марья Гавриловна во Вражке-то присела... Прошло времени этак с полчаса, а пожалуй и боле, глядим, идет Танюша, да не одна, матушка... Вот грех-от какой!.. Вот оно, матушка, какое дело-то вышло... С кем связалась-то!.. Господи, твоя воля!

— Да с кем же? Не томи, сказывай скорее, — с горячим нетерпением спрашивала Виринею Манефа.

— С колдуньей, матушка... С Егорихой!.. — сказала Виринея и, перекрестясь, примолвила: — Прости, Господи, моя согрешения!..

— С колдуньей! — как полотно побледнев, прошептала Манефа. — От часу не легче!.. Что ж это такое!.. Что с ней содеялось?..

— Сели они, матушка, во Вражке, спервоначалу все трое, потом Танюша пошла в сторону... Марья-то Гавриловна вдвоем с Егорихой осталась... И что-то все толковали, да таково горячо, горячо, матушка... Больше часу сидели они да разговаривали... Посидят, посидят да походят во Вражке-то, потом опять сядут... А на расставанье, матушка, целовалась Марья-то Гавриловна с ней, с колдуньей-то. И Танюша целовалась... Поганились, матушка, поганились — не солгу, сама своими глазами видела... Вот и матушку Евсталию спроси и Филаретушку, не дадут солгать... Вот какие дела-то у нас без тебя были!.. Вот какие дела!.. До чего дошла, подумашь!.. Чего тут дивить, что с молодым парнем сбежала, чего дивить?.. Видимо дело, что вражья сила тут действовала... Она окаянная, треклятая эта Егориха!.. Никто больше, как она!

— Ну, хорошо, — после долгого молчанья молвила

Манефа. — Ступай с Богом, Виринеюшка... Допивайте чай-от, девицы, да Василья Борисыча, гостя нашего дорогого, хорошенько потчуйте, а я пойду... Ах ты, Господи, Господи!.. Какие дела-то, какие дела-то!..

Через день после того, с солнышком вместе, поднялась обитель Манефина. Еще с вечера конюх Дементий с двумя обительскими трудниками подкатил к крыльцу игуменьиной стаи три уемистые повозки с волчками и запонами из таевочной циновки¹. Собравшиеся в путь богомолки суетливо укладывали в них пожитки и припасенные матушкой Виринеей съестные запасы. Дементий с работниками мазал колеса.

Больше всего Фленушка хлопотала. Радехонька была она поездке. «Вдоволь нагуляемся, вдоволь натешимся, — радостно она думала, — ворчи, сколько хочешь, мать Никанора, бранись, сколько угодно, мать Аркадия, а мы возьмем свое». Прасковья Патаповна, совсем снарядившись, не хлопотала вокруг повозок, а, сидя, дремала в теткиной келье. Не хлопотал и Василий Борисыч. Одевшись по-дорожному, стоял он возле окна, из которого на сборы глядела Манефа.

— Леса горят, — сказала игуменья, глядя на серо-желтое, туманное небо, по которому без лучей, без блеска выплывало багровое солнце. Гарью еще не пахло, но в свежем утреннем воздухе стояла духота и какая-то тяжесть.

— Далёко, — молвил Дементий, оглядев со всех сторон тусклый небосклон. — Дыму ни отколь не видно... Верст за сто горит, не то и больше.

— То-то смотрите — в огонь не угодите, — пристально озирая окаймленный черной полосой леса край небосклона, сказала конюху Манефа.

— Бог милостив, матушка... Зачем в огонь?.. — отозвался Дементий.

— Лесной пожар хóдок. Не оставить ли до другого времени вашего богомолья? — сказала игуменья, обращаясь к Аркадии.

Не ответила Аркадия, промолчала и мать Никанора,

¹ Таевочная, иначе крышечная циновка — та, что делается в три аршина длины и полтора ширины. Каждого размера циновка имеет свое название: романовка, баковка, казанка и т. д.

слова не сказали и Дементий с работниками... Только пристальней прежнего стали они поглядывать на закрой неба¹, не увидят ли где хоть тоненькую струйку дыма... Нет, нигде не видно... А в воздухе тишь невозмутимая: пух вылетел из перины, когда грохнули ее белицы в повозку, и пушинки не летят в сторону, а тихо, плавно опускаются книзу. И по ветру нельзя опознать, откуда и куда несется пожар.

— «А что, как матушка Манефа, убоясь пожара, да не пустит нас в леса, отложит богомолье до другого времени?» — подумала Фленушка и от той думы прикручинилась. Ластясь к игуменье, вкрадчиво она молвила:

— Не бойся, матушка. Далёко горит, нас не захватит. Часу не пройдет после выезда, как будем мы на Фотиньиной гробнице, от нее до могилки матушки Голиндухи рукой подать, а тут и кельи Улангерские. Вечерен не отпоют, будем в Улангере.

— За нынешний-от день я не боюсь, — молвила Манефа, — а что будет после, если по лесу огонь разойдется да в нашу сторону пойдет?

— Справим завтра каноны над пеплом отца Варлаама, над могилками отца Илии и матушки Феклы, — продолжала Фленушка. — От Улангера эти места под боком. А послезавтра поглядим, что будет. Опасно станет в лесу — в Улангере останемся, не будет опасности, через Полёмы на почтову дорогу выедем — а там уж вплоть до Китежа нет сплошных лесов, бояться нечего.

— Как по твоему рассуждению, мать Аркадия? Пускать ли вас? — обратилась Манефа к уставщице.

— Вся власть твоя, матушка, — ответила она. — Как твое произволение будет.

— Не быть бы беды от огня, вот чего опасаясь, — сказала Манефа.

— Коли что, так в Улангере подождем огненного утишенья. Разве что ко Владимирской в Китеж-от не поспеем. А то бы, кажись, ничего.

— Так с Богом! Поднимайтесь в путь, Господь вас храни, — решила игуменья. — Смотри же, Аркадыюшка, все Расскажи матушке Юдифи, что я тебе наказывала, не забудь чего. Да чтобы со всеми ихними мате-

¹ Закрой неба — нижний край видимого горизонта.

рями беспременно на Петров день к нам пожаловала... Слышишь?

— Слушаю, матушка, слушаю: все передам, все до капельки, — сказала уставщица.

— Ну вот, Василий Борисыч, и посмотришь ты на наши места богомольные, помолишься, — обращаясь к нему, сказала Манефа. — Теперь время тихое, по лесам великих сборищ не бывает, кроме что на Владимирскую на Китеже. Там великое собрание будет. Что в Духов день у Софонтия, что на Владимирскую на озере Светлояре у Китежа, больше тех собраний нет. Да и там не то уж теперь, что в прежние годы. Прежде, бывало, народ-от тысячами собирается, а теперь и две сотни сойдется, так на редкость. Иссиякает ревность по вере, люди суству возлюбили, плотям стали угождать, мамоне служить... Последни времена!..

Не отозвался на речи Манефы Василий Борисыч.

— Хоть твое дело взять, — продолжала она после недолгого молчанья. — Богу служил, церковных ради нужд труды на себя принимать, а теперь и тебя суета обуяла.

— Как же так, матушка? — спросил Василий Борисыч.

— Да разве по торговле аль по фабрике в приказчиках жить — Богу значит служить? — с грустной улыбкой молвила игуменья.

— Еще не решено, буду аль не буду я служить у Патапа Максимыча, — ответил Василий Борисыч. — А и то сказать, матушка, разве, будучи при мирских делах, церкви божисей люди не служат? Много тому видим примеров — Рахмановых взять, Громовых. Разве не послужили Господу?

— Так-то оно так, Василий Борисыч, — молвила Манефа. — Но ведь сам ты не хуже моего знаешь, что насчет этого в Писании сказано: «Честен сосуд сребрян, честней того сосуд позлащенный». А премудрый приточник¹ что говорит? «Мужа тиха любит Господь, суету же дел его скончает...» Подумай-ка об этом...

— Подумаю, матушка, подумаю, и не один еще раз с вами посоветуюсь, — сказал на то Василий Борисыч. — До сроку времени еще много.

Привели шестерик коней жирных, раскормленных

¹ Писатель притчей, царь Соломон.

д'онельзя, лоснится и блестит на них гладкая шерсть, ровно маслом вымазал их Дементий. Скитницы лоша-
дям овса не жалеют, при малой работе на хорошем
корму толстеют кони и жиреют не хуже своих хозяек.
По паре в каждую повозку заложили, матери и белицы
уселись на грузные пуховики и подушки. В передней
повозке тщедушный Василий Борисыч с толстой устав-
щицей Аркадией сел. Хотела она тут же усадить и
мать Никанору, но двух матерей с московским послом
повозка вместить не могла; села мать Никанора с Пра-
сковьей Патаповной в другую. В третью повозку Марь-
юшка с Фленушкой сели.

С благословением Манефы и с пожеланьями добро-
го пути ото всех обительских стариц двинулись из
обители повозки и пересхали одна за другою Камен-
ный Вражек, направляясь к окружавшему Комаровский
скит лесу.

Забившись с головой в постелю и слыша стук
съезжавших с обительского двора повозок, безотрадно
заливалась слезами и глухо рыдала московская канон-
ница Устинья. Как ни просила, как ни молила она,
Манефа не сжалилась на слезы ее, не пустила на бого-
молье... Ключом кипело пылкое сердце пригожей кан-
онницы, когда на сорочинах на ее глазах Василий
Борисыч с Парашей за одним столом сидел... Разума
теперь решалась при одном помышлении, что целу не-
делю ее погубитель с нею станет по лесам разъез-
жать... Эх, власть бы да воля!.. Дала бы себя знать Ус-
тинья Московка!.. Плохо пришлось бы московскому
гостю, да не сдобровать бы и Прасковье Патаповне.

Только что въехали в лес, Фленушке вспало на ум
до гробницы Фотиньи пешком пройтись. Много не ду-
мавши, вылезла она с Марьюшкой из повозки и, по-
дойдя к другой, стала с собою звать Парашу. Ленива
была на ходьбу Прасковья Патаповна, но все ж ей ка-
залось не в пример веселей идти с подругами возле
дороги, чем лежать на пуховиках с храпевшей во всю
ивановскую матерью Никанорой. Подозвали девицы и
Василия Борисыча; и он покинул толстую уставщицу,
начавшую было нескончаемые расспросы о том, как в
Белой Кринице за митрополичьей службой справляют
полиелей.

И матери Аркадии и матери Никаноре не охота бы-
ла с мягкими перинами расставаться; то ли дело ле-

жать да дремать, чем шагать по засоренному валежни-
ком лесу, либо по тоненьким, полусгнившим кладкам
перебираться через мочажины и топкие болотца. Стро-
го-настрого девицам старицы наказали не отходить да-
леко от дороги, быть на виду и на слуху, и принялись
дремать в ехавших шагом повозках.

Все деревья в полном соку, все травы цветут, благо-
ухают. Куда ни оглянись, все цветы, цветы и цветы.
Вон там, меж чернолесья, выдалась небольшая сухая
полянка — ровно камчатными скатертями укрыта она:
то кашка, медуница и пахучий донник¹ в цвету стоят;
бортевые пчелы, шмели, осы и шершни² тучами но-
сятся над ними, громко жужжа на разные голоса. Там
желтеет зверобой, синеют темно-голубые бубенчики и
середь яркой изумрудной зелени белеет благовонная
купёна³ и алеют зрелые ягоды костяники. Перистые
ярко-зеленые ветки папоротника густой бахромой вис-
нут над сонными лесными ручьями, полными чистой,
студеной, но от смолистых корней окрашенной в бу-
рый цвет водою...

Стоном стоят лесные голоса, без умолку трещат в
высокой сочной траве кузнечики и кобылки, выются
над цветами жучки и разнообразные козявки, воркуют
серосизые с зеленой шейкой вяхири и красногрудые
вётютни, как в трубу трубят черная желна, стучат по
деревьям дятлы, пищат рябчики, уныло перекликаются
либо кошкой взвизгивают желтенькие иволги, трещат
сойки, жалобно кукуют кукушки и на разные голоса
весело щебечут свиристели, малиновки, лесные жаво-
ронки и другие мелкие птички...⁴ И все эти звуки сли-
ваются в один стройный гул, полный жизни и доволь-
ства жизнью.

¹ Кашка, или тысячелистник — *Achillea millifolium*. Медуни-
ца — *Pulmonaria officinalis*. Донник — *Millolotus officinalis*.

² Бортевая пчела, приютившаяся в борти — долбленом дереве,
нарочно для пчел в лесу приготовленном. Шмель, или земляная пче-
ла, — *Bombus*. Оса — *Vespa*. Шершень — самая большая порода осы.

³ Зверобой — *Figularia Sibirica*. Бубенчики — *Iris Sibirica*. Ку-
пёна, из породы ландышей — *Convallaria bifolia*.

⁴ Вяхирь, дикий голубь — *Columna palumbus*. Ветютень, лесной
голубь — *Columna oenas*. Желна, большой дятел, поедающий
пчел, — *Picus martius*. Иволга — *Oriolus galbula*. Соя, или сойка,
лесная птичка с хохолком и голубым зеркальцем на горлышке, из
рода ворон — *Corvus glandorius*. Свиристель, лесная птичка со
скворца, с ярко-алыми лепестками на крылышках — *Ampelis gar-
rulus*.

— Всякое дыхание хвалит Господа, — с умилением молвил Василий Борисыч, прислушиваясь к лесным голосам.

— Птички распевают и вся недолга́, — отозвалась Фленушка. Ей леса были не в диковину.

Матери в повозках молчали.

Вот выдалась прогалинка. Будто розовыми шелковыми тканями покрыта она. То сон-трава¹ подняла кверху цветы свои. Окраины дороги также сон-травой усыпаны. Бессознательно сорвал один цветок Василий Борисыч. Он прилип к его пальцам.

— Брось, брось! Что ты делаешь, Василий Борисыч?.. Брось, говорят тебе... Не след трогать сию траву, грех! — закричала из повозки мать Аркадия.

— Что ж за грех в том, матушка? — спросил уставщицу Василий Борисыч, кидая сорванный цветок.

— А забыл, что в «Печерском патерике» про него пишется? Про сей самый цветок, именуемый «лепок»? Это он самый «лепок» и есть, — говорила мать Аркадия. — Видишь, к пальцам прилип!.. Вымой руки-то скорей, вымой... Хоть из колдобинки зачерпни водицы, вымой только скорее.

Сплеснул Василий Борисыч руки из мутной колдобины и, вытирая их рушником, поданным Аркадией, молвил:

— Что ж про эти цветы в патерике писано?.. Не припомнится что-то, матушка...

— Не могу и я теперь доподлинно сказать тебе, в патерике ли то писано, у Нестора ли в летописце. Домой воротимся, укажу, — учительно сказала Аркадия. — А писано вот что: «Во святей киевской печерской обители преподобных Антония и Феодосия бе старец именем Матвей. И бе той старец прозорлив. Единою стоящу ему в церкви на месте своем, возвед очи своя, позре по братии, иже стоят поюще по обема странама. И видя обходяща их беса во образе ляха в луде² и носяща в приполе цветки, иже глаголется «лепок». И обходя возле братии, взимая из лона лепковержаше на кого любо: аще прилепляшесь кому цветок в поющих от братии, и той мало постояв и расслаблен бываше умом, исходяще из церкви, шед в келию и

¹ Сон-трава, сонуля, дрема — *Viscaria vulgaris*.

² Верхняя одежда, плащ.

спа; аще ли вержаше на другого и не прильняше к нему цветок, стояше крепок в пеньи, дондеже отпояху утрению»¹. Вот это тот самый бесовский цветок и есть. По народу «сонулей» зовут его, «дремой», потому что на сон наводит, а по-книжному имя ему «цвет лепок». Не довлест к нему прикасаться, понеже вражия сила в нем».

— У нас на деревне сказывают, что охотник один осенью по лесу ходил, — начала Марьюшка головщица. — Ходит он по лесу, видит, медведь землю дерет. Выдрал медведь корешок от которой-то травы и зачал его лизать. Лизал, лизал, да ровно хмельный и стал, насилиу отошел от места. Охотник возьми тот корешок, да и ну сам лизать его по-медвежьему. Полизал, охмелел и залез в пустую берлогу. Да в ней до Василия Парийского², когда медведь из берлоги выходит, и проспал. Проснулся, ан корешок у него в руках. Стали по тому корешку обыскивать, от какого он зелья, и дошли, что тот корень — сон-трава, вот эта самая.

Не ответил никто на слова Марьи головщицы. Все промолчали, идучи друг за дружкой по узкой тропинке. Подошла Фленушка к Василию Борисычу и тихонько сказала:

— А захочет молодец судьбу свою узнать, пожелает он увидеть во сне свою суженую — подложить ему под подушку липкий цветочек этой травы. Всю судьбу узнает во снах, увидит и суженую... Не сорвать ли про тебя, Василий Борисыч?.. Так уж и быть, даром что бесовский цвет, ради тебя согрешу, сорву.

— Не для чего мне судьбу узнавать, — не глядя на Фленушку, ответил Василий Борисыч.

— Однако ж... — заговорила было Фленушка.

Но громкий голос Аркадии покрыл ее полусшепот.

— И в раи Господне росло древо смерти, и ходил змей, в него же вселился диавол. Диво ли, что теперь на нашей трудной земле и древа, и травы, и скоты, и звери, и всякие гады ползущие не от Бога, а от врага, не славу божию исповедуют, а вражеским козням на человеческую пагубу служат? Писанием умудренному уму подобает познати каждой вещи извещение — к до-

¹ Это сказание находится и в Печерском патерике и в летописи преподобного Нестора.

² Апреля 12-го.

бру она или к худу. В том и премудрость. И нам, малым и скудоумным, не вместити бы тоя премудрости, аще бы на святых отец писания просвещали нас... Так ли говорю, Василий Борисыч?.. Да полно ты, толчея!.. Чего без пути толчешься, когда люди умней тебя говорят! — прикрикнула она на Фленушку, а Фленушка, подсмеиваясь над ее речами, слегка дергала за кафтан Василья Борисыча.

— Премудрости Господни исполнена земля, — отозвался Василий Борисыч. — Всяка жива тварь на службу человеку, и всяк злак на пользу его.

— Да полно ли вам? — брюзгливо молвила ему причудливая Фленушка. — И в обители книжное пуще горькой редьки надоело, а вы с ним и на гулянке. Пущай ее с Никанорой разводит узоры. Попросту давайте говорить. В кои-то веки на волю да на простор вырвались, а вы и тут с патериком!.. Бога-то побоялись бы!

— Это я так, Флена Васильевна, — сказал Василий Борисыч, отходя немного в сторону за кустики. — Нельзя же — старшие... А ведь бы, кажись, отсюда не вышел. Очень уж хорошо.

— Надоело бы, — подхватила Фленушка и, быстро обратясь к Марьюшке, вскрикнула, указывая ей рукой в перелесок: — Глянь-ко!.. костяники-то, костяники-то что!.. Видимо-невидимо!..

Любила ту ягоду Марьюшка; не ответя ни слова, кинулась она в сторону и, нагнувшись, принялась собирать алую костянику. Василий Борисыч шел сзади телег, нагруженных матерями. С одного бока бойко идет развеселая Фленушка, с другого павой выплывает Прасковья Патаповна.

— Куда уж вам в лесах пребывать! — игриво продолжала Фленушка. — Разом бы надоело.

— Никакому человеку такая красота надоесть не может, — отозвался Василий Борисыч. — Нельзя в таком месте соскучиться: и дышится вольнее, а на душе такой мир, такое спокойствие.

— Что ж не идете пустынножить, коли так леса полюбились вам? — лукаво улыбаясь, молвила Фленушка. — Вон там, подальше отсюда, в Полеме, старцы отшельники век свой в лесу живут, с утра до ночи слушают, как птички распевают. И вам бы к ним, Василий Борисыч.

— Что ж? — ответил он. — Добрая жизнь, богоугод-

ная!.. Благой извол о Господе оставить мир и пребывать в пустыне. Все святые похваляют житие пустынное... Только не всяк может поднять такую жизнь.

— Да, не всяк может, — думчиво молвила Фленушка, а потом, как бы вострепелувшись, прибавила: — Не про нас с вами такая жизнь, Василий Борисыч! На́ это мы с вами не сгодились.

— Отчего ж так? — улыбаясь, спросил Василий Борисыч.

— А оттого, — с лукавой усмешкой ответила Фленушка, — что божье у нас на языке, а, мирское на уме... Правду ль сказала?.. А?.. — прибавила она и весело захохотала.

— Не знаю, что на́ это сказать... Не пробовал в пустыне жить, — молвил Василий Борисыч.

— И не пробуйте, — с притворной скромностью, опустив глаза, ответила Фленушка. — Разве вдвоем... чтобы не очень скучно было... — примолвила она, улыбаясь.

— Вдвоем-то, конечно, повеселее, — сказал Василий Борисыч, тоже улыбнувшись. — По крайности есть с кем слово перемолвить.

— Конечно, — согласилась Фленушка. — Живучи вдвоем, друг на дружку взглянешь да улыбнешься, а живучи в одиночестве, на себя глядя, только всплечешься... Ты, Параша, как о том думаешь?

— Не знаю, — вяло ответила Прасковья Патаповна.

— Уж будто никогда о том и не думала?.. И на мысли никогда о том не впадало?.. — стала приставать к ней Фленушка.

— Не помню, — молвила Параша, порывисто отвернувшись от подруги, а сама, взглянув на Василия Борисыча, ни с того ни с сего заалела, как та костяника, что сбирала Марья головщица.

— Ай, батюшки светы!.. Ягод-то что, ягод-то!.. — вскрикнула Фленушка и живо бросилась в сторону, оставя Парашу вдвоем с Васильем Борисычем.

Того в жар кинуло. Повозки с сонными матерями уехали вперед, Фленушка с Марьюшкой, собирая ягоды, скрылись в лесной чаще. Никого кругом, а он с глазу на́ глаз с приглянувшейся ему пышкой-девицей.

Слова не вяжутся. Куда сколь речист на беседах Василий Борисыч — жемчугом тогда у него слова катятся, льются, как река, а тут, оставшись с глазу на

глаз с молодой пригожей девицей, слов не доищется, ровно стена, молчит... Подкосились ноженьки, опустились рученьки, весь как на иглах... Да, и высок каблучок, да подломился на бочок.

Соберется с духом, наберется смелости, скажет словечко про птичку ль, в стороне порхнувшую, про цветы ли, дивно распутившие яркие лепестки свои, про белоствольную ли высокую березу, широко развесившую свои ветви, иль про зеленую стройную елочку, но только и слышит от Параши: «да» да «нет». Рдеют полные свежие ланиты девушки, не может поднять она светлых очей, не может взглянуть на путевого товарища... А у него глаза горят пылом, блещут искрами.

«Ох, искушение! — думает, негодуя на себя, Василий Борисыч. — С Устиньей в два слова обо всем перемолвил, а с этой прильпе язык к гортани моей!»

А сам, идя рядышком с Прасковьей Патаповной, понемножку да потихоньку к ней близится... Та краснеет, сторонится... К такому месту подошли, что некуда сторониться — густо разрослись тут кусты можжевельника. Василий Борисыч будто невзначай коснулся руки Парашиной. Она дрогнула, но руки не отняла... И как же заныло, как сладко защемило сердце девушки, когда он взял ее за руку...

Идут, молчат... Слегка пожимает Василий Борисыч руку Параши... Высоко у нее поднимается грудь, и дыхание ее горячо, и не может она взглянуть на Василия Борисыча... Но вот и сама пожала ему руку... Василий Борисыч остановился, и сам после не мог надивиться, откуда смелость взялась у него — обвил рукою стан девушки, глянул ей в очи и припал к алым устам дрожащими от страсти губами...

Эх, леса-лесочки, алые цветочки! Век бы тут гуляти, алы цветы рвати, крепко обниматься, сладко целоваться!..

— Поладили, — шепнула Фленушка головщице, осторожно выглядывая из-за кустов можжевельника на Василия Борисыча с Парашей...

— Что тут хорошего-то? — брюзгливо отозвалась Марьюшка.

— Одной, что ли, тебе с саратовцем целоваться? — досадливо молвила ей Фленушка. — Всяка душа сладенького хочет. Не обсевок в поле и Параша.

— Так-то оно так, — сказала Марьюшка, — а как матушка узнает, тогда что будет?

— Будет так будет, а не будет, так что-нибудь да будет, — отрезала Фленушка и громко запела удалую песню:

Курёвушка, куревá ¹
Закурила, замела.
Закутила-замутила
Все дорожки, все пути:
Нельзя к милому пройти!
Я пойду стороной,
С милым свижуся,
Поздороваясь:
«Здравствуй, миленький дружок,
Ко мне в гости гости
Да подольше сиди:
С стороны люди глядят,
Меня, девушку, бранят.
Уж как нынешние люди
Догадливые,
Догадливые, переводливые!
Ни кутят, ни мутят,
С тобой, милый, разлучат.

Не слухая Фленушкиной песни, за опушкой леса по другую сторону дороги, шли рука в руку Василий Борисыч с Парашей... Шли молча, ни тот, ни другая ни слова... Но очи обоих были речисты...

Половину пути прошли. Подошла к парочке Фленушка с Марьюшкой. Тут с дороги поворот, лесная тропа до могилки матушки Фотиньи пойдет узенькая, в повозках тут не проехать. Разбудили от крепкого сна уставщицу да старицу Никанору и, оставя лошадей с работниками на дороге, вшестером пошли ко «святому месту» по кладкам, лежавшим на сырой болотистой земле. Гуськом надо было идти. Впереди выступала мать Никанора, за нею уставщица Аркадия, потом Марьюшка, Фленушка и Параша. За Парашей, всех позади, шел Василий Борисыч. Кладки были узенькие, местами отставали одна от другой на четверть и больше. На руку было это Василью Борисычу. Никто назад не оглядывался, каждая себе под ноги смотрела.

Учительная мать Аркадия меж тем громогласно читала наизусть поучение о прелести и суете мира сего.

¹ Так в северных и восточных губерниях зовут вьюгу.

Далеко раздавалась по лесу громкая, протяжная речь ее.

— «Жития нашего время яко вода на борзе течет, дние лет наших яко дым в воздухе развеваются, в мале являются и вскоре погибают. Мнози борются страсти со всяким человеком и колеблют душами. Яко же волны морские — житейские сласти, и похоти, и желания восстают на душе... О человече! Что твориши несмысленне, погубляеши время свое спасительное, непрестанно весь век живота твоего, телу своему угождая? Что хочеши?..»

Гнилая кладка подломилась, и проповедница стремглав полетела в болото. Грузно шлепнулась она в грязь, поросшую осокой и белоусом¹. Насилу вытащили ее Никанора с Марыюшкой.

Не стерпела Фленушка: во всю мочь расхохоталась над карабкавшейся в грязи уставщицей. И досталось же ей за то от Аркадии. Инос зачала поучение, щедро пересыпая бранными словами.

— Чему заржала, окаянная? — визгливо шумела она, отряхая жидкую грязь, со всех сторон облепившую иноческою ее одеянье. — Тряслось бы над тобой да висло, беспутная!.. Чирей бы те в ухо да камень бы в брюхо!.. Чем бы пожалеть старуху, а она зубы скалит, пересмеивает... Чтоб тебя пополам да в чрепья!.. И угораздила меня нелегкая с этакой шелапутницей на богомолье идти!.. Гулянки у тебя на уме только да смехи, о молитве и думать забыла... Околеть бы тебе без свечей, без ладану, без гроба, без савану!.. Искуши меня, Господи, до макова зернышка, коль не расскажу я про все твои проказы матушке!.. Задаст она тебе, задаст, взъерепенит бесстыжую, вскочит косы-то!.. Погоди ты у меня, погоди!..

А Фленушка пуще да пуще хохочет над старицей. Втихомолку и Марыюшка с Парашей посмеиваются и Василий Борисыч; улыбается и степенная, чинная мать Никанора. И как было удержаться от смеха, глядя на толстую, покрасневшуюся с досады уставщицу, всю в грязи, с камилавкой набок, с апостольником чуть не задом наперед. Фленушка не из таковских была, чтоб уступить Аркадии. Чем та больше горячилась,

¹ Осока — *Carex visicaria*. Белоус — *Nardus stricta*.

тем громче она хохотала и больше ее к брани позадоривала.

И Бог знает, чем бы это кончилось, если б шедшие гуськом богомольцы не дошли, наконец, до маленькой полянки, середь которой стоял почерневший от дождей и ветхости, ягелем поросший, голубец. То была гробница добрым подвигом подвизавшейся матери Фотиньи.

До Питиримова разоренья на этом месте стояла женская обитель старицы Фотиньи Нижегородки. Вблизи от нее, с версту либо меньше, другая обитель стояла старицы Голиндухи. Много в ту пору на Керженце и в лесах Чернораменских учительных и доброго жития стариц бывало. Строгою жизнью, добрыми подвигами славились игуменьи Шарпанских обителей Марья да Федосья да начальная старица Елховского скита мать Иринарха. Великою начитанностью, острым разумом и учительным словом во все концы старообрядства гремела начальная старица Капитолина Ярославка, диаконова толка, да старица Анисья Козьмодемьянка. С самим Питиримом они препирались и крепкими адамантами древлего благочестия почитались; но не было такой постницы, не было такой подвижницы, как начальная старица Фотинья; и не было такой учительной и начитанной игуменьи, как мать Голиндуха. К Фотинье с разных сторон сходились старообрядцы поучиться добрым порядкам и подвижничеству, у Голиндухи соборы даже собирались. Однажды на Тихонов день¹ многие старцы и старицы, именитые люди и духовного чина к матери Голиндухе в обитель сходились разбирать поподробну «спорные письма» протопопа Аввакума и обрели в них несогласных речей со святых отец писанием много, за то и согласились отложить те письма. И настало оттого разделение керженских старообрядцев на Софонтиево и Онуфриево согласия. И по времени те, что Софонтьева толка держались, по многих спорах Онуфриевых одолели, и тому одолению много послужили мать Фотинья да мать Голиндуха. Оттого и память их донине на Керженце честно хранится, оттого на места разоренных

¹ 16-го июня 1708 года.

скитов, на ихние могилы и ходят Богу молиться, поминны творить по крепким ревнительницам старообрядства.

На Фотиньиной полянке стихли и брань уставщицы и Фленушкин хохот. Положив семипоклонный нача́л, замолитвовала Аркадия канон за умерших. Отпели канон над могилой Фотиньи и помянули ее взятыми из Виринеиной келарни кутьей да холодными блинами.

Отправив службу по Фотинье, богомольцы пошли дальше в лес по тоненьким кладкам. Тут стоячее болото было жиже, промеж зеленой осоки и пышных ярко-желтых купавок¹ сверкали глубокие лужи, как пеной подернутые железною ржавчиной. Между ними попадались «вадьи» и «окна»; угодишь туда — нет спасенья: пиши к родным, творили бы поминки... Опасливей прежнего идут гуськом друг за дружкой богомольцы, боясь, чтоб опять кому не попасть в болото, как судил Господь попасть уставщице. Сухая полянка матери Голиндухи была гораздо обширней, чем у Фотиньи; почти сплошь была она крыта ярким зелено-бурым мохом, и на нем росло множество несозрелой еще брусники.

И над Голиндухиной могилкой справили обычную службу и над нею пропели канон и кутьей да блинами помин сотворили. Дальше гуськом по тонким кладкам пошли и вышли на дорогу, где их ожидали терзаемые оводом кони.

— Подите-ка вы наперед, — молвила мать Аркадия конюху Дементью и работникам, — а я тем временем переменю одежду. Ишь грех какой! Как изгрядзилась!

Осталась Аркадия с Никанорой да с Марьюшкой головщицей. Давай перины поднимать да узлы развязывать. Достала уставщица чистое белье и запасное верхнее платье. Переодевшись, села в переднюю повозку, а Никанора с Марьюшкой в задние две поместились, и так поехали одна за другой догонять ушедших вперед. Скоро нагнали и по-прежнему разместились. Место возле дороги было посуше; девицы с Васильем Борисычем по-прежнему пошли друг за дружкой по лесной опушке, по-прежнему отдалился московский посол с Парашей, по-прежнему вел ее за белую руку, по-прежнему прижимал ее к сердцу и срывал с губ Парашы горячие поцелуи. Ни он, ни она ни слова... К чему

¹ Водяной лапушник, *Nymphaea*.

слова, зачем длинные речи?.. И без того знают, что полюбили друг друга. Не любит русский человек про любовь разговоры водить — молчком все больше...

Багровое солнце, плывя в серо-желтом тумане, давно уж с полдён опустилось, когда путники наши добрались до Улангера. Чищенина¹ была тут обширная и сплошь покрыта выколосившимся и налившимся уже хлебом. Середь чищенины, со всех сторон окаймленной зеленеющими пожнями, по белоснежному кварцевому песку струилась светлая речка Козленец. По одну ее сторону стоял скит Улангерский с десятью обителями, по другую Фундриковский — там было две обители.

Еще до Питиримова разоренья стоял на Козленце небольшой скиток Фундриков, место было затишное, укромное, разоренье не коснулось того скита. Гораздо позже, вскоре после чумного года и пугачевщины, разрослось здесь скитское население — появились новые обители и за речкой супротив Фундрикова. То был Улангер.

До того улангерские келейницы жили верст за сто оттоле в лесах Унженских; там у них был скит большой и богатый. Тем по старообрядству он славился, что немало в нем живало дворянок: чухломских, галицких, пошехонских. В старые годы предки тех «бар», как зовут их в народе, бывали на службах великих государей, верстаны были поместьями и жалованы ими в вотчину. Внуки их, правнуки, засев в лесах, завалившись в болотах, всегда «в нетях бывали», не являясь на государеву службу. Оттого жалованных земель у них не прибывало, а каждого из бар Господь благословлял чадородьем не меньше плодущего рода — попов да дьяконов. Именья дробились, и बारे вконец обедняли. Случалось, что у семи дворян бывала одна крепостная душа и два либо три загона дрянной землицы. Жили они беднее крестьян, а чванства и родовой спеси было столько, что с каждого хватило бы на дюжину богатых вельмож. Работать им нельзя, потому что «баре», а служить тоже нельзя, потому что очень уж неотесаны, да и грамоте редкий из них учился. От крестьян отличались только запонкой на рубаше да кружившим их-

¹ Место, где лес вырублен, выкорчеван и сожжен под посев; пашня, расчищенная из-под лесу.

ние головы званием «барина». Народ не уважал бар, смеялся над тунеядцами и сложил про них две меткие пословицы: «бара — по грошу пара» да «семь дворянок на одной кобыле верхом едут». Такие-то бары, вдовы барыни и боярышни наполняли старообрядские скиты, находившиеся от них поблизости. Таков был и Старый Улангер.

Долго там проживали они. Скит Улангерский прославился, дорожили им московские и других городов старообрядцы. «Знайте, дескать, что и меж нас есть родовые дворяне благородные», и щедрой рукой сыпали в Улангер подаяния. И жизнь в том скиту была безопасней и привольнее, чем по другим — и попы и полиция не так смело к нему подступали.

С умилением и гордостью рассказывают скитницы про Старый Улангер. Житие, говорят, было там странное, широкое, небоязное, порядки добрые, строгие, и помногу беглых попов в том скиту пребывало. И колокольный звон, и крестные ходы вокруг скита и по окольным полям, и свободное отправление погребения с громогласным пением и целым строем попов во всем чину своем — все это бывало в захолустном, забившемся в дремучие леса Улангере и придавало ему блеск и славу по всему старообрядству. И неведомо отчего прогневался Господь на Улангерские обители: в пору необычную, на самое Богоявление нашла грозовая туча, и молния ударила в главную скитскую часовню. Поднялся вихрь и раскидал поlying по всему скиту; часа через два ничего от него не осталось. Со страха и ужаса по всем сторонам разбежались улангерские матери.

Летом галицкая боярыня Акулина Степановна из рода Свечиных, с племянницей своей Федосьей Федоровной Сухониной, собрала во един круг разбежавшихся матушек, пошла с ними вкупе на иное место и на речке на Кóзленце, супротив старого скита Фундрикова, ставила обитель Спаса Милостивого. По малом времени собрались сюда и другие скитские жители, и ставлено было на Кóзленце двенадцать обителей, десять женских, две мужские. Дворянского рода белицы и старицы до последнего времени не переводились в Улангере, и хоть этот скит далеко́ не был так богат, как Комаровский, Оленевский или Шарпанский, но славу имел большую, потому что в нем постоянно при-

витами бедные дворянки чухломские, галицкие и пошехонские. И каких сказок про них не рассказывали: и близки-то они ко двору, и имеют-то среди царских вельмож близких сродников, и есть-то у них жалованные грамоты, и теми-де грамотами на веки вечные обеспечена неприкосновенность скита Улангерского.

И что было с пошехонскими, галицкими и чухломскими «барами», то случилось и с потомками их, улангерскими келейницами. Сколько было у них бедноты и наготы в сравнении с другими скитами, рассказать того невозможно, а спеси боярской в сотню раз было больше того. Как можно посылать по городам за сборами, как можно канонниц в Москву отправлять? Сама Москва должна двинуться на речку. Козленец поклониться скиту дворянскому! Знать никого не хотят — ходят ребром, глядят козырем. На что нам богатство, была бы спесь, была бы перед нами пыль, люди бы перед нами сторонились... Оттого и забеднел скит Улангерский.

В последнее время перестали дворянской славой кичиться в Улангерских обителях. Дворянок осталось там мало; да и те были без зубов, с печи не слезали, доживая на ней долгий век свой. Но старая спесь не совсем вымерла в Улангере — не со многими обителями других скитов тамошние матери знакомство и хлеб-соль водили. Обитель Манефина в славе была и в почете, оттого знались с нею и дорожили знакомством улангерские матери, особенно игуменья самой большой обители, мать Юдифа, из ярославского купеческого рода. К ней-то и въехали усталые донельзя комаровские богомольцы.

Глава семнадцатая

Девушка, что ловчая птица. Трудно сокола выносить, а перевабишь¹, сам на руку станет летать. Недоторгой-царевной глядела Прасковья Патаповна, выезжая из Комарова, а когда добрались богомольцы до Уланге-

¹ Сокола и другую ловчую птицу носят на руке, поколь не заснет, и таким образом приручают. Это называется вынашивать. *Перевабить* — перезвать сокола, переманить вабилом с места. Вабило — пара птичьих крыльев; ими машут, посвистывая, для призыва выношенной ловчей птицы.

ра да разместились по кельям и светлицам Юдифиной обители, красна девица встосковалась: «Где-то радость моя?.. Что-то он, миленький дружок, поделывает?..»

И Василью Борисычу не сидится на месте. Радехонька была мать Юдифа знакомому уж ей московскому уставщику. Еще когда певчая стая Манефиной обители ездила в Осиповку хоронить Настю, Василий Борисыч, оставаясь в Комарове без дела, побывал у матери Юдифы и много старался склонить ее к признанию владимирского архиепископа.

Усадила Юдифа Василья Борисыча в почетный угол, угощает его и чаем и сластями, заводит с ним речи про австрийских архиереев. Но московскому послу не до посольства. Не архиерей у него на уме, а белые атласные плечи; не владыку Антония он на памяти держит, про то сладко вспоминает, как, гуляя по лесочку рука об руку с Прасковьей Патаповной, горячо обнимал ее, целовал в уста алые и в пухлые, мягкие щеки. И дивится словоохотливая Юдифа его молчанию; отчего это, думает она, то и дело в речах он путается, невпопад на вопросы отвечает? Узнав, что Василий Борисыч, ради богомольного подвига, почти всю дорогу пешком прошел — «устал, родименькой, притомился, — подумала, — от великих богомольных трудов расстроило его, сердечного».

— Отдохнуть бы вам с дорожки-то, гость дорогой, — молвила Юдифа Василью Борисычу. — После трапезы отдохнуть не вздумается ли?

И, кликнув белицу Домнушку, игуменья велела ей постлать поскорее гостю постель в соседней светелке, что была над кельей игуменьиной.

А Домнушка девица молоденькая, собою малёнька, личиком беленька, очи соколы, брови собопы, глаза с поволокой, роток с позевотой, а девичья краса — русая коса лежит по спине до шелкова пояса. Веселая такая была да нежная, а сама чиста, как голубица. Когда впервые Василий Борисыч в Улангере был, облюбывал он эту девицу и почасту с ней втихомолку заигрывал. Обрадовалась теперь Домнушка гостю нежданному, а он ровно и не знает ее; даже не поздоровался. И зарделось с досады белое личико Домнушки, заискрились слезинкой очи звездистые, не того ждала — не того она надеялась, живучи в одиночестве, помышляя каждый день о Василье Борисыче.

Только что Юдифа из кельи вон, на место ее Фленушка.

— Ну что? — спросила она, изо всей мочи хлопнув по плечу погруженного в думу Василья Борисыча.

Тот даже присел от нечаянного удара разудалой девицы.

— Ох, искушение! — вскрикнул он и, едва переводя дух, примолвил: — Совсем исполо́шили вы меня, Флена Васильевна! Можно разве этак пугать человека?.. Мало ль что с перепугу может случиться? Медведь и покрепче меня, да и с тем с испугу-то что бывает?

— Ишь незамайка какой!.. — лукаво усмехаясь, молвила Фленушка. — Где таково, Василий Борисыч, изнежничались? В светлой светлице, аль в чистом поле, али в лесочке, срывая цветочки?

— Не знаю, как понимать ваши речи, Флена Васильевна, — сказал Василий Борисыч, будто не понимая ее намеков.

— Речисты уж больно стали вы, Василий Борисыч. С ваших столичных речей, может статься, нам, лесным дурам, плакать придется, — продолжала Фленушка.

— Да что это вы нынче притчами все говорите? Вы бы прямо. Понятнее, — сказал Василий Борисыч.

— Те мои и речи, что птицу кормом, а девушку льстивыми речами обманывают, — с коварной усмешкой молвила Фленушка.

Василий Борисыч ни слова в ответ.

— Сгубили вы ее своими речами, — продолжала Фленушка.

«Ох, искушение!» — подумал Василий Борисыч. Да тут же и вспало ему на ум: «Про какие же речи она говорит? Мы ведь все время единого слова не перемолвили».

— Сидит, разливается-плачет, — молвила Фленушка. — Хоть пошли бы да утешили, покаместь у наших стариц с Юдифой тарабары идут.

— Ох, искушение! — вполголоса сказал Василий Борисыч.

— Нечего таиться-то, — сказала Фленушка, положив ему на плечо руку. — Мы с Парашей душа в душу, она все рассказала...

— Ах, Флена Васильевна!.. Флена Васильевна!.. —

только и мог, краснея и глубоко вздыхая, промолвить Василий Борисыч.

— Вот что: теперь, пожалуй, лучше не ходите к ней, — сказала Фленушка, — оченно уж людно здесь, да опять же на нас, на приезжих, много глаз глядит... Вечерком лучше, после заката, — на всполье тогда выходите. Как сюда въезжали, видели крест большой в землю вкопан стоит? От того креста дорожка вдоль речки к перелеску пошла, по ней идите... Да смотрите, чур не обмануть. Беспременно приходите.

Ни слова Василий Борисыч, одно заветное шепчет он слово: «Ох, искушение!»

— Что ж нашей царевне-королевне велите сказать? — настойчиво спросила Фленушка. — Придете аль нет в лесочке вечерком тоску-горе размыкать?.. Придете аль нет?

— Приду, — смущаясь, едва слышно проговорил Василий Борисыч.

— Ну, ладно... Да вы не бойтесь. Ловкой рукой все обрядим... Сама настороже стану, — лукаво усмехнувшись, бойко и резво проговорила Фленушка.

— Ох, искушение! — опуская голову, молвил Василий Борисыч.

— Погляжу я на вас, — с задорной улыбкой сказала ему Фленушка, — настоящий вы скосырь московский!.. Мастер девушек с ума сводить... Что-то Устюша теперь?.. Ну, да ведь я не за тем, чтоб ее поминать... Прощайте, не обманите же... Только что после ужина матери по кельям разбредутся, тотчас к большому кресту да тропой в перелесок... Смотрите ж.

И, как резвая касатка, вон из кельи порхнула.

А вовсе не Парашины речи-желанья Василию Борисычу она говорила. Высмотрев украдкой, что было в лесочке, вздумалось Фленушке и эту парочку устроить. Очень любила такие дела, и давно ей хотелось не свою, так чужую свадьбу уходом сыграть. По расчетам се дело теперь выпадало подходящее: влез по пояс Василий Борисыч — полезет по горло; влезет по горло — по уши лезь; по уши окунется — маковку в воду... Того хочет Флена Васильевна, такова ее девичья воля.

По случаю приезда московского посла и комаровских матерей в Юдифиной обители было большое собрание. Сошлись старицы изо всех обителей.

До́ сыта наговорились они. Успокоясь от сердечной тревоги, много говорил с ними Василий Борисыч. Толковали об архиерействе, улангерские старицы не были склонны к Белокриницкой иерархии, сомневались в ее чистоте, ересей сокровенных боялись, больше всего смущало их, не обливанец ли грек Амвросий. Если обливанец — все его архиерейство и священство безблагодатно, и, кроме душевной гибели, от него ожидать ничего невозможно. Василий Борисыч Бога в свидетели приводил, что сам своими глазами видал, как в Эносе, на родине митрополита, греки детей в три погруженья крестят, что там про обливанство слуху нет и весьма им гнушаются, как богомерзкой латинской прелестью. От книг доказывал, что хоть у греков вера от басурманского насилия и стала пестра, но в крещении они нисколько не погрешили. Еще больше было речи об опасности, грозившей скитам Керженским и Чернораменским. Юдифа и другая улангерская игуменья, мать Минодора, получили из Петербурга от благодетелей такие ж недобрые вести, как и Манефа. Толковали, вздыхали, охали и тем порешили, что где гроза, там и ведро. Господь не без милости — пронесет мимо грозную тучу и бедных сирот учинит беспечальны: надо во всем на его святую волю положиться. И то порешили, чтоб на Петров день старицы из Улангерских обителей ехали к матушке Манефе соборовать, что надо делать, что предпринять при таких тревожных вестях.

Солнце меж тем багровело больше и больше, серо-желтый туман застилал лазурь небесного свода и с каждым часом больше и больше темнел. И на земле затуманились дальние предметы: перелесок и фундрикские строенья ровно в дымку закутались. Гарью запахло — значит, пожар разгорался не на шутку, но где, близко ль, далеко ль, не знает никто. Во время лесных пожаров сухой туман и запах гари распространяется иногда на сотни верст от горелого места. Оттого в Улангере и были спокойны — никто не тревожился. «Горит где-то далеко, до нас не дойдет, — говорили келейницы, — а хотя б и дошло, так нам не беда — Улангер не лесная деревушка, чищенина большая, до кельи огню не добраться».

Еще далеко́ не дойдя до края небосклона, солнце скрыло лучи и померкло, опускаясь в непроглядную полосу сухого тумана. Нет вечерней зари, прямо без

зари ночью небо покрылось. Повеяло холодком, столь отрадным после зноя длинного июньского дня. Над речкой, на пожнях и болотах стали расстилаться влажные туманы. От гари лесного пожара не белыми они кажутся, а какими-то сероватыми. Бывшие у Юдифы на соборе матери, распрощавшись с комаровскими гостями, разошлись по обителям. Везде покончили работы, совершили вечернюю трапезу и разошлись по кельям на боковую.

Фленушка уговорила двух знакомых ей девиц Юдифиной обители вместе пойти погулять по вечернему холодку. Те охотно согласились. Сказали Домне, та не пошла, тем отговорилась, что голова у ней разболелась, а в самом деле разболелось у нее сердце. На что ж это в самом деле похоже? В первый раз приезжал — зангрывал; еще побывать обещался, гостинцев привезти, и вдруг ни с того ни с сего — взглядом подарить не хочет... А она ль об нем не думала, она ль не надеялась?.. И очень печалилась нежная Домнушка, но втайне печаль свою сохраняла... Пошли разгуляться Фленушка с Парашей да с Марьюшкой, были с ними две Юдифины девицы: развеселая, разудалая, быстроногая смуглянка Дуня да голосистая чернобровка Варя, головщица правого клироса. Только что вышли на всполье да отошли от келий подале, тотчас за мирские песни, а сами все ближе да ближе к перелеску.

Василий Борисыч из обители вышел, и неспешными шагами идет он к большому кресту. Подошел, остановился, положил перед крестом семипоклонный начál, ровно перед добрым делом... От креста по узкой тропинке к темному лесочку пошел. Фленушка заметила гостя, только что выбрался он на всполье, голос ему подала. Подошел к девицам Василий Борисыч.

В малиновом шелковом сарафане с палевым передником и с белым платочком на голове сидела на траве, окруженная подругами, Параша. Как и всегда, была неразговорчива, но не заметно было в ней ни былой лени, ни прежней сонливости. Пошла ли б она поздней порой в поле, покинула бы разве мягкий пуховик, если б не случилось с ней в тот день, чего отродясь еще не случалось. Узнала горячие объятия, испытала сладость поцелуев и ровно переродилась; взор стал смысленнее, лицо думчивее, движенья быстрее. Если б Фленушка с Марьюшкой и ничего не подсмотрели в лесу, они, как

опытные девицы, сразу бы, взглянув на Парашу, догадались, отчего такая перемена с ней сталась. Любовь, что огонь либо что кашель: от людей не скроешь.

Фленушка с девицами, ведя затейные разговоры, ушли в глубь лесочка. Увидала Параша, что осталась одна, а Василий Борисыч стоит перед нею... Голова у ней закружилась, сердце так и упало... Убежать бы скорей, да с места не встается... Остаться и боязно и стыдно... Однако осталась.

Василий Борисыч возле нее на траву сел и молча взял за руку. Параша ни слова.

Крепко он обнял ее и стал целовать... Ни слова Параша... Отстраняется от поцелуев, но не отталкивает разгоревшегося страстью московского гостя.

И все молчат... А хмелевая ночь темней да темней, а в дышащем истомой и негой воздухе тише да тише. Ни звуков, ни голосов — все стихло, заснуло... Стопами неслышными безмолвно, невидимо развеселый Ярило ступает по Матери Сырой Земле, тихонько веет он яровыми колосьями и алыми цветами, распаляет-разжигает кровь молодую, туманит головы, сладкое забытье наводит...

Обнял Василий Борисыч Парашу — молчит... Прильнул распаленными устами к ее устами — молчит...

Реет над ними Ярило, кроет любовь их серебристым своим балахоном... Радостно улыбаясь, осыпает их цветами весны, цветами любви, цветами жизни...

Заготовила было Фленушка сон-траву подложить под подушку Василью Борисычу — пусть бы приснился ему вещий сон, пусть бы узнал он судьбу свою, увидал бы во сне свою суженую... Бросила липкий цветок — не надо... Наяву все узнано, не во сне все угадано...

На другой день путники отправились на прах сожженного «страдальца» Варлаама. Пристали к ним старицы и белицы улангерские... И все женский пол, из мужчин только Василий Борисыч да еще доживавший свой век в обветшалой мужской обители старец Иосиф.

Тот Иосиф был старожил улангерский. Старше его по жительству в ските никого не было, кроме древней матери Ксенофонты, впавшей в детство и уж больше

пяти годов не слезавшей с печки, да матери Клеопатры Ерахтурки, чтимой всем Керженцем, всем Чернораменьем за преклонную старость, за непомерную ревность по вере, за что пять раз в остроге сидела и много ради древлего благочестия нужд и скорбей претерпела. И мать Ксенофонта и мать Клеопатра Ерахтурка еще с боярыней Акулиной Степановной из Старого Улангера на речку Козленец переехали. Старец Иосиф был из чухломских бар, дворянского роду Горталовых, за ним в Чухломском уезде три ревизские души состояло, две души умерло, третья вместе с барином в обители проживала и над барином своим начальствовала, потому что инок Галактион, по мирскому Егорка Данилов, крепостной господина Горталова крестьянин, игуменствовал в обедневшей и совсем почти запустевшей мужской Улангерской обители, а старец Иосиф Горталов был при нем рядовым иноком. Хоть пострижен был отец Иосиф, хоть отрекся от мира сего, однако ж барской спеси осталось довольно в нем.

— Егорка, подлец! Чтой-то ты вздумал? Как ты смеешь? — крикнет, бывало, Иосиф на своего игумна, когда тот сделает что-нибудь несогласное с желаньем своего барина.

— Я тебе не Егорка, — строго ответит игумен. — Твой Егорка был да сплыл, аз же, многогрешный, — смиренный игумен честной обители Покрова Пресвятыя Богородицы — инок Галактион. И он тебе приказывает: стань, непотребный раб, на поклоны, сотвори сто великих поклонов, да триста метаний, да пятьсот малых.

И смиряется старец Иосиф и кладет поклон за поклоном, метанье за метаньем, творя волю крепостного своего игумна. И, ведая таковое смирение старца Иосифа, его похваляли.

Так про него говорили: «Отец Иосиф сый великоблагороден, земный чести и славы отрекся, убогого монастыря во убогой келийце благодарственно нищету и скудость терпит, паче же всего хриstopодражательным смирением себя украшает».

А в прежние годы, в годы светлой, кипучей молодости, ходок был отец Иосиф. Памятуют о том старушки, теперь чёрным куколом крытые, апостольником украшенные, иночеством венчанные. До смерти не выйдет из их памяти, как молодыми белицами они

во честных обителях житие проводжали. То-то был заетник, то-то был любезник молодой чернец — барин Иосиф! Дворянский род много ему помогал. Падки бывали до дворянского рода скитские девицы — всякой облагородиться было лестно. Пролетели года один за другим, старостью поник инок Иосиф. За старину тогда принялся, много книг прочитал, много ученья извдал. Имея быстрый ум и острую память, как книга знал старину, а чего не знал, то вымыслом умел разукрасить. Оттого и желательно было каждому заезжему в Улангер человеку старца того послушать, и сам отец Иосиф любил провести час-другой в беседе с хорошим человеком. Только Москву и тузов ее он не терпел. Не жаловал еще комаровскую уставщицу Аркадию. Какие-то старые счеты с той старицей у него были...

Идет Иосиф всех впереди, рядом с ним Василий Борисыч. Слушает московский посол преподобные речи, не вспоминая про греховную ночь. Фленушка с бледной, истомленной Парашей и свежей, как яблочко наливное, Марьей головщицей следом за ними идут. Люди хоть не дальние, а все-таки заезжие, любопытно и им сказаний Иосифа про улангерскую старину послушать.

— Идем мы благочестно на прах отца Варлаама, — говорил Иосиф. — Добре и нам ныне подвиги его вспомнати. Доблестно пострадал воин Христов за правую древлеотеческую веру; себе самого и добрых учеников своих сожжению предавше, да лестию не обольстят рабов Христовых злые антихриста послы... Ангелы божии в небесах возликовали, егда воню благоухания сожигаемых обоняли и песнь преподобных во временном сего мира огне слышали. «Изведи из темницы душу мою, мене ждут праведницы» — вот что пели во пламени Христовы исповедники. Таковы по здешним местам в стары годы люди живали, таковы преславные дела здесь бывали. Ныне не то, не те времена!

— Да, — вздохнул Василий Борисыч.

— Ныне не то, — продолжал Иосиф, покачивая седую головой, покрытую старой, побуревшей от времени камилавкой. — Ныне слабость по людям пошла. Измалодушествовались не токмо мирские, но и те, что ангельский образ приять сподобилися. Повсюду враг божий плевели свои обильно сеет, повсюду в сети свои, окаянный, христианские души уловляет. Плача и

воздыханий достойно наше время! Иссякла вера, померкла добродетель, не стало истинных рабов Христовых! Обаче божия благодать и в ныншние последние времена не оскудевает, паче же преизбыточествует. У вас на Москве промеж пузатых лицемеров, агнчую одежду на волчьи тела вздевших, про здешние чудеса, поди, чай, и не слыхивали, а мы, прости, своими очами их зрели... Чтò ваша Москва? Широко́ живет, высоко плюет, до божьего ей нет дела... Вавилон треклятый!..

— Напрасно, старче божий, такое о Москве рассуждение держите, — вступился московский посол. — Земля грехами преисполнена, Москва на ней же стоит. Праведников, подобных прежним отцам, не видим, обаче ревности по древлему благочестию не лишены. Прилежания к старой вере в московском обществе довольно. О том по всем странам премного известно.

— Не говори, друг любезный, про вашу прославленную Москву, — горячо сказал Иосиф. — Знаю ее вдоль и поперек. Испокон веку деревенщине была она не любовна... Как в стары годы, так и ныне. Москва что доска — спать широко, да кругом метет... Уты, утолсте, ушире и забы Бога, создателя своего. Не в Москве древлее благочестие, — по далеким захолустьям, середь бедного, простого народа... Это так... так... Ты еще молод, Василий Борисыч, не спорь со старым человеком хорошего роду. Сүпротив старого царского дворянина спорить тебе, мальцу, не доводится. Помни мое слово, не супротивься.

Смолчал Василий Борисыч. Помолчал немного и старец Иосиф, затем такую речь повел:

— От веку до веку не видать и не знать Москве столь великого подвижника, такового по святоотеческой вере поборника, каков во дни наши среди нас просиял. Многотерпеливый муж и многострадальный, добрая ревности и спасительного жития, ревностно и благопокорно среди братии служаще, молитвенного и целомудренного пребывания образ был всем хотящим спастися...

— Кто ж это такой? — спросил Василий Борисыч.

— Тезоименит преподобному страдальцу, ему же грядем поклониться, — ответил Иосиф. — Варлаам ангельское имя ему, мирское же Василий Перепелкин, родом из Медыни, хорошего роду старых дворян.

— Расскажите о нем, пожалуйста, отче святой, — сказал Василий Борисыч.

Быстро, но важно взглянув на московского посла, Иосиф торопливо поправил кафтырь и камилавку, съехавшие набок, и стал говорить:

— Когда настал французский год, дивный отец, не стерпя зрети озлоблений иноплеменных, удалился. И шед бегая в пустыню, в здешние леса за Волгу пришел. Прежде поблизости Старого Макарья имел пребыванье в лесах Каменных, Дорогученских, Ветлужских¹, и только в молитвах и после подвизался, что сподобился общения со невидимыми грешному миру святыми отцами Нестиарской обители².

— Что за обитель? Что за невидимые святые? Не слыхивал я, грешный, про них... — с живым любопытством спрашивал Иосифа Василий Борисыч.

— О Москва, Москва! Высокоумные, прегордые московские люди! — с усмешкой презренья воскликнул старец Иосиф. — Великими мнят себе быти, дивного же божия смотрения не разумеют. Окаменели сердца, померкли очи, слуху глухота дадеся!.. И дивиться нечему — Нестиар не фабрика, не завод, не торговая лавка, а божие место, праведным уготованное!.. Какое ж до него дело московским толстопузам?..

— Богом прославленных мест на земле — что звезд на небе, — сказал замолчавшему Иосифу Василий Борисыч. — Все такие места одному человеку изведать не можно, а тебе бы, старче, незнающему сказать, неведущего научить, а не Москву бранить. Тут московские люди ни в чем не повинны.

Не ответил Иосиф, но, недолго помолчав, быстро обратился к Василию Борисычу.

— Васильсурск знаешь?

¹ По переведении в 1817 году Макарьевской ярмарки в Нижний Старым Макарьем зовут уездный город Макарьев, при котором знаменитая ярмарка существовала с начала XVII столетия. Каменский лес вблизи Волги на левой стороне ее, ниже Макарьева, называется так по селу Каменке, находящемуся на Рознежской заводи реки Волги. Сплошной с ним лес, простирающийся к востоку, называется Дорогучинским, по речке Дорогуче. К северу от них Ветлужские леса, по реке Ветлуге. В этих местностях до расхищения казенных лесов, бывшего в пятидесятых годах, жило немало пустынников.

² Озеро *Нестиар* на левой стороне Керженца среди глухого леса.

— Как не знать? — живо отвечал Василий Борисыч.

— Задолго до Никоновой поруки было на Руси ляхолетье... — начал рассказ свой старец Иосиф. — Гришка Расстрига на православное царство Литву да ляхов навел. Города, села пожигали, церкви рушили, святые иконы на щепы кололи, всякой святыне ругались. Поднялась заодно с ними некрещенная сила: мордва, черемиса, татары. Подошла та окаянная сила к Васильгородску. Ратных людей было там мало. Васильгородцы, не чая спасенья, преплывали обонпол Волгу и в лесах от огня и меча укрывались. Ратные же люди вышли из града на врагов, нимало победы не чая, мученический венец прияти желая. Но простер Господь десницу свою, и пред малым числом благоверных воев врознь побежали орды не знающих Бога. Взятая в полон черемиса поведала васильгородцам: оттого-де они побежали, что перед ними на белом коне явился страшный видом чернец и пламенным копием их, врагов имени Христова, поражал немилостиво. Когда ж полоняники восхотели святого крещения и были приведены в васильгородскую церковь, воззрев на икону преподобного отца Варлаама Хутынского, poznали старца, пламенным копием их поразивша. Слыша таковое божие о граде смотрение, васильгородцы Богу хвалу приносили, преподобному Варлааму пели молебны, и все радости были исполнены спасения ради своего града от иноплеменных. По мале же времени многие от них в вере пошатнулись, престали к церкви божией ходити, поучении от священного чина принимать, и едва сорок человек остались во граде помнивших Господа и не забывших Бога и святой его веры. И ради того сорока не попустил до времени Господь тому граду погибнуть... Настал праздник Господень, Преполовеньев день. В церковь только те сорок человек пришли, иные ж в бесчинных игрищах и в мирской суете пребывали. И когда по скончании божественной службы благочестивые крестным ходом пошли на Волгу воду святить, двинулась за ними и церковь божия, пред нею же икона преподобного Варлаама Хутынского шествовала, никем не носима. Когда же пришли ко берегу, Волга-река расступалася, как широкие врата растворялася, принимала в свое лоно людей благочестных, и шедшую за крестным ходом церковь, и по воздуху ходящую святую икону преподобного Варлаама... И всемогущего

Бога силою те люди и церковь пренесены за Волгу, в леса, на озеро Нестиар. И до сих пор тамо живут они невидимые в обители невидимой. Все одно, что на Ки-теже.

— Дивен Бог во святых его, — подняв глаза к небу, с умилением проговорил Василий Борисыч. Поклонясь Иосифу, он промолвил: — Благодарен остаюсь на добром поученье.

— То-то! Благодарен остаюсь! — ворчал отец Иосиф. — У вас на Москве, да и по другим странам, где такие Богом хранимые сокровенные места? Да нельзя и быть им у вас!.. Кто у вас на Москве по старой вере остался? Толстосумы, торгаши, продажной совести купцы! Всем завладели окаянные мытари, завладели и церковью божьей... Нечего рожу-то ко-сить — правду сказываю... Мзда, неправедные нажитки ослепили!.. Забыв Бога и любовь, им повеленную, всякого нороят обсчитать, рабочего обидеть, своему брату долгов не заплатить. Тот у них за человека не почтен, кто хоть раз на веку по гривне за рубль не платил... Подлецы!.. Вот каковы ваши московские столпы старой веры, вот каковы адаманты благочестия!.. А все отчего? Оттого, что в старой вере нашей братья столбовых дворян никого не осталось. Я чуть ли не последний... А без дворян ни земное царство государское, ни благодатное царство, сиречь церковь святая, стояти не могут... Это верно. Вспомни-ка, кто были древние святые отцы? Все хороших дворянских родов. Москву возьми: святитель Петр из волынских бояр, Алексей митрополит из роду Плещеевых, святитель Филипп из роду Колычевых, Сергей преподобный из радонежских дворян. А теперь кто? Худородные. Спроси у моего Егорки, игумна нашего, отца Галактиона, значит, спроси его — то же скажет, хоть сам и раб и худороден. Ты, Василий Борисыч, много начитан, значит, силу Писания разумеешь, и то, стало быть, ведаешь, что означает стих, поемый на Богоявление Господне.

И запел дрожащим от старости голосом Иосиф: «Глас Господень на водах вопиет глаголя: приидите, примите вси духа премудрости, духа разума, духа страха божия...» Скажи-ка, что это означает? — спросил он у Василия Борисыча.

— Да как сказать... — замялся Василий Борисыч... Иосиф продолжал:

— То означает, что от Господа три жребия человеком дано: Симов жребий — Богу служить, Иафетов жребий — власть держати, Хамов жребий — страх имети. Оттого и поется, чтобы даровал Господь Симу, сиречь духовному чину, премудрость на поучение людей, Иафету, сиречь дворянству, от него же и царский корень изыде, — послал духа разума людьми править, в разумении всяких вещей превыше всех стояти, а Хаму, сиречь черному народу, мужикам, мещанам и вашему брату, купцу, послал бы Господь дух страха божия на повиновение Симову жребию и Иафетову. Раби есте... Мы, Симов и Иафетов жребий, раби божии, а вы, Хамов жребий, первее раби божии, а потом раби наши, то есть Симовы и Иафетовы. Вот как по божьему-то. А ныне не то, ныне песья нога выше головы стала... Разве это божье устроенье?... Не от Бога, от диавола сие... Да ты не хмурься, Василий Борисыч, — дело говорю, по Писанию сказываю.

— Ты послушай только его, Василий Борисыч, — молвила мать Аркадия. — Он ведь у нас блажнóй, не того еще наскажет тебе.

— А ты, Хамова внучка, молчи! Пока не спрашивают, рот разевать не моги, — кинул грозное слово ненавистной Аркадии старец Иосиф. — Не твоего ума дело.

— Лёгко ли что! — ответила Аркадия. — Сам-от хуже всякого Хама. Хоть бы камилавку-то получше на башку свою дурацкую вздел, а то, гляди-ка, какая. Поди, чать, мыши гнездо в ней завели... А еще дворянин, барин...

— Дам я тебе мыши!.. Великá ты птица: мать знала, отца не видывала, вот какого ты роду... А еще уставщица!.. — горячился Иосиф.

— Как я свистну тебя по дворянской-то башке, так забудешь у меня роды разбирать, — крикнула Аркадия, замахнувшись дорожным подошком.

— А я как велю рабу моему Егорке на поклоны тебя поставить... Он ведь духовный отец тебе, — проворчал Иосиф.

— Так он и послушал тебя! — вскрикнула Аркадия. — Еще смеешь ты своего игумна Егоркой да рабом своим обзывать!.. Барин!.. Барин!.. Какой ты барин!.. Из тех, что по два десятка на одной кобыленке ездят.

— А ты ври, да не завирайся. И в бедности должна уважать чин боярства, — с важностью молвил отец Иосиф.

— Давно, батюшка, знаю, что на тебе два чина: дурак да дурачина, — подхватила Аркадия.

Все засмеялись, улыбнулся даже Василий Борисыч.

И дошло бы у честного отца со смиренной инокиней до рукопашной, если б в разгаре брани не дошли они до праха сожженного Варлаама.

На небольшой поляне, среди частого елового леса, стоял высокий деревянный крест, с прибитым в середине медным распятием. Здесь, по преданию, стояла келья отца Варлаама, здесь он сожег себя со ученики своими. Придя на место и положив перед крестом обычный семипоклонный начал, богомольцы стали по чину, и мать Аркадия, заметив, что отец Иосиф намеревается начать канон, поспешила «замолитвовать». Не хотела и тут ему уступить, хоть по скитским обычаям первенство следовало Иосифу, как старцу.

Запели канон за единоумершего. Отец Иосиф сначала молчал, потом пристал к поющим.

После канона прощались. Попрощалась и Аркадия с Иосифом. Брани как не бывало.

Возвращались другой дорогой. Шли темным дремучим лесом по узким тропинкам, по сгнившим наполовину кладкам. На могилах пустытника Илии и прозорливой матери Феклы пели каноны. Смирившаяся Аркадия не препятствовала Иосифу «править службу». Галицкий дворянин был очень этим доволен.

От гробницы матери Феклы рукой подать до Улангера. Торопились поспеть к трапезе и потому прибавили шаг. Василий Борисыч обратился к отцу Иосифу:

— Что ж не dokonчили вы про отца Варлаама?

— Про Варлаама? Что про него рассказывать тебе? Не в пользу ведь будет, — молвил брюзгливо Иосиф.

— Да нет, вы уж, пожалуйста, расскажите, — просил старца Василий Борисыч.

— Что ж рассказать-то? Старость, дряхлость пришла, стало не под силу в пустыне жить. К нам в обитель пришел, пятнадцать зим у нас пребывал. На летнее время, с Пасхи до Покрова, иной год и до Казанской, в леса удалялся, а где там подвизался, никто не ведал. Безмолвие на себя возложил, в последние десять лет никто от него слова не слыхивал. И на правиле стоя в молчании, когда молился, губами даже не шевелил.

— В вашей обители старец Варлаам и жизнь свою

скончал? — спросил Василий Борисыч у замолчавшего отца Иосифа.

— Взяли его. Без пачпорта проживал — взяли... — продолжал Иосиф. — Три года в темнице сидел. Злодейства не ведый, яко злодей, разбойничества ниже помысливый, яко разбойник томлен бысть во узилище. И ни единого слова мучителям не молвил. Все члены его сокрушили множеством лютых мучений. Но аще и раны нанесоша и томление темничное умножиша, не возмогоша крепкого столпа поколебати, ниже ослабити. Не возмогли и ласканиями к своей воле преклонити; ни единого слова на судилище не молвил. И по долзе времени отослали его в монастырь к Старому Макарью на безысходное житие за крепким караулом. Во узах тамо пребывал преподобный Варлаам два лета. И по сем великое чудо над доблим рабом своим Господь показал. Яко Петр из вериг, невидимо изыде из заточения и ангелом божиим проведен бысть в обитель невидимых святых на озере Нестиаре. Тамо и ныне со оными блаженными пребывает и пребудет тамо до скончания века. Аминь...

Когда богомольцы, выйдя из леса, взглянули на небо, оно было как пеплом покрыто. Солнце едва было видимо. Запах гарью стоял.

— Римские горят, — сказал конюх Дементий, встретив своих матерей. — Завтра того и гляди в Полому огонь проберется¹.

— Как же на Китеж-от нам ехать, Дементьюшка, коли в Полому огонь проберется? — спросила Аркадия. — Сгорим, пожалуй. Не лучше ль домой воротиться?

— Коли седни после трапезы тотчас поедем, успеем безо всякой опаски проехать; а если до завтра здесь прогостите, будет верней домой поспешать.

¹ Римские леса, отрасль Унженских и Ветлужских, тянутся вдоль реки Черного Луха, впадающего в Унжу. Они в Макарьевском уезде Костромской губернии. Называются так по деревням Большие и Малые Рымы. Писатели о расколе в конце XVII и в начале XVIII столетия, говоря об этих лесах, наполненных тогда беглыми раскольниками, исказили их название и называли Брынскими. Позднейшие писатели искали эти леса около Брянска... Этим много внесено путаницы в историю раскола. Полома, или Полонский лес — на юг от Римских, отделяется от них верховьями Керженца, который тут течет еще в виде небольшого лесного ручья.

За трапёзой Аркадия настаивала, чтоб ехать домой, но Фленушка, опираясь на слова Дементия, непременно хотела сейчас же ехать, чтоб миновать Поломский лес, пока до него огонь не дошел. К ней пристали другие, Василий Борисыч тоже. Аркадия уступила. Тотчас после трапезы комаровские богомольцы распростились с гостеприимной Юдифой.

Только что стало опускаться с полдён едва видное сквозь дымную мглу солнце, комаровские богомольцы, оставив Улангер, направили поезд сквозь Поломские леса к невидимому граду Китежу. Больше двадцати верст надо было проехать сплошным дремучим лесом до берегов Керженца. Дальше начинались жилые места, окруженные обширными пашнями и чищобами; там бы уже совершенно было безопасно от лесного пожара. А покаместь дорога шла узкая, извилистая, чуть ли не на каждом шагу пересекалась она корневищами. С обеих сторон сумрачными великанами высились громадные ели и лиственницы, меж них во все стороны разросся густой, непроходимый чапыжник¹. Узкая полоса дневного света тянулась над вершинами непроглядной лесной чащи, и хоть далеко еще было до вечера, а в лесу было уж темно, как в осенние сумерки.

Конюх Дементий с Аркадией и Васильем Борисычем ехал впереди поезда, он не жалел лошадей. То и дело стегал их по непривычным к сильным ударам бедрам. Другие возчики от Дементья не отставали. Жирные, выхоленные келейные кони, сроду не знавшие скорой езды, мчались во весь опор. Проскакали полдороги. Верст одиннадцать либо двенадцать оставалось до реки Керженца. Вдруг влево от дороги послышался в отдалении необычный, несмолкаемый треск... С каждой минутой он возрастал, обдавая странников ужасом... Свист и визг разносились по лесу. Зашумело в вершинах елей и лиственниц: то стада белок, спасаясь от огня, перелетали с дерева на дерево. Почувяв недоброе, лошади закусил удила и помчались сломя голову; запрыгали повозки по толстым корневищам: того и гляди, либо ось пополам, либо все на боку.

— Огонь идет! — вскрикнул Дементий. И отчаянный крик его едва слышен был за страшным шумом огненного урагана.

¹ Частый кустарник.

Все крестились, творили молитвы. Матери, белицы плакали навзрыд. Бледный, как полотно, Василий Борисыч всем телом дрожал.

Вдруг смолистым дымом пахнуло, и по узкой световой полосе, что высилась над дорогой, как громадные огненные птицы, стаями понеслись горящие лапы¹, осыпая дождем искр поезд келейниц. Вой урагана превратился в один оглушающий, нескончаемый раскат грома. Ему вторили, как бы пушечные выстрелы, стоны падавших деревьев, вой спасавшихся от гибели волков, отчаянный рев медведей. Вот перерезало дорогу быстро промчавшееся по чапыжнику стадо запыхавшихся лосей... Вот над деревьями, тяжело размахивая утомленными крыльями, быстрее вихря пронеслись лесные птицы... Багрово-синими, как бы кровавыми волнами за клубился над лесом дым... Палящий, огнедышащий ветер понесся низом меж деревьями, растилая над землей удушающий смрад... Вдруг между вершинами деревьев блеснула огненная змейка, за ней другая, третья, и мигом все верхи елей и лиственниц подернулись пламенным покровом... Брызнула из деревьев смола, и со всех сторон полились из них огненные струйки.

Вдруг передняя пара лошадей круто поворотила направо и во весь опор помчалась по прогалинке, извивавшейся среди чапыжника. За передней парой кинулись остальные.

— Куда ты, куда ты, Дементьюшка? — схватясь за плечо конюха и встав в повозке, благим матом закричала Аркадия.

— Кони лучше нашего знают куда, — молвил Дементий, опуская вожжи.

И, сняв шапку, стал креститься.

— Слава те, Господи! Слава тебе, Царю Небесному!.. — говорил он.

Не прошло трех минут, как лошади из пылающего леса вынесли погибавших в обширное моховое болото.

¹ Горящие ветки хвойных деревьев.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ







Глава первая

Вот сказанье наших праотцев о том, как бог Ярило возлюбил Мать Сыру Землю и как она породила всех земнородных. Лежала Мать Сыра Земля во мраке и стуже. Мертва была — ни света, ни тепла, ни звуков, никакого движенья. И сказал вечно юный, вечно радостный светлый Яр: «Взглянем сквозь тьму крошечную на Мать Сыру Землю, хороша ль, пригожа ль она, придется ли по мысли нам?»

И пламень взора светлого Яра в одно мановенье пронизал неизмеримые слои мрака, что лежали над спавшей землею. И где Ярилин взор прорезал тьму, там воссияло солнце красное.

И полились через солнце жаркие волны лучезарного Ярилина света. Мать Сыра Земля ото сна пробуждалась и в юной красе, как невеста на брачном ложе, раскинулась... Жадно пила она золотые лучи живоносного света и от того света палящая жизнь и томящая нега разлились по недрам ее.

Несутся в солнечных лучах сладкие речи бога любви вечно юного бога Ярилы: «Ох ты гой еси, Мать Сыра Земля! полюби меня, бога светлого, за любовь за твою, я украшу тебя синими морями, желтыми песками, зеленой муравой, цветами алыми, лазоревыми; народишь от меня милых детушек число несчетное...»

Любы Земле Ярилины речи, возлюбила она бога светлого и от жарких его поцелуев разукрасилась злаками, цветами, темными лесами, синими морями, голубыми реками, серебристыми озерами. Пила она жаркие

поцелуи Ярилины, и из недр ее вылетали поднебесные птицы, из вертепов выбегали лесные и полевые звери, в реках и морях заплавали рыбы, в воздухе затолклись мелкие мушки да мошки... И все жило, все любило, и все пело хвалебные песни: отцу — Яриле, матери — Сырой Земле.

И вновь из красного солнца любовные речи Ярилы несутся: «Ох ты гой еси, Мать Сыра Земля! разукрасил я тебя красотой, народила ты милых детушек число несметное, полюби меня пуще прежнего, породись от меня детище любимое».

Любы были те речи Матери Сырой Земле, жадно пила она живоносные лучи и породила человека... И когда вышел он из недр земных, ударил его Ярило по голове золотой вожжей — ярой молнией. И от той молоньи ум в человеке зародился. Здравствовал Ярило любимого земнородного сына небесными громами, потоками молний. И от тех громов, от той молнии вся живая тварь в ужасе вострепелась: разлетались поднебесные птицы, попрятались в пещеры дубравные звери, один человек поднял к небу разумную голову и на речь отца громовую отвечал вещим словом, речью крылатою... И, услыша то слово и узрев царя своего и владыку, все древа, все цветы и злаки перед ним преклонились, звери, птицы и всяка живая тварь ему подчинилась.

Ликовала Мать Сыра Земля в счастье, в радости, чаяла, что Ярилиной любви ни конца, ни края нет... Но по малом времени красно солнышко стало низиться, светлые дни укоротились, дунули ветры холодные, замолкли птицы певчие, завывали звери дубравные, и вздрогнул от стужи царь и владыка всей твари дышащей и не дышащей...

Затуманилась Мать Сыра Земля и с горя-печали оросила поблекшее лицо свое слезами горькими — дождями дробными.

Плачется Мать Сыра Земля: «О ветре ветрило!.. Зачем дышишь на меня постылою стужей?.. Око Ярилино — красное солнышко!.. Зачем греешь и светишь ты не по-прежнему?.. Разлюбил меня Ярило-бог — лишиться мне красоты своей, погибать моим детушкам, и опять мне во мраке и стуже лежать!.. И зачем узнавала я свет, зачем узнавала жизнь и любовь?.. Зачем спознавалась с лучами ясными, с поцелуями бога Ярилы горячими?..»

Безмолвен Ярило.

«Не себя мне жаль, — плачется Мать Сыра Земля, сжимаясь от холода, — скорбит сердце матери по милым по детушкам».

Говорит Ярило: «Ты не плачь, не тоскуй! Мать Сыра Земля, покидаю тебя ненадолго. Не покинуть тебя на-время — сгореть тебе дотла под моими поцелуями. Храня тебя и детей наших, убавлю я на-время тепла и света, опадут на деревьях листья, завянут травы и злаки, оденешься ты снеговым покровом, будешь спать-почивать до моего приходу... Придет время, пошлю к тебе вестницу — Весну Красну́, следом за Весною я сам приду».

Плачется Мать Сыра Земля: «Не жалеешь ты, Ярило, меня, бедную, не жалеешь, светлый боже, детей своих!.. Пожалей хоть любимое детище, что на речи твои громовые отвечал тебе вещим словом, речью крылатою... И наг он и слаб — сгнута́ ему прежде всех, когда лишишь нас тепла и света...»

Брызнул Ярило на камни молоньей, облил палючим взором деревья дубравные. И сказал Матери Сырой Земле: «Вот я разлил огонь по камням и деревьям. Я сам в том огне. Своим умом-разумом человек дойдет, как из дерева и камня свет и тепло брать. Тот огонь — дар мой любимому сыну. Всей живой твари будет на страх и ужас, ему одному на службу».

И отошел от земли бог Ярило... Понеслись ветры буйные, застилали темными тучами око Ярилино — красное солнышко, нанесли снега белые, ровно в саван окутали в них Мать Сыру Землю. Все застыло, все за-снуло, не спал, не дремал один человек — у него был великий дар отца Ярилы, а с ним и свет и тепло...

Так мыслили старорусские люди о смене лета зимую и о начале огня.

Оттого наши праотцы и сожигали умерших: заснувшего смертным сном Ярилина сына отдавали живущему в огне отцу. А после стали отдавать мертвецов их матери — опуская в лоно ее.

Оттого наши предки и чествовали великими праздниками дарование Ярилой огня человеку. Праздники те совершались в долгие летние дни, когда солнце, укорачивая ход, начинает расставаться с землею. В память дара, что даровал бог света, жгут купальские огни. Что Купало, что Ярило, все едино, одного бога звания.

И доныне в Иванову ночь пылают на Руси купальские огни, и доныне по полям и перелескам слышатся веселые песни:

Купала на Ивана!
Где Купала ночевала?
Купала на Ивана!
Купала на Ивана!
Ночевала у Ивана!

Накануне Аграфены Купальницы, за день до Ивана Купалы¹, с солнечным восходом по домам суета поднимается. Запасливые домовитые хозяйки, старые и молодые, советуются, в каком месте какие целебные травы в купальские ночи брать: где череду от золотухи, где шалфей от горловой скорби, где мать-мачеху, где зверобой, ромашку и девясил... А ведуны да знахарки об иных травах мыслят: им бы сыскать радужный, златоогненный цвет перелет-травы, что светлым мотыльком порхает по лесу в Иванову ночь; им бы выкопать корень ревенки, что стонет и ревет на купальской заре, им бы через серебряную гривну сорвать чудный цвет архилина да набрать тирлич-травы, той самой, что ведьмы рвут в Иванову ночь на Лысой горе; им бы добыть спрыг-травы да огненного цвета папоротника².

Добро тому, кто добудет чудные зелья: с перелетом всю жизнь будет счастлив, с зашитым в ладанку корешком ревенки не утонет, с архилином не бойся ни злого человека, ни злого духа, сок тирлича отвратит гнев сильных людей и возведет обладателя своего на верх богатства, почестей и славы; перед спрыг-травой замки и запоры падают, а чудный цвет папоротника принесет счастье, довольство и здоровье, сокрытые клады откроет, власть над духами даст.

¹ 23 и 24 июня.

² *Череда* — *Bidena tripartita*. *Шалфей* — *Salvia officinalis*. — *Мать-и-мачеха* — *Tussilago farfara*. *Ромашка* — *Chamomilla vulgaris*. *Зверобой* — *Hypericum perforatum*. *Девясил* — *Inula helenium*. *Перелет-трава* — сказочное растение, как и цвет папоротника; его радужный, огненный цвет мотыльком перепархивает по воздуху в Иванову ночь. Есть и настоящие травы, называемые перелетом: одна — *Oenothera*, другая — *Lotus corniculatus*. *Ревенька* — *Rheum rhaponticum*. *Архилин* — сказочное растение. *Тирлич* — *Gentiana amarella*. *Спрыг-трава*, она же разрыв-трава — сказочное растение, с помощью которого даются клады, а замки и запоры сами спадают.

Молодежь об иных травах, об иных цветах той порой думает. Собираются девицы во един круг и с песнями идут вереницей из деревни собирать иван-дамарию, любовную траву и любисток¹. Теми цветами накануне Аграфены Купальницы в бане им париться, «чтобы тело молодилось, добрым молодцам любилось?». А пол, лавки, полки в бане на то время густым-густехонько надо устлать травой купальницей². После бани сходятся девицы к одной из подруг. С пахучими венками из любистка на головах, с веселыми песнями, с криками, со смехом, толкут они где-нибудь на огороде ячмень на обетную кашу, а набравшиеся туда парни заигрывают каждый со своей зазнобой... На другой день варят обетную кашу и едят ее у речки аль у озера, бережно блюдя, чтобы каши не осталось ни маковой росинки. Съедят кашу, за другие, исстари установленные обряды принимаются, парни возят девок на передних тележных колесах, громко распевая купальскую песнь:

Иван да Марья
В реке купались:
Где Иван купался,
Берег колыхался,
Где Марья купалась,
Трава расстилалась,
Купала на Ивана!
Купался Иван
Да в воду упал.
Купала на Ивана.

Под вечер купанье: в одном яру плавают девушки с венками из любистка на головах, в другом — молодые парни... Но иной молодец, что посмелее, как почнет отмахивать руками по сажени, глядь, и попал в девичий яр, за ним другой, третий... Что смеху, что крику!..

Таково обрядное купанье на день Аграфены Купальницы.

Надвинулись сумерки, наступает Иванова ночь... Рыбаки рассказывают, что в ту ночь вода подергивается серебристым блеском, а бывалые люди говорят, что в

¹ Иван-га-марья — *Viola tricolor*. Любисток, или заря — *Ligusticum levisticum*. Любовная трава, или любжа — *Orchis incarnata*.

² Купальница — *Trollius litoropocus*.

лесах тогда деревья с места на место переходят и шумом ветвей меж собой беседы ведут... Сорви в ту ночь огненный цвет папоротника, поймешь язык всякого дерева и всякой травы, понятны станут тебе разговоры зверей и речи домашних животных... Тот «цвет-огонь» — дар Ярилы... То — «царь-огонь»!..

Немного часов остается до полночи, когда на одно мановенье тот чудный цветок распускается. Только что наступит полночь, из середины широколистного папоротника поднимается цветочная почка, шевелится она, двигается, ровно живая, и вдруг с страшным треском разрывается, и тут является огненный цвет... Незримая рука тотчас срывает его... То «цвет-огонь», дарованный богом Ярилой первому человеку... То — «царь-огонь»...

Страшно подходить к чудесному цветку, редко кто решится идти за ним в Иванову ночь. Такой смельчак разве в несколько десятков лет выищется, да и тот не добром кончает... Духи мрака, духи холода, духи смерти, искони враждебные Солнцу-Яриле, жадно стерегут от людей его дар. Они срывают цвет-огонь, они напускают ужасы, страсти и напасти на смельчака, что пойдет за ним в заветную Иванову ночь... Они увлекают его за собой в страну мрака и смерти, где уж не властен отец Ярило... Страшно поклоняться Яриле в лесу перед таинственным цветом-огнем, зато весело и радостно чествовать светлого Яра купальскими огнями.

Наперед набрав шиповнику, крапивы и других колючих и жгучих растений, кроют ими давно заготовленные кучи хвороста и сухих сучьев. И лишь только за небесным закровом спрячется солнышко, лишь только зачнет гаснуть заря вечерняя, начинают во славу Яра живой огонь «взгнетать»... Для того в сухой березовой плахе прорезывают круглое отверстие и плотно пригоняют к нему сухое же березовое, очищенное от коры, круглое полено... Его трением в отверстии плахи вытирают огонь... И то дело одних стариков... И когда старики взгнетают живой огонь, другие люди безмолвно и недвижно стоят вкруг священнодействия, ожидая в благоговейном страхе чудного явления «божьего посла» — царя-огня...

Потом обливаются старики, «творя божие дело»... Впившись глазами в отверстие плахи, стоит возле них по-праздничному разодетая, венком из цветов увенчанная, перворожденная своей матерью, девочка-под-

росток с сухой лучиной в высоко поднятой руке¹. Разгорелось детское личико, смотрит она, не смигнет, сама дыханья не переводит, но не дрожит поднятая к небесам ручонка... Безмолвно, набожно глядит толпа на работу старцев... В вечерней тиши только и слышны шурк сухого дерева, молитвенные вздохи старушек да шептанье христианских молитв... Но вот задымилось в отверстии плахи, вот вспыхнул огонек, и просиявшая восторгом девочка в строгом молчаньи бережно подносит к нему лучину... Снисшел божий посол!.. Явился «царь-огонь»?!.. Загорелся в кострах великий дар живоносного бога!.. Радостным крикам, веселому гомону, громким песням ни конца, ни края.

В густой влажной траве светятся Ивановы червяки², ровно зеленым полымем они переливаются; в заливной, сочной по́жне сверкает мышиный огонь³, тускнет заря на небе, ярко разгораются купальские костры, обливая красноватым светом темные перелески и отражаясь в сонных водах алыми столбами... Вся молодежь перед кострами — девушки в венках из любистка и красного мака, иные с травяными поясами; у всех молодцев цветы на шляпах... Крепко схватившись за руки, прыгают они через огонь попарно: не разойдутся руки во время прыжка, быть паре, быть мужем-женой, разойдутся — свадьбы не жди... До утра кипит веселье молодежи вокруг купальских костров, а на заре, когда в лесу от нечистых духов больше не страшно, расходятся, кто по перелескам, кто по овражкам.

И тихо осеняет их радостный Ярило спелыми колосьями и алыми цветами. В свежем утреннем воздухе, там, высоко, в голубом небе, середь легких перистых облаков, тихо веет над Матерью Сырой Землей белоснежная, серебристая обьярь Ярилиной ризы, и с недоступной высоты обильно льются светлые потоки любви и жизни.

¹ Непременное условие при добывании «живого огня», чтоб его приняла перворожденная, непорочная девица. Перворожденную отыскать не трудно, но чтоб не ошибиться в другом — дают лучину восьми-девятилетней девочке.

² Иначе светляк, появляющийся обыкновенно около 24 июня.

³ Растение *Byssus phosphorea*. Его цветки иногда светятся ночью. Мышиным огнем называется также древесная гнилушка, издающая по ночам фосфорический свет.

Теперь в лесах за Волгой купальских костров не жгут. Не празднуют светлому богу Яриле. Вконец истребился старорусский обряд.

На скитских праздниках, на келейных сборищах за трапезами, куда сходится народ во множестве, боголюбивые старцы и пречестные матери истово и учительного читают из святочтимого Стоглава об Иванове дне: «Сходятся мужи и жены и девицы на ночное плещевание и бесстыдный говор, на бесовские песни и плясания и на богомерзкие дела... И те еллинские прелести отречены и прокляты»...

И от грозного слова «прокляты» содрогаются ядущие и пьющие.

«Такова святых отец заповедь, таково благочестивого царя Иоанна Васильевича повеление!..» — возглашают народу келейные учителя... И возглашают они такие словеса не год и не два, а с тех пор, как зачинались в лесах за Волгой скиты Керженские, Чернораменские! И вот теперь, через двести лет после их основания, в тех лесах про Ярилу помину нет, хоть повсюду кругом и хранится память о нем и чествуется она огнями купальскими¹.

А поблизости Керженца, недалёко от Ветлуги-реки, есть такое место, где во времена стародавние бывали великие народные сходбища... сходилась туда народ справлять великие празднества Светлому Яру... На обширной, плоской, безлесной равнине возвышается раздвоенный холм, поросший столетними дубами. Двумя мысами вдаётся он в обширное глубокое озеро. Воды озера никогда не мутятся; что ни бросишь в них — не принимают, на другой же день брошенное волной на берег выкинет. И то озеро по имени старорусского бога Светлым Яром зовется².

Когда на той равнине и по ближним от нее местам

¹ В Нижнем Новгороде до сего времени сохранилось старинное народное гулянье на «Ярилином поле» 24 июня. В Муроме и Костроме в тот же день хоронят чучелу Ярилы из травы или соломы; В Кинешме и Галиче на игрищах Ярилу представляет старик — «дедушка, золотая головушка, серебряна бородушка», по рекам Вятке и Ветлуге сохранились местами остатки Ярилиных купальских празднеств.

² Нижегородской губернии (на самой границе с Костромской), Макарьевского уезда, близ села Люнды (Владимирское то ж). Дно этого глубокого озера со всех сторон покато и песчано.

зачиналось людское население, не знает никто. Но там зачастую находят каменные молоты, каменные топоры и кремневые наконечники стрел, — стало быть, жили тут люди еще тогда, когда не знали ни меди, ни железа¹. Сказывают, что на холмах у Светлого Яра город стоял, Китежем прозывался. Город ли то Кидиш, что во дни стародавние от «поганой рати» спасен был Ильей Муромцем, славный ли город Пюкидыш, куда ездил богатырь Суровец Суздалец гостить-пировать у ласкового князя Михайлы Ефимонтьевича, не отсюда ль ветлужский князь Никита Байборода чинил набеги на земли московские, пробираясь лесами до Соли Галицкой, — молчат преданья². Одно только помнит народ, что в старину на холмах у Светлого Яра на день Аграфены Купальницы языческие требища справлялись и что на тех холмах стоял когда-то град Китеж... И поныне, сказывают, стоит тот град, но видим бывает только очам праведников.

Не стало языческих требищ, град Китеж сокрылся, а на холмах Светлого Яра по-прежнему великие сходбища народа бывали... Собирались сюда русские люди старые свои праздники праздновать, чествовать светлого бога Ярилу. В «Навий день», на Радуницу, справляли здесь «оклички» покойников; здесь водили ночные хороводы Красной Горки; здесь величали Микулу Селяниновича, а на другой день его праздника справляли именины Сырой Земли и водили хороводы Зилотовы; здесь в светлых струях Светлого Яра крестили кукушек, кумились, завивали семицкие венки; здесь справлялись Зеленые Святки и с торжеством зажигались купальские костры в честь отходящего от земли бога жизни и света, великого Яра...

Поревновали скитские старцы и келейные матери... «К чему, — заговорили они, — сии ночные плещевания, чего ради крещеный народ бесится, в бубны и сопели тешит дьявола, сквернит Господни праздники струнным гудением, бесовскими песнями, долоней плесканием, Иродиادیным плясанием?.. Зачем на те сатанинские сходбища жены и девы приходят?.. Зачем

¹ Г. Поливанов лет в пять собрал здесь значительное число орудий каменного периода.

² Былины об Илье Муромце и про Суровца Суздальца. Князь Никита Байборода — лицо историческое (1350—1372 годов).

в их бесстыдных плясках главами кивание, хребтами вихляние, ногами скакание и топтание, устами неприязнен клич и скверные песни?.. На тех бесовских сходбищах мужём и отроком шатание, женам и девам падение!.. Не подобает тако творити!.. Богу противно, святыми отцами проклято!..»

И огласили Светлый Яр и холмы над ним «святыми местами»... Тут, сказали они, стоит невидимый град божиих святых, град Великий Китеж... Но не можем мы, грешные, зреть красоты его, понеже сквернится место делами бесовскими...

И стали боголюбивые старцы и пречестные матери во дни, старым празднествам уреченные, являться на Светлый Яр с книгами, с крестами, с иконами... Стали на берегах озера читать псалтырь и петь каноны, составили Китежский «Летописец» и стали читать его народу, приходившему справлять Ярилины праздники. И на тех келейных сходбищах иные огни затеплились — в ночь на день Аграфены Купальницы стали подвешивать к дубам лампы, лепить восковые свечи, по сучьям иконы развешивать...

Поклонники бога Ярилы с поборниками келейных отцов, матерей иногда вступали в рукопашную, и тогда у озера бывали бои смертные, кровопролитье великое... Но старцы и старицы не унывали, с каждым годом их поборников становилось больше, Ярилиных меньше... И по времени шумные празднества веселого Яра уступили место молчаливым сходбищам на поклонение невидимому граду.

Двести лет прошло от начала скитов; спросить про Ярилу у окольных людей, спросить про царь-огонь, спросить про купальские костры — никто и не слышал.

Глава вторая

Почти совсем уже стемнело, когда комаровские поклонницы подъезжали к Светлому Яру. Холмы невидимого града видны издалёка. Лишь завидела их мать Аркадия, тотчас велела Дементью стать. Вышли из повозок, сотворили уставной семипоклонный начал невидимому граду и до земли поклонились чудному озеру, отражавшему розовые переливы догоравшей вечерней зари...

— Пешком надо — место бо свято есть, — сказала уставщица Василью Борисычу.

Пошли в строгом, глубоком молчании... В воздухе тишь невозмутимая. Гуще и гуще надвигается черный покров ночи на небо, ярче и ярче сверкают на холмах зажженные свечи, тусклей отражает в себе недвижимое, будто из стекла вылитое, озеро, темно-синий небосклон, розовые полосы зари и поникшие ветвями в воду береговые вербы... Все дышит таинственностью, все кажется ровно очарованным... Крестьясь и творя молитву, взошли комаровские путницы на холм... Народу видимо-невидимо. Сошлись поклониться граду Китежу и ближние и дальние, старые и молодые, мужчины и женщины. Женщин гораздо больше мужчин. Келейные матери и белицы были почти из всех обитателей, иноков мало, и то все такие, что зовутся «перехожими»¹. Людей много, но громких речей не слышать... И каноны поют, и книги читают, и меж собой говорят все потихоньку, чуть не шепотом... По роще будто пчелиный рой жужжит...

Изобрали комаровские богомолицы местечко у раскидистого дуба, мрачно черневшего в высоте густолиственной вершиной. Вынула Аркадия из дорожного пещера икону Владимирской Богородицы в густо позлащенной ризе с самоцветными камнями, повесила ее на сучке, прилепила к дубу несколько восковых свечек и с молитвой затеплила их. И она и мать Никанора, обе в полном иночестве, в длинных соборных мантиях с креповыми наметками на камилавках, стали перед иконой и, положив начал, вполголоса стали петь утреню.

— Комаровские приехали!.. От Манефиных!.. — зашептали в многочисленных кучках, рассыпанных по обоим холмам. Пяти минут не прошло, как Манефины окружены были густой толпой богомольцев.

Отойдя в сторону, пошел Василий Борисыч по роще бродить. Любопытно было ему посмотреть, что на Китеже делается, любопытно послушать, какое писание читают грамотеи жадно слушавшему их люду...

Видит: ста два богомольцев кучками рассыпались

¹ Перехожими старцами зовут старообрядских монахов, живущих не в монастырях, а по домам в селениях. Между ними немало и произвольно надевших на себя иноческое одеяние.

по роще и по берегу озера. Наполовину деревьев увешано иконами, облеплено горящими свечами... Здесь псалтырь читают, там канон Богородице поют¹, подалее утрению справляют... И везде вполгóлоса.

Видит Василий Борисыч у подошвы холма на самом берегу озера стоит человек с двадцать народу: мужчины и женщины. Мужчины без шапок. Среди кружка высокий худощавый старик с длинной, белой как лунь бородой и совсем голым черепом. Держа тетрадку, унылым, гнусливым голосом читает он нараспев. Двое молодых стоят по сторонам и светят ему зажженными восковыми свечами... Подошел поближе Василий Борисыч, слышит, читает он о благоверном князе Георгии, положившем живот за Христову веру и за Русскую землю в битве с Батыем при Сити-реке. Называет старик благоверного князя Георгия внуком равноапостольного Владимира, читает, как ездил он по Русской земле и по всем городам, ставил соборы Успенские: в Новгороде, в Москве, в Ростове и Муроме.

— Ох, искушение!.. Вот чепухи-то нагородили!.. — едва слышным голосом промолвил Василий Борисыч и тотчас заметил, что слушатели стали кидать на него недобрые взгляды.

— «И бысть попущением божиим, грех ради наших, — протяжно читает старик, — прииде нечестивый и безбожный царь Батый на Русь воевать; грады и веси разоряше, огнем их пожигаше, людие мечу предаваше, младенцев ножом закалалаше, и бысть плач великий!..»

Две старушки всплакнули, две другие навзрыд зарыдали.

— «Благоверный же князь Георгий, слышав сия, плакаше горьким плачем и, помоляся Господу и пречистой Богородице, собрав вой своя, поиде противу нечестивого царя Батия... И бысть сеча велия и кровопролитие многое. Тогда у благоверного князя Георгия бысть воев мало и побеже от нечестивого царя вниз по Волге в Малый Китеж...»

Охают и стонут старушки, слезы так и текут по морщинистым ланитам их. Уныло поникнув головами, молчат мужчины. Старик примолвил:

— Малый Китеж теперь Городцом именуется, вот

¹ Июня 23-го, на день Аграфены Купальницы, празднуют икоنة Владимирской Богородицы.

что на Волге, повыше Балахны, пониже Катунук стоит... А здесь на озере Светлом Яре Большой Китеж — оба строенья благоверного князя Георгия.

Не стерпелось Василию Борисычу. Досадно стало великому начетчику слушать басни, что неизвестные писатели наплели в Китежском «Летописце»... Обратился к стоявшему рядом старику почтенной наружности, судя по одежде, заезжему купцу.

— В старых книгах не то говорится, — довольно громко промолвил он. — Князя Георгия в том бою на реке Сити убили... Как же ему, мертвому, было вниз по Волге бежать?

Сурово вскинул глазами купец на Василия Борисыча... Не сказав ни полслова, молча отвернулся он... Старушки заахали, а один красивый, такой видный из себя парень в красной рубахе и синей суконной чуйке, крепко стиснув плечо Василия Борисыча, вскрикнул:

— Да ты кто таков будешь?.. Откуда?.. Как смеешь смущать божественное чтение?

Глянул Василий Борисыч — у парня лицо скривилось, побагровело, глаза огнем пынут, кулак пудовой.

— Ох, искушение!.. — пискнул Василий Борисыч, дрожа со страху и бледнея.

— Прекрати, — повелительно молвил читавший старик, и парень, пустив Василия Борисыча, смиренно склонил голову.

— А тебе бы, господин честной, слушать святое писание в молчании и страхе божием... Святые отцы лучше тебя знали, что писали, — учительным тоном продолжал старик оторопелому Василию Борисычу и продолжал чтение: — «И много брася, благоверный князь Георгий с нечестивым царем Батыем, не пущая его во град... Егда же бысть ночь, изыде тайно из Малого Китежа на озеро Светлый Яр в Большой Китеж. На утрие же восста нечестивый царь и взя Малый Китеж и всех во граде том поруби и нача мучити некоего человека града того Гришку Кутерьму, и той, не могый мук терпети, поведи ему путь ко озеру Светлому Яру, иде же благоверный князь Георгий скрыся. И прииде нечестивый царь Батый ко озеру и взя град Большой Китеж и уби благоверного князя Георгия...»

Пуще прежнего заплакали старухи, закрыла платком лицо и вся трепетно задрожала от сдерживаемых рыданий нарядно одетая молодая красивая женщина,

стоявшая почти возле Василия Борисыча. Вздыхали и творили молитвы мужчины.

Возвысив голос, громко и протяжней прежнего стал читать старик:

— «И после того разорения запустеша грады те и лесом порасте вся земля Заузольская, и с того времени невидим бысть град Большой Китеж, и пребудет он невидим до последних времен. Сию убо книгу «Летописец» написали мы по сте летех после нечестивого и безбожного царя Батия, уложили собором и предали святей-божией церкви на уверение всем православным христианам, хотящим прочитати или послушати, а не поругатися сему божественному писанию. Аще ли же кóторы человек поругается или посмеется сему писанию, да вестъ таковой, что не нам поругается, но Богу самому и пресвятей Богородице. Слава иже в Троице славимому Богу, соблюдающему и хранящему место сие ради блаженного пребывания невидимым святым своим во веки веков. Аминь».

Все стали креститься и потом, благодаря за чтение, низко-пренизко поклонились старику.

Усильно сдерживавшая во время чтения рыданья свои, молодая женщина подошла к стоявшему рядом с Васильем Борисычем купцу и, отирая наплаканные глаза, тихим и нежным голосом молвила:

— Пойдем, тятенька, в иное место. Еще чего-нибудь послушаем.

Взглянул Василий Борисыч и загляделся... Такой красавицы сроду не видывал... Что Устинья, что Прасковья Патаповна!..

Следом за ними пошел. Чтоб завести знакомство с купцом, говорит ему:

— А куда как много тут несправедливого и со старыми книгами несогласного.

— Тебе бы, господин честной, лучше уйти, не то — в самом деле — боками поплатишься... Здесь это бывает, — сурово ответил купец.

— Однакож, — зачал было Василий Борисыч, украдкой взглядывая на красавицу.

— Тебе, господин честной, своя дорога, а нам своя, — сухо промолвил купец и повернул с дочерью в сторону.

Почесал в затылке Василий Борисыч, постоял маленько на месте и пошел вдоль по берегу.

Видит, в углубленье меж холмов, под ветвистым дубом, сидит человек с десятка мужчин и женщин: не поют, не читают, а о чем-то тихонько беседу ведут. Возле них небольшой костер сушника горит. Тускло горит он, курится-дымится, и нет веселья вокруг... то не купальский костер.

Подошел Василий Борисыч, снял шапку, низенько поклонился и молвил:

— Мир честной беседе.

— Просим милости на беседу, — приветливо ответили ему и раздвинулись, давая место пришедшему собеседнику.

Сел Василий Борисыч.

— Так видишь ли, — продолжал свою речь седенький, маленький, добродушный с виду старичок в изношенном заплатанном кафтанишке из понитку, облокотясь на лежавшую возле него дорожную котомку, — видишь ли: на этом на самом месте, где сидим, — городские ворота... Отселева направо вдоль озера сто сажен городу и налево сто сажен городу, а в ширину мера городу полтора сажен. А кругом всего города рвы копаны и валы насыпаны, а на валах дубовые стены с башнями... Вот мы, грешные, слепыми-то очами ровнехонько ничего не видим, а они тут, все тут, здесь, вот на этом на самом месте... На правом холму собор Воздвиженья честного креста, а рядом Благовещенский, а на левом холму Успенский собор, а меж соборов все дома — у бояр каменные палаты, иных чинов у людей деревянные хоромы из кондового негниющего леса... Вот мы, грехами ослепленные, деревья только видим, а праведный, очи имея отверсты, все видит: и град, и церкви, и монастыри, и боярские каменные палаты.

— Премудрости Господни! — глубоко вздохнула старушка в темно-синем сарафане с набойчатыми рукавами, покрытая черным платком вроспуск. — А ведь называют, видят же иные люди ту святиню Божию.

— Как не видеть, бабушка, видят, — ответил старик. — Не всякому только дано.

— Как же бы, батюшка, такую благодать получить?.. Как бы узреть невидимый град да сокровенных-то Божьих святых повидать?.. Хоть бы глазком взглянуть на них, родимый ты мой, посмотреть бы на Божьи-то чудеса.

— А ты, раба Христова, послушай, что прочитаю, тогда и узнаешь, какими способами невидимый град Китеж возможно узрети... — молвил старик и, вынув из-за пазухи ветхую тетрадку, стал читать по ней:

— «Аще ли который человек обещается идти в той град Китеж, и неложно от усердия своего постытися начнет, и пойдет во град, и обещается тако: аще голодом умерети, аще ины страхи претерпети, аще и смертию умерети, не изыти из него, — и такового человека приведет Господь силою своею в невидимый град Китеж и узрит он той град не гаданием, но смертными очима, и спасет Бог того человека, и стопы его изочтены и записаны ангелами господними в книзе животней».

— Вот оно как, старушка божия!.. — примолвил старичок. — Вот каким людям дается божественная благодать невидимый град видети и в нем со блаженными пребывати.

— Ох, Господи Иусе Христе, Сыне Божий!.. Пресвятая владычица Богородица!.. Илья пророк!.. Никола милостивый!.. — умиленно взывала старушка, не зная, про что бы еще спросить у грамотея.

— А ты вот слушай-ка еще, — молвил он ей, перевернувши в тетрадке два-три листочка: — «Аще кто нераздвоенным умом и несумненною верою обещается и пойдет к невидимому граду тому, не поведав ни отцу с матерью, ни сестрам с братьями, ни всему своему роду-племени, — таковому человеку откроет Господь и град Китеж и святых, в нем пребывающих».

— Ну, а если кто не снесет? — после недолгого общего молчанья спросил у старика-грамотея пожилой крестьянин, по-видимому дальний, перед тем внимательно слушавший чтение.

— И про таковых в «Летописце» помянуто, — молвил грамотей и продолжал: — «Аще же кто пойдет, обаче мыслити начнет семо и овамо, или, пойдя, славити начнет о желании своем, и таковому Господь закрывает невидимый град: покажет его лесом или пустым местом... И ничто же таковой человек получит себе, токмо труд его все пропадет. И будет ему соблазн, и понос, и укор, и от Бога казнь примет zde и в будущем веце... Осуждение примет и тьму кромешную всяк человек, иже такому святому месту поругается. Понеже на конец века сего Господь чудо яви — невидимым сотвори град Китеж и покры его десницею

своею, да в нем пребывающие не узрят скорби и печали от зверя антихриста... Кому же применится человек, поругавшийся чудеси тому, и кому будет он службу приносить?.. Воистину самому диаволу применится и всеяроственному зверю антихристу послужит, с ними же в геене огненной пребудет в нескончаемые веки!..»

— Ох, Господи, владыко милостивый!.. Вот оно — грехи-то, грехи-то наши тяжкие!.. Ой, тяжкие, не замоленные!.. Не замоленные, не прощенные!.. — со слезами стала причитать старушка.

И другие после того чтения вздыхали с сокрушенным сердцем и слезами.

И на долгое время было молчание... Задумался и Василий Борисыч...

— У нас из волости мужичок ходил в Китеж-от, — сказал молодой парень, сидевший возле костра.

— Что же? — разом спросило его несколько голосов.

— Не попал, — молвил парень, расшвыривая плохо горевший костер.

— Как же дело-то было? — спрашивали парня.

И тот, присев у костра, спросил, обводя глазами собеседников:

— Про Красноярский скит слышали?

— Как не слышать про Красноярский скит! — одни отвечали ему.

— Еще бы не знать Красноярского скита, — отозвались другие.

— Ноне там всех заковали: и старцев и бельцов, всех в город угнали, — кто-то сказал...

— Он самый и есть, — молвил парень. — Игумен у них отец Михаил.

— И отца Михаила довольно знаем, — заговорили одни.

— И его, сердечного, посадили! — всхлипнула старушка.

— Учительный старец, благочестивый, — заметил старик грамотей.

— Баня у него знатная! — отозвался один из собеседников.

— Свят человек перед Господом, — вздохнула старушка.

— За фальшивы бумажки сидит, — сказал кто-то.

Только что смолкли голоса, парень стал продолжать:

— Был в нашей волости мужичок, Перфилом звать, Григорьич по батюшке... человек тихий и кроткий, жил по Боге, не то чтоб от него кому обида какая али бы что — ни-ни... Все, бывало, над книгами сидит, все над книгами... И начитал он в тех книгах про этот самый Китеж... Стал в путь собираться, домашние спрашивают: «Куда, дедушка?..» Молчит, никому не рассказывает, вот как сейчас было читано, чтоб, значит, никому не поведать... Приходит в Красноярский скит, к отцу Михаилу... На духу спрашивает его по тайности, как идти ему к невидимому граду. Отец Михаил наставляет: «Перво-наперво, говорит, ступай ты на Волгу в Городец. Тот Городец, по Писанию, Малый Китеж выходит. Оттоль иди на полунощник, все на полунощник, ни направо, ни налево не моги своротить. Перейдешь реку Узолу, перейдешь Санду-реку, а третью Санахту, перейдешь ты и Керженец — то путь, коим князь Георгий к Большому Китежу шел. А за Керженцем в лесах «тропа Батыева». Иди той тропой, пролагай путь ко спасению... Будут тебе искушения и от вражия силы страхования: бури и дожди, хлад и зной, змеи и лютые звери, но ты на страхи не взирай, иди себе тропой Батыевой, пролагая путь ко спасению, не сворачивай ни на десно, ни на шуе...» Благословил Перфила Григорьича отец Михаил; пошел тот.

Остановился парень, будто к чему-то прислушаться... Ничего не слышать; только по роще, как шум отдаленных потоков, тихие речи людские звучат...

— Пошел Перфил Григорьич в Вознесенье, привезли перед Покровом, — продолжал рассказчик. — Привезли — узнать нельзя, лица на нем нет, оборванный весь, кафтанишка висит клочьями, рубаха с плеч валится, сапоги без подошв, сам весь рваный да перебитый: синяк на синяке, рубец на рубце. Лева рука перешибена, спина драная... Сам еле дышит, насили в избу втащили. Встречают домашние Перфила Григорьича, и рады ему, и плачут над ним... «Дедушка, говорят, где, родной, побывал?.. Какой злодей тебя, болезного, так избидел?..» А Перфил Григорьич молчит, ни сыновьям, ни невесткам слова не молвит про свои похождения... Обмыли его, одели, напоили, накормили, в баню сводили, на ноги поставить не могли... Похворал

зиму-то, в понедельник на Святой Богу душу отдал... Твердый был старик... По нынешним годам молодых таких немного... Сорок восемь медведей на веку уложил...

— Где ж его, сердечного, так гораздо употчевали? Не во граде же Китеже? — спрашивают парня.

— Не во граде, а возле него, — отвечал рассказчик. — Долго пытали у Перфила Григорьича, рассказал бы про свои похождения, молчит, головой крутит, лишь за три недели до смерти все рассказал.

— Что ж рассказывал он? — спрашивают собеседники, теснее сдвигаясь вокруг парня.

— Вот что сказывал он: «Пошел, говорит, я в Городец, оттуда в Заузоле, перешел четыре реки, отцом игумном заповеданные, обрел и «тропу Батыеву», пошел по ней». А та тропа давным-давно запущонная, нет по ней ни езду конного, ни пути пешеходного, ни зарастает ни лесом, ни кустарником, и много на ней лежит гнилого буреломнику... Трудно было Перфилу Григорьичу перелезть через тот буреломник, высокими горами поперек тропы он навален, однако, трудов не жалея, напастей не страшась, помаленьку вперед подвигался... Оборвался весь, ободрало его сучьями-то, не то что одежду, тело все ободрало, но он, Бога ради, все претерпел, надеясь в невидимом граде со блаженными в райском веселье пребыть... По ночам от бесов были ему страхованья, но крестом и молитвой он себя от них ограждал... Шел тропой Батыевой три дня, по ночам лазил спать на деревья, чтоб сонного зверь не заел... И как вылез Перфил Григорьич из буреломника, видит: луговина зеленая, глазом ее не окинешь, — трава свежая, сочная, цветиков середь той травы множество, видимо-невидимо... Кулички всякие по той полянке бегают, счету им нет: бегают, комариков ловят да мошек... Возблагодарил Господа Перфил Григорьич, что вывел его на столь прекрасном месте малый отдых после великих трудов принять. Ступил шаг по поляне, ступил другой... вдруг со всех сторон кругом его вода из земли кверху брызнула, а ноги у Перфила Григорьича так и тянет вглубь, так и тянет... Насилу выдрался... И как вынес его Бог, тогда только догадался он, что попал в чарусу... Слышать про чарусы слыхивал, а видеть их до той поры ему не доводилось... «Что ж за диво такое? — думает он. — Тропа вышла прямо на ча-

русу, надо где-нибудь обходу быть, пойти поискать...» И пошел назад в лес и стал обходить чарусу... А на встречу ему медведь, он от него... Медведь не погнался, не тронул его... Но, бегая от зверя, Батыеву тропу потерял. Оpoznаться не по чему — леса дремучие, деревья частые, ни солнышка днем, ни звезд по ночам не видать. Где полуношник, где обедник, где верховик, — не разберешь. И, сбившись с пути, шесть недель проплутал он по лесам... Хлеба-то нет, малиной да костяникой кормился, корни рыл для еды. Оборвался весь об валежник-от, избился, изодрался, ногу сломал. И тут бы смерть ему приключилась, да некий старец пустынный увидел его и в землянке своей успокоил... Вылежал у него Перфил Григорьевич невступно шесть недель. От отца Михаила к тому старцу трудник пришел, хлеба принес на пропитанье, свечей, ладану на молитву — он вывел из лесов Перфила Григорьяча... А как свиделся Перфил Григорьяч с отцом Михаилом да рассказал ему про свои похождения, отец Михаил и говорит: «Дурак ты, дурак, Перфил Григорьяч, чарусато и был невидимый град, а медведь — отец-вратарь; тебе б у него благословиться, тут бы тебе град Китеж и открылся... Завсегда так бывает, — кому чарусой, кому речным омутом невидимый град покажется, а кому горой, а на гору ни ходу, ни лазу».

— Ишь ты дела-то какие!.. Поди угадай тут не знавши-то!.. — молвил один крестьянин, когда парень, кончив рассказ, принялся подбрасывать сушник в потухавший костер.

— Из наших местов, из-за Ветлуги, паренек в пастухи здесь на Люнде нанимался, — после некоторого молчанья начал тот старичок, что читал «Летописца». — Заблудился ли он, такое ли уж ему от Господа было попущение, только сам он не знает, какими судьбами попал в тот невидимый град. На краю града, сказывал паренек, стоит монастырь, вошел он туда, сидят старцы, трапезуют, дело-то под вечер было. Посадили старцы пастушонка, дали ему укрух хлеба, и тот хлеб таково вкусен да сладок ему показался, что ломтик-другой утаил, спрятал за пазуху, значит. После трапезы один-от старец повел того паренька по монастырям и церквам, весь град ему показал... А живут в том граде мужи и жены, и не токмо в иночестве, но и в разных чинах, всяк у своего дела. И, показав град и дома,

сказал тот старец пареньку: «Не своею волею, не своим обещаньем пришел ты в безмятежное наше жилище, потому и нельзя тебе с нами пребыть, изволь идти в мир». И указал дорогу... Вышел в мир паренек, стал рассказывать, где был и что видел... Не верят ему, и он во уверение хотел показать хлеб, за трапезой у старцев утаенный... И явился не хлеб, а гнилушка... Потом тот паренек и обещанья давал и волей хотел идти в невидимый град, но как ни искал дороги, а не нашел.

— Господи! хотя бы часок один в том граде пребыть, посмотреть бы, как живут там блаженные-то... Чать, тоже хозяйствуют?.. Прядут бабы-то там?.. Короушки-то есть у них?.. — сердечно вздыхая, спрашивала у людей старушка в синем сарафане и черном платке.

— Иная там жизнь, не то что наша, — отозвался старичок грамотей. — Там тишина и покой, веселие и радость... Духовная радость, не телесная... Хочешь, грамотку почитаю про то, как живут в невидимом граде?.. Из Китежа прислана.

— Почитай, кормилец, открой очи, научи меня, темную, — молила старушка.

И другие стали просить грамотея прочесть китежскую грамотку про житье-бытье блаженных святых.

Вынул тетрадку старичок и, не развертывая, стал говорить:

— Недалеко от Городца, в одной деревне жил некий христолюбец... Благочестив, богобоязен, труды его были велики и праведны, жил ото всех людей в любви и почете. И было у того христолюбца единое чадо, единый сын, при младости на погляденье, при старости на сбережение, при смертном часу на помин души. Выросло то чадо в страхе Божиим, поучалось заповедями Господними, со седьмого годочка грамоте научено от родителей — Божественному Писанию, евангельскому толкованию. Достиг же тот отрок возраста, что пора и закон принять, с честною девицей браком честным сочетаться. Искали ему родители невесту и нашли девицу доброличну и разумну, единую дочь у отца, а отец был великий тысячник, много достатков имел и был почтен ото всех людей... Не восхотел сын жениться, восхотел Богу молиться, со младых лет Господу трудиться... Родители тому не внимали, гостей на свадьбу созывали, сына своего с той девицей венчали... И когда наутре надо было молодых поднимать, новобрачного

не нашли — неведомо куда сокрылся... Во слезах родители пребывают, а пуще их жена молодая... Стали пропавшего за упокой поминать, стала молода жена по мужу псалтырь читать... И прошло в тех слезах и молитвах три годочка, на четвертом году от пропавшего сына из Китежа грамотка приходит... Вот она!

И поднял высоко тетрадку...

Все привстали, молчат, благоговейно на нее смотрят... По малом молчанье стал грамотей читать велегласно:

— «Пишу аз к вам, родители, о сем, что хотите меня поминати и друга моего советного заставляете псалтырь по мне говорить. И вы от сего престаньте, аз бо жив еще есмь, егда же приидет смерть, тогда вам ведомость пришло; ныне же сего не творите. Аз живу в земном царстве, в невидимом граде Китеже со святыми отцы, в месте злачне и покойне. Поистине, родители мои, здесь царство земное — покой и тишина, веселие и радость; а святии отцы, с ними же аз пребываю, процветоша аки крины сельные и яко финики и яко кипарисы. И от уст их непрестанная молитва к отцу небесному, яко фимиам благоуханный, яко кадило избранное, яко миро добровонное. И егда ночь приидет, тогда от уст их молитва бывает видима: яко столпы пламенные со искрами огненными к небу поднимаются... В то время книги честь или писати можно без свечного сияния... Возлюби они Бога всем сердцем своим и всею душею и всем помышлением, потому и Бог возлюбил их, яко мати любимое чадо. И хранит их Господь и покрывает невидимою дланию, и живут они невидимы в невидимом граде. Вы же обо мне сокрушения не имейте и в мертвых не вменяйте...»

Вздыхали богомольцы, умилялись и много благодарили старичка, что потрудился он ради Бога, прочел на поученье людям грамотку из невидимого града.

— Да, вот оно что значит праведна-то молитва! — заметил тот парень, что про Перфила Григорьича рассказывал. — Огненными столбами в небо-то ходит!.. Вот тут и поди!..

— Да ты пазори-то видел ли когда? — спросил у него грамотей.

— Как не видать! Не диковина, — отозвался парень.

— Не диковина, а чудное божие дело, — сказал на то грамотей. — Те столбы, что в небе «багрецами нали-

ваются», сходятся и расходятся, не другое что, как праведных молитва... Кто таковы те праведники, в каком месте молятся, нам, грешным, знать не дано, но в поучение людям, ради спасения душ наших, всякому дано телесными очами зрѣти, как праведная молитва к Богу восходит...

— Дивен Бог во святых своих! — величаво приподнимаясь с земли, проговорил молчавший дотолѣ инок, еще не старый, из себя дородный, здоровый, как кровь с молоком. Низко нахлобучив камилавку черным кафтырем, обшитым красными шнурками, и медленно перебирая лестовку, творил он шепотом молитву. Затем, поклонясь собеседникам, пошел дальше вдоль берега. Василий Борисыч за ним.

— Отче святой! Из какого будете монастыря? — спросил он, ровняясь с иноком.

— Аз, многогрешный, из преходящих, — ответил ему старец.

— Из преходящих! — молвил Василий Борисыч. — Значит, никѣго монастыря?

— Никоего, родименький, — сказал тот. — Где день, где ночь проживаем у христолюбцев... Странствуем — града настоящего не имея, грядущего взыска.

— А как имя ваше ангельское?

— Варсонофий грешный, — ответил преходящий инок, надвигая камилавку на самые брови.

— Места-то какие здесь чудные! — молвил Василий Борисыч, стараясь завести беседу.

— И земля и небеса исполнены Господней премудрости... На всяком месте владычество его, — сказал Варсонофий.

— Так-то оно так, отче; однако ж не все места Господь равно прославляет... А здесь столько дивного, столько чудесного!.. — говорил Василий Борисыч.

— Место свято, что про то говорить. Поискать таких мест, не скоро найдешь; одно слово — Китеж... — сказал Варсонофий.

— Вы впервой здесь, честный отче? — спросил Василий Борисыч.

— Каждый год... Мы ведь преходящие, где люди, тут и мы, — ответил Варсонофий. — Вот отсель к Петрову дню в Комаров надо, на Казанску в Шарпан, на Илью пророка в Оленево, на Смоленску в Чернуху, а тут уж к Макарию на ярмарку.

— Так весь год и путешествуете? — спросил его Василий Борисыч.

— В странстве жизнь провожаем, — ответил Варсонофий. — Зимним делом больше по деревням, у жилых христороубцев, а летом во странстве, потому — не холодно... Ведь и Господь на земле-то во странстве тоже пребывал, оттого и нам, грешным, странство подобает... Опять же теперь последни времена от козней антихриста подобает хранить себя — в горы бегати и в пустыни, в вертепы и пропасти земные.

— В Комарове-то в какой обители пристанете? — спросил Василий Борисыч.

— У Манефиных. Нигде, как у Манефиных, — быстро ответил Варсонофий. — Столы большие, трапéза довольная, рыба отменная... По́ этой части лучше Манефиных по всему Керженцу нет... У отца Михаила в Красноярском тоже хорошо, да вот в несчастье попал... Сергей-от преподобный, значит, ухнул.

— Как ухнул? — с удивлением спросил Василий Борисыч.

— Так же и ухнул — пропал, значит, — ответил Варсонофий. — У отца-то Михаила в Сергиев день¹ храм... Завсегда большие кормы бывали. А теперь, значит, мимо.

Подошел Варсонофий с Васильем Борисычем к кучке народа. Целая артель расположилась на ночевую у самого озера, по указанью приведшего ее старика с огромной котомкой за плечами и с кожаной лестовкой в руке. Были тут и мужчины и женщины.

— Тут вот ложитесь, тут, на этом на самом месте, — говорил им старик.

— Ладно ль так-то будет, дедушка?.. Услышим ли, родной?.. Мне бы хоть не самой, а вот племяненке услышать — грамотная ведь... — хныкала пожилая худощавая женщина, держа за рукав курносую девку с широко расплывшимся лицом и за́спанными глазами.

— Ложись, тетка, ложись во славу божию, — торопил ее старик. — Говорят тебе, лучше этого места нет... Под самыми колоколами... Вон, гляди кверху-то, тут Вздвиженский собор, а тут Благовещенский... Услышишь...

— А баюкать-то будут нас? — спрашивала она.

¹ Июля 5-го.

— А ты знай ложись, праздных речей не умножай... станешь умножать, ни насколько благодати не получишь, — уговаривал ее старик. — Да ухом-то прямо к земле, прямо... Ничего не подкладывай, слышишь?

— Слышу, дедушка, слышу, родной... Слышь, Дарёнка, голым ухом к земле-то приткнись, ничего не клади по́д голову.

— Ложитесь, а вы ложитесь, православные, — нараспев заговорил старик. — Ложитесь, раби Христовы, ото всего своего усердия... Аще кто усердия много имеет, много и узрит, аще же несть усердия, тщетен труд, — ничего тот человек не узрит, ничего не услышит...

— Чтó ж надо делать-то, родимый, чтоб сподобиться здешней благодати? — спросил у старика кто-то из артели.

— Первое дело — усердие, — стал говорить старик. — Лежи и бди, сон да не снидет на вежди твоя... И в безмолвии пребывайте, православные: чтó бы кто ни услышал, чтó бы кто не увидел — слагай в сердце своем, никому же повеждь. Станет усердного святой брег Светлого Яра качать, аки младенца в зыбке, твори мысленно молитву Иисову и ни словом, ни воздыханием не моги о том ближним поведать... И егда придет час блаженным утреню во граде Китеже пети, услышите звон серебряных колоколов... Густой звон, малиновый — век слушай, не наслушаешься... А лежи недвижно и безмолвно, ничто же земное в себе помышляя... Заря в небе заниматься зачнет — гляди на озеро, — узришь золотые кресты, церковные главы... Лежи со усердием, двинуть перстом не моги, дыхание в себе удержи... И тогда в озере, ровно в зеркале, узришь весь невидимый град: церкви, монастыри и градские стены, княжеские палаты и боярские хоромы с высокими теремами и домá разных чинов людей... А по улицам, увидишь, Алконаст райская птица ходит и дивные единороги, а у градских ворот львы и ручные драконы заместо стражи стоят...

— Не пожертвуете ли, православные, на свечи, на ладан благоверному князю Георгию, преподобным отцам сего града Китежа, — раздался густой, несколько осиплый голос над расположившимися по́ берегу озера слушать ночной звон китежских колоколов. Оглянулся Василий Борисыч — отец Варсонофий.

— Ступай, отче, ступай к своему месту, не тревожь православных, — торопливо заговорил укладывавший богомолиц старик.

— На свечи, на ладан... — вздумал было продолжать Варсонофий, но старик сильной рукой схватил его за рукав и, потащив в сторону, грозно сказал:

— Свою артель набери, подлец ты этакой, да у ней и проси... Эх, навыкли вы, шатуны, в чужие дела нос-от свой рваный совать!.. Гляди-ка-сь!..

— Да ты не больно того, — заворчал Варсонофий.

— Сказано: прочь поди... Чего еще? — крикнул старик. — Что камилавку-то хлобучишь?.. Метку, что ли, хоронишь?

— Я те дам метку! — огрызнулся Варсонофий, но поспешными шагами пошел прочь от старика.

— Что ноне этих шатунов развелось, не приведи Господи!.. — молвил старик, когда Варсонофий удалился. — И не боятся ведь — смелость-то какая!

— Чего ж бояться отцу Варсонофью? — спросил Василий Борисыч.

— Какой он отец?.. Какой Варсонофий?.. — отозвался старик. — По нашей стороне он у всех на примете. Волей иночество вздел, шапки бы не скидать, не видно бы было, что его на площади палач железом в лоб целовал.

— Полно ты! — удивились прилегшие послушать звона китежских колоколов.

— Чего полно? Не вру... Знамо, с каторги беглый, — сказал старик. — За фальшивы бумажки сослан был, в третий раз теперь бегаёт... Ну, да Бог с ним, — лежите, братие, со усердием, ничего же земное в себе помышляя.

Когда Василий Борисыч воротился к комаровским спутницам, они допевали светильны¹. Утрене скоро конец...

Оглянулся Василий Борисыч — купец, что неласково обошелся с ним на берегу, стоит теперь за матерью Аркадией, а дочь его среди белиц между Фленушкой и Парашей. Значит, знакомы.

Взглянул Василий Борисыч на Парашу, посмотрел и

¹ Стихи заутрени после канона.

на купеческую дочку... во сто крат пригожей, во сто крат приглядней... Чистая, нежная, не поражала она с первого взгляда красотой своей неописанной, но когда Василий Борисыч всмотрелся в ее высокое, белоснежное чело, в ее продолговатое молочного цвета лицо, светлорусые волосы, жемчужные зубы и чудным светом сиявшие синие глаза, — ровно подстреленный голубь затрепетало слабое его сердечко. Грубым, неотесанным чурбаном показалась ему дремавшая рядом с красавицей Прасковья Патаповна.

Не укрылись от взоров Фленушки страстные взгляды Василья Борисыча. Только что отпели утреню, подскочила к нему и шепнула:

— Кот и видит молоко, да у кота рыло коротко...

Встрепенулся Василий Борисыч, вспыхнул.

Меж тем Аркадия с Никанорой, сняв соборные мантии, вступили в беседу с отцом белокурой красавицы; а она с Парашей и Фленушкой стала разговаривать.

— Матушка Манефа как в своем здоровье? — спрашивал купец Аркадию. — Слышали, что очень хворала.

— Совсем было побывшилась, Марко Данилыч, с часу на час смертного конца ожидали... Ну, да услышал-таки Господь грешные наши молитвы — поднял матушку, оздравела, — сладким голоском отвечала Аркадия.

— Теперь-то как она?.. Вполне ли здравствует? — спросил Марко Данилыч.

— Како уж вполне, — молвила Аркадия. — И годы-то уж не молодые, и болезни, печали да огорчения. — Вот племяненку схоронила, Патапа Максимыча дочку.

— Слышали, матушка, слышали и немало потужили, — сказал Марко Данилыч. — Дунюшка у меня долгое время глаз осушить не могла. Подруги ведь, вместе в вашей обители росли, вместе обучались.

— Здравствуй, Дунюшка, здравствуй, моя красавица, — молвила Аркадия, обращаясь к дочери Марко Данилыча.

И трижды поликовалась с ней.

— Выросла-то как, пригожая какая из себя стала, — любовалась на Авдотью Марковну мать Аркадия. — Господь судьбы не посылает ли? — примолвила она, обращаясь к отцу.

Зарделось белоснежное личико Авдотьи Марковны, потупила она умом и кротостью сиявшие очи.

— Раненько бы еще, матушка, помышлять о том, — сухо отозвался Марко Данилыч. — Не перестарок, походит... Я ж человек одинокий... Конечно, Дарья Сергеевна за всеми порядками по́ дому смотрит, однако же Дуня у меня настоящая хозяйка... В люди, на сторону, ни за что ее не отдам, да и сама не захочет покинуть меня, старого... Так ли, Дунюшка?

Пуще прежнего покраснелась белокурая красавица, опустила глазки, и на ресницах ее сверкнули слезинки.

Глаз не может отвести от ее красоты Василий Борисыч, а Фленушка, нахмутив брови, так и впиалась в него глазами.

Обратилась к нему Аркадия, попрекнула:

— А вы, Василий Борисыч, и помолиться-то с нами не пожелали... Оленевских, должно быть, нашли.

— Нет, матушка, — отвечал Василий Борисыч, — пороще побродил маленько, желательно было на здешнее богомолье посмотреть.

— И на бережку были? — спросила Аркадия.

— Был и на берегу, матушка, летописцев здешних послушал... Искушение!.. — с усмешкой махнув рукою, промолвил Василий Борисыч.

— Вместе никак летописца-то слушали, — сказал Марко Данилыч. — Только господину не очень-то понравилось здешнее чтение, — вполголоса прибавил он, обращаясь к Аркадии.

Заметив, что отец заговорил с Васильем Борисычем, белокурая красавица спокойным, ясным взором осияла его... И ровно в чем провинился перед нею Василий Борисыч. Смешался и очи потупил.

— Что ж это так, Василий Борисыч? Чем же вам здешние летописцы так не понравились? — спросила мать Аркадия.

— Много несправедливого, матушка, с древним писанием несогласного... И в Житиях, и в Прологах, и в Степенной совсем не то сказано, — довольно громко ответил Василий Борисыч.

Руками замахала мать Аркадия.

— Потихоньку, потихоньку, Василий Борисыч!.. — тревожно заговорила она вполголоса.

— Вот теперь сами изволите слышать, матушка, — полушепотом молвил Марко Данилыч. — Можно разве

здесь в эту ночь такие слова говорить?.. Да еще при всем народе, как давеча?.. Вам бы, матушка, поначáлить ихнюю милость, а то сами изволите знать, что здесь недолго до беды... — прибавил он.

— Нет уж, Марко Данилыч, Василья Борисыча не мне стать начáлить, — повысив несколько голос, ответила уставщица. — Другого такого начетчика по всему христианству нет...

Удивился Марко Данилыч, слушая такие речи Аркадии.

— А из каких местов будете? — спросил он Василья Борисыча.

— Московский, — отвечал тот.

— При каких делах находитесь?

— На Рогожском в уставщиках, — скромно ответил Василий Борисыч.

— Постойте!.. Да не сродни ли вы будете Мартынову Петру Спиридонычу? — спросил Марко Данилыч.

— Так точно, в родстве состоим, — молвил Василий Борисыч.

— Так уж не вы ли с Жигаревым за границу ездили? В Белу Криницу? — спросил Марко Данилыч.

— Он самый, он самый и есть, — подхватила мать Аркадия.

— Наше вам наиглубочайшее!.. — молвил Марко Данилыч, снимая картуз и низко кланаясь Василию Борисычу. — Хоша лично ознакомиться до сей поры не доводилось, однако ж много про вас наслышан... Просим покорно знакомым быть: первой гильдии купец Марко Данилов Смолокуров.

— Очень рад вашему знакомству, — сказал Василий Борисыч, подавая руку Смолокурову. — Сами-то вы из здешних местов будете?.. С Ветлуги?

— На Горах проживаем, Василий Борисыч, на Горах, — сказал Марко Данилыч. — Здесь, на Ветлуге, в гостях с дочкой были, да вот и на Китеже вздумалось помолиться...

— У Воскресенья, что ли, гостили, Марко Данилыч? — спросила Аркадия.

— Так точно, матушка, — ответил Смолокуров. — У Лещова у Нефеда Тихоныча — третьего дня именинник он был. Мы у него каждый год почти на именинах гостим. Сродник тоже приходится.

— Знаю, что в сродстве, — молвила Аркадия. — А отсюда куда свой путь располагаете?

— В Лысково, матушка, в Лысково, да и ко дворам, — сказал Марко Данилыч. — И то загостились, а ярманка на дворе... Дела!..

— Вам бы к Петрову-то дню нашу обитель посетить Марко Данилыч, — с низкими поклонами стала звать его мать Аркадия. — Праздник ведь у нас, храм... Опять же и собрание будет... И Дунюшка бы повидалась с подругами... Приезжайте-ка, право, Марко Данилыч... Что вам стоит? До ярманки еще без малого месяц — управитесь... Давно же и не гостили у нас... А уж как бы матушку-то обрадовали... Очень бы утешили ее.

— Право, не знаю, как вам сказать, матушка, — колебался Марко Данилыч. — Делов-то оченно много накопилось... Не знаю, управлюсь ли.

— Да уж денек-другой важности не составит, — приставала к Смолокурову Аркадия. — Да ведь через наши-то места и схать вам будет способнее... На Дорогучу поедете, и дальше будет, и дорога самая неспособная.

— Так-то оно так, — молвил Марко Данилыч, — да, право, много делов-то набралось, матушка... Вот теперича хоть по рыбной части взять — восемь баржей из Астрахани вышли на другой день Всех святых, а до сих пор об них никакого нет известия, не знаю, все ли там благополучно.

«Восемь баржей с рыбой!.. Да от него миллионом пахнет!» — подумал Василий Борисыч и с удвоенным умилением посмотрел на белокурую дочку Марко Данилыча.

— Э! Марко Данилыч! С божьей помощью во всем успеете: и с делами управитесь и с нами попразднуете, — продолжала упрашивать мать Аркадия. — Мы, убогие, молиться будем, даровал бы Господь вашим делам поспешение... Не откажите, сударь, пожалуйста... Проси тятеньку-то, Дунюшка, погостила бы ты у нас маленечко, с подругами повидалась бы.

Слегка улыбнувшись, ясно и думчиво вскинула ясными очами на отца Авдотья Марковна, но ни словечка не выронила.

— Что, Дуня?.. Как думаешь?.. — весело спросил ее Смолокуров.

В немногих словах много звучало любви. Души не чаял Смолокуров в дочери. Она и теперь отцу ни слова

не вымолвила, скромной улыбкой, веселым покорным взором дала ответ.

— Хочется? — сказал, улыбаясь, Марко Данилыч.

Улыбнулись алые губки и синие очи красавицы. Слегка кивнула она русой головкой на речь родительскую.

— Нечего делать! по-твоему быть... Хоть ночку-другую не придется поспать, а чтоб Дунюшку потешить, чего не сделаешь?.. Ну поедем, поедем к матушке Манефе, на старое твоё пепелище, где тебя, мою голубушку, уму-разуму учили, — прибавил Смолокуров, ласково глядя дочь по головке.

— Благодарим покорно на согласии, — низко поклонилась ему мать Аркадия.

Рада была уставщица, наперед знала она, что похвалит ее Манефа за то, что зазвала на обительский праздник столь богатого и чивого «благодетеля»... Ста два целковых бесприменно выпадет от него на честную обитель, да с которой-нибудь из восьми баржён достанется на её долю добрый запас белуги и осетрины, икры и вязиги, балыков и молоко с жирами и всяких иных рыбных снедей. Щедр на подаяния в прежнее время бывал Смолокуров.

— А вы у матушки Манефы будете на празднике? — обратился он к Василью Борисычу.

— Ради Василья Борисыча и собрание-то у нас назначено, — поспешила ответить мать Аркадия. — Его ведь к нам из Москвы по духовным делам прислали. Из всех обителей съедутся с ним соборовать...

— Что за дела? — спросил Смолокуров.

— Да насчет епископства, — небрежно ответил Василий Борисыч.

— Надо съездить, надо, — отозвался Смолокуров. — Кстати, там у матушки Манефы и насчет Китежского «Летописца» мы с вами потолкуем... А здесь нельзя... Потому ревнители... А вы ещё давеча у озера-то... Ай-ай-ай!.. Здесь в эту ночь насчет этого опасно... Оборони, Господи, лишнее слово громко сказать... Ревнители!..

— Да что ж это за ревнители такие? — спросил Василий Борисыч.

— Да вот хоть бы тот же парень, что давеча вас ухватил, — тихонько ответил ему Марко Данилыч. — Давно его знаю — Васька Пыжов, в ямщиках прежде на

станции жил, да с чего-то спился, ну и стал ревнителем.

— Как же это так? — с любопытством спросил Василий Борисыч.

— Очень просто, — улыбаясь, но опять-таки полупшепотом, ответил Смолокуров. — Сегодня сами видели, каков ревнитель Васька Пыжов, а послезавтра, только что минет китежское богомолье, ихнего брата, ревнителей, целая орава сюда привалит... Гульба пойдет у них, солдаток набредет, на гармониях пойдут, на балалайках, вина разлитое море... И тот же Васька Пыжов, ходя пьяный, по роще станет невидимых святых нехорошими словами окликать... Много таких.

— Да отчего ж это так? — дивился Василий Борисыч.

— Так уж повелось, — молвил Смолокуров.

Меж тем людской гомон в роще стих совершенно. Костры догорели, ветерком, потянувшим под утро, слегка зарябило гладь озера... Одна за другой гасли на деревьях догоравшие свечи. На востоке заря занималась.

— Не пойти ль и нам к бережку? — молвила Аркадия, обращаясь к Марку Данилычу. — Китежских церквей не приведет ли Господь увидеть, звону колокольного не услышим ли?..

— Нам с Дуней к Лещовым пора, — сказал Смолокуров. — Они всем семейством здесь... Ну, да пока маленько-то по пути будет... Пойдемте.

Пошли к берегу... Тропинки, проложенные по роще в разных направлениях, не широки — пришлось идти попарно. Впереди пошел Марко Данилыч с Аркадией, за ними мать Никанора с Марьюшкой, потом Прасковья Патаповна с Дуней, сзади всех Василий Борисыч с Фленушкой. Быстро оглянувшись, схватила она его за руку и шепнула:

— Отстанем маленько.

— Ох, искушение! — прошептал Василий Борисыч, однако ж убавил шаг.

Фленушка сказала ему:

— Ты это что вздумал?

— А что?

— Вертеться еще, непутный!.. Насквозь тебя вижу,

сквалдырника! — горячо, но едва слышно молвила Фленушка.

Вздыхнул Василий Борисыч:

— Ох, искушение!

— Нечего тут с дурацким твоим «искушением»...

С чего это вздумал ты на чужих девок бесстыжие глаза пялить?.. А?.. Забыл перелесок?.. Не помнишь улангерского гулянья? Слушай же, смиренник, что говорить стану. Удалось беспутному склонить дерево не по плечу... Дурацким твоим счастьем да девичьей нашей глупостью стало то дело... Ну, стало так стало — прошлого не воротишь... Хныкать нечего, да мы и не хнычем... Помни только, бесстыжие твои глаза, что Параша не Устинье Московке чета... Помни, говорю, помни, бесшабашная твоя голова!.. За Парашину обиду шкурой ответишь, головой поплатишься!.. Помни, что она одна-единственная дочь у Патапа Максимыча...

— Да помилуйте, Флена Васильевна, что ж это вы на меня так накинулись... Я человек не смелый, можно ль такие страхи мне говорить? — зачал было растерявшийся Василий Борисыч, но Фленушка не дала ему продолжать.

— Молчи да слушай, что тебе говорят, — сказала она полусшепотом, — да смотри — речи мои на нос себе заруби. Вздумаешь подъезжать к Смолокуровой — Марку Данилычу скажу, он тебя не хуже Чапурина отпотчует.

— Да помилуйте, Флена Васильевна! — опять зачал было Василий Борисыч. Фленушка опять перебила.

— Пикнуть не смей, когда я говорю, — облив его гневным взором, сказала она. — От Парашаи вздумаешь вильнуть, все расскажу Патапу Максимычу... Себя не пожалею, а все расскажу... Места на свете не будет тебе... Со дна моря он достанет обидчика и так отплатит, так отплатит, что даже сказать нельзя...

— Господи помилуй!.. Господи помилуй!.. — вздыхал оробевший Василий Борисыч. При одном воспоминанье, что может сделать с ним Патап Максимыч, то в жар, то в озноб кидало его.

— До мясоеда неделя, — не слушая вздыханий его, продолжала Фленушка. — После Петрова дня тотчас надо вас окрутить...

— Как? — дрогнув всем телом и побледнев, спросил Василий Борисыч.

— Не твое дело, как, — ответила Фленушка. — Слушай!.. Будет мать Августа в Шарпан звать на Казанскую, не ездить... Обещайся, а после хворым прикинься... Матушка Манефа в Шарпан поедет, и только она со двора, мы тебя в церковь.

— Как в церковь?.. В какую?.. — едва мог промолвить Василий Борисыч.

— В Свибловскую, — ответила Фленушка. — Свиблово село знаешь?

— В великороссийскую-то? — прошептал рогожский уставщик.

— А в какую ж ты думал? — усмехнулась Фленушка. — В Городецкую небось часовню... аль к австрийскому попу к Коряге?.. Нет, друг любезный, венчаться, так уж венчаться покрепче, чтоб у Параши венец с головы потом не слетел.

— Да помилуйте, Флена Васильевна, — молящим голосом заговорил Василий Борисыч. — Как же это возможно?.. Вдруг в никонианскую!..

— Да ты хоть то себе в толк возьми, безумный, что дело-то ведь спешное... Сыщешь ли, нет ли попа в Городце, старуха надвое сказала... Разъезжает он, отец-от Афанасий... Да и сыщешь, так без согласья Патапа Максимыча Парашу венчать он не станет. Чапурин-от ведь попечителем у них в часовне... Ты это пойми... Да не в том главная причина: ты вот какой слабый на женский-от пол, чуть завидел пригожую девку, тотчас и к ней... Этак, пожалуй, и жену бросишь... В нашем староверском венчанье для бессовестного человека крепости нет, нашего венчанья на суд не поставишь... А как церковный-от поп вокруг наложив тебя обведет, так уж вертись не вертись, а живи с женой до гробовой доски... Правду аль нет говорю, сам рассуди!..

— Да как же это в никонианскую-то? — жалобно и трепетно заговорил Василий Борисыч. — Мне!.. Сраму-то что будет на Москве!.. Помилуйте, Флена Васильевна!.. Ведь я Рогожским живу — хлеба лишиться могу.

Слезы даже выступили на глазах у Василья Борисыча.

— Парашина богатства тебе не прожить, — холодно молвила Фленушка.

— А Патап-от Максимыч!.. — тоскливо проговорил московский посол.

— От венца прямо в Осиповку да бух ему в но-

ги, — молвила Фленушка. — Завсегда так бывает, когда самокрутки играют... Маленько повоюет — стерпи... Ударит, пнет тебя в зубы ногой — смолчи... Повоюет и смиляется... Дочь ведь — своя кровь. Опять же полюбил он тебя...

— Так не лучше ль сказаться ему, да по чести все сделать, — вымолвил Василий Борисыч, но Фленушка так и вскинулась на него:

— Думать не смей!.. В помышление не смей держать! Уходом надо... Слышишь: уходом — самокруткой!.. Жива быть не хочу, коль уходом тебя не свенчаю.

— Повременить бы хоть, Флена Васильевна.

— Слышать не хочу... Говорить мне этого не смей, — резко ответила Фленушка. — А зачнешь на Дуньку Смолокурову пялить глаза — от того ль родителя, от другого ли плетей ожидай... Слышишь?..

В это время передняя пара, дойдя до расстанного места, остановилась. Остановились и другие. Комаровские богомолицы распрощались со Смолокуровыми, и Марко Данилыч на прощанье еще раз уверил мать Аркадию, что на Петров день он непременно приедет в Комаров. А как только придут на место баржи, придет матушке Манефе рыбного запаса. Ласково простился он и с Васильем Борисычем... С улыбкой и добрым взглядом простилась со всеми Авдотья Марковна, приветливо поклонилась и Василью Борисычу, но тот стоял, как в землю вкопанный, не догадался даже картуза снять да поклониться... Очень уж зорко смотрела на него в то время Фленушка.

Подошли комаровские к берегу, выбрали местечко, где не так много было народу.

— Не прилечь ли? — молвила Аркадия. — Может, и звона послушать Господь приведет.

Радехонька Параша... давно ее клонит ко сну... Разостлали по земле шерстяные платки, улеглись. В самой середине положили Парашу, к бокам ее тесно прижались Фленушка с Марьюшкой, по краям легли старицы... Прислонясь к ветвистому дубу, сумрачен, тих и безмолвен стоял Василий Борисыч, не сводя грустных взоров с подернувшейся рябью поверхности Светлого Яра...

«Вот искушение-то! — думал он сам про себя. — Хоть удрать бы куда!..»

Не привел Господь комаровским келейницам слушать малинового звона колоколов китежских, не привел Бог в лоне озера увидеть им невидимый град... Не привел Бог и Василья Борисыча додуматься, как бы по-добру-поздорову выбраться из омута, куда затянуло его привольное житье-бытье с красивыми молодыми девицами лесов Керженских, Чернораменских.

Оттого, по словам матери Аркадии, не удостоились комаровские келейницы принять благодати, что суета обуяла их, праздные, многмятежные мысли умы всколебали.

Почему ни до какого способа не мог додуматься бедный Василий Борисыч, почему у него все утро мысли путались, а думы туманились — понять он не мог... «Видно, уж такое пришло искушение!..» — додумался он, наконец. Жутко ему. Сколько ни живет на свете, не приходилось в таком переделе быть... Чтó страх австрийского мандатора, чтó горести-беда, которыми встретила его Москва по возвращенье из чужих краев!.. Скитские девки солоней пришились и австрийской полиции и предательской трусости рогожских столпов... Страшно вздумать про Патапа Максимыча, да не сладко и Марка Данилыча помянуть. «Эти лесные медведи «политичного» обращения не ведают — у них бы все по зубам да в рыло... — думает Василий Борисыч. — Ох, эта страсть!.. Ох, это искушение!.. До чего может она довести человека!.. Над целомудренным девственником, над первым начетчиком какая-нибудь девчонка смеется, в церковь тянет, плети сулит!.. И выхода нет, ничего не придумаешь, — куда ни кинь, везде клин... А как ни вертись — грозы не миновать: жениться беда, не жениться беда... Хоть сквозь землю — так в пору».

«Однако ж свадьбу-самокрутку сыграть все-таки лучше, — начинает додумываться Василий Борисыч, — все-таки выйдешь целее... Фленушка говорит: «Повоюет маленько»... Маленько!.. Кулачище-то страсть!.. Так оставить — убьет, жениться, да еще в церкви, — сраму-то что!.. Как тогда в Москву глаза показать?.. Иудой обзовут, отступником, предателем!.. Матушка-то Пульхерия!.. Батюшка-то Иван Матвеич!.. Сродники!.. Знакомые!.. Как оплеванный станешь... Ах ты, Господи!.. Угораздило ж меня!.. Вот он, враг-от, где, вот оно, искушение-то!.. А тут еще Устюшка!.. Осрамит, как пить

даст, окаянная!.. Эх, то ли дело в Оленеве, то ли было дело у матушки Маргариты... Блины пекла любушка Грушенька, а в келарне нас двое... Наклонится голубонька перед печкой, сковородник в руках... Стоишь рядом, заглянешь через плечи-то сверху под ворот... Искушение!.. Ну, известно, — тут бес... И ничего!.. Блинки поели и все позабыли... И никаких разговоров — ровно ничего не бывало... А у матери Манефы, куда ни сунься, везде на беду наскочишь!.. Ох, грехи, грехи!.. Ох, грехи наши тяжкие!»

И ни словечка ни с кем не вымолвил он на обратном пути в Комаров. Когда расселись по повозкам, мать Аркадия вздумала было завести с ним разговор про Китежского Летописца, но Василий Борисыч сказал, что он обдумывает, как и что ему в Петров день на собрание говорить... Замолчала Аркадия, не взглядывала даже на спутника. «Пусть его, батюшка, думает, пусть его сбирается с мыслями всеобщего ради умирения древлеправославных христиан!..»

И от нечего делать раскидывала Аркадия умом-разумом — сколько бы икры, сколько осетрины надо бы было прислать в обитель Марку Данилычу... И про вязигу думала, и про белужью тёшку, и про все передумала дорогой мать Аркадия.

И меж тем миловидный образ белокурой красавицы неотступно мерещился Василью Борисычу... ровно въявь глядит на него Дуня Смолокурова и веселым взором ясных очей пронизывает его душу... «Эх ты, красота, красота ненаглядная... — думает Василий Борисыч. — Жизни мало за один поцелуй отдать, а тут изволь с противной Парашкой вожжаться!.. Дерево!.. Дубина!.. И в перелеске была ровно мертвая — только пыхтит!..»

Глава третья

На Каменном Вражке в ските Комарове, рядом с Манефиной обителью, Бояркиных обитель стояла. Была мала и скудна, но, не выходя из повелений Манефы, держалась не хуже других. Иногородные благодетели деньги и запасы Манефе присылали, и при каждой раздаче на долю послушной игуменьи Бояркиных, матери Таисьи, больше других доставалось. Такие же

милости выдали от Манефы еще три-четыре во всем покорные ей обители.

А в старые годы велика́, славна и богата была обитель Бояркиных... Но слава ее давно позабыта, давно погорели богатства ее. Лет через пять после французского года случился великий пожар на Каменном Вражке. Начался у Бояркиных. Дело было ночное; матери и белицы в одних срачицах едва успели повыскакать из пылавших строений, только и помог милосердный Господь вынести из часовни келейный «синодик» строительницы обители да две иконы: храмовую Тихвинской Богородицы да образ Спаса с алою орденской лентой на венце его.

Та лента звалась «лопухинской». Много про нее ходило рассказов, и в тех рассказах давняя правда с новыми вымыслами мешалась.

В «синодике» после святейших патриархов и благочестивых царей вписаны были старинные знатные роды: Лопухиных, Головиных, князей Ромодановских, Троекуровых, Голицыных, Куракиных. А первое всех писан род князей Болховских. И под тем родом такие слова приписаны были: «...и сродников их: царей и великих князей Петра и Петра всея Великия и Малыя и Белья России, царицы Евдокии во иночестве Елены, царевича Алексия и царевны Наталии... Не постави им сый человеколюбче во осуждение забвения древлеотеческих преданий».

За эту приписку тот «синодик», по соборному уложению комаровских матерей, от всеобдержного чтения был отставлен, «поне за отступивших от правыя веры ни пения, ни свечи, ни просфоры, ни даже поминовения, по уставу святых отец, не положено»... Но славы ради и почести святые обители изволися Комаровскому собору хранить тот «синодик» на память грядущим родам. Вот-де каковы бывали старые жители лесов Керженских: сродники светлым царским родам. И от того «синодика» больше чем от лопухинской ленты разносилось между керженскими и чернораменскими жителями баснословных рассказов и новоизмышленных преданий. Каковы же были те рассказы и те предания — прейдем молчанием... Всего писанного на Керженце и всего там говоренного ни в книги списать, ни словом рассказать никому человеку нельзя.

На самом деле тот «синодик» и та лопухинская лента на Керженец вот как попали:

Во дни Петра Первого проживала на Москве круглая сирота, княжна Болховская. Много у той княжны-сироты было знатных сродников, много было у ней богатых свойственников. Взросла княжна в доме княгини Троекуровой, родной сестры суздальской заточенницы царицы Евдокии... От той княгини Троекуровой и старой вере княжна научилась... Когда ж по розыску о царевиче Алексее Петровиче княгиню Троекурову за дерзостные словеса в монастырь на безысходное житие послали, несмысленную еще отроковицу княжну Болховскую приютил сродник ее, Степан Васильевич Лопухин. Тогда он только что женился на первой петербургской красавице, Наталье Федоровне Балк. Не по воле своей, по царскому приказу браком он сочетался.

В наполненных заморскими благоуханьями передних комнатах лопухинских палат пиры бывали частые, гремела нововводная музыка, и молодая хозяйка в немецких танцах блистала красотой и ловкостью среди многочисленных поклонников, русских и иноземцев... А в одной из задних уютных горниц, пропитанной запахом воска, деревянного масла и ладана, с кожаной лестовкой в руке стаивала в то время на молитве молодая княжна Болховская, тщательно скрывая от людей свое двуперстие... Опасно было: за старообрядское перстосложение тогда нещадному розыску все подвергались... И то Феофан с Питиримом подозревали княжну в расколе; удаление ее от указных ассамблей и роскошных домашних пиров они ставили ей в вину и в укор... То-де противление власти монаршей и «знатное согласие к раскольщикам непрестанно на государя и государство зло мыслящим...». Сведаль о том Степан Лопухин, оберег свою сродницу. Самому царю сказал, что недугом она одержима, к тому ж и разумом не цела, сроду была малоумна, с детских лет малосмысленна... Не по силам становилась и княжне петербургская жизнь; после долгих и слезных просьб отпустил ее Лопухин на безмятежное житие в подмосковное свое имение, Гуслицкую волость¹.

Без малого двадцать лет выжила там княжна Бол-

¹ Гуслицы, или *Гуслицкая волость* (в нынешнем Богородском уезде Московской губернии), и в начале XVIII столетия, как и теперь, заселена была почти сплошь раскольниками.

ховская. Жила затворницей с десятком других неимущих девиц из дворянских родов. Из домика своего никуда не выходила, а к ней бывали вхожи только раскольничьи старцы да старицы... Меж тем Лопухины блистали в Петербурге. Чтил Степана Васильича Петр Второй, как близкого родственника, чтили его и две Анны, императрица и правительница... Настало царство Елисаветино, и над родом Лопухиных гроза разразилась... Узнав о беде на них, старообрядцев, поскакала княжна в Петербург... Войдя в дом дяди, узнала, что жена, его сын и дочь под стражей сидят... И радовался и слезы лил Степан Васильич при встрече с княжной. Все его покинули, все от него бегали, как от чумного, одна она из дальних мест явилась утешать его... «Вдругая опала наш род постигает! — сказал княжне Лопухин. — Скройся, куда знаешь; ведаю, что в Гуслицах ты с раскольщиками зналась, теперь до всего доберутся и тебя запытают... Слышно, за тобой уже послано...» И на веки простился с княжной опальный сродник и дал ей на сохраненье родовой образ нерукотворенного Спаса да александровскую ленту, что надета была на него самим императором-племянником Петром Вторым. Много червонцев, еще больше драгоценных вещей отдал княжне Лопухин... И те вещи погорели в пожаре, что был в Комарове лет через пять после французского года.

Простилась с дядей княжна Болховская, одинокою пошла из опального дома. Старообрядцы скрыли ее. Прожила она у них в Питере недели с четыре и дождалась начала индикта семь тысяч двести пятьдесят второго новолетия, что супротив царского указа раскольники тихонько справляли по-старинному, на Семен-день. И на тот самый день¹ палачи на площади резали языки у Степана Васильича с сыном и били их кнутом; резали язык и первой петербургской красавице Наталье Федоровне и, взвалив ее на плечи дюжего мужика, полосовали кнутом нежное, всенародно обнаженное тело...²

Сжалось и льдом застыло обливавшееся дотоле жгучей кровью сердце княжны Болховской, иссушенной

¹ 1 сентября 1743 года.

² Через восемнадцать лет все пострадавшие по этому делу были объявлены невинными.

постом, истомленной молитвами... Скрытая в народной толпе, всем телом дрожала она и, взирая на муки сродников, тихо шептала: «Святити мученицы, добре страдавшие, молитесь ко Господу!..» Старообрядцы чуть живую увезли княжну из Питера... Пробираясь околицами, добралась она до лесов Керженских, Чернораменских, и здесь на Каменном Вражке была встречена своим «малым стадом» — теми девицами, что жили с ней в Гуслицах. Наперед вывезли их оттуда раскольники... На лопухинские деньги ставила княжна Болховская обитель. И прозвали ее «обителью Бояркиных», потому что первые насельницы в ней все боярышни были... Построила княжна и часовню, внесла в нее икону Спаса с лопухинской лентой. Тот образ и та лента до самого упразднения скитов в обители Бояркиных сохранялись¹. Таково было начало обители Бояркиных.

Годовой праздник у Бояркиных на Тихвинскую бывал². По скитскому заведению на тот день в моленной великая служба бывала, а в келарне праздничные кормы ставились. С раннего утра больше половины матерей и бслиц из Манефиной обители ушли к соседям праздновать, но, как ни упрашивала мать Таисея самое Манефу не забыть прежней любви, в такой великий день посетить их обитель, она не пошла, ссылаясь на усталость и нездоровье... То была отговорка. Ни за что бы в свете не огорчила она покорную, во всем согласную, во всяких случаях безответную соседку-игуменью, если б у самой на душе мало-мальски было спокойнее... Казать на великом собранье людей душевное беспокойство не подобает — басен не пошло бы каких в народе.

Оставшись одна, заложила Манефа руки за спину и в мрачной думе твердыми, мерными шагами стала ходить взад и вперед по келье... Промчавшийся пожар по лесу ее беспокоил. Что-то ее богомольщицы?.. Успели ли избежать огненной смерти?.. Пробрались ли вовремя к озеру Светлояру?.. Если в Улангере остались — давно бы пора воротиться... Стало быть, оттоль поехали чрез Полому... Не о том Манефа заботится, не о том сокрушается, что придется перед Москвой ответ держать, зачем допустила жившего под ее кровом ро-

¹ В 1853 году. Факт.

² 26 июля.

гожского посла погибнуть в пламени; не гнева Патапа Максимыча страшится, не горький, истомный плач безнадежного отчаяния Аксиньи Захаровны смущает ее — болит она сердцем, сокрушается по Фленушке... Хоть греховным делом, а под своим же сердцем носила — чувство матери все заглушает... Но никто не заметил бы, что за думы волнуют Манефу, — глаза горят, но лицо бесстрастно и величаво спокойно...

Изнемогла... Опершись руками об оконные косяки, приникла к стеклу головой.

И вот по узенькой дорожке, что пролегает к скиту из Елфимова, облитые ярким сияньем поднимавшегося к полудню солнца, осторожно спускаются в Каменный Вражек повозка, другая, третья... Не разглядеть старым очам Манефы, кто сидит в тех повозках, но сердце матери шепчет: «Жива!..»

И, медленно подойдя к божнице, берет Манефа висевшую с края икон лестовку и чинно творит семипоклонный начал.

Поднявшись из Каменного Вражка, богомольный поезд проезжал мимо Бояркиных. Там на дворе стояла густая толпа разодетых по-праздничному богомольцев. Моленная была невелика, не могла вместить всех пришедших поспрадовать. Часы уж кончились, допевали молебный канон Богородице... Работные белицы то и дело сновали между моленной и келарней и крыли скатертями расставленные по двору столы для прихожих богомольцев. Тесна у Таисеи была и келарня: незнатных гостей и всех незваных кормили на воле, благо погода была подходящая.

Когда возвращавшиеся из невидимого града Китежа поклонницы поровнялись с обителью Бояркиных, у верей ворот стояло двое богомольцев. По всему видно, что были те гости дальние. Один статный такой из себя, черный волос, румянец во всю щеку, ходит ребром, глядит козырем, удаль, беззаботность на лице писаны, глаза только вслух не говорят: «валяй, не гляди, что будет впереди», одет, стрижен совсем «по-немецкому». Другой смуглый, невысокого роста, плечистый, коренастый, в ситцевой рубаше-косоворотке и в черном суконном кафтанчике старообрядского покроя. Стрижен в скобку. Когда Манефины повозки поровнялись с

воротами, оба, сняв шапки, весело стали кланяться, но всех веселей, всех приветливей отдали они поклоны сидевшим в задней повозке Фленушке с Марьюшкой. И та и другая с радости так и вспрыгнули. Не выдержала Фленушка, вскрикнула:

— Давно ль пожаловали?

— Вчерашнего числа, — молвил одетый по-немецкому, лукаво прищутив глаза. — Вы здоровенько ли съездили?

— Слава Богу, слава Богу! — весело, как веселенькая птичка, защебетала Фленушка. Больше она не могла говорить, повозки поехали к Манефиной обители, а молодцы остались у ворот Бояркиных.

В невозмутимом покое чинно, обрядно встретила Манефа возвратившихся богомолиц. Одна за другой подходили к ней благословляться: в первых Аркадия, потом Никанора, за ними Фленушка с Марьюшкой, за ними Параша. После того мужской пол благословлялся и опять-таки по чину, по ряду и в очередь: сперва Василий Борисыч, потом конюх Дементий, за ним двое обительских трудников, правивших конями... Творя перед игуменьей по два метанья со словами: «Матушка, прости! матушка, благослови!», каждый выслушивал уставной ответ Манефы: «Бог простит! Бог благословит!..» Ни слова больше... Стройно, по чину, обрядную встречу справляла.

И когда совершился обряд, подбежавшие работные белицы испросили у матушки благословенья поклажу из повозок принять. Благословив, молча и бесстрастно глядела Манефа, как выгружали они перины и другие пожитки на келейное крыльцо; когда ж Дементий повернул порожние повозки на конный двор, игуменья, холодным взором окинув приехавших, молвила:

— В келью войдите. — И, увидя Устинью Московку, сказала: — Поставь самовар.

Канонница заревом вспыхнула... Недобрым взором облила она московского посланника, вскинула злобыми очами на Прасковью Патаповну и, склонив покорно голову, пошла по приказу игуменьи.

Полна людей Манефина келья. Кроме приехавших с богомолья, собрались туда обительские старицы и те из белиц, что не ходили на праздник к Бояркиным.

Отправляясь на конный двор, конюх Дементий возле келарни встретил добродушную мать Виринаю и молвил ей словечко-другое о пожаре в Полѳмском лесу. Мигом облетела та вестъ всю обитель. Оттого матери с девицами и спешили одна за другой в келью Манефы. Всякой лестно было послушать рассказы о «чудесном происхожденъе», всякой желательно было узнать, как Господь сохранил обительских путниц от огненной смерти. Прежде всех прибежала сама Вириная. Окинув приезжих глазами, всплеснула руками и вскрикнула:

— Отроци вавилонстии... Росодательну убо пещь содела вам ангел!..

— Знать бы тебе пироги да печку, — нахмурясь слегка, молвила ей Манефа и, мало помолчав, повелела Аркадии по ряду рассказывать про бывшие с ними в пути приключенья.

Уставщица начала с пожару, Манефа воспретила ей продолжать.

— По ряду сказывай, с того часу зачинай, как из дому отправились, — строго молвила ей.

И зачала мать Аркадия рассказывать, как молились они на гробницах Фотиньи и Голиндухи, как приехали в Улангер, какие там были собранья, и что говорилось на этих собраниях... А меж тем бывшие в келье чай пили: Устинье пришлось еще три самовара поставить... И когда дошла мать Аркадия до того, как скакали они по кочкам и корневищам в пылавшем лесу, Манефа, кинув мимолетный взгляд на Фленушку, опустила на глаза креповую наметку и по-прежнему осталась недвижимой. Только сложенные на коленях руки ее порой вздрагивали. И только тогда подняла она неметку, когда мать Аркадия довела речь до встречи со Смолокуровым и возвестила об его обещанье приехать на праздник и недолго прислать астраханских рыбных запасов.

— Спаси его Христос, — молвила Манефа. — Мать Вириная, изготовить Марку Данилычу Таифину келью; хорошенько в ней приberi.

Когда ж Аркадия, кончив рассказ, сотворила перед сидевшей игуменьей обычные метанья, та сказала:

— Слава Господу Богу и Пречистой владычице Богородице, что было у вас все по-хорошему... Устали, поди, с дороги-то? — прибавила она, приветно улыбнувшись. — Ступайте, матери, с Богом, девицы, отдохните, спокойтесь, Господь да будет над вами. Подите.

Стали одна за другой благословляться: сперва Аркадия, потом Никанора, за ними Виринея и другие старицы, потом белицы. И, благословясь одна за другой, выходили из кельи. Остались Параша с Фленушкой и Марьюшкой да Василий Борисыч с Устиньей Московкой.

Думается Марьюшке, с ума не идет у Фленушки, как бы скорей повидаться с молодцами, что стояли у въездных ворот Бояркиных. Огнем горит, ключом кипит ревнивое сердце Устиньи, украдкой кидает она палючие взоры на притомившегося с дороги Василья Борисыча и на дремавшую в уголке Парашу.

— Ну, что, Василий Борисыч, как показалось тебе в наших лесах? — спросила Манефа. — Понравилось ли тебе на Китеже?

— Очень занятно, матушка. С любопытством поглядел я на ваши места богомольные, — степенно ответил Василий Борисыч.

— Не ладно только, что в огонь-от чуть было не угодили... Эка беда какая! — молвила Манефа.

— Да, матушка, едино божие милосердие сохранило нас от гибели, — отозвался Василий Борисыч. — Грешный человек, совсем в жизни отчаялся. «Восскорбех печалию моею и смутихся... Сердце мое смутися во мне, страх смерти нападе на мя, болезнь и трепет прииде на мя... но к Богу воззвах, и Господь услыша мя». Все, матушка, этот самый — пятьдесят четвертый псалом я читал... И услышал Господь грешный вопль мой!..

— Его святая десница! — вздохнула Манефа, благостно взглянув на иконы.

— В Улангере какво совещались? — мало повременя, спросила она. — Как там полагают, на чем думают дело решить?

— Очень заметно в них, матушка, желание признать архиепископа и заимствоваться от него священством, — молвил Василий Борисыч.

— Мать Юдифа во всем со мной согласна, а за нею все Улангерские обители пойдут, — сказала Манефа. — А коли сказать тебе, друг мой, откровенно, сама-то я сильно еще колеблюсь... Ни на что решиться не могу. Ум раздвоенный, а дело великое!.. Колеблюсь!.. Себя-то бы вечно не погубить, да и других бы в напасть не ввести.

— Если, матушка, желаете со всеми в согласии пребыть, неотменно надо вам духовную власть архиепископа признать. Не одни московские его принимают, а повсюду, где только есть наши христиане, — сказал Василий Борисыч.

— Этого, друг мой, не говори. Далекó не повсюду, — возразила Манефа. — Который народ посерее, тот об австрийских и слышать не хочет, новшеств страшится... И в самом деле, как подумаешь: ни мало ни много двести лет не было епископского чина, и вдруг ни с того ни с сего архиереи явились... Сумнительно народу-то, Василий Борисыч... Боятся, опасаются... Души бы не погубить, спасенья не лишиться бы!..

— На простой народ нечего глядеть, матушка, — возвысил голос Василий Борисыч. — Простой народ всегда за большаками идет... И в Писании сказано: «овчее стадо» — паства, значит. А овцы как? Куда передний баран, туда и все сломя голову...

— То-то и есть, Василий Борисыч, что они не захотят, да и мы не пожелаем головы свои ломать, — нахмурясь, сказала Манефа.

— Это я к слову только сказал, — немного смутившись, ответил Василий Борисыч. — То хочу доложить, что если по здешним скитам признают архиепископа, все христиане следом за вами пойдут... Всегда так бывало. В высоких делах как серому люду иметь рассужденье?.. Куда его поведешь, туда он и пойдет.

— Ну, это еще Бог знает, так ли, — молвила Манефа. — Это у вас на Москве так думают... Живучи век в больших городах, где вам знать, что такое простой захолустный народ?.. Трость ветром колеблема! Вот они что!.. Опять же и время такое настало, что христиане не только у вас на Москве, но и в наших лесах о своих выгодах стали больше думать, чем о Господе, о спасенье души ровно бы и помышлять забыли... А все от вас идет! Все от вас: из Москвы, из Питера, из больших городов. Нажили богатства, возгордились, забыли Бога, создавшего вас, да и бедных людей в соблазн завели... Иссякает вера, любезный мой Василий Борисыч, по своим похотям стали люди ходить, страх божий забыли. Поистине, последние времена!.. Ну, да об этом, Бог приведет, еще потолкуем, а теперь не отдохнуть ли тебе? Не то попраздновать не желаешь ли? У Бояркиных праздник сегодня.

— Нет уж, благословите, матушка, мне отдохнуть маленько, — ответил Василий Борисыч. — Встали раненько, с ночлега поехали с солнышком вместе, а дороги-то у вас, спаси, Господи, и помилуй.

— Лесные дороги, Василий Борисыч. Какие есть, не взыщи, — молвила Манефа. — А отдохнуть в самом деле тебе не мешает... Подь-ка, любезный, покойся!

Вышел из кельи Василий Борисыч, следом за ним Параша и Марьюшка с Устиньей Московкой. Фленушка одна осталась с Манефой.

— Ах, Фленушка, Фленушка! Как же я без тебя исстрадалась!.. — с жаром и нежною лаской заговорила Манефа, глядя ее по голове. — Чужало мое сердце, что у вас недоброе что-то идет!.. И когда разгорелся пожар, чего-то, чего я не передумала, глядя на дымные небеса... Радость ты моя!.. Кажется, если б что случилось, дня не пережила бы... Измучилась, исстрадалась я до смерти.

— Слава Богу, матушка, все живы-здоровы, — беззаботно молвила Фленушка, целуя руку Манефы.

— Ах, Фленушка! — с сердечным умилением нежно и ласково продолжала игуменья. — Чего я в то время про тебя не передумала!.. Дорога ведь ты сердцу моему, Фленушка!.. Ох, как дорога ты — и помыслить не можешь того!..

И ровно оборвала речь. Смолкла. И мало погодя сдержанно заговорила:

— О судьбе твоей все думаю... Недолго мне, Фленушка, на свете жить. Помру, что будет с тобой?.. Душа мутится, дух замирает, только об этом подумаю. Всякий тебя обидит, никакой у тебя заступы не будет... Горько будет тебе в злобе мира, во всех суетах его... — Так взволнованным голосом, склонив голову на плечо Фленушки, говорила Манефа.

— Полно-ка, матушка, не круши себя, — сквозь слезы отвечала ей Фленушка. — Все Господь устроит по святой воле своей. Сама ж ты учила меня во всем полагаться на святую волю его... Не томись же, матушка, не печаль себя. Господь милостив. Он все устроит...

— Думала ль ты, Фленушка, про что я намерен тебе говорила?.. Помнишь, весной-то, как от болезни только что справилась?.. Надумалась ли хоть сколько-нибудь? — глубоко вздохнув, спросила Манефа.

— Про постриг-от, — немного помолчав, отозвалась Фленушка.

— Да, — подтвердила Манефа.

Молчала Фленушка.

— Утешь ты меня, успокой, моя милая, дорогая ты моя Фленушка! — молящим голосом говорила Манефа. — Спокойно б я тогда померла, все бы добро к тебе перешло, без страха б за тебя, без печали закрыла очи на смертном одре, без земных бы забот предстала пред создателя...

Искрились слезы в глазах старицы.

Задумалась Фленушка, села на лавку, склонила голову.

— Пожалей ты меня, успокой ради Господа! — продолжала Манефа. — Дай отраду концу последних дней моих... Фленушка, Фленушка!.. Знала бы ты да ведала, каково дорога ты мне!

— Разве не вижу я любви твоей ко мне, матушка? Аль забыла я твои благодеяния? — со слезами ответила ей Фленушка. — Матушка, матушка!.. Как перед истинным Богом скажу я тебе: одна ты у меня на свете, одну тебя люблю всей душой моей, всем моим помышлением... Без тебя, матушка, мне и жизнь не в жизнь — станешь умирать и меня с собой бери.

— Не раздирай сердца моего!.. — молила Манефа. — Пожалей меня, бедную, успокой, согласись... Я бы тотчас благословила тебя на игуменство... При жизни бы своей, сейчас бы полной хозяйкой тебя поставила.

Судорожно рыдала Фленушка, и тихо текли слезы по впалым ланитам Манефы... «Сказать ли ей тайну? — думала она, глядя на Фленушку. — Нет, нет!.. Зачем теперь про свой позор говорить?.. Перед смертью откроюсь... А про него не скажу, чтоб не знала она, что отец у нее, может, каторжник был... Нет, не скажу!..»

— Матушка! — подняв голову, твердым голосом сказала Фленушка.

— Что?

— Дай мне сроку два месяца... Два месяца только... Дай хорошенько одуматься... Дело не простое... Великое дело!.. Дай сроку, матушка... — и зарыдала, припав головой к Манефиной груди.

— Ну, хорошо, хорошо... — успокоивала ее Манефа... — Дело терпит, не к спеху... Да полно же, Фленушка!.. К чему убиваться?.. Полно... Поди, приляг у меня в боковушке.

— Через два месяца скажу я тебе, в силах ли буду

исполнить желанье твое, — вставая с места, сказала Фленушка. — Не мое то желанье — твое... А снесу ль я иночество, сама не знаю... Теперь к себе пойду... запрусь, подумаю. Не пущай никого ко мне, матушка... Скажи, что с дороги устала аль что сделалась я нездорова.

Истово, обрядно перекрестила ее Манефа, говоря твердым голосом:

— Во имя Отца и Сына и Святого Духа!.. Подь, радость моя, успокойся.

Ровно былинка под ветром шатаясь, пошла вон из кельи Фленушка. Слезным взором посмотрела на нее Манефа и, заперши изнутри келью, стала на молитву.

Долго молилась она. Потом, взяв бумагу, стала писать.

Кончив писанье, несколько раз прочитала бумагу и, медленно сложив ее, сняла с божницы келейную икону Корсунской Богородицы. Сзади той иконы был едва заметный «тайничок». Такие тайнички на затыле икон нередко у старообрядцев; в них хранят они запасные дары на смертный случай. Тайничок Корсунской иконы был пуст... И положила туда Манефа бумагу, что написала, и, задвинув тайник крышечкой, поставила икону на место.

После того еще больше часу стояла она перед Корсунской Богородицей на молитве.

Глава четвертая

Чин чином справили свой праздник Бояркины. Постороннего народа за столами на широком дворе и почетных гостей в тесной келарне было немало. Всем учрежденье за трапезой было довольное. Все обошлось хорошо, уставно и в должном порядке. И когда по окончании обеда остались в келарне только свои, утомленная хлопотами мать Таисея, присев на лавочке, радостно перекрестилась и молвила:

— Слава те, Господи!.. Привела владычица матушка царица небесная праздник великий свой спраздновать!

И матери и белицы низко поклонились игуменье. Казначея мать Ираида за всех за них молвила:

— Твоими, матушка, стараньями, твоим попеченьем!.. Не от уст, от сердец наших прими благодаренье.

— Спаси Христос, матери; спасибо, девицы... Всех на добром слове благодарю покорно, — с малым поклоном ответила Таисея, встала и пошла из келарни. Сойдя с крыльца, увидела она молодых людей, что кланялись с Манефиными богомольцами...

— Не прогневайтесь, гости дорогие, на нашем убогом угощенье, — с низким поклоном сказала им Таисея. — Не взыщите Бога ради на наших недостатках... Много гостям рады, да немного запасливы.

— Чтой-то вы, матушка?.. Помилуйте! — молвил удалец, что был одет по-немецкому. — Очень довольны остались на вашей ласке и угощенье.

— За любовь благодарим покорно, Петр Степаныч, за доброе ваше слово, — с полным поклоном сказала мать Таисея. — Да вот что, мои дорогие, за хлопотами да за службой путем-то я с вами еще не побеседовала, письма-то едва прочитать удосужилась... Не зайдете ль ко мне в келью чайку испить — потолковали б о делах-то...

— Со всяким нашим удовольствием, — ответил Петр Степаныч. — Пойдем, — прибавил он, обращаясь к товарищу.

— Пожалуй, — равнодушно отозвался тот.

— Мы сейчас, матушка. На минуточку только к себе зайдем, — сказал Петр Степаныч.

— Будем ждать, будем вас ждать, гости мои дорогие, — сказала Таисея и, подозревая Ираиду, велела ей идти за ней в келью.

Келейка Таисеи была маленькая, но уютная. Не было в ней ни такого простора, ни убранства, как у матери Манефы, но так же все было опрятно и чисто. Отдав приказ маленькой, толстенькой келейнице Варварушке самовар кипятить, а на особый стол поставить разных заедок: пряников, фиников, черносливу и орехов, мать Таисея сама пошла в боковушу и вынесла оттуда графинчик с водкой, настоянной плававшими в нем лимонными корками, и бутылку постных сливок, то есть ямайского рома ярославской работы.

— Ну, матушка Ираида, — садясь на лавку, сказала она своей казначее, — послушай-ка меня, надо нам с тобой посоветовать. Вечор некогда было и сегодня тож. Гости-то наши письма ко мне привезли: Тимофей Гордеич Самоквасов читалку просит прислать, старичок-от у них преставился, дедушка-то... Слыхала, чай, что в подвале-то жил, в затворе спасался.

— Так, — думчиво молвила мать казначея.

— А Панкова приказчик, Семен Петрович, из Саратова от своего хозяина, от Ермолая Васильича, такое ж письмо привез, — продолжала Таисея. — Дочка у Панкова побывшилась, надо и к ним на «годовую» девицу послать. Как посоветуешь, Ираидушка?

— А мой совет, матушка, будет такой, — немного подумавши, молвила мать Ираида. — Оленушка в Хвалыне живет у Стромилых, на другой день Казанской выйдет ей срок — годовщина. Сплыть бы ей до Саратова, там ведь близехонько, тем же бы днем на пароходе поспела.

— И мне про Олену на ум приходило, — молвила мать Таисея, — да матушки Арсении жаль, два годочка не видалась с племяненькой-то.

— И третий потерпит, — сказала казначея. — Оленушка девица еще молодая, в обитель взята с малолетства, совсем как есть нагишом, надо ж ей обительскую хлеб-соль отработать. На покое-то жить, кажись бы, раненько.

— Так-то оно так, Ираидушка, да матушка-то Арсения плакаться будет, больно уж любит она Оленушку то, — говорила мать Таисея.

— И поплачет, не велика беда, — молвила Ираида. — То дело не ес, обительское. Должна покориться. Когда насчет этого соборне станешь советовать?

— Да хоть завтра бы, что ли, — ответила мать Таисея.

— Завтра так завтра, — молвила казначея. — Матери все в один голос на Олену укажут... Уж как ни быть, а в Саратов ей ехать. Мать Арсения что хошь говори, не послушают.

— Вестимо не послушают, тоже ведь доход, — согласилась мать Таисея. — Да мне-то уж больно жаль старицу... Шутка ли в самом деле, два года не видалась, да еще и третий не свидятся... До всякого доведись, Ираидушка...

— Что ж делать-то, матушка? Наша обитель не людная, опричь Оленушки, и послать-то некого. Разве Варварушку? — кивнув головой на дверь, куда только что вышла келейница, молвила Ираида.

— Как можно Варвару? — тревожно заговорила игуменья. — Нет, уж вы, пожалуйста, про нее и не помните... Мне-то как же без Варварушки быть?.. И за мной ходить, и на клиросе в головщицах, и письма

какие случатся, все она да она... Без Варвары я как без рук... Коли так, так уж лучше Катерину пошлем: плакальщиц по ней не будет.

— Пухнет вся, матушка, ноги стали что бревна, — возразила Ираида. — По моему замечанию, до весны вряд ли она и протянет... А что хорошего больную послать да немощную?.. От благодетелей ошуды, да и ей не вмоготу... За псалтырем-то день-ночь стоять и здоровый с непривычки как раз свалится... Как возможно нездоровых читалок в таки люди посылать?..

— И то правда, — согласилась Таисея. — Так как же? — обратилась она к Ираиде после короткого раздумья.

— Мои речи все те же будут, матушка, — ответила казначея. — Опричь Оленушки, некого... Сама видишь, сама знаешь.

— Ин быть по-твоему, — решила игуменья. — А матушку Арсению за долгое расставанье с племянницей маленько повеселю: сарафан сошью да шубку справлю. Лисий мех-от, что прошлого года Полуехт Семеныч от Макарья привез, пожертвую на шубку ей. Самой мне не щеголять на старости лет, а матушку Арсению лисья-то шубка потешит... А кого же в Казань-то послать?

— В Казань послать, матушка, некого, — решительно сказала казначея.

— Да... Точно что некого, — вздохнув и покачав головой, молвила игуменья.

— Разве Варварушку? — проговорила Ираида.

— Я уж сказала тебе! — вспыхнула мать Таисея.

— Обители бы польза, матушка, — молвила казначея. — Самоквасовы люди богатые, а грехи у покойника были великие... Смолоду, говорят, разбой держал, суда на Волге грабил... Такую душу вымолить не вкруг пальца ниткой обвести... На деньги Самоквасовы скуписья не станут.

— А нам-то, по-твоему, без пения быть? — с жаром возразила Таисея. — Без Варвары на клиросе как запоют?.. Кто в лес, кто по дрова?.. Сама знаешь, сколь было соблазна, когда хворала она... А я-то для вас и гроша, должно быть, не стою?.. А кем обитель вся держится?.. У кого из вас есть знакомые благодетели?.. Через кого кормы, и доходы, и запасы?.. Слава Богу, тридцать годов игуменствую — голодные при мне не

сидели... Не меня ль уж к Самоквасовым-то в читалки послать? — с усмешкой она примолвила.

— Напрасно прогневаться изволила, матушка, — с низким поклоном сказала Ираида. — Я только так сказала, к слову пришлось... Твоя во всем воля! Как тебе рассудится, так на собрание мы и положим.

— Другую читалку у Манефы возьму, — после недолгого раздумья молвила Таисея. — У них девиц много, пошлет одну и нас не обидит... Третью долю вклада, не то и всю половину отдаст... Сегодня ж к ней побреду.

Под эти слова в келью вошли молодой Самоквасов с приказчиком Панкова, Семеном Петровичем.

— Садитесь, гости дорогие, — ласково приветила их Таисея, когда, чинно сотворив перед иконами семи-поклонный уставной начал, отдали они по два метанья игуменье.

Сели. Варварушка стала чай разливать. Под святыми сидит Таисея, по сторонам стола казанец да саратовец вдали, в уголке, у самой у двери, мать Ираида.

— Ну вот и дедушку, Петр Степаныч, схоронили!.. — жалобным голосом начала Таисея, обращаясь к Самоквасову. — Да вам-то он никак прадедушкой доводился?

— Так точно, — тряхнув головой, отвечал Петр Степаныч.

— Пожил, слава Богу, довольно, — молвила игуменья. — Много ль годов было сердечному?

— Больше ста годов, матушка, — ответил Самоквасов.

— Уж и больше ста годов? — промолвила Таисея.

— Сами извольте считать, — сказал Самоквасов. — О ту пору, как Пугачев Казань зорил, жена у дедушки без вести пропала; дедушка наш настоящий, Гордей Михайлыч, после матери тогда по другому годочку остался.

— Да, да, — качая головой, согласилась мать Таисея. — Подымался Пугач на десятом году после того, как Иргиз зачался, а Иргиз восемьдесят годов стоял, да вот уже его разоренью пятнадцатый год пошел. Значит, теперь Пугачу восемьдесят пять лет, да если прадедушке твоему о ту пору хоть двадцать лет от роду было, так всего жития его выйдет сто пять годов... Да... По нонешним временам мало таких долговечных

людей... Что ж, как он перед кончиной-то?.. Прощался ли с вами?.. Допустил ли родных до себя?

— Как же, матушка, со всеми простился, — ответил Петр Степаныч. — И со сродниками, и с приказчиками, и со всеми другими домашними, которы на ту пору тут прилучились. Всех к себе велел позвать и каждого благословлял, а как кого зовут, дядюшка подсказывал ему. Чуть не всех он тут впервые увидел... Меня хоть взять — перед Рождеством двадцать седьмой мне пошел, а прадедушку чуть-чуть помню, когда еще он в затвор-от не уходил.

— Годов двадцать в затворе-то, говорят, пребывал? — спросила мать Таисея.

— Двадцать два года ровнехонько, — подтвердил Самоквасов. — Изо дня в день двадцать два года... И как в большой пожар у нас дом горел, как ни пытались мы тогда из подвала его вывести — не пошел... «Пушай, говорит, за мои грехи живой сгорю, а из затвора не выйду». Ну, подвал-то со сводами, окна с железными ставнями — вживе остался, не погорел...

— Дивный подвиг принял на себя на склоне дней, — молвила мать Таисея. — И что за грехи такие были на нем? Надо думать, какие особные, что такими трудами надо было ему их замаливать?..

Не ответил Самоквасов. Немного повременя, мать Таисея продолжала:

— Многое люди болтают, да всех людских речей не переслушать: молва что волна — расходится шумно, а утишится — и нет ничего.

— Нет, матушка, про нашего дедушку молва правду рассказывает, — молвил Самоквасов. — Теперь он уж перед самим Господом держит ответ, земного суда над ним уж не будет, стало быть, можно про дела его говорить без опаски. Разбой держивал, матушка, разбойничал... Много было смолоду бито-граблено, напоко́н души надо было грехи заглаживать. Перед смертью передо всеми каялся, все про себя рассказал и завещал: его поминаючи, молиться за упокой еще двадцати восьми душ, им убиенных; семерых поименно, а остальных так велел поминать: «Их же имена ты, Господи, веси».

— Как же это он на такие дела пошел? — с напускным удивленьем спросила мать Таисея.

— А вот что рассказывал он перед смертью, — зачал

молодой Самоквасов. — Когда Пугач Казань спалил и всю ее ограбил, жена у прадедушки тогда пропала... Двое суток искал он ее между мертвецами, что лежали по домам и по улицам, искал и не нашел. А сына — это дедушку, покойника Гордея Михайлыча, — у одного суконщика нашел. И тот суконщик ему рассказывал, что пугачевцы на его глазах молодую женщину с ребенком схватили. Ребеночка наземь швырнули, ее в табор свой увели. Пригожа из себя прабабушка была... Отдал дедушка сыночка своей сроднице, а сам пугачевцев пошел догонять. И, догнавши, пошел к ним на службу, и ходил с ними до самых тех пор, как воровские таборы их разогнали, однако ж жены отыскать он не мог. Кого ни спросит: никто не знает, не ведает... А когда Пугачеву пришел конец, дедушка бежал на Иргиз. Там в Филаретовом скиту собралось пугачевцев человек двадцать... Старцы в скиту опасались держать их, деваться им некуда, и пошел дедушка с товарищами на Волгу гулять... Две косные снарядили, стали встречным судам «сарынь на кичку» покрикивать... И был у них дедушка за атамана и держали они разбой больше двадцати годов... Меж тем товарищи перевелись: кого убили, кто потонул, к дедушке старость подошла, кинул он Волгу, в Казани явился... Отыскал сына, женил его, торговлю завел... Денег и всякого богатства с Волги-то много привез... Счастье ему повалило, барыши наживал он большие, да с сыном родным Господь не дал ладов... Одинова вгорячах так его колонул, что тот через сутки во гробе лежал... Осталось у прадедушки двое внучат малолетних: дядя Тимофей Гордеич да родитель мой, один по третьему, другой по второму годочку. На поги поднял их дедушка, поженил, а сам по святым местам Богу молиться пошел: в Киеве был, в Соловках, в Царьграде. В старом Иерусалиме у гроба Господня больше году он выжил... И воротясь домой, от мира отрекся, власяницу надел и верити, пост и молчанье на себя наложил. Двадцать два года не видал божьего свету, не выходил из темного подвала. Одного только дядю Тимофея Гордеича и допускал до себя. А капитал до самой до смерти на свое имя велел объявлять... И все пребывал на молитве... И всем было на удивленье, как при такой жизни мог он больше ста лет прожить.

— Таковую дней долготу даровал ему Господь, чтоб

успел замолить он кровавые грехи свои, — набожно сказала мать Таисея. — Говорили по народу, что покойный твой прадедушка, хоть и был муж кровей, но от юности святую милостыню возлюбил и, будучи в разбое и после того живучи в Казани, не преставал ее творить.

— Это правда, матушка, — подтвердил Петр Степаныч. — У нас в семье, как помню себя, завсегда говорили, что никого из бедных людей волосом он не обидел и, как, бывало, ни встретит нищего аль убогого, всегда подаст милостыню и накажет за рабу Божию Анну молиться — это мою прабабушку так звали — да за раба Божия Гордея убиенного — это дедушку нашего, сына-то своего, что в горячах грешным делом уколошил... Говорят еще у нас в семье, что и в разбой-то пошел он с горя по жене, с великого озлобления на неведомых людей, что ее загубили.

— Так я думаю, любезный мой Петр Степаныч, что ради милостыни и даровал ему Господь лет умножение и крепость сил на кончине дней подъять столь великий подвиг, — сказала мать Таисея. — Не восхотел праведный судия погубить душу грешника, дал ему напосокон веку довольное время постом, молитвой и грешныя плоти измождением загладить грехи свои тяжкие... Очистил раб Божий Михаил душу свою и вас всех, весь род свой и племя от Божия гнева избавил... Сказано ведь, друг, в Писании-то: «Мужу кровей мстит Господь до седьмого колена»... Великим подвигом покаяния отвел он от потомков своих фиал ярости Господней. Потому и должно вам не забывать его в молитвах, должно творить за него неоскудную милостыню... Много ль дядюшка на раздачу-то прислал?

— Восемьсот рублей на серебро, — отвечал Петр Степаныч.

— Матушке Манефе отдать велел али сам ты станешь делить? — спросила Таисея, зорко взглянув на Самоквасова.

— Матушке Манефе велено деньги отдать, а у тебя читалку просить, — сказал Петр Степаныч.

— Ну, вот насчет читалки-то не знаю, как быть, — со вздохом ответила мать Таисея. — Всеи бы душой рада, да послать-то некого, ни единой свободной девицы теперь нет у меня... К Ермолаю Васильичу отправить могу, — обратилась она к саратовцу. — В ваших местах

одна наша девица «годовую» кончает, после Казанской отделається и прямо к Ермолаю Васильичу проедет... А другой нет... Как на грех такие у меня дела подошли, что некого послать, да и только... Не погневался бы дядюшка-то... Что станешь делать?.. Как говорится: «Из репки девки не вырежешь, коль на девок урожаю нет»... Освободится одна, в Романове дочитывает, да не скоро кончит, недели через две после Покрова...

— Нам как можно скорей надо, матушка... Сами извольте посудить, можно ль при таких грехах псалтырю медлить... Дядюшка наказывал тотчас бы отправить канонницу, — сказал Самоквасов.

— Надо будет матушку Манефу просить, у нее девицы три либо четыре без дела сидят, — сказала Таисея. — Виделся с матушкой-то?

— Нет еще. Сегодня перед вечером собираюсь сходить, — отвечал Самоквасов.

— Сходи, голубчик, сходи, поклоняйся и ты ей, покуйся, она добрая, не откажет, — сказала Таисея. — И я посоветуюсь с ней. Вместе, пожалуй, пойдем.

— И мне бы тоже надобно к матушке Манефе побывать, — сказал саратовский приказчик.

— С письмом? — спросила мать Таисея.

— Так точно; тоже с денежным вложением на раздачу, — ответил Семен Петрович.

— Много ль привез? — вскинув на него глазами, спросила Таисея.

— Да четыреста пятьдесят на серебро, — ответил приказчик.

— Спаси Христос Ермолая Васильича!.. Дай ему Господи многолетнего здравия и души спасения, не забывает нас сирых, убогих, — молвила мать Таисея. — А уж молиться будем хорошо. Все как следует справим: и каноны и псалтырь безо всякого упущенья... У нас, други милые, на́ этот счет без обману... Не то что по другим местам... Вот, не в осужденье сказать, хоть на Рогожском в Москве. Нахватают, нахватают отовсюду поминовений, да и не могут справиться... Сила не берет... За одним канонем десятка по два покойников поминают либо по три, а денешки за каждого порознь... А у нас по лесам так не делается. У нас по каждому покойничку особ канон за единоумершего; никогда самого малого опущения не бывает. К тому ж поминаем не келейно, а соборне. Хвалить себя не доводится, да и

промолчать нельзя. Всем ведомо, что Керженские обители на том и стоят, что заказы благодетелей как следует справляют, по чину... Не даром, други любезные, денежки получаем... В чем другом, яко человецы согрешаем, а насчет поминовений перед Богом ответа не дадим... У нас это по Соловецкому уставу справляется... Матушка Ираида, подай-ка устав.

Вынула мать Ираида из-под божницы четвертную рукописную книгу в черном кожаном переплете и, сыскав место, положила ее на стол перед игуменьей.

Стала мать Таисея читать:

«Егда кто из обительских преставится, и аще не останется после него своего имения...» Не то раскрыла Ираидушка... Не в том месте, — с досадой молвила Таисея. — Сыщи про мирских человеков преставльшихся, — прибавила она, подавая Ираиде книгу.

— Да напрасно изволите беспокоиться, матушка, — сказал Самоквасов. — По всем городам известно, что нигде так хорошо не молятся, как у вас на Керженце.

Испугался купчик немалой книги. «Как угораздит мать Таисею читать ее до конца! — подумал и перемигнулся с саратовцем: — Ты, мол, не засиживайся; только я шелохнусь, ты за шапку да вон, пора, дескать, нам».

Меж тем Ираида подала книгу игуменье и указала место перстом... Зачала Таисея:

— «Аще не житель обители, но мирской человек преставится и будет от сродников его подаяние на честную обитель ради поминовения души его, тогда все подаяние емлют вкладом в казну обительскую и за то поминают его по единому году за каждый рубль в "Литейнике"; а буде соберется всего вклада пятьдесят рублей, того поминают в "Литейнике" вовеки; а буде соберется вклада на сто рублей, того поминают кроме "Литейника" и в "Сенанике" вовеки же. А кто что прикажет по себе, сиречь чтобы погребение по нем отпеть, и то в казну обительскую, а братии корм и утешение по рассмотрению, а что на раздачу по рукам, то...»

— Нам уж пора, матушка, — повернувшись на месте, молвил Самоквасов, а Семен Петрович за шапку и с места.

— Послушать бы вам, гости дорогие, каким чином у нас поминовения-то справляются, — молвила мать Таисея. — Вы бы, Петр Степаныч, дядюшке своему рас-

сказали, и вы бы, Семен Петрович, Ермолаю Васильичу доложили. Слушайте-ка: «А за канун и за кутию...»

Но Самоквасов с саратовцем, положив начал перед иконами, поклонились Таисее и промолвили:

— Матушка, прости, матушка, благослови.

Делать нечего: благословила и простилась мать Таисея.

А куда как хотелось ей дочитать из устава статью о поминовениях, чтобы ведали гости, как в скитах по покойникам молятся, и после бы всем говорили: «Не напрасно-де христолюбцы на Керженец посылают пода-ния».

— Эк ее раскозыряло, старую!.. — молвил, усмехаясь, Семен Петрович Самоквасову. — Совсем было зачитала нас.

— Матерям по ихнему делу иначе нельзя, — отозвался Самоквасов. — Ведь это ихний хлеб. Как же не зазывать покупателей?.. Все едино, что у нас в гостинном дворе: «Что изволите покупать? пожалуйста-с! У тех не берите, у тех товар гнилой, подмоченный, жизни рады не будете!.. У нас тафты, атласы, сукно, канифасы, из панталон чего не прикажете ли?»

— Ну, ты уж пойдешь! — молвил Семен Петрович. — Эк, язык-от!

— Разве не дело?.. — хохотал Самоквасов. — Ей-богу, та же лавка! «На Рогожском не подавайте, там товар гнилой, подмоченный, а у нас тафты, атласы...» Айда¹ к нашим?

— Айда! — улыбнувшись, ответил Семен Петрович.

— Маленько обождем, немножко по скиту пошляемся... Пущай наши мамочки натерпятся, — молвил Самоквасов и, заломив шапку, запел вполголоса лихую песню:

Тень-тень, перетень,
Выше города плетень!..
За плетнем-то на горе —
По три девки на дворе!..
Девки моются, подмываются —
Дружков милых дожидаются.

¹ *Айда* — татарское слово, иногда значит: пойдём, иногда — иди, иногда — погоняй, смотря по тому, при каких обстоятельствах говорится. Это слово очень распространено по Поволжью, начиная от устья Суры, особенно в Казани; употребляется также в восточных губерниях, в Сибири.

Глава пятая

Только что Манефа после молитвы и недолгого отдыха вышла из боковушки в большую келью, как вошла к ней мать Таисея с аршинною кулебякой на подносе. Следом за ней приезжие гости, Петр Степаных Самоквасов да приказчик купца Панкова Семен Петрович, вошли.

Поставив на стол кулебяку, сотворила мать Таисея семипоклонный уставный начал. А с ней творили тот обряд и приезжие гости. Игуменьи друг дружке поклонились и меж собой поликовались.

— С праздником тебя поздравляю, — молвила Манефа.

— Благодарим покорно, матушка, — сладеньким, заискивающим голоском, с низкими поклонами стала говорить мать Таисея. — От лица всея нашей обители приношу тебе великую нашу благодарность. Да уж позовь и попенять тебе маленько, матушка... За что это ты на нас прогневалась, за что не удостоила убогих своим посещеньем... Равно ангела божия, мы тебя ждали... Живем, кажется, по соседству, пребываем за-всегда в любви и совете, а на такой великий праздник не захотела к нам пожаловать.

— Невмоготу было, матушка, истинно невомоготу, — сдержанно и величаво ответила Манефа. — Поверь слову моему, мать Таисея, не в силах была добрести до тебя... Через великую силу и по келье брожу... А сколько еще хлопот к послезавтраму!.. И то с ума не идет, о чем будем мы на Петров день соборовать... И о том гребтится, матушка, хорошенько бы гостей-то угостить, упокоить бы... А Таифушки нет, в отлучке... Без нее как без рук... Да тут и беспокойство было еще — наши-то богомолки ведь чуть не сгорели в лесу.

— Полно ты! — тревожно вскрикнула и руками всплеснула мать Таисея, хоть и знала уж во всей подробности похождения китежских поклонниц... Порядок и уважение к Манефе требовали, чтоб она на первый раз прикинулась, что ничего не знает.

— Совсем было их огнем охватило, — сказала Манефа. — Болотце, слава Богу, попало, кони туда повернули. Без того пропали бы, живьем бы сгорели...

— Вот дела-то!.. Вот дела-то какие!.. — качая головой, печаловалась мать Таисея, и, опомнившись, быстро

схватила поднос с кулебякой и, подавая его с поклоном Манефе, умильным голосом проговорила: — Не побрезгуй убогим приношением — не привел Господь видеть тебя за трапезой, дозволю тебе келейно пирожком тебе поклониться... Покушай нашего хлеба-соли во здравие.

— Напрасно, матушка, беспокоилась, право, напрасно, — сказала Манефа, однако взяла из рук Таисеи поднос и поставила его на стол.

Только тут обратилась она к стоявшим у дверей Самоквасову и саратовскому приказчику.

— Здравствуйте! Как вас Господь милует?.. — величаво, едва склонив голову, спросила она.

Не отвечая на вопрос игуменьи, оба, один за другим, подошли к ней и, сотворив по два метания простились и благословились.

— Садитесь, гости дорогие, — сказала Манефа, обращаясь к Таисее и к приезжим гостям, а сама села к краю стола на лавке.

— Как твои поживают? — спросила Манефа Самоквасова. — Дядюшка Тимофей Гордечич здоров ли?.. Тетушка, сестрицы?

— Здравствуют вашими святыми молитвами, — ответил Петр Степаныч. — А прадедушка Махайла Сампсонич приказал долго жить.

— Скончался?

— Шестнадцатого сего июня месяца, — подтвердил Самоквасов.

— Царство ему небесное! — молвила Манефа и, встав с места, обратилась к иконам и положила перед ними начал за новопреставленного. Вместе с нею и мать Таисея и оба гостя начал сотворили.

— Довольно по земле постранствовал, — молвила Манефа, садясь на место. — Сто годов прожил, коли не больше.

— Сто пять лет, матушка, — молвил Самоквасов.

— Сто пять лет! — задумалась Манефа. — А из затвора не вышел?

— Не вышел, матушка, — сказал Самоквасов. — Как жил двадцать два года в подвале, так и при смерти не вышел из него. Ни вериг, ни власяницы не скинул, помер на обычном ложе своем...

— На кирпичном полу с булыжником в изголовье? — отозвалась Манефа.

— Так точно, матушка, — подтвердил Самоквасов.

— Дивные дела строит царь небесный по своему промыслительному изволению!.. — набожно проговорила Манефа. — Двадцать два года при такой старости и в толиких трудах пребыть!.. Очевидна десница высшего, иже не хочет смерти грешника, но всечасно ожидает, да обратится душа к покаянию... Исправился ли он, как следует?

— Исправился, матушка, — отвечал Самоквасов. — Попа привозили... Поп теперь новый у нас в Казани завелся, австрийским епископом наслан, отцом Софронием.

— Софронием!.. — с улыбкой презренья тихо промолвила Манефа. — Что ж?.. При нашем тесном обстоянии, в теперешнее гонительное время на смертный час и Софронов поп пригодится... Когда время не терпит, всякому можно человека исправить... Не поставит того во грех Господь милосердный... Видел ли дедушку перед смертью-то?

— Как же, матушка. Всех к нему в подвал приводили, — отвечал Самоквасов. — Со всеми прощался, всех благословил и при всех попу в грехах своих каялся... Велики грехи его, матушка!..

— Знаю, — молвила Манефа. — А то еще больше знаю, что нет грехов, которых бы не покрыло божие милосердие. Один только грех не прощен у создателя — аще кто отступит от святых и непорочных веры отец наших и отвергнет древнее благочестие. Тому греху несть прощения ни в сем веце, ни в будущем... А дедушка твой до конца пребыл во благочестии... То ему во оправдание пред Господом... Аще по искушению диавола и впал в пучину греховную, но до конца дней в правоверии нимало не погрешил, потому и сподобится он грехов отпущения... Опять же и милостыня его не безмолвна перед небесным судиею... После толиких трудов, после толиких дивных подвигов сый человеколюбец покроет тяжкие его прегрешения и устроит душу его в месте покоя... Велики грехи, велико и покаяние... А как велико царя небесного милосердие, того нам и помыслить нельзя... Не сумнися, Петр Степаных, устроит Господь душу твоего прародителя.

— Мне-то что же-с? — равнодушно промолвил Самоквасов. — Я ведь прадедушку вовсе почти не знал, перед концом только свиделся. А вот письмецо от дяденьки Тимофея Гордеича. Извольте получить.

Манефа взяла письмо и при общем молчании его прочитала.

— Про раздачу пишет Тимофей Гордеич, восемьсот рублей высылает, — молвила она, дочитавши письмо.

Самоквасов вынул бумажник и, отсчитав деньги, молча положил их на стол перед Манефой. Тихо, не торопясь, пересчитала их игуменья, каждую бумажку посмотрела на свет и, уверившись, что деньги настоящие, неподдельные, сунула их в карман и с легким поклоном сказала Самоквасову:

— Все будет исполнено... Завтра ж каноны зачнем. Послезавтра Петров день, его пропустим, потому что праздник у нас в часовне. В такие дни по уставу поминовений не полагается... Еще про кормы дядюшка твой пишет.

— Завтрашнего числа придут, — отвечал Самоквасов. — Подводчики обещались беспрерывно накануне Петрова дня доставить... Вот и расписка... Муки крупицатой дядюшка шлет, рыбы малосольной, свечей, ладану...

— Знаю, — сказала Манефа. — В письме прописано.

— За сим счастливо оставаться, — поднимаясь с места, сказал Петр Степаныч.

— Повремени, сударь, — молвила Манефа. — Без хлеба-соли из кельи гостей не пускают. Чайку хоть испей... — и, растворив дверь, кликнула Устинью Московку.

— Сбери чаю, — сказала ей. — Да Парашу с Фленушкой кликни. Василий Борисыч где?

— А пес его знает, — с досадой ответила келейница.

— Устинья! — строго сказала ей Манефа. — Это что за новости?..

Молча вышла из кельи Устинья. Нахмурилась Манефа, но ни слова не промолвила.

— Твой черед, Семен Петрович, — сказала она, обращаясь к приказчику Панкова. — Ермолай Васильич здоров ли, Татьяна Андреевна с детками?

— Сами-то, слава Богу, здоровы, — ответил Семен Петрович. — Дочку только схоронили.

— Которую? — быстро вскинув глазами, спросила Манефа.

— Среднюю, Авдотью Ермолавну, — сказал Семен Петрович и, подавая письмо, примолвил: — А на раздачу

четыреста пятьдесят рублей на серебро вашей милости прислали.

Не принимая письма, встала Манефа перед иконами и со всеми бывшими в келье стала творить семипоклонный начал за упокой новопреставленной рабы божией девицы Евдокии. И когда кончила обряд, взяла у Семена Петровича письмо, прочитала его, переглядела на свет вложенные деньги и, кивнув головой саратовскому приказчику, молвила:

— Все будет исправлено. Да что время напрасно терять? После чаю сегодня ж отпоем по первому канону: вначале за Михаила единоумершего, потом за девицу Евдокию. Кликни матушку Аркадию, — примолвила Устинье, принесшей в келью чайный прибор. — А Фленушку с Парашей звала?

— Сказывала, — угрюмо ответила Устинья и вышла, хлопнув за собой дверью.

Посмотрела на дверь Манефа и сильнее прежнего нахмурилась.

Фленушка с Парашей в келью вошли, Марья головщица за ними.

Чинно девицы гостям поклонились; приезжие отдали им по поклону. Ровно впервой отроду видятся.

Вскинул очами на матерей Самоквасов: Манефа письмо перечитывает, Таисея в окошко глядит. И весело подмигнул он Фленушке, а приказчик саратовский Марьюшке улыбнулся. Не то дремала, не то с устали глаз не поднимала Параша. Не к Фленушке, к ней обратился Самоквасов:

— Как вы в своем здоровье, Прасковья Патаповна? Тятенька с мамынькой все ль подобра-поздорову?

— Слава Богу, все здоровы, — молвила Параша.

— А сестрицу-то схоронили? — спросил Самоквасов.

— Схоронили.

— Такая молодая, прекрасная девица была!.. — вздохнул Петр Степаныч. — Кому бы и жить, как не ей? — а сам так воззрился на Фленушку, что та хоть не робкого десятка, а встала и, взяв со стола кулебяку, понесла ее в боковушу.

— Все, кажись, было к ее удовольствию, — продолжал Самоквасов. — И красота, и молодость, и достатки хорошие. Ей ли бы не жить?

— Божия воля, — вяло отозвалась Параша, и вдруг глаза ее оживились. Тихохонько, легонькой походочкой

в келью вошел Василий Борисыч, следом за ним ввалилась мать уставщица.

— Садиться милости просим, Василий Борисыч, — молвила Манефа. — А вот к нам еще гости пожаловали. Не слышан ли про казанских купцов Самоквасовых?

— Как не слышать, матушка?.. Люди известные! — ответил московский посол. — С Тимофеем Гордеичем мы даже очень знакомы. Он в Рогожском на собраниях бывал в ту пору, как насчет архиерейства соборовали!

— Племянничек будет ему — Петр Степаныч, — молвила Манефа, указывая на Самоквасова.

Петр Степаныч и Василий Борисыч подали друг другу руки, «повитались», говоря по-старинному.

— А этот молодец от саратовского купца, от Ермолая Васильича Панкова. В приказчиках живет у него, — продолжала Манефа, указывая на Семена Петровича.

— Здорово, Семенушка!.. Давно не видались!.. Что?.. Не признал?.. — весело обратился к саратовцу Василий Борисыч.

— Аль допрежде были знакомы? — спросила Манефа.

— Еще бы, — ответил Василий Борисыч и, обратясь к саратовцу, молвил: — все еще не можешь признать?.. А кого ты из воды-то вытащил, как я на салазках с горы в прорубь попал?..

— Васенька!.. Да неужли это ты?.. Ах ты, Господи! — вскрикнул саратовец.

И друзья детства горячо обнялись и поцеловали друг друга. И отошли к сторонке и стали расспрашивать друг друга про житейские обстоятельства.

— Ну вот и знакомство сыскали, — слегка улыбнувшись, молвила Самоквасову Манефа.

И, наклонясь к нему, вполголоса, указывая взором на Василья Борисыча, промолвила:

— Золото человек, опора древлему благочестию, первый начетчик, рогожский посланник по всем городам.

— Слышал про него, — сказал Самоквасов. — Тот, что в Белу Криницу за миром ездил?

— Он самый, — подтвердила Манефа. И, быстро обратясь к уставщице: — Вот что, мать Аркадия, — сказала

она, — после чаю надобно два канона исправить. Соборне будем служить. Прикажи клепать в великое древо и в малое... пушай Катерина и в клепало ударит, вся бы обитель в собранье была... Сбирай оба клироса, Марьюшка, петь по статиям, на катавасиях¹ середь часовни обоим клиросам сходиться... Мать Аркадия, во всех бы паникадилах свечи горели. Меду у Виринеи на свежий канун спроси².

— Слушаю, матушка, — молвила уставщица и, положив три поклона перед иконами, степенно вышла из кельи. За ней пошла и головщица.

Когда в Манефиной часовне отпели соборную службу по новопреставленном рабе божием Михаиле и затем нерасходно зачали другой канон за девицу Евдокию, Петр Степаныч Самоквасов не счел нужным молиться за упокой неведомой ему девицы и, заметив, что Фленушки нигде не видно, вздумал иным делом на досуге заняться... Сойдя с паперти, он остановился, окидывая глазами давно знакомые обительские строенья. И видит, что в одном окошечке игуменьиной стаи кто-то махнул беленьким платочком. Вгляделся — Фленушка. Неспешным шагом пошел он на зов.

— Что ты, бесстыжий? Отчего запропастился?.. Ждали на Троицу, приехал к Петрову!.. Непуть ты этакой!..

Такими словами встретила Фленушка своего казанца, когда тот вошел в ее горницу.

— Нельзя было, Флена Васильевна, — оправдывался Самоквасов. — Дедушка скончался, никак нельзя было раньше приехать.

— Нельзя, нельзя! — передразнила его Фленушка. — Бить-то тебя некому!.. Женись-ка вот на мне, так я тебе волосы-то повыдергаю да и глаза-то бесстыжие исцарапаю... Женись в самом деле, Петинька!.. — шаловливо прибавила она нежным голосом. — Уж я ли б над тобой не потешилась!

— Ты все по-прежнему, — с горьким упреком про-

¹ Катавасиею называются ирмосы, которыми покрываются песни канона. Катавасии в торжественных случаях поются обоими клиросами, которые для того сходятся среди церкви.

² Мед, поставляемый на аналогий во время пения панихид.

молвил Самоквасов. — Право, не знаешь, с какой стороны и подступиться к тебе... И к себе тянешь и тотчас остуду даешь! Не поймешь тебя, Фленушка!.. Который год этак с тобой валандаемся?

— А тебе бы так: облюбовал девуку, да и тащи к попу?.. Нет, брат, не на таковску попал... Не такова уродилась я, — звонко захохотала Фленушка.

— По-твоему, хорошо этак томить человека?.. Водишь ты меня третий год... Сама рассуди, хорошо ли это делаешь?.. — страстно дрожащим голосом проговорил Самоквасов.

— Да чего тебе от меня надобно? — смеясь и лукаво щуря глаза, спросила Фленушка.

— Сама знаешь чего!.. Не впервой говорить!.. — молящим голосом сказал Самоквасов. — Иссошила ты меня, Фленушка!.. Жизни стал не рад!.. Чего тебе еще?.. Теперь же и колода у меня свалилась — прадед покончился, — теперь у меня свой капитал; из дядиных рук больше не буду смотреть... Согласись же, Фленушка!.. Дорогая моя!.. Ненаглядное мое солнышко!..

Так говорил Самоквасов, ловя руку Фленушки. А она, быстро отдернув ее, строго и внушительно сказала Петру Степанычу:

— Некогда мне теперь с тобой толковать — много надо говорить, а матушка того и гляди придет из часовни... Вечером там будь!.. Знаешь?.. Саратовца приводи... Марьюшка, молви ему, тоже придет.

И, взглянув в окно, увидала, что с высокой часовой паперти медленно спускается Манефа, а за ней идут метери и белицы, Василий Борисыч и саратовский приказчик. Быстро повернулась Фленушка к Самоквасову и крикнула:

— Убирайся скорей до греха.

— Поцелуй прежде, — молвил он, обнимая Фленушку.

— Я те поцелую ладонью в ухо!.. — вскрикнула она, вывертываясь. — Ишь какой лакомый!.. Убирайся, говорят тебе!.. Матушка идет.

И вытолкнула друга милого в шею из своей горницы.

Матери с белицами по своим местам разошлись, саратовца Василий Борисыч в свою светлицу увел. В келью с Манефой Аркадия да мать Таисея вошли.

— С просьбой до тебя я, матушка, с докукой моей великою!.. — умильно, покорно, чуть не со слезами начала мать Таисея.

— Рада служить, чем могу, — ласково, но сдержанно ответила Манефа. — Что в моей мочи, всем тебе, матушка, готова служить.

— Самоквасовы да Панковы исстари благодетели нашей обители, — продолжала Таисея. — И молодцы ихние ко мне завсегда въезжают, завсегда у меня гостят... Сама знаю, матушка, что им хоть бы вот у тебя и лучше бы было и спокойнее, да уж ихние старики, дай им Господи доброго здравия и души спасения, по своему милосердию к нашему убожеству, велят им у меня останавливаться. Все-таки, матушка, перепадает кое-что на бедность на нашу... Теперича, матушка, оба эти благодетеля, Самоквасов Тимофей Гордеич и Панков Ермолай Васильич, ровно сговорились, читалок на «годовую» просят по ихним покойникам.

— Знаю, — ответила Манефа, — и мне про то они отписывают... Что ж?.. Слава Богу. Рада за тебя, мать Таисея. Сотенки четыре, не то и вся полтысяча перепадет; люди они богатые.

— Да вот беда-то моя, матушка, послать-то неко-го, — жалобно продолжала мать Таисея. — В Саратов еще можно Оленушку справить, в Хвалынске она у Седовых дочитывает... Недели через полторы опростается и сплывет к Ермолаю Васильичу. А в Казань-то некого, да и полно. И очень опасаясь я, матушка, не прогневать бы мне Тимофея Гордеича, остуды бы от старинного благодетеля не принять... Сама знаешь, какой привередливый он да уросливый¹. Пожалуй, еще вскинет на ум, что не хотела угодить ему, не постаралась просьбы его выполнить... Помоги Христа ради, матушка, пособи в великом горе моем, заставь за себя вечно Бога молить... Сама рассуди, каково будет мне остудить такого христоролюбца... Надо правду говорить, не твои бы, во-первых, милости да не самоквасовские, нашей бы обители пропадом пропадать. Вами, матушка, вашими благодеяниями только и держимся.

¹ Уросливый от уросить — капризный, своенравный. Слово это употребляется в Поволжье, в восточных губерниях и в Сибири. Происходит от татарского урус — русский. Татары своенравных и причудливых людей зовут русскими.

— Как же помочь-то тебе? — молвила Манефа. — Нешто свою девицу при твоём письме в Казань послать?

— Яви божескую милость, матушка, заставь за себя вечно Бога молить, — встав с лавки и низко кланяясь, сказала Таисея.

— Да ты не кланяйся, дело соседское, — молвила Манефа. — Опять же твоя обитель с нашей, сколько не помню, всегда заодно, всегда мы с тобой в любви да в совете... Как тебе не помочь?.. Только не знаю, послать-то кого.

— Мало ль девиц у тебя, матушка?.. — возразила Таисея.

— Мало ль их у меня; да какую можно в Казань послать, таких-то нет, — сказала Манефа. — Ведь это не в Баки аль не в Урень¹ к сиволапым мужикам читалку отправить. Самоквасовы люди видные. Опять же в большом городе живут, чуть ли не первые купцы по Казани... Захотели бы простенькую канонницу взять, с Татарского мосту из Коровинской² взяли бы. Надо послать к ним умелую, чтобы в грязь лицом не ударила, не осрамила бы нашего Керженца... А таких теперь нет у меня ни единой... Какие были — все разосланы.

— Да хоть не больно бы мудрящую, — жалобно молвила Таисея.

— Нельзя, матушка, — перебила Манефа. — Никак нельзя плохую послать к Самоквасовым. Девиц у меня теперь хоть и много, да ихнее дело гряды копать да воду носить. Таких нельзя к Самоквасовым.

— Ах ты, Господи, Господи! — пуще прежнего горевала Таисея. — Что тут делать?.. Матушка!.. Подумай — ведь это чуть не четвертая доля всего нашего доходу! Надо будет совсем разориться!.. Помилуй ты нас, матушка, помилосердуй ради царя небесного... Как Бог, так и ты.

И с этими словами игуменья славной в старые годы княжеской обители повалилась со слезами в ноги Манефы Чапуриной.

— Встань, матушка, встань, — строго и внушительно молвила ей Манефа. — Не пригожее дело затеяла...

¹ Большие удельные села в захолустье Варнавинского уезда.

² Коровинская — поповщинская часовня в Казани на Булаке у Татарского моста. До обращения в единоверческую церковь была монастырьком.

Мы с тобой во едином чину... Как же тебе великим обычаем мне поклоняться?.. Преданию противно, мать Таисея.

— Не я поклоняюсь, нужда кланяется, — поднимаюсь, сказала в слезах мать Таисея. — Пособи ты мне... Ради царя небесного пособи беде нашей, матушка!..

— Сядь, покойся. Дай срок, подумаю, — молвила Манефа.

— Торопит больно Тимофей-от Гордеич... Крепко-накрепко наказывает, нимало б я не медлила, тотчас бы читалку к нему отправляла... Ума не приложу... Яви милость, матушка!.. Реши скорее, — сдерживая рыдания, униженно молила Таисея.

— Спокойся, — сказала Манефа, — покойся теперь. Завтрашнего дня ответ тебе дам... Часы¹ отправишь, ко мне забреди. А послезавтра праздник у нас и собрание — милости просим поспрашивать: со всеми матерями приходи и белицы чтоб все приходили... А на завтра вышли ко мне, матушка, трудниц своих с пяток — в келарне бы полы подмыли да кой-где по кельям у стариц... Свой-то в разгоне по случаю праздника, все за работами... Так уж ты мне пособи.

— Слушаю, матушка, беспрременно пришлю, — отирая глаза свернутым в клубок синим бумажным платком, с низким поклоном ответила Таисея. — Как часы отправим, так и пришлю.

— А как же у нас насчет ряды будет? — вдруг спросила Манефа. — Канонницу сыщу, коли Бог поможет. А как же насчет ряды-то?

— Все во власти твоей, матушка, — униженно молвила Таисея.

— Обижать не стану и своего не упущу, — сказала Манефа. — Как было тогда, как Глафиру покойницу за твою обитель в Кострому я отпускала, так и теперича быть: отправка твоя, обратный путь твой же... Из зажитого половина тебе, половина на нашу обитель... Шубу тебе справлять, сарафаны, передники, рубахи мои.. Насчет обуви пополам... А что подарков девице от Самоквасовых будет, то ей, — в эти дела я не вступаюсь. Согласны ли так?

— Согласна, матушка, девицу только приищи Господа ради, — сказала Таисея. — Угодить надо, сама посуди!..

¹ Утренняя служба, вместо обедни.

— Ладно, ладно, будет исправлено, — отвечала Манефа. — Заходи же завтра после часов — будет готово... Я уж придумала...

Радостно блеснули большие голубые, добротой сиявшие и когда-то во время оно многих молодцев сокрушавшие очи Таисеи. Улыбка озарила сморщенное, померкшее от лет крохотное личико игуменьи. Низко поклонясь Манефе, сказала она ясным голосом:

— Оживила ты меня, матушка... Бог воздаст тебе, родная, за любовь твою...

И чин чином совершили игуменьи прощение: простились друг у друга, благословились и поликовались. А провожая соседку, Манефа на келейном пороге напонила ей:

— Пришли же, не забудь, трудниц-то. Да пораньше бы приходили... Дресвы на мытье полов у меня, кажись, мало, с собой бы захватили. Да окошки еще надо помыть, лестницы... Матушка Аркадия все им укажет... Прощай, мать Таисея. Спаси тебя Христос царь небесный!..

И, проводивши соседку, Манефа обратилась к своей уставщице:

— Похлопочи Бога ради, Аркадыюшка, чтобы праздник нам справить во всем хорошохонько. Совсем я эти дни без рук была — Таифы нет, тебя нет, Марьюшки нет, ни по часовке, ни по хозяйству никакого дела поручить некому... Уж мы все больше с Виринеюшкой хлопотали насчет трапезы... Слава Богу по этой части все, кажется, управили. И сытно будет и довольно всего... Что-то из города работник долго не едет — за вином вечер послала его да за ренским... Шутка ль, что народу наберется... А пива и браги две сорокоуши без тебя слили — надо думать, достанет... Бог милостив, перед людьми не ославимся... Пущай дальние и ближние гости поглядят и наше строительство, посмотрят, каково умеем хозяйствовать... Это все управлено, а насчет часовни да службы твое дело, мать Аркадия!.. Уж ты, пожалуйста, похлопочи, постарайся!.. Вечер белицы часовню подмыли, подсвечники, паникадила мелом почистили и ризы на иконах... Да верчены больно, пожалуй, чего не доглядели — так ты догляди, исправь что надобно... А ослонные свечи из Таифиной кельи возьми... Чтоб на вечерне, и на утрени, и в самый праздник за часами каждый раз новые свечи зажигались...

А за огарками приглядывай, сама своими руками собирай да ко мне приноси, не то наши баловницы половину на причуды свои растащут... А местные иконы кисеями да лентами убрать — как на Пасху да на Троицу... А петь знаменным напевом... Завтра надо будет Василью Борисычу покучиться, попел бы с девицами-то маленько.

— А на поклон котору икону апостолов ставить? Часовенну? Аль свою келейную выдашь? — спросила Аркадия.

— Келейную выдам, пригляднее будет, — молвила Манефа. — С Фленушкой завтра пришлю, только уж ты побереги ее ради Господа, жемчуг-от не осыпался бы, древня уж больно икона-то... Ну, управляйся же, матушка, с Богом. Пособи тебе Господи. Покуда прощай, а пойдешь — кликни ко мне Виринею.

Сотворив уставные метанья и благословясь у игуменьи, мать Аркадия вышла.

Немного спустя поспешно и весело влетела в келью мать Виринея.

— Едут, матушка, едут! — с обычным простодушием проворно она закричала.

— А тебе бы, мать, лоб-от прежде окстить да про́щу принять от игуменьи, а потом бы уж о чем надо и доложить, — строго молвила Манефа, сверкнув на нее гневными очами. — Не молоденькая, не первый год живешь в обители... Можно разве устав порушать?.. Можно разве преставлять старые обычаи?.. Дела много теперь у тебя, а то постояла б ты у меня на поклонах... Да знай наперед: праздник минет, нарушения чина я не забуду — поклоны за тобой!.. Для молодых нет того лучше примера, как старых матерей за провинности строго начинать.

Выслушав гневное слово игуменьи, мать Виринея все сотворила по чину: нача́л положила и с земными поклонами простилась у игуменьи и благослови́лась. И когда обряд, как следует, отправила, Манефа спросила ее:

— Кто ж там едет?

— Романушка с вином из городу едет, — ответила Виринея, — Каменный Вражек проехал.

— Чему старая обрадовалась! — с упреком и легкой

усмешкой сказала Манефа. — Я уж думала, не из гостей ли кто... Вот одолжили бы!.. Спозаранок-то... Теперь пока не до них.

— А едет с ним, матушка, неведомо какой человек, — продолжала Вириная. — Слепа стала, вдаль не доглядела... А кто-то чужой на возу сидит.

— Кому ж это быть? — равнодушно молвила Манефа и начала хозяйские расспросы. — Много ль пирогов напекла? — спросила она Виринаю.

— Двенадцать с тельным¹, девять с вязигой да с малосольной белужиной, с молоками да с жирами, — ответила Вириная.

— Маловато!.. Коль и завтра столь же спечешь, вряд ли на всех пришлых христолюбцев после вина на закуску достанет.

— Хватит, матушка, не тысячи же их нагрянут, — успокаивала игуменью мать Вириная.

— Погляди, что навалит!.. — усмехнулась Манефа. — Охочи до сладкого куса, оравой нагрянут... Как можно больше пеки пирогов.

— Власть твоя, матушка, а печку не раздвинешь... Больше того нельзя напечи, — разводя руками и слегка склоняя голову, ответила мать Вириная.

— Спосылай завтра приспешницу к Бояркиным, пушай у них пироги допекают. К Рассохиным тоже пошли, только бы там в оба глядели — народ продувной — разом припасы растащут. У Жениных завтра на холодное рыбу варить, а в самый день праздника сазанов да лещей с яйцами жарить... Хворосты² можно бы завтра дома испечь... Успеешь?

— Успею, матушка, Бог милостив, управлюсь, — сказала мать Вириная.

— Знатные гости на празднике будут, надо, чтоб все по-хорошему было: Смолокуров Марко Данилыч с Дунюшкой приедет, Патап Максимыч обещался, Самоквасова племянник здесь... Опять же матери со всех обителей наедут — согласные и несогласные... Уго-

¹ Фарш из свежей частиковой (то есть не красной) рыбы, преимущественно из судака или щуки.

² Старинное пирожное, постоянно бывавшее за царскими столами. Это праженое на масле печенье, приготовленное в «сушь», на него кладут варенье. Хворосты и теперь употребляются в среднем классе горожан и у богатых крестьян. В скитах — самое любимое пирожное.

щение тут первое дело, надо, чтоб видели все наше строительство, все бы хозяйственность нашу ценили... Варенцов много ли?

— Тридцать два варенца, матушка. По моему расчету на почетны столы за глаза хватит, — сказала мать Вириная. — Пришлым столы на дворе, чай, будут?.. Не обносить же их варенцами.

— Известно дело, — согласилась Манефа. — Не по ихним губам сладки кушанья... Им в первую перемену свекольник с коренной рыбой. Изведи смолокуровские пересечи, что прошлым годом прислал. Что рыба-то?.. Не испортилась?

— Доспела, матушка, совсем доспела, пованивает, — молвила Вириная.

— Как же быть-то? — призадумалась Манефа.

— А ничего, матушка, сварим, — отозвалась опытная мать Вириная. — Сопрут да после еще не нахвалятся... Любит ведь у нас мужичок доспелую рыбку, она ему слаще непорченой...

— Опять же надо и погреб очистить, — заметила Манефа. — Марко Данилыч шлет новы кормы... Скорми в самом деле старенькое-то без остали...

— Сазан там еще соленый от прошлого года остался, чуть ли полпересека не наберется. Больно дух пустил, матушка, — молвила Вириная.

— И его скорми, — решила Манефа. — Надо ж погреб очистить. На втору перемену его на двор и подай.

— Слушаю, матушка, — сказала Вириная. — А из горячего что на двор-от прикажешь?

— Похлебку с картофелем да со свеклой, рыбешки какой ни на есть подбавь, головизны, — приказывала Манефа. — Скоро новый овощ поспеет, старый тоже пора изводить.

— Изведем, матушка, не беспокойся, — молвила Вириная. — Бог милостив, все изведем. А из мисинного¹ что на двор укажешь?

— Разве оладьи с медом да пряженцы с яйцами?.. Яиц-то довольно у нас? — спросила Манефа.

— Вдоволь, матушка, вдоволь. Этого добра очень даже довольно, — отвечала Вириная.

¹ Мисинное — старинное название пирожных, подаваемых не на блюдах, а в чашах, в мисах.

— Так спеки пряженцы на двор-от, — решила Манефа. — Да яйца-то хорошенько разглядывай на огонь... Которы залежались — на двор, а свеженькие в келарню почетным гостям... Стерляди что?.. Играют?

— Троичка уснула, матушка, к завтраму, пожалуй, еще две уснут.

— Эх ты, старая!.. Не смогла уберечь!.. Воду бы чаще меняла, — недовольным голосом проговорила Манефа.

— Как воду не менять, матушка? Слава Богу не впервые. По три да по четыре раза на день меняла. Сама знаешь, какова у нас водица-то... Болотна, иловая, как в ней такой рыбине жить?.. — оправдывалась Виринея.

— Угораздило Федора Андреича таково рано стерлядей прислать! — молвила Манефа. — А тот пяток? Большие-то что на развар готовлены?.. Плавают?

— Живы, матушка, живы-живехоньки, одна только что-то задумалась, — сказала Виринея.

— Поблюди их, Виринеюшка, ледку, что ли, тайда в ледовую воду сажай... А из средних стерлядей большим гостям чтоб уха вышла хорошая. Из налимов-то печенки ты бы вынула да на лед.

— Сделано, матушка, сделано. Не беспокойся, уха выйдет знатная, — сказала Виринея.

— Постарайся, Виринеюшка, ради Господа постарайся... Сама ведаешь, какой день станем праздновать... Опять же собрание и почетные гости... Постарайся ради почести нашей обители... У Аркадьюшки по службе все будет как следует, не осрами и ты нас, пожалуйста... Трапезными учреждениями слава обители перед людьми высится больше, чем божественной службой... Так уж ты постарайся, покажи гостям наше домоводство... Слава бы про нашу обитель чем не умалилась. Потерьки бы какой нашей чести не случилось!..

— Постараюсь, матушка, — ответила Виринея. — Не впервой!.. Только бы мне на подмогу двух-трех девиц еще надобно, — промолвила она.

— Возьми кого знаешь, хоть всех бери — дело твое, — сказала Манефа. — Да началь их хорошенько, чтоб не очень ротозейничали. Не то, до меня не доведя, в погреб на лед озорниц сажай... Ну, прощай, Виринеюшка, не держу тебя, ступай к своим делам, управляйся с Богом, помогай тебе Господи!

Положила Виринея семипоклонный нача́л, сотворила метания, простилась, благослови́лась и пошла вон из кельи игуменьиной.

Вошла мать Манефа в свою боковушу, взяла с полочки молоток и три раза ударила им по стене. Та стена отделяла ее жилье от Фленушкиных горниц. Не замедлила Фленушка явиться на условный зов игуменьи.

— Меня стучала, матушка? — спросила она.

— Тебя, — сказала Манефа. — Садись-ка... Надо мне с тобой посоветовать.

Села Фленушка. Степенный, думчивый вид на себя приняла. Не узнать первую заводницу на всякие вольности, не узнать шаловливую баловницу строгой игуменьи, не узнать разудалую белицу, от нее же во святей обители чуть не каждый день сыр-бор загорается.

— Мать Таисея девицу на «годовую» просит, — сказала Манефа. — Самоквасов да Панков читалок требуют... А послать в Казань от Бояркиных некого... Хочется мне успокоить Таисеюшку — старица добрая, во всем с нами согласная. Опять же и покорна всегда, что ни велишь, безответно все делает... Думаю нашу белицу в Казань послать за Бояркиных. Да вот не могу придумать, кого бы... Умелую надо, хорошую, устав бы знала и всякую службу справить могла, к тому ж не вертячка была бы, умела бы жить в хорошем дому... Толстопятую деревенщину к Самоквасовым отправить нельзя. Надо, чтоб и за псалтырью горазда была, и ходила бы чистенько, и за столом бы, что ли, аль на беседе умела разговоры водить, не клала бы глупыми речами покура на нашу обитель... Кого присоветуешь?..

— Мало разве девиц у нас, матушка? — молвила Фленушка. — Поле не клином сошлось... Есть бы, кажется, из кого выбрать.

— Слышала, какую надо? — сказала Манефа. — У Самоквасовых дом первостатейный, опять же они наши благодетели, худую послать к ним никак невозможно. Хоть посылка будет от Бояркиных, а все-таки Самоквасовы будут знать, что канонница послана из нашей обители.

— Кажется, как бы не найти, — молвила Фленушка.

— Анафролию послать, так ей до весны у брата по Насте псалтырь стоять, — раздумывала мать Манефа. —

Серафима, грешным делом, в последнее время запивать стала, к Рассохиным повадилась, с матушкой Досифеей чуть не каждый божий день куликают... Дарью, так в Шуге у Легостевых тетка на ладан дышит, а к ним, опричь Дарьи, послать некого, сродница им... У Татьяны вестер в голове — эту никак невозможно, как раз осрамит обитель. Там сыновья, да племянник, да приказчики молодые, а Татьянушка, не в сужденье будь сказано, слабенька на этот счет... Пожалуй, навеки положит остуду Тимофея Гордеича... Евдокеюшку послать — Виринеюшки жаль: восемь годов она сряду в читалках жила, много пользы принесла обители, и матушке Виринее я святое обещанье дала, что на дальнюю службу племянницу ее больше не потребую... И что там ни будь, а старого друга, добрую мою старушку, мать Виринею, не оскорблю... Другие плохи больно, и устава не знают и читать даже не бойки... Не послать — Таисею обидеть, а Бояркины мне во всем правая рука. Опять же покорны во всем — как хочу, так у них и начальствую... Плохонькую послать — на обитель не то что от одних Самоквасовых, ото всей Казани сраму принять... Кого ж послать?.. Как ты думаешь?

— Разве матушку Софию? — чуть слышно проговорила Фленушка.

— Ее не пошлю, — решительно сказала Манефа. — Из кельи ее устранила, ключи отобрала. Сама знаешь, что не зря таково поступила... Теперь, коли в чужие люди ее послать, совсем, значит, на смертную злобу ее навестить... Опять же и то, в непорядки пустилась на старости лет... Как вы на Китеж ездили, так накурилась, что водой отливали... Нет, Софию нельзя, осрамит в чужих людях нашу обитель вконец... Язык же бритва...

— Так и Марьюшку? — лукаво кинула словечко свое хитрая Фленушка.

— В уме ль ты, Фленушка?.. — с жаром возразила Манефа. — Точно не знаешь, что пение Марьей только у нас и держится?.. Отпусти я ее, такое пойдет козлогласование, что зажми уши да бегом из часовни... А наша обитель пением и уставной службой славится... Нет, Марью нельзя, и думать о том нечего...

— Разве Устинью? — как бы опять невзначай бросила словечко Фленушка.

— Привыкла я к ней, Фленушка, недолге ходит за мной, а уж так я к ней приобыкла, так приобыкла, что

без нее мне очень будет трудно, — понизив голос, сказала Манефа. — За мной-то кому же ходить?.. А Софью опять в ключи не возьму... Нет, нет, ни за какие блага!.. Опротивела!.. Не видать бы мне скаредных глаз ее.

— По-моему, кроме Устиньи, выбрать некого, — молвила Фленушка.

Промолчала Манефа.

— Живала она в хороших людях, в Москве, — слово за словом роняла Фленушка. — Лучше ее никто из наших девиц купеческих порядков не знает... За тобой ходить, говоришь, некому — так я-то у тебя на что?.. От кого лучше уход увидишь?.. Я бы всей душой рада была... Иной раз чем бы и не угодила, ты бы своею любовью покрыла.

— Куда тебе!.. Какая ты уходчица? — ясным взором глядя на Фленушку, тихо проговорила Манефа. — Не сладить тебе!.. В неделю стоскуешься... Стара ведь я, опять же болезни мои... Нет, куда уж тебе справиться?

— За тобой-то ходить стоскуюсь я, матушка? — с живостью воскликнула Фленушка, и слезы, искренние слезы послышались в ее голосе. — За что ж ты меня таково обижаешь?.. Да я ради тебя не то что спокой, жизнь готова отдать... Ах, матушка, матушка!.. Не знаешь ты, что одна только ты завсегда во всех моихмышлениях... Тебя не станет — во гроб мне ложиться!..

И крупные слезы выступили из горевших очей Фленушки, и, порывисто рыдая, припала она пылающим лицом к плечу Манефы.

— Полно, а ты полно, Фленушка!.. Полно, моя дорогая!.. — взволнованным донельзя голосом уговаривала ее сама до слез растроганная Манефа. — Ну что это тебе запало в головоньку!.. Верю, моя ластушка, верю, голубушка, что любишь меня... А мне-то как не любить тебя!.. Ох, Фленушка, Фленушка!.. Знала бы ты да ведала!..

И спохватившись, что молвила лишнее, сдержанным голосом прибавила:

— Как бы знала ты, каково мне на твои слезы глядеть!.. Ни день, ни ночь с ума ты у меня не идешь!.. Что в самом деле с тобой станется, как вживе не будет меня!..

Сильней и сильней рыдала Фленушка на плече Манефы, крепче и крепче прижимала к себе игуменья ее голову.

— Ин вот как сделаем, — подумавши немного, ласково и тихо сказала Манефа. — Ходи в самом деле за мной, а Устинью в Казань пошлем... Она же дурь с чего-то стала на себя напускать... Покаместь вы Богу молиться ездили, девка совсем обезумела, что ни скажешь ей, либо не слышит, либо ответит неподходящее... Грубить даже стала... Давеча перед тобой какое слово смела сказать!.. Да еще, выходя из кельи, дверью хлопнула... Совсем избаловалась!.. Только уж я к тебе, Фленушка, хочешь не хочешь, помощницу приставлю. Одной тебе со мной не управиться... Ты же привыкла поздно вставать, а я ранняя птичка, летом с солнышком, зимой со вторыми кочетами встаю.

— Кого же? Марьюшку? — быстро вскинув смеющимися глазами, спросила Фленушка.

— Нет... Келейничать и клиросом править Марью успех не возьмет, — сказала Манефа. — Попрошу Виренеюшку, отдала бы мне в келейницы свою Евдокею. Ты в ключах будешь, а она в келье прибирать да за мной ходить.

— И самое бы хорошее дело, матушка, — улыбаясь не то лукаво, не то весело, молвила Фленушка. — Эка подумаешь, каким тебя Господь разумом-то одарил!.. Какая ты по домоводству-то искусная!.. Любую из матерей возьми — целу бы неделю продумала, как бы уладить, а ты, гляди-ка, матушка, только вздумала, и как раз делу свершенье!.. Дивиться надо тебе!..

— Так вот что, — слегка улыбнувшись, перебила Манефа. — Так делу быть: Евдокею ко мне в келью, Устинью в дорогу... На другой день праздника мы ее и отправим.

— С Петром Степанычем, что ли, пошлешь? — глядя в окошко, спросила игуменью Фленушка.

— Одну надо будет отправить, — ответила Манефа. — Дементий до города довезет и там на пароход ее посадит... А Петру Степанычу отсюда в Рыбинск надобно... Да и как с ним одну девицу послать? Нельзя, осудить могут... Хоть ничего и не случится, а все-таки слава на обитель пойдет... Да вот еще что, сбри-ка ты все работы, какие у вас есть наготове: бисерные, канвовые, золотошвейные... Надо Самоквасовым выбрать и Панкову, да вот еще Марко Данилыч с дочкой приедут, их тоже надо будет дарить... Да покаместь ни Устинье, ни другому кому не сказывай, про что мы с тобой го-

ворили... Отведя праздник, вдруг распорядимся — меньше бы разговоров было да пересудов.

Скромно вышла Фленушка из Манефиной кельи, степенно прошла по санным переходам. Но только что завернула за угол, как припустит что есть мочи и летом влетела в свою горницу. Там у окна, пригорюнясь, сидела Марья головщица.

Подперла Фленушка бок левой рукой, звонко защелкала пальцами правой и пошла плясать перед Марьюшкой, весело припевая:

Таки выпросила,
Таки выпросила!
Ой ты, любчик, голубчик ты мой,
Ты сухой ли, немазанный мой,
Полюби-ка меня, девушку!
Хочешь любишь, хочешь нет —
Ни копейки денег нет!
Таки выпросила,
Таки выпросила!

И, схватив Марьюшку за плечи, стала ее тормошить что есть мочи.

— Устюшку в Казань! — вскрикнула она. — Не будет помехи!.. Состряпаем свадьбу уходом!..

— Взбеленилась, что ль, ты, бешеная?.. — сказала головщица. — Услышать ведь могут!

— А пусть их слышат! Наплевать! — крикнула Фленушка.

И, подсев к Марьюшке, стала шептать ей на ухо:

— Наших-то кстати сюда принесло... Я их за бока... Завтра ж пусть едут к попу уговариваться... Нам с тобой в скиту век свековать — так хоть на чужую свадьбу полюбujeme!.. Аль не свенчать ли заодно и тебя с черномазым саратовцем?

— Полно городить-то! — с кислой улыбкой промолвила Марьюшка и отвернулась к окну.

— А ты полно губу-то кверху драть!.. Слушай, да ни гу-гу — слова не вырони... — говорила Фленушка. — Устинью на другой день праздника в Казань. Васенька в Шарпан не поедет — велим захворать ему, Параша тоже дома останется... Только матушка со двора, мы их к попу... Пируй, Маруха!..

Загуляем, закурим,
Запируем, закутим!

— Задаст вам пиры Патап-от Максимыч! — ворчала Марьюшка. — У него запляшешь!

— А плевать мне на твоего Патапа!.. — вскрикнула Фленушка, и страстной отвагой заискрились глаза ее. — Хоть голову с плеч, только б себя потешить!.. Что в самом деле?.. Живешь тут, живешь, киснешь, что опара в квашне... Удали места нет!.. Разгуляться не над чем!.. Самой счастья ввек не достанется, на чужое хочу поглядеть!.. Эх, Марьюшка, Марьюшка, не кровь в тебе ходит — сыворотка!..

— А матушка-то что скажет? — холодно промолвила головщица. — Ведь Параша-то племянница ей, поближе нас с тобой.

— Поближе!.. Да, поближе!.. — задумалась Фленушка. — Точно!.. Огорчит это матушку!..

И замолкла Фленушка... Села у стола и, опершись на него локтем, склонила голову.

— То-то, Флена Васильевна, — молвила Марьюшка. — Скоря-то ты скоро, ровно блоха скачешь, а тут и язычок прикусила... Подумай-ка, что будет тогда, как матушка про твои проказы проведает... А?

— А ничего! — с места вскочив, залихватски вскрикнула Фленушка. — Зачем ей знать?.. Не мы в ответе! Не мы к попу поедем, не мы и в церковь повезем!.. А сегодня вечером туда!.. Знаешь?.. Наши приедут...

Раздались в стене три удара молотком.

— Матушка! — вскрикнула Фленушка и стремглав кинулась из горницы.

Глава шестая

Когда Фленушка вошла в игуменьину келью, Манефа сидела с письмом в руках. Другое, распечатанное, лежало на столе.

— На-ка, Фленушка, садись да читай, голубка, — сказала Манефа, подавая ей письмо. — От Таифушки из Питера. Да пишет, ровно бисером нижет, мне не по глазам.

Взяла письмо Фленушка.

— Осмушников Семен Иванович из городу прислал, — продолжала Манефа. — Романушка к празднику за вином туда ездил, так с ним Семен-от Иваныч нарочно ко мне прислал... Письмо страховое... Таи-

фушка особо писала Семену Иванычу, чтоб то письмо сколь возможно скорее с верным человеком до меня дослать. Полагаю, что письмо не пустяшное... Таифушка зря ничего не делает... Читай-ка...

Фленушка стала читать:

— «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Радостей райских и преблаженныя жизни в горних искательнице, святопочивших, славных и добропобедных...»

— Прекрати, — молвила Манефа. — Прокинь похвалы... С дела начинай.

Фленушка долго искала конца «похвалам», произнося иные вполголоса:

— «Опасной хранительнице... ангельских сил... незыблемому адаманту... пречестной матушке...»

Манефа слегка хмурилась, но ничем другим не изъясвила нетерпенья, что сильно овладело ею... Не в обычае выражать его хоть бы и самому близкому человеку...

А Фленушка все ищет конца «похвалам»... Насилу у самом конце первой страницы добралась до дела.

— «И приехавши в царствующий и первопрестольный град Москву, не доезжая заставы, пристала я, матушка, у известного вам христолюбца Сергея Митрофаныча, а от него, нимало не медля, отправилась на Рогожское и у матушки Пульхерии удостоилась быть... Зело вам, матушка, она кланяется и весьма советует принять владимирского архиепископа. А он уж и поставлен от митрополита. Был прежде казначеем на Преображенском Андрей Ларивоныч, по прозванию Шутов, ленточного цеха цеховой, а ныне божиею милостию архиепископ Антоний владимирский и всея России...»

— На Преображенском!.. Беспоповец!.. — сумрачно промолвила Манефа и потом, едва заметно усмехнувшись, процедила сквозь зубы: — «Всея России»... Ровно святейший патриарх!.. Ох, затейщики московские!..

Заметив, что Фленушка приостановилась, Манефа сухо ей молвила.

— Вычитывай дальше, вычитывай!..

Фленушка продолжала:

— «А была я, матушка, у пречестного отца Иоанна Матвеевича, и он, скорбен сый и кончине близяся, таковое ж заповедал: прияти власть духовную преосвященного архиепископа Антония...»

— Пресвященного! — чуть слышно промолвила Манефа. — Дальше читай, — громко сказала она.

— «И по всем хорошим и богатым домам его весьма похваляют, и всей Москве то архипастырство приятно. А насчет нашей святыни, что ты мне препоручила, — всю ее в Москве до безмятежных времен на хранение предала: строгановских писем иконы да книг, филаретовский "Требник", "Маргарит" острожский, "Апостол" московский первопечатный...»

— Читай, кому отдала. Перечень после прочтешь, — сказала Манефа.

— «Петру Спиридонычу, — прокинув несколько строк, продолжала Фленушка, — а кресты с мощами Одигитрию, остальные книги печатные и харатейные, пятнадцать счетом, Гусевым. И говорили они, что почли бы за великое божие благословение, если б из Шарпана на гонительное время к ним Казанску владычицу прислали, пуще бы зеницы стали беречь ее и жизни б скорее лишились, чем на такое многоценное сокровище еретическому глазу на один миг дали взглянуть. А еще уведомляю вас, матушка, что по всей Москве древлеправославные христиане весьма прискорбны остаются при находящих на жительство наше напастех и весьма опасны разорения старинных наших святых мест... А приехавши в Питер, прямо к Дмитриеву каретнику прошла. Живет от машины неподалеку, и в тот же день вместе с ним к Дрябиным ездила, а вчерашний день, в пятницу сиречь к Грозовым на дачу ездила... И сведала я от них, матушка, для нашего жительства вести бесполезные — вышло строгое приказанье: все наши обители порешить бесприменно. И теперь в нашу пользу никто ничего сказать не может, ни за какие миллионы. Василий Федулыч Громов так и сказал: "Если б, говорит, таковых, как я, пятьдесят тысяч человек все свои имения отдали, чтоб тому делу препятствовать, и то бы, говорит, ничего не поделали". А указ, сказывали, вышел такой же, как по Иргизу был: всех по ревизии к скитам неприписанных выслать по ихним местам и оттоль не выпускать никуда до скончанья их веку... Часовни и моленные велено порушить, а хозяйства отнюдь не нарушать. Значит, и кельи и все имущество, какое в них, — вольны будем взять с собой, кому куда следует по закону. Потому и думаю я, матушка, что не довлеет нам зело сокрушаться: наше при

нас же останется... За сим, припадая к честным стопам вашим и прося святых молитв пред Господом...»

— Конец, что ли? — спросила Манефа.

— Конец, — ответила Фленушка.

— Прекрати, — сказала Манефа. Быстро встала с места, выпрямила стан и, закинув назад руки, начала ходить взад и вперед по келье.

— Возьми бумагу, — сказала Фленушке.

Та вышла и воротилась с бумагой. Стала Манефа ей сказывать, что писать.

К Таифе писано, чтоб в Петербургѣ не засиживалась, кончала б дела скорее и ехала домой, чтоб быть в обители, когда указ будет объявлен: «Сама знаю, — писала Фленушка со слов Манефы, — что от выгонки хозяйству ни малой расстройки не будет потому больше, что един от благодетелей пожаловал тысячу двести целковых на покупку в городе четырех дворовых мест. На мимошедшей неделе Полуехт Семеныч места совсем приторговал, и я дён через десять поеду в город купчие крепости совершать. А если позволено будет строенье перевезти в город, то за перевозку и плотникам за работу тот же благодетель заплатит обещался. Стало, большого убытку нам не будет, пространной жизни только лишимся; часовенной службы не станет, и канонниц нельзя будет по городам рассылать... Делать нечего... келейно Господу помолимся, убытку от того не будет, а еще свечей да ладану изойдет меньше, а в канонницы для рассылок можно будет свежих набрать, которы в списке не значатся; тем вольный ход, куда хочешь... Выгонка та меня нисколько не смущает, одно только жаль — с местом расставаться... Сколько годов на нем жили: и горести и радости видели, к каждой травоньке привыкли, думали тут и жизнь скончать... Сама посуди, мать Таифа, каково мне будет, когда придется отсель уезжать?.. При моем-то хилом здоровье, при моих-то недугах!.. Бога ради, матушка, все покидай, приезжай только скорее... Немало у нас в обители и верных людей и надежных, да умных маловато, а домовитых да по хозяйству искусных, опричь тебя, кого назвать?.. В столь прискорбное время без тебя как без рук буду!.. Ради Господа и пресвятой владычицы Богородицы приезжай поскорее... А у Громовых да у Дрябиных покуйся хорошенько, пособили бы нам ради выгонки, а мы вечные их богомолицы...»

Под вечер, только что солнышко спряталось за окраину леса, что чернеет по закраю неба вокруг Комарова, только что поляны возле перелесков белыми волнами вечернего тумана подернулись, Фленушка с Марьюшкой, осторожно выйдя за околицу и сторожко озираясь во все стороны, тихо спустились в Каменный Вражек. Там уж сидели казанец с саратовцем.

— Что?.. Соловушков слушать?.. — весело молвила Фленушка, и беззаботно-веселый смех ее звонко раздался по Вражку. — Опоздали, молодцы, смолкли соловушки. Петров день на дворе... Послушать песенок хотите, слушайте, как лягушки квакают... Чу!.. как дедгач трещит...

— Девичьи речи слаще птичьего щебета! Веселей соловьиного пенья голосок ненаглядной красоти! — с улыбкой промолвил молодой Самоквасов, идя навстречу к ней.

— Наскажешь турус на колесах!.. Только послушай тебя!.. — с небрежной улыбкой ответила Фленушка.

— Верное слово! — вскрикнул на то Самоквасов, ровным, медленным шагом отходя с Фленушкой к ближнему перелеску.

— Так я и поверила! — отворачиваясь от него, с лукавой улыбкой молвила Фленушка. — И думать-то, чай, про меня позабыл!

— Что ты?.. Что ты, Фленушка?.. Какое ты слово сказала!.. Ножом ровно резнула!.. Хороша встреча после целого года, неча сказать!.. — непритворно волнуясь, говорил Самоквасов.

— Нечего Лазаря-то петь!.. — перебила его Фленушка. — Как есть настоящий казанский сирота!.. Нет, друг любезный, меня не разжалобишь!.. Насквозь вижу бесстыжую твою душу! Все твои мысли у меня на ладони!.. Отчего долго не ехал?.. Зачем вестей не присылал?

— Дела такие подошли, — ответил Петр Степаныч. — Только что вскрылась Волга — в Астрахань дядя послал; воротился, дедушка помер.

— Наперед, беспутный, знаю все твои отговорки, — промолвила Фленушка.

Под эти слова вошли они в перелесок. Там укрылись в молодом частом ельнике да в кудрявых кустах можжевельных. Остановилась Фленушка, вспыхнули очи, заискрились, заревом покрылись щеки, и улыбка в

лице просияла. Закинув слегка голову, широко распахнула руками и тихо промолвила:

— Здравствуй теперь!

Ринулся молодец на высокую грудь... И долго и горячо сжимали они друг друга в объятьях... Долгий поцелуй ровно спаял распаленные страстью уста.

Сели на лужок меж кустами. Самоквасов держал Фленушку за руку. Оба молчали.

— А где ж колечко-то? — спросил он, оглядывая Фленушкины пальцы.

— В сундуке, — равнодушно она отвечала.

— На то разве дарено, чтоб в сундуке ему лежать? — укорил ее Самоквасов.

— Ай, ай, парень! — ото всей души расхохоталась Фленушка. — Немного ж у тебя под шапкой мозгу-то... Да!.. Где ж это видано, где это слыхано, чтоб скитски девицы перстни да кольца на пальцах носили?..

— А для че не носить? — возразил Петр Степаныч. — Чаше бы взглядывала, чаще б дружка вспоминала.

— Ловок ты, парень! — задушевым смехом хохотала Фленушка. — Забыл, что мы Христовы невесты?.. Как же твое подаренье мне на руку вздеть?.. Проходу не будет... Матушку тем огорчу.

— Эка важность! — усмехнулся Петр Степаныч.

— Нет, брат, шалишь! — немного брови нахмутив, молвила Фленушка. — Семеро будь таких, и тогда из-за вас не вздумаю огорчать свою матушку.

— А много ль нас у тебя? — громко смеясь, спросил Самоквасов. — Ну-ка, скажи, не утай.

— Много будешь знать, скоро состаришься, — закинув голову и прищурив насмешливо глаза, ответила Фленушка.

— Ну, скажи по правде... Чего тут?.. Да скажи же!.. — приставал Самоквасов.

— Сто, — отрезала Фленушка.

— Что больно много?

— Что за много? У вашего брата и больше бывает, — смеялась Фленушка.

— Так мы мужчины, — сказал ей Петр Степаныч.

— А мы девки! — усмехнулась Фленушка, смело глядя в глаза Самоквасову.

— Ну, уж девка!.. Зелье ты, а не девка!.. — проговорил он, страстно глядя на Фленушку.

— Какова уродилась!.. — охорашиваясь, молвила Фленушка. — Вся перед тобой, какая есть... Гляди!..

Молча любовался молодой купчик на миловидную Фленушку и, обвив ее стан рукою, сказал:

— Да реши ж, наконец, золотая!.. Зачем томишь меня?.. Который год?..

— Чего еще вздумал? — спросила, усмехаясь, Фленушка.

— Слушай, — продолжал Самоквасов. — Дедушка помер. Капитал был на его имя... Теперь конец... Хочет не хочет дядя, делись... Мне половина.

— Мне-то зачем ты это расписываешь?.. — спросила Фленушка. — Мне-то какое дело? Не я с твоим дядей стану делить тебя.

— Ровно не знает, про что говорю! — с досадой промолвил Самоквасов. — Третий год прошу и молю я тебя: выходи за меня... Ну, прежде, конечно, дедушка жив, из дядиных рук я смотрел... Теперь шабаш, сам себе голова, сам себе вольный казак!.. Что захочу, то и делаю!..

— И я что хочу, то и делаю, — весело усмехнувшись, ответила Фленушка.

— За чем же дело стало?.. повенчаемся! — подхватил Самоквасов.

— Сто дедов помри у тебя, будь ты не то что вольный казак, будь ты принцем каким, царем, королем, и тогда за тебя не пойду, — сказала Фленушка. — Не видать тебе, Петр Степаныч, меня, как ушей своих.

— Отчего ж так? — взволнованным голосом спросил Самоквасов.

— Да так вот, не хочу, да и полно, — сказала Фленушка.

— Делом говори. Чего отлынивать-то?.. Честью прошу... — говорил Петр Степаныч.

— Из скитов замуж честью не ходят, — сказала Фленушка. — Девишник-от нам у матушки в келье, что ли, справлять? А горной пир¹ в келарне?.. Образумься, Петр Степаныч... Получивши наследство, никак ты совсем ошалел.

— Мы бы уходом!.. — промолвил Самоквасов.

— Не огорчу тем матушку. Это в гроб уложит ее, — сказала Фленушка и встала с луговины.

— Не надивлюсь я тебе, Фленушка, не пойму те-

¹ Обед у молодых после свадьбы.

бя, — поднимаясь за ней, сказал Самоквасов. — Ну, а как матушка-то помрет?.. Тогда что?.. А она ведь не долгая на земле жилища... Тогда что будет с тобой?.. Тогда куда денешься?

— Отстань!.. Не досаждай! — вскрикнула Фленушка. — И без тебя тошнехонько!..

Затуманилось чело ее, заискрились очи, и порывистое, тяжелое дыхание стало вздымать высокую грудь.

— Повенчавшись, при месте была бы, — продолжал Самоквасов. — Никто бы тебя не обидел, у всех бы в почете была... А без матушки заедят тебя в обители, выгонят, в одной рубашке пустят... Я уж слышал кой-что... Мутить только не хочу... Опять же везде говорят, что вашим скитам скоро конец...

— Замолчишь ли, непутный?.. — вскрикнула Фленушка, и в голосе ее задрожали слезы отчаянья...

— Подумай хорошенько!.. — после немалого молчания сказал Самоквасов. — Теперь не прежнее время, «голопятым тысячником» теперь меня не назовешь, теперь мы сами с капиталом.

— Обсчитает тебя дядя-то, — небрежно кинула слово Фленушка.

— Известно, обсчитаст!.. — спокойно, с уверенностью ответил Самоквасов. — Как же не обсчитать? До всякого доведись!.. Только как он, собачий сын, там ни обсчитывай, а меньше ста тысяч целковых на мою долю выдать ему не придется...

— Полно-ка ты, Петруша, — молвила Фленушка. — Широко не шагай, высоко не заглядывай!.. Даст дядя тысчонки две-три, с тем и отъедешь.

— Нет, брат, шалишь!.. — вскрикнул Самоквасов. — Сами с усами, на кривой теперь меня не объедешь!.. Именья-то и капиталу после дедушки больше чем на четыреста тысяч целковых... Если дядя вместо половины четверть только отдаст, вот уж тебе и сто тысяч... А меньше мириться мне никак не следует... А не захочет дядя миром покончить со мной, суд на то есть... Мне и долги и торговые книги известны, могу усчитать... Ох! да я бы и меньше с дяди-то взял, только б ты, Фленушка, пошла за меня!.. Слушай! — прибавил он решительно. — Не пойдешь за меня, сопыюсь, обопыюсь, под забором как собака околею.

— Полно молоть-то!.. — небрежно отозвалась Фленушка. — Выдумает же ведь!

— Без тебя мне не жизнь, одна маета!.. Что ж? Решай скорей, — схватив Фленушку за руку, с горячим порывом сказал Самоквасов.

Вдруг ровно туманом подернулось игривое личико Фленушки. Задумчивые глаза ее грустно остановились на горевшем страстью лице Самоквасова.

— Эх, Петруша, ты, Петруша, мой глупенькой!.. — печально вздохнув, она молвила. — И меня-то не знаешь и себя не понимаешь... Какой ты мне муж!

— А чем же не муж?.. Какого еще тебе черта?.. — возразил Самоквасов.

— Не муж, — грустно сказала Фленушка. — Муж должен быть голова над женой, а тебе надо мной головой в жизнь не бывать...

— Как бы не так! — засмеялся Самоквасов. — А ну-ка, попробуй, выдь за меня, — увидишь, каков буду...

— Увидать-то нечего!.. — с усмешкой молвила Фленушка.

— В ежовы бы взял!.. — продолжал шутить Петр Степаныч.

— Еще кто бы кого!.. — слегка прищутив глазки, молвила Фленушка.

— Говорят тебе, попробуй, — продолжал он и крепко схватил стан Фленушки.

— Отвяжешься ли? — крикнула она и быстрым поворотом ловко вывернулась из-под руки Самоквасова...

— Эх, чтоб тебя! — с досадой он вскрикнул. — Ровно налим выскользнула.

— А ты паренек недогадливый!.. Не умеешь водиться с девицами, — весело и звонко захохотала Фленушка. — У нас, у девок, обычай такой: сама не захочет — ее не замай, рукам воли не давай... Так-то, друг сердечный!.. А ты этого, видно, не знал?.. А?..

— Да полно тебе шутить да ба́ловаться, — с досадой сказал Самоквасов. — Чем бы дело говорить, она с проказами.

— Ну, так и быть, давай про дело толковать, — подхватила Фленушка и, опустившись на траву, промолвила: — Сядь-ка рядом, потолкуем ладком.

Сели. Фленушка в землю глаза опустила, помолчала немного.

— Долго ль в наших местах прогостишь? — спросила его.

— Как погостится, — ответил Самоквасов. — Гостины

живут по привету... Сколь меня приветишь, столь и прогощу.

— Полторы либо две недели можешь прожить?.. — спросила Фленушка.

— Отчего не прожить? Это все в нашей воле, — сказал Петр Степаныч.

— А саратовец? — спросила Фленушка.

— А куда его без меня леший потянет? — молвил Самоквасов. — Теперь ему из моей воли выйти нельзя. Что велю, то и сделает, — сказал Самоквасов.

— Сказку плетешь аль правду говоришь?.. — спросила Фленушка.

— Чего врать-то?.. Не из чего, — отозвался Самоквасов. — Только отделюсь, Сеньку в приказчики... У нас уж с ним слажено, оттого из воли моей теперь он выйти и не может...

Помолчали немного.

С лукавой улыбкой, слегка прищурясь и зорко глядя на Самоквасова, молвила Фленушка:

— А больно хочется жениться на мне?

— Господи! — привскочил даже Петр Степаныч. — Да из-за чего ж я третье-то лето бьюсь-колочусь?.. Из-за чего столько маеты от тебя принимаю?..

И схватил было Фленушку за руку.

— Постой, погоди, — сказала она, выдергивая руки. — Прежде надо про дело толковать... Уходом придется свадьбу играть?

— Вестимо уходом... Сама же сказала, что из ски-тов честию девицы не выходят, — ответил Самоквасов.

— А венчался ли ты когда уходом-то? — спросила Фленушка.

— Эка шальная! — весело, во всю мочь захохотал Самоквасов. — Все-то проказы у ней на уме!.. Да что я?.. Татарин, что ли, какой?.. С одной обвенчавшись, к другой сватаюсь?..

— Не про то тебе говорят, — перебила Фленушка. — Не случалось ли в дружках на свадьбах уходом бывать аль в поезжанах?

— Не доводилось, — ответил Петр Степаныч.

— Надо попробовать, — молвила Фленушка. — Тут ведь удалство нужно. А не то и невесту у тебя отобьют, и бокам на придачу достанется...

— Вестимо, — согласился Самоквасов.

— Перед тем, как меня из обители красть, надо тебе

поучиться, — сказала Фленушка. — Я бы поглядела, сколь в тебе удали есть...

— Да чем же мне ее показать? Манефу, что ль, выкрасть да с городецким попом повенчать, — громко засмеялся Самоквасов.

— Не смей матушку в шутки мешать... — строго, с досадой молвила Фленушка. — Не смей, говорю тебе.

— Так сама укажи, кого повенчать, — подхватил Самоквасов. — Таисею?.. Изволь... Повенчаем и Таисею... Только сыщи жениха!.. Денег теперь со мной много, любого попа закупаю... Столько отсыплю, что на родной сестре кого хочешь свенчает.

— Ладно, — молвила Фленушка, кинув на Самоквасова томный взгляд из хитрых прищуренных глаз. — Изволь, укажу тебе парочку.

— Барашка да ярочку? — перебил Петр Степаныч, подвигаясь поближе к Фленушке.

— А ты молчи, дело говорю, — сказала она, отстраняя от себя Самоквасова. — Укажу, кого повенчать, погляжу на твою удаль... И если возьмешь удальством, повенчаешь их, бери меня тогда, хоть на другой же день бери...

— Вправду? — радостно вскрикнул Самоквасов. — Вправду говоришь?.. Не обманешь?..

— Зачем обманывать?.. Что сказано, то свято, — лукаво улыбнувшись, молвила Фленушка.

— Коли так... коли так... — в страстном порыве говорил Петр Степаныч. — Слушай, Фленушка!.. Да за это не то чтоб свенчать кого, черта за рога поймаю... Что хошь приказывай, все исполню, чего ни захочешь.

— А ну-ка побожись, — молвила Фленушка.

— Да лопни глаза мои!.. Да сквозь землю мне, в тартарары провалиться!.. Да чтоб не взвидеть мне свету божьего!.. — стал божиться Самоквасов.

— Ну ладно, хорошо, — сказала Фленушка. — Побожись теперь в том, что никому ни единым словом не промолвишься, про что стану говорить тебе...

— Да иссуши меня Господи до макова зернышка!.. Да чтоб мне с места не сойти!.. — заклинался Самоквасов.

— Ладно, ладно, верю... — прервала его Фленушка. — Слушай теперь... Завтра поезжай к попу Сушиле в Свиблово... Задари его, денег не жалея, что ни запросит, давай... Семену скажи, был бы с тобой заседино...

— Да кого же венчать-то? — спросил Самоквасов.

— А видел давеча Василья Борисыча у матушки?.. Из Москвы прислан, — молвила Фленушка.

— Видел. Ледящий такой, — небрежно сказал Самоквасов.

— Какой бы там ни был, дело не твое... — перебила Фленушка. — Его надо свенчать... Слышишь?.. И как можно скорее.

— Пожалуй!.. А с кем? — спросил Самоквасов.

— Девица есть в обители... — зачала Фленушка. — Хорошая девица, отецкая дочь... Родители богатые, сама-то молодехонька, да будь промеж нас сказано, не больно бойка разумом, недалежного ума... Намедни, как мы ездили к невидимому Китежу, успел он как-то хитростный...

— Кто? — живо перебил Самоквасов.

— Да все он же, Василий Борисыч, — молвила Фленушка.

— Ах он, плюгавый!.. Вот гром-от не из тучи!.. — весело захохотал Самоквасов. — Да ничего... ничего... Теперь смекаю... Венцом, значит, надо покрыть?.. Ничего!.. Покроем... Это мы завсегда можем!..

— Слушай же да покудова смалчивай, — молвила Фленушка. — Та девица — Параша Чапурина.

— Полно ты! — удивился Самоквасов. — Эх какую кралю подцепил!.. А она-то!.. Водой не замутишь, а поди-ка ты что!

— Со всякой грех может случиться, — скромно опустив глаза, молвила Фленушка. — Когда у тебя будет все готово, мое дело невесту собрать... Сдам ее тебе с рук на руки, доделывай сам... А насчет жениха надо быть тебе похитрее. Блудлив он, что кошка, труслив он, что заяц. Трусит, Патап Максимыч по-свойски бы с ним не расправился... И сдается мне, что хочет он отсель лытуна задать¹. Так уж ты с Семеном пригляди его... Завтра в Свиблово ты один к попу-то поезжай, а Семен пусть его караулит... Да уговаривал бы его венчаться, не то, мол, Патап-от Максимыч с живого шкуру сдерет... Они ж с Семеном старые знакомцы — ему-то, может, поверит...

— А ведь и в самом деле, Чапурин потачки не даст, — молвил Самоквасов.

— Известно, не даст, — согласилась Фленушка. — От него не уйдешь... Вы хорошенько жениха-то пугайте, обвенчаешься, мол, не в пример дешевле разделаешься.

¹ Убежать.

Ну, мол, побьет тебя маленько Чапурин, поколотит... Без этого уж нельзя, а потом, мол, и гнев на милость положит.

— Ладно, — сказал Самоквасов, — все в наилучшем виде с Сенькой устроим. Только хочешь не хочешь, задаток давай, — прибавил он, обнимая Фленушку.

— Какого еще тебе задатка? — вырываясь, воскликнула Фленушка.

— Хоть разок поцелуй хорошенько, — говорил Петр Степаныч, стараясь обнять Фленушку. — Тебя не убедит, а мне радости прибавит.

— Да отвяжись ты, непутный!.. — с лукавой усмешкой, отталкивая локтем Самоквасова, промолвила Фленушка. — Забыл, какие дни-то теперь?.. Петров пост еще не кончился.

— Целоваться в уста николи нет поста, — перебил Самоквасов и, схватив Фленушку, промолвил: — Ну, взгляни глазком — сделай с праздничком!..

— Ну, ладно, ладно, выпусти только... Ой, леший!.. — вдруг она вскрикнула. — Черт этакой!.. Щипаться еще выдумал!.. Я теогрею!.. Отвяжись, говорят!

— Хочешь не хочешь, а целоваться надо... Без того и к попу не поеду, — приставал Самоквасов.

— Ну, постой... пусти, а ты... Сама поцелую, — молвила Фленушка.

И когда он выпустил из объятий Фленушку, она взяла его руками за уши и, слегка притянув к себе, холодно поцеловала.

— Не так, не так! — во всю мочь гаркнул Самоквасов и, схватив Фленушку за голову, изо всей силы прижал ее губы к своим...

— Да отвяжись!.. Леший ты этакой!.. Ай!.. — на весь перелесок кричала Фленушка, но крики ее заглушались нескончаемыми поцелуями Самоквасова.

Глава седьмая

Не стучит, не гремит, ни копытом говорит, безмолвно, беззвучно по синему небу стрелой каленой несется олень златорогий...¹ Без огня он горит, без крыльев

¹ Златорогий олень, как олицетворение солнца, нередко встречается в старинных песнях, сказках и преданиях русского Севера.

летит, на какую тварь ни взглянет, тварь возрадуется... Тот олень златорогий — око и образ светлого бога Ярилы — красное солнце...

Бежит олень, летит златорогий, серебряным копытом хочет в воду ступить. И станет от того вода студёная, и пойдёт солнце на зиму, а лето на жары.

Шумит в лесах, трещит в кустах, бренчит по траве-мураве звонкокопытный олень. Солнечным лучом, что ремённым бичом, гонит его светлосный Ярило из темного бора на светлую поляну ради людского моляну...¹ Брать его руками, колоть его ножами и на братчине на петровщине людям есть благодарно моленый кус².

Затем летит по небу олень златорогий, затем хочет серебряным копытом воду студить, что настал день прощанья светлого бога Ярилы с Матерью Сырой Землей и со всеми земнородными чадами их... Каждые сутки тот олень по небесной тропе с востока на запад бежит, но только два раза в году он играет... В те дни восходящее солнце то покажется из-за края небесного, то опять за ним спрячется, то вздынет кверху, то книзу опустится, то заблещет цветами алыми, белыми, лазоревыми, то воссияет во всей славе своей так, что никакому глазу глядеть на него невозможно. Дважды в году так солнце играет: в день прихода Ярилы, на Пасхе, да в день отхода его, на Петров день³.

Затем из темного бора гонит Ярило лесного оленя, было бы людям чем справить день расставанья светлого бога с землей, день отхода его на немалое время в область мрака и стужи. Есть того оленя людям на моляне, поминать отходящего бога на пиру, на братчине, на братчине на петровщине⁴.

А с восточной стороны, с моря-океана, с острова Буяна, со того ли со камня со Алатыря, тихими стопа-

¹ Общественное моление (языческое) — принесение в жертву животного, съедаемого молещиками. Это старорусское слово перешло и к мордве.

² Жертвенное мясо. Теперь моленным (иногда «петым») кусом зовут снеди, освящаемые в церкви: куличи, сыр и пр.

³ Народное поверье.

⁴ Есть поверье, что в лета стародавние ежегодно на Петров день выходил из лесу олень и сам давался в руки людям на розговенье. Об этом намек в Житии Макария Желтоводского (XV столетия). *Братчина*, иначе *ссыпчина* — праздник на общий счет.

ми, земли не касаясь, идет-выступает Петр-Золотые-Ключи... Теми ключами небесные двери он отмыкает, теми дверями угодных людей в небо пускает. Идет Петр-Павел¹, в одной руке ключи золотые, в другой трава Петров крест, что гонит нечистую силу в тартары.

Петров день наступает: летняя братчина, братчина-петровщина. По сельщине-деревенщине пир горой.

Накануне Петрова дня по селам возня, по деревням суетня. Конец петровке-голодовке — молёного барашка в лоб!..² Давай бабы творогу, сметаны, простокваши, топленого молока!.. Стары люди за верное рассказывают, что прежде петровок и в за́водях не было; вы, бабы, скопидомок, тот пост у Господа вымолили; вы, бабы, жалобились: без летнего-де поста ни масла, ни другого молочного запasti нельзя, все-де молоко мужики с ребяташками выхлебают... Ну вот, по вашему умолению и мы держим пост — давай же на розговенье все напасенное!.. Жарь, пеки да вари, пойдет у нас пир на весь божий мир!.. Пост провалил, до зеленого покосу напразднуемся. Не жалей на брагу хлеба, солоду — зажелтели поля, колосья клонятся, нового богáтья³ недолго ждать!.. Таков на Петров день бабам дается приказ от отцов да от свекров, и накануне праздника зачинается вокруг печей возня-суетня. Дела по горло, а иной хозяйшке вдвое того: есть зять молодой — готовь ему теща петровский сыр, есть детки богоданные — пеки тобóлки⁴, неси их крестникам на рóзговенье, отплачивай за пряники, что приносили тебе на поклон в прощено воскресенье вечером⁵.

У молодежи накануне Петрова дня свои хлопоты: последняя «хмелевая ночка» подходит, завтра надо

¹ *Петр-Золотые-Ключи* — олицетворение солнца, как Илья-пророк — грома и т. п. *Петр-Павел* — соединение в одном лице двух, так же, как Кузьма-Демьян, Флор-Лавер и пр.

² Петров пост зовется голодным, потому что ни овощи, ни грибы еще не поспели, а хлеб на исходе. Говорят: «Петровка-голодовка, спасовка-лакомка» (спасовка — успенский пост). Общее великорусское поверье, что Петров пост бабы у Бога выпросили для скопа масла. Молёный, или обреченный, баран обыкновенно назначается на петровскую братчину. Петровских баранов брали помещики с крестьян, берут попы с прихожан.

³ Новый хлеб.

⁴ Пресные пироги с творогом.

⁵ Обычай на Севере, а отчасти в Средней России.

Кострому¹ хоронить... Еще пройдет день, лета макушка придет, начнется страда, летним гулянкам конец... Вечером, только закатится солнце и сумрак начнет по земле расстилаться, девушки с молодницами, звонко песни играя, выходят гурьбой за околицу, каждая охапку соломы тащит. Выбрав укромное место, раскладывают костры и при свете их вяжут Кострому из соломы. Одевши ее в нарядный сарафан недавно вышедшей замуж молодицы и убравши цветами, молча, без шуток, без смеха кладут на доску возле воды... Тут молодцы приходят, начинаются песни, хороводы. Всю ночь напролет молодежь веселится, а когда зачнет утрення заря разгораться, приходят на игрище люди пожилые, даже старики: посмотреть-поглядеть, как солнышко красное станет играть.

Тухнут костры на земле, гаснут звезды на небе... Бледнеют на своде небесном ночные покровы, светлей и светлей на восточном краю небосклона. Рой мелких перистых облаков усыпал поднебесье, лучи невидимого еще солнца зажгли их разноцветными огнями. С каждой минутой ярче и ярче горят облака, блещут золотом, сверкают пурпуром, переливаются алыми волнами... Разлились светлые потоки по всему небесному раздолью... Окропляется свежей росой, изумрудами блещет трава муравая, алмазами сверкают капли росы на листьях древесных. Раскрывают цветы лепестки свои и в утренней прохладе со всех сторон льются благовонные воздушные токи... Близко, близко небесный олень златорогий.

¹ Чучело Ярилы из соломы. В Малороссии оно зовется «Костру-бонькой». Ее хоронят в Казанской губернии — накануне Троицына дня; около Владимира и Суздаля, а также в Пензенской и Симбирской губерниях — в Троицын или в Духов дни; в Ярославской и в западной части Костромской губернии — в воскресенье Всех святых, а местами — в Петров день; в Тверской губернии — в первое воскресенье Петрова поста; в других местах Великой России, особенно в степных, а также в Малороссии — 24 июня; в восточной части Костромской губернии, местами в Нижегородском Заволжье и в Вятской губернии — в Петров день. Похоронами Ярилы, или Костромы, кончаются летние хороводы и гулянья, за ним наступает «страда» (усиленные полевые работы на покосе, на жнитве, молотьбе и т. д.). С июля (1 июля — «лета макушка») все увеселения прекращаются до осенних «капусток» (в конце сентября). Местами в Ильин день, в дожинки (конец жатвы), в Семен-день (1 сентября) бывают хороводы, но небольшие и водят их непóдолгу.

Ведут хоровод и звонкою песнью зовут небесное светило:

Не стучит, не гремит,
Ни копытом говорит,
Каленой стрелой летит
Молодой олень!
Ты, Дунай ли, мой Дунай!
Дон Иванович Дунай!
Молодой олень!

* * *

У оленя-то копыта
Серебряные.
У оленя-то рога
Красна золота!
Ты, Дунай ли, мой Дунай!
Дон Иванович Дунай!
Молодой олень!

* * *

Ты, олень ли, мой олень,
Ты, Алешенька!
Ты куда-куда бежишь,
Куда путь держишь?
Ты, Дунай ли, мой Дунай!
Дон Иванович Дунай!
Молодой олень!

* * *

Я бегу ли, побегу
Ко студеной ко воде,
Мне копытцом ступить,
Ключеву воду студить!
Ты, Дунай ли, мой Дунай!
Дон Иванович Дунай!
Молодой олень!

И, кончив песню, резво бегут на пригорки.

С непокрытыми головами, опершись на посохи, там уж стоят старики. Умилно склонив головы на правые руки, рядом с ними старушки. Глаз не сводят седые с восточного края небес, набожно ждут того часа, как солнышко в небе станет играть...

Густыми толпами стариков молодежь обступила. Все тихо, безмолвно. Только и слышны сердечные вздохи старушек да шелест листвы древесной, слегка колыхаемой свежим зóревым¹ ветерком... Раскаленным

¹ Тихий ветер, обыкновенно бывающий на утренней заре. О нем говорят: «зорька потянула».

золотом сверкнул край солнца, и радостный крик громко по всполью раздался.

Солнце взыграло, грянула громкая песня:

Ой, Дид Ладо!.. на кургане
Соловей гнездо свивает,
А иволга развивает!..
Хоть ты вей, хотя не вей, соловей, —
Не бывать твоему гнезду совитому,
Не бывать твоим деткам вывожатым¹,
Не летать твоим деткам по дубраве,
Не клевать твоим деткам белотурой пшеницы!
Ой, Дид Ладо! пшеницы!..

Поднялось солнце в полдерева, все пошли по домам с ночного гулянья. Впереди толпа ребятишек, как в барабаны, колотят в лукошки, и громкое их грохотанье далеко разносится в тиши раннего утра. За ними девушки с молодницами несут на доске Кострому. Мужчины за ними поодаль идут. Подобье умершего Ярилы медленно проносят по деревне под звуки тихой заунывной песни. То «первые похороны».

Там, где братчина, обедают тотчас после ранней обедни. Щи с бараниной, ватрушки, бараний бок с кашей — обычные яства на петровском обеде. Пообедавши, мужчины старые и молодые спешат на братчину на петровщину. На деревенском выгоне ставят столы и раскладывают на них жареную баранину, ватрушки и пироги с бараньим сердцем², ставят жбаны с пивом, сваренным на складчину, да вино зеленое, покупное на общие деньги. На братчине только свои. «На пиры на братчины незваны пити не ездят», — сказано лет за пятьсот и побольше того. Начинают с вина, пьют без шапок, чинно, степенно. Каждый наперед перекрестится и такую молитву молвит вполголоса:

— Батюшка Петр-Павел! Заткни в небе дыру, замкни тучи-оболоки, не лей дождем!.. Поддай, Господи, зеленый покос убрать подобру-поздорову!

Под конец пиროванья, когда пьяное веселье всех разберет, — затренкают балалайки, запищат гармоники, волынки загудят... Иной раз сергач приведет лесного боярина Михайлу Иваныча Топтыгина, с козой, с бара-

¹ Выведенным.

² Разумеется, не одно сердце, но легкие, печенка, почки, мозги, языки, губы и уши.

баном¹, и пойдет у братчиков шумная потеха над зверем. Коли много вина, напоят косолапого дѡпьяна. А уж если очень развеселятся, становятся стена на стену и заводят потешный кулачный бой.

Таково веселье на братчинах спокон веку водилось... «Как все на пиру напивались, как все на пиру наедались, и все на пиру пьяны-веселы, все на пиру порасхвастаются, который хвастает добрым конем, который хвастает золотой казной, разумный хвалится отцом с матерью, а безумный похвастает молодой женой... А и будет день ко вечеру, от малого до старого начинают робята бороться, а в ином кругу на кулачки биться... От тоя борьбы от ребячия, от того боя от кулачного начинается драка великая»².

Меж тем девицы да молодицы перед солнечным закатом с громкими песнями из деревни в чистое поле несут Кострому... Молодые парни неженатые, слышав те песни, покидают братчину, идут следом за красными девицами, за чужемужними молодицами.

Кладут Кострому на доске на прежнем месте, становятся вокруг нее хороводом и печальными песнями отпевают Ярилу:

Помер наш батюшка, помер!
Помер родимый наш, помер!
Клали его во гробочек,
Зарывали его во песочек!
«Встань, батюшка, встань,
Встань, родимый, вздынься!»
Нет ни привету, нет ни ответу...
Лежит во гробочке,
Во желтом песочке.
Помер наш батюшка, помер!
Помер родимый наш, помер!

Приходили к батюшке четыре старушки,
Приносили батюшке четыре ватрушки:
«Встань, батюшка, встань,
Встань, родимый, вздынься!»
Нет ни привету, нет ни ответу
Лежит во гробочке,
Во желтом песочке.

¹ Сергачские крестьяне водят по деревням ученых медведей, при них неразлучна «коза» (мальчик-подросток в длинном холщовом балахоне, который он держит на палке; сверху балахона сделаны из дерева козьи челюсти и рога). Другой подросток, а иногда и сам «поводырь» во время пляски медведя бьет в барабан, то есть в лукошко.

² Былина о Ваське Буслаеве.

Помер наш батюшка, помер!
Помер родимый наш, помер!

Приходили к батюшке четыре молодки,
Приносили к батюшке четыре сочовки¹.
«Встань, батюшка, встань,
Встань, родимый, вздынься!»
Нет ни привету, нет ни ответу
Лежит во гробочке,
Во желтом песочке.
Помер наш батюшка, помер!
Помер родимый наш, помер!

* * *

Приходили к батюшке четыре девчонки,
Приносили батюшке четыре печенки:
«Встань, батюшка, встань,
Встань, родимый, вздынься!»
Ждем твою привету, ждем твою ответу,
Встань из гробочка,
Вздынься из песочка!
Ожил наш батюшка, ожил,
Вздынулся родимый наш, встал!

И другие песни поются над соломенной Костромой...

С тоскливым плачем, с горькими причитаньями, с барабанным грохотом в лукошки, со звоном печных заслонок и сковород, несут Кострому к речке, раздевают и, растрепав солому, пускают на воду. Пока вода не унесет все до последней соломинки, молодежь стоит у берега, и долго слышится унылая песня:

Помер наш батюшка, помер!
Помер родимый наш, помер!..

А потом начинаются хороводы и веселые игры. В «селезня» играют, в «воробушка», в «оленьюшку», в «заиньку», «просо сеют», «мак растут», «лен засевают» — и все с песнями... Здесь бренчит балалайка, там заливаются пастуший рожок, дальше гудят гудки и гармоники. Бойкие молодцы пляшут в кругу хороводном, пляшут рядами, пляшут одни за другими, вертятся, кружатся иль молодыми ногами частую дробь выбивают. Удаляю пышут их загорелые лица. Красные девицы, дружно сплетая руками, неспешно ведут хоровод, весело в лад припевая. Матери, тетки и все пожилые одаль стоят, весело смотрят на деток, любясь стройными играми их, юность свою вспоминая.

¹ Пресная на масле лепешка с кашей, с творогом или со сметаной.

Клонится к западу солнце, луч за лучом погашая. Алое тонкое облако под ним разостлалось. Шире и шире оно расстилается, тонет в нем солнце, и сумрак на небо восходит, черным покровом лес и поля одевая... Ночь, последняя ночь хмелевая!

Матери, тетки ушли, увели с собой ребятишек, отцы и мужья пиво да брагу кончают, с грустью, с печалью на сердце всех поздней с поля ушли молодичи, нельзя до утра им гулять, надобно пьяного мужа встречать... Осталась одна холостежь.

До солнечного восхода она веселится. Ясно горят звезды в глубоком темно-синем небе, бледным светом тихо мерцает «Моисеева дорога»¹, по краям небосклона то и дело играют зарницы, кричат во ржи горластые перепела, трещит дергач у речки, и в последний раз уныло кукует рябая кукушка. Пришла лета макушка, вещунье больше не куковать... Сошла весна со́ неба, красно лето на небо вступает, хочет жарами землю облить.

Ни конца ни краю играм и песням... А в ракиновых кустиках в укромных перелесках тихий шепот, страстный, млеющий лепет, отрывистый смех, робкое моление, замирающие голоса и звучные поцелуи... Последняя ночь хмелевая!.. В последний раз светлый Ярило простирает свою серебристую ризу, в последний раз осеняет он игривую молодежь золотыми колосьями и алыми цветами мака: «Кошуйтесь², детки, в ладу да в миру, а кто полюбит кого, люби до́веку, не откидывайся!..» Таково прощальное слово Ярилы...

Встало солнце на́д лесом, облило лучами землю поднебесную... Конец весне, дошла до людей страда-сухота... Не разгибать людям спины вплоть до поздней глубокой осени...

Теперь на Керженце не помнят Ярилы, не хоронят Костромы, забыли про братчины. Скитская обрядность все до конца извела.

Скитникам, келейницам всего трудней было справиться с братчинами. Не слушались их увещаний мужики деревенские... Как сметь дедовский обычай представлять! Как отказаться от молёного куса, от браги

¹ Млечный Путь.

² Живите в любви и согласии.

сыченой, от мирского хмельного пива! Испокон веку, из рода в род ведутся те братчины, деды, прадеды их заповедали, заветное слово их крепко... На пиру, на братчине не только пьют да гуляют, не только песни играют да бьются в кулачки, здесь мир рядит, братчина судит; что тут положено, тому так и быть. На мирское решение, что сказано на братчине, нет суда. Мир да братчину один Бог судит.

Хитры были, догадливы келейные матери. В те самые дни, как народ справлял братчины, они завели по обителям годовые праздники. После торжественной службы стали угощать званных и незванных, гости охотно сходились праздновать на даровщину. То же пиво, то же вино, та же брага сыченая, те же ватрушки, пироги и сочовки, и все даровое. Молёного барашка нет, а зато рыбы — ешь не хочу. А рыба такая, что серому люду не всегда удастся и поглядеть на такую... Годы за годами — братчин по Керженцу не стало.

Когда зачиналась обитель Манефина, там на извод братчины-петровщины на Петров день годовой праздник уставили. С той поры каждый год на тот день много сходилась в обитель званных гостей и незванных богомольцев. Не одни старообрядцы на том празднике бывали, много приходило и церковников. Матери не спрашивали, кто да откуда, а садись да кушай. И люб показался тот обычай деревенскому люду...

На обительских праздниках не хвастали гости по-старинному, не хвалились ни добрым конем, ни казной золотой, ни отцом с матерью, ни женой молодой, не заводили кулачных боев, не слушали гудцов-скоморохов. Матери за трапезой читали им от Писания и кляли-проклинали мирские потехи, что от Бога отводят, к бесом же на пагубу приводят. Не судила, не рядила за скитской трапезой братчина — свой суд матери сказывали: «Кто Бога боится, тот в церковь не ходит, с попами, с дьяками хлеб-соль не водит...» И те суды-поученья, сладким кусом да пьяным пойлом приправленные, немало людей от церквей отлучали. И за то бывал гнев от властей на скиты и обители.

Накануне Петрова дня в Манефиной часовне и великое повечерие и правильные каноны справлены были чинно, уставно, торжественно. На своем игуменском месте, в длинной соборной мантии, с деревянным посохом в руке, ровно каменная, недвижимо стояла

Манефа и в положенное время твердым голосом творила возгласы. Впереди стройными рядами стояли матери, за ними белицы, позади прихожие богомольцы — мужчины от женского пола особо. Сам Василий Борисыч в ряду богомольцев стал, нельзя было ему на клирос к девицам пройти — постороннего народу много, соблазна бы не было, устав не позволяет того. Рядом с московским послом Семен Петрович стоял. С утра, по приказу Самоквасова, ни на шаг не отступал он от старинного друга-приятеля, не отступал от него и в то время, как он, по просьбе Манефы, в келарне с белицами дежеством распевал.

Допевали «воззвахи»¹. Руководимые искусной головицей, звучные голоса «певчей стаи» стройно носились в высокой часовне. С умилением, в строгом молчанье предстоявшие слушали сладкогласное пение — вдруг зазвенел колокольчик... Либо исправник, либо становой, другому некому быть. Никто из самых важных гостей не взъедет на обительский двор с колокольцами во время часовенной службы. Белицы и матери стали тревожно переглядываться, но ни одна двинуться с места не смела. Манефа стояла невозмутимо, будто ничего не слыхала... Кой-кто из стоявших у дверей богомольцев вышли из часовни посмотреть, кто приехал.

Немного спустя, с важностью в походке и взоре, вошел удельный голова Михайло Васильич Скорняков в жалованном кафтане с золотыми галунами. На полшага отступя, следом за ним шла головиха Арина Васильевна. На Нефедов день Михайлу Васильичу вдвойне посчастливилось: за ночь столько перепелов наловил, что сроду не помнил такой удачи; и только что успел отдохнуть после бессонной ночи, от управляющего нарочный на двор. Привез из конторы бумагу, надпись на ней «самонужнейшее». Стал читать, в глазах зарябило, екнуло сердце; сам управляющий пишет: часу не медля, спешно бы ехал он в город, а зачем — ни полслова... Непокойно поехал Михайло Васильич, и туда и сюда кидая умом, что за «оказия» вышла... Не доброго чаял... Слышал он стороной, что писарь Карпушка Морковкин донос послал на него, верно, позвали по этому делу. Арина Васильевна, только что муж

¹ Церковные песни (на вечерне), начинающиеся словами псалма: «Господи, воззвах тебе».

со двора, на молитву... Пятнадцать кафизм прочитала, акафистов два, наутро пост на себя наложила — макова зернышка в рот не брала, весь почти день промолилась. Карп Алексеич Морковкин, сидя в приказе, с радости рюмку за рюмкой кизлярку тянул и кой-кому из крестьян похвалялся: «Шабаш Скорняков!.. Знаю, зачем его вызвали — с места долой!..» Так был уверен в успехе доноса. Дня через два воротился Михайло Васильич в жалованном кафтане с бумагой: ехать Морковкину в другой удельный приказ, верст с лишком за двести, и там не писарем, а только помощником писаря быть. Никто еще не видал Скорнякова в новом кафтане; показаться честному народу в почетной одежде больно хотелось ему... И вот вспомнил он, что у Патапа Максимыча на сорочинах Манефа на праздник звала, тотчас срядился, даром что телятник летал и мошки над рожью толклись, обильный улов перепелов обещающая. А с колокольчиком выехал... как же иначе? Разве он не начальство, разве не на стоечных¹ лошадях в Комаров он приехал?

Прихожие богомольцы перед ним на две стороны расступились. Прошел Михайло Васильич в самый перед. Приняв поданный ему белицей подручник, чинно сотворил семипоклонный начал и низко всем поклонился, с важностью глядя на бывших в часовне. А глаза так и говорят: «Глядите, православные, в каку одежу я вырядился!.. Царское жалованье!..»

И все на него смотрели с почтеньем, все мысленно радовались: «Вот-де и наших царь награждает!» Одна Манефа не взглянула на кафтан с галунами. Но, когда после службы Михайло Васильич с хозяйкой посетил ее келью, слов не нашла игуменья, благодаря столь почетного гостя за неожиданное посещение. На сорочинах звала его ради одной прилики, зная наперед, что голова не приедет... И не приехал бы, если б не захотелось ему показаться людям в жалованном кафтане.

Сидели за чаем, когда Смолокуров с дочкой приехал. С великим почетом встретила их мать Манефа. Не успела высказать всех благодарностей, новые гости на двор: Патап Максимыч с Аксиной Захаровой, Иван Григорыч с Груней, гости желанные, притом не

¹ Нанимаемые сельскими обществами для разъездов полицейских чиновников и волостных властей.

наверное жданные. Радошна была Манефа, видя такое собрание почетных гостей. Патап Максимыч знаменитую повариху куму Дарью Никитишну с собою привез. Тотчас вступила она в управление келарней. Мать Виринея охотно, без всякой досады ей подчинилась, и на новый лад пошла-закипела стряпня.

А по малом времени раскормленные, жирные кони легкой рысцей стали подвозить в Комаров уемистые повозки, нагруженные пуховиками и подушками, на них возлежали тучные матери и дебелие девицы-келейницы. Двадцать четыре одних игумений съехалось, пять старцев из мужских обителей, соборным матерям и белицам не было счету. По всему Керженцу, по всем скитам нет обители обширней Манефиной, нет просторнее келий ее, но и в них не могли поместиться все наехавшие Петру-Павлу поспраждновать. По другим обителям иные пристали, пристали и в сиротских домах. Прямо к Манефе въезжали лишь те, что были почетней да знакомей ей.

Первою приехала маленькая, сухощавая, но бодрая старушка мать Августа, Шарпанского скита игуменья. Хоть на богомолье у отца Софонтия, говоря с Фленушкой, и отказалась она приехать, но Манефа письмами умолила ее непременно пожаловать на праздник. Из молодых не было с ней никого. Строгая шарпанская игуменья по многим опытам знала, что нигде лютый бес так хитро не раскидывает сетей ради греховного людей уловленья, нигде так сильно не искушает келейных белиц и молодых инокинь, как на великих собраниях. Бороня от греха младое стадо свое, никогда не брала она девиц на праздники и другие скитские сборища. Не было в шарпанской повозке ни мягких перин, ни пуховых подушек, да и повозка-то была старая, неприглядная. Старенька была и одежда на игуменье, нищей казалась она. И было то не от скудости, но ради смирения. Все знали, что в Шарпане достатки хорошие, но исстари ведется обычай одеждой не краситься, трапезой не славиться, отнюдь не вести пространного жития. И такому смирению всюду должную честь воздавали... Славна́ была мать Манефа, надо всеми игуменьями высилась, но лишь только возвестили ей о приезде Августы, тотчас из кельи вон и, сойдя с крыльца, своими руками помогла старице выйти из повозки. А на ступенях крыльца и в сенях чинно рядами

стояли Манефины старицы и белицы, в глубоком молчанье Августе низкие поклоны отдавая. Узнав, что у Манефы мирские гости, не восхотела шарпанская игуменья идти к ним, прямо прошла в приготовленную для нее светлицу и, отказавшись от угощенья, заперлась и на келейное правило стала.

Следом за Августой, из Оленева приехала мать Маргарита, Анфисиной обители игуменья. Славна́ была не только по лесам Керженским, Чернораменским, но по всему христианству древлего благочестия. Знали умную, учительную мать Маргариту по всему Поволжью от Романова до Иргиза, чтима была старица в слободах Стародубских, на Дону, на Кубани, на Тереке, высоко было имя ее в Москве на Рогожском, в Питере в Королёвской часовне¹. Будучи сама купеческого рода, умела Маргарита с купцами и чиновными людьми знакомство вести, знала, как занятную для них беседу вести. Домовитость ее и учительность также всюду были известны, и слава Анфисиной игуменьи немногим умалена была супротив славы Манефы. Осанистая, смуглая, худощавая мать Маргарита степенно, но величаво вошла в келью. За ней две белицы. Одна статная, стройная, ровно молодое деревце, довольством, здоровьем сияет лицо, добром и весельем искрятся очи, с виду холодная, будто бесстрастная, пылкое сердце, горячую кровь носит в себе. С малиновым шелковым платочком на голове, в пышных батистовых рукавах, в широком кисейном, испещренном мелкими яркими цветочками переднике, царицей вступила она. То была Маргаритина любимица, вскормлённица ее, Анна Сергеевна. Несмысленным младенцем взяла ее мать Маргарита у дальнего сродника, прежде богатого, потом до суммы разоренного торговым несчастьем. Любовалась и гордилась воспитанницей мать Маргарита, жизни не чаяла в ней, от себя на шаг ее не пускала... Другую белицу Грушенькой звали — ту для услуг взяла с собой Маргарита. Приспешницей в келарне служила, и Василий Борисыч, когда гостил у Анфисиных, любил в келарню ходить, когда чернобровая Груша блины там пекла.

С Маргаритой приехала из Оленева другая игуменья, мать Фелицата. Ростом мала, дородством взяла,

¹ Поповщинская часовня, находившаяся в Петербурге на Разъезжей улице, в доме купца Королева. Уничтожена около 1840 года.

ровно копна в человечью кожу защита. Тучны келейницы на Керженце, но другой Фелицаты и там не бывало. В широкую повозку рядом с нею едва боком усесться могла сухая, как вобла, костлявая, как тарань¹, рябая белица Марина, что при ней ходила в ключах. Двух стариц в особой кибитке везла за собой Фелицата: маленькую юркую мать Фелониду, суетливую, живую старушку с необычной памятью. Чуть не все старообрядское писание знала она наизусть, и, в случае спора, стоило ей только книгу взять в руки, тотчас где надо раскроет, тотчас укажет перстом на спорное место. Другая старлица мать Севастьяна была, черный волос, звонкий голос, густые брови, что медведи над глазами лежат, а глаза-то косые, смотрят в кучку, а глядят врознь. Умом и речью изворотливой славилась, в спорах от писаний сильна: редкий начетчик супротив Севастьяны мог устоять. Любила Фелицата поспорить и в споре верх одержать, но в ответах была нескора, оттого и брала с собой книжных матерей, было бы кем поддержать себя на соборе.

Улангерская мать Юдифа приехала, трех белиц с собой привезла: нежную красавицу Домну, голосистую чернобровку Варю, веселую, быстроногую Дуню. Не в собрание сидеть, не про скитские дела советовать, к Фленушке в гости на праздник девицы приехали, очень звала она их, когда у Юдифы гостила. Ради собора много матерей Юдифа с собой привезла из бедных Улангерских обитателей. Девяностолетнюю мать Клеопатру Ерахтурку², пять раз была под судом, пять раз в остроге сидела, пять раз подписку давала не возвращать никого от церкви в раскол и несчетно раз ее нарушала. На увещаньях в консистории раз двадцать бывала, но Никоновым новшествам не покорилась, твердо в древнем благочестии пребывая. Узами, темницами болезненно искушалась; скорби, нужды, страданья радостно претерпела, вечного царства в горнем Иерусалиме взыскала. Все чтили добропобедную стари-

¹ Вобла, или обла — рыба. *Cyprinus grislagine*, тарань — *Cyprinus vimba*. Их вялят с просолом на солнце и продают в огромных количествах по самой дешевой цене. Вяленая вобла распространена по Поволжью, тарань — по Дону, Азовскому и Черноморскому прибрежьям.

² Родом из села Ерахтура, Рязанской губернии, Касимского уезда. В нем много старообрядцев поповщинского согласия.

цу, всячески ее ублажали. Не книжна, не словесна была Клеопатра, но на скитских соборах первоседение ей предоставляли. Мать Феозву из Минодориной обители Юдифа с собой привезла: острая разумом, сведуща в царских законах была, не токмо в тех, что в Кормчей печатаны, но и в нынешних всеобдержных. Дело какое случится в судах, по землям аль по каким-нибудь тяжбам, медной полушки приказным никогда не давала, сама все писала, и не бывало ни разу, чтоб она по суду своего не получала. В сенат даже просьбы писывала, сам уездный судья ей говорил: «Тебе бы, мать Феозва, не в скиту богомольничать, в суде б за зеркалом сидеть!» Юдифа привезла дворянского рода старца Иосифа и его крепостного игумна Галактиона. Иосифу ради такого случая нову камилавку с кафтырем справили, новую рясу пошили. Чухломской дворянин тем очень доволен остался. Из Чернушинского скита мать Павлина с сестрами о Христе приехала. Не книжная была, но рассудливая, споры и вражду умирала, к согласному житию всех приводила, оттого и слыла миротворицей.

Из малых скитов старицы с белицами тоже наехали из Быстрёны, из Ворошилова, из Прудовского, Федосеевского, из Кошелева, из Митюшенского, из Малиновского, Одинцовского, Крутовражского и Гордеевского.

Не все приезжали прямо к Манефе, только избранные да много знакомые. Во всех Комаровских обителях, во всех сиротских домах пристало гостей видимо-невидимо.

С вечера из ближних и дальних деревень христолюбцы на праздник сошлись. Держали опочив вокруг часовни на широком дворе обительском... Ложе — трава муравая, одеяло — темная ночь, браный полог — звездистое небо.

Глава восьмая

Стоном стоят голоса на широком дворе Манефиной обители. Собра́лось на праздник народу многое множество. Часы отошли. С пением обоих клиросов шествует из часовни Манефа в соборной мантии. Медленно она выступает, за нею черный строй матерей, одних игумений двадцать четыре, стариц до сотни. Идут из часовни в келарню. За ними белицы, потом званные на трапезу почетные гости. Всех гостей не может келарня

вместить, иные старицы и почти все белицы, кроме певчих, по кельям разошлись; там тоже столы приготовлены были. Фленушка с гостями прошла в свои горницы. С нею Параша Чапурина, Дуня Смолокурова, Анна Сергеевна с Грушенькой оленевские, Домнушка, Дуняша, Варя улангерские. Аграфена Петровна, молодая жена Ивана Григорьича, с ними ж пошла. Смерть хотелось попасть в их беседу Василью Борисычу, но с ними идти было ему никак невозможно — московскому послу за трапезой почетным гостем сидеть, не с красотками беседовать, нужные речи с игуменьями да старицами вести. Никого из мужчин во Фленушкиных горницах не было, сидел-трапезовал один круг девичий, замужняя одна замешалась: богоданная дочка Патапа Максимыча, Аграфена Петровна.

От часовни до келарни по обеим сторонам дорожки, что во многие годы протоптана стопами богомольных и трапезолюбивых келейниц, по зеленой траве-мураве ставлены были козлы, а на них кладены тесины, крытые холстами и уставленные жбанами с квасом и пивом, великими укрухами ржаного и пшеничного хлеба и деревянными кружками¹. На каждом кружке по куску пирога, у каждого кружка по прихожему богомольцу стоит. Мужики и бабы, парни и девки, подростки ребятишки ждут не дождутся конца службы и начала угощения. Все деревенские... Меж ними один только старец в старой запыленной одежде, в нахлобученной на самые брови камилавке. Не пошел он в келарню, как сказал, смирения ради. То бродячий старец Варсонофий, что встретился Василью Борисычу ночью на Китеже.

Только прошел ход матерей и почетных гостей, пришлые христолюбцы с шумом и гамом садились вдоль столов на скамьи. Конюх Дементий с трудниками разносили деревянные стаканчики, а христолюбцы, широко осенив себя крестным знаменiem, пили из них зеленое вино во славу Божию, а сдобными пирогами с рыбной начинкой закусывали. Потом трудники, под надзором пяти матерей, ставили на столы одну перемену кушаний за другою, потчевали гостей брагой сыченой, пивом похмельным. И усердные богомольцы все дочиста поели, потребили весь залежалый в Манефиных погребах рыбный запас и много за то благодар-

¹ Деревянная тарелка, на которой крошат говядину или рыбу.

ствовали... Пьяней всех Варсонофий был: ради иноческого чина ни один из трудников не отказал ему в лишнем стакане. Оттого «перехожий» честной отец после трапезы не пошел с матерями о скитских делах соборовать, выпросился у Дементья на сенницу и там завалился спать-почивать после дела похмельного.

Чинна и стройна была трапеза, в келарне уготованная. Почетный стол в переднем краю стоял. С правой стороны Манефы сели игуменьи, жена головы и Аксинья Захаровна, с левой Василий Борисыч, старец Иосиф, крепостной игумен его Галактион, другие старцы, за ними Смолокуров, Патап Максимыч, удельный голова, кум Иван Григорьич, Самоквасов, саратовский приказчик, купцы из ближнего городка и какой-то пароходчик с Городецкой пристани. За другими столами старицы с белицами по степеням чинно сидели. Марья головщица с «певчею стаею» пропела тропарь первоверховным апостолам, затем надо было «прощу» говорить. За столом старцы были, при них по скитскому обычаю жене ни прощ, ни иного начального дела творить не подобало. В часовне за часами Манефа Галактиону предложила «за молитвы» возглашать, дневное Евангелие читать и отпусты говорить, а в келарне барину того игумна, отцу Иосифу, предоставила прощу творить... И доволен же был чухломской дворянин возданною ему честью; заслезились старые очи его от избытка чувств... Ударил Манефа в кандию, Марьюшка, стоя за налоем, начала чтение «похвалы апостолам», а Виринея распорядилась ставкою на столы кушанья. И все ели и все пили благодушествуя, в великом смирении и в строгом молчании.

И никто не сидел так степенно, никто не держал себя так чинно истово, ни на чьем лице не было видно такого смирения, как у Василья Борисыча: очи долу, главою поникши, сам недвижим и бесстрастен... А у самого на уме: «Девы-красавицы, стаяй лебединою пируют у Фленушки, льются речи звонкие, шутками да смехами речь переливается, горят щечки девушек, блестят очи ясные, высокие груди, что волны, тихо и мерно колышутся...» И сколь было бы ему радостно в беседе девичьей, столь же скучно, невесело было сидеть в трапезе обительской!

На почетный стол становили кушанья, что искусной рукой Дарья Никитишна сготовила, на другие столы

становили яства попроще, стряпни Виринеиной. На почетный стол подавали дорогие вина заморские, на другие столы квасы ставленные, брагу сыченую, пиво мартовское домашнего варева. Патап Максимыч, зная, что будут на празднике Смолокуров, удельный голова и кум Иван Григорьич, захватил с собой по дороге не одну дюжину шампанского, но мать Манефа отказала ему наотрез потчевать тем вином гостей на трапезе. «Отобедавши, в келье, что хошь твори, а на трапезе людей не блазни, — сказала она. — Того не повелось, чтоб эту заморскую кипучку в обителях пить». Патап Максимыч спорить не стал, потому что тут же вспало ему на ум устроить вечером пирушку в опустелом домике Марьи Гавриловны, где пристал он с кумом Иваном Григорьичем да с удельным головой... «Ладно, хорошо, — сказал он сестре, — только соснем после обеда, тотчас за дело примемся. У тебя пойдет собор, а у нас содом. Ужину сготовь хорошую, чаю, рому, закусок подай, чтоб все было в порядке, как следует. Да посуды побольше — неравно бить зачнем!»

Кончилась трапеза, чинно пошли из келарни. Едва показалась на крыльце мать Манефа, пришлые богомольцы стали ей кланяться, и далеко разносились сотни голосов, благодаривших гостеприимную игуменью и желавших ей со всей обителью доброго здравия и вечного спасения. Остановившись на верхней ступени, едва наклоняла голову величая Манефа и приказала конюху Дементью поднести мужичкам «посошок»¹ в путь-дорогу, а мать Назарету послала на луг за околицей оделять баб, девок и ребятишек пряниками, орехами и другими сладостями. И толпа, как волна, с шумом и говором хлынула со двора обители... Вскоре по всем сторонам вокруг скита раздались громкие песни и, постепенно стихая, замерли в отдаленье: то прихожие христолюбцы расходились по деревням с богомолья.

Через час после обеда собор начался. Среди келарни ставлен был большой стол, крытый красным кумачом. На нем положили служебное евангелие в окладе, с одной стороны его на покрытом пеленою блюде большой серебряный крест, с другой — кормчую книгу. Десятка полтора других книг в старинных, почер-

¹ Последняя заздравная чарка вина на прощанье.

невших от времени переплетах положены были по разным местам стола.

Манефа на этот раз чухломскому дворянину указала на первое место. И старец Иосиф чуть не задрожал от радости; никогда и во сне не грезилось ему столь великого почета. Справа от него поместились Василий Борисыч и старцы, слева Манефа и другие игуменьи. Соборные и рядовые старицы разных обителей стали у лавок вдоль стен.

Справили семипоклонный нача́л, старец Иосиф замолитвовал, мать Манефа поаминила...¹ Все по своим местам сели.

Начал Василий Борисыч. Встал, перекрестился, на все стороны поклонился и начал читать нараспев послание на Керженец от московского общества старообрядцев:

— «Преподобным отцам и пречестным матерям, подвигом добрым вечного ради спасения подвижающимся, сущим во святых обителях Керженских и Чернораменских, иде же православие сияет, яко светило.

Во-первых, пожелав вам душевного спасения, вкупе же и телесного здравия, а во иноческих трудах благопоспешения, в скорбях же утешения и достижения преподобных отец небесного лика, посылаем мы от великих духовных лиц, господина митрополита кир Кирилла и от наместника святыя митрополии Белокриницкия кир Онуфрия, епископа браиловского, мир и Божие благословение...»

— Не приемлем! — в заднем конце стола громко заговорили кривая мать Измарагда, игуменья обители Глафириных, и дородная мать Евтропия из обители Игнатьевых. К ним еще несколько стариц пристало. Иные стали даже отплевываться.

— Прекрати, — шепнула Манефа чухломскому дворянину.

Иосиф ударил в кандию.

— Чего загалдели? — крикнул он на всю келарню. — На базар, что ли, сошлись?.. Слушай до конца!.. Нишкни! Шутовки этакие, прости Господи!..

— Перестань, отче, перестань! — дергая его за рукав, с досадой шептала Манефа. — Можно разве на соборе такие слова говорить?

¹ Сказала «Аминь».

Василий Борисыч продолжал:

— «...А от нас грешных и грубых земное поклонение. Ведомо вам, что в мимошедшем семь тысяч триста пятьдесят седьмом году, ианнуария в третий день, на память святого пророка Малахии, господин митрополит всех древлеправославных христиан по долгу своего пастырства, помощь желая сотворить всем в Российской державе пребывающим древлеправославным христианом, столь изнемогшим в правлении духовных чинов, по совету всего освященного собора, рукоположил во епископа на Симбирскую епархию господина Софрония, и для общей пользы смотнительно препоручил ему на время правление и прочих мест в России, на что и снабдил его своею святительскою грамотою. И в той грамоте было прописано епископу Софронию, как скоро услышит он в пределах России благодатию Божиею еще от митрополии посланного другого епископа, абие положить себе запрещение от тех мест епархии, какие другому епископу определены будут... Но грех ради наших оный Софроний отрыгнул от сокровища сердца своего не точию сопротивление и презрение данному им при поставлении обещанию во всем повиноватися митрополиту, но даже клеветы и напрасные оболгания несвойственные епископскому сану износить не усрамися. К тому же, быв в высшем духовном чину, не токмо не устыдился ради своей корысти вступати в торги, но и разными бесчестными и презрительными занятиями собирал себе тленное богатство, даже освященные им церковные вещи, как то: антиминсы, одиконы и прочие продавал. Тогда верховный наш архипастырь господин митрополит Кирилл, видя такового открывающегося святей церкви врага, послал ему на сорока шести листах обличение неправильных и незаконных его действий, моля и увещая не творить в церкви раздоров и повелительно призывая его в митрополию на личный суд. Но от Софрония не бе ни гласу, ни послушания, и тогда господин митрополит, тщетно и долготерпеливо ожидая к себе Софрониева прибытия, прислал на него конечное решение по девятнадцатому правилу Карфагенского собора и в своей святительской грамоте сие писал: «Аще же преслушаешь сего предписания и будешь кривить пронырством своим по твоему обычаю, и сие наше приказание преобидишь, то отселе сею грамотою нашею от-
решаем ты и соборне извергаем из архиерейского сана

и всякого священнодействия лишаем и оставляем простым и бездействительным иноком Софронием»¹. Тогда ради церковного устройства, по прошению древлеправославных христиан в царствующем граде Москве и по иным градам и весям Российския державы пребывающих, господин митрополит Кирилл, по совету всего освященного собора, рукоположил во архиепископы богоспасаемого града Владимира и всея России кир Антония, и сему Антонию архиепископу благословил поставить себе в помощь еще двух епископов, а по надобности и более, донося о каждом поставлении митрополиту. Возвещая вам, преподобные отцы и пречестные матери, о таковом божием произволении, велегласно в радости и божественном веселии глаголем: «Явися благодать божия спасительная всем человеком!..» — и с тем вместе просим, молим и братолюбно советуем прияти преосвященного архиепископа кир Антония и ему во всех духовных делах повиноваться. Прекращая же сие писание, молим Верховного пастыреначальника, да подаст владыке нашему Антонию силу, крепость и разумение во еже право править слово божественныя истины. Аще же между вас есть некие сумнящиеся и яко жидове глаголющие: «От Назарета может ли что добро быти?» — таковые ныне да восчувствуют Божие промышление и да воскликнут с нами едиными усты и единым сердцем: «Кто Бог велий, яко Бог наш? Ты еси Бог творяй чудеса. Бог наш на небеси и на земли вселика восхоте сотвори!» А если пожелает кто поподробну излюбопытствовать, того ради посылаем подателя сего послания Василия Борисыча, мужа учительна, разумно знающа силу божественных писаний и самолично зревшего доброе устройство заграничныя святыя митрополии, и все чины и службы в ней соблюдаемые. Аще восхощете о чем подлинно знати, той наш посланный вся по ряду уста ко устам вам да глаголет».

Кончил Василий Борисыч, встал с места и с поклоном вручил рогожское послание председавшему старцу Иосифу, а тот, не вставая с места, подал его матери Манефе. Тихий говор пошел по келарне.

— Мы не согласны, — возвысила голос кривая мать Измарагда. — Не подобает православным христианам

¹ В действительности эта грамота послана была Софронию через три года по постановлении владимирского архиепископа Антония, то есть в 1856 году.

австрийского благословения принимать, ни службы их, ни крещения, ни даже молиться с ними, ниже в дому их пребывать... То — часть антихристового полка.

Измарагдину речь поддержали несогласные старицы. И было таких довольно число.

— А покажите, матушка, от Писания, — с важностью обратился к Измарагде Василий Борисыч, — в чем Богом устроенная иерархия, юже вы укорительно нарицаете «австрийскою», неправильна.

— Чего тут доказывать?.. — с запальчивостью вскрикнула Измарагда. — Первый-от ваш архиерей из греков?.. Значит, от смущенныя никонианския церкви, обливанец?..

— Несправедливо говорите, матушка, — сказал Василий Борисыч. — Хоть греки и во многом от правыя веры отступили, но истинное крещение в три погружения сохранили, и крещение их несть еретическое; церковию по соборным и святоотеческим правилам приято быть может.

— Обливанцы они! Обливанцы! Все едино что хохлы аль белорусцы!.. — в истошный голос кричала мать Измарагда. — А святейший Филарет патриарх повелел белорусцев совершенно крестити...

— Обливанцы! Обливанцы!.. — кричала Евтропия обители Игнатьевых, Митродора из Напольной обители, Иринарха, игуменья скита Ворошиловского, мать Нонна, игуменья скита Гордеевского.

— Много есть тому свидетелей, что речи ваши неправильны, — старался перекричать их Василий Борисыч. — Многие из наших христиан древлего благочестия нарочито многотрудный путь в греки и во Египет предпринимали и во святем граде Иерусалиме были и повсюду видели у греков истинное трехпогружательное крещение. Нарочито и во град Енос ездили, иде же приятый митрополит Амвросий рождение имел, и тамо младенцев крестят совершенно, в три погружения.

— Сами, государь мой, о том письма получали, — закричала мать Евтропия. — Из зарубежных христиан и у нас знакомцы есть. За Дунаем-то не больно приняли вашего Абросима: «Не хотим, дескать, обливанщины, не оскверним души наши!..»

— Это одна клевета и неразумие! — возразил Василий Борисыч. — По должном испытании Задунайские приняли возрожденную иерархию, смирились. И у них теперь поставленный господином митрополитом архи-

епископ Аркадий, что прежде был настоятелем в Лаврентьевом монастыре в Ветковских пределах.

— А коли ты посланником прислан, так басен-то не плети!.. — резко сказала Василию Борисычу мать Нонна, игуменья гордеевская, кидая на него гневные взоры. — Не малым ребятам сказки рассказываешь!.. Пóслуха поставь, очевидца, да святым Писанием слова его укрепи!.. Вот что!..

— Я вам пóслух, я вам очевидец!.. — степенно проговорил Василий Борисыч. — Богу споспешествующу обтек аз многогрешный греческие области, в Цареграде был, во святем граде Иерусалиме живоносному гробу поклонялся и повсюду самолично видел, что у греков трехпогружательное крещение всеобдержно и нет между ними латинского обливания. Свидетель мне Бог.

— Агет!¹ — вскричала Измарагда, за ней Митродора, Нонна и другие старицы.

И такой шум поднялся на соборе, что мать Манефа шепнула Иосифу:

— Прекрати бесчиние!.. Да помягче смотри, укорительными словами не обзывай.

Чухломской дворянин ударил в кандию и во всю мочь крикнул:

— Молчать!..

— Сбесился, что ли, батька? — шепотом строго молвила ему Манефа. — Я ль тебе не говорила?

— А как же, по-твоему, потомуку светлых боярских родов со смердами говорить? — отвечал родословный старец.

— Ох, уж ты, боярин!.. На грех посадила я тебя на первое место, — молвила Манефа и подала знак, что хочет сама говорить.

Все смолкли. Она начала:

— Что в греках крещение непогрешимо, тому много свидетельств в отеческих книгах имеется, и не один Василий Борисыч, много тому самовидцев. И мы тому верим несумненно... Но не о том предлежит нам соборовать. При великом оскудении священного чина, когда все мы душевным голодом были томимы, московские и иных городов христиане великими трудами и премногим иждивением возрастили мало что не на двести лет увядший цвет благоучрежденной иерархии... Поначалу невместимо было слово о таковом событии, но по

¹ Ажет.

долгом рассуждении и по многих изысканиях в книгах святоотеческих, некие от здешних обителей удостоверились во истине явившейся зарубежной митрополии и с духовною радостью прияти рукоположенного во епископы Софрония и поставленных от него пресвитеров. Но по мале времени тот Софроний явился злохудожен и отрыгнул мерзости небоязненного пред Божиим судом своего сердца. Стяжатель оказался и таковых же стяжателей в попы наставил, как и в наших местах известного всем вам Михайлу Корягу... Тогда смутилося сердце наше и отчуждились мы от Софрония и от попов его. Теперь же на него и судом митрополита осуждение со извержением из архиерейского чина последовало, на место же его новый епископ поставлен. И теперь вам должно по святым правилам осмотрительно обсудить и соборне положить, прияти или не прияти нового епископа... Как кто присоветует?

Помолчали немного. Мать Полихрония, Малиновского скита игуменя, первая разрешила молчание.

— А кто таков тот нарицаемый архиепископ Антоний? — спросила она у Василия Борисыча. — Поведай нам о жизни его с самого рождения.

— Рождение имел от старообрядцев, — отвечал Василий Борисыч, — и крещение имеет правильное.

— Не одни правоверные старообрядцами зовутся, — сказала на то мать Полихрония. — Есть старообрядцы-покрещеванцы, священства не приемлющие, есть старообрядцы, от великороссийской церкви таинства приемлющие, каковы спасова согласия, есть и иные.

— Бывал прежде в Федосеевском согласии, — нехотя ответил Василий Борисыч.

— И казначеем на Преображенском кладбище бывал? — спросила Полихрония.

— Так точно, — потупя глаза, сказал Василий Борисыч.

— А давно ль из беспоповской ереси в ограду правыя церкви вошел?.. Задолго ль до принятия епископского чина присоединился?.. — спросила Полихрония.

Смутила она Василья Борисыча. «Ох, искушение!» — шептал он и, собравшись с духом, сказал:

— Неза́долго.

— Пишут нам, только за́ год, — проговорила Полихрония. — Вот у меня о том памятка.

И, вынув записку, стала читать:

— «Февруария десятого, се́дьмь тысяч триста шестидесятого года, на память святого священномученика

Харалампия, Антоний, инок из беспоповцев, вновь законным чином пострижен бысть в совершенного инока. Октября первого седьмь тысяч триста шестьдесят первого года, на праздник Покрова Пресвятыя Богородицы, митрополитом Кириллом поставлен во диаконы. Декабря шестого того же года, на память иже во святых отца нашего Николы Мир Ликийского чудотворца, тем же митрополитом Кириллом произведен во священники. Третьяго февруария того же года, на память святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны пророчицы, тем же митрополитом Кириллом произведен во архиепископа владимирского и всея России».

— Верна ль моя памятка, Василий Борисыч? — спросила Полихрония.

— Все так точно, — ответил Василий Борисыч.

— А что́ на этот счет гласят правила апостольские, первого собора, и Лаодикийского, и седьмого вселенского собора? — спросила Полихрония.

Василий Борисыч только под нос молвил себе: «Ох, искушение!»

— По тем правилам, — не дождавшись ответа, продолжала Полихрония, — от язычников, рекше и от зловерных, недавно пришедшего в скором времени несть праведно производить во епископы, да не возгордевся в сеть впадет диаволу... А сей Антоний без единыя седмицы токмо год пребывал во благочестии... Притом же по тем правилам во епископы такие люди поставляемы быть должны, которые с давнего времени испытаны в слове вере и в житии, сообразном правому слову. Так ли?

— Так точно, — должен был признаться Василий Борисыч.

— Теперь скажи нам, правильно ли было поставление Антония? — спросила Полихрония, окинув торжественным взором собрание. — Достоит ли прияти его епископом?

Озадаченный Василий Борисыч не вдруг ответил. «Ох, искушение!» — говорил он про себя, пощипывая бородку. Однако нашелся.

— Зачем же ты, матушка, не все апостольско-то правило вычитала? — тихо и скромно он молвил. — Тебе бы уж все прочитать... Там хотя и сказано, что не подобает неиспытанному в вере учителем других быть, однако ж прибавлено: «Разве токмо по благодати Божией сие устроится...» А благодать, матушка, по сто

двадцать пятому правилу Карфагенского, не токмо подает знание, что подобает творити, но и любовь в человека вдыхает да возможет исполнити то, что познает. Так и господин митрополит... Он при своем поставлении получил Божественную благодать, яже всегда немощная исцеляющи недостаточная исполняющи, и по сей благодати мог назначить Антония архиепископом, мог по любви и исполнить то, что познал, сиречь возвести познанного в чин епископский...

Высказав такое хитросплетение, которого ни сам и никто из бывших в келарне хорошенько не поняли, и видя замолкшую совопросницу, Василий Борисыч победным взором окинул собрание. Матери друг с дружкой шептались.

Но Полихрония, немного помедлив, вынула из кармана другую записочку и сказала:

— А вот мне другую прописочку насчет этих делов зарубежные благодетели прислали. Что на нее скажешь?.. Когда поставили Антония, в то самое время купец один из Одессы привез в Белу Криницу мещанина Семена Антипыча Говядина, в иночестве отец Спиридоний. И на шестой день по поставлении Антония митрополит Кирилл произвел того Спиридония во диаконы, потом через день во пресвиторы, а наутре семнадцатого февраля, во вторник недели о блудном сыне, на память святого великомученика Феодора Тироца, совершил его епископом града Новозыбкова, таково поспешно произведя через все священные степени... А через шесть токмо дней по поставлении от всякого священнодействия запретил, понеже при вступлении во священный сан тот Спиридоний утаил, что был в Малиноостровском монастыре¹ иноком у единоверцев и тамо, отрекшись древлего благочестия, волею давал никонианам подписку в отступлении от православия. И за то по суду низложен и, яко недостойный, всякого священнодействия лишен... Правду ль я прочитала, Василий Борисыч?..

— Ну так что же? Ошибка была, больше ничего, — сильно смутившись, ответил московский посланник.

— Благодать не ошибается, Василий Борисыч, — сказала на то Полихрония. — А если тут ошибка была, так не было ли ошибки и за шесть дней до того, когда поставляли Антония?

¹ Черниговской губернии.

Искусно после того поворотил Василий Борисыч рассуждения матерей на то, еретики ли беспоповцы или токмо в душепагубном мудровании пребывают... Пошел спор по всей келарне. Забыли про Антония, забыли и про московское послание. Больше часа проспорили, во всех книгах справлялись, книг с десятков еще из кладовой притащили, но никак не могли решить, еретики или нет беспоповцы. А Василий Борисыч сидит себе да помалчивает и чуть-чуть ухмыляется, сам про себя думая: «Вот какую косточку бросил я им».

Охрипли матери, которые были позадорнее, устали все до единой. Во время шумного, горячего спора келейниц Манефа воспретила Иосифу их унимать. Знала, каковы бывают споры скитские, знала, что надо дать время д^осыта накричаться соборующим, и, когда утомятся, тогда только приниматься за настоящее дело.

Смолкли крикливые споры. Изредка, ровно остаток пронесшейся бури, забурчит иная старица на несогласную с нею соседку. Тогда Манефа приказала чухломскому дворянину ударить в кандию. Когда смолкли все, сказала она:

— Подобаает нам, отцы, матери, общим советом решить, принять или не принимать священников, коих поставит новый архиепископ. Изверженного ныне Софрония попов в неких обителях принимали, во иные же не прияли. На чем же теперь утвердимся? Немало думала я о таком великом деле, немало и с матерями советовалась. Надлежащая нужда утолити душевный глад и конечное оскудение бегствующего священства указывает нам прияти священство, тем архиепископом поставленное, да не впадем в душепагубное беспоповство, сомнения же, многих обуревающие, насчет правильности новоявленной иерархии и насчет поспешного поставления архиепископа владимирского опасения возбуждают, да не погубим и поспешностью души своя. Так ли говорю, отцы, матери?

— Так точно, так точно!.. Истинны слова твои, матушка!.. — закричали все бывшие в келарне, кроме одного Василья Борисыча. С досады теребил он бородку и говорил про себя: «Ох, искушение!»

— И потому вот каков совет мой, отцы, матери, — продолжала Манефа. — Обождем некое время... Посмотрим, каково новопоставленный архиепископ поведет себя, испытует подробно и насчет правильности

самого начала зарубежной митрополии, сами пошлем верных людей в греки, чтоб совершенно испытать, каков чин у них соблюдается при крещении младенцев. И тогда, ежели все окажется в пользу того, что нам московские христиане с любовью предлагают, примем и мы поставленных владимирским архиепископом попов. Если же узнаем достоверно, что источник зарубежной митрополии нечист или что тот архиепископ недостойн принятого им чина, тогда станем слезно молиться милостивому Спасу: сам да спасает нас, сам да научит, какими путями спасать наши души... А до того времени общения с московскими христианами не разрывать и находиться с ними по-прежнему в любви и согласии, также и прочих городов с нашими христианами, которые примут Антония, пребывать в единении... Вот мои мысли, отцы, матери... Что скажете, какое положите решение?

Все в один голос согласились с Манефой, и все славили мудрое ее решение... Василий Борисыч недоволен остался... И то было ему обидно, что посольство не удалось, и то, что не поверили ему на слово о крещении в греках.

— Другое желаю еще предложить вам, отцы, матери, — сказала Манефа. — Великие беды угрожают нашему обстоянию. Грех ради наших презельная буря хочет погубить жительство наше и всех нас распудить, яко овец, пастыря неимущих. Получила я письма от благодетелей из Питера, извещают: начальство-де хочет все наши скиты разорить... И тому делу не миновать. И быть разорению вскоре, в нынешнем же году.

Оханья и глубокие воздыханья раздались по келарне. Иные матери зарыдали, две либо три причитать зачали.

— И к нам о том же пишут, — сказала Маргарита оленевская.

— И мы имеем горестное известие! — воскликнула мать Юдифа улангурская.

— И нам известно налегающее горе!.. И мы письма получили!.. И мы слышали!.. — заговорили разных скитов игумены. Одна Августа шарпанская молчала, ровно дело до нее не касалось.

— От самых достоверных людей наша казначея, матушка Таифа, узнала, что у нас такая же выгонка будет, как на Иргизе была, — продолжала Манефа. —

Кои приписаны к скитам по ревизии, те останутся, а кои не приписаны, тех по своим местам разошлют, а из тех мест им по самую кончину не будет ни выхода, ни выезду. А кельи и что есть в них какого имущества позволят нам с собой перевезть... А часовни и моленные нарушат...

Новые вздохи, новые сетованья... Плач и рыданья слышнее...

— И вот вздумала я предложить вам, отцы, матери, на соборное обсуждение: как поступить при таких обстоятельствах?

— Матушка Манефа!.. Матушка Маргарита!.. Матушка Юдифа!.. Вы люди сильные, могучие, у вас в Питере великие благодетели, а мы бедные, убогие, никто нас не знает, и мы никого не знаем, — завопила крохотная старушка мать Агния, игуменья небогатого скита Крутовражского. — Отпишите скорей ко своим благодетелям. Они все высшее начальство знают, в дружбе с ним, в совете... Отпишите им, матушки, пособили бы нам, умилиствовали бы начальство-то.

О том же молили Прудовские, Ворошиловские, Федосеевские и Быстренские, о том же молили игуменьи и старицы бедных обителей Каменного Врѣжка: Напольные, Заречные, Рѣссохины, Салоникиины. И, встав с мест, припадали к ногам Манефы, Маргариты и Юдифы.

— Полноте, полноте матери!.. Полноте, перестаньте. Вам ли нам кланяться?.. Мы с вами во едином чину!.. — громким голосом сказала Манефа. — Неужто думаете, что мы об этом прежде не подумали?.. Все сделано, матери, обо всем было писано, и на все наши письма один ответ, что никак обителей наших отстоять невозможно. Строгий-престрогий вышел указ, никакие вельможи переделать его не могут... Если б хоть малая какая надежда была, стали бы разве мы беспокоить вас, стали бы разве вас в слезы вводить? ...Кончается, отцы, матери, житие наше пространное, предлежит путь тесный и всяких лишений исполненный...

— Матушка Евтропия, у вас грамота царицы Екатерины в обители находится, что дана была старцу Игнатию. По той жалованной царской грамоте всем, дескать, нашим скитам до веку стоять нерушимо, — молила Быстренского скита игуменья, дебелая, пухлая старица с багровым лицом и с черными усиками, мать Харити-

на. — Представьте ее по начальству, сотворите нас беспечальны.

— Нет никакой у нас грамоты, — горько вздохнула Евтропия. — Если и была, видно, в пожар погорела.

— У нас, матушка, в Анфисиной обители, сказывают есть нерушимая грамота от лет царя Алексея Михайловича, — сказала Ворошиловского скита игуменья, длинная как коломенская верста, мать Христодула, матери Маргарите Оленевской. — Ваша-то первая игуменья из роду Колычовых была, сродница по плоти святителю Филиппу митрополиту. Ей великий государь даровал, слышь, нерушимую грамоту.

— Нет у нас грамоты, — ответила Маргарита. — После матушки Анфисы Колычовой только и осталось, что иконы храмовые да рукописные святцы, а рука в них святителя Филиппа.

— Матушка Таисея, — обратилась игуменья обители Заречных на Каменном Вражке, толстая, подслеповатая мать Феоктиста, к игуменье обители Бояркиных, — у вас после княжны Болховской не осталось ли каких записей?

— Если и были, все до нас пригорели, — ответила мать Таисея. — Да едва ли и были, княжна-то сама под опалой была.

— Господи! где ж искать нам помощи? — вскрикнула Быстренская и залилась горькими слезами.

— Чему быть, тому не миновать, — молвила Манефа. — Не то что наши лесные обители, крепкие города рассыпаются, как песок морской, если есть на то воля Господа... А тут видима святая воля его, потому что сердце царево в руке божией... Значит, Господу угодно пременить житие наше, если царь решил нашим скитам больше не быть... Плакаться на волю Господню не след... Великий грех!.. И что можем сделать в нашем деле?.. Когда плотину прорвет, перстом ее не заткнешь... И потому, отцы, матери, не время нам плакаться; надо подумать, как лучше встретить беду неизбежную, как лучше устроиться на новом нашем положении.

— Ох, матушка! В таком горе будь семи пядей во лбу, ничего полезного не выдумаешь... Погибать так уж, видно, погибать, — зарыдала мать Есфирь, игуменья Напольной обители.

— Ложись да помирай, вот и все!.. — со слезами

подтвердила игуменья бедного скита Кошелевского, приземистая, тучная, вечно с подвязанными зубами, мать Сосипатра.

— Когда большим кораблям немоготу сѹпротив водного стремления плыти, куда уж нам, мелким лодочкам?.. Тони, да и все тут... — промолвила мать Улия, игуменья бедной обители Салоникииных.

— И откуда на нас такое напастование? — задыхаясь на каждом слове, заговорила тучная мать Фелицата оленевская. — Что мы кому сделали?.. Чем помешали кому?.. Жили, кажись, потихоньку, никого не обидели... Что за строгости такие пошли?

— Клеветы какие-нибудь! — заметила Маргарита оленевская. — Обнес кто-нибудь по злобе пред вышшим начальством. Матушка Феозва, ты в законах сильна, научи уму-разуму, нельзя ли просьбицу какую подать, чтоб избыть нам того разоренья?

— Нет, матушка Маргарита, нет, — отвечала опытная во всяких делах, в самый сенат писавшая просьбу Феозва, — Не такое дело, никакими просьбами тут не пособишь. Царско уложение что божье веленье — сѹпротив его не пойдешь... Терпеть надо, матушка, терпеть! На то власть Создателя! Господь сам терпел и нам повелел...

— От верных людей я слышала, что насылка прежде всего будет в Оленево, — начала Манефа. — Сборщиц чьих-то оленевских на Дону взяли, сборные книги забрали у них... В тех книгах переписаны все Оленевские обители... А начальству ведомо, что Оленев много лет после воспрещенья ставить новы обители весь почти погорел. И стало подозрительно, нет ли из прописанных в тех книжках обителей против закона построенных... от того и пойдут спервоначалу розыски в Оленеве, и которые обители явятся ставлены после воспрещенья, те тотчас нарушат, а после того по всему Керженцу и по всей Черной Рамени станут разыскивать, нет ли где новостроенных обителей... И если найдут хоть одну новую обитель, тогда всем объявят решение, каково было в Иргизе. А еще, матушка Августа, — прибавила Манефа, обращаясь к шарпанской игуменье, — верные известия получила я из Питера, что собираются у тебя Казанску владычицу отобрать...

— Это они ради того, что, видно, узнали о чудеси, бывшем от той иконы иноку Арсению, — чуть слышно

слабым голосом проговорила сидевшая возле Манефы и, молчавшая дотолѣ дряхлая мать Клеопатра Ерахтурка. Провѣдали нечестивые, что глас от той иконы бысть: «Дотолѣ древлеѣе благочестіе будетъ сиять на Керженце, яко светило, пока сія икона не будетъ внесена в смущенную никонианскую церковь»... Не повѣрю никому, что наши скиты разорить могли. А возьмут из Шарпана владычицу, тогда, по слову Писанія, жди разоренья... Какъ же не сбыться чуднѣму тому провещанію?

— Тебѣ бы, матушка Августа, до поры до времени владычицу-то куда-нибудь в надежное мѣсто отправить, — молвила Фелицата оленевская. — В Москву бы, что ли, свезла... Дѣло общее, до всехъ доводится... Ради всеобщаго спокойя пошли-ка ты еѣ подальше куда, икону-то... Возьмут в великороссійскую... всемъ беда, всемъ разоренье.

— Вечор от Таифушки письмо получила я, — сказала Манефа. — Пишетъ, что в Москвѣ и Гусевы, и Мартыновы, и другіе значительные наши христіане с радостію готовы принять на опасное время сіе многоценное сокровище. И мой бы советъ тебѣ, матушка Августа, отвезти владычицу поскорѣе в Москву...

Не успѣла Манефа кончить, какъ все старцы, игуменьи и старицы приступили къ Августѣ и в одинъ голосъ стали умолять еѣ увезти икону в Москву какъ можно скорѣе.

— Ни на единый часъ не изнесу еѣ из моленной, — тихо, но с твердой рѣшимостію сказала мать Августа. — Больше ста семидесяти годовъ стоитъ она на одномъ мѣстѣ. Ни при старыхъ матеряхъ, ни при мнѣ еѣ не трогивали, опричь пожарнаго случая. Не порушу заветѣ первоначальника шарпанскаго отца Арсенія. Онъ заповѣдалъ не износить иконы из храма ни подъ какимъ видомъ. У насъ на то записъ руки его...

— Да ведь дѣло такое, матушка, — едва переводя духъ от волненія, сказала толстая Фелицата. — Слышала, отобрать хотятъ еѣ у тебѣя?

— Слышала, — спокойно отвѣтила Августа. — Давно слышала... И мы тоже имеемъ благодѣтелей, и къ намъ тоже пишутъ.

— То подумай, мать Августа, — продолжала Фелицата, — чтобъ намъ от твоего упрямства всемъ не погибнуть... Не видишь разве, что общимъ советомъ всехъ скитовъ и обителей соборне приговорили мы вывезти твою

владычицу в надежное место. Значит, ты и должна исполнять общую волю.

— Опричь воли господней, пречистыя его матери и святых отец наших, ничьей воли над собой я не знаю, — с холодным спокойствием ответила Августа и низко склонила голову.

— Да что ж это такое? — одна другой громче заговорили матери. — И себя губит и нас всех хочет погубить!.. Не об одном Шарпане глас бысть старцу Арсению, обо всех скитах Керженских... Не сбережешь нерадением такого сокровища, всем нам пропадать!.. Где это слыхано, собору не покоряться?.. Сколько скиты ни стоят, такого непослушанья никогда не бывало!

Ни слова не ответила Августа. Сидит, опустя голову, молчит, как стена.

И что старицы ни говорили ей, осталась непреклонною. Наконец, сказала:

— Что вы знаете о чудеси, бывшем от иконы владычицу?.. Какой глас бысть старцу Арсению от богородичной иконы?

— Всем известно, какой! — закричала Фелицата: «Возьмут икону из Шарпана, поставят в никонианскую церковь, тогда всем нашим скитам конец...»

— То-то и есть, что не так было сказано, — ответила Августа. — На-ка, матушка Фелицата, прочитай, что пишется в сказании. А сказание-то, сама видишь, древнее, руки самого преподобного старца Арсения.

И, подав Фелицате невеликую рукописную тетрадку, показала ей место.

Стала читать Фелицата:

— «И будучи в тонком сне, слыша Арсений глас отоя святых иконы: «Гряди за мною ничтоже сумняся и, где аз стану, тамо поставь обитель, и пока сия икона моя будет в той обители, дотоле древнее благочестие процветать в ней будет...»

— Так видишь ли, матушка Фелицата, и все вы, честные отцы и матери, — сказала мать Августа. — Про то что всем скитам конец настанет, егда нашу святую икону в никонианскую церковь внесут, ни единым словом в подлинном сказании не помянуто, а сказано: «Пока сия икона моя будет в той обители, дотоле древнее благочестие процветать в ней будет...» Где ж тут общее дело нашли вы?.. С чего же взяли, что от нашей иконы зависит судьба всех скитов и обителей?..

Видите словеса... До нас до одних пророчество, бывшее преподобному Арсению, относится, мы одни и повинны соблюдать сокровище наше яко зеницу ока и отнюдь не выносить его из обители. А придет час воли Божией, возьмут владычицу, восплачем, взрыдаем, но воле божией покоримся безропотно. Сый человеколюбец все ко спасению людей строит ими же знает путями... Не довлеет нам, скудельным сосудам испытывать неисповедимые судьбы его... Буди святая воля его!..

Все изумились, слушая Августу. Сказание из рук в руки переходило, все читали и все удивлялись, что не так в нем сказано, как молва говорила и как все матери сколько лет всем рассказывали.

— Как же это так? — пораженная внезапным удивлением, вполголоса ворчала мать Фелицата. Тщетно обращалась она к привезенным из Оленева помощницам. Ни острая памятью мать Фелонида, ни знаменитая по всему Керженцу начетчица мать Севастьяна не могли, как прежде зачастую бывало, выручить задорную, споры любившую игуменью свою... Молча глядели они в старинную тетрадь и, не видя слов пророческих, тихо качали головами и думали про себя, не новое ль чудо содеялось, не действием ли каким сокровенным исчезли из сказанья известные всем словеса.

Все в один голос решили: не износить матери Августе из своего скита чудотворной иконы.

И когда речи о Шарпанской Богородице были покончены, Августа всех бывших на собрание звала на праздник Казанской к ней в Шарпан, чтоб там соборне отпеть перед тою иконой молебный канон о сохранении в безмятежном мире обителей Керженских и Чернораменских. И все согласились, даже мать Фелицата, не любившая строгую подвижную Августу.

После того еще многое время длился собор матерей... Отцы были тут ни при чем, сидели для счета, всякое дело старицы делали.

Встала с места Манефа, стала советовать, чтоб те, кои к ближнему городку по ревизии приписаны, теперь же перевозили туда кельи и строились там по-обительски... Мало было согласных на то, все надеялись на божью милость, авось-де пронесется мимо грозная туча, авось-де не доживем до «керженской выгонки».

Тут девяностолетняя мать Клеопатра Ерахтурка, сидя на месте, слабым старческим голосом стала увещать

матерей все претерпеть за правую веру, но места святого волей своей не покинуть.

— Все претерпите, — чуть слышно она говорила. — Все примите в весельи и радости: скорби и нужды, жажду и глад, раны и хлад... Божиим судьбам смиренно покоритесь... но волей своей с места святого шагу ступить не можете!.. И егда объявят нам царский указ, будьте безмолвны, но вон из скитов не идите... Ни муки земные, ни страх лютой смерти да не возмогут отлучить вас от места святого... Вспомните, сколь великий блистающий полк преподобных здесь пребывал в твердом храненье древних уставов!.. Вспомните, сколь много молитв с сих мест вознеслось к престолу царя небесного!.. Теми молитвами место святится... Кто дерзнет малодушия ради покинуть его?

— Что же делать нам, матушка?.. Что же делать в таком обстоянье? — говорили ей матери.

Древнюю старицу те слова не смутили. Вспыхнули жизнью потухшие очи, бледным румянцем покрылись впалые щеки, стрелой выпрямился согбенный под бременем старости стан Клеопатры, встала она и, высоко подняв костлявую руку с двуперстным крестом, дрожавшим голосом покрыла все голоса:

— Вспомнать бы вам, отцы, матери, вспомнать вам лета древние и старых преподобных отец!.. Почитать бы вам письма Аввакума священномученика, иже самим волком Никоном мужески брань сотворил... Вельми похваляет он самовольное сожжение за Христа и за древнее благочестие... Сам сый в Пустозерске сожженный благословляет он великим благословением себя и обители свои сожигать, да не будем яты врагом нечестивым!.. Тако глаголет: «Блажен извол сей о Господе!.. Самовольнии мученицы Христови!..»

— Как же это, матушка? — там и сям слышались тревожные голоса матерей. Устрашила их речь Клеопатры Ерахтурки.

— Видя налегающую силу злого нечестия, — продолжала древняя старица, — по многим местам христиане огню себя предавали, из пламени со ангелы в небеса к самому Христу восходили... Недалеко от нас, от Улангера, всем ведомо достопоклоняемое место, иде же преподобный Варлаам со ученики огненной смерти сам себя предал... И его, как нас теперь, хотели места святого лишить... Не восхотел блаженный покориться,

не восхотел изыти из келии, огнем венчался... Поревнуйте, отцы, матери, доблему сему Варлааму!.. Паче прежнего освятите места сии пеплом своим!.. Внидите огненным путем в райские светлицы!.. Сожегши грешные тела, водворите праведные души своя во обителях Бога вышнего, от начала веков любящим его уготованных!..

Жестоко было слово Клеопатры Ерахтурки. Согласных не нашлось. Кому охота заживо жариться?.. Но никто не смел прекословить: очень уж велика была ревность древней старицы. Только тихий шепот, чуть слышный ропот волной по собору промчался.

— Не заградит маловерие ваше уста моя!.. Пою Богу, дондеже есмь!.. — громким голосом вскричала Клеопатра и огненным взором обвела собрание.

И все меж собой тревожно переглянулись, и у всех на устах замерли крылатые речи.

— Чего страшитесь? — продолжала Клеопатра. — О несмысленные!.. Обуяли вас прелести многомятежного мира!.. Огня ли временного страшитесь, о вечном пламени не помышляя?.. Не убойтесь!.. Земную муку претерпевши, свстовидных венцов в небесах удостоитесь... Дерзайте во славу Божию, не устрашайтесь!.. Временный огонь токмо греховное тело разрушает, душу же от вечного пламени спасает!.. Телесную муку не долго терпеть!.. Миг един, и ангелы души ваши к самому Христу вознесут... Дерзайте убо, правовернии!.. Поревнуйте древним отцам-страстотерпцам!.. Тем посрамите врага видимого, тем победите и врага невидимого, иже есть человекоубийца искони!..

Никто ни слова, ровно все умерли. Нет отказа, нет и согласия.

И смолкла Клеопатра Ерахтурка, тихо опустила на место и, накрыв глаза креповой наметкой, низко склонила древнюю голову.

Стало темнеть, когда разошелся собор. Ничем он не кончился, ни по единой статье ничего не решили.

Глава девятая

А за Каменным Вражком, средь укромных пролесков, на зеленом лугу, той порой красны девицы свой собор учинили. Вздумалось им в вечерней прохладе

походить, погулять, позабавиться. Не стоя белых лебедей по синему морю выплывает, не стадо величавых пав по чисту полю выступает: чинно, степенно, пара за парой, идет вереница красавиц. Фленушка об руку с Анной Сергеевной всех впереди. Следом за ней, рядом с Парашей идет Смолокурова Дуня. Всех богаче одеты они: в шелковых косоклинных саянах¹, в белоснежных батистовых сорочках, в кисейных рукавах с кружевами, на шее жемчуга, алмазные серьги в ушах. Но белей и свежей кисеи и батиста миловидное личико Дуни, самокатного жемчуга краше перловые зубы, камней самоцветных светлее синие очи... За ними идут оленевские и улангерские гости, Марья головщица, богоданная дочка Чапуриных Аграфена Петровна и не знавшая еще о скорой поездке в Казань пылкая, ревнивая Устинья Московка... За ними Аксинья Захаровна с женой головы и с довольной удавшимся на славу обедом славной заволжской поварихой Дарьей Никитишной. Мужчин никого. Скитских матерей тоже с девицами нет.

Не только игры либо песен, громкого смеха не слышно. Затеилица всяких проказ, шаловливая Фленушка тихо, медленно шла, глаза опустив, чуть не схимницей смотрит она. Нельзя разгуляться, нельзя распотешиться: Аксинья Захаровна тут и жена головы. Но больше всего резвым затеям ее Аграфена Петровна мешала. Всегда живая, веселая, довольная, ничем невозмутимая, всюду вносила она тихую радость и чинный порядок, малейшее нарушение пристойности было на глазах ее невозможно. Никто б не вынес кроткого взгляда ее и немного укора.

Разостлали платки по росистой лужайке, сели в кружок. Марьюшка с Устиньей Московкой подали Фленушке большие узлы, и стала она подруг оделять городецкими пряниками, московскими леденцами, финиками, орехами, изюмом, винными ягодами. Появились кузовки с сочной благовонной земляникой и темно-сизой черникой. Весело, как весенние птички, щебечут девицы, сидят со сладостями, и под призором Аксиньи Захаровны да жены Михаила Васильича коро-

¹ Косоклинный — широкий в подоле, с перехватом в стане. Саян — распашной сарафан (сарафанчик-растегайчик) на застежках спереди, от пояса до подола.

тают тихий вечер в скромной, чинной беседе. Про об-
новы промеж себя говорят, про вышиванья и другие
работы... Нет разговоров затейных.

Темным покровом ночная мгла над землей разо-
стлалась, по закроям небесного свода зарницы зорят.
Переливчатым блеском сверкают частые звезды: горят
Стожары¹, широко над севером раскинулся ярко мер-
цающий Воз², белыми прогалинами с края до края не-
бес сияет Моисеева дорога. Пали на землю жемчуж-
ные рёсы, пыль прилегла, с болот холодком потянуло.
Только тогда воротились в обитель с пролесья девицы.
Невесть как досадно Фленушке было, что ей неудача
такая пришла — нельзя разгуляться, нельзя раскура-
житься. Молча, брови нахмурив, она возвращалась
домой.

Клял судьбу свою Василий Борисыч. Там на лужай-
ке целая дюжина девиц собралась одна другой краше...
Там Смолокурова Дуня; урывкой только взглянуть ему
удалось на нее, когда за часами в часовне стояли... Си-
дя в почетном конце за столом, видя сонм матерей пе-
ред собою, о пролесье на всполье все думал москов-
ский посол: «Туда бы на вольный простор, туда бы к
красавицам в круг!.. На их красоту любоваться, от них
бы слушать сладкие речи!.. А тут сиди, как гвоздь в
стене, тронуться с места не смей, слушай, как черные
галицы переливают из пустого в порожнее!..»

Память о женской красоте смутила рогожского по-
сла, оттого и речи его на соборе были нескладны. По-
смотреть бы московским столпам на надежду свою,
поглядеть бы на витию, что всех умел убеждать, всех
заставлял с собой соглашаться!.. Кто знает?.. Не будь в
Комарове такого съезда девиц светлооких, на Кержен-
це, пожалуй, и признали б духовную власть владыки
Антония...

Только что зачал собор расходиться, Василий Бори-
сыч торопко вон из келарни... Хочет бежать по знако-
мой тропе за Каменный Вражек, но тут на беду на-
ткнулся. Только сравнялся с домиком Марьи Гаврилов-
ны, видит — в шелковой красной рубахе сидит у окна
развеселый Чапурин.

— Эй! Василий Борисыч! — окликнул его. — Что,

¹ Плеяды.

² Большая Медведица.

накалякался там с матерями?.. Пооди, чай, во рту пересмякло... Шагай к нам, мы тебе горло-то смочим...

— Ох, искушение! — молвил под нос себе Василий Борисыч... Нечего делать, надобно на зов идти, не судьба в Петров день на девиц любоваться.

В горницах Марьи Гавриловны шумно идет пированье. Кипит самовар, по столам и по окнам с пуншем стаканы стоят. Патап Максимыч с Смолокуровым, удельный голова с кумом Иваном Григорьичем, купцы, что из города в гости к Манефе приехали, пароходчик из Городца частенько усы в тех стаканах помачивают... Так справляют они древнюю, но забытую братчину-петровщину на том самом месте, где скитская обрядность ее вконец загубила, самую память об ней разнесла, как ветер осенний сухую листву разносит...

Был в той беседе и Самоквасов с нареченным приказчиком. Был он в тот день именинник и накануне нарочно посылал работника в город захватить там побольше «холодненького»¹.

Белый день идет к вечеру, честной пир идет наве-селе. На приволье, в радости, гости прохлаждаются, за стаканами меж собой беседу ведут... Больше всех говорит, каждым словом смешит подгулявший маленько Чапурин. Речи любимые, разговоры забавные про житье-бытье скитское, про дела черниц молодых, белиц удалых, про ихних дружков-полюбовников. Задушевным смехом, веселым хохотом беседа каждый рассказ его покрывает.

Пированье было в полном разгаре, когда стал расходиться собор. Завидел Патап Максимыч московского посланника, зовет его на беседу.

Вошел Василий Борисыч, Богу помолился, беседе поклонился, сел за стол возле самого Патапа Максимыча.

— Ну что? — спросил его Смолокуров. — Что уложили, на чем порешили?

— Да, можно сказать, ничем, — с досадой ответил Василий Борисыч. — Какой это собор?.. Просто содом. Толков много, а толку в заводах нет.

¹ Холодненьким в купеческих беседах зовется шампанское и вообще шипучее вино.

— Ха-ха-ха-ха!.. — так и покатился со смеху Патап Максимыч. — О чем же толковали матери келейницы, сухопары сидидомницы?

— Одна врала, другая не разобрала, третья все переврала, вот и весь тут собор, — с пущей досадой промолвил Василий Борисыч.

— Дело твое, значит, не выгорело? — усмехнувшись, спросил его Патап Максимыч.

— Да разве можно с этим народом какое ни на есть дело сделать? — сказал московский посланник. — О чем ни зачни, ни ползет, ни лезет, ни вон не идет.

— Еще бы! — одобрительно кивнул головой Патап Максимыч. — Захотел у бабья толку. Скорей от козла молока, чем толку от бабы дожدهшься... Да ты, Васенька, не горюй, не печалься!.. На-ка вот лучше выпей!.. Я так рад, что тебе неудача... Значит, в Москву теперь глаз не кажи...

— Ох, уж не говорите, Патап Максимыч!.. — почесывая затылок, молвил Василий Борисыч. — Хоть живой в гроб ложись, — вот каково мне приходится.

— Зачем до смерти в гроб ложиться? — сказал Патап Максимыч. — Ты вот что, наплюй на Москву-то, не ездй туда... Чего не видал?.. Оставайся лучше у нас, зачнем поскорей на Горах дела делать... Помнишь, про что говорили?

— Уж, право, не знаю, что и сказать вам, — в досаде, взволнованным голосом молвил Василий Борисыч. — Вот уж впрямь, что ни вон, ни в избу, ни со двора, ни на двор. Поневоле затылок зачешешь.

— Нечего раздумывать, не о чем кручиниться, — весело молвил Чапурин. — Говорил я тебе, желаючи добра, советовал: плюнь на эти пустошные дела, развяжись с архиереями да с келейницами... Какого проку нашел в них?.. С твоим ли разумом, с твоим ли умением валандаться в этих делах?.. Эх, зажили б мы с тобой!.. Ты еще не знаешь, что на ум мне пришло!..

— Ох, искушение! — глубоко вздохнул Василий Борисыч.

— Опять заводит свое «искушенье»! — с досадой промолвил Чапурин. — Эх оно у тебя к языку-то крепко прилипло... А ты перво-наперво пей!..

И подал ему стакан пуншу.

— Нет, уж увольте меня, Патап Максимыч, — сказал Василий Борисыч, отодвигая стакан.

— Нет, брат, шалишь! У нас так не водится, — отозвался Чапурин. — Попал в стаю, так лай не лай, а хвостом вилай; попал в хмельную беседу, пей не пей, а вино в горло лей... Слышал?

— Ох, искушение! — робко промолвил Василий Борисыч, а сам озирается, нельзя ли куда подобру-поздорову дать стрекача.

— Пей же, говорят!.. Пей, других не задерживай!.. — крикнул Патап Максимыч.

— Да мне от этого стакана с места не подняться, — молящим голосом проговорил московский посол.

— Врешь!.. Это бывает после девятого, — со смехом сказал Патап Максимыч. — Аль не знаешь счету чарам похмельным?.. Знаешь, что ли?

— Нет, не знаю, — ответил Василий Борисыч.

— А еще славят, что всю старину как собаку съел, — вскрикнул Чапурин. — Слушай, что деды-прадеды наши говаривали: первую пить — здраву быть, вторую пить — ум веселить, утратить — ум устроить, четвертую пить — искусну быть, пятую пить — пьяным быть, чара шестая — пойдет мысль иная, седьмую пить — безумну быть, к осьмой приплести — рук не отвести, за девятую приняться — с места не подняться, а выпить чарок с десять — так тут тебя и взбесит.

Дружно все захохотали, и Василий Борисыч волей-неволей опорожнил стакан.

— Послушай-ка, что я скажу тебе, — молвил Патап Максимыч, подсев к нему рядом. — Помнишь, как мы с тобой уговаривались? Сроку месяц еще остается, а теперь тянуть, кажется, нечего? Решай теперь же, да и все тут... Плюнь на попов, на дьяков и на всех твоих архиереев...

— Нельзя, Патап Максимыч, — ответил Василий Борисыч. — Как же, не отдавши отчета, дело я брошу. У меня не одна на руках эта порученность, деньги тоже дадены. Как же мне отчета не сдать? Сами посудите!

— Ин вот что, — подхватил Патап Максимыч. — Завтра ж в Москву отправляйся. Развяжись там скорее с доверителями, да тотчас ворочай оглобли назад... То-то запируем!.. Ты не знаешь еще, что я вздумал!.. Больно уж ты полюбился мне!..

— Так скоро нельзя, — ответил Василий Борисыч. У меня еще здесь по скитам кой-какие дела не управлены; надо их покончить.

— Сказано: наплюй! — сгоряча крикнул Чапурин, хватив по столу увесистым кулаком. — Какие еще тут дела!.. Вздор один, пустяки!

Смолк Василий Борисыч, а сам про себя подумывает: «Ничего не видя, ровно медведь на дыбах заревел; что ж будет, как про все он узнает?.. Ох, Господи, Господи. Возвратился на страсть, егда унзе ми терн, беззаконие познах и греха моего не покрых!..»

— Ну, об этом мы еще с тобой на досуге потолкуем, а теперь нечего пир-беседу мутить... пей-ка, попей-ка — на дне-то копейка, выпьешь на пять алтын, да и свалишься, ровно мертвый, под тын!.. Эй, други милые, приятели советные: Марко Данилыч, Михайло Васильич, кум, именинник и вся честная беседа! Наливай вина, да и пей до дна!.. Здравствуйте, рюмочки, здорово, стаканчики!.. Ну, разом все!.. Вдруг!..

И дружно выпили все по стакану пунша.

Тут выходил наперед, удалым молодцом становился, перед беседою низко поклонился и такие слова сказал Самоквасов:

— Не обессудьте, господа честные, глупой моей речи не осудите, что млад человек неискусен смеет пред вашим лицом говорить.

— Что ж за речь твоя будет? — опершись ладонью на стол и немного набок склонясь, с довольной улыбкой спросил у него Патап Максимыч.

— Так как я сегодня, значит, именинник, так позвольте «холодненьким» вас угостить, — сказал Петр Степаныч.

— Умные речи приятно и слушать, — молвил Чапурин. — Хоть по старому обычаю в чужой монастырь с своим уставом не входят, а на пир с своим пирогом не вступают, да ради твоих именин можно заповедь ту и нарушить... Потчуй, именнинник, знай только, что этого добра и у нас припасено довольно!

— Эй! — крикнул Петр Степаныч саратовцу. — Тащи кульки, вынимай бутылки, откупоривай!.. Порожните стаканы, честные господа, не во что наливать.

— Ну, видно, нам эту ночь не ночевать, а всю напролет пировать, — сказал Смолокуров, опрастывая свой стакан.

— Что ж? — подхватил Патап Максимыч. — Лишь бы вино со разумом ладило, а то отчего ж не прогулять и до утра?

— Истинно так, — подтвердила беседа, кроме Василья Борисыча.

Когда саратовец розлил «холодненькое», Самоквасов собеседникам каждому порознь поклонился и каждого просил выпить за его здоровье. Хотели было попросту поздравить именинника, Патап Максимыч не допустил.

— Стой! — крикнул он. — Не так! Здравствовать по старине!.. Как деды пивали, как прадеды певали, так и нам пить да петь!.. Чарочку!..

И грянула во святой обители старинная застольная песнь величальная:

Чарочка моя
Серебряная,
На золотом блюде
Поставленная!
Кому чару пить,
Кому выпивать?
Пить чару —
Свету ли Петру,
Выпивать —
Степановичу!
На здоровье, на здоровье!
На здоровье, на здоровье!..

— Крестились по кельям матери, слыша соромную песню в стенах монастырских. Иные шептали псалом «Живы в помощи вышнего!..»

Именинник выпил стакан свой. Громче прежнего грянула песня:

Еще дай Боже, еще дай Боже!
Еще дай Боже, еще дай Боже!
Здравствovati,
Здравствovati!
Господину, господарю,
Господину, господарю
Нашему,
Нашему!
Дорогому, дорогому,
Дорогому, дорогому,
Имениннику,
Имениннику!
Свет Петру ли, свет Петру ли,
Свет Петру ли, свет Петру ли
Степановичу,
Степановичу!
Еще дай Боже, еще дай Боже!
Еще дай Боже, еще дай Боже!
Многая, многая,
Многая лета!
Многая лета!

И, пропев, в пояс кланялись все имениннику, целовали его по трижды в уста, и выпив вино, опрокидывали пустые стаканы на макушках. Патап Максимыч свой стакан грянул оземь. За ним вся беседа.

— Эй, кто там? — зычным голосом крикнул Чапурин. — Беги к Манефе за стаканами да молви ей, спасеннице: «Гости, мол, пьют да посуду бьют, а кому-де то не мило, того мы и в рыло!..» Больше бы посуды присылала — рука, мол у братца расходилась!.. Знай наших, понимай своих!..

Новую посуду принесли, и с добрым запасом ее принесли. Знала Манефа привычки Патапа Максимыча, когда с приятелями отвести он душу весельем захочет.

Снова саратовец наполнил шампанским стаканы. Патапу Максимычу «Чарочку» беседа запела. Пели и здравствовали Марку Данилычу, Михайле Васильичу, Ивану Григорьичу и всем гостям по очереди. И за всякого пили и за всякого посуду били, много вина и на пол лили... И не одной дюжины стаканов у Манефы как не бывало.

Разгоралась заря по небу, из-за небесного закроя солнышко стало выглядывать... Патап Максимыч крикнул охмелевшей беседе:

— Шабаш, ребята!.. Допивай последышки!.. Да с песенкой!.. Не с мирской песней, — с обительскою, для того, что пируем в обители.

И громко завел «келейную». И все ему подтянули:

За святыми воротами
Черничка гуляла,
Ай люли, ай люли!
Молода плясала!
Как сказали той черничке,
Что поп Матвей идет,
Ай люли, ай люли!
Что поп Матвей идет!
Черничка так и пляшет,
Молодая так и скачет.
Ай люли, ай люли!
Молодая скачет!
Как сказали той черничке:
Мать игумения идет,
Ай люли, ай люли!
Мать игумения идет!
Черничка испугалась,
Молодая оробела.
Ай люли, ай люли!

Молодая оробела!
Куда ей деваться,
Куда схорониться?
Ай люли, ай люли!
Куда схорониться?
Али удавиться,
Али утопиться?
Ай люли, ай люли!
Али утопиться?

Красное солнышко высоко над лесом поднялось, когда разошлась подгулявшая беседа и в домике Марьи Гавриловны послышался богатырский храп Патапа Максимыча, Ивана Григорьича и удельного головы. Трубным гласом разносился он из растворенных окон по обители.

Так почетные гости Манефины справили летнюю братчину, братчину-петровщину...

Беспокойно и тревожно провели ту ночь матери приезжие и матери обительские. То и дело просыпались они от громкого смеха, от веселых криков и заздравных песен подгулявших «благодетелей». Осеняя себя крестным знамением, читали они третий псалом Давыда царя: «Господи, что ся умножиша стужающие ми?»

Маргарита оленевская да Юдифа улангерская в одной келье с Манефой ночевали и всю ночь глаз не могли сомкнуть...

— Что это у них за содом такой! — ворчала Маргарита. — Эк заревели, оглашенные!.. Ровно стадо медведей!.. Бога не боятся во святой обители столь бесстыдно безобразничать.

— Чего дивить на них, матушка?.. — отозвалась Юдифа. — Люди богатые, а богатому везде простор да своя воля... Убогому — как велят, богатому — как, дескать, сами изволим.

— Что делать, матушки! — с горьким вздохом сказала Манефа. — Таков уж уродился у меня братец родимый! Что ни вздумал, никто не моги поперечить... Расходится — не подходит!..

Глава десятая

Солнце к полдням подымалось, когда Патап Максимыч с Марком Данилычем, с удельным головой и с кумом Иваном Григорьичем в домике Марьи Гавриловны

спали еще непробудным сном... Хорошо справили они в скиту, не по скитскому обычаю, братчину-петровщину.

Наезжие отцы, матери, отстояв часы и отпев молебный канон двенадцати апостолам¹, плотно на дорожку пообедали и потом каждый к своим местам отправились. Остались в Комарове Юдифа улангерская да мать Маргарита оленевская со своими девицами. Хотели до третьего дня погостить у Манефы, но Маргарите того не удалось.

Только что гости долой со двора, из ближнего городка нарочный прискакал. Послан был он Полуехтом Семенычем с присланным по почте письмом для немедленной передачи Манефе. Было письмо из губернского города и было написано на нем: «По самому нужному делу».

После часов и ранней трапезы Манефа, проводив приезжих гостей, сидела за самоваром с матерями Юдифой с Маргаритой, с Аксиной Захаровной, с женой головы Ариной Васильевной и с заводжской поварихой Никитишной. Девицы, а с ними и Аграфена Петровна пили чай в горницах Фленушки. Не успели выпить матери по первой чашке, как приехал тот нарочный. Вошел он в келью, отдал письмо в руки самой Манефы, — так было ему приказано, — получил от нее сколько-то денег и пошел на конный двор обедать. Манефа ушла в боковушу и там наедине прочитала письмо.

Если келейные матери в пору процветанья скитов, посредством таких «благодетелей», как Злобины, Сапожниковы, Зотовы, а после них Громы и Дрябины, могли из самых высших мест узнавать обо всех делах, до них касающихся, немудрено, что у них были проложены торные пути к столам губернских мест, где производились дела о раскольниках. Дарили они за правду, дарили за неправду, кому надо серебрили руки, чтобы помягче писали, кому надо золотом глаза порошили, чтоб кое-чего они не видели... На белом свете, oprичь Бога, ничего нет сильнее туго набитой мошны. Истиник² не угодник, а тоже чудотворец... Выложь денежки, в камне дыру провертят; возьми золотой молоток,

¹ На другой день Петрова дня, 30 июня, празднуется двенадцати апостолам.

² Истиник — наличные деньги, капитал.

и железны ворота он прокует. Не диво, сунув нужно-му человеку барашка в бумажке, его к себе приручить. Золото хоть и веско, а тянет кверху, на воде даже всплывает оно, и где всплывает, там правда тонет. И в грех не ставили матери подкупать нужных людей... По-своему толковали они слова апостола: «Искупующе время яко дние зли суть»¹. Совершенно были они уверены, что в злое, «гонительное время» сам Бог повелевает покупать за деньги милости власть имущих. И покупали... Оттого и жили на полной свободе, в широком просторе, ровно орел в поднебесье, ровно щука в воде.

Письмо было из губернаторской канцелярии. Нужный и осторожный правитель ее через третьи руки уведомлял щедрую Манефу, что для осмотра Оленевских обитателей едет из Петербурга особый чиновник, в генеральском чине, с большими полномочиями, и что к такому человеку апостольских повелений применять нельзя... В конце письма сказано, чтоб страшного гостя ждали на днях.

— Матушка Маргарита! — кликнула Манефа, не выходя из боковуши. — Пожалуй-ка сюда на словечко.

Вошла Маргарита. Манефа подала ей письмо.

— Читай-ка, матушка, — молвила. — Напасти-то какие по грехам нашим!

Пробежав письмо, всплеснула руками Маргарита и вскрикнула. Хоть давно знала, что грозного гостя скитам не миновать; но когда опасность еще далека, она не страшна так, как в то время, когда перед лицом прямо станет... Как громом оглушило Маргариту. Смертная бледность разлилась по лицу, подкосились старые ноги многоумной игуменьи и в бесчувственном изнеможенье тяжело опустилась она на скамейку... На ее крик пришла Юдифа и, узнав, в чем дело, заохала; Аксиныя Захаровна с Ариной Васильевной прибежали, и те навзрыд зарыдали; одна Манефа осталась невозмутимою. Ни слезинки не выронила, не вырвалось из груди ее ни единого восклицания.

— Власть господня!.. — строго и холодно молвила. — Плачем да слезами делу не пособить, себя только расстроить. Лучше на Бога положиться: вóвремя он наказует, вóвремя и милует... Не гневите, родные, Царя небесного ропотом и отчаяньем!.. Грех!..

¹ К Ефесеям, V — 16. В старом переводе: «зли» вместо «лукави».

— Матушка!.. Каково же слышать-то это!.. — голосом безнадежности, заливаясь горькими слезами и ломая руки, воскликнула Маргарита оленевская.

— Весть жданная, давно чаянная, не врасплох нас застала она, — молвила Манефа.

— Так, матушка, так, — проговорила Маргарита, — да ведь все мы знаем, что должны помереть, все смерти чаем, а пока она не предстала, нимало ее не страшимся, а как приспееет смертный час, всяк человек в ужас придет. То же самое и это...

— Все же надо спокойнее быть, — заметила Манефа. — Без малодушия гостя надо встречать, без суеты, без боязни... Твоя-то обитель после пожара ставлена?

— После, матушка, после, — ответила Маргарита.

— Вот совет мой тебе, — сказала Манефа, — поезжай поскорее домой... Хоть не водится отъездом гостей торопить, да дело такое, что медлить тебе не годится, да и мне не след тебя удерживать... Приедешь домой, тотчас святыню, котора в моленной поредкостней, в город вези. Отдай кому знаешь на похраненье. Я б на твоём месте весь деисус¹ вывезла. Хороших писем он у вас, древний... А на место его плохоньких бы образишков наставила. Не замай их печатает. Книги, особенно харатейные да старописьменные, все без остатку в город свели. Псалтыри оставь да часовники, да и то новой единоверческой печати. Пуще всего почаевские переводы² убирай, запретными их почитают. Письма, какие есть, подальше припречь... Кто его знает, может, и обыски делать начнет.

— И впрямь, матушка! Распоряжусь по твоему совету. Время-то есть, — молвила Маргарита. — Сию же минуту поеду, сегодня же за ночь из моленной все выберу, а завтра чуть свет сама к Полуехту Семенычу свезу... За полезный совет благодарю покорно, — прибавила она, низко поклонившись Манефе.

¹ Деисус — ряды икон ярусами, иконостас. В тесном смысле три иконы: Спасителя, Богородицы и Иоанна Предтечи.

² Переводом у старообрядцев называется новая перепечатка богослужебных книг слово в слово, буква в букву со старопечатными московской печати времен первых пяти патриархов. В конце XVIII столетия, за оскудением старопечатных книг, много переводов печаталось в посаде Клинцах (Черниговской губернии) в тайных типографиях. На этих переводах в выходах означалось, будто они печатаны в Почаеве, тогда ещё не принадлежавшем России.

— Поезжай с Богом, матушка, поезжай, — сказала Манефа. — Управляйся с божьей помощью, авось успеешь... И другим матерям посоветуй! Да потише бы дело вели, не огласилось бы. Не то до всего докопаются. Зря станете делать, недолго и сторонних в ответ привести. Не всем советуй, надежным только... Главное дело, было б все шито да крыто... А как Царица небесная поможет тебе управиться, отпиши поподробнее.

В четверть часа собралась Маргарита. Горько было столь поспешно уезжать и Анне Сергеевне и кормившей горячими блинами Василья Борисыча Грушеньке. Но делать нечего, надо проститься с утехами, надобно ехать на плач да на горе.

В горенке у Фленушки самовар на столе. Кругом самовара семь девиц сидит: Дуня Смолокурова, Параша Чапурина, три белицы улангерские, сама Фленушка с Марьюшкой. Идут у них разговоры веселые про житье-бытье обительское, про гулянки с парнями за околицами, про гостей — молодых «благодетелей», — приезжавших в скиты из разных городов. Всех веселей, всех речистей была Фленушка. На затейные рассказы — что на всякие проказы ее взять. Что ни скажет, девицы со смеху так и покатыются. Как ни скромна, как ни стыдлива была Авдотья Марковна, и у той от рассказов Фленушкиных нежное личико оживлялось, краска играла на свежих ланитах, и нежная, веселая улыбка с румяных губ не сходила. Как ни вяла, как ни сонлива Параша Чапурина, и та громко хохотала, махая Фленушке платком и приговаривая:

— Да ну тебя!.. Перестань!.. Уморишь!..

Вдруг под общий смех опрометью влетела Устинья Московка. Лицо бледное, головной платок набок, сама растрепанная, глаза красные, слезы в три ручья... С визгом и воплем подбежала к кровати, ринулась на постель и разразилась рыданиями... Все обступили ее, с участием расспрашивали, но, уткнувши голову в подушку, она ничему не внимала... Догадалась Фленушка, с чего Устинья убивается, но не сказала ни слова, хоть не меньше других вокруг нее суетилась.

Через несколько времени отлегло на сердце у канонницы. Подняла она голову, села на постель, мутным взором окинула стоявших девиц и, сложив на коленях руки, стала причитать в истошный голос:

— Каково-то мне горько в сиротстве жить, каково-то

мне жить сиротой беззаступною!.. Натерпеться мне, сироте, всякой всячины: и холоду, и голоду, и горя-обиды великия!.. Зародила ты меня, матушка, на горе, наделила меня участью горькою, что живу-то я, сиротинушка, во злой во неволюшке, со чужими людьми со безжалостными!..

— Да что такое?.. Что такое случилось с тобой? — участливо спрашивали ее девицы улангерские, Параша и Дуня Смолокурова. Не говорили ничего Фленушка с Марьюшкой.

— Посылают меня бедную в Казань на целый год, разлучают с местом любимым! — на тот же голос причитаний громко плакалась Устинья Московка.

— Чего ж убиваться-то? — весело молвила ей быстроногая Дуня улангерская. — Пошли-ка меня матушка Юдифа к хорошим людям на год в каноницы, да я бы, кажется, с радости земли под собой не взвидела, запрыгала б, заплясала, а ты, бесстыдница, выть...

— Хорошо тебе, Авдотьюшка, эдак разговаривать, — жалобно, но с досадой ответила ей Устинья. — Суди Бог того, кто обидел меня!.. Да не обрадуется она горькой обиде моей... Обижена сиротская слеза даром на землю не капает; капнет слеза моя горькая горячей смолой на голову лиходейки-обидчицы!

— Да кто ж обидел тебя? Кого клянешь, на кого жалуешься? — усмехнувшись, спросила Устинью Фленушка.

Досадно ей было, что она нарушила веселую беседу девичью.

— Знаю я, матушка... знаю, Флена Васильевна!.. Все знаю!.. — накинулась на нее Устинья. — Меня, сударыня, не проведешь. Сердце-то вещун: чувствует, от кого добро, от кого худо, — продолжала она, злобно косясь на Парашу. — Да нет, погоди, прежде времени не радуйся!.. Не на радость будет отъезд мой обидчице!.. Пришла пора и мне свою песенку спеть!.. Доводится и мне провести свою борозду!.. Так-то, сударыня!..

— Да что ты? Очумела аль совсем рассудком рехнулась? — крепко нахмурившись, с сердцем сказала ей Фленушка. — Вбежала, ровно бешена собака, смутила веселую нашу беседу да еще невесть какие слова говорит! Образумься, непутная, уйми свое глупое сердце!..

— Не тебя корят, так ты и молчи, — на всю горницу закричала Устинья Московка. — Знаю я, знаю, кому

понадобилось из обители меня спехом услать!.. Знаю!.. Нечего ухмыляться-то, Прасковья Патаповна!.. Что богатого отца дочь, так думаешь, что перед тобой все молчать должны... Нет, сударыня, не на такую напала!.. Обожжешься!..

А Параша смотрит на нее широко раскрытыми глазами и понять не может, с чего она на нее такой поклеп понесла.

— Что ты, Устиньюшка! — молвила. — Окстись! Ничего я не знаю, не ведаю, ни до каких ваших обительских делов не дохожу...

Вскочила с кровати Устинья, затопала ногами и закричала в истошный голос.

— Узнаешь ты меня, змея подколодная!.. Весь век будешь помнить меня!.. Сейчас же пойду, про все доложу Аксинье Захаровне. Пущай порадуется, пущай полюбуется на свою дочку-скромницу!.. Пущай узнает, какими делами на богомольях она занимается.

Вспыхнула Параша, зарделась как маков цвет. Вспало ей на мысли, что Устинья от кого-нибудь выведала про ночное гулянье в Улангере и о нем грозитя рассказать Аксинье Захаровне. «Что будет тогда? — думает Параша в сильной тревоге. — Пропадать моей головушке! Хоть заживо в гроб ложись!.. Житья не будет, заколотят тятенька с маменькой до полусмерти».

— Что ты? Христос с тобой? — упавшим от страха голосом чуть слышно проговорила она Устинье, и горькие слезы задрожали на ресницах ее.

Дрожа со злости и ревности, выдвинулась вперед Устинья. Еще минута, и осрамила б она Парашу словами, побила бы, может статься, и руками. Фленушка стала меж них.

— Что ты здесь?.. Бунт подымать?.. — строго, холодно, величаво сказала она Устинье, и в речи ее речь Манефы послышалась. — Вон!.. Духа твоего чтоб здесь не было!.. Не то сейчас позову матушку — насидишься в погребе либо на цепи в келарне¹. Ступай отсель до греха.

¹ В старину в монастырях, как мужских, так и женских, за провинности сажали на цепь в поварне. В женских монастырях сажали на погреб. Эти наказания до последнего времени удерживались в старообрядских скитах, где твердо сохранялись всякого рода старинные обычаи.

— Не запугаешь меня, потаковница! Ничем не запугаешь!.. — кричала Устинья. — За самой за тобой знаю кой-что... Допреже тебя дойду я до матушки — все, про все доложу ей... Запоешь тогда у меня другим голосом.

— Ах ты, бесстыжая! — проворчала Фленушка.

Она только побледнела. Других признаков гнева, что кипел в ее сердце от дерзких намеков обезумевшей с ревности канонницы, не видно.

— Марья! — холодно сказала она головщице. — Сходи к матушке, позови сюда.

Марьюшка вышла.

— Не больно-то я испугалась, — во все горло продолжала кричать Устинья Московка. — Сама обо всем доложу... Себя не пожалею, а все расскажу... Оставайтесь довольны!.. Будете меня поминать!.. Не забудете!..

Дверь широко распахнулась, и на пороге явилась Манефа. Строго и гневно было лицо ее, из-под нахмуренных бровей раскаленными угольями сверкали черные глаза.

— Это что? — ровным, невозмутимым голосом повелительно сказала она. — Свары заводить?.. Сейчас к Бояркиным!.. Кони готовы — ступай!

— Матушка... да я... — зачала было Устинья, но Манефа, отступя от порога в сторону, рукой показала ей дорогу и одно только слово промолвила:

— С Богом!

Стихла Устинья, поникла головой и поклонилась игуменье в ноги, говоря обычные слова прощанья:

— Матушка, прости, матушка, благослови!

— Бог простит, Бог благословит! — бесстрастно ответила Манефа и, пропустив мимо себя Устинью, подошла к Дуне Смолокуровой и ласково молвила ей:

— Не погневись, Дунюшка, что шальная дура буйство при тебе завела. Этакая, прости Господи, вольница!.. Вот уж вольница-то!.. Ну, забавляйтесь, девицы, забавляйтесь, а я пойду — там у меня свои гости сидят... А ты, Фленушка, хорошенько подружек-то потчуй — варенья бы там, что ли, достала, орешков...

И вышла из горницы.

Через час из обители Бояркиных, на тамошних лошадях, поехала Устинья Московка. Как ни старалась она хоть на минуточку свидеться с Васильем Борисычем — не удалось.

Пять верст езды, лежа в кибитке, Устинья рвалась и металась. Другие пять верст, ровно мертвая, без памяти лежала. Остальную дорогу опомнилась, но ни слова ни с кем не сказала.

Ни словом сказать, ни пером описать того счастья, той радости, что почувствовал Василий Борисыч, узнав от пришедшего из обители Бояркиных Семена Петровича об отъезде взбалмошной Устиньи. Ровно гора с плеч свалилась. Очень боялся он, чтоб ревнивая до сумасбродства канонница, не жалея ни себя, ни его, под злой час не брякнула кому-нибудь о тайных их свиданиях. Накануне Петрова дня улучила времечко Устинья, поймала Василья Борисыча где-то за околицей и осыпала его попреками за то, что с Парашей ездил на Китеж. От укоров ее сильно смутился Василий Борисыч и в ответ ни единого слова не мог вымолвить и тем уверил Устинью, что во время богомольной поездки у них что-то было. Пригрозила она, что себя не пожалеет, а всю подноготную расскажет и матушке Манефе, и Патапу Максимычу, и Аксинье Захаровне, и по всей обители разблаговестит про шашни его с Прасковьей Патаповной... И очень опасался того московский посланник — ни днем, ни ночью не было покоя на сердце его.

«С одной ноги колода долой, — думал Василий Борисыч, выслушав радостное известие. — Приведи-ка, Господи, с другой-то как-нибудь... Чапурин — медведь как есть медведь. Все боятся его, на кого гневным оком ни взглянет, всяк дро́жма дрожит... На что мать Манефа — ума палата, старица властная, и свои и чужие все перед ней преклоняются, а и та не посмела воспретить ему бесчинства, что затеял вечер во святей обители... И грозён и страшон, все в один голос так говорят. И никуда от него не уйдешь: долга рука — везде достанет... Ох, искушение!.. Попутал же меня окаянный с этой копной связаться!.. Как есть дерево... Ох, не то, совсем не то, что Дунюшка Смолокурова!.. Ох, искушение!.. Как цветущая яблонь пред лесными деревьями, так она пред другими девицами: очи голубиные, волосы — янтарные волны, уста — червленые ленты, розовый шипок — ланиты ее... Уязвлен аз, грешный, любовию! Ох, искушение!.. А она-то, моя

ненаглядная — вертоград для меня заключен, источник радостей для меня запечатлен!.. Кому повем печаль мою?.. Ох ты, горе мое, горе великое!.. А узнает Чапурин про гулянки в Улангере?.. Живой тогда в гроб ложись. Мало что жизни лишит, измучит всего, истязать начнет!.. Ох, Господи, Господи! изми мя из рук врагов моих!.. К себе зовет!.. Ох, искушение!.. Пойду ли к нему на погибель?.. Угораздило ж меня с этой Парашкой связаться!.. Пропадай она совсем, окайнная!.. Не видать бы ее глазам моим!.. На беду навела, на погибель... Ох, искушение!..»

Так размышлял Василий Борисыч, спешным шагом ходя взад и вперед по светлице, а Семен Петрович той порой у окна сидел. Глядя на работных белиц, что, подоткнув подолы, подмывали затоптанную накануне прохожими богомольцами паперть часовни, облюбовал было он здоровенные, ровно из слоновьей кости выточенные, ноги одной молодой трудницы. Остамел совсем... Глаз отвести не может. «Не то, что Марьюшка, — думает. — Того же сорта, да много поваляжнее!» Но обернулась лицом поломойка: корявая, скошенный лоб, нос расплылся, красные веки, рот до ушей... Отошел от окна саратовец, плюнул.

— Что задумался? — хлопнул он по плечу Василья Борисыча. — В каких царствах, в каких государствах вольными мыслями летаешь?

— Мало ль о чем мне думать доводится? — угрюмо ответил Василий Борисыч. — Вечор бабий собор не выгорел; приеду в Москву, скажут: «Ездил не по что, привез ничего!» Неприятности, остуда!.. Вот каково мое положение!.. Поневоле задумаешься!.. Ох, искушение!

— Не ври, Васютка, не ври! Меня, друг любезный, на бобах не проведешь. Кой-что сами знаем, а больше того смекаем... Не об Москве задумался, не там твои мысли летают, не московской остуды, другого боишься... Все по глазам твоим вижу, все, — с лукавой улыбкой говорил ему Семен Петрович.

— Лазил, что ли, ко мне в ум-от? — нехотя улыбаясь, спросил у него Василий Борисыч.

— Лазить не лазил, а знаю, что у тебя на уме, — молвил саратовец.

— Экой прозорливец какой выискался! — пошутил Василий Борисыч.

— Да ты не смейся. В самом деле я прозорливец, — молвил Семен Петрович. — Хочешь скажу, что будет с тобой?

— Ишь пророк какой! — отшучивался Василий Борисыч.

— Пророк не пророк, а отгадчик, — молвил саратовец. — Хочешь аль нет? Сейчас могу сказать, что поскорости будет с тобой.

— Что ж такое будет со мной?

— Быть тебе, Васенька, битому, быть тебе, голубчик, колоченному, — с усмешкой сказал Семен Петрович. — О том, как бить тебя станут, ты теперь и задумался. Правду аль нет говорю?.. Ну-ка, скажи, только смотри, уговор пуще денег, не вертись, не отлынивай, сказывай всю правду... Что у тебя на мыслях лежит?.. Побоев боишься?.. Трусишь?.. Так ли?..

Смутился Василий Борисыч, молвил про себя: «Ох, искушение!» Но не успел еще слова сказать, как саратовец молвил:

— А битому быть от Патапа Максимыча.

Побледнел Василий Борисыч, смутился, хотел что-то сказать, раскрыл рот, да так и остался. Не сходят слова с языка.

— А битому быть за Прасковью Патаповну, — усмехаясь, продолжал Семен Петрович.

Не ответил московский посланник. Совсем у него на уме помутилось. Думает и не может придумать, откуда саратовец его тайну узнал...

— А что, Васенька? Хорошо с девицами на Китеж ездить? — прищутив глаза, с усмешкой спросил Семен Петрович.

Тот завертелся на стуле, кругом стал оглядываться, ровно что потерял.

— А весело, через болото по кладкам идучи, середь бела дня целоваться с девицами?

Впился глазами в саратовца Василий Борисыч, от изумленья слова не может сказать.

— Весело в Улангере ночью в лесочке гулять? — сказал, наконец, Семен Петрович, хлопнув по плечу приятеля.

— Ох, искушение! — только и мог промолвить обомлевший Василий Борисыч.

— Что скажешь?.. Умею пророчить?.. Узнал, что на мыслях?.. — продолжал саратовец.

— Да с чего ты взял?.. Сорока, что ль, на хвосте весте тебе принесла?.. — после недолгого молчанья сказал Василий Борисыч.

— Не сорока на хвосте принесла, верные люди сказали, — молвил Семен Петрович. — Нечего таиться, Васенька! Сам видишь, что знаю твои похождения. Лучше сознайся, да вдвоем по-приятельски посудим-порядим, как поздоровей из беды тебе вылезть. Ум хорошо, а два лучше того.

— Да нет, нет... — заговорил вконец растерявшийся московский посланник. — Ты прежде скажи — как это?..

И не договорил.

— Ну что: «как это»? — спросил саратовец.

— Да как это?.. Ох, искушение!.. Да что ж это в самом деле?.. Скажи на милость, кто говорил?.. Скажи, Семенушка, пожалуйста, скажи...

— Как бы ни говорил, — молвил Семен Петрович. — Не в том сила, кто про твои похождения мне сказывал, а в том, как пособить, что посоветовать, как бы полегче из беды выпутаться. Вот что. Патап-от Чапурин зверь зверем. Дойдут до него слухи, что с тобой он поделает?

— Медведь! — со вздохом и сердечным содроганьем промолвил Василий Борисыч.

— Истинно так, — подхватил саратовец. — А знаешь, как медведь в лесу дуги гнет? Гнет — не парит, переломит — не тужит. Так и он. Ты не смотри, что ласков он до тебя, не гляди, что возлюбил тебя. Разведает про дочку, мигнуть не успеешь — на другой салтык поворотит. Тогда держись только.

— Ох, искушение! — в сильной тревоге глубоко вздохнул Василий Борисыч.

— Знаешь что, Васенька? — сказал ему Семен Петрович. — По моему рассуждению, лучше б тебе как можно скорей повенчаться с Прасковьей Патаповной... Ей-богу!.. Вот бы покаместь я не уехал да Самоквасов Петр Степаныч здесь... Валяй, Васютка, женись!.. Мы бы тебе помогли самокрутку сыграть... Живой бы рукой все обладили... После бы век не знал, как и благодарить нас... Право, подумай-ка, Васенька!

— Потчевали уж меня этим, — чуть слышно промолвил Василий Борисыч.

— А коли потчевали, так нечего и раздумывать, — сказал саратовец. — Благо же пост отошел, венчаться

можно... Что попусту время тянуть?.. Давай-ка примемся за дело. Право, мы с Петром Степанычем разом бы тебя окрутили. А после с богатой женой стал бы ты жить-поживать да нас поминать. Не всякому, друг любезный, такое дерево удастся склонить!.. То подумай, что одна дочь у отца. А денег-то у него да всякого имения, что у любого вашего московского туза. По времени все твое будет. Живи тогда во всякое свое удовольствие!

— Ох, Семенушка, и подумать-то страшно, — дрожащим голосом, чуть не со слезами промолвил Василий Борисыч. — Нешто ты думаешь спустит он, хоша и женюсь на Прасковье? Он ее, поди, за первостатейного какого-нибудь прочит... Все дело испорчу ему, замыслы нарушу... Живого в землю закопает. Сам говоришь, что зверь, медведь...

— Ну, в землю-то он тебя не закопает, — усмехнулся Семен Петрович. — Побить побьет — без этого нельзя, а после все-таки смирится, потому что ведь одна у него дочь-то. Пожалеет тоже. Своя кровь, свое рожденье! Да и тебя, как видно, он возлюбил...

— Нет, этого, Семенушка, не говори! — сказал Василий Борисыч. — От Чапурина милости ждать мне нельзя. Ведь он как расходится да учнет лютовать, себя, говорят, не помнит... А кулачище-то какой!.. Силища-то какая!.. А мне-то много ли надо?.. Сразу решит. Рукой махнет — мокренько от меня останется.

— А ты не больно пужайся. Тут, брат, чем больше робеть, тем хуже. Такое тут дело, Васенька, что как сробел, так и пропал, — продолжал Семен Петрович. — Одно то возьми, что, когда грех венцом покроешь, тебе на калачи от тестя хоша и достанется, да все ж не столько, как если узнает он про ваши лесные гулянки... Тут уж пощады не жди — насмерть забудет. И не уйдешь тогда от него — и в Москве тебя сыщет и в Питере, — где хочешь, сыщет. Ему что?.. Человек богатый — что задумал, то и сделал... Мой бы совет, Васенька, скорей валять самокрутку... Что в самом деле?.. Невеста, молодая, из себя красива, а богатства-то сколько?.. Кладь тебе в руки дается — бери не зевай. Дурак будешь, коли не возьмешь.

— Боязно, — тоскливо отозвался Василий Борисыч.

— Полно пустое городить! Слушать даже тошно тебя, ей-богу, — продолжал Семен Петрович. — Слушай:

побоев тебе не миновать, без них не обойдешься. Но ведь и побои побоям рознь: от одних побоев синяки только бывают, от других смерть... Каких желаешь?.. Расчет, братец, верный: либо биту быть, либо смерть принять: Побои поболеят да перестанут, а до смерти уложит — не встанешь. А хоша и не забьет тебя до смерти, так разве лучше, как пустит калекой век доживать?.. Подумай, рассуди — человек ты умный... Скажи, дело ль я говорю?

— Ох, уж, право, не знаю, что мне и думать, — жалобно промолвил Василий Борисыч. — Дело-то, как ни поверни, со всех сторон никуда не годится... Попутал меня окаянный!.. Да и то скажу я тебе, Семенушка, по душе скажу, как старинному другу, надежному приятелю, только уж не выдай ты меня...

— Охота пустяки-то говорить! «Не выдай!» Жид, что ли, я, Иуда-предатель?.. Кажись, не первый день знакомы? — сказал Семен Петрович. — Говори, коли начал. Зачинай, дружище, зачинай — раскошеливайся!

— Не по душе она мне, Семенушка, — молвил Василий Борисыч.

— Кто?

— Да Прасковья-то.

— Скоренько ж, брат, откидываться вздумал, — лукаво усмехнулся саратовец. — Неделя-то прошла ли?

— Сам не знаю, как это случилось, — сказал Василий Борисыч. — Лукавый подвел! И теперь так она мне опротивела, так опротивела, что как только вспомню про нее, тошнехонько станет!.. Как же после того век от с ней вековать?.. Подумай, что за жизнь у нас будет?.. Маята одна.

— Про это надо бы, Васенька, прежде было подумать, допрежь улангерского лесочка. А теперь, как дело уж сделано, на увертки поздно идти, — молвил Семен Петрович. — Нет, дружище, дело твое теперь вот какое: либо женись да принимай от тестя небольшие побои, либо брось и на погибель иди, смертного часа жди.

— Ох, Господи, Господи! — тосковал Василий Борисыч, хватая себя за волосы.

— Нечего пожиматься-то, — подхватил саратовец. — Жениться — горе, не жениться — вдвое. Решайся, раздумывать нечего. Долго думать — тому же быть... Соштрапать, что ли, самокрутку?.. Уж я постарался бы!

— Убегу я, Семенушка! — после недолгого молчания молвил Василий Борисыч.

— Куда? — спросил Семен Петрович. — От Чапурина, брат, не ухоронишься, со дна морского достанет.

— Я бы за рубеж, к некрасовцам, — вполголоса сказал Василий Борисыч. — Там у меня много знакомцев — не выдадут. Долга рука у Чапурина, а туда не дохватит.

— А по-мосму, разве только на том свете от него ты укроешься, — молвил Семен Петрович. — У тебя за рубежом знакомцы, а у него деньги в кармане. Что перетянет?.. А?.. За границу уедешь?.. Да ведь граница-то не железной стеной огорожена. Сыщет тебя Чапурин и там. Не забудет дочернего позора, не помрет без того, чтоб не заплатить тебе за ее бесчестье...

— А может, не узнает, — промолвил Василий Борисыч.

— Не узнает?.. Как же?.. Разве такие дела остаются в тайне? — сказал Семен Петрович. — Рано ли, поздно ли — беспрременно в огласку пойдет... Несть тайны, яже не откроется!.. Узнал же вот я, по времени также и другие узнают. Оглянуться не успеешь, как ваше дело до Патапа дойдет. Только доброе молчитсся, а худое лукавый молвой по народу несет... А нешто сама Прасковья станет молчать, как ты от нее откинешься?.. А?.. Не покается разве отцу с матерью? Тогда, брат, еще хуже будет...

— Ох, искушение!.. Право, не знаю, что и делать! — с отчаяньем молвил Василий Борисыч.

— Велеть нам с Петром Степанычем самокрутку ладить скорей, вот что надобно делать, — подхватил Семен Петрович. — Мы бы с ним зараз. Шапки с головы ухватить не успеешь, как будешь повенчан... Что же?.. Решай!..

— Подумать надо, — молвил Василий Борисыч и крепко задумался. Дуня Смолокурова с ума не сходила. «Неужель придется навек расстаться с ней?» — думал московский посол.

— Ах, ты, Господи! — вскрикнул с досады Семен Петрович. — Ну, чего тут думать-то?.. Чего передумывать?.. За пазуху, что ли, голову-то спрячешь, как Чапурин ухватит тебя?.. Ну, Василий Борисыч, умный бы ты был человек, кабы не дурак!.. Вот уж истинно: ни рыба ни мясо, ни кафтан ни ряса!.. Ты ему дело, а он

чепуху, ты ему вдоль, а он поперек!.. Вот уж как есть ни санá, ни манá...¹ Так леший же побери тебя, не хочу и вступаться... Пущай с тебя Чапурин шкуру с живого сдерет. Вспоманешь меня под его кулаками, успокаешься, что не хотел слушать меня.

— Ну, уж ты и осерчал! — жалобным голосом проговорил Василий Борисыч. — Сказать ничего нельзя!.. Право... Чем бы посоветовать, потужить со мной, а он браниться! А еще приятель...

— Да как же на тебя не сердать-то? — с досадой ответил Семен Петрович. — Все дело ему как на ладонке кажут, а он: «Подумаю!..» Нечего думать-то, коли цел хочешь быть. Венчайся, и делу конец!.. Экая мямля, прости Господи!.. Эдакий чурбан!.. Вот уж настоящий пень лесной!.. Право!

— Тебе бы только ругаться! — еще жалобней проговорил Василий Борисыч.

— Не стоишь разве?.. — перебил саратовец. — Драть тебя надо, коли сам своей пользы не видишь. Все тебе рассказано, все тебе доказано; сам понимаешь, что одно спасенье тебе — жениться скорей. Не женишься — пиши письма к родным, за упокой поминали бы...

— Ин вот что, — начал было Василий Борисыч, но вдруг остановился и задумался.

После короткого раздумья, с живостью схватив Семена Петровича за руку, молвил он:

— Пойдем на всполье, Семенушка, за Каменный Вражек. Там на вольном воздухе дельней потолкуем. А здесь ты вон на всю обитель кричишь — услышать могут... Пойдем!

— Пожалуй, пойдем, — небрежно молвил саратовец. — Только, признаться, не жду, чтоб и там вышел какой толк из наших с тобой разговоров. Потому — дурак, пользы своей не понимаешь...

Пошли, но только поровнялись с домиком Марьи Гавриловны, как глядевший из окна Патап Максимыч стал их к себе заклинять:

— Ну что?.. В голове не трещит ли?.. Заходите к нам чайничать!

Пытался было Василий Борисыч отговариться недосугами, но Патап Максимыч так решительно сказал

¹ Выражение, употребляемое в Поволжье, взято от татар: «ни тебе, ни мне».

ему, чтоб тотчас же шел к нему, что смущенный московский посланник ослушаться не посмел. Как провинившийся перед хозяином пес, поджав хвост и понутив морду, робко и послушно идет на повелительный зов, так Василий Борисыч пошел в домик Марьи Гавриловны на зов Патапа Максимыча.

Саратовец не пошел. Он направил путь свой в обитель Бояркиных к будущему хозяину.

Четверо за чаем сидело, когда в уютные горенки Марьи Гавриловны вступил совсем упавший духом Василий Борисыч. Кроме Патапа Максимыча, были тут Марко Данилыч, Михайло Васильич да кум Иван Григорыч. Вчерашнего похмелья на них и следов не осталось. Чинно, степенно сидели они, дельные речи вели — о торговых делах толковали. Про волжские низовья, про астраханские рыбные промыслы шла у них речь. Марко Данилыч был знатоком этого дела. Был он один из главных поволжских рыбных торговцев.

— Садись-ка, Василий Борисыч, да слушай, — сказал Патап Максимыч, когда тот, помолясь Богу и отдав каждому из сидевших по особому поклону, молча подсел к самовару.

— Поэтому выходит, что вся, значит, тамошняя рыбная часть нашими местами держится? — сказал Иван Григорыч Марку Данилычу.

— От большого возьми до малого, все здешнее. Всем здешним народом работается, — говорил Смолокуров. — Лодки ли взять, все до единой в Черноречье¹ рублены: и морские, и кусовые, и ловецкие, и живодные, и реюшки с бударками и косные². Что за зиму их

¹ Черноречье — по левому берегу низовья Оки в Балахонском уезде.

² Кусовая морская — длиной от 10 до 13 сажен, поднимает до 25 тысяч пудов, ловецкая от 3 до 4 сажен, живодная — прорезь с садком для пойманной рыбы. В ней возят живую воблу, употребляемую при ловле белуг на «кус», то есть на приманку. Реюшка — малая кусовая лодка для морского промысла, длиной 7 сажен, без закроя (палубы), с косыми парусами. При ней ходит бударка — узкая, с длинным носом и косым парусом. Эмбенка — при кусовой морской, длиной две-три сажени, без закроя. Косная — легкая лодка, для разъездов промысловых приказчиков и т. п., длиной от полутора до двух сажен, шестивесельная или восьмивесельная, с двумя косыми парусами.

ни нарубят, все по весне на Низ плавят!.. Проволочная уда из Безводного, кованцы на кусовые самоловы тоже в здешних местах по Волге куют; дель на ставные сети и на плавные из Ягодного; бечева — горбатовская, лоцманá из Татинца да из Кадниц¹, ловцы тоже все почти из наших мест, да и промышленников взять, так здешних-то — больше половины. Исстари так повелось. Еще в те поры, как ловили рыбу «безданно, безъявочно», на рыбных промыслах ватаги² бывали все нижегородские... И когда московские пошлины на рыбу старыми царями были положены, собирали их у Старого Макарья, для того что все промышленники вокруг того места проживали³. Самим низовцам без нашего брата век бы с рыбой не управиться... Говорят же, что в стары годы, когда нашего брата на Низу еще не было, астраханцы заместо белой рыбыцы кобылятину в Новгород слали... Значит, рыбы от кобылы отличить не могли. И до сих пор астраханцев тем дразнят. И не любят же они того присловья!

Захохотал Патап Максимыч.

— Употчевали, значит, постников калмыцкой маханиной⁴, — говорил он.

— Теперича на рыбных ватагах саратовцы в силу пошли, отбивают у нас рыбную часть, — продолжал Смолокуров. — Потому-то всякому здешнему тысячнику и советовал бы я этим делом заняться, поднять бы да поддержать дедовские промысла, не отдавать их саратовцам... Да и выгодно... Что вы, Патап Максимыч, на это скажете?

— Нельзя мне по разным делам разбиваться, Марко Данилыч, — ответил Чапурин. — И без того у меня их

¹ Село Нижегородского уезда на Волге. *Кованец* — большой рыболовный крюк для ловли больших рыб. *Кусовой самолов* — кованцы, подвешенные на хребтине (веревка с поводками, к коим прикреплены кованцы), для ловли большой красной рыбы. *Дель* — конопляная ручная пряжа, из нее вяжут ловецкие (рыболовные) сети для промыслов в Ягодном, Княгининского уезда, и по окрестным селениям. *Ставные сети* — на красную рыбу стоят как тенета на одном месте во все время лова. *Плавная сеть* — подвижная, плывущая по течению реки. В Горбатове делают бечеву для ловецких снастей. *Татинец* и *Кадницы* — приволжские села Макарьевского уезда Нижегородской губернии.

² Место для неводного залава рыбы.

³ *Старый Макарий* — город Макарьев на Волге, где до 1817 года была нынешняя Нижегородская ярмарка.

⁴ *Маханина* — конина.

немало, дай Бог и с теми управиться! Нет, уж зачем же мне лишню обузу брать на себя.

— Хотя для пробы ма́ленько дельцо завели бы, не-большую бы ватажку на откуп взяли, — продолжал Смолокуров. — После за совет мне спасибо сказали бы. Лиха беда начать, а там все как по маслу пойдет. Право, подумайте — барыши хорошие, дело вести можно.

— Хозяйский глаз для того нужен, Марко Данилыч, — молвил Чапурин. — Самому в такую даль ехать мне не приходится, а верного человека не предвидится. Знающего ведь надо.

— Конечно, знающего, — ответил Смолокуров. — Без знающих людей рыбного дела нельзя вести. Главное, верных людей надо; их «разъездными» в косных по снятым водам рассылают наблюдать за ловцами... У нас, я вам скажу, дело вот как ведется. Снявши воды, ловцам их сдаем. Искать ловцов не надо, сами нагрянут, знай, выбирай, кому отдать. Народ бедный, кормиться тоже надо, а к другим промыслам непривычен. И как много их сойдется, сдача пойдет наперебой. Один перед другим проценты набавляет.

— Как проценты набавляет? — спросил Чапурин.

— А вот как, — стал объяснять Смолокуров. — Пишется «ловецкий контракт», без того нельзя: ряда не досада, а уговорец — нашему брату кормилец. Выговаривают, чтоб ловцы всю рыбу, что ни наловят, сдавали съемщику со скидкой десяти аль двенадцати копеек с рубля. А как пойдет у них наперебой, по двадцати да по двадцати по пяти копеек они и скидывают. Нашему брату барыш в руку и лезет...

— Понимаю теперь! — молвил Патап Максимыч.

— А кроме того, икра да вязига хозяину даром, — продолжал Марко Данилыч. — Тут-то вот ловкие разъездные и нужны, потому что ловцы — народ вор. Из плута кроены, мошенником подбиты, с ними не зевай, во всяко время ухо остро держи.

— А что? — спросил кум Иван Григорыч.

— Да вот, к примеру сказать, как они, окаянные, раз меня самого провели, — продолжал Марко Данилыч. — Еду я в косной, навстречу другая, гляжу — на-ши. Разъездной, как водится, тотчас в лодку, щупом везде пробует — нет ничего. А тут баба с ребеночком, кричит сердечный, так и заливается, есть хочет, а у матери-то молока, видно, мало. Пододвигает она к себе

кринку, разъездной было за нее, а баба таково жалобно говорит: «Молочко маленькому в кринке-то». Разъездной не внемлет, хочет кринку раскрыть. Жалко мне стало ребеночка, не велел трогать. Что ж... сударь мой? После узнаю — в кринке-то икра была.

Захохотал во все горло Патап Максимыч, засмеялись и его собеседники.

— Ловка же бабенка, — молвил удельный голова. — Говорится же пословица: «Хитра, мудра баба казанская, похитрей ее астраханская»...

— Да это что? — смеялся Смолокуров. — Другая баба еще вороватей перехитрила меня. Вхожу раз на косную — тоже баба с ловцами была. Сидит, грудью младенца кормит, укачивает его. Разъездной к ней; одеялишко-то на ребенке раскрыть хочет. «Бога ты не боишься, — так тихо да покорно, чуть не со слезами говорит ему бабенка, — младенчик-от у меня хворенький, только что закачала его — потревожишь бедненького». Велел я бабу в покое оставить... А после слышу, каки-то ловцы диковинную стерлядь продали, фунтов в двадцать весом, от пера до глаза больше полутора аршин. Редкостная рыбина, в кои-то веки такая попадет... Что же ты думаешь? Самую ту рыбину та бабенка у груди-то и держала... Вот тут и поди с ними!

— Ловкий народец! — молвил Патап Максимыч. — На какие, однако, хитрости ловцы-то у вас поднимаются.

— Всех ихних мошенничеств ни пересказать, ни переписать, — сказал Смолокуров.

— А думается мне, — сказал Патап Максимыч, — что меньше от них плутовства-то было бы, когда бы ряду повыгодней для них писали. Сами посудите, много ль ловцу при таких порядках останется? Лодка-то ведь в лето сот на семь целковых рыбы наловит?.. Так ли?

— Так точно, — ответил Смолокуров.

— А велика ль на лодке артель?

— По-нашему, то есть «ватага», — молвил Марко Данилыч. — Какова лодка... По пяти, по шести работников, и больше.

— Ну, положим теперь, что заработают они семьсот рублей на серебро, — продолжал Патап Максимыч. — Скинь двадцать пять процентов, пятьсот двадцать пять рублей останется, по восьмидесяти по семи с полтиной на брата... Не великие деньги, Марко Данилыч. И по-

дати заплати, и семью прокорми, и оденься, и обуйся, да ведь и снасти-то, поди, ихние...

— Ихние, — подтвердил Смолокуров.

— Так вы и разочтите, много ль ему, сердечному, останется, — сказал Патап Максимыч. — Дивить ли после того, что у вас бабы стерлядей грудью кормят да в кринках икру заместо молока возят. Плуты они, мошенники!.. Так ли, Марко Данилыч? Не навик к плутовству, нужда доводит. Как ловцу по чести жить? И честь ведь не в честь, коли нечего есть! Нет, Марко Данилыч, не пущусь я в ваши промыслы. Бог с ними!

— Напрасно, — проговорил Смолокуров. — Барыши хорошие, лучше, чем от горянщины.

— Зато мои токари да красильщики Богу на меня не пожалуются, — молвил, нахмурясь, Чапурин. — Больших барышей мне не надо. Будет с меня и маленьких. На рубль полтора наживать не хочу... Грех!

— Да кто ж на рубль полтора наживает? — вспыхнул Смолокуров. — А что, если вы за ловцов заступаетесь, так посмотрел бы я на вас, когда б у самих у вас рыбные промыслы были!.. Опять же и то сказать, не нами началось, не нами и кончится.

— Ну и будь по-вашему, а рыбой промышлять мы не согласны, — сказал Патап Максимыч. — И своими делами довольны.

Замолчал Смолокуров. Маленько обиделся он словами Патапа Максимыча.

— Ну что, Василий Борисыч. Как же наше-то дело пойдет? — обратился Патап Максимыч к посланнику, чтобы только покончить про рыбны промысла.

— Чтó наши дела? — мрачно отозвался Василий Борисыч. — Мои-то дела, что сажа бела.

— Это ты про скитские да про архиерейские?.. — молвил Патап Максимыч. — Что мне до них... Про наши с тобой говорю.

Молчал Василий Борисыч.

— Поезжай-ка в Москву-то поскорее, управляйся там да поспешай обратно. Прямо в Осиповку приезжай, — сказал Патап Максимыч, кладя руку на плечо Василья Борисыча.

«А чтó, и в самом деле? — сверкнуло в уме московского посланника. — Сам посылает. Не скажет после, что бежал, его испугавшись. Уехать до беды, в самом деле!»

— Я бы, пожалуй, не прочь хоть сейчас отселе, — сказал он Чапурину. — Чего еще ждать?.. Матушка Манефа не хотела вечер меня поддержать. Ну и Бог с ней!.. А после этого здесь делать мне нечего.

— Рад слушать умные речи, — молвил Патап Максимыч, дружески хлопнув по плечу Василия Борисыча, и веселая улыбка озарила лицо его. — Когда ж в путь-дорогу?

— По мне хоть сейчас, — махнув рукой, сказал Василий Борисыч.

И вспади тут на память ему и Груня оленевская, со сковородником в руках за блинами в Маргаритиной келарне, и нежная Домнушка, которую сам оттолкнул от себя, и Устинья Московка, и Параша, и надо всеми ними в недоступной высоте восставал в его воспоминаниях светлый, чистый образ Дуни Смолокуровой с ее нежной, чарующей улыбкой, с ее глубокими, думчивыми очами!.. И жаль стало Василию Борисычу лесов керженских, чернораменных, где жилось ему так привольно и весело.

— Я отсюда сегодня же, — молвил Патап Максимыч, — вечером по холодку поеду. Значит, здесь простимся. Так ты уж, пожалуйста, Василий Борисыч, не медли ни отъездом, ни возвратом. Что бы тебе завтра же отсюда бы выехать?..

— Постараюсь, Патап Максимыч, всячески постараюсь, — торопливо ответил московский посланник, а у самого на уме: «И от него схоронюсь и свадьбу избуду... Пособи, Господи, от всех передряг подобру-поздорову отделаться!»

— Главное дело, назад скорее. Великое дело есть до тебя... Удивлю, обрадую... Хотел теперь же сказать, да лучше обожду, как воротиться, — прищутив глаза и весело улыбаясь, говорил Патап Максимыч.

А сам на уме: «И тому не хотел я сказать, как на Ветлугу его посылал, а вон какое дело вышло... Не было б и теперь чего?.. Не сказать ли уж лучше до отъезда?.. Да нет, нет!.. Тот был сорви-голова, а этот смиренник, тихоня, водой его не замутишь... Лучше после... Опять же как-то и не приходится самому дочь сватать... Обиняком бы как-нибудь. Подошла-ка я к нему Никитишну!.. Да успеем еще!.. Это дело не волк — в лес не уйдет!»

— Денег на дорогу-то не надо ли? — спросил он у

Василья Борисыча, вызвав его потихоньку в другую горницу домика.

— Своих достаточно, — ответил Василий Борисыч, смутясь от его предложения.

— То-то, ты не лмайся. Нужны, так говори, — сказал Патап Максимыч. — Чиниться со мной теперь нечего.

Пуще прежнего смутился Василий Борисыч. Не знает, что говорить, не знает, как и отделаться от Чапурина. Совесть заговорила. «Вон ведь добрый какой! — думает он. — Зачем же я так оскорбил его, зачем так смертно обидел?.. Подтолкнул лукавый!.. Ох, искушение!»

Распрощался с ним Патап Максимыч. Ровно сына родного трижды перекрестил, крепко обнял и крепко расцеловал. Слезы даже у старика сверкнули.

— Храни тебя Господь!.. Бог на дороге, Никола в путь! — сказал Чапурин оторопевшему Василью Борисычу. — Ворочайся, голубчик, скорее... Не томи!.. Пожалуйста, поскорее!..

Глава одиннадцатая

После того как Манефа спроводила Устинью Московку из Фленушкиных горниц, веселье не вдруг воротилось в девичью беседу. Всем было как-то не по себе, особенно Дуне. Непривычна была к тому, что видела и слышала. Когда девочкой росла она в Манефиной обители, ничего подобного она не видела, и немало дивилась теперь, отчего это завелись в обители такие девицы.

По скорости пришла на беседу Аграфена Петровна с развеселой, говорливой Дарьей Никитишной.

— Ну что, красны девицы? Чем время коротаете? — весело спрашивала Никитишна. — Чем забавляетесь, про какие дела речь-беседу ведете?

— Да так, — ответила Фленушка. — Особым ничем не занимаемся... Переливаем себе из пустого в порожнее.

— А вы бы песенку спели, — сказала Никитишна. — Мирскую нельзя, так псалму бы. Ты, Марьюшка, что так сидишь?.. Чего не поешь?.. Мастерца ты псалмы-то петь... Опять же и ты, Варюша, знаю, голубка, что у матушки Юдифы пение тобой держится... Пойте-ка,

девицы!.. Не то сказочку какую рассказали бы... Это, чать, за грех в обителях не ставят? Аль и сказочку-то грешно сказать?

— Не водится, — молвила Фленушка.

— Ну, не водится так не водится, — продолжала Никитишна. — Да постой, Фленушка, постой!.. Ты у меня не таранти! Что сбиваешь старуху? Разве здесь одни обительские девицы? Есть и мирские. Сем-ка спрошусь я у матушки, не дозволит ли сказку вам рассказать.

И вышла и, воротясь вскоре, молвила:

— Позволила... Слушайте!

Тесным кругом окружили Никитишну девушки. Одна Аграфена Петровна одадь осталась. Села у открытого окна к пальцам Фленушки и принялась вышивать бисером.

Зачала Никитишна:

— В некотором царстве, в некотором государстве жил был царь, а у царя сын Иван-царевич, из себя красавец, умный и славный; про него песни пели, сказки сказывали, красным девицам он во снах снился. Вздумалось Ивану-царевичу по белу свету поездить, людей посмотреть, себя показать, и пошел к батюшке царю просить родительского благословенья, государского соизволенья — ехать по белу свету странствовать, людей смотреть, себя казать. И дал ему царь свое благословенье и позволение, и поехал Иван-царевич в путь-дорогу. Ездил он, ездил по разным царствам, по разным государствам — скоро сказка сказывается, не скоро дело делается — и приехал в чужедальнее государство. В том государстве, за темными лесами, за зелеными лугами, за быстрыми реками, за крутыми берегами, в чистом поле, на широком раздолье, белокаменны палаты стоят, а во тех во палатах, в высоком терему, у косящата окна, три девицы, три сестрицы, три красавицы сидят, промеж себя разговаривают. Иван-царевич коня осадил, стал прислушиваться. Старшая сестра говорит: «Когда б на мне Иван-царевич женился, напряла б я пряжи тонкие, наткала полотна белого, сшила бы царевичу рубашку, какой на свете досель не бывало». Средняя сестра говорит: «Когда б на мне Иван-царевич женился, выткала б я ему кафтан становой чиста сѣребра, красна золота, и сиял бы тот кафтан как жар-птица». А меньшая сестра говорит: «Я ни ткать,

ни прясть не горазда, а когда б на мне Иван-царевич женился, народила б я ему сынов-соколов: во лбу солнце, на затыле месяц, по бокам часты звезды, по локоть руки в красном золоте, по колена ноги в чистом серебре...»

— Знаем, знаем, что дальше будет, — в один голос закричали девицы.

— Чур, сказку не перебивать, а кто перебьет, тому змея в горло заползет, — с притворной досадой молвила Никитишна и так продолжала: — Иван-царевич с девицами не опознался, им не показался, поехал домой. Приходит к царю-батюшке, молит, просит родительского благословенья, государственного позволенья — закон свершить, честен брак принять, на меньшей девице-сестрице жениться. И дал ему царь-батюшка родительское свое благословенье, государственное позволение — закон свершить, честен брак принять, с меньшей девицей-сестрицей побрачиться...

— Да знаем же мы эту сказку, все знаем, — в один голос опять закричали девицы.

И опять нахмурилась Никитишна, опять сказала с притворной досадой:

— Сказка от начала начинается, до конца читается, в середине не перебивается. Слушайте, красны девицы, что дальше было!

— Да знаем мы, всю до конца ее знаем, — веселыми криками перебивали девицы Никитишну. — Ну, Иван-царевич женился, жена родила ему сыновей, сестры позавидовали, щенятами их подменили, царевну в бочку посадили, бочку засмолили, по морю пустили...

— А коль знаете, так сами сказывайте, а я буду слушать, — молвила Никитишна.

— Да мы не умеем, — говорили ей.

— Не умеете про царевен, про королевен, так про себя поведите речь, — улыбаясь, сказала Никитишна.

— Как же так про себя? — спросила Фленушка.

— А вот как, — молвила Никитишна. — Вы, девицы, хоть не родные сестрицы, зато все красавицы. И вас не три, а целых семь вокруг меня сидит — Груню в счет не кладу, отстала от стаи девичьей, стала мужней женой, своя у ней заботушка... Вот и сидите вы теперь, девицы, в высоком терему, у косящата окна, а под окном Иван-царевич на коне сидит... Так, что ли?

Засмеялись девицы.

— Поглядеть в самом деле, не сидит ли у кельи Иван-царевич на сивке, на бурке, на вещи каурке... — сказала чернобровая Варя улангерская.

Проходя мимо открытого окна, Фленушка заглянула в него... Как в темную ночь сверкнет на один миг молния, а потом все, и небо, и земля, погрузится в непроглядный мрак, так неуловимым пламенем вспыхнули глаза у Фленушки, когда она посмотрела в окно... Миг один — и, подсевши к столу, стала она холодна и степенна, и никто из девиц не заметил мимолетного ее оживленья. Дума, крепкая, мрачная дума легла на высоком челе, мерно и трепетно грудь поднималась. Молчала Фленушка.

— Сто лет во все окна глаза прогляди, никакого царевича здесь не увидишь, — брюзгливо промолвила Марьюшка в ответ на слова Вари улангерской.

— Ну его к Богу, Ивана-царевича, — добродушно улыбаясь, сказала девицам Дарья Никитишна. — Пусть его ездит под светлым месяцем, под белыми облаками, под частыми звездами. Сказывай, девицы, по ряду одна за другой, как бы каждая из вас с мужем жила, как бы стала ему угождать, как бы жизнь свою с ним повела?

— Что это вы, Дарья Никитишна! — усмехнувшись, молвила Варя, головщица улангерская. — Аль забыли, что мы Христовы невесты? В кельях живем, какие женихи к нам посватаются?

— К примеру, милая, молвится! — возразила Никитишна. — А и то сказать: здесь не одни девицы обительские; есть и такие, что, поди, зачастую про женихов с подушкою беседуют... Дунюшка, Параша, правду аль нет говорю? — усмехнувшись, прибавила она. — Нуте-ка, девицы, зачинайте... Да смотри у меня, говорите правду, без хитростей. Котора что думает, без утайки, как на ладонке передо всеми думы свои выкладывай... А я, старуха, вас послушаю, да после того каждой правду-матку скажу, котора из вас будет лучше всех. Начинай, Варюша, — обратилась она к бойкой, веселой, голосистой чернобровке улангерской, малым чем уступавшей по красоте Дуне Смолокуровой, по демественному пению Марьюшке головщице.

Долго чинилась Варя, не сразу ответа добилась от нее Никитишна. Стыдно было ей первой говорить... Облокотясь на стол, склоня хорошенькую головку на

руку и закрывая пол-лица пышным миткалевым рукавом, долго и много она отнекивалась. Наконец, общие просьбы девиц и неотступные убеждения Никитишны развязали Варю язык.

— Когда б судьба моя не такая была, когда б не в кельях, а в миру я жила, волею замуж я не пошла бы, — так, подняв голову, начала говорить чернобровая смуглянка, и яркий багрянец разлился по лицу ее. — Дивлюсь я девицам, что охотой замуж выходят! Что за неволя менять девичью волю на замужнюю долю? А если б по родительскому приказу была я замуж выдана, мужа бы я почитала, во всем бы воле его покорялась, всем бы ему угождала. Жирные щи он бы хлебал, кашу ел бы крутую, рассыпчатую, блины, пряженцы каждое утро пекла бы ему, все бы на нем я зашила, все бы ему зачинала, в доме добрый порядок во всем повела.

— Ладно, Варюшка, хорошо ты сказала, красавица, — молвила Дарья Никитишна. — Хорошо... Добрая из тебя вышла б хозяйка, если б судьба велела тебе замужем быть. Твоя очередь, Дуня, — обратилась она к развеселой, болтливой Дуняше улангерской.

— Сама бы волей своей замуж я не пошла, как и Варя, — так зачала Дуняша, и глаза у ней загорелись, брызнув огнем искрометным. — А если б супротив воли выдали замуж меня, мужа бы я под свой салтык подвела. Ни ткать я, ни прясть не горазда, стряпать, варить не умею, горазда была бы я песенки петь. Была б у меня на муже рубашка изорванная, одежда была б у него незаплатанная, ел бы не пышно, ложился бы спать натошак. Зато веселехонько жизнь бы наша пошла: с ранней зари муж за гудок, я бы за песенки. Тот пошло бы житье развеселое!

Все засмеялись, даже стыдливая Дуня Смолокурова. Сама Аграфена Петровна улыбнулась на затейные речи Дуняшины.

— Король-девка! — вскрикнула Дарья Никитишна. — Только знаешь ли, что скажу я тебе на это, Дунюшка? Живучи с такою женой, муж-от не вытерпел бы, не гудок, а плеть в руки взял бы — запела б песню другим голосом, как раз-другой обошел бы он тебя дубовым корешком.

— Встарь таки дела бывали, что жен мужья бивали, а теперь сплошь да рядом живет, что жена мужа бьет,

особенно как пьяненький под руку попадет, — подхватила Дуняша.

Так и покатались все со смеху.

— Ах ты, шальная!.. Ах ты, озорная!.. — сама смеясь, говорила Дарья Никитишна. — Ухарь-девка, неча сказать! Хорошо, Дуняша, что в Христовы невесты угодила: замуж пошла бы, и на печи была бы бита, и о печь бита, разве только печью не была бы бита... От такой жены мужу одно: либо шею в петлю, либо в омут головой.

— А туда ему и дорога! — махнув рукой, шаловливо засмеялась Дуняша.

И пуще прежнего все захохотали. А Дуняша им:

— Так уж и быть, пусть бы его уж побился, только бы сам утопился.

— Безумная!.. Что говоришь-то?.. Экое слово ты молвила! — вскрикнула Дарья Никитишна.

— А как же, по-твоему? — сказала Дуняша и бойким, задорным взором обвела всю беседу. — Нештолучше, как муж жену бьет, а сам топиться не идет?..

Громкий хохот покрыл затейную речь.

— Ну, понесла!.. Пошла городить!.. Будет с тебя, довольно!.. Других надо слушать, не ты одна в нашей беседе, — молвила Дарья Никитишна. — За тобой черед, — обратилась она к сидевшей рядом с Дуняшей маленькой, беленькой Домнушке.

Заревом вспыхнуло миловидное личико нежной Домнушки, зарделось оно, ровно маков цвет. Заискрились умные очи, и ровно застыли, смежились дотоле весело смеявшиеся уста. Молчала она.

— Говори же. Что беседу задерживать? — молвила ей Дарья Никитишна. — Все говорят, все должны говорить, не тебе же одной в молчанки играть.

Собралась с духом Домнушка. Стыдясь и потупя глаза, стала она говорить:

— Не была б я самовольная, жила бы покорно, почитала бы мужа, как крест на главе, и все по хозяйству справляла б, как следует... А попался б на горе-несчастье непутный какой и заел бы век мой, зла ему не помыслила б, слова супротивного ему не молвила бы... А не стало бы силы терпеть, сама б на себя руки я наложила.

Смолкла, и все замолчали. Ни слова не молвила Дарья Никитишна, не сказала, каково показалось ей задушевное слово маленькой Домнушки.

— Марьюшка, тебе говорить, — обратилась она к головщице.

Ровно осенняя ночь, нахмурила Марьюшка брови и мрачно на беседу взглянула. С недовольным видом брюзгливую речь повела.

— Не нам бы, несчастным, не нам, бесталанным, про брачное дело, про мирское житие разговоры водить. Мы, скитские белицы, все едино что отпетые, только в землю не закопанные мертвецы... Нет у меня ни роду, ни племени, не видала я родной матушки, про отца и не слыхивала... Бессчастливая, безродная, подневольная!.. А была б я дочь отецкая, да жила б я в миру у хороших родителей, не выдали б они меня замуж, разве сама бы охотой пошла. А вздумали бы выдавать меня за постылого, нелюбимого — камень на шею да в воду бы кинулась. Кто полюбился, за того охотой пошла бы, а не стали б отдавать, убежала бы с ним, самокруткой свенчалась, поймали бы — петлю на шею. А любимого мужа всячески б стала беречь я и холить. И была б ему я верна, не осрамила б его головы, не нанесла покура ни на род, ни на племя его... Да что пустое говорить!.. Дело нестаточное!

Все промолчали. Сказала Никитишна Фленушке:

— Твой черед.

Начала Фленушка:

— Мне про мужа гадать не приходится — сызмальства живу я в обители. С раннего детства спозналась я с жизнью келейною. Не знаю, что и сказать тебе, Дарья Никитишна.

— Что на разуме лежит, то по правде, без утайки и сказывай, — молвила Никитишна.

— То-то и есть, что с разумом собраться не могу... Вздору, пожалуй, наплету, — сказала ей Фленушка.

— Не у попа на исправе, не на дух пришла исповедываться, — заметила Дарья Никитишна. — Не для ради дела, ради забавы беседу ведем. И вздору наплетешь, денег с тебя за то не возьмем. А ты сказывай, не отлынивай, остальных не задерживай, черед за тобой.

— Не таковская я, чтоб отлынивать, — с живостью, высоко подняв голову и гордо оглядев круг девичий, молвила Фленушка. — Ничего не потаю, все по правде выскажу, все по истине. Слушайте!

И, закинув голову, еще раз окинула вызывающим взором беседу и так начала:

— Захотела б я замуж идти — вышла б и отсюда, могла бы бежать из обители. Дело не хитрое, к тому же бывалое. Мало разве белиц из скитов замуж бегают?.. Что ж?.. Таиться не стану — не раз бродило в голове, как бы с добрым молодцем самокрутку сыграть... Да не хочу... Матушку не хочу оскорбить — вот что. А впрочем, и дело-то пустое, хлопот не стоит...

— Ай-ай? Фленушка! — головой покачала Никитишна. — Уж ты наскажешь, послушай только тебя.

Скитские девицы с усмешкой друг с дружкой переглянулись. Наземь опустила светлые взоры Авдотья Марковна, и стыдливый румянец облил нежное ее личико. Подняв голову от пялец, строгим, пытливым взглядом поглядела на Фленушку Аграфена Петровна, но не сказала ни слова.

— Муж жене должен быть голова, господин, а мне такого ни в жизнь не стерпеть, — не глядя ни на кого, продолжала речь свою Фленушка. — Захотел бы кто взять меня — иди, голубчик, под мой салтык, свою волю под лавку брось, пляши, дурень, под мою дудочку. Власти над собой не потерплю — сама власти хочу... Воли, отваги душа моя просит, да негде ей разгуляться!.. Ровно в каменной темнице, в тесной келье сиди!..

— Полно, Фленушка!.. Опомнись, что говоришь! — молвила Дарья Никитишна.

Но не слушала слов ее Фленушка и так продолжала:

— И кому б такая блажь вспала в голову, чтоб меня взять за себя?.. Не бывать мне кроткой, послушной женой — была б я сварливая, злая, неугодливая!.. На малый час не было б от меня мужу покою!.. Служи мне, как извечный кабальный, на шаг из воли моей выйти не смей, все по-моему делай! Вздумал бы наперекор, на все бы пошла. Жизни не пожалела б, а уж не дала бы единого часа над собой верховодить!..

— Ну что ты в самом деле плетешь на себя? Зачем небылицы на себя наваливаешь? — пыталась уговаривать ее Никитишна.

Не сдержать табуна диких коней, когда мчится он по широкой степи, не сдержать в чистом поле буйного ветра, не сдержать и ярого потока речей, что ливнем полились с дрожащих, распаленных уст Фленушки. Брызжут очи пламенем, заревом пышет лицо, часто и высоко поднимается пышная грудь под тонкой бело-снежной сорочкой.

— Слушай, беседа, что я говорю! — громко вскрикнула Фленушка в ответ на уговоры Никитишны и так продолжала: — Сердце у меня, девицы, неуклончивое, никому покориться оно не захочет — такая уж я на свет уродилась. Мужа лады со мной не возьмут. Так уж лучше мне в девках свой век вековать, лучше в келье до гроба прожить, чем чужую жизнь заедать и самой на мученье идти... А может, кто из вас подумает: «Это-де она только хвастает, попусту только похваляется», так слушайте, что стану вам говорить: захотела б я замуж, сегодня же могла уходом уйти. Не слово сказать, глазом мигнуть — жених хоть сейчас предо мной, как лист пред травой. Молод, разумен, богат и удал, а с лица — мало таких красавцев земля родила. И любит меня беззаветно — слово скажу, в огонь и в воду пойдет...

— Безумная!.. Окстись!.. Какие ты слова говоришь?.. — с негодованьем вскрикнула Никитишна.

— Ты на речь навела, а я речь завела, теперь тебе слушать, а речь твоя впереди, — отрезала Фленушка. — В свахи, что ли, пошла, Дарья Никитишна?.. Так посватай меня!.. Ну-ка, попробуй, сыщи такого, чтобы смог меня покорить, сделал бы из меня жену боязливую, покорную да послушную... Ну-ка, попробуй!.. Не трудись напрасно, Никитишна! Весь свет обойди, такого не сыщешь! Нет по мне человека, таков на белом свете и не раживался!.. Наврала на себя я, девицы, что могла б хоть сегодня же свадьбу уходом сыграть. Есть такой, да нет его здесь. Хоть не за морем, за океаном, не за синими реками, не за высокими горами, а где-то далеко, сама не знаю я, где... А была б у нас сказка теперь, а не дело, — продолжала Фленушка взволнованным голосом и отчеканивая каждое слово, — был бы мой молодец в самом деле Иван-царевичем, что на сивке, на бурке, на вещей каурке, в шапке-невидимке подъехал к нам под окно, я бы сказала ему, всю бы правду свою ему выпела: «Ты не жди, Иван-царевич, от меня доброй доли, поезжай, Иван-царевич, по белому свету, поищи себе, царевич, жены по мысли, а я для тебя не сгодилась, не такая я уродилась. Ищи себе другую, ищи девицу смирную, тихую, покорливую, проживешь с нею век припеваючи...» А когда б Иван-царевич сюда пришел, показала б я ему на тебя, Авдотья Марковна. Ты — водой не замути. Тому ли, другому ли будешь ты женой богоданною, сама будешь

счастлива и муж твой счастлив будет. Таково мое слово, девицы, и слово мое крепко!

И когда кончила Фленушка, все молчали. Ни слова не сказала и Дарья Никитишна. Мало повременя, молвила она Прасковье Патаповне:

— Тебе, Параша, теперь говорить.

Долго не отвечала Параша, как бы сбираясь с мыслями, наконец, промолвила:

— А я бы день-деньской отдыхала.

— Что-о-о? — спросила Никитишна, глядя с удивлением на Прасковью Патаповну.

— Отдыхала бы, говорю, — ответила Параша. — Спала бы, дремала, не то бы и так полежала.

И сладко зевнула, закрывшись платочком.

— А в доме хоть трава не расти? — слегка покачав головой, спросила Никитишна.

— Зачем же? — сказала Параша. — По́ дому дела работницы справляли бы... Неужто самой?..

— А с мужем-то как бы жила? — оставив работу и устремив пытливый взор на Парашу, спросила Аграфена Петровна.

Покраснела Параша и, закрывая лицо батистовым рукавом рубашки, сказала ей:

— Стыдно сказать, сестрица...

Все засмеялись, кроме Аграфены Петровны и Дуни Смолокуровой. Одна с укором поглядела на Парашу и, молча покачав головой, опять принялась за вышивание, другая, опустив голову и потупив глаза, молча, спокойно сидела.

— Чему смеяться-то? — быстро подняв голову и вводя беседу удивленными глазами, громко сказала Параша. — Известно, что бы делала, чай бы с мужем пила, обедала бы с ним, гуляла. Он бы из городу гостинцы привозил, платками да платьями дарил меня. Еще-то чего?..

Не сказав ни слова Параше, обратилась Никитишна к Дуне Смолокуровой:

— За тобой черед, Дунюшка. Изволь раскрыть мысли, как другие девицы их раскрывали.

Подняла белокурую головку Дуня, ясным взором, тихо и спокойно обвела круг девушек и стала говорить нежным, певучим своим голосом. Чистосердечная искренность в каждом слове звучала, и вся Дуня добром и правдой сияла.

— Замуж пойду за того, кого полюблю... Батюшка-родитель воли с меня не снимает. Неволей меня не отдаст. Кого по мысли найду, за того и пойду, и буду любить его довеку, до последнего вздоха, — одна сыра земля остудит любовь мою... И он будет любить меня, за иного я не пойду. А разлюбит, покинет, на другую сменяет — суди его Бог, а жена мужу не судья. И хотя б разлюбил он меня, никому бы я не пожаловилась, все бы горе в себе затаила, никто бы про то не узнал... А что буду делать я замужем, как стану с мужем жить — того я не знаю. Знаю одно: где муж да жена в любви да совете, по добру да по правде живут, в той семье сам Господь живет. Он и научит меня, как поспать...

Еще не кончила Дуня Смолокурова, как переставшая вышивать и с любовью во взоре глядевшая на говорившую девушку Аграфена Петровна, слышав легкий шорох снаружи, выглянула в окно.

— А у нас под окном и в самом деле Иван-царевич сидел на завалинке, — сказала она, улыбаясь.

Бросились к окнам. По обительскому двору, закинув руки за спину и думчиво склонив голову, тихими шагами удалялся от Манефиной кельи Петр Степаныч Самоквасов.

Мать Юдифа вздумала побывать у знакомых игумений Комаровского скита. Кликнула Варю, Дуняшу и Домнушку, с ними пошла. Аксинья Захаровна тоже вздумала посетить матерей, живших у Бояркиных и Жжениных, и взяла с собой Парашу. Марьюшку позвала по какому-то часовенному делу уставщица Аркадия, Фленушку — мать Манефа. Остались в горницах Аграфена Петровна с Дуней Смолокуровой.

— Хорошо говорила ты, Авдотья Марковна, — нежно целуя ее, молвила Аграфена Петровна. — Жаль, что этот Самоквасов помешал договорить тебе мысли свои. Хорошие мысли, Дунюшка, добрые!.. Будешь людям мила, будешь Богу угодна; коль всегда такой себя содержишь, Бог не оставит, счастья пошлет.

Тихой радостью вспыхнула Дуня, нежный румянец по снежным ланитам потоком разлился. Дóроги были ей похвалы Аграфены Петровны. С детства любила ее, как родную сестру, в возраст придя, стала ее всей ду-

шой уважать и каждое слово ее высоко ценила. Не сказала ни слова в ответ, но, быстро с места поднявшись, живо, стремительно бросилась к Груне и, крепко руками обвив ее шею, молча прильнула к устам ее маленьким аленьким ротиком.

Нацеловавшись с Дуней, Аграфена Петровна рукой обвила ее стан и тихо спросила:

— Давеча ты говорила, что Марко Данилыч воли с тебя не снимет... Заходили разве у вас речи про женихов и замужество?

— Заходили, — спокойно ответила Дуня. — Великим постом на мои именины, как я с батюшкой поутру поздоровалась, подарил он мне платье шелковое, серьги алмазные, жемчугу, шубу соболью. Поговорили мы, уйти я хотела, а он говорит: «Обожди, Дуня, надо мне с тобой словечко сказать, давно этого я дня дожидался». Посадил он меня с собой рядышком, сафьянную коробочку из стола вынул и подал мне: «Вот, говорит, тут кольцо обручальное, отдай его, кому знаешь; только, смотри, помни отцовский завет — чтоб это кольцо не распаялось, то есть чтоб с мужем тебе до́веку жить в любви и совете, как мы с покойницей твоей матерью жили». И тут покатались у него слезы, и долго не мог он сказать мне ни слова. Я тоже заплакала... «С небесных высот она смотрит на нас, слышит голубушка, что мы теперь с тобой говорим... Не во власти ее голосок свой умильный подать, но, живучи с ней, не слыхивал я от нее никогда супротивного слова. Что мои мысли, что ее мысли, завсегда бывали одни. И теперь, что стану тебе говорить, знай и верь, что это и мать твоя тебе говорит. Так и понимай мои речи». И опять залился слезами, и опять заплакала я. Обнял меня батюшка крепко и над головой моей выплакался. «Слушай же, — зачал опять, — сегодня восемнадцать лет тебе минуло — совсем невеста стала, хоть сейчас под венец. Доселева про эти дела я с тобой не говаривал — мала была, неразумна, полного смысла в головушке еще не было. А теперь, как восемнадцать исполнилось, девятнадцатый пошел — пришла тебе пора своим разумом жить. Слушай же, Дуня: ни мать твою, ни меня родители венцом не неволили. И я неволить тебя не стану... Дал я тебе кольцо обручальное, отдай его волей тому, кто полюбится. А прежде чем отдать, со мной посоветуй — отец я тебе, кровь ты моя — худа не при-

советую, а на ум молодую волю, пожалуй, добром наведу. Запрета тебе не кладу никакого — выбирай мужа по мысли, но без совета со мной колечка никому не давай». После того у нас речи о том не бывало.

— Добрый он у тебя, добрый и рассудливый, — молвила Аграфена Петровна. — Что ж, Дуня, придумала ль, кому колечко отдать? — прибавила она с ясной улыбкой.

— Нет еще, не придумала, — с детской простотой ответила Дуня.

— Никто не приглянулся? — продолжала Аграфена Петровна.

— Нет еще, покаместь никто, — улыбнулась Дуня такой улыбкой, что за эту улыбку любой молодец в огонь и в воду пошел бы.

— Не ищи, Дуня, красоты, не ищи ни богатства, ни знатности, — сказала ей Аграфена Петровна, — ума ищи, а пуще всего добрую душу имел бы, да был бы человек правдивый. Где добро да правда, там и любовь неизменна, а в любви неизменной все во счастье людей.

— Сама тех же мыслей держусь, — молвила Дуня. — Что красота! С лица ведь не воду пить. Богатства, слава Богу, и своего за глаза будет; да и что богатство? Сама не видала, а люди говорят, что через золото слезы текут... Но как человека-то узнать — добрый ли он, любит ли правду? Женихи-то ведь, слышь, лукавы живут — тихим, кротким, рассудливым всякий покажется, а после венца станет иным. Вот что мне боязно...

— Богу молись, — сказала на то Аграфена Петровна. — Ты вот так делай, Дуняша. Если кто тебе по мысли придется и вздумает ты за него замуж идти — не давай сначала тем мыслям в себе укрепляться, стань на молитву и Богу усердней молись, молись со слезами, сотворил бы Господь над тобой святую волю свою. И ежели после молитвы станет у тебя на душе легко и спокойно, прими это, Дуня, за волю Господню, иди тогда безо всякого сомненья за того человека, — счастье найдешь с ним. Если ж душа у тебя после молитвы не будет спокойна и сердце станет мутиться, выкинь из мыслей того человека, старайся не видеть его и больше Богу молись — избавил бы тебя от мыслей мятежных, устроил бы судьбу твою, как святой его воле угодно.

— Стану так делать, — тихо, чуть слышно молвила

Дуня, глядя с любовью на Аграфену Петровну. — Вот и теперь, как я поговорила с тобой, стало у меня на душе и светло и радостно, мысли улеглись, и на сердце стало спокойней...

— А что?.. Мысли-то, видно, бродили? — с кроткой улыбкой тихо спросила ее Аграфена Петровна.

— Немножко... Чуть-чуть... — опустив глаза, прошептала Дуня.

— Чего ж таиться? Мне-то ведь можно сказать, — молвила Аграфена Петровна, пристально взглянув на покрасневшую Дуню.

— Да нет... не стоит про то говорить... Так, одни пустые мысли... с ветру, — молвила Дуня и, припав к лицу Аграфены Петровны, поцелуями покрывала его. — Зачем это давеча Фленушка про меня помянула?.. — тихо прошептала она.

— Молись, Дуня, молись! — говорила, лаская ее, Аграфена Петровна.

Когда Фленушка вошла в келью Манефы, та показала ей на стол, где уж лежала бумага и стояла чернильница. Манефа сказала:

— Пока гости ходят по обителям, напиши-ка нужные письма. Садись. К матушке Таифе пиши наперед.

Покуда Фленушка писала обычное начало письма, Манефа стояла у окна и глядела вдаль. Глубокая дума лежала на угрюмом и грустном челе величавой игуменьи.

— Кончила, — вполголоса молвила Фленушка, подымая от письма голову.

— Пиши, — приказала Манефа и стала ходить по келье, сказывая: — «Обительский праздник святых, славных и всехвальных, верховных апостол Петра и Павла, по милости Божией и за молитвы Пресвятыя Богородицы и всех святых, провели мы благополучно. Гостей было довольно, изо всех скитов приезжали, одних игумений было двадцать четыре, я сама двадцать пятая. После трапезы было в келарне собрание: советовали насчет архиепископа да насчет надлежащих нам по скорости напастей, сиречь выгонки из скитов, о чем самые верные получены известия. Об архиепископе единогласно все согласились до поры до времени обождать принятием, понеже человек неизвестен и в

правой вере учинился не в давнем времени, а до того был в беспоповых, отчего и подает немалое сомнение насчет крепости в вере. Зело опасно, не осталось ли в нем кваса фарисейска, сиречь беспоповского духа. И тебе бы, мать Таифа, ради всеобщего покоя порадовать — будучи на Москве, поподробну осведомись об оном Антонии, чего ради перешел из беспоповской секты в нашу истинную веру, не ради ли архиерейския почести, или каких иных житейских корыстей. И справедливы ли слухи, яко бы он до беспоповства пребывал в великороссийской и после того на Преображенском кладбище перекрещивался. Если сие справедливо, то немалую вину он к сомнению подает, меняя одну веру на другую и ругаясь святому крещению его повторением. Опять же сказывают, яко бо он двоеженец: сначала-де в великороссийской приял браковенчание, а потом, овдовев, будучи уже в беспоповых, жил немалое время с другою, нарицаемою своею женою. Когда же и сие справедливо, то никак невозможно прияти его: по апостолу бы подобает епископу быти единыя жены мужу, а двоеженцы ни в какой духовный чин, не токмо на превысокую степень архиерейства, поставляемы быть не должны. Насчет же предстоящей выгонки из скитов, хотя и предлагала я бывшим на собрании, которые к нашему городу приписаны, теперь же, не дожидаясь выгонки, перевезти туда кельи, однако согласных на то не явилось. Но хотя согласных мною и не было, однако же я от своего намерения не отступлю, а после Ильина дня расположила кельи ломать и перевозиться. Потому прошу тебя, матушка, и ради Бога умоляю, поспеши ты своим прибытием — без тебя не знаю, как к чему и приступить. Святыня, которую раздала ты по Москве, пускай остается у христовлюбцев впредь до утишения наших обстоятельств... А так как Василий Борисыч в скором времени возвратится в Москву и по всей чаянности станет укорять нас, что не хотели послушать его уговоров и принять того Антония, о чем он всеусердно старался, так ты и в Питере и будучи в Москве предвари и всем благодетелям нашим возвести, что не приняли мы того Антония не ради упорства и желая с ними раздора, но токмо осмотрительного ради случая; общения же ни с кем не разрываем и по-прежнему желаем пребывать в согласии и в единении веры. Потому, сама ты посуди,

матушка, если мы теперь при нынешних наших обстоятельствах и по случаю выгонки из святых обителей, при тесном нашем обстоянии, да еще лишимся помощи наших благодетелей, то и жить чем, не знаем. И потому, слезно молю тебя, потолковее со всеми поговори, чтоб они гнева своего на нас не держали за временное наше, а не всегдашнее, несогласие, но, снисходя к нам, убогим, при таких налегающих на нас бедах, помогли бы своим вспоможением, сколько им Господь на сердце положит. А говорить бы тебе им пожалостнее и сколь возможно поумильнее, дабы в сердцах своих восчувствовали к нам, сиротам, сострадание — настоит-де теперь великая нужда помочи нам, убогим, за мир христианский Бога молящим. За сим, прекратя сие писание...» Обычно дописывай, — молвила Манефа, — шли прощение и благословение.

Кончила Фленушка, и Манефа, перекрестясь, подписала письмо, а потом сказала:

— К Полуехту Семенычу пиши.

Полуехту Семенычу было писано, чтоб закупил он кирпичу да изразцов для печей, а если нет готового кирпича, заказал бы скорей на заводе, а купчую бы крепость на все дома и на все дворовые места писал на ее одно Манефино имя, а совершать купчие она приедет в город сама после Казанской на возвратном пути из Шарпана.

— Так-то будет вернее, да и мне спокойней, — молвила Манефа, подписав письмо. — Помру, все тебе достанется, если на мое имя купчие совершим...

Ничего не ответила Фленушка.

— Опять я к тебе с прежними советами, с теми же просьбами, — начала Манефа, садясь возле Фленушки. — Послушайся ты меня, Христа ради, прими святое иночество. Успокоилась бы я на последних днях моих, тотчас бы благословила тебя на игуменство, и все бы тогда было твое... Вспомнить не могу, как ты после меня в белицах останешься — обидят тебя, в нуждах, в недостатках станешь век доживать беззащитною... Послушайся ты меня, Фленушка, ради самого создателя, послушайся...

— Ах, матушка, матушка! — вскрикнула Фленушка и вдруг смолкла, задумалась.

— Для тебя же прошу, для твоей же пользы, — продолжала Манефа. — Исполнишь мое желание, доведу

проживешь в довольстве и почете, не послушаешь — горька участь твоя. Ты уж не махонькая, разум есть в голове: обсуди, обдумай все хорошенько... Ну скажи по чистой совести, отчего не хочешь ты меня послушаться, отчего не хочешь принять иночество?

— Не снести мне, матушка! Молода еще я — не могу за себя поручиться, — взволнованным голосом ответила Фленушка, и тревожные слезы послышались в упавшем ее голосе.

— Ну хорошо, не снесешь... — полусшепотом сказала ей Манефа. — Что ж из того?.. Тайно соделанное тайно и судится; падение же очищается слезами и покаянием... Гласного соблазну только бы не было... А то, — вздохнув прибавила Манефа, — все мы люди, все человеки, все во грехах, яко в блате, валяемся... Един Бог без греха...

— Ах! Не знаю, что и сказать тебе, матушка! — с отчаяньем во взоре и с порывистым движеньем молвила Фленушка.

— Одумайся, сберись с мыслями! Говори, что у тебя на уме, — сказала Манефа.

Не ответила Фленушка.

— Слушай, — вдруг пораженная новой, не приходившей дотоле ей мыслью, сказала Манефа. — Не хочешь ли в мир уйти?

Зарыдала Фленушка и припала головой к плечу игуменьи.

— По мысли кого не нашла ли? — шептала ей Манефа.

— Не разрывай ты сердца моего, матушка!.. — едва слышно промолвила Фленушка.

— Господи, Господи!.. Вот не ждала-то я, не чаяла, — встав с места, всплеснула руками Манефа и обратила слезящий взор свой к иконам.

Наклонив голову и закрыв лицо руками, безмолвно сидела у стола Фленушка. Горько она рыдала.

Манефа тоже села. Она была в сильном волнении. Сильная краска выступила на смугло-желтом лице.

— Ни укора, ни попрека от меня не услышишь, — сдерживая порывы волнения, она говорила. — Скажи только всю истинную правду... Все, говори все, ничего не утай... Во всем покаяйся... все прощу, все покрою материнской любовью!

— Матушка!.. Поверь ты мне!.. Как перед Богом

скажу, — рыдая и ломая руки, говорила Фленушка. — Молода еще — кровь во мне ходит. Душно в обители, простору хочет душа, воли!

— Счастье не в воле, а в доле, — тихо и нежно сказала Манефа. — Неволья только крушит, а воля человека губит... Да и на что же ты ропщешь? Не в темнице живешь, за затворами да запорами?.. Разве нет тебе воли во всем?.. Говори скорей, не томи меня, всю правду скажи. Слюбилась, что ли, с кем?

Подняла Фленушка на Манефу светлый, искренний взор и сказала:

— Видит Бог, что телом чиста я, как сейчас из купели.

— А душой? — спросила Манефа.

— Мутится душа, сердце горит, разрывается... Воли мне хочется!.. — в сильном волнении говорила Фленушка. — Не совладать мне с собой, матушка!..

— Полюбила, что ли, кого?.. — чуть слышно спросила ее Манефа, опуская на глаза креповую наметку.

Замолкла Фленушка. Долго не было от нее ответа, градом текли горькие слезы по бледному лицу девушки, и слышны были судорожные, перерывчатые рыдания.

— Нет, матушка, нет!.. Теперь никого не люблю... Нет, не люблю больше никого... — твердым голосом, но от сильного волнения прерывая почти на каждом слове речь свою, проговорила Фленушка. — Будь спокойна, матушка!.. Знаю... ты боишься, не сбежала бы я... не ушла бы уходом... Самокруткой не повенчалась бы... Не бойся!.. Позора на тебя и на обитель твою не накинута!.. Не бойся, матушка, не бойся!.. Не будет того, никогда не будет!.. Никогда, никогда!.. Бог тебе свидетель!.. Не беспокой же себя... не тревожься!..

— Ах, Фленушка, Фленушка! — вскрикнула Манефа, горячо прижав к груди своей голову рыдавшей девушки. И слезы, давно не струившиеся из очей старицы, окропили бледное лицо Фленушки.

— Ты плачешь, матушка!.. — сквозь слезы лепетала, прижимаясь к Манефе, Фленушка. — Вот какая я злая, вот какая я нехорошая!.. Огорчила матушку, до слез довела... Прости меня, глупую!.. Прости, неразумную!.. Полно же, матушка, полно!.. Утоли сердце, успокой себя... Не стану больше глупых речей заводить, никогда из воли твоей я не выйду... Вечно буду в твоём послушанье. Что ни прикажешь, все сделаю по-твоему...

— Фленушка!.. Знаю, милая, знаю, сердечный друг, каково трудно в молодые годы сердцем владеть, — с тихой грустью и глубоким вздохом сказала Манефа. — Откройся же мне, Расскажи свои мысли, поведай о думах своих. Вместе обсудим, как лучше сделать — самой тебе легче будет, увидишь... Поведай же мне, голубка, тайные думы свои... Дорога ведь ты мне, милая моя, ненаглядная!.. Никого на свете нет к тебе ближе меня. Кому ж тебе, как не мне, довериться?

— Повремени, матушка, — отирая слезы, молвила Фленушка. — Потерпи немножко. Скоро, скоро все расскажу. Все, все. А теперь... Вон матушка Юдифа идет, — прибавила она, взглянув в окошко. — Как при ней говорить... Погоди немножко, всю душу раскрою тебе...

И, поцеловав руку Манефы, тихо пошла вон из кельи. Молча глядела игуменья на уходившую Фленушку, и когда через несколько минут в келью вошла Юдифа, величавое лицо Манефы было бесстрастно. Душевного волнения ни малейших следов на нем не осталось.

Глава двенадцатая

Простившись с Патапом Максимычем, Василий Борисыч к Манефе пошел. Он не видался еще с нею после собора.

— Ну, что порасскажете, любезный мой Василий Борисыч? — слегка улыбнувшись, спросила его игуменья после обычного начала и метаний. — Хорошо ль отдохнули после вчерашних трудов?

— После вчерашнего не скоро отдохнешь, матушка!

— Про то поминаешь, что до солнышка-то? — усмехнулась Манефа.

— Нет, матушка, не с того похмелья у меня голова болит... Вы вечер меня употчевали, — с укором сказал ей Василий Борисыч.

— Про обед говоришь?

— Не про обед, а про то, что после обеда-то было, — сказал московский посол. — Про собрание говорю, матушка, про собрание... Таково вы меня угостили, что не знаю теперь, как в Москву и глаза показать.

— Что ж делать, любезный Василий Борисыч? — вспыхнула немного Манефа. — Сам был очевидцем,

сам был и послухом. Слышал, как матери приняли ваше московское послание. У всякого свой ум в голове, Василий Борисыч, у всякого свое хотенье... Всех под свой салтык не подведешь... Так-то!

— Захотели б вы, матушка, все могли бы обделать, — сказал Василий Борисыч. — Они вас во всем слушаются. Это малому даже ребенку видно. Приняли же совет ваш. Что вы сказали, то и уложили.

— А ты думаешь, так бы и послушались, если б я стала возносить вашего Антония?.. Как же!.. — говорила Манефа. — Нет, Василий Борисыч, не знаешь ты наших соборов, да и людей-то здешних мало, как вижу я, знаешь. Не то что по такому великому делу, какого двести лет не бывало, по пустяшным делам, по хозяйству либо по раздаче присылок без большого шума у нас никогда не бывает. Тут, сударь, у всякой пташки свои замашки, у каждой птички свой голосок. Ум на ум не приходится, да и друг дружке покориться не хочется. Глафириных аль Игнатьевых взять, либо Нонну Гордеевскую. У них на разуме: «Кто-де как хочет, а я как изволю». С такими советницами какое дело поделаешь? Грех один. И за то спасибо скажи, что наотрез не отказали тебе.

— Да разве это не отказ? — недовольным голосом сказал Василий Борисыч.

— Не отказ, — ответила Манефа. — Тебе сказали: «Повремени — подумаем». Как же ты хочешь, чтоб в таком великом деле сразу согласились? То размысли, любезный Василий Борисыч: жили мы, почитай, двести годов с бегствующими попами, еще деда и прадеды наши привыкли к беглому священству. Вот мы и век доживаем, а того же сызмальства держалися. И вдруг завелись свои архиереи, свои попы, своя иерархия!.. До кого ни доведись, всяк призадумается. Не испытавши доподлинно, кто согласится принять?.. Дело душевное, великое дело!.. Ведь если что не так в вашем архиерействе окажется — навеки души-то погубим, если, хорошенько не испытавши, примем, по приказу москвичей, епископа. Когда затевали это дело, спросились ли они нас?.. Известили ль кого из наших хоть малым писанием?.. Ну-ка, скажи.

— Как же, матушка, не спросились? — возразил Василий Борисыч. — На московском соборе от вас было двое послов: старец Илия улангерский да отец Пафну-

тий, керженского благовещенского монастыря строитель и настоятель.

— Несодетанные речи говоришь ты, Василий Борисыч... — молвила Манефа. — Отец-от Илия без малого двадцать лет помер, да и отцу Пафнутию больше десяти годов, как преставился, — молвила Манефа.

— Про тот собор говорю я, матушка, что на Рогожском кладбище был в семь тысяч триста сороковым году¹, на другой год после первой холеры, — сказал Василий Борисыч. — Тогда ото всех обителей Керженских и Чернораменских предъявлено было согласие искать архиерейство и утвердить владычный стол в ком-либо зарубежном граде.

— Что б уж тебе, Василий Борисыч, про Ноев ковчег вспомнать, — усмехнулась Манефа. — Тому делу, что сказываешь, двадцать лет минуло. Неужто во столько времени ваши московские не могли изобрать времени, чтоб о столь великом деле во всей подробности известными сделать нас?.. Сами же вы, сиречь Рогожского кладбища попечители, покойницу матушку Екатерину, мою предместницу, извещали, что деяние московского собора триста сорокового года яко не бывшее вменили. Цела у нас та московская грамота — хочешь, сейчас перед тобой выложу? После того как вновь затеяли дело, отчего ж не потребовали нашего согласия?.. Василий Борисыч! Керженец в нашем христианстве что-нибудь да значит — не деревушка какая, не городишко захолустный! Можно бы, кажется, было почтить наши святые места хоть бы самым кратким писанием. Не безвестные мы какие! Керженца имя двести годов высоко по всему христианству держалось, — как бы, кажись, его позабыть?

— Не посетуйте, матушка, что скажу я вам, — молвил Василий Борисыч. — Не забвение славного Керженца, не презрение ко святым здешним обителям было виною того, что к вам в нужное время из Москвы не писали. Невозможно было тогда не хранить крепкой тайны происходившего. Малейшее неосторожное слово все зачинание могло бы разрушить. И теперь нет ослабы христианству, а тогда не в пример грознее было. Вот отчего, матушка, до поры до времени то дело в тайне у нас и держали.

¹ В 1832 году.

— Не к тому я молвила, чтоб жалобы тебе приносить, — сказала Манефа. — Московскими благодетелями мы очень довольны. Дай им, Господи, доброго здравия и душам спасения!.. К тому говорю я, Василий Борисыч, что невозможно было вчера от здешних матерей требовать, чтоб они, ничего не видя, так тебе вдруг и согласились на принятие архиепископа... Он же, как сам говоришь, в недавнем лишь времени к истинной вере от беспопового суемудрия обратился. А мы к тому слышали еще, о чем вчера на собрание я промолчала, якобы твой Антоний еще прежде беспоповства пребывал в великороссийской церкви, а потом перекрещеванцом стал и якобы был двоеженец. По правилам, в столь сомнительных случаях подобает все испытать подробно... Как же нас укорять, что мы испытать желаем, да не впадем в сеть ловчу?.. Сам посуди. А общения с приемлющими его не разрываем, держим только себя опасно.

— Очень неприятно это будет в Москве, — молвил Василий Борисыч.

— Мы, государь мой, не Москве, а Господу Богу работаем, — с важностью сказала Манефа. — Не человеческой хвалы, спасения душ наших взыскуем. Не остуды московских тузов страшимся, а вечного от Господа осуждения... Вот что скажи на Москве, Василий Борисыч!

— Однако ж, матушка... — начал было Василий Борисыч, но одумался, не договорил.

— Что «однако ж»? Договаривай, коли начал, — спокойно сказала Манефа.

— Нет, я так... — смешался московский посол.

— Договаривай, договаривай, — настаивала Манефа. — Ведь мы не насчет гулянок с Патапом беседуем, о деле великой важности толкуем... Скажи, что хотел говорить?

— Я было хотел сказать, что и батюшке Ивану Матвейчу, и матушке Пульхерии, и Мартыновым, и Гусевым, и всем главным лицам нашего общества ваше решение станет за великую обиду. Они старались, они ради всего христианства хлопотали, а вы, матушка, ровно бы ни во что не поставили ихних стараний, не почтили достойно ихних трудов, забот и даже опасности, которой от светского правительства столько они раз себя подвергали.

— А!.. Вот что!.. — с желчной раздражительностью вскрикнула Манефа. — Им бы хотелось, чтоб мы по их приказу стадом баранов сломя голову метнулись, куда им угодно?.. Нет, Василий Борисыч, на Керженце этого никогда не бывало, да никогда и не будет... Тельцу златому не поклонимся!.. Мы люди лесные, простые, московских обычаев не ведаем. У вас на Москве повелось, что в духовные дела миряне вступают, — мы того не допустим. Так и скажи им, Василий Борисыч!.. Не нам мирских богачей слушаться, по духовному делу они должны нас послушать... Они Христовой церковь, как лавками либо конторами своими, вздумали править... Этого мы не потерпим. Хотя б общенье пришлось разорвать, хотя б ото всех благодетелей оставлены были, хоть бы нам с голоду пришлось помирать, божией церкви не продадим.

— Жестокі слова ваши, матушка, — молвил сильно смущенный Василий Борисыч. — Не поскорбите на меня, а доложу я вам, что такое ваше мнение насчет попечителей и старейших членов нашего общества весьма несправедливо... Позвольте разъяснить все дело, как оно было доселе и как теперь идет.

— Будем слушать, — холодно промолвила Манефа, сложив руки на коленях и склонив голову.

Начал Василий Борисыч:

— Когда воспрещено было нашим христианам при молитвенных храмах дозволенных попов содержать, тогда по малом времени всюду настало «великое оскудение священства». Великая духовная нужда налегла повсеместно, и многие древлеблагочестивые христиане, не имея освящающих и будучи лишены церковных таин, в беспоповское суемудрие впадали, иные ж «сумленных попов» принимали — беглых солдат, либо других шатунов каких. Великое от того нестроение было, и не столько в Москве, сколько по местам отдаленным, хоть бы ваше место к примеру взять. В Москве на Рогожском кладбище доживали свой век последние дозволенные попы, и оттого нам нужды такой еще не настояло, какая вас постигла. Тогда, не о себе заботясь, а больше всего о вас, иногородных, болезнуя и сострадая словесным овцам, пастыря неимущим, первостатейные из нашего общества: Рахмановы, Соколовы, Свешниковы и многие иные, не чести ради или какого превозношения, но единственно христианского

ради братолюбия и ради славы церкви Христовой, подъяли на себя великий и опасный труд — восстановить позябший от двухсотлетнего мрака корень освящения, сиречь архипастырство учредить и церковь Христову полным чином иерархии украсить... По благословению батюшки Ивана Матвееча и многих нарочито прибывших тогда в Москву отцов: Силуяна иргизского, Симеона Лаврентьева монастыря с Ветки, Рафаила Покровского монастыря, Сергия и Ипполита Никольского монастыря из слобод Стародубских, отцов Илии и Пафнутия керженских и с общего совета присланных ото всех старообрядских обществ совещателей, единогласно приговорили и, конечно, уложили: искать епископа, да проистечет от него навеки неиссякаемый источник освящения. В Питер дали знать о том, и там первостатейные лица нашего согласия стали тому делу весьма усердны: Громы, Дрябины, Боровков и другие. Когда же милостию божиею тому делу начало было положено и приисканы люди для искания архиерея во иных державах, то дело в великой тайне оставили, опасаясь могущих возникнуть препон, каковые впоследствии и оказались. И дело то происходило немалое время, и лишь только через двенадцать лет после первого Рогожского собора в зарубежной Белой Кринице водворился митрополит всех древлеправославных христиан кир Амвросий, от него же корень епископства произыде... Не то чтобы призвать вас и других христиан, по отдаленным местам живущих, к исканию архиерейства было невозможно, но паче таить обо всем надлежало, да не разрушено было бы наше предприятие в самом начале. И теперь, по устройении священной иерархии, первостатейные наши лица всячески стараются и не щадят никаких иждивений на процветание за рубежом освященного чина, труды подъемлют, мирских властей прещения на себя навлекают, многим скорбям и нуждам себя подвергают ни чего ради иного, но единственно славы ради божией, ради утверждения святой церкви и ради успокоения всех древлеправославных христиан древлего благочестия, столь долгое время томимых голодом, не имея божественных трапезы тела и крови Христовой.

— Кончил? — спросила Манефа, когда Василий Борисыч приостановился.

— Что ж, матушка, разве неправду говорю? — молвил он ей в ответ.

— Правда не речиста, Василий Борисыч, много слов на нее не надо, а ты сколь наговорил? — улыбнулась Манефа. — Что усердствовали московские, за то им честь и великая благодарность. А что властвовать задумали, паче меры захотели выситься над нами, то им в стыд, во срам, в позор и поношенье!.. Гордыня обуяла их, Божиим делом стали кичиться и тщеславно в заслугу себе поставлять, что Господь их руками устроил... Нет, Василий Борисыч, приедешь в Москву, скажи всем: «Беден, мол, и немощен старый Керженец, и дни его сочтены, но и при тесном обстоянии своем мирским людям он по духовному делу не подчинится». Вспомнили бы слова Григория Богослова: «Почто твориши себя пастырем, будучи овцою, почто делаешься главою, будучи ногою?» Скажи им, что мы свято храним правила вселенских соборов и святых отец, а в шестьдесят четвертом правиле шестого собора что сказано? «Не подобает мирянину брати на себя учительское достоинство, но повиноватися преданному от Господа чину». А что́ есть преданный от Господа чин? Первое — чин освященный: епископы, пресвитеры, диаконы, за сим чин иноческий, тоже освященный... Так аль нет?.. Освященный ведь?.. Стало быть, не нас учить, не нами властительски повелевать московским мирским людям довлеет, а от нас поучаться, нам повиноваться... Сам ты тверд в Писании, лучше других знаешь. Правду аль нет говорю?.. И тебе бы, Василий Борисыч, не повеления мирян пребывающим в иноческом чину передавать, не грозить бы нам, убогим, их остудой, а их бы поучать от божественного Писания, да покорятся освященным и да повинуются святей божией церкви...

— Матушка! да какие ж от наших московских бывали к вам повеления?.. Какое властительство?.. Помилуйте! — оправдывался Василий Борисыч. — Вам только предлагают церковного ради мира и христианского общения принять архиепископа, а власти никакой над вами иметь не желают. То дело духовных чинов. Примете архиепископа — его дело будет...

— Сумнителен, — молвила Манефа. — И прежде я не раз говорила тебе, что насчет этого дела мы пока еще ни на что не решились, колеблемся... По времени

увидим, что за человек ваш хваленый Антоний. А не увидим, так услышим об его действиях. Чего доброго, такой же еще будет, что Софрон. Таких нам не надо.

— Какой же ответ будет от вас? Что прикажете на Москве доложить? — после долгого молчания спросил Василий Борисыч.

— А то и ответ: желают-де повременить. Да я сама к Петру Спиридонычу письмо с тобой пошлю, подробно опишу все наши обстоятельства и все наши сомнения. Когда думаешь отправляться?

— Да по мне чем скорее, тем лучше, — ответил Василий Борисыч.

— В Шарпан не поедешь?

— Что мне там делать? Дело мое на Керженце кончено, — сухо, недовольным голосом ответил московский посланник.

— Богородице помолился бы, чудной иконе ее поклонился бы, поглядел бы на дивную нашу святыню, — молвила Манефа. — Опять же и матушка Августа очень звала тебя — старица почтенная, уважить бы ее надо. Собрание же будет большое — еще бы потолковал с матерями. А впрочем, как знаешь: свой ум в голове.

— Нечего мне больше толковать с матерями, все было протолковано, — сказал Василий Борисыч.

— Все бы лучше съездить, а то, пожалуй, зачнут говорить: со злом-де на сердце поехал от нас, — сказала Манефа. — Мой бы совет съездить, а там мы бы и держать тебя больше не стали. А впрочем, как знаешь: мне тебя не учить.

— Не знаю, что сказать вам на это, матушка, — отвечал Василий Борисыч. — Вот теперь хоть насчет бы Москвы — как приеду туда, как покажусь? Победом заедят. Жизни не рад станешь. А ведь я человек подначальный.

Молчала Манефа.

— Разве уж к Патапу Максимычу в самом деле в приказчики идти? — молвил Василий Борисыч, думая кольнуть тем Манефу.

— Твое дело, — сухо промолвила она, глядя в окошко.

Опять замолчали.

— Счастливо оставаться, матушка, — сказал, наконец, Василий Борисыч. — Прости, матушка, благослови.

И по чину сотворил уставные метания.

— Бог простит, Бог благословит, — проговорила прощу Манефа, и Василий Борисыч медленно вышел из кельи.

Жалко стало Василию Борисычу, что на прощанье маленько поразладил он с матерью Манефой. Полюбил он умную, рассудительную старицу, и во время житья в Комарове искренно к ней привязался... И вдруг на последних-то днях завелась ссора не ссора, а немалая оступда.

Обошел он знакомую обитель по всем закоулкам, на окна больше поглядывал, не увидит ли где ненаглядную Дуню Смолокурову. Не удастся ль хоть глазком на нее взглянуть. Но никого, кроме Марьи головщицы, не встретил. Говорит ей Василий Борисыч:

— Домой собираюсь, Марьюшка. Прощайте, не поминайте лихом. А не попеть ли нам на прощанье?.. Скликай девиц.

— Что мало погостил?.. Аль соскучился? — спросила Марьюшка.

— Пора и честь знать, не век же гостить, — ответил Василий Борисыч.

— А я думала, что вам от нас и повороту не будет, — вскинув на него лукавыми глазками, с легкой усмешкой промолвила Марьюшка.

— Почему ж так? — спросил Василий Борисыч.

— Так уж я догадалась, — молвила Марьюшка.

— Да с чего ж догадалась-то?.. С чего? — приставал Василий Борисыч.

— Да уж так! У меня свои приметы есть, — улыбаясь, молвила Марьюшка.

— Какие приметы?

Но сколько ни приставал Василий Борисыч, ничего больше ему не сказала.

«Ох, искушение!.. Не заметила ль и она чего в Улангере», — подумал про себя Василий Борисыч.

«Поскорей надо Фленушке про это сказать», — подумала Марья головщица.

— Ступайте в келарню, Василий Борисыч! Давайте в самом деле споем что-нибудь... Может статься, в остатный разок, — сказала Марьюшка. — Мигом скликну девиц.

Василий Борисыч в келарню пошел, Марыюшка к Фленушке в горницу.

Пласто́м лежала на постели Фленушка. В лице ни кровинки, губы посинели, глаза горят необычным блеском, высокий лоб, ровно бисером, усеян мелкими каплями холодного пота. Недвижный, утомленный взор устремлен на икону, что стояла в угольной божнице.

«Все ли слышал, все ли мои речи выслушал ты, друг мой сердечный, Иван-царевич ты мой?.. Наговорила я и невесть чего... Только б остуде быть в тебе!.. Только покинул бы ты меня, горькую, забыл бы про меня, бесталанную!.. А уж как бы я любила тебя, как бы жалела, берегла тебя!.. День бы деньской и ночью во сне об одном о тебе бы я думала, во всем бы ужодала другу милому, другу моему советному... Нельзя!.. Матушка!.. Во гроб ее сложишь!.. Я же бедная, а он богат — из его рук пришлось бы смотреть, его милостями жить... Да и что ему за жена келейница? Стыдно б ему было и в люди меня показать!.. Живи, мой сердечный, живи, живи с другой в счастье, в радости... Не загублю я жизни твоей... Вот бы ему в самом деле Дуня Смолокурова!.. Ох, милый ты, милый, сердечный ты мой!.. Матушка опять говорила про иночество... Пропадай моя жизнь!» — так думала сама с собой Фленушка, недвижно, почти бездыханно лежа на постели.

Вдруг влетела в горницу Марья головщица.

— Что ты, Марыюшка? — слабым голосом спросила ее Фленушка.

— Я было к тебе... Да чтой-то с тобой?.. Аль неможется? — спрашивала головщица.

— И то неможется, — ответила Фленушка, тихо поднимаясь с постели. — Голова что-то болит.

— А я было с весточкой, — прищулив глаза и слегка мотнув головой, молвила Марыюшка.

— Что такое? — встав с постели и сев у окна, возле пялец, спросила Фленушка.

— Ехать собирается, — сказала Марыюшка.

— Кто?

— Василий Борисыч.

Вскочила Фленушка с места. Мигом исчезла бледность в лице ее.

— Кто сказал? — быстро спросила она.

— Сам говорил, — молвила Марьюшка. — Певчую стаю в келарню собирает, в останний раз хочет с нами пропеть... В келарню пошел, а я к тебе побежала — сказать...

— Врет! — топнув ногой, вскрикнула Фленушка и быстрыми шагами стала ходить взад и вперед по горнице. — Не уехать ему!.. Не пущу!.. Жива быть не хочу, а уж он не уедет!.. На Казанскую быть ему венчану... Смерти верней!..

— Да как же ты остановишь его?.. Не подначальный он нам, захочет уехать — уедет, — говорила Марьюшка.

— Так ли, этак ли, а его не пущу... Придумаю!.. Ступай, Марьюшка, собирай девиц, пойте, да пойте как можно подольше... Слышишь?.. До сумерек пойте... А я уж устрою... Во что бы ни стало устрою!..

Вышла из горницы Марьюшка, а Фленушка по-прежнему взад да вперед по горнице быстро ходила... «Надо Параше здесь остаться». Так она придумала.

Глава тринадцатая

Вчерашний именинник, Петр Степаныч Самоквасов, после шумной пирушки спал долго и крепко. Прóспал бы он до полден, да солнце мешало. Заглянуло в окошко большой светлицы Бояркиных, облило горячими лучами лицо черствого именинника¹ и так стало припекать его, что, вскочив как сумасшедший и смутным взором окидывая светлицу, не сразу понял, где он. Во рту пересохло, голова как чугунная, в глазах зелень какая-то. Вспомнил, что важно справил свои именины. Взглянул на часы — стали, плюнул, выбранился, стал одеваться. Едва успел кончить, в светлицу вошла мать Таисея с чайным прибором на тагильском подносе, за ней толстая дебелая Варварушка, с боку на бок переваливаясь, несла кипящий самовар.

— С добрым утром поздравляю, с черствыми именинами! — с лукавой усмешкой сказала игуменья, ставя на стол поднос с чашками.

Петр Степанович чин чином: сотворив два метания, простился, благословился.

¹ Черствыми именинами зовут день, следующий за днем ангела.

— Никак вечер до солнышка вплоть? — по-прежнему улыбаясь, спросила мать Таисея

— Было дело, матушка, — отрезал Самоквасов. — Признаться сказать, не помню, как и до светлицы доволокася... Шибко зашибли!

— Ах вы, греховодники, греховодники! — шутливо говорила игуменья. — Выдумают же такие дела во святой обители чинить! Что ни стоят скиты, а такого дела ни у нас, ни по другим местам не бывало... Матушка-то Манефа, поди-ка, чать, как разгневалась...

— Что мы у нее посуды переколотили? — махнув рукой, усмехнулся Самоквасов.

— Посуда-то чем провинилась? Ах вы, озорники, озорники! Ну, да уж не диви бы на вас, молодых, старики-то, старики-то туда же! Чем бы унимать молодых, а они сами! — говорила мать Таисея.

— И зачинщиками-то они были... Мы бы разве посмели? — сказал Петр Степаныч.

— Так я и думала, — молвила Таисея. — А всем затеям корень, поди, чай, Патап Максимыч. Буен во хмелю-то. Бедовый! Чуть что не по нем, только держись.

— Он, матушка, все и затевал. И Марко Данилыч тоже, и голова Михайло Васильич, — отвечал Самоквасов. — А мы, что же? Молокососы перед ними... а другое слово сказать, не отставать же нам от старших. Нельзя! Непочтительно будет. Старших почитать велено, во всем слушаться... Ну, мы и слушались.

— Вестимо, их вина, — сказала Таисея. — Как молодым старших учить, как супротив их идти? Ни в больших, ни в малых, ни в путных, ни в беспутных делах, так не ведется... Выкушай-ка, сударь Петр Степаныч, — прибавила она, подавая Самоквасову чашку чаю. — А не то опохмелиться не желаете ли? Я бы настоечки принесла сорокатравчатой, хорошая настоечка, да рыжечков соленьких либо кисленького чего, бруснички, что ли, аль моченых яблочков. Очень полезно после перепоя-то. Одобряют...

— Нет уж, матушка, лучше не стану. А то чего доброго: похмеляться зачнешь, да опять запьешь, — молвил, усмехаясь, Самоквасов. — Мы уж лучше ужо, на простилах со стариками.

— Нешто седни отъезжают? — с любопытством спросила мать Таисея.

— Вечером собираются, — ответил Петр Степаныч. — Опять у вас по скиту тишь да гладь пойдет, опять безмятежное житие зачнется. Спасайтесь тогда себе, матушки, на здоровье. От нашего брата, от буяна, помехи вам больше не будет, — шутливо прибавил он.

— Какое наше спасенье! — смиренно вздохнула мать Таисея. — Во грехах родились, во грехах и скончаемся... Еще чашечку!.. Грехи-то, грехи наши, сударь Петр Степаныч!.. Грехи-то наши великие!.. Как-то будет их нести перед страшного судию, неумытного?.. Как-то будет за них ответ-от держать!.. Ох ты, Господи, Господи!.. Царь ты наш небесный, Боже милостивый... Так и Марко Данилыч седни же едет?

— Сегодня хотел, — отвечал Самоквасов.

— И с дочкой?

— Должно быть, и с дочкой.

— Гм! А мы чаяли, что Дунюшка-то маленько погостит у матушки Манефы, на старом-то на своем пепелище. Здесь ведь росла, здесь и обучалась, — говорила мать Таисея. — Впервые после того навестила наш Комаров... Видел, какая красавица?.. Вот бы тебе невеста, Петр Степаныч, — прибавила, немного помолчав, мать Таисея. — Право!.. Гляди-ка, краля какая! Пышная, здоровая, кровь с молоком. А нрава тихого, кроткая, разумная такая да рассудливая... Опять же одна дочь у отца, а капиталы у него великие. К твоему-то богатству да ее-то бы...

— Никак, матушка, в свахи пошла? — засмеялся Самоквасов. — В какие идешь? В жениховы, в погуби-красу али в пуховые? ¹

— К слову пришлось, сударь ты мой Петр Степаныч, к слову пришлось, потому и сказала, — умильно проговорила мать Таисея. — А в заправские свахи как чернице идти?.. Только вас почитаючи и вашего дядюшку Тимофея Гордеича, наших великих благодетелей, а по глупому своему разуму так полагаю, что, ищи ты, сударь мой, аль не ищи себе хорошей невесты по всему свету вольному, навряд такую найдешь, как

¹ На больших, богатых свадьбах бывают три свахи: «женихова» — которая сватает; «погуби-красу», она же «расчеши-косу», иначе «невестина» — что находится при встрече во время свадебных обрядов и расчесывает косу после венчанья; «пуховая», или «постельная», — которая отводит молодых на брачную постель, а поутру убирает ее.

Дуняша Смолокурова. Правду тебе сказываю. Девуца по всему распрекрасная, кого хочешь спроси... Право, женись-ка на ней, Петр Степаныч! Не успокоаешься!

— Не в примету мне что-то она, — небрежно молвил Самоквасов и неправду сказал.

В часовне всю службу издали на нее зѣрился и после того не раз взглядывал на красавицу. Думал даже: «Не Фленушке чета, сортом повыше!» Но не заговори про Дуню мать Таисея, так бы это мимо мыслей его и пролетело, но теперь вздумалось ему хорошенько рассмотреть посуленную игуменьей невесту, а если выпадет случай, так попытать у ней ума-разума да приглядеться, какова повадка у красавицы.

— А как же насчет читалки-то? — спросил Петр Степаныч, желая свести Таисею на иной разговор.

— Дело слажено, — ответила мать Таисея. — Готова, сударь мой, готова, седни же отправляется. Так матушка Манефа решила. На отправку деньжонок бы надо, Петр Степаныч. Покутиться хоть у ней же, у матушки Манефы. Она завсегда при деньгах, а мы, убогие, на Тихвинскую-то больно поиздержались.

— Сколько надо? — спросил Самоквасов, раскрывая бумажник.

— Да рубликов бы десятка полтора али два, а если милость будет, так и побольше. Надо справить девуцу по-хорошему. Каков дом, такова и обрядня¹, а она вишь в какой дом-от поступает, — прищурясь и с сладкой улыбкой глядя на туго набитый бумажник Петра Степаныча, говорила мать Таисея. Так блудливый, балованный кот смотрит на лакомый, запретный кус, с мягким мурлыканьем хѳдя тихонько вокруг и щуря чуть видные глазки.

— Извольте получать, — сказал Самоквасов, положив на стол три красненьких и пододвинул их рукой к игуменье.

Быстро с места поднявшись и деньги приняв, отвесила низкий-пренизкий поклон мать Таисея.

— Благодарим покорно, родимый ты мой Петр Степаныч, — заговорила она сладеньким голосом. — Благодарим покорно за ваше неоставление. Дай вам, Господи, доброго здравия и души спасения. Во веки не забуду.

¹ Обрядня — женское хозяйство, женский обиход — платье, белье и пр., также все до стряпни относящееся.

дем вашей любви, завсегда пребудем вашими перед Господом молитвенницами.

— Сегодня пошлете девицу-то? — спросил Петр Степаныч.

— Сегодня ж отправим, — ответила мать Таисея. — Я уж обо всем переговорила с матушкой Манефой. Маленько жар свалит, мы ее и отправим. Завтра поутрѹ сядет на пароход, а послезавтра и в Казани будет. Письмо еще надо вот приготовить и все, что нужно ей на дорогу. Больно спешно уж отправляем-то ее. Уж так спешно, так спешно, что не знаю, как и управимся...

— Кого отправляете? — спросил Самоквасов.

— А Устинью Московку, коли знаете у Манефиных, — отвечала мать Таисея. — Хорошая девица, искусная, завсегда в хороших домах жила, всякие порядки может наблюдать. Годов никак с пять в Москве у купцов выжила, очень довольны ею оставались. Худую к таким благодетелям, как вы, не пошлем, знаем, какую девицу к каким людям послать. И держит вокруг себя чистенько, и в беседе когда случится речистая, а насчет рукоделья ее тоже взять. А уж насчет псалтыря нечего и говорить — мало бывает таких читалок. Останетесь довольны, заверяю вас, Петр Степаныч, что останетесь довольны... Так и дяденьке опишите: хорошую, мол, девицу мать Таисея в читалки к нам посылает.

— Бойка никак она? — заметил Самоквасов.

— Бойка, сударь, точно что бойка, потому что молодая, не упрыгалась. Оттого и бойконька, — сказала мать Таисея. — Это уж завсегда так, до чего ни доведись... Возьми хоть телушку молоденькую — и та не постоит на месте, все бы ей прыгать да скакать, хвост подымя. А оттого, что молодая!.. Так и человека взять, сударь ты мой, Петр Степаныч, молодость-то ведь на крыльях, старость только на печи!.. О-хо-хо-хо-хо!.. А вам бы насчет Устиньи, батюшка, не сумлеваться — отведет свое дело, как следует... Потому девушка строгая, ни до какого баловства еще не доходила, никаким мотыжничеством не занималась, а насчет каких глупостей — ни-ни. А молодая, так это не беда — молодая-то сноси-вей да работнее. Старую послать не хитрое б дело, нашлось бы таких и в нашей обители, не стала б я чужим кланяться, да вам-то несподручно было бы с ней. Старому человеку надобен покой, потому что стары-то

кости болят, ноют, а в старой крови и сугреву нет. Где старухе годовую свечу выстоять. На всяку работу, какую возьми, Петр Степаныч, кто помоложе, тот рублем подороже. Так-то, сударь мой, так-то, родной!

— Да я ничего, я только так... К слову пришлось, — молвил Самоквасов. — По мне ничего, что бойка — на молодую-то да на бойкую и поглядеть веселее, а старуха что? Только тоску на весь дом наведет.

— Ой ты, ба́ловник, ба́ловник! — усмехнулась мать Таисея. — Не любишь старух-то, все бы тебе молодых! Эй, вправду, пора бы тебе хорошую женушку взять, ты же, кажись, мотоват, а мотоват да не женат, себе же в наклад. Женишься, так на жену-то глядячи, улыбнешься, а холостым живучи, на себя только одного глядя, всплачешься.

— А воля-то молодецкая, матушка? Разве не жалко с ней расставаться? — бойко, уда́ло сказал Петр Степаныч.

— Холостая воля — злая доля, — молвила Таисея. — Сам Господь сказал: «Не добро жити человеку единому». Стало быть, всякому человеку и надобно святой божий закон исполнить...

— А тебя, матушка, взять и всех ваших матерей и белиц... Не исполнили же ведь вы закону, не пошли замуж, — весело усмехаясь, подхватил Самоквасов.

— Наше дело, Петр Степаныч, особое, — важно и степенно молвила мать Таисея. — Мы хоша духом и маломощны, хоша как свиньи и валяемся в тине греховной, обаче ангельский образ носим на себе — иночество... А ангелы-то Господни, сам ты не хуже нашего знаешь, не женятся, не посягают... Иноческий чин к примеру не приводи — про мирское с тобой разговариваю, про житейское...

— А может, и я постриг приму, может, и я кафтырь с камилавкой надену? — шутливо промолвил Самоквасов.

— Ох ты, инок! — засмеялась мать Таисея. — Хорош будешь, неча сказать!.. Люди за службу, а ты за те стихеры, что вечер с Патапом Максимычем пел.

— Остепенюсь! Не нарадуешься тогда, на такого инока глядячи, — с громким смехом молвил Петр Степаныч.

— А ты лучше женись да остепенись, дело-то будет вернее, — сказала на то Таисея. — Всякому человеку

свой предел. А на иноческое дело ты не сгодился. Глянь-ко в зеркальце-то, посмотри-ка на свое обличье. Щеки-то удалью пышут, глаза-то горят — не кафтырь с камилавкой, девичья краса у тебя на уме.

— Да ты, матушка, в разуме-то у меня глядела, что ли? — с веселой усмешкой промолвил Петр Степаныч.

— Глядеть, сударь, я в твоём разуме не глядела, — ответила мать Таисея, — а по глазам твои мысли узнала. До старости, сударик мой, дожила, много на своём веку людей перевидала. Поживи-ка с мое да пожуй с мое, так и сам научишься, как человечески мысли на лице да в глазах ровно по книге читать... А вправду бы жениться тебе, Петр Степаныч... Что зря-то болтать-ся?.. Чем бы в самом деле не невеста тебе хоть та же Дуня Смолокурова? Сызмальства знаю ее, у нас выросла; тихая росла да уважливая; сыздетства по всему хороша была, а уж умная-то какая да покорная, добрая-то какая да милостивая!.. Право слово!.. Бывало, родитель гостинцев к празднику ей пришлет, со всеми-то она, белая голубушка, поделится, никого-то не забудет, себе, почитай, ничего не покинет, все подружкам раздаст. А как стала она подрастать, упросила родителя привозить ей с ярмарки ситчику, холстиночки, платочков недорогих и всех-то, бывало, бедных сирот обделит. Да все ведь по тайности, чтоб люди не знали... Много за нее мольщики перед Господом было... Хорошая девица, хорошая!.. Таких только поискать!

Пришел Семен Петрович. Встал он задолго прежде названного хозяина и успел уж проведать Василья Борисыча. Нашел его в целости: спал таким крепким сном, что хоть в гроб клади.

Мать Таисея, еще раз поблагодаривши Самоквасова за три красненькие, пошла хлопотать по отправке Устиньи Московки.

— Что, Сеня?.. Трещит в голове? — спросил Самоквасов.

— Совсем разломило, — ответил Семен Петрович. — Похмелье хуже лихоманки. Беда!.. С ног даже бьет.

— Не полечиться ли? — молвил Петр Степаныч, доставая из чемодана баклажку.

— Можно, — весело улыбнувшись и потирая руками, сказал Семен Петрович.

— Таисея потчевала меня сорокатравчатой... Дурака нашла, стану я пить ихнюю дрянь, как в баклажке есть

еще померанцевая, — смеялся Петр Степаныч, наливая стаканчики.

Опохмелились. Немного погодя, еще пропустили померанцевой.

— Чаю не хочешь ли? — спросил Самоквасов.

— Чай мне не по нутру, было бы вино поутру, — отшутился Семен Петрович. — Разве с постными сливками?

Постных сливочек из дорожного погребца достали и выпили по хорошему пуншику. Оправясь тем от похмелья, пошли из светлицы вон: Семен Петрович караулить Василья Борисыча, Самоквасов от нечего делать по честным обителям шататься да на красных девушек глазеть.

Побывал у Глафирных, побывал и у Жжениных, побеседовал с матерями, побаясничал с белицами. Надоело. Вспало на ум провести товарищей вчерашней погулки. Проходя к домику Марьи Гавриловны мимо Манефиной «стаи», услышал он громкий смех и веселый говор девиц в горницах Фленушки, остановился и присел под растворенным окном на завалинке.

Слушает — Никитишна сказку про Ивана-царевича рассказывает. Слышит, как затеяла она, чтоб каждая девица по очереди рассказывала, как бы стала с мужем жить. Слышит, какие речи говорят девицы улангерские, слышит и Фленушку.

В жар его бросило, крупными каплями пот на лбу выступил... И наедине резко говаривала с ним Фленушка насчет замужества, но таких речей не доводилось ему слышать от нее. «Так вот какова ты! — думает он сам про себя. — Да от такой жены прямо в петлю головой!.. А хороша, шут ее побери — и красива, и умна, и ловка!.. Эх, Фленушка, Фленушка!.. Корнями, что ли, обвела ты меня, заколдовала, что ли, злодейка, красотой своей! И рад бы не думать про нее, да думается!.. Да не врешь ли ты, Фленушка?.. Из удали, из озорства не хвастала ли ты перед подругами?.. Да нет. Ведь и мне, хоть не теми словами, а то же в последний раз говорила. За шутку принимал, а выходит, то не шутка была... Ах, Фленушка, Фленушка!»

И в раздумье не слышал он, что сказала Прасковья Патаповна.

Нежный, тихий говор, журчанью светлого ключа подобный, певучие звуки нежной девичьей речи выве-

ли Самоквасова из забытья. С душевной усладой слушал он Дуню Смолокурову, и каждое слово ее крепко в душе у него залегло.

«Вот так девушка!» — подумал он. И вспомнились слова Таисеи.

Замеченный Аграфеной Петровной, быстро вскочил Самоквасов с завалины и еще быстрее пошел, но не в домик Марьи Гавриловны, где уж раздавались веселые голоса проснувшихся гостей, а за скитскую околицу. Сойдя в Каменный Вражек, ушел он в перелесок. Там в тени кустов раскинулся на сочной благовонной траве и долго, глаз не сводя, смотрел на глубокое синее небо, что в безмятежном покое лучезарным сводом высилось над землею. Его мысли вились вокруг Фленушки да Дуни Смолокуровой.

— Скучно тебе, моя милая, — говорила Аграфена Петровна Дуне Смолокуровой. — Все девицы разошлись, кто по гостям, кто по делам. Не пойти ль и нам на травке полежать, цветочков порвать?

С охотой согласилась Дуня, и обе, знакомой тропинкой спустившись в Каменный Вражек, пошли в перелесок. Выбрали там уютное место, по сочной траве платки разостлали и сели.

— Посмотрю на тебя я, Дунюшка, какая ты стала неразговорчивая, — так начала Аграфена Петровна. — А давно ль, кажется, как жили мы здесь у тетушки, с утра до ночи ты соловьем заливалась... Скажи по душе, по правде скажи мне по истинной, отчего такая перемена сталась с тобой? Отчего, моя милая, на слова ты скупа стала?

— В те поры, как жила я у матушки Манефы, была я дитя неразумное, — отвечала Груне Авдотья Марковна. — Одно ребячье было на уме, и да смысл-от ребячий был. А теперь, — со светлой улыбкой она промолвила, — теперь уж вышла я из подростков. Не чужими, своими глазами на свет божий гляжу...

— Что ж? — спросила Аграфена Петровна, когда Дуня вдруг оборвала речь. — Неужто белый свет успел надокучить тебе?

Помолчала Дуня и, припав лицом к плечу Аграфены Петровны, сказала:

— А вспомни-ка, что ты мне в ту пору часто гова-

ривала. «В море туманы, в мире обманы» — таковы были речи твои. Не могла я тогда вместить твоих слов, а теперь каждый день тебя поминаю. Да, истину ты говорила мне: одни обманы на свете, правды в людях нет. Все на кривде: в торговом ли деле, в домашнем, или в другом каком. А на языке у каждого правда — всяк ее хвалит, да не всяк хранит, всяк ее ищет, а никто не творит... Претит душе моей неправда. Тяжело видеть, что вижу. А помочь ни силы нет, ни уменья. Зачнешь говорить, на смех подымут, ну и молчишь... Оттого малословна и стала я. Никому про то я не говорила, тебе одной открылась. Пробовала тятеньке сказать — смеется. «Ты еще молода, говорит, поживешь подольше, уходишься».

Призадумалась Аграфена Петровна.

— Мир во зле лежит, и всяк человек есть ложь, — она молвила. — Что делать, Дунюшка? Не нами началось, милая, не нами и кончится. Надо терпеть. Такова уж людская судьба! Дело говорил тебе Марко Данилыч, что ты молоденька еще, не уходилась. Молодой-от умок, Дунюшка, что молодая брага — бродит. Погоди, поживешь на свете, притерпишься.

— Что это за жизнь? И зачем родились мы на свет? — тихим голосом плакалась Дуня.

— Власть Господня на то, — строго промолвила Аграфена Петровна. — Не нам судить о том, что небесный отец положил во власти своей и печатью тайны от нас запечатал! Грех великий испытывать создателя!

— Знаю это, знаю, сердечная моя, милая, — припадая к плечу Аграфены Петровны, говорила Дуня. — Да что ж делать-то мне? Нехотя согрешишь. Тошненько в такой жизни!.. Измаялась я!

— Вот что скажу я тебе, Дунюшка, — улыбаясь светлой улыбкой, молвила Аграфена Петровна. — Знаю отчего такие мысли бродят у тебя, отчего тошно тебе на свет вольный глядеть... Знаю и лекарство, чем исцелить тебя.

— Чем? — быстро откинувшись от плеча Аграфены Петровны, спросила Дуня.

— То колечко, что Марко Данилыч тебе подарил, надо отдать поскорее, — с улыбкой, полной любви, сказала Аграфена Петровна.

Спрятала Дуня запывавшее личико на груди ее. Ни слова сама.

— Скажи по правде, не утай от меня, — продолжала Аграфена Петровна, нежно целуя девушку в наклоненную головку. — Есть на примете кто?

— Ведь я же сказала тебе... Стану разве скрывать-ся? Перед тобой раскрыта душа моя, — чистым, ясным взором глядя в очи Аграфены Петровны, молвила Ду-ня. — Были на минуту пустые мысли, да их теперь нет, и не стоит про них поминать...

— Молись же Богу, чтоб он скорей послал тебе че-ловека, — сказала Аграфена Петровна. — С ним опять, как в детстве бывало, и светел и радостен вольный свет тебе покажется, а людская неправда не станет мутить твою душу. В том одном человеке вместится весь мир для тебя, и, если будет он жить по добру да по правде, успокоится сердце твое, и больше прежнего возлю-бишь ты добро и правду. Молись и ищи человека. Пришла пора твоя.

— Мудрены твои речи, Грунюшка, не понять мне их. Но ты любишь меня, а ложь никогда с языка твое-го не сходила. Верю тебе, верю, моя добрая, милая Грунюшка! — говорила Дуня, осыпая поцелуями Агра-фену Петровну.

— Молись же! — молвила ей Аграфена Петровна.

— Буду молиться, — ответила Дуня. — И вот что... придется по мысли мне человек, без совета твоего за него не пойду... Ты больше меня знаешь людей, поглядишь на него и скажешь — таков ли он, какого мне надо... Скажешь?.. Скажешь, Грунюшка?.. Посовете-туешь?..

— Ну, ладно, ладно, — с ясной улыбкой молвила Аграфена Петровна. — Пиши, нарочно приеду, а на свадьбу, пожалуй, и в свахи пойду.

— Не в свахи, а вместо матери, — прервала ее Ду-ня. — Не привел Господь матушке меня вырастить. Не помню ее, по другому годочку осталась. А от тебя, Грунюшка, столь много добра я видела, столько много хороших советов давала ты мне, что я на тебя как на мать родную гляжу. Нет, уж если Бог велит, ты вместо матери будь.

— Ладно, хорошо, — с горячим поцелуем ответи-ла Аграфена Петровна. — А вот что, Дунюшка, как до свадьбы-то нас с тобой до костей перемочит?.. А?.. — сказала она, взглянув на небо. — За разгово-рами нам не в примету, что тучка набежала... Чу,

гремит!.. Побежим-ка скорей, чтоб гроза не за-
стала...

И быстрым шагом пошли из лесочка.

Выпала же Петру Степанычу на черствые именины такая доля: целый день с утра до вечера Иваном-царевичем быть. Невзначай подслушав сокровенные речи девиц белоликих, ненароком узнал и тайные думы той, о которой стал призадумываться.

Фленушкины речи всеми сидевшими с нею приняты были за сущую правду. На завалине сидя, от слова до слова слышал их Самоквасов. Но как было угадать ему, что Фленушка нарочно взводит на себя небывальщину, заметя его под окном, с хитрою мыслью в нем любовь остудить? Ровню осенняя ночь, стало темно у него на душе. Но как иногда яркий солнечный луч проникает меж туч черно-сизых, так и теперь перед очами его омраченной души девственной прелести полный величаво вставал светозарный образ Дуни, и разумные, скромные речи ее слово за слово впадали на память ему и, ровно целебный бальзам, капля за каплей в разбитое сердце лились...

На завалинке сидя, в первый раз услышал он голос ее, и этот нежный певучий голосок показался ему будто знакомым. Где-то, когда-то слышал он его и теперь узнавал в нем что-то родное. Наяву ли где слышал, во сне ли — того он не помнит. Сходны ли звуки его с голосом матери, ласкавшей его в колыбели, или с пением ангелов, виденных им во сне во дни невинного раннего детства, не может решить Петр Степаныч.

Буря в душе закипела, когда Фленушкины речи коснулись слуха его, и вдруг будто ангел мирный, небесный крылом благодатным ту бурю покрыл... Дуни слова тихий покой на его разъяренную душу навяли.

Полон дум придя в перелесок, долго лежал на траве благовонной, долго смотрел он на вечно прекрасную, никогда ненаглядную лазурь небосклона. Мысли менялись, роились. То с болью в сердце вспоминал обманную Фленушку, то чистую сердцем, скромную нравом Дуняшу...

Вдруг шорох в траве и шелест кустов. Кто-то идет в перелесок. Радостью облило сердце его, когда опознал он голоса. Аграфена Петровна с Дуней сели от него

недалеко, он притаился в кустах, лежал недвижим и безмолвен и от слова до слова выслушал весь разговор... И когда, грозы испугавшись, они удалились, Петр Степаныч долго еще лежал на траве... Ливня лил дождь, шумно клонились вершины высокоствольных деревьев, оглушительный треск и раскаты громовых ударов не умолкали на небе, золотые, зубчатые молнии то и дело вспыхивали в низко нависших над землею тучах, а он недвижимо лежал на месте, с которого только что Дуня сошла, не слыша ни рева бури, ни грома, ни шума деревьев, не чувствуя ливня, не видя ярко блещущих молний...

Быстро промчалась гроза, солнце вновь засияло в безоблачной тверди небесной, деревья, кусты и трава оживились, замолкшие птички громко запели в листве древесной, а Петр Степаныч все лежал на мокрой траве в перелеске, вспоминая каждое слово пленительной Дуни.

Глава четырнадцатая

Гости один за другим разъезжались... Прежде всех в дорогу пустился удельный голова с Ариной Васильевной. Спешил он пораньше добраться домой, чтоб на ночь залечь во ржах на любимую перепелиную охоту. Поспешно уехал и Марко Данилыч с дочерью. Поехал не прямо домой: ожидая с Низовья рыбного каравана, решил встретить его на пристани, кстати же в городе были у него и другие дела.

Пока на прощанье пили чай у Манефы, Самоквасов сидел у окна рядом с Марко Данилычем и угодничал перед ним, стараясь ему полюбовиться. В том он успел. Еще поутру Марко Данилыч, говоря с Патапом Максимычем, много хвалил вчерашнего именинника. Теперь Самоквасов свел разговор с Смолокуровым на дела свои, рассказал, сколько у них всего капитала, сколько по смерти затворника-прадеда надо ему получить, упомянул про свое намеренье вести от себя торговлю по рыбной части и просил не оставить его добрым советом. Рад был Марко Данилыч и подробно стал объяснять ему рыбное дело. Внимательно слушал его Самоквасов, впиваясь глазами в красавицу дочку, что сидела напротив отца, рядом с Аграфеной Петровной.

Видя, как почтительно, с каким уваженьем ведет

себя перед Марком Данилычем Самоквасов, замечая, что и родитель говорит с ним ласково и с такой любовью, что редко с кем он говаривал так, Дуня почаще стала заглядываться на Петра Степаныча, прислушиваясь к речам его. Слышит — он говорит про наследство.

— Я один, как перст, а у дяди куча детей, ему деньги нужнее. Одна голова не бедна, а бедна, так одна. С меня и четверти дедова имения достаточно, пусть другая четверть двоюродным сестрам пойдет. Девушки они хорошие, добрые. Мне одному всего не изжить.

«Он добрый», — подумала Дуня и с удвоенным вниманием слушала его речи.

— Что не дело, то не дело, — молвил в ответ Петру Степанычу Смолокуров. — Деньгами зря не сорят... Самому пригодятся... Не век одиноким вы проживете, и вам пора-время придет...

Говоря о рыбном промысле, Марко Данилыч, как и поутру, заметил, что с астраханскими рабочими надобно ухо держать востро.

— Мошенник народ, — сказал он. — Много умения, много терпенья надобно с ними иметь! С одной стороны — народ плут, только и норовит обмануть хозяина, с другой стороны — урезный пьяница. Страхом да строгостью только и можно его в руках держать. И не бей ты астраханского вора дубьем, бей его лучше рублем — вычеты постанови, да после того не спускай ему самой последней копейки, всяко лыко в строку пускай. И на того не гляди, что смиренником смотрит. Как только зазнался который, прижми его при расчете.

— Простите вы меня, Марко Данилыч, — вспыхнув немного, сказал Самоквасов. — Откуда же правде в народе быть, когда мы станем неправдой его обижать?

— Поживете, сударь мой Петр Степаныч, с мое, узнаете ихнюю правду! Вор народ, одно слово вор... Страху не стало, всякий сам себе в нос подувает, — сказал Смолокуров, отирая лоб от крупного пота после пятой или шестой чашки чая.

«И добрый и за правду стоит!» — блеснуло в голове Дуни, и склонилась она к плечу Аграфены Петровны и что-то тихонько сказала ей; ясной улыбкой улыбнулась Аграфена Петровна и пристально поглядела на Петра Степаныча.

Речь зашла о прадеде Самоквасова. По спросу Марка Данилыча, рассказал Петр Степаныч, что знал про

него, как был он атаманом разбойников, а потом строгим постником и как двадцать годов не выходил на свет божий из затвора.

— Мутит мне душу это наследство, — промолвил он, кончая рассказ. — Как подумаешь, что взято оно с разбою, полито кровью, боязно станет его получать...

— Да ведь это было давно, — молвил Марко Данилыч. — Восемьдесят лет, коли не больше, — восемь давностей, значит, прошло.

— У Бога давностей нет, — сказал Петр Степаныч. — Люди забыли — Господь помнит... Если б мне ведать, кого дедушка грабил, отыскал бы я внуков-правнуков тех, что им граблены были, и долю мою отдал бы им до копейки.

Ласкающим взором взглянула на Самоквасова Дуня, вспыхнув от родительских слов.

— Напрасно, — сказал Смолокуров. — На деньгах моток нет... Хотя и знаемы были б наследники, отдавать им не след.

— Про то говорю я, Марко Данилыч, как по божьей правде надо бы сделать, а вестимо теперь некому их мне отдавать... Поневоле владей, — сказал Петр Степаныч.

Довольное время и после того вели они разговоры о разных делах. И Петр Степаныч Смолокурову очень понравился.

Приветным, ласковым поклоном простилась Дуня с Петром Степанычем. Марко Данилыч звал его в гости и сказал, что, будучи в Казани, непременно у них побывает.

Нежно простилась Дуня с девицами, но крепче всех обнимала, всех горячее целовала Аграфену Петровну. На людях прощались, нельзя было по сердцу, по душе в последний разок перемолвиться им, но две слезинки на ресницах Дуни красней речей говорили, о чем она думала на прощанье.

Меж тем Василий Борисыч в келарне с девицами распевал. Увидав, что с обительского двора съезжает кибитка Марка Данилыча, на половине прервал он «Всемирную славу» и кинулся стремглав на крыльцо, но едва успел поклониться и мельком взглянуть на уезжавшую Дуню. Смолокуров отдал ему степенный поклон и громко крикнул прощальное слово. Она не

взглянула. Как вкопанный стал на месте Василий Борисыч. Давно из виду скрылась кибитка, а он все глядел вслед улетевшей красоте...

Вечерком по холодку Патап Максимыч с Аксиньей Захаровной и кум Иван Григорыч с Груней по домам поехали. Перед тем Манефа, вняв неотступным просьбам Фленушки, упросила брата оставить Парашу погостить у нее еще хоть с недельку, покаместь он с Аксиньей Захаровной будет гостить у головы, спрыскивать его позументы. Патап Максимыч долго не соглашался, но потом позволил дочери остаться в Комарове, с тем, однако, чтоб Манефа ее ни под каким видом в Шарпан с собой не брала.

— Спáсенница, что ли, она разъезжать-то по вашим праздникам! — говорил он сестре. — Слава Богу, девка не стрижена, не стать ей по вашим бабьим соборам шататься... Здесь дело другое, у тетки в гостиных, а в Шарпане незачем быть.

Согласилась Манефа. Параша осталась.

Перед самым отъездом Патап Максимыч вышел из Манефиной кельи поискать Василья Борисыча. Нашел его в светелке. Мрачен и грустен сидел московский посол; стоя перед ним, помалчивал Семен Петрович.

— Напелся с девками-то?.. Без мала целый день голосил... Как это у тебя горла-то не перехватит? — сказал Чапурин, войдя в светелку и подсаживаясь к столу.

— Сегодня не очень много пели, — ответил Василий Борисыч. — Надо ж на прощанье попеть... Хоша матушка Манефа меня и обидела, а все-таки я, поминючи, каково ласково она приняла меня и всячески у себя в обители упокоила, готов послужить ей, чем только могу.

— Аль побранились? — с усмешкой спросил Патап Максимыч.

— Браниться не бранились, а вчерашнее очень мне оскорбительно, — ответил московский посол. — Сами посудите, Патап Максимыч, ведь я на матушку Манефу, как на каменну стену, надеялся. Сколько времени она делом тянула и все время в надежде держала меня. Я и в Москву в таком роде писал. А как пришло время, матушка и в сторону. В дураки меня посадила.

— А ты про одни дрожжи не поминай трожды. Про то говорено и вечор и сегодня. Сказано: плюнь и вся недолга, — говорил Патап Максимыч. — Я к тебе проститься зашел, жар посвалил, ехать пора... Смотри ж у меня, ворочай скорей, пора на Горах дела зачинать... Да еще одно дельце есть у меня на уме... Ну, да это еще как Господь даст... Когда в путь?

Зорко глянул Семен Петрович на Василия Борисыча, ожидая, что-то ответит он. Василий Борисыч сказал:

— Медлить не стану, как исправлюсь, так и поеду.

— А ты бы завтра, — молвил Патап Максимыч.

— Завтра исправлюсь, завтра и поеду. Нечего мешкать. Как знают матери, так пушай себе и делают. Мое дело теперь сторона, — ответил Василий Борисыч.

— Говорить нельзя с тобой, — с нетерпением вскрикнул Чапурин. — Через каждое слово либо посконный архиерей, либо чернохвостая скитница!.. Не поминай ты мне этих делов!.. Терпеть не могу!

— Ох, искушение!.. — чуть слышно проговорил Василий Борисыч. И громко промолвил: — Когда разделаюсь, тогда и поминать не стану, а теперь нельзя умолчать, потому что еще при том деле стою.

— Конечно, так, да слушать-то больно противно, — сказал Патап Максимыч. — Дён через пять в город я буду. Ежели к тому времени подъедешь, побывай у меня. К Сергею Андреичу Колышкину зайди, к пароходчику, дом у него на горке у Ильи пророка — запиши для памяти. Он тебе скажет, где меня отыскать.

— Оченно хорошо, Патап Максимыч, — сказал московский посол и записал в памятную книжку, где Колышкин живет.

— Ну, ин прощаться давай, ехать пора, — вставая со стула, сказал Чапурин. — Ох, ехать бы тебе со мной, Васенька, у меня же в кибитке и место есть. Прасковью здесь покидаю, а кибитка у меня на троих. Мы бы с тобой у Михайлы Васильича погостили, с позументами хорошенько б поздравили его, в Городец бы съездили, там бы я останну горящину сплавил, а ты бы присмотрелся к тому делу, на краснораменски мельницы свозил бы тебя, а оттудова в город. Пожили б там денек-другой, а там и в Москву с Богом. Сбирайся-ка, поедем вместе.

— Не успеть мне так скоро собраться, Патап Максимыч. — Тоже надо с матерями проститься, — молвил Василий Борисыч.

— Плюнь!.. Стоят они того, чтобы с ними прощаться!.. Право бы, вместе поехали! То-то бы весело было!

— Нельзя не проститься, — молвил Василий Борисыч. — Не водится так, сами посудите.

— Ну, быть по-твоему, делай, как знаешь, — сказал Чапурин. — А в городе у Колышкина понаведайся... Для того больше и зашел я к тебе... Ну, прощай!.. А не то пойдем вместе к Манефе.

— Не знаю как, — замылся было Василий Борисыч.

— Чего не знаешь?.. Идти-то как?.. А ты представляй ноги-то одну за другой — дойдешь беспрерывно — хмельной не дойдешь, а трезвый ничего... — засмеялся Патап Максимыч. — Ну, пойдем же. Чего еще тут?

Не больно хотелось Василью Борисычу после утренней размолвки идти к Манефе, но волей-неволей пошел за Патапом Максимычем.

Без хлеба, без соли не проводины — без чаю, без закуски Манефа гостей со двора не пустила. Сидя у ней в келье, про разные дела толковали, а больше всего про Оленевское. Мать Юдифа с Аксиньей Захаровной горевали, Манефа молчала, Патап Максимыч подсмеивался.

— Вот запрыгают-то!.. — трунил он, обращаясь к Василью Борисычу. — Ровно мыши в подполье забегают, когда ежа к ним пустишь! Посдем, Василий Борисыч, смотреть на эту комедь. У Макарья за деньги, братец мой, такой не покажут, а мы с тобой даром насмотримся.

Не ответил Василий Борисыч.

— Полно тебе греховодничать-то! — плаксиво вступилась Аксинья Захаровна. — Людям беда, разоренье, ему одни смехи! Бога ты не боишься, Максимыч.

— Ты уж пойдешь!.. Нельзя и шутку сшутить!.. — едва нахмурясь, молвил с малой досадой Чапурин. — В ихнем горе-беде, Бог даст, пособим, а что смешно, над тем не грех посмеяться.

— Попомни хоть то, над чем зубы-то скалишь? — продолжала мужа началить Аксинья Захаровна. — Домы божии, святые обители хотят разорять, а ему шутки да смехи... Образумься!.. Побойся Бога-то!.. До того

обмиршился, что ничем не лучше татарина стал... Нечего рыло-то воротить, правду говорю. О душе-то хоть маленько подумал бы. Да.

— Авось как-нибудь да спасемся, — продолжал свои шутки Патап Максимыч. — Все скиты, что их ни есть, найму за себя Бога молить, лет на десять вперед грехи отмолят... Так, что ли, спасенница? — обратился он к сестре.

— Праздные слова говоришь, а всякое праздное слово на последнем суде с человека взыщется, — сухо молвила Манефа.

— Без тебя знаю, нечего учить-то меня! — подхватил Патап Максимыч. — А ты вот что скажи: когда вы пустяшных каких-нибудь грехов целым собором замолить не сумеете, за что же вам деньги-то давать? Значит, все едино, что псу их под хвост, что вам на каноны...

— Да ты ума рехнулся! — быстро с места вскочив и подступая к мужу, закричала во весь голос Аксинья Захаровна. — Смотри у меня!..

— Заершилась! — шуточно молвил Патап Максимыч, отстраняясь от жены. — Слова нельзя сказать, тотчас заартачится!.. Ну, коли ты заступаешься за спасенниц, говори без бабьих уверток — доходны их молитвы до Бога аль недоходны? Стоит им деньги давать али нет?

Плюнула Аксинья Захаровна чуть не прямо в лицо Патапу Максимычу, отвернувшись и смолкла.

Покаместь Чапурин с женой перебранивались, Василий Борисыч молча глядел на Парашу... «Голубушка Дуня, как сон, улетела, — думал он сам про себя. — Не удалось и подступиться к ней... И Груня уехала — разорят Оленево, прости-прощай блинчики горяченькие!.. И Устинью в Казань по воде унесло... Одна Прасковья... Аль уж остаться денька на четыре?.. Аль уж проститься с ней хорошенько?.. Она же сегодня пригожая!.. Что ж?.. Что раз, что десять, один ответ».

Проводив Патапа Максимыча и кума Ивана Григорыча, Фленушка с Парашей ушли в свою горницу. Василий Борисыч с глазу на глаз с Манефой остался. Стал он подъезжать к ней с речами угодливыми, стараясь смягчить утреннюю размолвку.

Так он начал:

— Какое горестное известие получили вы, матушка!.. Про Оленево-то!.. Признаться вам по всей откровенности, до сегодня не очень-то верилось мне, чтоб могло последовать такое распоряжение! Лет полтора-ста стоят скиты Керженские, и вдруг ни с того ни с сего вздумали их разорять! Не может этого быть, думал я. А теперь, когда получили вы такое известие, приходится верить.

— Да, Василий Борисыч, — вздохнула Манефа. — Дожили мы до падения Керженца.

— И ныне, как подумаю я о таких ваших обстоятельствах, — продолжал московский посланник, — согласен я с вами, матушка, что не время теперь вам думать об архиепископе. Пронесется гроза — другое дело, а теперь точно нельзя. За австрийской иерархией наблюдают строго, и если узнают, что вы соглашаетесь, пожалуй, еще хуже чего бы не вышло.

— То-то и есть, Василий Борисыч. А я-то что же тебе говорила? — молвила Манефа.

— Надивиться не могу вашей мудрости, матушка, — подхватил московский посол. — Какая у вас во всем прозорливость, какое во всех делах благоразумие! Поистине, паче всех человек одарил вас Господь дарами своей премудрости...

— Полно лишнее-то говорить, Василий Борисыч, не люблю, как льстивые речи мне говорят, — молвила Манефа. — А тому я рада, что сам ты уверился, в какой мы теперь невозможности владыку принять. Приедешь в Москву, там возвести: не таковы, мол, теперь на Керженце обстоятельства, а только-де гонительное время минет, тогда по скитам и решатся принять. А меж тем испытают, мол, через верных людей об Антонии. Боятся, мол, не вышел бы из него другой Софрон святокупец. Тем-де сумнителен тот Антоний, что веры частенько менял, опасаются, дескать, не осталось ли в нем беспопового духа, да к тому ж, мол, ходят слухи, что он двоежен... Разрешатся наши сомненья, примем его, не разрешатся — на спасову волю останемся... Пусть он, сый человеколюбец, сам управит наши души... Так и скажи на Москве, Василий Борисыч. А на меня не посетуй, что давеча крутенько сказала... Прости Христа ради!

И низко поклонилась Василью Борисычу. А он тот-

час ей два метания по чину сотворил, обычно приговаривая:

— Матушка, прости, матушка, благослови!

— Бог простит, Бог благословит! — сотворила прощуху игуменья. И опять оба сели за стол и продолжали беседу.

— Когда в Москву-то думаешь ехать? — спросила Манефа.

— Поскорей бы надо, матушка, — ответил Василий Борисыч. — Что попусту-то здесь проживать? Да и то я подумываю, — не навлечь бы мне на вас какого подозрения от петербургских чиновников... Им ведь, матушка, все известно, про все они сведомы; знают и то, что я в Белу Криницу к первому митрополиту ездил... Как бы из-за меня не заподозрили вас.

— За себя нимало не опасаясь я, — молвила спокойно Манефа. — Мало ль кто ко мне наезжает в обитель — всему начальству известно, что у меня всегда большой съезд живет. Имею отвод, по торговому, мол, делу приезжают. Не даром же плачу гильдию. И бумаги такие есть у меня, доверенности от купцов разных городов... Коснулись бы тебя — ответ у нас готов: приезжал, дескать, из Москвы от Мартыновых по торговле красным товаром. И документы показала бы.

— А насчет других скитов, матушка? — сказал Василий Борисыч. — Я ведь гостил и в Оленеве и в Улангере два раза был. А по тем скитам в купечестве матери не пишутся. Там-то какой ответ про меня дадут?..

— Изю всех игумений точно что только у меня одной гильдейское свидетельство и другие бумаги торговые есть, — ответила Манефа. — И ты, друг мой, не рассказывай, каких ради причин выправляю я гильдию. Сам понимаешь, что такое дело надо в тайне хранить.

Помолчал Василий Борисыч и молвил:

— А еще уговаривали меня на Казанскую в Шарпан ехать.

— Пожалуй, что лучше не ездить, — подумав, сказала Манефа. — Хоть в том письме, что сегодня пришло, про Шарпан не помянуто, однакож допрежь того из Петербурга мне было писано, что тому генералу и Шарпан велено осмотреть и казанскую икону отобрать, если докажется, что к ней церковники на поклонение сходятся. И сама бы я не поехала, да нельзя. Матушка

Августа была у нас на празднике, нельзя к ней не съездить.

— Нельзя вам не ехать, — согласился Василий Борисыч. — Стало быть, так мы и сделаем: вы в Шарпан, а я в Москву.

— У меня-то погости, у меня опасаться тебе нечего, — сказала Манефа. — Лучше, как бы ты остался, пока это дело кончится. Насчет петербургского-то говорю. Что там будет, как нас решат, теперь никому неизвестно, а если бы ты остался у нас, после бы, как очевидец, все рассказал бы на Москве. В письмах всего не опишешь.

— Пора уж мне, матушка, — возразил Василий Борисыч, — и без того четыре почти месяца у вас проживаю.

— Как знаешь, держать тебя не властна, — сказала Манефа. — А лучше б тебе это время у нас прожить. По крайности меня-то дождись, пока ворочусь из Шарпана. Там все будут, и Оленевские и других скитов, расскажут, что у них дееется. С этими вестями и поехал бы в Москву.

Василий Борисыч согласился остаться в Комарове до возвращения Манефы из Шарпана.

Тихий прохладный вечер настал. Потускнела высота небесная, и бледным светом заискрились в ней звездочки. На небе ни облачка, на земле ни людских голосов, ни птичьего щебета, только легкий, чуть слышный ветерок лениво шевелит листьями черемух, рябин и берез, густо разросшихся в углу Манефиной обители, за часовней, на кладбище и возле него. После промчавшейся грозы стало прохладно, но в то же время и душно. Запах скошенного сена и ночных цветов благоуханными волнами разливался в воздухе и наполнял его сладостной истомой. Торжественно безмолвствует недосыгаемая лазурь небесной тверди, и сладострастною негой дышит тихая ночь на земле.

Из кельи Манефы Василий Борисыч вышел на крылечко подышать чистым воздухом. Благоуханною свежестью пахнуло ему в лицо, жадно впивал он прохладу. Это не удушливый воздух Манефиной кельи, пропитанный благочестивым запахом росного ладана, деревянного масла и восковых свеч. В светелке, где жил московский посол, воздух почти был такой же.

Ни о чем не думая, ни о чем не помышляя, сам после не помнил, как сошел Василий Борисыч с игуменьина крыльца. Тихонько, чуть слышно, останавливаясь на каждом шагу, прошел он к часовне и сел на широких ступенях паперти. Все уже спало в обители, лишь в работницкой избе на конном дворе светился огонек да в келейных стаях там и сям мерцали лампадки. То обительские трудники, убрав коней и задав им корму, сидели за ужином, то благочестивые матери, стоя перед иконами, справляли келейное правило.

Слышится Василию Борисычу за часовней тихий говор, но не может ни смысла речей понять, ни узнать говоривших по голосу. Что голоса́ женские, это слышал, и невольно его на них потянуло. Тихонько обошел он часовню, приблизился к чаще рябин и черемух. Узнал голоса: Фленушки с Парашей. Но ни слова расслышать не может, не может понять, о чем говорят.

— Ох, искушение! — молвил он сам про себя.

Взволновалась кровь, защемило у Васи́лья Борисыча сердце, в голове ровно угар стал. И вспомнился ему Улангер, вспомнилась ночь в перелеске. Ночь тогда была такая же, как и теперь, — тихая, прохладная, благовонная ночь. И пожалел Василий Борисыч о той ночи и с любовью вспоминал немые, холодные ласки Прасковьи Патаповны.

И неслышными стопами подошел он к девушкам... Не заметили они сначала его, но, когда он перед ними как из земли вырос, обе тихонько вскрикнули.

— Можно разве так девиц пужать! — молвила Фленушка. — В самую по́лночь да возле кладбища!

— Недогад мне было, Флена Васильевна. Простите великодушно, — молвил Василий Борисыч. — Услыхал ваши голоса, захотелось маленько ночным делом побеседовать.

— Так вам и поверили! — возразила Фленушка, отодвигаясь от Параши и давая возле нее место Василию Борисычу. — Не беседу с нами хотелось вам беседовать, захотелось подслушать, о чем меж собой девицы говорят по тайности. Знаем мы вас!

— И на ум не впадало мне, Флена Васильевна, — уверял Василий Борисыч, но Фленушка верить ему не хотела.

Подсел на лужке возле Параши Василий Борисыч,

Фленушка за темнотою не видала, — а и увидела, так в сторону бы отвернулась, — как Василий Борисыч взял Парашу за руку и страстно пожал ее. Параша тем же ему ответила.

Фленушка одна говорит. Тарантит, ровно сойка¹, бьет языком, ровно шерстобит струной. Василий Борисыч с Парашей помалкивают. А ночь темней и темней надвигается, а в воздухе свежей и свежей.

— Холодно что-то! — оборвав рассказ, молвила Фленушка. — Сем-ка пойду да надену платок шерстяной. И тебе, Параша, захвачу. Вы подождите, я тотчас.

И убежала. А Василий Борисыч один под ночным покровом с Парашей остался.

Не казалось им холодно, хоть с каждой минутой ночь сильнее свежела.

Воротилась Фленушка с Парашиным платком не тотчас, как обещала, а через добрые полчаса.

Глава пятнадцатая

Накануне Казанской мать Манефа с уставщицей Аркадией и с двумя соборными старицами в Шарпан поехала. Старшею в обители осталась мать Виринея, игуменскую келью Манефа на Фленушку покинула, но для виду, не остались бы молодые девицы без призора старших, соборную старицу Никанору благословила у себя домовничать.

За день до отъезда Манефы Петр Степаныч Самоквасов ездил в ближний городок за каким-то делом. Как ни пыталась любопытная мать Таисея, что за дела у него там объявились, не могла от гостя толку добиться. Перед тем как ехать ему, он, запершись в светелке, долго о чем-то толковал с Семеном Петровичем. Очень хотелось матушке Таисее подслушать их разговор, притаилась сбоку светлицы, но сколько ни прикладывалась ухом к стене, ничего не могла расслушать. Только и слышен был раздававшийся по временам громкий, закатистый хохот Петра Степаныча. Когда он садился в тележку, Таисея не вытерпела, снова любопытствовала, заботливо спрашивая, за какими делами так спешно он снарядился, но не дождалась ответа.

¹ Сойка — лесная птица, *Corvus glandarius*.

Спросила, когда ожидать гостя обратно. «Завтра к вечеру буду», — он отвечал.

Только что съехал с двора Самоквасов, Семен Петрович в Манефину обитель пошел и там весь день не разлучался с Васильем Борисычем, шагу не отступал от него.

Под вечер, накануне Манефина отъезда, в ее келье сидели за чаем, поджидая Василья Борисыча. Фленушка сказала Манефе:

— Ладно ль будет, матушка, Василий-от Борисыч без вас один с нами останется?

— А что? — спросила Манефа.

— Знаете, что за народ вокруг нас живет, — молвила Фленушка. — Чего не наплетут... Мне-то наплевать, ко мне не пристанет, а вот насчет Параши. Патап-от Максимыч не стал бы гневаться.

— И впрямь, Фленушка, — сказала Манефа. — Хоть ничего худого от того случиться не может, а насчет братца, подлинно, что это ему не гораздо покажется... Жалует он Василья Борисыча, однакож на это надеяться нечего... Как же бы нам это уладить?.. День-от пускай бы он и с вами сидел, ночевать-то куда бы?.. Разве в Таифину келью али в домик Марьи Гавриловны.

— Пожалуй, хоть к Марье Гавриловне, там же перед гостинами Патапа Максимыча все припасено для мужского ночлега, — молвила Фленушка.

— И хорошее дело, — согласилась Манефа. — Так и скажу ему. Человек он разумный, не поскорбит, сам поймет, что на эти дни ему в светелке у нас проживать не годится.

— А еще лучше на это время ему куда-нибудь в другую обитель перейти, — заметила Фленушка. — Тогда смётницы что ни благовести — веры не будет им. И насчет Патапа Максимыча было бы не в пример спокойнее.

— Так-то оно так, — сказала Манефа. — Да как же это сделать? Не к Россохиным же его... Больно уж там пьяно — матушка-то Досифея с Петрова дня опять закурила... Разговелась, сердечная!.. Невозможно к ней Василья Борисыча!.. Оскорбится.

— Зачем к Рассохиным? Опречь Рассохиных, место найдется, — молвила Фленушка.

— Где найдется? — возразила Манефа. — Ведь его

надо в хорошую обитель пристроить, не там, где гульба да пьянство, а на ужине, опричь хлеба куска, и на стол ничего не кладут...

— К Бояркиным, — подхватила Фленушка. — Матушка же Таисея в Шарпан не поедет. Чего лучше?.. И она бы с радостью, и ему б не в обиду...

— Места нет у Таисеюшки. У них всего-на-все одна светелка, и в той гости теперь, — сказала Манефа.

— Эти дни можно там и Василию Борисычу жить, — ответила Фленушка. — Самоквасов куда-то уехал, один Семен Петрович остался, а он Василию Борисычу дружок. В тягость один другому не будут.

— Куда Петр-от Степаныч отправился? — спросила Манефа. — И не сказался ведь, не простился... Экой какой!.. А мне до него еще дельце есть, да и письмо бы надобно с ним отослать.

— На четыре дня, слышь, уехал, — молвила Фленушка. — В город никак. Вдруг, говорят, собрался, известию какое-то получил, наспех срядился.

— Так ин в самом деле молвлю я Василию Борисычу, — сказала Манефа. — Да что это он нейдет чай-от пить... Евдокеюшка, сбегай, голубка, к Бояркиным, позови Таисею: матушка, мол, Манефа чай пить зовет. Скорей приходила бы.

— Так-то дело и впрямь будет складнее, — говорила Манефа по уходе новой ключницы. — А то и впрямь наплетут, чего и во сне не приснится. Спасибо, Фленушка, что меня надоумила.

Во все время разговора Манефы с Фленушкой Параша молчала, но с необычной ей живостью поглядывала то на ту, то на другую. Марьюшка сидела, опустил глаза и скромно перебирая руками передник. Потом села у растворенного окна, высунулась в него до пояса и лукаво сама с собой усмехалась, слушая обманные речи Фленушки.

Василий Борисыч пришел, Семона Петровича привел. После не малых и долгих извинений объявила ему Манефа, что с Фленушкой она придумала, и Василий Борисыч нимало не оскорбился, сказал даже, не лучше ли ему совсем на эти дни из Комарова уехать; но Манефа уговорила его остаться до ее возвращения. Маленько она опасалась, чтоб Василий Борисыч, захавши в город, не свиделся там с Патапом Максимычем да по его уговорам не угнал бы тотчас в Москву. Тогда ищи

его, как же ему тогда рассказать, что будет на Шарпанском празднике.

Таисея не замедлила приходом. С радостью приняла она слова Манефы и уж кланялась, кланялась Василию Борисычу, поскорей бы осчастливил ее обитель своим посещением. Принять под свой кров столь знаменитого гостя считала она великою честью. По усиленным просьбам Василий Борисыч согласился тотчас же к ней перебраться.

— Прискорбно, не поверишь, как прискорбно мне, дорогой ты мой Василий Борисыч, — говорила ему Манефа. — Ровно я гоню тебя вон из обители, ровно у меня и места ради друга не стало. Не поскорби, родной, сам видишь, каково наше положение. Языки-то людские, ой-ой, как злы!.. Иная со скуки да от нечего делать того наплетет, что после только ахнешь. Ни с того ни с сего насудачат... При соли хлебнется, к слову молвится, а тут и пошла писать.

— Не беспокойтесь, матушка, — уговаривал Манефу Василий Борисыч. — Дело к порядку ведется, к лучшему... Могу ль подумать я, что из вашей обители меня выгоняют?.. Помилуйте!.. Ни с чем даже несообразно, и мне очень удивительно, что вы об этом беспокоитесь. Я, с своей стороны, очень рад маленько погостить у матушки Таисеи.

— Очень благодарна вами, Василий Борисыч, — встав с места и низко поклонясь московскому посланнику, сказала мать Таисея.

— Смотри же, матушка Таисея, — пошутила Манефа, — ты у меня голодом не помори Василья-то Борисыча. Не объест тебя, не бойся — он у нас, ровно курочка, помаленьку вкушает... Послаще корми его... До блинков охоч наш гость дорогой, почаще блинками его угощай. Малинкой корми, до малинки тоже охоч... В чем недостача, ко мне присылай — я накажу Виринее.

— Полноте, матушка. Хоша обитель наша не из богатых, однако для такого гостя у самих найдется чем потчевать, — молвила мать Таисея. — А какие блинki-то любите вы? — обратилась она к Василию Борисычу. — Гречневые аль пшеничные, красные то есть?

— Э, матушка, чем ни накормите, всем буду сыт, я ведь не из прихотливых. Это напрасно матушка Манефа так говорит, — молвил Василий Борисыч. И при вспоминанье о блинах вспала ему на память полногру-

дая Груня Оленевская, что умела услаждать его своими пухленькими, горяченькими блинками.

— Да нет, отчего же? — сладко улыбаясь, говорила мать Таисея. — Нет, уж вы скажите мне, гость дорогой.

— Да не беспокойтесь, матушка! — возразил Василий Борисыч. — Ох, искушение!.. Я уж, сказать по правде, и не рад... Много вам беспокойства от меня будет.

— Какое же беспокойство, Василий Борисыч? — продолжала Таисея. — Никакого от вас беспокойства не может нам быть. Такой гость — обители почесть... Мы всей душой рады.

И много еще приветных слов наговорила ему мать Таисея, сидя за чаем.

Поехала в Шарпан Манефа. Все провожали ее, чин-чином прощались. Прощалась и Фленушка; бывшие при том прощанье, расходясь по кельям, не могли надивиться, с чего это Фленушка так расплакалась — ровно не на три дня, а на тот свет провожала игуменью.

Постояла на крылечке игуменьиной стаи Фленушка, грустно поглядела вслед за кибитками, потихоньку съезжавшими со двора обительского, и, склоня голову, пошла в свою горницу. Там постояла она у окна, грустно и бессознательно обрывая листья холеных ею цветочков. Потом вдруг выпрямилась во весь рост, подошла к двери, отворила ее и громким голосом крикнула:

— Марьюшка!

Мигом явилась головщица.

— Ну что? — быстро спросила у ней Фленушка.

— Да ничего, — брюзгливо ответила Марьюшка.

— Саратовец где?

— А пес его знает, — огрызнулась головщица. — Пришита, что ль, я к нему?.. Где-нибудь с Васькой шатается. К нему приставлен...

— Оба провожали матушку. Куда же теперь пошли? Поговорить надо, — молвила Фленушка.

— Ты все по то? — сквозь зубы процедила Марьюшка.

— Нешто покинуть? — с живостью вскрикнула Фленушка.

— По-моему, лучше бы кинуть. Ну их совсем!.. — молвила головщица.

— Сколько времени ждала я этого дня, да вдруг ни с того ни с сего и покину... Эка что вздумала! — сказала Фленушка.

Пробурчала что-то головщица и села к окну.

— Так ты на попятный? — вскочив со стула, вскрикнула Фленушка. — Про шелковы сарафаны забыла?.. Про свое обещанье не помнишь?..

— Ничего не забыла я ни на капелечку, а только боязно мне, — молвила Марьюшка. — Ты особь статья, тебе все с рук сойдет, матушка не выдаст, хоша бы и Патапу Максимычу... А мне-то где заступу искать, под чью властную руку укрыться?..

— И тебя не выдаст матушка, — молвила Фленушка. — Поначáлит, без того нельзя, да тем и кончит дело... А сарафан хоть сейчас получай. Вот он сготовлен.

И вынесла из боковуши шелковый Парашин сарафан, всего раз надеванный, и, подавая его Марьюшке, с усмешкой примолвила:

— Невестины дары принимай.

Глаз не сводила с подарка головщица, но не брала его.

— Примай, не ломайся, — сказала Фленушка, суя сарафан Марьюшке на руки.

— Ох уж, право, не знаю, что и делать мне, — колебалась головщица. — И сарафан-от вишь светлый какой, голубой... Где надену его, куда в таком покажусь?.. Нешто у нас в мирские цвета рядятся?..

— Придет твое время, и в цветном будешь ходить, — молвила Фленушка. — Что саратовец-от!.. Какие у вас с ним речи?

— Ну его ко псам, окаянного!.. — огрызнулась Марьюшка. — Тошнехонько с проклятым! Ни то ни се, ни туда ни сюда... И не поймешь от него ничего... Толкует, до того года, слышь, надо оставить... Когда-де у Самоквасова в приказчиках буду жить — тогда-де, а теперича старых хозяев опасается... Да врет все, непутный, отводит... А ты убивайся!.. Все они бессовестные!.. Над девицей надсмеяться им нипочем... Все едино, что квасу стакан выпить.

— Не горюй! — хлопнув по голому плечу головщицы, молвила Фленушка. — Только б поступить ему к Петрушке непутному, быть тебе на то лето за Сенькой

замужем... Поручкой я... Это пойми... Чего я захочу — тому быть... Знаешь сама.

— А у самой с Самоквасовым третье лето ни тпру ни ну, — молвила с усмешкой Марьюшка.

— Не вороши!.. Не твоего ума дело! — заревом вспыхнув, вскрикнула Фленушка. — Наше дело иное... Тебе не понять!..

— Мудрено что-то больно, Флена Васильевна, — промолвила головщица.

— А коль мудрено, так и речей не заводи, — сказала Фленушка и вдруг, ровно туча, нахмурилась, закинула за спину руки и стала тяжелыми шагами взад и вперед расхаживать по горнице. Глаза у нее так и горели.

— Что ж теперь делать? — после долгого молчанья спросила головщица.

Ровно ото сна пробудилась Фленушка. Стала на месте, провела рукой по лицу и, подсев к столу, молвила:

— Невесту собирать, наряды и все добро ее в чемоданы класть... Самое позову, без нее нельзя... Петрушка вчор за делами поехал: в Свиблово попа повестить, в Язвицы лошадей нанять, в город на первые дни молодым квартиру сготовить. Завтра поутру воротится. Победавши с женихом да с твоим непутным саратовцем, в Ронжино навстречу ямщикам он поедет. Приданое туда отвезут, этой же ночью надо его передать... Мало погодя с Парашей на Каменный Вражек пойдем. Тут ее у нас отобьют неведомые люди... Смекаешь?.. Мы с тобой теми ж стопами домой... В набат ударим, содом поднимем — ухватили, мол, Парашу люди незнаемые. Рожи-де в саже, шапки нахлобучены — не смогли признать, кто такие... Смекаешь?

— Смекаю, — кивнув головой, сказала головщица.

— Ловко ль придумано? — после недолгого молчания спросила Фленушка.

— Ловко-то ловко, Флена Васильевна, да не было б нам за то колотушек? — молвила Марьюшка. — Да что колотушки? Беда еще не велика. Хуже бы не было...

— Ничего не будет, не проведают. Увидишь!.. Что я задумала, тому так и быть... — с страстным порывом молвила Фленушка.

— Надо бы старицу какую, при ней чтоб отбили. Больше веры будет тогда. А то заподозрят, пожалуй, — говорила Марьюшка.

— Дело!.. — с живостью вскрикнула Фленушка. — Спасибо, Маруха, за добрый совет. Так и сварганим... Только уж нашим ребятам тогда в самом деле сажей придется рожь-то мазать.

— Пушай их намажутся, — молвила в сердцах головщица.

— Можно будет двух либо трех стариц прибрать: матушку Вириною, Ларису, из девок кое-кого... Побольше бы только нас было. Чем больше, тем лучше, — сказала Фленушка.

— Правда, — сказала Марыюшка, — больше народу, меньше ответу.

Уладив дело с головщицей, позвала Фленушка Парашу.

— Ну, невеста наша распрекрасная! Давай приданое складывать, — молвила она, выдвигая середь горницы чемоданы.

Во все лицо улыбнулась Параша, вздохнула раза два и сказала:

— Боязно ему.

— Кому? — спросила Фленушка.

— Да Василью-то Борисычу, — ответила Параша. — Сейчас говорила с ним через огоро́жу Бояркиной обители. Очень опасается.

— Дурак!.. — молвила Фленушка.

И стала укладывать пожитки Парашины.

— Деньги есть при тебе? — спросила она Парашу.

— Есть.

— Много ль?

— Не больно чтоб много, двадцати рублей не найдется, — ответила Параша.

— Давай сюда, — молвила Фленушка. — Завтра надо в работницкой перепоить всех до отвалу... В погоню не годились бы.

Параша подала деньги.

Все прибрали, уложили, чемоданы замкнули, затушили. Подавая ключи Параше, Фленушка вскрикнула:

— Из ума вон!.. Невесту-то величать позабыли!.. Без того не складно будет, не по чину, не по обряду. Подтягивай, Маруха!

Не шелко́ва ниточка ко стенке льнет —

Свет Борисыч Патаповну ко сердцу жмет:

— Ой, скажи ты мне, скажи, Парасковьюшка,

Не утай, мой свет Патаповна:

Кто тебе больше всех от роду мил?
— А и мил-то мне милешенек родной батюшка.
Помилей того будет родна матушка.
— А и это, Прасковьюшка, не правда твоя,
Не правда твоя, не истинная.
Ой, скажи ты мне, скажи, Парасковьюшка,
Не утай, мой свет Патаповна:
Кто тебе всех на свете милей?
— Я скажу, молоденька, всю правду свою,
Всю правду свою, всю-то истинную:
Нет на свете милей мне света Васильюшки,
Нет на вольном свету приглядней Борисыча.

— Ай, батюшки! Совсем позабыла!.. — вскрикнула Фленушка, внезапно прервав песню. — Спишь все, — обратилась она к задремавшей под унылую свадебную песню Параше. — Смотри, дева, не проспй царства небесного!.. А еще невеста!.. Срам даже смотреть-то на тебя!

— Тебе что? — вяло спросила Параша.

— Дело надо делать... Нескóль времени осталось! — с досадой прикрикнула на нее Фленушка. — Кольцо с лентой из косы отдала ему?

— Не даывала, — ответила Параша.

— Как же так? Нельзя без того... Надо обряд соблюсти. Спокон веку на самокрутках так водится, — говорила Фленушка. — По-настоящему надо, чтоб он силой у тебя их отнял... Да куда ему, вахлаку? Пентюх, как есть пентюх. Противно даже смотреть на непутного.

— Отдам, коли надо, — лениво промолвила Параша. — Седни же отдам... Гулять-то во Вражек пойдем?

— После венца нагуляешься, — резко ответила Фленушка. — Не до гульбы теперь, без того хлопот по горло... Наверх ступай, в светелку, Ваську пришлю туда... Да не долго валандайтесь — могут приметить, и то Никанора суетиться зачала... Молви, Маруха, саратовцу — напоил бы опять ее хорошенько.

— Так я наверх пойду, — процедила сквозь зубы Параша и пошла из горницы.

Только что вышла она, Фленушка глянула в окошко. Василий Борисыч с саратовцем через обительский двор идут.

— Беги к ним, Марьюшка, — тóропко сказала она головщице. — Сеньке насчет Никаноры молви, — поил бы, а Ваську ко мне.

Пошла головщица из горницы, вскоре Василий Борисыч пришел.

— Что, непутный?.. Шатаешься, разгуливаешь?.. А того нисколько не понимаешь, что тут из-за тебя беспокойство? — таким словами встретила московского посланника Фленушка.

— Ох, искушение!.. — глубоко вздохнул Василий Борисыч, отирая платком распотевшее лицо, и сел на диван.

— Ну, что скажешь? — став перед ним и закинув за спину руки, спросила Фленушка.

— Не знаю, что́ и сказать вам, Флена Васильевна, — жалобно ответил Василий Борисыч. — В такое вы меня привели положение, что даже и подумать страшно...

— Что ж, ты на попятный, что ли? — скрестив руки на груди и глядя в упор на Василья Борисыча, воскликнула Фленушка. — Назад ворочать?.. Нет, брат, шалишь!.. От меня не вывернешься!..

— Ох, искушение!.. — едва слышно промолвил совсем растерявшийся Василий Борисыч.

— Отлынивать? — громче прежнего крикнула на него Фленушка.

— Да нет, — робко отвечал Василий Борисыч. — Нет. Куда уж тут отлынивать... Попал в мережу, так чего уж тут разговаривать!.. Не выпрыгнешь... А все-таки боязно, Флена Васильевна.

— Речи о том чтобы не было. Слышишь? — повелительно крикнула Фленушка. — Не то знаешь Самоквасова? Справится... Ребер, пожалуй, не досчитаешься!.. Вздохнул Василий Борисыч.

— Наверх ступай, невеста ждет. Возьми у нее кольцо да ленту из косы. Силой-то посмеешь ли взять?

— Как же это возможно, Флена Васильевна? Вдруг силой!.. — робко проговорил Василий Борисыч.

— Ну, ступай, ступай, — крикнула Фленушка и протолкала вон из горницы оторопевшего московского посланника. Он не отвечал, вздыхал только да говорил свое:

— Искушение!

Петр Степаныч совсем разошелся с Фленушкой. Еще на другой день после черстных именин, когда

привелось ему и днем и вечером подслушивать речи девиц, улучил он времечко тайком поговорить с нею. Самоквасов был прямой человек, да и Фленушка не того десятка, чтоб издалека да обходцем можно было к ней подъезжать с намеками. Свиделись они середь белá дня в рощице, что подле кладбища росла. Встретились ненароком.

Стал Самоквасов перед Фленушкой, сам подбоченился и с усмешкой промолвил ей:

— А вчерашний день каких див я наслушался!

— А ты лишнего-то не мели, нечего нам с тобой канителиться¹. Не сказывай обиняком, режь правду прямоком, — смело глядя в глаза Самоквасову, с задором промолвила Фленушка.

— Вечор, как Дарья Никитишна сказки вам сказывала, я у тебя под окном сидел, — молвил Петр Степаныч.

— Знаю, — спокойно промолвила Фленушка.

— А когда свои речи вела, знала ли ты, что я не далёко? — спросил Самоквасов.

— Нет, не знала.

— Значит, не то чтобы в посмеях, от настоящего сердца, от души своей говорила?

— От всего моего сердца, ото всей души те слова говорила я, — ответила Фленушка.

— Значит, что же?

— Сам разбирай.

Призадумался Петр Степаныч. Оба примолкли.

— Не чаял этого, не думал, — сказал он, наконец.

— Никогда не таила от тебя я мыслей своих, — тихо, с едва заметной грустью молвила Фленушка. — Всегда говорила, что в мужья ты мне не годишься... Разве не сказывала я тебе, что буду женой злой, неугодливой? Нешто не говорила, что такова уж я на свет уродилась, что никогда не бывать мне кроткой, покорной женой? Нешто не говорила, что у нас с тобой будет один конец — либо сама петлю на шею, либо тебе отравы дам?..

— Бахв́алась², — сказал Самоквасов.

— Не из таковских я, не бахв́алка, — прервала его

¹ *Канителить* — длить, волочить, медлить делом. Иногда — ссориться, браниться.

² *Бахвалиться* — хвастаться, самохвальничать.

Фленушка. — Прямое дело говорила. Вольно было не слушать речей моих.

— Зачем же столько времени ты проводила меня? — с жаром спросил ее Петр Степаныч.

— Чем же я проводила тебя? — вскинув пылающими глазами на Самоквасова, спросила Фленушка.

— Как чем? Обнимала, целовала, в перелеске под кустиком до утренней зари, бывало, вместе с тобой мы просиживали, тайные, любовные речи говаривали... — с укором говорил ей Петр Степаныч.

— Со скуки, — пожав плечами, холодно молвила Фленушка.

— Так как же?.. Расставаться?.. — подумав немного, сказал Самоквасов.

— Самое лучшее дело, — молвила Фленушка. — Каждому свой путь-дорога, друг другу в тягость не будем... Побáловались — шабаш... Ищи себе невесту хорошую... А я!.. Ну, прощай!..

— Не чаял я этого!.. — в раздумье сказал Самоквасов.

— Маль ль чего мы не чаем, мало ль чего мы не ждем?.. — грустно молвила Фленушка. — Над людьми судьба, Петр Степаныч... Сўпротив судьбы ничего не поделаешь.

— Прощай, Флена Васильевна, — тихо проговорил Самоквасов и хотел идти.

— Прощай, — едва слышно промолвила Фленушка, вся покраснев и низко склонив голову.

И не сделал он пяти шагов, как, закинув назад голову, громким, смеющимся голосом Фленушка ему крикнула:

— Стой, Петя, погоди!.. Обещанья не забудь!..

— Какого обещанья? — спросил Самоквасов.

— Забыл? — с усмешкой молвила Фленушка. — Коротка ж, парень, у тебя память-то.

— Да ты про что? — в недоуменье спрашивал ее Петр Степаныч.

— А насчет Василья-то Борисыча, — сказала Фленушка.

— Окрутить-то?.. Небойсь, окрутим. Сказано — сделано. От своих слов я не отретчик.

— Ладно.

И разошлись. Бойко прошел Самоквасов в обитель Бояркиных, весело прошла по двору Фленушка, но,

придя в горницу, заперлась на крюк и, кинувшись ничком в постелю, горько зарыдала.

И то было еще до отъезда Манефы на праздник в Шарпанский скит.

Глава шестнадцатая

Среди болот, среди лесов, в сторону от проселка, что ведет из Комарова в Осиповку, на песчаной горке, что желтеет над маловодной, но омутистой речкой, стоит село Свиблово. Селом только пишется, на самом-то деле «погост»¹.

Возле ветхого бревенчатого мостика, перекинутого через речку, ветшает бедная деревянная церковь. Высокая, обширная паперть, вдоль северной стены крытые переходы, церковные подклеты, маленькие высоко прорубленные окна, полустгившая деревянная черепица на покачнувшейся главе, склонившаяся набок колокольня с выросшею на ней рябинкой, обильно поросшая ягелем крыша, — все говорит, что не первое столетие стоит свибловская церковь, но никому в голову еще не приходило хоть маленько поправить ее. Кругом бедное могилами, но обильное сеном кладбище. В стороне, вдоль венца горки, три домика; между ними «сады», где, кроме объединенной червями черемухи да пары рябин, иных деревьев не росло. Гряды с луком, с редькой, с морковью и другими овощами тянулись по «садам», и на каждой грядке красовались яркие цветы маку и высоко поднимавшие золотые свои шапки подсолнечники... Ближний к церкви домик был просторней и приглядней двух остальных: по лицу пять окон с подъемными рамами и зелеными ставнями, крылечко выведено на улицу, крыша на четыре ската, к углам ее для стока воды прилажены крылатые змеи из старой проржавевшей жести. В окнах миткалевые занавески и горшки с бальзамином, капуцином и стручковым перцем. В том домике с толпой чад и домочадцев жил-поживал свибловский батюшка, отец Родион Харисаменов. В других домиках волочили горемычную жизнь свою дьячок Игнатий да пономарь Ипатий, оба страст-

¹ Населенная местность, где церковь с кладбищем, но домов, кроме принадлежащих духовенству, нет.

ные голубятники, постоянно враждовавшие из-за какого-нибудь турмана либо из-за чернокрылого чистяка. Кроме того, в церковной караулке сторожем жил одинокий старый солдат. Поповы ребята Груздком его прозвали, так это прозвание за ним и осталось.

Родитель отца Родиона звался Свиньиным и с законной гордостью говаривал, что он старинного дворянского рода, что предки его литовские выходцы, у царей и великих князей на разных службах бывали. Ссылался на печатную родословную книгу, показывал родовые бумаги, и в речах его правда была. Но владыка рассудил иначе. Когда Родиона Свиньи́на сдали в семинарию, он рек: «Не подобает служителю алтаря именование столь гнусного животного носить», и родословного Свиньи́на перекрестил в Харисаменова, прозвание очень хорошее по-гречески, но которого русский простой человек с морозу, пожалуй, не выговорит, а если и выговорит, то непременно скажет: «харя самая», что не раз и случалось с отцом Родионом. Когда отец Родион прибыл на паству, паства его невзлюбила, не по мыслям пришелся он ей. Народ прозвал его Сушилой и вот почему. По кладбищу много травы росло, и отец Родион решил: «Это сено мое, Игнатью с Ипатьем вступаться в сию часть не подобает». И по четыре стога́ хорошего лугового сена с кладбища каждое лето накашивал. Иной раз сено-то, бывало, раскидают, а набегит тучка, отец Родион тотча́с в церковь его. Там и сушит... Оттого и прозвали его Сушилой.

Про Свиблово говорят: стоит на горке, хлеба ни корки, звону много, поестъ нечего. В приходе без малого тысяча душ, но, опричь погощан¹, и на светлу заутреню больше двадцати человек в церковь никогда не сходилосъ. Почти сплошь да на́голо всё раскольники. Не в обиду б то было ни попу, ни причетникам, если б влекущий племя от литовского выходца умел с ними делишки поглаже вести.

Почти все раскольники были «записные». Де́ды их, праде́ды церкви чуждались, в старые годы платили двойные оклады. С таких попу взятки гладки, доходов не жди, отрезан ломоть. Разве ину пору можно такого доносцем пугнуть, устроил-де в доме публичну моленну, совращает-де в раскол православных, но это не

¹ Жители погоста.

всегда удается. Зато «не записные» попу сущий клад. Только б их не тревожили, только б у них на дому треб не справляли, вдвое, втрое больше дадут, чем самый усердный церковник за исправление треб. Барин мог бы Сушило век свой прожить, да гордость его обуяла, думал о себе, что умней самого архиерея, и от каждого требовал, чтоб десницу его лобызали. Оттого и невзлюбили его прихожане. По-ихнему руку у попа целовать — все едино что старой веры отречься. А доносить — отец Родион доносил на них редко: знал, что его же карману невыгодно будет. Если и доносил, всегда по велению свыше. Консисторским да благочинному тоже пить-есть надо, не ангелы во плоти, не манной небесной питаются. Бывало, долго нет от Сушилы доносов, внушают ему отчески: «Надо тебе, отец Родион, доносить почаще, ведь начальству известно, что раскольников в твоём приходе достаточно; не станешь доносить, в потворстве и небрежении ко святой церкви заподозрят, не успеешь оглянуться, как раз под суд угодишь». И посылал отец Родион «репорты» — нечего делать — своя рубашка к телу ближе. А это умножало остуду прихожан. Оттого Сушило и жил небогато. А семья, что ни год, прибавлялась — многочисладем Господь благословил. Сначала ничего, божье благословенье под силу приходилось Сушиле, росли себе да росли ребятишки, что грибы после дождика, но когда пришло время сыновей учить в семинарии, а дочерям женихов искать, стал он супротив прежнего не в пример притязательней. На «записных» даже стал доносить. Раза два удалось: попа похвалили, скуфью обещали, но цену заломили невместную...

И в скуфье пощеголять охота, и сыновей на квартире получше устроить, и дочерей замуж повыдать, а концов с концами не может свести. Нужда человека до чего не доводит?

Богаче Чапурина во всем приходе никого не было, а он хоть «записной», но жил с церковным попом в ладах и никогда не оставлял его. То крупчатки мешок с Краснораменской мельницы пришлет, то рыбки либо другого чего, иной раз и денег даст. Об одном только каждый раз просил Сушилу Патап Максимыч: «Не ходи ты, батюшка, ко мне на́ дом, не смущай ты мою старуху. Что делать? Баба так баба и есть: волос долог, ум короткий, больно не жалует вашего брата... Да нико-

му еще, пожалуйста, не сказывай, что от меня получаешь, жизни буду не рад, как жена взбеленится: «Опоганил, дескать, дом наш честной неверным попом своим...» Что делать, отче?.. Баба!.. Ты уж не поскорби». Так, бывало, говорит Патап Максимыч, и поп Сушило ничего, только ухмыляется да бородку пощипывает либо ястребиный свой носик с красными прожилками пальчиком потирает.

Не Аксиныи Захаровны Чапурин боялся, а того, чтоб не разнеслась по народу молва, что он церковному попу помогает. Завопят староверы, по торговле доверия могут лишить... Бывали примеры!

Аксиныя Захаровна, Бог ее знает, какими судьбами, каждый раз узнавала, что Патап Максимыч попу гостинец послал.

— Бога не боишься, — зачнет, бывало, ворчать. — Совсем измиршился!.. Как у тебя рука не отсохла!.. Никакими молитвами этого греха не замолишь... Как попу-еретику подавать!.. По Писанию все едино, что отступить от правых веры.

— И поп человек, — ответит, бывало, Патап Максимыч, — и он пить да есть тоже хочет. У него же, бедного, семьища поди-ка какая! Всякого напой, накорми, всякого обуи да одень, а где ему, сердечному, взять? Чтó за грех ближнему на бедность подать? По-моему, нет тут греха никакого.

— Какой он тебе ближний? — вскрикнет, бывало, Аксиныя Захаровна. — Поп смущенныя церкви — все одно что идольский жрец!.. Хоть у матушки Манефы спроси.

— Нечего мне у Манефы расспрашивать, а ты, коли хочешь, спроси ее, отчего, мол, это в житиях-то написано, что святые отцы даже сарацинам в их бедах помогали?.. Что, мол, те сарадины, Бога не знающие, святых, что ли, свибловского-то попа были?

Плюнет Аксиныя Захаровна, тотчас из горницы вон и хлопнет дверью что есть мочи. А Патап Максимыч только улыбнется.

Когда захотелось Сушиле скуфьи, а пуще того гребтелось, как бы домашние нужды покрыть, повстречал он на пути Патапа Максимыча.

— Мир-дорога! — приветливо крикнул ему Чапурин.

— Здравствуйте, сударь Патап Максимыч, — отве-

тил Сушило, снимая побуревшую от времени и запыленную в дороге широкополую шляпу.

— С ярмарки, что ль? — Чапурин спросил.

— Какая нам ярмарка? Не такие карманы, чтоб по ярмаркам нам разъезжать, — ответил Сушило.

— Зачем же в город-от ездил?

— Ребят в семинарию свез. Да в консисторию требовали, — сказал поп Сушило.

— Что за требованье?.. Аль бедушка какая стряслась?.. — с участием спросил у него Патап Максимыч.

— Голову за вашего брата намылили, — промолвил Сушило.

— Как так за нашего брата? — с удивленьем спросил Патап Максимыч.

— Да так же, — ответил Сушило. — Говорят, уж больно много вам потачки даю. Раскольникам-де потворствуешь... Времена пошли теперь строгие: чуть что, вашего брата тотчас под караул.

— А ты не больно пугай, не то, пожалуй, не струшу, — шутливо молвил Патап Максимыч. — Говори-ка лучше делом.

— Делом и говорю, — высокомерно ответил Сушило. — Слыхал, чай, что не вашему брату, лесному мужику, чета, московских первостатейных по дальним городам разослали: Гучкова, Стрелкова, Егора Кузьмина.

— Не нашего согласу, — нахмурясь, промолвил Патап Максимыч. — Они беспоповы.

— Все едино, одного помету слепые щенята, — язвительно сказал поп Сушило.

Взорвало Патапа Максимыча. «Как сметь попу щенком меня обзывать!..» Но сдержался. Чего доброго?.. Еще кляузу подымет, суд наведет. Слова не вымолвил в ответ, велел работнику ехать скорее.

Сушило крикнул:

— А ведь у тебя в задней-то моленна.

— Так что же?

— А в моленной скитницы службу справляют.

— Ну справляют. Так что же?

— Беглы попы наезжают.

— Не тебя ли позвать? — усмехнулся Патап Максимыч. — Не беспокойся, брат, не позову.

— К тому говорю, что ты теперича, значит, в моих руках, — крикнул поп. — Сейчас могу в консисторию донести. Потянут к суду, напрыгаешься.

— Да ты с чего это взял? К чему речь-то свою klo-нишь? — в порыве гнева, едва сдерживаясь, чтоб бранного слова не молвить, вскричал Патап Максимыч.

— А к тому моя речь, — вполголоса молвил Сушило, подойдя к Патапу Максимычу, чтоб работник его не слышал. — К тому моя речь, что ежели хочешь в покое остаться, пятьюстами целковых снабди... Тебе это плевое дело, а мне большая подмога. Не то завтра же «репорт» на тебя отправлю.

Попроси Сушило у Патапа Максимыча честью, расскажи ему про свои нужды, он бы, пожалуй, и дал, но тут взбеленился, выругался и зычным голосом крикнул работнику:

— Уезжай от греха поскорей!.. Ну, живо!..

А поп остался середь дороги и, глядя на пыль, поднявшуюся из-под колес чапуринской тележки, злобно примолвил:

— Помни ты это, Патапка Чапурин, а я не забуду!..

И не забыл. Написал «репорт», что в деревне Осиповке у торгующего по свидетельству первого рода крестьянина Патапа Чапурина имеется «публичная» моленна, а по слухам якобы-де в оной находятся престол и полотняная церковь, а раскольничье-де служение совершают жительницы разных скитов и наезжающий по временам из Городца беглый поп. Консистория начала дело, и хоть оно ничем не кончилось, однакож немало принесло Патапу Максимычу досад, хлопот и расходов. А пуще всего Аксинья Захаровна. Не сказал ей муж ни про донос, ни про следствие, от сторонних людей все проведала и с злорадной усмешкой стала приставать к Патапу Максимычу: «Ну что?.. Не моя ль правда вышла?.. Вот те и ближний!.. Вот тебе и приятель!.. Попомнил неверный поп твои милости?.. А?..»

И с той поры, как ни случится, бывало, Патапу Максимычу встретиться с попом Сушилой, тотчас от него отворотится и даже зачнет оплевываться, а Сушило каждый раз вслед ему крикнет, бывало: «Праздник такой-то на дворе, гостей жди: с понятыми приеду, накрою на службе в моленной...» И про эти угрозы от людей стороной узнавала Аксинья Захаровна и каждый раз, как в моленную люди сойдутся, строго-настрого наказывала старику Пантелею ставить на задах усадьбы караульных, чтоб неверный поп в самом деле службу врасплох не накрыл.

Прошел год, опять настала ярмарка, опять на дороге встретился с попом Патап Максимыч. Поп из города, Чапурин в город.

— На ярмарку, что ли? — крикнул Сушило.

— На ярмарку, — сухо ответил Чапурин.

— Купи моей матушке попадье гарнитуровый сарафан да парчовый холодильник. Не купишь, так прижму, что вспокаешься, — сказал Сушило.

— Не жирно ли будет? Да и твоей ли чумазой попадье в шелках ходить? — усмехнулся Патап Максимыч и поехал своей дорогой.

— Помни это слово, а я его не забуду!.. — кричал ему вслед Сушило. — Бархаты, соболи станешь дарить, да уж я не приму. Станешь руки ломать, станешь ногти кусать, да будет уж поздно!..

Какие ни писал Сушило «репорты», ничего не поделал с Чапуриным. И оттого злоба стала разбирать его пуще. Слышать не мог он имени Патапа Максимыча. И замышлял донять его не мытьем, так кáтаньем!

Солнце с полден своротило, когда запылилась дорожка, ведущая к Свиблову. Тихо в погосте: Сушило после обеда отдыхал, дьячок Игнатий да пономарь Ипатий гоняли гóлубей; поповы, дьячковы и пономаревы дети по грибы ушли, один Груздок сидел возле мостика, ловя в мутном омуте гольцов на удочку. Заслышав шум подъезжавшей тележки, поднял он голову и, увидев молодого человека, одетого по-немецкому, диву дался.

«Кто бы такой? — думал сам про себя рыболов. — Приказный из городу, так ехал бы с ямщиком, да у него и борода была бы не бритая, господ по здешним местам не водится, — разве попович невесту смотреть к батюшке едет?.. Так где ему взять таких лошадей?»

— Эй ты, любезный! — крикнул Самоквасов, осаживая лошадей.

Пристально поглядел на него Груздок и сердито пробормотал что-то под нос. Был он суров и сумрачен нравом. Одичав на безлюдье, не любил вдаваться с посторонними в разговоры.

— Подь-ка поближе сюда! — крикнул ему Самоквасов.

— Сам облегчись, видишь, за делом сижу, — грубо ответил Груздок.

— Лошадей оставить нельзя, и к тебе подъехать нельзя. Ишь какой косогор! — сказал Самоквасов.

— Так мимо да прочь, — огрызнулся Груздок.

— Водку пьешь? — вскричал Самоквасов.

— Эва! — с улыбкой отозвался Груздок, и лицо его просияло.

— А Ерофеич?

— Толкуй еще!

— А ром? — продолжал подзадоривать мрачного сторожа Самоквасов.

— А ты подноси, чего спрашивать-то?.. — молвил Груздок и, бросив на песок лёсы и уды, скорым шагом подошел к тележке.

Самоквасов вынул из-под подушки оплетенную баклажку, отвинтил серебряный стаканчик, покрывавший пробку, и, налив его водкой, поднес ухмылявшемуся караульщику.

— Знатно! — крикнул Груздок. — Давно такой не пивал!.. С запахом!..

— Померанцевая, — подтвердил Самоквасов, подавая Груздку ватрушку на закуску. — Ты здешний, что ли?

— Никак нет, ваше благородие. — Черниговского графа Дибича Забалканского пехотного полка отставной рядовой, — вытянувшись по-военному, отвечал караульщик.

— Что ж здесь поделываешь? — спросил Самоквасов.

— По бедности, значит, моей при здешней церкви в караульщиках, — отвечал Груздок.

— Что у вас батюшка-то, каков?

— Не можем знать, ваше благородие, — отрезал караульщик.

— Да ты благородием-то меня не чествуй... Я из купечества... Так как же батюшка-то?.. Каков?.. — спрашивал Самоквасов, наливая другой стаканчик померанцевой.

— Со всячинкой, ваше степенство, — улыбаясь, ответил Груздок. — Известно дело, что поп, что кот, не поворча, и куска не съест.

— А деньги любит?

— Эх, милый человек! Как же попу деньги не любить, коли они его самого любят? Родись, крестись,

женись, помирай — за все деньги попу подавай, — со смехом сказал Груздок, хлопнувши на лоб другой стаканчик померанцевой.

— А по сколько за свадьбу берет? — спросил Самоквасов.

— Ихнее дело, не наше, — закусывая поданной ватрушкой, ответил Груздок.

— А ну-ка, служивый, испробуй ромку теперь, — сказал Самоквасов, доставая другую баклажку. — Так по сколько ж батька-то у вас за венчанье берет?

— С кого как, — отвечал караульщик. — С богатого побольше, с бедного поменьше... Опять же как венчать, против солнца — цена, по́солонь — другая, вдвое дороже.

— Хорош ли? — спросил Самоквасов у Груздка, когда тот выпил стаканчик рому.

— Важнецкий! — с довольством ответил караульщик. — С самой Венгерской кампании такого пивать не доводилось. Благодарим покорно, господин купец, имени, отчества вашего не знаю.

— Это у тебя что за бутылка лежит? — спросил Самоквасов.

— Да вот рыбешки на похлебку к празднику-то хочу наловить, так в бутылке червяки положены, — сказал Груздок.

— Опоражнивай!.. На завтрашний праздник ромку отолю, — сказал Самоквасов.

С радости бегом за бутылкой пустился Груздок, думая, должно быть, купчик в здешнем приходе жениться затеял!

— А уходом батька венчает? — спросил Самоквасов, переливая в бутылку ром.

— Ни-ни! — замотал головою Груздок. — И не подумает. Опасается тоже. Ведь ихнего брата за это больно щуняют. На каких родителей навернется. За самокрутки-то иной раз попам и косы режут. Бывает...

— А покалякать с ним на этот счет можно? — спросил Самоквасов.

— Отчего же не покалякать?.. Это завсегда можно, — отвечал Груздок.

— Слушай, — сказал Самоквасов. — Вот тебе на праздник зеленуха¹. А удастся мне дело сварганить,

¹ Зеленуха — трехрублевая бумажка.

красна за мной... Говори, с какой стороны ловчее подъехать к попу?

Глазам не верил Груздок, получив трешницу¹. За́раз столько денег в руках у него давно не бывало. Да десять целковых еще впереди обещают!.. Уж он кланялся, кланялся, благодарил, благодарил, даже прослезился. И потом сказал:

— Уж, право, не знаю, что присоветовать. Опаслив у нас батюшка-то! Вот разве что: дочь у него засиделась, двадцать пятый на Олену пошел. Лет пять женихи наезжают, дело-то все у них не клеится. В приданом не могут сойтись. Опричь там салопа, платьев, самовара, двести целковых деньгами просят, а поп больше сотни не может дать.

— Сто рублей, значит, надо ему? — сказал Самоквасов.

— Сразу не надо давать. С четвертухи² зачинайте, — сказал караульщик. — А как сладитесь, деньги ему наперед, без того не станет и венчать. Для верности за́ руки бы надо кому отдать, чтоб не надул, да некому здесь. Ты вот как: бумажки-то пополам, одну половину ему наперед, другу когда повенчает. Так-то будет верней.

Отец Родион был, однакож, не так сговорчив, как ожидал Самоквасов. Не соблазнила его и сотня целковых. Стал на своем: «не могу», да и только. Самоквасов сказал, наконец, чтоб Сушило сам назначил, сколько надо ему. Тот же ответ. Боялся Сушило, не с подвохом ли парень подъехал. Случается, бывает.

— С кем же, позвольте полюбопытствовать, имеете вы намерение в брак вступить? — спросил он, наконец.

— Да не сам я, батюшка, — отвечал Самоквасов. — Я тут только так, с боку припека, в дружках, что ли, при этом деле.

— Кто ж таков жених-от? — любопытствовал Сушило.

— Московский один, заезжий... — отозвался Самоквасов.

— А какого, осмелюсь спросить, звания? — продолжал свои расспросы отец Харисаменов.

¹ То же.

² Двадцатипятирублевый кредитный билет.

— А шут его знает, — сказал Самоквасов, — не то из купцов, не то мещанин... Так, плюгавенький, взглянуть не на что... Василий Борисов.

— Так-с... — поглаживая бородку, молвил Сушило. — Ну, а уж если позволите спросить, невеста-то чьих будет?

— А тут неподалеку от вас Чапурин есть Патап Максимыч. Дочка его.

— Чапурин!.. — с места вскочил поп Сушило. — Да что ж вы мне давно не сказали?.. Чтó ж мы с вами попусту столько времени толкуем?.. Позвольте покороче познакомиться! — прибавил он, пожимая руку Самоквасова. — Да ведь это такой подлец, я вам доложу, такой подлец, что другого свет не производил... Чайку не прикажете ли?.. Эй, матушка!.. Афимья Саввишна!.. Чайку поскорей сберите для гостя дорогого... Когда же венчать-то?..

— Да через недельку, батюшка, либо дён этак через десять, я вас накануне повестил бы, — отвечал Самоквасов.

А сам надивиться не может, что за притча с несговорчивым попом случилась.

— Уж как же вы утешили меня своим посещением! Уж как утешили-то! — продолжал изливаться в восторге Сушило. — Вот уж для праздника-то гость дорогой!.. Обвенчаем, родной мой, обвенчаем, только привозите!.. Патапка-то, Патапка-то!.. Вот потеха-то будет!.. Дочь за мещанином, да еще плюгавый, говорите.

— Плюгавый, батюшка, даже очень плюгавый, — подтвердил Самоквасов. — Такой, я вам скажу, плюгавый, что я, признаться сказать, и не рад, что ввязался в это дело...

— А, нет не говорите!.. Не говорите этого!.. — сказал отец Родион. — В добром деле не должно раскaiваться... Нет, уж вы их привозите... Уж сделайте такое ваше одолжение!.. Параскевой, кажись, невесту-то звать. Старшая-то Анастасия была, да померла у пса смердящего!..

— Так точно, батюшка... А как же у нас насчет уговора будет?.. Сто рублей? — спросил Самоквасов.

— Пятьдесят бы надо накинуть... Как хотите, а надо накинуть, — отвечал Сушило. — Если б не Патапке насолить, чести поверьте, ни за какие бы миллионы... Я так полагаю, что и двести целковых не грешно за та-

кое браковенчанье получить... Сами посудите, ответственность... А он хоть и мужик, да силен, прах его побери!.. С губернатором даже знается, со всякими властями!.. Это вы поймите!.. Поймите, на что иду!.. Не грех и триста целковеньких дать...

Самоквасов поспешил согласиться. «Не то, чего доброго, — подумал он, — разговорится поп да в тысячу введет...»

Чаю напились, три сотенных пополам, и после многих обниманий и целований расстались.

Это было накануне Петрова дня.

Петр Степаныч был на все лады молодец. За что ни возьмется, дело у него горит, кипит, само делается. С пылом, с отвагой схватился он за блажную затею Фленушки повенчать московского посланника с сонной, вялой Парашей. Не то чтоб думал он на расставанье угодить покидавшей его Фленушке аль устроить судьбу Парашаи, окрутив ее с Васильем Борисычем, а так — разгуляться захотелось, удалью потешиться. Не опасался он гнева Патапа Максимыча, не боялся, что оскорбит Манефу и в ужас приведет всю обитель Бояркиных. То забавляло его, какую тревогу поднимут в Москве на Рогожском, по всем скитам, по всему старообрядству, когда узнают, что великий, учительный начетчик, ревностный поборник «древлего благочестия», строгим житием и постничеством прославленный, обвенчался в никонианской церкви, да и невесту-то из скита выкрал. Воображал Самоквасов, как всполохнется мать Пульхерия, как засуетится рогожский святитель-поп Иван Матвеевич, как известие о свадьбе Василья Борисыча ошеломит столпов старообрядства, адамантов благочестия... Нарочно решился наскоро ехать в Москву любоваться потехой. А середь молодежи что смеху-то будет, шумного, беззаветного веселья!.. Для того одного стоит десяток посланников обвенчать!.. Главное дело, хохоту что будет, хохоту!..

За два дня до Казанской Самоквасов поскакал во весь опор в Язвицы к ямщикам. День был воскресный, в праздничных красных рубахах ямщики играли в городки середь улицы. Подошел Петр Степаныч, поглядел на них и, заметив молодого парня, что казался всех удалей, заговорил с ним:

— Лошадок бы надо.

Ямщики побросали палки и мигом столпились вокруг Самоквасова.

— Сколько требуется?

— Куда везти?

— В тарантасе, что ль? — в несколько голосов закричали они.

— Со всеми, братцы, не сговоришь, а мешкать мне не доводится, — молвил им Самоквасов. — Дело со всеми, а толковать буду с одним. Как тебя звать? — спросил он, обращаясь к тому, что показался ему всех удалей.

— Зовут зовуткой, величают серой уткой, — с хохотом в несколько голосов закричали ямщики, не думая отходить от Самоквасова.

— Кабак есть? — спросил Петр Степаныч.

— Как не быть кабаку? Станция без кабака разве бывает? Эх ты, недогадливый!.. — смеялись ямщики.

Вынул Самоквасов целковый и молвил, отдавая его ямщикам:

— Угощайтесь покуда. После дело до всех дойдет, а до того с ним потолкую.

— Благодарим покорно, — во всю мочь закричали ямщики. — Смекаем, что требуется! Нам не впервой... Уважим, почтенный, как следует все обработаем!

И пошли вдоль по улице.

— Как же звать-то тебя? — спросил Самоквасов, отойдя с удалым ямщиком в сторонку.

— Федор Афанасьев буду, — молвил тот, молодецки потряхнув светло-русыми кудрями.

— Лошадок в середу треба мне, Федор Афанасьич, — молвил ему Петр Степаныч. — Тройку в тарантасе, две не то три тройки в телегах.

— Можно, — сказал удалой ямщик.

— Да парней бы молодых, что поздоровей да поудалей, человек с десятка, — продолжал Петр Степаныч.

— И это можно, — молвил ямщик. — Крадено, значит, везти? — прибавил он, плутовски улыбаясь.

— Есть немножко около того, — тоже усмехаясь, молвил Петр Степаныч.

— Коли крадено живое — с великой радостью, а не живой товар, так милости просим от нас подальше, — сказал Федор Афанасьев.

— Живое, живое, — подхватил Самоквасов. — Мы

не воры, не разбойники, красных девушек любовники.

— Девку, значит, надо выкрасть? — лукаво подмигнув, молвил Федор.

— Есть тот грех, — усмехнувшись, сказал Петр Степаныч.

— Никакого тут нет греха, — сказал ямщик. — Все едино, что из тюрьмы кого высвободить аль отбить от разбойников. Сам я после Макарья тоже хочу девку красть.

— Так как же? — спросил Петр Степаныч.

— Будь покоен, почтенный, все это в наших руках, завсегда это можем, — отвечал Федор. — Восьэтто¹ мы одним днем две самокрутки спроворили... Четыре тройки, говоришь?.. Можно... Парней десяток?.. И это можно... Велику ль погоню-то ждешь?.. Колев не припасти ли, аль одним кулаком расправимся?

— Зачем колья, — сказал Самоквасов. — Коль и будет погоня, так не великая... Да и то разве бабы одни, — прибавил он, усмехаясь.

— Стало быть, из скитов крадешь?.. Старочку?.. Молодец, паря! — хлопнув по плечу Самоквасова, весело молвил ямщик. — Я бы их всех перебрал — что им по кельям-то без мужьев сидеть?.. Поди, каждой замуж-от охота.

— Вестимо, — сказал Самоквасов. — Так как же у нас насчет ряды-то будет?

— По три целковых на брата даешь? — спросил Федор.

— Да, — ответил Петр Степаныч.

— Ладно. Угощенье какое?

— На ведро водки деньгами дам — угощайтесь сами, как знаете, — молвил Самоквасов.

— Ведра будет маловато, два поставь. Заслужим, — сказал ямщик.

— Ну, два так два. Идет, — согласился Петр Степаныч.

— А на закуску? — опять спросил Федор.

— Тоже деньгами выдам, — сказал Петр Степаныч. — Трех целковых будет?

— Положь пятишницу, — почесывая затылок, молвил ямщик.

¹ Восьэтто, или восейка — недавно, на днях, намеренно.

— Идет... А за ко́ней что?

— Езда-то куда? — спросил Федор.

— Отсель к Ронжину выехать... — начал было Самоквасов.

— Из Комарова, стало быть, крадешь, — усмехнулся ямщик.

— Оттоль в Свиблово.

— К попу Сушиле. Знатный поп, самый на эвти дела подходящий. Наши ребята с самокрутками все к нему. Денег только не жалеи, — а то хоть с родной сестрой окрутит.

— Из Свиблова в город, — продолжал Петр Степаныч.

— Десять да десять — двадцать, да еще двадцать одна — сорок одна верста всей-то езды. Подставы будут нужны. Сорок верст по такой жаре не ускачешь, — сказал Федор.

— Подставы так подставы, — молвил Петр Степаныч. — Сколько ж за все?

— Десять человек по три целковых — тридцать, — стал считать Федор, — два ведра — десять, на закуску пятишницу — значит, всего сорок пять, за ко́ней пятьдесят. Клади сотенну кругом, тем и делу шабаш.

— Пять-то целковых зачем присчитал? — молвил Петр Степаныч.

— На́спех делается, почтенный, нельзя, — ответил ему Федор. — Пла́тами не станешь поезжан оделять? Невестиных даров тоже не будет?.. Положь за дары-то пятишницу.

— Ну, ладно. Получай задаток, — молвил Петр Степаныч Федору и подал ему четвертную.

— Ты к тем не ходи, — сказал Федор. — Я уж сам тебе все обделаю. Будь спокоен... Когда выезжать-то?

— Коль не пришлю повестку в отмену, в среду после полден часа через три быть вам у Ронжина, — отвечал Самоквасов.

— Слушаем, — молвил ямщик. — Все в исправности будет. Нам не вперво́й.

Самоквасов дальше поехал, а в Язвицком кабаке далеко за полночь ямщики пили и пели, гуляли, кричали на все голоса.

В городе Петр Степаныч не так легко и скоро управился, как в Язвицах. Здесь надо было ему приискать

квартиру, где б молодые после венца прожили несколько дней до того, как ехать им в Осиповку за родительским прощеньем. В том захолустном городке гостиниц сроду не бывало, а постоялый двор всего-навсего один только был, наезд бывал туда только в базарные дни. На том дворе Петр Степаныч пристал, видит, молодых тут нельзя приютить — больно уж бойко и во всем несуразно: все одно что кабак... По домам пошел квартиры искать — нет ни единой.

Проходил Самоквасов по городку вплоть до вечера и уж думал на другой день квартиры искать в деревнях подгородных, но ему и тут удалой ямщик пригодился. Только вышел он поутру на улицу, Федор Афанасьевич тут как тут — усталых, взмыленных коней проваживает... Окликал его Петр Степаныч.

— А, почтенный!.. Ты уж и здесь, — весело отозвался ямщик. — А меня, чтоб его пополам да в черепья, пес его знает, барин какой-то сюда потревожил... Казенна подорожная, да еще «из курьерских»... Вишь, коней-то загнал как, собака, — не отдышатся, сердечные... А мы только что разгулялись было, зачали про ваше здоровье пить, а его шайтан тут и принес-си... Очередь-то моя — что станешь делать?.. Поехал.

— Слушай-ка, парень, вечер сказывал ты, что эти самокрутки дело вам за обычай, — молвил ему Самоквасов.

— Без нашего брата тут нельзя... — отвечал Федор. — Потому, ускакать надо. Мне вот у тебя на двадцатой свадьбе доведется быть... Завсегда удавалось, раз только не успели угнать. И колотили же нас тогда... ой-ой! Три недели валялся, насилу отдох. До сих пор знатко осталось, — промолвил он, показывая на широкий рубец на правой скуле. — Отбили, ареды!..

— А не случилось тебе после венца молодых сюда в город возить? — спросил Самоквасов.

— Как не случаться — случилось!.. Сколько раз... — отвечал Федор.

— Видишь ли что, Федор Афанасьич, — сказал Самоквасов, — человек я заезжий, знакомцев у меня здесь нету... Вечор бился, бился, искал, искал квартиры, где бы пожить молодым. Весь город исходил — собачьей конуры и той не нашел.

— У Феклиста Митрича нешто не был? — спросил у него ямщик.

— У какого Феклиста Дмитрича?

— Погребок у него, вином виноградным торгует, — сказал ямщик, — лавочка тоже есть, бела харчевня. К нему с девьем когда хошь, и в полночь и за полночь.

— Ну нет, Федор Афанасьич, это, друг любезный, не годится. Не шатушие приедут, не в кабаке им жить, — сказал Петр Степаныч.

— Зачем в кабаке? — возразил ямщик. — Только не жалей целкачей, так Феклист Митрич сам-от в подклет переберется, а верхни горницы тебе предоставит. А горницы у него важные!.. Во всех не бывал, хвастать не стану, а говорят, почище да приборней городнических будут.

— Где ж его отыскать? — спросил Самоковасов.

— А ты обожди здесь маленько, я только коням овсеца задам. Покамест жуют, мы с тобой дело-то и обладим. Мне не впервой к нему молодых-то привозить, — сказал Федор Афанасьич.

— Постой, погоди, — молвил ему вслед Петр Степаныч, — какой он веры, Феклист-от Митрич? Какого, значит, согласи?

— А тебе что? — обернувшись, спросил ямщик.

— Да ведь если он по ихней, по скитской значит, так, пожалуй, не пустит, — молвил Петр Степаныч.

— Феклист-от Митрич не пустит?.. Эва!.. — засмеялся ямщик. — Он, брат, у нас всякой веры... Когда котора выгоднее, такую на ту пору и держит. В одни святы денежки верует. Повесь на стенку сотенну бумажку — больше чем Николе намолится ей.

Убрав лошадей, ямщик повел Петра Степаныча к Феклисту Митричу. Тот сразу согласился уступить все верхнее жилье дома. Понравилось оно Петру Степанычу — как есть купецкий дом средней руки. Ни горок с серебром и ценным фарфором, ни триповых диванов, как у Патапа Максимыча, не было, а все-таки не зазорно было Прасковье Патаповне вступить в такой дом после венчанья. Зато уж и содрал же Феклист Митрич щетинку с Самоковасова. Что ни разъезжал по городам, нигде таких цен за постой он не плачивал. Однакож не торговался, хоть и почесал в затылке, подумавши, что свадебка-то ему, пожалуй, за тысячу въедет. Да что тысяча, коль охота молодцу покуражиться. «Главное дело, матушка Пульхерия да батюшка Иван Матвееч!.. Рожи-то какие корчить зачнут!..»

— Так вы уж, пожалуйста, Феклист Митрич, поспешайте, чтобы все как следует было, — молвил Самоквасов ему на прощанье.

— Не извольте, почтеннейший господин, напрасно беспокоиться. Слава Богу, эти дела нам не впервые, — дробной скороговоркой зачастил Феклист Митрич. — Летошний год Суцов, купец из Нижнего Воскресенья, — рыжий такой, не извольте ли знать, да толстый, — тоже скитску девицу из Оленева крал, тоже у нас проживанье имели, всем остались довольны. Свечки будут стеариновые, по всем горницам зажжем; двухспальну постель кисейными пологамі украсим, можно будет и коврики постлатъ. Чайна посуда и для обеда отменная; не понравится кушанье из нашей харчевни, можем из трактира повара взять; вина первый сорт — от Соболева. И все по самым сходным ценам будет предоставлено вашему почтению.

Сладились. Отдал Феклисту Петр Степаныч задаток, простился с удалым ямщиком и рысцой покатыл к попу в Свиблово.

Сушило встретил Петра Степаныча не по-прежнему. Когда Самоквасов подъезжал к погосту, поп, влекущий племя свое от литовских бояр, в белой холстинной рубахе, босиком, но в широкополой шляпе, косил по своему кладбищу сено. Ловко размахивал он косою, гораздо ловчее, чем работавший в другом углу кладбища Груздок. Услыхав грохот тележки на мостике, Сушило перестал косить, приставил правую руку зонтиком над глазами и пристально стал вглядываться в проезжего. Узнав с нетерпением ожидаемого гостя, швырнул он косу и крикнул сторожу:

— Докашивай, Груздок, докашивай, да в оба гляди, от Игнатя аль от Ипатя ребятенки опять бы не стали корзинами наше сено таскать. Чуть что, первого за вихор да ко мне на расправу.

И бегом побежал к дому отец Харисаменов, сверкая голыми пятками. Став в калитке, окликнул он лихо подкатившего Петра Степаныча.

— Милости просим, гость дорогой, милости просим! В горницу пожалуйте, а я сейчас оболокусь.

Поставив лошадок у поповских ворот, Самоквасов вошел в дом. Горница была пуста, но за перегородкой

слышалась возня одевавшегося отца Родиона, припевавшего вполголоса: «Ангельские силы на гробе твоём и стрегущие омертвеша».

Через несколько минут вышел из-за перегородки Сушило в желто-зеленой нанковой рясе и даже с распущенными из пучка и расчесанными волосами. Хотя архиерею напоказ.

Поклонился Самоквасов отцу Родиону, а тот, подавая ему руку запросто, с усмешкой промолвил:

— Благословения не приемлете?

— Нет, батюшка, и мы тоже старинки держимся, — улыбаясь, ответил Петр Степаныч.

— Ну, как знаете... А нехорошо, нехорошо, — вдруг приняв на себя строгий вид, заговорил отец Харисаме-нов. — Без церкви спастись невозможно. Потому сказано: «Аще все достояние свое нищим расточишь, аще весь живот свой в посте и молитве пребудешь, церкви же чуждаться будешь — никакo души свою поль-зуешь».

— Мы, батюшка, так уж сызмальства, — сказал Самоквасов. — Как родители жили, так и нас благословили.

— Ну, ваше дело, ваше дело, — мягким голосом проговорил Сушило. — Я ведь так только... к слову... Так подобает мне, потому пастырский долг, обязан-ность благовременно и безвременно поучать и увещать всяка человека, святей божией церкви чуждающегося. Садиться милости просим, гость дорогой... А я еще третьего дня вас поджидал... Афимья Саввишна!.. Ма-тушка!.. Аль не слышите?.. Чайку скорей сберите да на закусочку кой-что сготовьте... Ну, как наши дела, поч-теннейший Петр Степаныч?.. Когда венчать-то?.. Пора бы уж, пора — мои половинки по вашим соскучи-лись, — со смехом прибавил отец Родион.

— Да послезавтра бы, в среду, если можно, ба-тюшка, — ответил Самоквасов.

— Можно, все можно. Отчего ж нельзя? — ласково и нежно заговорил Сушило, поглаживая бородку. — Чем скорей, тем лучше: и для нас способнее и для вас приятнее. Отзвонил да с колокольни долой, как у нас говорится. Хе-хе-хе!..

— Так к которому же часу привезти их, батюш-ка? — спросил Петр Самоквасов.

— Позже-то лучше бы. Не столь видно, — сказал Сушило. — Хотя при нашем храме стороннего народа,

опричь церковного кліра, никого не живет, однако ж все-таки лучше, как попозднее приедете. В сумерки этак, в сумерки постарайтесь... Потому, ежели днем венчать, так, увидевши ваш поезд, из деревень налезут свадьбу глядеть. А в таком деле, как наше, чем меньше очевидцев, тем безопаснее и спокойнее... Погоню за собой чаете?

— Нет, батюшка, вряд ли будет погоня, — отвечал Петр Степаныч.

— А ежели Патапка проведает? — возразил Сушило. — Двадцать деревень может поднять, целу армию выставит. С ним связаться беда — медведь, как есть медведь.

— В город, батюшка, уехал, дела там какие-то у него, с неделю, слышь, в отлучке пробудет, — сказал Самоквасов. — И матери дома нет — в Вихорево, коли знаете, к Заплатиным гостить поехала.

— С дочерью, с нашей то есть невестой? — любопытствовал отец Родион.

— Невеста-то у тетки в Комарове, — молвил Петр Степаныч.

— У Манефы, — полушепотом подхватил Сушило. — Ехидная старица, злочинная!.. На одну бы осину с братцем-то... А разве вы полагаете, почтеннейший Петр Степаныч, что ежели паче чаяния злочинная Манефа узнает, так не нарядит она погони?.. Какую еще нарядит-то!.. Денег жалеть не станет, все окольные деревни собьет... Поопасьтесь на всякий случай.

— Будьте покойны, батюшка, — сказал Самоквасов. — Ни Манефы послезавтра в Комарове не будет, ни других начальных стариц — все в Шарпан уедут.

— Да, ведь послезавтра восьмое число: явление Казанския чудотворныя иконы... Праздник у них в Шарпане-то, кормы народу, — злобно говорил отец Родион. — Ох, куда сколь много вреда святей церкви теми кормами они чинят... И как это им дозволяется!.. Сколько этими кормами от церкви людей отлучили... Зловредные, из всех скитниц самые зловредные эти шарпанские!.. И как это вы отлично хорошо устроили, — переменял свою речь Сушило.

— Что такое? — спросил Петр Степаныч.

— А как же? Отец в отлучке, мать в отлучке, тетка в отлучке, сама невеста не в своем дому, и призора нет за ней никакого, — говорил отец Родион. — Отменно

хорошо дельце обóрудовали, ей-богу, отменно... А на всякий случай, ради отбоя погони, люди-то будут ли у вас?

— Как же, батюшка, без того нельзя, — отвечал Самоквасов. — Десять молодцов здоровенных — не больно к ним подступятся...

— Ну вот и прекрасно, — молвил Сушило. — Преотменно, я вам доложу. Без отбойных людей в таких делах никак невозможно. Потому что тут погонщики бывают аки звери. Пьяны к тому ж завсегда. Такую иной раз свалку подымут, что того и гляди смертоубийства не было бы... А вы не беспокойтесь, только поспевайте скорее, дорогой бы только вас не угнали, а здесь уж все в порядке будет. Дверь в церковь у нас дубовая, толстая, опричь нутряного ключа, железной полосой замыкается, окна высоко, к тому ж с железными решетками да с болтами... Столь крепко запремся, что никакими силами нас не возьмут... Хе-хе-хе!.. Нарочно для таких случаев и сделано, опять же для опасности от воровских людей. Жителей-то у нас, как видите, опричь меня да причетников, нет никого, а кругом народ вор, как раз могут церковь подломать... На это взять их, мошенников!

— Батюшка, уж вы, пожалуйста, жениха-то с невестой по́солонь обведите, — вкрадчивым голосом сказал попу Петр Степаныч.

— По́солонь, по́солонь!.. — пощипывая бородку, думчиво говорил отец Родион. — Не ладно будет, государь мой, не по чину.

— Уж сделайте такое ваше одолжение... Не откажите... Да уж и теплоту-то в стеклянном стакане подайте... Уж сделайте милость.

— Значит, по-вашему: стакан жениху в церкви о́ пол бить да ногой черепки топтать... — сказал Сушило. — Бесчинно и нелепо, государь мой!.. Вы этак, пожалуй, захотите, чтоб по́сле венца невесте в церкви и косу расплели и гребень в медовой сыте мочили, да тем гребнем волоса ей расчесывали.

— Вот ведь, батюшка, вы все знаете, как у нас по-старинному делается, — улыбнулся Самоквасов.

— Еще бы не знать! Сколько годов с вашим братом вожусь, со здешними, значит, раскольщиками. Все ваши обычаи до тонкости знаю, — молвил отец Родион.

— Так уж вы так и сделайте, батюшка, коли все

знаете. — Очень бы нас тем одолжили. А мы будем вам за то особенно благодарны.

— Да не все ль для вас едино: так ли, этак ли их повенчаю. Тут главная причина, в обыскную книгу было бы вписано, — сказал Сушило.

— Нет, уж вы сделайте такое ваше одолжение, — продолжал Петр Степаныч. — Я вам за это сейчас же четвертную, не надрываючи, — уговаривал его Петр Степаныч.

— Ох, уж, право, какие вы! — с глубоким вздохом молвил отец Родион. — И не рад, что связался! Только уж как хотите, а одной четвертной будет маловато... А будет с невестой какая молодлица, голову-то бы ей в церкви расчесать да повойник вздеть?

— Нет, батюшка, во всем поезде женского полу, oprичь невесты, не будет у нас, — сказал Самоквасов.

— Так как же это будет? — вскрикнул Сушило. — Не мужчине ж волоса-то ей расчесывать. Впрочем, об этом не пекитесь. Тут неподалеку для таких делов есть у нас мастерица. Ее пригласим; это уж мое дело, насчет этого вам беспокоиться нечего.

— Очень будем вам благодарны, батюшка, — сказал Петр Степаныч. — Так какая же будет у нас ряда? — сказал он потом.

— Сами сочтите, — ответил отец Родион. — За по́солонь четвертная, за стакан другая, за расплетанье косы третья, молодежи четвертая. Сотенная, значит.

— Как же это, батюшка, за косу-то вдвойне вы кладете? — спросил Самоквасов. — За расплетанье косы четвертная, да молодежи другая?

— Одна, значит, мне за дозволение совершить во храме бесчинный обряд, церковными правилами не заповеданный, а другая молодежи за труды, — спокойно и даже внушительно сказал поп Сушило.

Как ни бился Петр Степаныч, копейки не мог выторговать. Уперся поп Сушило на сотне рублей, и ничем его нельзя было сдвинуть. Заплатил Самоквасов, напился у попа чаю, закусил маленько и тихой рысцой покати́л к Каменному Вражку.

Глава семнадцатая

Спрыснув золотые галуны удельного головы и знаменитого перепелятника, веселый и вполне довольный

собой и другими, Патап Максимыч заехал в деревню Вихореву, оставил там у Груши Аксиныю Захаровну, а сам денька на два отправился в губернский город. Приехал туда под вечер, пристал у «крестника», у Сергея Андреича.

Колышкин повел его в тенистый сад и там в тесовой беседке, поставленной на самом венце кручи¹, уселся с «крестным» за самовар. После обычных расспросов про домашних, после отданных от Аксиныи Захаровны поклонов, спросил Патап Максимыч Колышкина:

— А что мой Алексеюшка? У тебя, что ли, он?

Сергей Андреич только посвистал вместо ответа.

— Чего свищешь? По-человечьи говори, не поптычи, — с досадой молвил Патап Максимыч.

— Рукой не достанешь его... Куда нам такого внаймах держать!.. — сказал Сергей Андреич.

— Как так? — удивился Чапурин.

— Маленько повыше меня, на Ильинке — Рыкаловский дом знаешь?

— Как не знать? — молвил Патап Максимыч.

— А вон на пристани, третий пароход от краю, бела труба с красным перехватом. Видишь?

— Ну?

— И дом Рыкаловский и пароход с белой трубой теперь Алексея Трифоныча Лохматова. И он теперь уж не Лохматый, а Лохматов прозывается. По первой гильдии... Вот так... — сказал Колышкин.

Не нашел Чапурин слов на ответ. Озадачили его слова Сергея Андреича.

— Да это на плохой конец сотня тысяч! — молвил он после короткого молчания.

— Девяносто, — сказал Сергей Андреич, закуривая сигару. — Маленько не угадал.

— Откуда ж такие у него деньги? С неба свалились, с горы ли скатились? — вскрикнул в изумление Патап Максимыч.

— И с неба не валились и с горы не катились — же на принесла, — молвил Колышкин.

— Как жена?.. Какая жена?.. — вскрикнул, вскочив со скамьи, Патап Максимыч.

— Какие жены бывают... Вечор повенчались... — куря равнодушно сигару, ответил Колышкин.

¹ Круча — утес, обрыв, гора стеной.

— На ком, на ком? — горя нетерпением, спрашивал Патап Максимыч.

— Ну-ка, вот угадай!.. Из ваших местов, из-за́ Волги невесту брал, да еще из скитов... Разумеешь? — молвил Колышкин.

— Знаю теперь, догадался! — вскрикнул Патап Максимыч. — Дура баба, дура!.. На Петров день у сестры мы гостили, там узнали, что она тайком из скита с ним поехала... Неужели пошла за него?

— Пошла, — ответил Сергей Андреич.

— Дурища! — вполголоса промолвил Чапурин.

— Верно твое слово, — подтвердил Колышкин. — Надивиться не могу, как это решилась она... Баба не в молодях, а ему немного за двадцать перевалило; лет через десять — старуха, а он в полной поре... Видала от первого мужа цветочки, от другого ягодок не увидать ли... И увидит, беспрременно увидит... Еще женихом какое он дельце обработал — чуть не половину ее капитала за собой закрепил... И дом и пароход — все на его имя. Завладеет и деньгами, что в ларце у жены покаместь остались... Всем по скорости завладеет... Тогда и свищи себе в кулак Марья Гавриловна, гляди из мужниных рук... Воли-то нет над ней, поучить-то некому, дурь-то выбить из пустой головы.

— Как же это он таково скоро? — молвил Патап Максимыч, не глядя на Колышкина.

— Такие дела всегда на́спех делаются, — сказал Сергей Андреич. — Баба молодая, кровь-то, видно, еще горяча, а он из себя молодец... Полюбился... А тут бес... И пришлось скорей грех венцом покрывать... Не она первая, не она последняя... А ловок вскормленник твой... метил недолго, попал хорошо.

— Да, ловок, — вздохнул Патап Максимыч, и яркая краска облила думное лицо его.

— Билет на свадьбу присылал, да я не поехал, — молвил Сергей Андреич. — Ну его к Богу. Не люблю таких.

Не отвечал Патап Максимыч. Про Настю ему вспомнилось.

— Шельмец! — порывисто с места вскочив, вскрикнул он и стал ходить по беседке взад и вперед.

— Раскусил-таки! — усмехнулся Колышкин. — Да, молодец!.. Из молодых, да ранний!.. Я, признаться, радехонек, что ты вовремя с ним распутался... Ненадеж-

ный парень — рано ли, поздно ли в шапку тебе наклал бы... И спит и видит скору наживу... Ради ее отца с матерью не помилует... Неладный человек!

— Не в примету мне было то, — обмахиваясь платком, промолвил Патап Максимыч. Пот градом струился по раскрасневшемуся лицу его.

— А я так приметил, даром что меньше твоего знаю пройдоху... — сказал на то Колышкин. — Намедни пожаловал... был у меня. Парой в коляске, в модной одежде, завит, раздушен, закорузные руки в перчатках. Так и помер я со смеху... Важный, ровно вельможа! Руки в боки, глаза в потолоки — умора! И послушал бы ты, крестный, как теперь он разговаривает, как про родителей рассуждает... Мерзавец, одно слово — мерзавец!

— Что ж про родителей-то? — спросил Патап Максимыч.

— Спрашиваю его: будут ли на свадьбу, повестил ли их? «Некогда, говорит, мне за ними рассылать, особенно, дескать, много и без них хлопот».

— Дела, дела! — глубоко вздохнул Патап Максимыч, садясь на стул перед Колышкиным.

— Да, крестный, дела, что сажа бела, — молвил Сергей Андреич.

— Повидаться мне с ней надо б, с Марьей-то Гавриловной, — подумав, сказал Патап Максимыч. — Дельце есть до нее... За тем больше и в Комаров к сестре ездил, чаял ее там увидеть.

— Что за дельце такое? — спросил Колышкин.

— Торговое, — сухо ответил Чапурин.

— Что ж?.. Сходи поздравь с законным браком. Законный как есть — в духовской венчались, в единоверческой, — сказал Сергей Андреич.

— Да ведь они оба нашего согласу, — удивился Патап Максимыч.

— Духовско-то венчанье, слышь, покрепче вашего, — улыбнулся Колышкин. — Насчет наследства спокойнее, а то неравно помрет, так после нее все брату достанется. Так и сказал. Боится, видишь, чтобы Залетовы не вступились в имение, не заявили бы после ее смерти, что не было венчанья, как следует.

— Не сделает этого Залетов, — молвил Патап Максимыч. — Знаю я Антипу Гаврилыча: до денег жаден, а на такое дело не пойдет.

— Сам я знаю Залетова, сам то же думаю, а вот Алексей Трифонович Лохматов не таких, видно, мыслей держится, — ответил Колышкин.

— Не чаял от него таких делов, не чаял, — качая головой, говорил Патап Максимыч.

После того приятели спокойно толковали про торговые дела, про пароходство, клади и поставки. И длилась у них беседа до ужина.

— Где спать-то велишь? — спросил Патап Максимыч, выходя с хозяином после ужина из беседки.

— Все приготовлено. Успокою дорогого гостя!.. В кои-то веки пожаловал!.. — говорил Сергей Андреич.

— Ты бы мне здесь, в беседке, велел постлать... На вольном воздухе легче, не душно, — сказал Патап Максимыч.

— Чтой-то ты, крестный? — возразил Сергей Андреич. — Возможно ль тебе у меня не в дому ночевать!.. На всех хватит места. Хочешь, спальню свою уступлю? Нам с женой другое место найдется.

— Нет, уж ты вели мне постеленку в беседке постлать... На воле-то крепче поспится, — настаивал Патап Максимыч.

— На заре-то холодно будет — озябнешь, — молвил Сергей Андреич.

— Наше дело мужицкое — авось не замерзнем, — усмехнулся Патап Максимыч и настоял, чтоб ночлег был сготовлен ему в беседке.

Полночь небо крыла, слабо звезды мерцали в синей высоте небосклона. Тихо было в воздухе, еще не остывшем от зноя долгого и жаркого дня, но свежей отрадной прохладой с речного простора тянуло... Всюду царил бесшумный, беззвучный покой. Но не было покоя на сердце Чапурина. Не спалось ему и в беседке... Душно... Совсем раздетый, до самого солнышка простоял он на круче, неустанно смотря в темную заречную даль родных заволжских лесов.

«Так вот он каков объявился!.. Корыстник!.. Падок на деньги, жаден к богатству!.. А я-то как о нем рассуждал, — так сам с собою раздумывал Патап Максимыч. — Стало быть, и покойницу-то из-за корысти губил он!.. Не познала тайных замыслов его, голубонька; мороком обвел злодей, отуманил ее... Не красы девичьей, а денег моих добивался!.. Теперь это солнца ясней... А я ль не любил его, я ли о нем не старался!..

От родного отца откинулся, как же бы тестя-то стал почитать?.. Э!.. Пропадай он совсем!.. И пропадет, как капустный червяк пропадет!.. Неправедна корысть впрок не пойдет... А выскользнул из рук!.. Сам стал богат: теперь ни угрозой, ни лаской, ни дарами, ни долгами рта ему не завяжешь... Обесславит ее во гробу, накроет позором мою голову!.. Ох, Господи, Господи!.. От него все станется... Чует мое сердце!»

Долго раздумывал Чапурин, как бы властной рукой наложить молчанье на уста разбогатевшего Алексея, но, как ни раскидывал умом, ничего придумать не мог. Стало его заботить и дело с Марьей Гавриловной. За год перед тем взял он у нее двадцать тысяч рублей по векселю, срок платежа наступал, а денег в сборе нет. Взявши зимой не по силам подряд, извел он залежные деньги, а за поставку уплаты надо получать у Макарья... О долге прежде ему не гребтелось, не думал Чапурин о сроке, знал, что Марья Гавриловна не то что полтора месяца, целый год подождет. Бывши на Настиных похоронах, сама закинула такое слово Патапу Максимычу. Оттого и денег он не припас, оттого и хотелось потолковать с Марьей Гавриловной насчет отсрочки... А срок послезавтра.

«Она вся теперь в его власти, — ходя по венцу горы, думал Чапурин. — Вдруг он не захочет?.. Вдруг ко взысканью представит?.. Нет, не представит... Разве мало видел от меня милостей?.. Не камень же в самом деле!..»

Утром Патап Максимыч, не повидавшись с Сергеем Андреичем, в Рыкаловский дом пошел. Затуманилось в глазах, тоской заныло гордое сердце кичливого тысячника, когда вспало ему на ум, что будто на поклон он идет к своему токарю... Полугода не прошло с того, как, подав щедрую милостыню, вырвал он из нищеты его семью, а самого приблизил к себе ровно сродника. Позором честной семьи за добро заплатил, но и после того не оскудела рука Патапа Максимыча. И вот теперь, когда, по словам Колышкина, Алексей во всю ширь развернулся и во всей наготе выказал жадную, корыстную душу свою, высокомерному Чапурунину доводится идти к нему ровно на поклон, просить, может быть, кланяться... Сроду не случалось ему такого униженья, никогда не бывала так оскорблена его спесь, его надменность самим собой... Но все-таки на-

деялся он на Марью Гавриловну. Она добрая, отсрочит, сама же обещала отсрочку, сама говорила, чтоб он не хлопотал, не собирал денег на расплату в срок.

Не надивится Патап Максимыч, глядя на богато разубранные комнаты Алексея Трифоныча. Бронза, зеркала, ковры, бархаты, цветы — ничем не хуже колышкинских. И все так ново, так свежо, так ярко, все так и бьет в глаза... И это дом поромовского токаря, дом погорельца, что прошлой зимой нанимался к нему в работники!.. Ночи темней сумрачные взоры Чапурина.

Самого Алексея не было дома, на пароход уехал, в тот день надо было ему отваливать. Марья Гавриловна, только что повестили ее про Патапа Максимыча, тотчас вышла к нему из внутренних горниц.

В пышном нарядном платье, но бледная, задумчивая, с поникшей головой, неслышными стопами медленно вышла она по мягким пушистым коврам и стала перед Патапом Максимычем. Подняла голову, вспыхнула заревом, опустила глаза.

— С законным браком, сударыня Марья Гавриловна, — тихо и сдержанно, но сильно взволнованным голосом проговорил Патап Максимыч.

— Покорно вас благодарю, — чуть слышно отвечала она. — Садитесь милости просим.

Сели. Речи не идут на уста ни тому, ни другой. Помолчав, Чапурин сказал:

— А я вечор только приехал. Знать бы наперед, на свадьбу поспешил бы.

— Покорно вас благодарю, — сдерживая, сколько доставало силы, волнение, тихо ответила ему Марья Гавриловна.

— Скоренько поспешили, — после нового молчанья промолвил Патап Максимыч.

— Власть божия, Патап Максимыч, судьба! — сказала Марья Гавриловна.

— Вестимо, — молвил Патап Максимыч. — Что на роду человеку написано, от того никому не уйти. Сказано: сужена-ряжена ни пешу обойти, ни конному объехать!..

— Аксинья Захаровна как в своем здоровье, Параша? — догадалась, наконец, спросить Марья Гавриловна.

— Живут помаленьку, — отвечал Патап Макси-

мыч. — Хозяйку в Вихореве у Груни покинул, Прасковья гостит в Комарове.

— Матушка Манефа здорова ль? — совсем склонив голову, едва переводя дух, чуть слышно спросила Марья Гавриловна.

— Пеншит помаленьку. Старого леса кочерга!.. Хворает, болеет, а сотню лет наверняка проскрипит, — слегка улыбнувшись, промолвил Чапурин.

Еще что-то хотела сказать Марья Гавриловна, но не вылетело из уст ее крылатого слова.

— На Петров день у Манефы гостили мы, — зачал опять Патап Максимыч. — Не обессудьте, Марья Гавриловна, в вашем домике приставали: я, да кум Иван Григорьевич, да удельный голова, да Марка Данилыч Смолокуров, — не изволите ли знать?

— Слыхала про Марка Данилыча, — молвила Марья Гавриловна. — Сказывают, человек хороший.

Опять настало молчанье. С духом сбирался Патап Максимыч.

— А я с просьбицей к вам, Марья Гавриловна, — зачал он, наконец, и замялся на первых словах.

— С какой, Патап Максимыч? — с ясным взором и доброй улыбкой спросила Марья Гавриловна.

— Да вот насчет того векселя... Послезавтра срок. Как были вы у нас на Настиных похоронах, сами тогда сказали, что согласны отсрочить... Мне бы всего месяца на полтора. Надеюсь на ваше слово, денег я не сготовил. Безо всяких затруднений можно бы было и больше той суммы перехватить, да видите — теперь вдруг подошло... Тогда при моей скорби-печали, сами знаете, до того ли мне было, чтоб векселя переписывать... А теперь уж сделайте такую вашу милость, не откажите, пожалуйста. Все векселя, что даны за горящину, писаны до спуска флагов у Макарья, значит по двадцать пятое августа. Уж сделайте такую милость, Марья Гавриловна, перепишите векселек-от на два месяца, по девятое, значит, сентября.

— С великим моим удовольствием, — ответила Марья Гавриловна. — Не извольте беспокоиться, Патап Максимыч... Так точно, сама я тогда говорила вам, чтоб вы не хлопотали об уплате на срок... Вот Алексей Трифоныч сейчас приедет; доложу ему, что надо завтра непременно тот вексель переписать.

— А сами-то вы? — спросил Патап Максимыч.

— Сами вы муж, сами семьи голова, Патап Максимыч, — улыбнувшись, промолвила Марья Гавриловна. — По себе посудите — стать ли замужней женщине в такие дела помимо мужа входить?.. У меня все ему сдано... Посидите маленько, не поскучайте со мной, он скоро воротится. Пароход сегодня к Верху отправляется — хлопоты.

Колѡм повернуло сердце у Патапа Максимыча. Приходится поклониться Алексею. «Не во сне ль это?» — думает высокомерный, спесивый тысячник, и багровый румянец обливает лицо его, кулаки сами собой стиснулись, а черные глаза так и засверкали искрами. «И угораздило ж ее за такого талага¹ замуж идти!.. Ему кланяться!.. Алешке Лохматову!.. Да пропадай он совсем!.. В разор разорюсь, а не поклонюсь ему!.. Ох, дура, дура!.. Погоди, матушка, погоди — облупит он тебя, как липочку, да, кажись, немного уж осталось и обдирать-то тебя!..»

Вдруг по всему дому звон раздался. Давно ль не умел Алексей сладить со звонком на крыльце у Колышкина, а теперь сам приделал звонки к подъезду «благоприобретенного» дома и каждый раз звонил так усердно, как разве только деревенски ребятишки звонят о Пасхе на сельских колокольнях.

— Приехал, — молвила Марья Гавриловна, и как-то неловко стало ей перед Патапом Максимычем. Слегка засуетилась она.

Бойко, щѣпетко² вошел Алексей. Щеголем был разодет, словно на картинке писан. Поставив шляпу на стол и небрежно бросив перчатки, с неуклюжей развязностью подошел он к Патапу Максимычу. Как ни сумрачен, как ни взволнован был Чапурин, а еле-еле не захохотал, взглянув на своего токаря, что вырядился барином.

— Наше вам наиглубочайшее! — закатывая пѡд лоб глаза, нескладно повертываясь и протягивая руку Патапу Максимычу, с ужимкой сказал Алексей. — Очень ради, почтеннейший господин Чапурин, что удостоили нас своей визитой!

¹ Талагай — болван, неуч, невежа.

² Щѣпетко — щегольски, по-модному, но неловко. Щѣпетун — щеголь, щѣпет — щегольство. Слова эти употребляются в простом народе Нижегородской и других поволжских губерний.

Нéхотя подал Патап Максимыч ему руку, еще раз с головы до ног оглядел Алексея, слегка покачал головой, но сдержался — слова не молвил. Одно вертелось на уме: «Наряд-от вздел боярский, да салтык-от остался крестьянский; надень свинье золотой ошейник, все-таки будет свинья».

— Садитесь милости просим, почтеннейший господин Чапурин, — говорил Алексей, указывая на диван Патапу Максимычу. — А ты, Марья Гавриловна, угощенья поставь: чаю, кофею, «чиолату». Чтобы все живой рукой было! Закуску вели сготовить, разных водок поставь, ликеров, рому, коньяку, иностранных вин, которы получше. Почтенного гостя надо в аккурат угостить, потому что сами его хлеб-соль едали.

— Спасибо на памяти про нашу хлеб-соль, — сухо промолвил Патап Максимыч. — Не беспокойте себя понапрасну, Марья Гавриловна. Ни чаю, ни кофею, ни закусывать мне теперь неохота... И за то благодарен, что хлеб-соль моя не забыта.

— Помилуйте, почтеннейший господин Чапурин, как же возможно вашу хлеб-соль нам позабыть? — молвил Алексей. — Хоша в те времена и в крестьянстве я числился, никакого авантажу за собой не имел, однако ж забыть того не могу... Справляй, справляй, а ты, Марья Гавриловна... Не можно того, чтоб не угостить господина Чапурина. Сами у него угощались, и я и ты.

— Пожалуйте, Патап Максимыч, не побрезгуйте нашим угощеньем. Мы ото всей души, — сказала Марья Гавриловна и вышла.

И Патапу Максимычу и Алексею было как-то неловко, тягостно. Еще тягостней показалось им, когда они остались с глазу на глаз. Молчали, поглядывая друг на друга.

— Пароход сейчас отправил, — заговорил, наконец, Алексей. — Хлопот по горло. Известное дело — коммерция!.. Насилу отделался.

— К Верху побег?.. — чтобы что-нибудь сказать, спросил Патап Максимыч.

— Как есть в аккурат, угадали: в Рыбну, — ответил Алексей.

— С кладью?

— Неужто погоним пустой?.. Не расчет-с!.. На одних дровах обожжешься!.. — с усмешкой промолвил

Лохматов. — Две баржи при «Соболе» побежали: с хлебом одна, другая со спиртом. Фрахты ноне сходные.

— Чего? — спросил Патап Максимыч.

— Фрахты, говорю, ноне сходные. Двенадцать копеек с пуда... Оно, правда, на срок, с неустойкой.

— Фрахты! Вот оно что! Цены значит, а я, признаться, сразу-то не понял, — слегка усмехнувшись, проговорил Патап Максимыч.

Не укрылась мимолетная усмешка от Алексеева взора. Ровно ужалила она его. И вскипело у него яростью сердце на того человека, на которого прежде взглянуть не смел, от кого погибели ждал...

— Пожалуйте, Патап Максимыч, — входя в гостиную, приветливо молвила Марья Гавриловна. — Захотелось мне в своих горницах вас угостить. Милости просим!..

Нахмурился Лохматов, кинул на жену недружелюбный взор, однако встал и пошел вслед за ней и за Патапом Максимычем.

— Ты бы, Марья Гавриловна, амбреем велела покурить, — сказал он, подняв нос и нюхая изо всей силы воздух. — Не то кожей, не то дегтем воняет... Отчего бы это?

Вздрогнул и побагровел весь Патап Максимыч. Отправляясь к молодым, надел он новые сапоги. На них-то теперь с язвительной усмешкой поглядывал Алексей, от них пахло. Не будь послезавтра срок векселю, сумел бы ответить Чапурин, но теперь делать нечего — скрепя сердце, молчал.

Усердно потчевала гостя Марья Гавриловна. Но и лянсин¹, какого не бывало на пирах у самого Патапа Максимыча, и заморские водки, и тонкие дорогие вина, и роскошные закуски не шли в горло до глубины души оскорбленного тысячника... И кто ж оскорбляет, кто принижает его?.. Алешка Лохматый, что недавно не смел глаз на него поднять. А тот, как ни в чем не бывало, распивает себе «чиколат», уплетает сухари да разны печенья.

— Самый интересный этот напиток «чиколат», — бросил он небрежно слово Чапурину. — Как есть деликатес! Попробуйте, почтеннейший!.. Отменнейший

¹ Высший сорт чая.

скус, я вам доложу... Самый наилучший — а ла ваниль... У вас его, кажись, не варят?.. Попробуйте...

— Чем Бог послал, тем и питаемся, — сдержанно, но злобно промолвил Чапурин.

— Да вы попробуйте. Грешного в эвтом «чиколате» нет ничего. Могу поручиться, — надменно говорил Алексей. — Марья Гавриловна, подлей-ка еще. Да сама-то что не пьешь?.. Не опоганишься... Чать, здесь не скиты. Скусный напиток, как есть а ла мод. В перву статью.

— Не хочется, Алексей Трифоныч, — краснея, ответила Марья Гавриловна.

— А ты, глупая бабенка, губ-то не вороти, протведай!.. — резко сказал Алексей и затем громко крикнул: — Чилаек!

Вошел слуга. Одет был он точь-в-точь, как люди Колышкина.

— Шенпанского! — сказал Алексей и развалился на диване. — Надо вам, почтеннейший господин Чапурин, поздравить нас, молодых... Стаканы подай, а Марье Гавриловне махонький бокальчик! — во все горло кричал он вслед уходившему человеку.

В каждом слове, в каждом движении Алексея и виделось и слышалось непомерное чванство своим скороспелым богатством. Заносчивость и тщательно скрываемый прежде зазорный и свирепый нрав поромовского токаря теперь весь вышел наружу. Глазам и ушам не верил Чапурин, оскорбленная гордость клокотала в его сердце... Так бы вот и раскроил его!.. Но нельзя — вексель!.. И сдержал себя Патап Максимыч, слова противного не молвил он Алексею.

На прощанье обратился не к нему, а к Марье Гавриловне.

— Так как же, сударыня Марья Гавриловна, насчет того векселька мы с вами покончим?.. Срок послезавтра, а вот перед Богом, денег теперь у меня в сборе нет... Все это время крепко на ваше слово надеялся, что на два месяца отсрочку дадите.

— Я, Патап Максимыч, от своего слова не отретича, — быстрый взор кидая на мужа, молвила Марья Гавриловна. — И рада б радехонька, да вот теперь уж как он решит... Теперь уж я из его воли выйти никак не могу. Сами знаете, Патап Максимыч, что такое муж означает — супротив воли Алексея Трифоныча сделать теперь ничего не могу.

— Да ведь сами же вы, Марья Гавриловна, тогда, у покойницы Насти на похоронах, о том разговор завели... Я не просил. Знай я вашу перемену, не стал бы просить да кланяться...

— Так точно, Патап Максимыч. Это как есть настоящая правда, что я тогда сама разговор завела, — низко склоняя голову, молвила Марья Гавриловна. — Так ведь тогда была я сама себе голова, а теперь воли моей не стало, теперь сама под мужниной волей...

— А может статься, Марья-то Гавриловна такое обещанье вам только для того дала, чтоб не очень вас расстраивать, потому что в печали тогда находились, схоронивши Настасью Патаповну, — насмешливо улыбаясь, с наглостью сказал Алексей.

Вспыхнул Чапурин. Зло его взяло... «Смеет, разбойник, имя ее поминать!..» Пламенным взглядом окинул он Алексея, сжал кулаки и чуть слышным, задышающим голосом промолвил:

— Не мне б слушать такие речи, не тебе б их говорить!..

Дерзко, надменно взглянул Алексей, но смутился, не стерпел, потупил глаза перед гневным взглядом Чапурина.

— Да вы не беспокойтесь, Патап Максимыч, — робко вступилась Марья Гавриловна. — Бог даст, все как следует уладится. Алексей Трифонович все к вашему удовольствию сделает.

— Аль забыла, что к ярманке надо все долги нам собрать? — грубо и резко сказал Алексей, обращаясь к жене. — Про что́ вечер после ужины с тобой толковали?.. Эка память-то у тебя!.. Удивляться даже надобно!.. Теперь отсрочки не то что на два месяца, на два дня нельзя давать... Самим на обороты деньги нужны...

Ни саврасок не помнил, ни христосования, ни того, что было меж ними на последнем прощанье в Осиповке.

Но Патап Максимыч ничего не забыл... Едва держась на ногах, молча поклонился он хозяйке и, не взглянув на хозяина, пошел вон из дому.

Воротясь к Колышкину, Чапурин прошел прямо в беседку. Не хотелось ему на людей глядеть. Но рядом с беседкой возился в цветниках Сергей Андреич.

— Что, крестный, не весел, голову повесил? — крикнул он, не покидая мотыги.

Не ответил Патап Максимыч. Разъярился уж очень, слова не мог сказать...

Разговорил-таки его Сергей Андреич. Мало-помалу рассказал Патап Максимыч и про вексель и про подарки, сделанные им Алексею, про все рассказал, кроме тайного позора Насти покойницы.

— Вешать мало таких!.. — вспыхнув от гнева, вскрикнул Колышкин. — А она-то, она-то! Эх, Марья Гавриловна, Марья Гавриловна!.. Бить-то тебя, голу-бушка, некому!.. Понятно, зачем деньги ему в наличности нужны — году не пройдет, обдерет он ее до последней рубашки, а там и пустит богачку по миру... Помяни мое слово... А каков хитрец-от!.. А мне ведь спервоначалу складным человеком казался... Поди ты с ним!.. Правду говорят: не спеши волчонка хвалить, дай зубам у серого вырасти... Плюнь на него, крестный. Забудь, что есть на свете такой человек.

— До смертного часу не забыть мне его!.. Посрамитель он мой!..

Колышкин думал, что Патап Максимыч насчет векселя говорит. Потому и сказал:

— Какой же он тебе посрамитель? Времени хоть немного, а, Бог даст, управимся... А ему посрамление будет... И на пристани и на бирже всем, всем расскажу, каков он есть человек, можно ль к нему хоть на самую малость доверия иметь. Все расскажу: и про саврасок, и про то, как долги его отцу со счетов скинуты, и сколько любил ты его, сколько жаловал при бедности... На грош ему не будет веры... Всучу щетинку, кредита лишу!

— Не делай так, Сергей Андреич... Зачем?.. Не вороши!.. — все про Настю думая и пуще всякого зла опасаясь бесстыдных речей Алексея, молвил Чапурин. — Ну его!.. Раз деньги на подряд мне понадобились... Денег надо было не мало... Пошел я в гостиный... поклонился купечеству — разом шапку накидали... Авось и теперь не забыли... Пойду!..

И пошел было.

— Стой, крестный, не спеши. Поспешишь — людей насмешишь, — молвил Сергей Андреич, удерживая его за руку. — Пожди до утра — сегодня ли, завтра ли деньги собрать, все едино: платеж-от послезавтра еще... Отдохни, покойся, а я, пообедавши, кой-куда съезжу... Много ль при тебе денег теперь?

— Трех тысяч не будет... Если сейчас же в Городец да в Красну Рамень послать, столько ж еще б набралось, — молвил Патап Максимыч.

— У меня... кой-что в кассе найдется... Вот что, крестный: до завтра из дому ни шагу!.. Слышишь?.. И до себя никого не допускай — дома, мол, нет. А теперь обедать давай — здесь, на вольном воздухе, пожую сам-друг...

—хлопотать надо мне, Сергей Андреич, — промолвил Чапурин.

— Я буду хлопотать, а ты сиди дома, точи веретёна, — перебил Колышкин. — И хозяйке моей не кажись — вишь какой ты расстроенный!.. Не надо таким в люди казаться... То дело, Бог даст, обойдется и, ввек не помянется, а увидят тебя этаким, толки зачнутся да пересуды, наплетут и невесть чего — и, что ни придумают, ввек того не забудут... Сиди же дома, крестный... Слышишь?..

— Ладно, — упалым голосом, жалобно промолвил Патап Максимыч и молча стал смотреть на реку.

После обеда Сергей Андреич куда-то надолго уехал.

Поздно вечером он воротился. Патап Максимыч сидел на приступках беседки, подпершись локтями и закрыв лицо ладонями.

— Ну что, крестный? — весело спросил его Сергей Андреич.

— Ничего, думал все... — уныло проговорил Патап Максимыч.

— Про что ж так невесело раздумывал? Неужто все про Алешку непутного? — спросил Колышкин.

— О слове Писания размышлял я, Сергей Андреич, — садясь на скамейку, ответил: — «Овым подобает расти, овым же ма́лится!..» Так оно и выходит... Каков я был до сего человек!.. Возносился паче меры, на всякого смотрел свысока!.. И смирил меня Господь за треклятую гордость... Не от сильного-могучего, не от знатного, от властного — от своего страдника-работника, от наймиста¹ принял я поношение, потерпел унижение!.. Слётыш, материно молоко на губах не обсохло, а клони перед ним седую голову... Ему расти, мне же ма́лится!.. Что ж? господня воля!.. Благо ми, яко

¹ Наемный работник, также наемный охотник в солдаты.

смирил мя еси, Господи!.. Да это что? Трын-трава!.. Знал бы ты сердце мое, Сергей Андреич, ведал бы думы мои сокровенные!.. — порывисто воскликнул Чапурин и чуть не выдал заветной тайны своей...

— Да что это, крестный, с тобою? Приди в себя, образумься!.. — молвил изумленный Сергей Андреич.

А изумился оттого, что заметил слезу на седой бороде Патапа Максимыча. В другой только раз видел он слезы крестного. Впервые видел их на Настиных похоронах.

— Спокойся, крестный!.. Перестань!.. — уговаривал его Колышкин. — На что это похоже?..

— Ты что?.. — вскочив со скамьи и быстро подняв голову, воскликнул Патап Максимыч. — Думаешь, вот, дескать, какой кряж свалился?.. От векселя, думаешь?.. Не помышляй того, Сергей Андреич... Эх, друг мой сердечный, — примолвил он грустно, опуская голову и опять садясь на скамейку. — Как Волги шапкой не вычерпаешь, так и слез моих уговорами не высушишь!.. Один бы уж, что ли, конец — смерть бы, что ли, Господь послал!..

Долго с сердечной любовью разговаривал его Колышкин, уверяя, что деньги завтра будут готовы, но это не успокоило Патапа Максимыча... Настина тайна в руках страдника — вот что до самого дна мутило душу его, вот что горем его сокрушало... Не пригрозить теперь богачу, как грозил дотоль нищему.

— Нет, уж ты, Бога ради, освободи меня, Сергей Андреич, — сказал, наконец, Патап Максимыч. — Изнемог я... Дай одному с печалью остаться, подь отсель, оставь меня одного... Дай надуматься... А какой я допрежь сего столп был неколебимый... Помнишь?.. Никого не боялся, ничего не страшился!.. Шатнуло горе, свихнуло!.. Глядя на меня, поучайся, Сергей Андреич, познай, как человеку подобает мѧлится... Божий закон!.. Господне определенье!..

— Эх, крестный, крестный!.. Да стоит ли Алешка Лохматов такого горя-уныния? — с сердечным участием молвил Сергей Андреич. — Зачем безнадежишь себя?.. Бог не без милости. Дело не пропащее... Уладим, Бог даст... А тебе бы в самом деле хорошо одному побыть... Прощай... Утро вечера мудренее... Помнишь, как ребятишкам бабы сказки сказывают? И я скажу тебе, что в сказках говорится: «Что тебе от меня будет

сделано, то будет не служба, а службишка, спи-почивай до утра — утро вечера мудренее».

И неспешным шагом пошел из сада вон.

Не берет сон Патап Максимыча. Сидит на скамье, у самого края кручи, что отвесной стеной стоит над нижним городом и рекою... Другая ночь безо сна!.. Не доводилось прежде испытывать такой бессоницы Патапу Максимычу... Далеко́ было за полночь, заря занялась над горами, погасли огни пароходов, говор и гомон зачался на реках и на набережных, когда удрученный горем, сломленный в своей гордости, ушел Чапурин в беседку... Запер он дверь изнутри, опустил в окнах занавеси, вынул из чемодана образ Спаса нерукотворенного, поставил его на столике и затеплил восковую свечу... Солнце давно уж играло золотистыми лучами по синеватой переливчатой ряби, что подернула широкое лоно Волги, и по желтым струям Оки, давно раздавались голоса на судах, на пристани и на улицах людного города, а Патап Максимыч все стоял на келейной молитве, все еще клал земные поклоны перед ликом Спаса милостивого.

Молитва успокоила взволнованную душу, поклоны утомили тело, он прилег... И пришел благодатный сон и держал его почти до полудня.

Только проснулся Патап Максимыч, с радостным видом Колышкин в беседку вошел.

— Здравствуй, крестный!.. Здоров ли, родной? — весело спросил он Чапурина.

— Заспался грехом, не обессудь, — промолвил Патап Максимыч, зевая. — Всю ночь напролет на волос не уснул. К ранним обедням звонили, как я задремал... Полдни никак?.. Эх я!.. Сроду такого не бывало.

— А вот говорится пословица: «Долго спать — с долгом встать». К тебе она не подходит, — улыбаясь, молвил Колышкин.

— Как не подходит? Ко мне то больше всего и подходит, — возразил Чапурин.

— Ан нет, — сказал на то Сергей Андреич. — Сряжайся скорей, ступай к разбойнику... Вот деньги. Ни в Красну Рамень, ни в Городец посылать не надо, и твои три тысячи пускай при тебе остаются... Получай двадцать тысяч.

И положил перед ним пачки бумажек.

— Спешి к Алешке-то, покаместь на биржу не отъ-

ехал, — торопил Сергей Андреич Чапурина. — Брякнет, пожалуй, там: завтра, мол, вексель на Чапурина подаю ко взысканию. Тогда хоть и расплатишься, а говор да слава пойдут... Скорей, крестный, скорей!..

— Деньги-то откуда? — хмурясь, спросил у Колышкина Патап Максимыч.

— Мои, — тот отвечал. — Тебе какое дело — откуда?..

— Твои? Сам вечер говорил, что ты не при деньгах, — молвил Чапурин.

— Торговое дело! Седни при гроше, завтра в барыше, — улыбаясь, ответил Сергей Андреич.

— Да я, право, не знаю... — колебался Чапурин.

— Ты что это вздумал?.. — горячо заговорил Сергей Андреич. — Сочти-ка, много ль раз ты из петли меня вынимал, сколько от тебя я видел добра? Без тебя давно бы нищим я был. Алешка, что ль, я, чтоб не помнить добра?.. Неси скорей — долг платежом красён.

И как ни упирался Патап Максимыч, заставил его взять деньги и спешить к Марье Гавриловне.

Алексей Трифонич на пристань собирался, когда пришел Патап Максимыч. Вышла к нему Марья Гавриловна, бледная, смущенная, с покрасневшими глазами — не то плакала, не то ночь не спала.

— С добрым утром, сударыня Марья Гавриловна, — сдержанно молвил Чапурин.

— Благодарю покорно, Патап Максимыч, — каким-то упалым, грустным голосом проговорила она. — Садиться милости просим.

— Сидеть некогда мне, сударыня... Не гостины гостить, по делу пришел. Принесите-ка мой векселек, а я денежки вам сполна отсчитаю.

— Что это вы так много беспокоитесь, Патап Максимыч? Напрасно это... — перебирая в руках посовой платок, молвила Марья Гавриловна и с чего-то вся покраснела.

— Как же, матушка, не беспокоиться? Завтра ведь десятое число — срок. Не заплачу сегодня, завтра толки пойдут. А вы сами знаете, каково это торговому человеку, — говорил Патап Максимыч. — Нет, уж сделайте такое ваше одолжение, не задерживайте — на пристань идти пора.

— Обождите маленько, Патап Максимыч, — подавляя тяжелый вздох, молвила Марья Гавриловна. — Вексель у мужа — сейчас принесу.

И потупя глаза, медленной походкой вышла она из комнаты. Оставшись один, в думы Чапурин вдался. «Вексель у мужа!.. И все у него — все капиталы, — думал он. — Эх, Марья Гавриловна!.. Недели не прошло со свадьбы, а глаза-то уж наплаканы!.. Слава те, Господи, что не досталась ему Настя голубушка!.. В какую было пропасть задумал я кинуть ее!.. Но Господь знает, что делает... Раннюю кончину сердечной послал, избавил от тяжелой доли, от мужа лиходея... Несть ни конца, ни предела премудрости твоей, Господи!.. Жалко голубушку, жаль мою ластовку, а раздумаешь — воздашь хвалу создателю... Людскую нашу дурость крост его святая премудрость... Не зачал бы только злодей плести на покойницу... Голову сверну!.. Хлещи меня палач на площади!.. На каторгу пойду, а только заикнись он у меня, только рот разинь — простись с вольным светом!.. А насчет долгов — заклятье даю... не под силу подрядов не бирывать, ни у кого больших денег не займовать!.. Ни у кого; ни у Сергея Андреича, ни у кума Ивана Григорыча, зятя Бог даст — у того не возьму... Проучили!.. А что-то зятек мой надуманный не сдет... С келейницами хороходится?.. А, чтоб их!.. А покончив дело, все-таки надо к губернатору побывать — насчет скитов поразведать».

Влетел Алексей Трифоныч, разряженный в пух и прах. За ним робкой поступью выступала скорбная Марья Гавриловна. Вексель был в руках Алексея.

— Наше вам наиглубочайшее, почтеннейший господин Чапурин! Честь имею вам кланяться, — сказал он свысока Патапу Максимычу.

Научился Лохматый модным словам от маклера Олисова да в купеческом клубе, где в трынку стал шибко поигрывать. Много новых речей заучил; за Волгой таких и не слыхивал.

— Денежки привезли? Милости просим садиться — денежкам завсегда мы рады, — кобенясь и потирая руки, проговорил Алексей Трифоныч.

Не взглянув на него, Патап Максимыч положил деньги на стол и сказал безмолвной Марье Гавриловне:

— Сочтите!..

Считать стал Алексей. Каждую бумажку на свет разглядывал.

— Может, от отца Михаила которые получали, — язвительно улыбнувшись, промолвил он. — Ихнее дело

кончается, — прибавил он как бы мимоходом, — всех ваших приятелей в каторгу.

Вскочил с кресел Патап Максимыч... Но сдержался, одумался, слова не вымолвил... И после того не раз дивился, как достало ему силы сдержать себя.

— Верно-с, — кончив перечет, сказал Алексей. И, надорвав вексель, подал Патапу Максимычу.

Молча поклонился Чапурин Марье Гавриловне и, не взглянув на Лохматого, пошел вон.

Алексей за ним.

— По чести надо рассчитаться, почтеннейший Патап Максимыч, — сказал он ему. — Процент на вексель мы не причли-с... Двенадцать годовых, сами знаете, меньше не водится. А что от вас я лишков получил, лошадеенок в тот же счет ставлю — по моему счету ровно столько же стоит. Значит, мы с вами в полном расчете.

И протянул было руку Патапу Максимычу.

Но тот задышающим голосом шепотом сказал ему:

— Бог с тобой!.. Только помни уговор... Скажешь неподобное слово про покойницу — живу не быть тебе!..

И быстрыми шагами пошел вон из дому.

— Будьте покойны, почтеннейший господин Чапурин... Насчет женщин, тем паче девиц, худые речи говорить неблагородно. Это мы сами чувствуем-с, — говорил Алексей Трифоныч вслед уходившему Патапу Максимычу.

Пошел назад, и бывалый внутренний голос опять прозвучал: «От сего человека погибель твоя!..»

«Грозен сон, да милостив Бог», — подумал Алексей и, завидя проходившую Таню, шаловливо охватил гибкий, стройный стан ее.

— Да отстаньте же! — с лукавой усмешкой молвила Таня, ловко увертываясь от Алексея. — Марье Гавриловне скажу!..

Глава восемнадцатая

На Казанскую в Манефиной обители матери и белицы часы отстояли и пошли в келарню за трапезу. Петр Степаныч тоже в келарню зашел и, подав Виринее сколько-то денег, попросил ее, чтоб всех обитель-

ских медом сыченным или ренским вином «учредили» и чтоб приняли то за здравие раба божия Прокофья.

— Это мне двоюродный братец, — сказал Самоквасов. — Сегодня он именинник.

— Так точно, сударь Петр Степаныч, — добродушно сказала на то Вириная. — Сегодня совершаем память праведного Прокопия, Христа ради юродивого, устюжского чудотворца... Так впрямь братца-то вашего двоюродного Прокофьем зовут? А, кажись, у Тимофея Гордеича, у твоего дяденьки, сына Прокофья не было?..

— Он мне по матушке покойнице двоюродным доводится, — сказал Петр Степаныч и ни капельки не покраснел, даром что никакого брата Прокофья сроду у него не бывало.

— Благодарим покорно, сударь Петр Степаныч. Благодарите, матери: Петр Степаныч на сегодняшнюю нашу трапезу особое учреждение поставляет. Помяните за здравие братца его двоюродного Прокопия, — проговорила Вириная, обращаясь к сидевшим за столами.

— Благодарим вас покорно, Петр Степаныч, — встав со скамей и низко кланяясь Самоквасову, в один голос проговорили старицы и белицы.

— А теперь, матушка, — тихонько сказал Самоквасов Вириное, — так как вы остались в обители старшей, благословите уж и трудничков-то на работном дворе угостить.

— Бог благословит, — с довольством улыбаясь, ответила мать Вириная. — Экой ты добрый какой, — прибавила она, гладя рукой по плечу Петра Степаныча.

Угостились трудники Манефины, угостились и трудники Бояркиных, чувствуя небывалого именинника. Пили чашу мертвую, непробудную, к вину приходили на двух, уходили на всех четырех. До утра ровно неживые лежали и наутре как слепые щенята бродили.

Успокоив трудников, за дело принялся Петр Степаныч. Уложив в тележку свои пожитки и Парашины чемоданы, поехал он из обители. Прощаясь с Таисеей, сказал, что едет в губернский город на неделю, а может, и больше. Заехав за перелесок, поворотил он в сторону и поставил лошадей в кустах. Вскоре подошел к нему Семен Петрович с Васильем Борисычем.

На Василье Борисыче лица не было. Безгласен, чуть не бездыханен, медленными шагами подвигался он к

Самоквасову, идя об руку с саратовским приятелем. Поблекшие и посиневшие губы его трепетно шептали: «Исчезоша яко дым дние моя... от гласа воздыхания моего прильпе кость моя плоти моей, уподобихся неясныи пустынному, бых яко вран.нощный на нырищи...» Бежать бы, но сильна, крепка рука саратовца — не увёрнешься, да и бежать-то уж некогда.

— Ну, жених, садись скорее, — торопливо сказал ему Петр Степаныч. — Скорей, скорей!

— Ох, искушение!.. — жалобно вздохнул Василий Борисыч. — Хоть повременили бы маленько, с духом бы, что ли, дали собраться.

— Нечего тут растабарывать. Сажай его, Семен Петрович, — крикнул Самоквасов. — Да не привязать ли кушаком руки к задку-то? Неравно выскочит...

— У меня не выскочит, — молвил саратовец, усаживая Василья Борисыча в самоквасовскую тележку, а сам садясь с ним рядом.

И кони во весь опор помчали легкую тележку вдоль по гладкой дорожке.

Немного прошло времени, вдали показались язвицкие тройки. Впереди ехал в тарантасе удалой Федор. На телегах сидело десять молодцов, все в одинаких красных рубахах. Подъехав к Самоквасову, они было загорланили.

— Тише! Услышать могут, — остановил их Петр Степаныч. — Давай шапку да рубаху, — молвил он Федору.

Вынул Федор из-под сиденья красну кумачову рубаху, такую же точно, какие были на ямщиках. Скинув верхнее платье, Самоквасов надел.

— Шапки! — сказал он.

Вытащили из телег зимние мерлушчатые шапки, нахлобучили их себе на головы. Такая же шапка и Самоквасову на долю досталась. Лица завязали платками и пошли в перелесок... У лошадей осталось двое.

Через четверть часа вдали визг и женские крики послышались. Громче всех слышался хриплый голос матери Никаноры:

— Матушки, украли!.. Владычица, украли!..

Затрещали кусты можжевельные под ногами десятка удалых молодцов. Бегом бегут к лошадям, на руках у них с ног до головы большими платками укрытая Прасковья Патаповна. Не кричала она, только охала.

Посадили ее в тарантас, Самоквасов на облучок вскочил. «Айда», — зычным голосом крикнул он ямщикам. Тарантас полетел по дороге к Свиблову, за ним телеги с поезжанами в красных рубахах и в зимних шапках.

Кто на дороге ни встретится, всяк остановится, с любопытством посмотрит на поезд и проводит его глазами, поколь из виду не скроется.

— Девку выкрали! — спокойно промолвит прохожий и пойдет своим путем, не думая больше о встрече. Дело обычное. Кто в лесах за Волгой свадеб уходом не видывал?..

Собираясь гулять на Каменный Вражек, чтоб потешить дорогую гостью обительскую, Фленушка созвала много белиц. Были свои, от Жжениных были, от Бояркиных. Мать Никанора с ними пошла да еще мать Лариса.

Ягоды собирали, цветы на поляне рвали, и когда на траве засырело, большие платки разостлали и расселись на них. Фленушка так и рассыпалась шутками да прибаутками, кажется, никогда еще такой веселой она не бывала. Повеселели белицы, хохотали до упаду от затейных рассказов Флены Васильевны, улыбались даже строгие, степенные матери. Одна Марыюшка сидела нахмурившись, да Параша не то дремала, не то задумалась. Увивалась за ней Никанора, ласкалась Лариса, но богатая дочка тысячника улыбалась им, но не сказала ни слова.

За веселым хохотом ни матери, ни белицы не слышали, что возле лужайки, где сидели они, вдруг захрустели в перелеске сухие сучья валежника, зашуршали раздвигаемые кусты можжевельника и молодой осиновой поросли.

Выскочили из леса десять парней в красных рубахах и нахлобученных на самые глаза шапках, с лицами, завязанными платками. Взвизгнули девицы, градом брызнули во все стороны, заголосили матери, пуще всех кричала и суетилась Флена Васильевна.

Петр Степаныч стрелой подбежал к Параше и охватил ее поперек. Удальцы схватили брошенные на лужайке платки, мигом окутали в них невесту, схватили ее на руки и помчали в перелесок. Оглянуться не успели матери с белицами, как сгибла, пропала Параша, отецкая дочь...

Чуть не полпути проскакал свадебный поезд, пока белицы да матери, после долгих криков, задорной перебранки, отчаянных оханий и причитаний, добрались, наконец, до обители. Как завидела рябая звонариха Катерина часовню, благим матом к ней кинулась и, взбежав на паперть, изо всей мочи принялась колотить в «било» и «великое древо», в «малое древо» и в железное «клепало», и колотила в них без толку, как попало. Так в скитах тревогу бьют. Весь Комаров переполошился, думали — горит у Манефиных, сбежались белицы и старицы изо всех обителей, иные на всякий случай с ведрами прибежали, но с ужасом узнали, что иная беда приключилась: матери от Игнатьевых и других несогласных с Манефиной обителей сначала со злорадством приняли весть, но тотчас одумались и крепко прикручинились. Знали, какова сила у Патапа Максимыча, знали, что им одним скиты держатся, знали и то, что не на одну сестрину, а на все обители теперь он разлутуется. А при грозных обстоятельствах, скопившихся над скитами, это было хуже всего на свете. И принялись чужие матери немилосердно ругать матерей Манефиных, Никанору с Ларисой особенно, что не могли ухоронить Прасковьи Патаповны. Те даже не оправдывались: присели на ступеньках келарни и горько плакали, причитая:

— Пропали теперича наши головушки!.. Погинули наши победные!.. Уж и как-то нам вину сказать?.. Уж и как-то нам ответ держать?

Флепушка с Марыюшкой ушли в свои горницы, а другие белицы, что ходили гулять с Прасковьей Патаповной, на дворе стояли и тоже плакали. Пуще всех ревела, всех голосистей причитала Варвара, головщица Бояркиных, ключница матери Таисеи. Она одна из Бояркиных ходила гулять к перелеску, и когда мать Таисея узнала, что случилось, не разобрав дела, кинулась на свою любимицу и так отхлестала ее по щекам, что у той все лицо раздуло.

Догадалась, наконец, мать Виринея.

— Погоню, матери! — закричала она. — Погоню скорей разослать по всем сторонам. Изловить их, разбойников!..

Бросились к работной избе — трудники все до единого без задних ног лежат; бросились к Бояркиным, там ни от кого из мужчин ни гласу, ни послушания;

побежали к Игнатьевым, к Глафириным, там все пьяным-пьянехонько. Чрез Таисеина конюха ухитрился Петр Степанович во всем Комарове мужчин спойть.

Рябая звонариха поголосит-поголосит да опять за свою работу — в набат колотить. Заслышав тревогу, прибежали мужики, бабы из Ронжина, из Елфимова и других недалних деревень.

Чуть не в ноги кланяются им матери, Христом Богом молят, денег сулят, вином потчуют, скачите только, родимые, во все стороны, отбейте у неведомых воров Прасковью Патаповну.

— Поздненько хватились, матери, — говорят мужики.

Ни от вина, ни от денег они бы не прочь, да время больно опоздано, ни на каких скакунах теперь воров не догнать.

— Еще солнышко-то не село, говорите вы, матушка? — спрашивал Никанору ронжинский парень ростом в косую сажень, с красным лицом и со страшными кулачищами. Очень подмывало его в погоню скакать. Хоть отбить не отобьют, по крайности можно будет подраться, потешиться.

— Нет еще, родной, не село в ту пору, выше дерева стояло, — хныкая, ответила ему Никанора.

— Не догонишь, — досадливо молвил ронжинский силач. — Теперь больше десяти верст, поди, ускакали.

— Да что нам?.. Какое дело?.. — ввернул свое слово хилой мужичонко елфимовский. — Не нашу девку выкрали. Охота в чужом пиру похмелье примать!

— А ты молчи, коли Бог убил, — огрызнулся на него ронжинский парень. — Известно, не тебе в погоню гнать — тебя любя девка щелчком пришибет.

Мужики захохотали. Елфимовец озлился, и пошла у них перебранка, чуть до драки не дошло.

Без мала до самой полночи толковало сходбище на обширном дворе Манефиной обители. Судили-рядили, кто бы такой мог выкрасть Прасковью Патаповну. На того думали, на другого, о московском после в голову никому не могло прийти. Вспомнили, однако, про него. Мать Виринея первая хватилась благоприятеля.

— А чтой-то не видать Василья Борисыча? — молвила она. — У тебя, что ли, он, матушка Таисея?.. Что не придет?.. Совет бы полезный нам дал.

Всхлипывая и придерживая рукой левую щеку, сказала на то побитая своей игуменьей Варварушка:

— Да они давеча тотчас после трапезы в город уехали, все трое: он, Петр Степанович и Семен Петрович. Сказывали: завтра-де к вечеру воротимся.

— Петр Степаныч один со двора съехал, он в город на неделю отъехал... — сурово молвила ей мать Таисея.

— Василий Борисыч с Семеном Петровичем пешком пошли, говорили, что маленько пройтись им охота, до ронжинского поля хотели идти, а там к Петру Степановичу в тележку сесть да всем вместе ехать.

— Видел я певуна-то вашего. Встречу попали за нашим полем, туда к Клопихе, — сказал один из ронжинских мужиков. — С ним не то один, не то двое сидело, не упомню что-то, сколь их было тут...

— Ну, они и есть, — молвила мать Таисея. — А ведь не сказался... Эко, право, какой.

Всю ночь не спалось матерям и белицам в Манефиной обители. Как-то будут ответ держать перед матушкой, как-то ведаться с Патапом Максимычем? Под утро с Никанорой бред даже сделался, в горячке слегла... А мать Лариса стала было перед святыми иконами на келейное правило, но ум мятется, тревожные помыслы обуревают старицу... Вздумала успокоиться, вынула из шкафчика бутылочку, да так нагрузилась сердечная, что, думая да передумывая, как достанется ей от Манефы, а пуще от Патапа Максимыча, решила удавиться. Хорошо, что за перегородкой евангельская дочь ее, рябая звонариха Катерина, была. Услышав необычную возню, заглянула она за дверь и увидела, что мать евангельскую петлю себе на шею накинула... Вытащила ее звонариха и повалила на постель, как чурбан какой. Мать Лариса заснула, и долго вокруг кельи ее раздавался такой богатырский храп, каким один только Патап Максимыч умел храпеть.

Фленушка тоже всю ночь не спала. Запершись на крюк, всю ночь просидела она на постели и горько, горько проплакала, держа в руках золотое колечко. То было подаренье Петра Степаныча.

Совсем уж смеркалось, когда свадебный поезд примчался в Свиблово. Взмывленные от быстрой езды лошади въехали прямо к попу во двор. Сушило в новой суконной рясе, с вышитым шерстями поясом, радостно и весело встретил приехавших. Близится час, когда его

никуда негодные половинки претворятся в давно желанный капитал, и он по хозяйству во всем исправится, дочку замуж выдаст, семинаристам своим хорошие квартиры в городе наймет. Дай только Бог благополучно покончить все, помехи бы грехом не случилось.

— Вот и жених наш, Василий Борисыч, московский купец, — сказал Самоквасов Сушиле, подводя к нему до полузабвенья смущенного Василья Борисыча.

Отец Родион поднял было руку на благословение, но спросил жениха:

— Приемлете?

Ровно от раскрытой пасти ядовитой змеи отпрянул от попа Василий Борисыч.

— Нет, батюшка, нет! не надо, не надо!.. Не приемлем, — вскричал он.

— Как вам угодно, — холодно, но с язвительной усмешкой молвил Сушило. — Садитесь милости просим.

Сел Василий Борисыч. Рядом с ним Семен Петрович... У него в последние дни в привычку вошло крепко держать жениха за руку — грехом не убежал бы.

Пока Самоквасов из красной рубахи переодевался в свое платье, пока невеста, с помощью попадьи, ее большой дочери и нанятой Сушилой молодницы, одевалась в шелковое платье, отец Родион позвал дьячка Игнатя да пономаря Ипатя и стал писать обыск о повенчании московского купца Василия Борисыча с дочерью государственного крестьянина девицей Параскевой Патаповной, дочерью Чапуриной.

Сильно дрожала рука у бедного жениха, когда подписывался он под обыском. Подписавши, тяжело вздохнул Василий Борисыч и громко промолвил заветное свое:

— Ох, искушение!

Вышла радостью сиявшая, в пух и прах разряженная невеста. Нимало не смущаясь, подписалась она в книге. После нее подписались Самоквасов с Семеном Петровичем, как свидетели, затем поп Сушило, дьячок Игнатий да пономарь Ипатий.

— Кажись бы, этим можно было и покончить, — тихонько промолвил Василий Борисыч. — Записано — стало быть крепко...

— Нет, брат, шалишь!.. — прошептал ему Самоквасов. — Пил до усов, пей до ушей... Не любовницу берешь, жену венчанную...

— Ох, искушение! — промолвил Василий Борисыч и сидел, ровно к смерти приговоренный, а Прасковья Патаповна весело ему улыбалась.

Но ему было не до веселых взоров невесты. «Вздерет он меня, тестюшка-то!.. Беспременно вздерет!..» — думал он сам про себя.

— Что ж? Не пора ль и во храм божий? — сказал, наконец, отец Родион.

— Пойдемте, батюшка, — ответил Петр Степаныч.

Вперед пошел Сушило, за ним Семен Петрович тащил жениха, потом Самоквасов невесту вел. Сзади шла матушка попадья Афимья Саввишна с большой дочерью да с молодницей, державшей повойник в руке, сзади всех вереница поповых, дьячковых и пономаревых детей и лихие ямщики язвickие. Когда вошли в церковь, Груздок закладывал гвозди в болты окон, продетые сквозь косяки, а дьячок Игнатий с пономарем Ипатьем свечи зажигали. Когда все вошли, Груздок, разодетый по-праздничному, в старом мундире с тремя медалями, запер изнутри церковную дверь и заложил ее железной полосой.

Началось венчанье. Все было исполнено по условию: ходили по́солонь и притом только «святии мученицы» пели, жених с невестой пили из стеклянного стакана, Василий Борисыч звонко разбил его о пол и растоптал, после венчанья молодница в притворе расплела Прасковье Патаповне косу, расчесала ее смоченным в медовой сыте гребнем и, убрав по-бабьему, шелковый повойник надела на молодую. Про повойник Самоквасов с Сушилой забыли, попадья мужа надоумила и сшила его из какого-то остаточка шелковой материи, чуть ли не Патапа Максимыча подаренья. И за то от Самоквасова не осталась без должной благодарности.

Чай у попа пили, это уж он от себя, сверх уговора, пожертвовал. Петр Степаныч вытащил из тележки две либо три бутылки шампанского, пить за здоровье новобрачных. При этом сначала расплетавшая косу молодница, потом матушка попадья, а за ними и сам отец Родион с причтом «горько!..» покрикивали, заставляя Василья Борисыча с молодой женой целоваться. Груздку дали шампанского, но он выплюнул и попросил «расейского». Дали ему «расейского», дали и язвickим молодцам по стакану, но, как ни просили они больше, Петр Степаныч им наотрез отказал, потому что еще до

города надо было ехать. Попадья с большой дочерью блюдо студени с хреном на стол поставили, поросенка жареного, сладкий пирог с малиной. Все это, как говорили они, от своего усердия. Петр Степаныч отдал попу оторванные половинки, роздал всем щедрые подарки, и при громких кликах подгулявшего Груздка: «Счастливого пути!..» — поезд на отдохнувших лошадях, с лихими песнями ямщиков, помчался во весь опор в город.

Было уже за полночь, когда молодые подъехали к освещенному дому Феклиста Митрича. Перед домом стояла небольшая толпа разного люда. Увидав необычное освещение дома и зная, что у Феклиста Митрича нет ни именин, ни крестин, ни стовора, тотчас смекнули, что богатая «самокрутка» где-то сыгралась. И долго стояли они у ворот, хоть глазком бы взглянуть на молодую княгиню, какова из себя, и на князя молодого, кто он таков.

Какими-то судьбами Феклист Митрич проведал, что за человек дом у него нанимал. То главное проведал он, что ему чуть не миллион наследства достался и что этаким-то богач где-то у них в захолустье уходом невесту берет. «Что за притча такая, — думал Феклист. — Такому человеку да воровски жениться! Какой отец дочери своей за него не отдаст? Я бы с радостью любую тотчас!» Как человек ловкий, бывалый, догадливый, смекнул он: «Из скитов, стало быть, жену себе выхватил».

И крайне удивился, узнав, что казанский богач при той свадьбе только за дружку был.

Все было сделано Феклистом Митричем, чтоб достойно принять гостей. Зная бедность городка, Самоквасов и не думал, чтобы так хорошо устроил он молодых на первых порах... Какой ужин подал Феклист Митрич! Иностраннных вин ярославской выделки поставил сколько на стол! Петр Степаныч, чтоб за свадебным столом было полуднее, и Феклиста с женой ужинать посадил. За столом сидели все веселы, только Василий Борисыч подчас хмурился, а когда в ответ на громкие крики о горьком вине принуждаем был целоваться, чуть касался губ Прасковьи Патаповны и каждый раз, тяжело вздыхая, шептал:

— Ох, искушение!

А в раскрытые от духоты окна неслись громкие песни язвицких поезжан, угощавшихся в огороде Феклиста Митрича. Величали они новобрачного:

Посидим-ка мы,
Покутим-ка мы,
У Василия попьем,
У Борисыча кутнем!
Право, есть у кого,
Право, есть у чего!
А ты, чарочка каток,
Лейся прямо в роток,
В один тоненький глоток,
Чарочка моя, да серебряная!..

А как встали из-за стола и справили уставные поклоны перед иконами, Самоквасов тотчас схватил припасенную на всякий случай Феклистом гитару, ударил в струны и запел удалую. К нему пристали саратовец и Феклист с хозяйкой:

Как по погребу бочоночек катается.
А Василий-от князь над женой надругается:
— Ты, Прасковьюшка, разуй, ты, Патаповна, разуй!
— Я и рада бы разуть, да не знаю, как ты звать. —
Поломалася княгиня, покобенилася,
Одну ножку разула — Васильюшкой назвала,
А другую-то разула — Борисычем.
Ай, стелется, вьется
По лугам мурава,
Василий жену целует,
Борисыч жену милует:
— Душа ль моя Парашенька,
Сердце мое Патаповна,
Роди мне сыночка,
Сыночка да дочку.
Роди сына во меня,
А доченьку во себя.
Учи сына грамоте,
Дочку прясть, да ткать,
Да шелками вышивать
Шемаханскими!..
Ой ты, княгиня, княгинюшка,
Молодая ты наша молодушка!..
Хороша тебе находка —
Купьи шубы,
Соболи пухи,
С поволоками глаза,
Со киваньем голова,
Золоты кокошники,
Серебряны серьги,
Дочери отецки,
Жены молодецки!

Бросив гитару саратовцу, сильной рукой ухватил Самоквасов Василия Борисыча и пошел с ним плясать, заливаясь ухарскою песней:

Ой вы, ветры-ветерочки,
Вы не дуйте на лесочки,
На желтые на песочки,
На крутые бережочки!..

Хочешь не хочешь — пляши, Василий Борисыч!.. Посмотреть бы теперь Рогожскому собору на учительного совопросника, поглядеть бы столпам древнего благочестия на посланника по духовным делам.

На другой день поутру Петр Степаныч с нареченным приказчиком позавтракал у молодых и, распростившись, отправился восвояси. В Комаров не заехали.

Проводя приятелей, Василий Борисыч духом упал, напала на него тоска со всего света вольного, не глядел бы он ни на что. Ласки оживившейся Параши были несносны ему.

— Полно, — тихо говорил он, отстраняя подсевшую было к нему на колени жену. — Тут главная причина — хорошенько надо обдумать, на что решиться теперь. В Осиповку-то как покажем глаза? А тебе только бы целоваться... Мало, что ли, еще?

— О чем думать-то? — отвечала недовольная холодностью мужа Параша. — Найдем лошадей, да и поедем. Тяньке надо сегодня домой приехать.

— Хорошо сказала, ровно размазала, — молвил Василий Борисыч. — Ехать не хитро, приехать мудрено. Встреча-то какова нам будет? О том и посудила бы!

— Известно какая — бранить зачнут, началить. Нельзя ж без того, а потом и простят, — равнодушно говорила Прасковья Патаповна.

— Дó смерти заколотит! — отчаянно вскрикнул Василий Борисыч. — Вот положение-то!..

— Ну уж и дó смерти!.. Чать, не чужие, — возразила Параша.

— Много ты знаешь! — проворчал Василий Борисыч. — Кулачище-то каков у родителя?.. А?.. Пробовала?..

— Нет, не пробовала.

— Ну, так попробуешь.

И в душевном смятении стал ходить он по горницам; то на одном кресле посидит, то на другом, то к окну подойдет и глядит на безлюдную улицу, то перед печкой остановится и зачнет медные душники разглядывать... И сам то и дело всем телом вздрагивает...

— Седни, что ли, поедем? — после долгого молчания спросила Прасковья Патаповна.

— Успеешь, матушка. Не на радость едем, успеешь отцовскими-то побоями наладиться, — молвил с досадой Василий Борисыч и велел жене идти в свою комнату, тем отзываясь, что надо ему с Феклистом Митричем поговорить.

«Ах, ты, Господи, Господи! — думал московский посол, стоя у окна и глядя на безлюдную улицу пустынного городка. — Вот до чего довели!.. Им хорошо!.. Заварили кашу, да и в сторону... Хоть бы эту шальную Фленушку взять, либо Самоквасова с Семеном Петровичем... Им бы только потешиться... А тут вот и вывертывайся, как знаешь... С хозяином посоветуюсь; человек он, кажется, не глупый, опять же ум хорошо, а два лучше того...»

И вдруг видит: из-за угла выходят на улицу две женщины, обе в черных сарафанах, обе крыты большими черными платками в роспуск... «Батюшки светы! Мать Манефа с Аркадией».

Так и отбросило Василья Борисыча от окошка.

— Как же вы, сударь Василий Борисыч, насчет обеда распорядиться желаете? — весело спросил его вошедший в ту минуту Феклист Митрич. Радостным довольством сиял он после щедрой расплаты Самоквасова.

— Мать Манефу комаровскую знаете? — быстро спросил его Василий Борисыч.

— Как не знать матушку Манефу? Первая по всем скитам старица. Тетенька таперича вам никак будет, — ответил Феклист Митрич.

— Она? — показывая в окно, растерянным голосом спросил Василий Борисыч.

— Она самая, а с ней Аркадия, ихняя уставщица. Давеча с утра в город они приехали — из Шарпана, должно быть, с праздника, — говорил Феклист Митрич.

— Не сюда ли? — тревожным голосом промолвил Василий Борисыч.

— Пойдет она к нам! — усмехнулся виноторговец. — На ее глаза хуже нашего брата на всем свете

нет никого... Вином-де торгует, всякие-де у него сходбища!.. Да что ж вы так беспокоитесь?

— Нет, я так — ничего, — бодрясь, сколько мог, отвечал Василий Борисыч. — Чудно только мне, зачем это они в город-от заехали — там ведь где-то прямой путь из Шарпана есть.

— С раннего утра по судам хлопочут, — отвечал Феклист Митрич. — Дома тетенька-то ваша покупает — чуть не целу улицу, туда на вскрай города, к соляным анбарам, коли знаете. Купчие совершает.

— А! Точно, слышал и я от матушки Манефы, что хочет здесь дома купить, — примолвил Василий Борисыч.

— Да-с. Вот хоша тетенька ваша и осуждает нас за нашу торговлю, а ихняя-то коммерция, видно, посходней нашей будет, — с усмешкой сказал Феклист Митрич. — По чести вам доложить, четвертый год собираюсь крышу на доме перекрыть, да не могу с деньгами сколотиться, а они целыми улицами дома покупают. Ой, куда много денег по скитам-то лежит, а у вашей тетеньки больше всех!

— Не знаете ли, покончила она с этими делами?.. Сегодня поедет аль еще здесь останется? — перебивая словоохотливого хозяина, спросил нетерпеливо Василий Борисыч.

— Где сегодня уехать! Как возможно! — ответил Феклист Митрич. — Хоша у нее по судам все подмазано, а секретарь Алексей Сергеич по ее желанью делает все, чего она ни захочет, только в один день совершить купчую все-таки нельзя же... Завтра, не то и послезавтра здесь пробудут. Повидаться, что ли, желательно?.. Так она у Полуехта Семеныча пристаает — вон наискосок-от домик стоит...

— Нет, я не про то, Феклист Митрич, — прервал его Василий Борисыч. — А вот что: как бы это тарантасик да лошадак сготовить — в Осиповку. На рассвете бы выехать нам, к полудням на место поспеть бы...

— Можно, — сказал Феклист Митрич. — Значит, тетеньке с маменькой в ножки.

— Так уж вы, пожалуйста, устройте.

— Будьте спокойны. Все будет, как следует... А насчет обеда какое же будет ваше рассуждение?

Целый день не то что из дому, к окну близко не подходил Василий Борисыч и жене не велел подхо-

дить... Очень боялся, чтоб грехом не увидала их Манефа... Оттого и в Осиповку ехать заторопился... «Один конец! — подумал он, — рано ли, поздно ли, надо же будет ответ держать... Была не была! Поедем!» И на другой день, на рассвете, поехали.

Вечером, в то самое время, как Василий Борисыч с Парашей хоронились у Феклиста Митрича от Манефы, в Осиповку приехала Аксинья Захаровна с Груней да с кумом Иваном Григорьичем. Они ее провожали. Аксинья Захаровна утомилась от поездок и просила Груню съездить на другой день в Комаров за Парашей. Вздумала Груня ехать за богоданной сестрицей в маленькой тележке Ивана Григорьича, оттого с вечера Аксинья Захаровна и послала на телеге в Манефину обитель старика Пантелея привезти оттоль пожитки Парашины.

Ужинать садиться хотели, как сам Патап Максимыч подъехал. Очень удивился он, что застал жену дома, да еще с дорогими гостями, а то было он, исправив в Осиповке кой-какие дела, думал поутру ехать в Комаров, а оттуда с дочерью в Вихорево за Аксиньей Захаровной.

— А я у молодых гостил, — начал Патап Максимыч, садясь за стол.

— У каких это, батюшка, молодых? — с любопытством спросила Аксинья Захаровна.

— У Марьи Гавриловны, — усмехнувшись, промолвил Патап Максимыч.

— Как? — в один голос вскричали все, и Аксинья Захаровна, и кум Иван Григорьич. Груня, пораженная изумлением, выпрямилась и пытливо смотрела в очи Патапу Максимычу.

— Замуж на этой неделе вышла, — опять усмехнулся Патап Максимыч. — Свадьба-то только, кажись, не больно вышла веселая, на третий день после венчанья виделся я с Марьей Гавриловной — глаза-то уж наплаканы...

— Ай, срам-от, срам-от какой!.. Из святой обители, да вдруг замуж!.. За кого же это понесло ее, сердечную?.. — жалобно говорила Аксинья Захаровна.

— За нашего... Все его знаете, только вряд ли догадаетесь, — продолжал усмехаться Патап Максимыч.

— Да за кого, за кого? — приставали к нему.

— За Алешку Лохматого... ой, бишь, за купца первой гильдии Алексея Трифоныча Лохматова... — сказал Патап Максимыч.

Ушам никто не верил. Не скоро слов найти могли на ответ Патапу Максимычу.

— Как же это? — совсем растерявшись, спрашивала Аксинья Захаровна. — Как же это случилось у них?

— Как водится, — отвечал Патап Максимыч. — Как гостили мы у Манефы, так слышали, что она чуть не тайком из Комарова с ним уехала; думала я тогда, что Алешка, как надо быть приказчику, за хозяйкой приезжал... А вышло на иную статью — просто выкрал он Марью Гавриловну у нашей чернохвостницы, самокрутку, значит, сработал... То-то возрадуется наша богомолица!.. Таких молитв начитают им, что ни в каком «часовнике», ни в каком «псалтыре» не найдешь... Вот взбеленится-то!.. Ха-ха-ха!

И по горницам Патапа Максимыча раздался веселый, звонкий хохот хозяина.

— Ах она, бесстыдная!.. Ах она, безумная!.. Глянь, какое дело сделала!.. Убила ведь она матушку Манефу!.. Без ножа зарезала! При ее-то хилом здоровьице, да вдруг такое горе!.. — горько восклицала Аксинья Захаровна, и слезы показались в глазах ее.

— Да, точно что горе, немалое горе! — насмешливо говорил Патап Максимыч. — Думала вдовыми деньжонками попользоваться. Умрет, мол, у меня в обители, все капиталы ее достанутся!.. Не выгорело!.. Ха-ха-ха!..

— Полно-ка, батька, смеяться-то! — попрекнула мужа Аксинья Захаровна. — Дó смеху ли тут!.. Эка напасть-то какая, эка напасть!.. Ах, Марья Гавриловна, Марья Гавриловна!.. Можно ль было чаять того?.. Накажет ее Господь, не пошлет счастья...

— Что правда, то правда, — молвил Патап Максимыч. — Счастья Бог ей не пошлет... И теперь муженек от чуть не половину именина на себя переписал, остальным распоряжается, не спросясь ее... Горька́ была доля Марьи Гавриловны за первым мужем, от нового, пожалуй, хуже достанется. Тот по крайности богатство ей дал, а этот, году не пройдет, оберет ее до ниточки... И ништо!.. Вздоров не делай!.. Сама виновата!.. Сама себя раба бьет, коль не чисто жнет. А из него вышел самый негодящий человек.

И подробно рассказал про свои похождения у бывшего токаря, а теперь первогильдейца Лохматова.

— Поди вот, влезь человеку в душу-то! — сказал он, кончив рассказ. — Думал я, другого такого парня и на свете-то нет: кроткий, тихий, умный, богобоязный!.. Ан вон каков оказался!.. Истинно говорят: надо с человеком куль соли съесть, тогда разве узнаешь, каков он есть!.. Я ль его не любил, я ли не награждал его!.. И заплатил же он мне!.. Заплатил!..

— Заплатил!.. — едва проговорила Аксинья Захаровна, вспомнив про Настину долю, и залилась неудержимыми горькими слезами.

Подивились тем слезам и Груня и кум Иван Григорыч — не ведали они настоящей причины Настинной смерти. Знали про то отец с матерью только.

Рано поутру, только что солнышко встало, во весь опор прискакал старик Пантелей. Кибитка была пуста.

Войдя в подклет, увидал Патапа Максимыча, разбирал он по сортам горянщину.

— Здравствуй, Пантелеюшка! Скоренько же, родной, воротился... А вот и я до домов приехал, да в добрый час и за работу.

Мялся Пантелей на месте, не знает, что говорить, не знает и делать что.

— Да что с тобой Пантелеюшка? — спрашивал его Патап Максимыч. — На тебе лица совсем нет... Али неможется?..

— Я-то здоров, батюшка Патап Максимыч, — на каждом слове запинаясь и всем телом вздрагивая, начал Пантелей. — Только у нас-то не больно здорово, батюшка.

— Что такое? — бросив посуду и обращаясь к Пантелею, вскрикнул Патап Максимыч. Пламенем загорелись под нахмуренными бровями глаза его.

— Ох, уж не знаю, как и доложить твоей милости... — слово за словом тянул оробевший старик Пантелей.

— Не мямлить!.. — повелительно, зычным голосом крикнул Патап Максимыч, схватив за рукав Пантелея...

— Я тут, кормилец, ни в чем не причинен... Только что узнал сейчас, — чуть слышно проговорил Пантелей.

— Не мямлить же! — пуще прежнего крикнул Па-

тап Максимыч и так дернул за рукав Пантелея, что тот едва на ногах устоял.

— Прасковья-то Патаповна... — начал было старик, но слова не сошли с языка его.

— Говори, — благим матом закричал Патап Максимыч. — Померла, что ли?.. — почти прошептал он, закрывая лицо руками.

— Украли, батюшка!.. Третьего дня из обители выкрали!.. — проговорил Пантелей.

— Кто такой?.. Что за человек?.. Откудова?.. — сам себя не помня, кричал Патап Максимыч и, схватив лежавший на лавке весовой коромысел, взмахнул им... — Всех перебыю!.. Всех до единого!.. Сказывай, кто такие?..

— Неведомо какие люди, батюшка, — говорил Пантелей. — Десять... человек... в красных рубахах... рожи-то, слышь, у всех позавешаны.

— Лошадей!.. В погоню!.. Я им задам!.. — вне себя от бешенства кричал Патап Максимыч и с коромыслом в руке взбежал в верхние горницы.

По всему дому суматоха поднялась страшная. Акинья Захаровна, как только услышала страшную весть, так и покатилась без чувств на землю. Уложили ее и долго оттирали Груня с работницей Матренушкой.

— Лошадей!.. Погоню!.. — перебегая из горницы в горницу и взмахивая железным коромыслом, неистово кричал Патап Максимыч. — Лошадей седлать!.. Всех работников на конь!.. Во все деревни послать!.. Сбить весь народ!..

Напрасно уговаривал его кум Иван Григорьич, напрасно уверял его, что теперь уже поздно, что никакие погони теперь не догонят, что лучше успокоиться и потом хорошенько обдумать, как и где искать следов выкраденной Параши...

Долго воевал Патап Максимыч, наконец утомленный, убитый горем, пластом упал на кровать и зарыдал страшными рыданиями.

Больше часа прошло до тех пор, как маленько он успокоился. Встал с кровати и, шатаясь, как после болезни, добрал до окна, растворил его и жадно стал глотать свежий воздух. Кум Иван Григорьич рядом с ним сел и молчал.

Тяжело вздыхал ослабевший Патап Максимыч, глядя распаленными глазами в конец деревни... Вдруг

оживился, вскочил и до половины высунулся из окошка...

— Она! — крикнул он не своим голосом.

Иван Григорыч к другому окну бросился — видит, шажком въезжает в деревню тарантас, и в нем Параша сидит. Рядом с ней кто-то, но так он съежился в глубине тарантаса, что лица совсем не было видно.

— Тащить ко мне... Я им задам!.. — задышающимся голосом на весь дом закричал Патап Максимыч. Глаза кровью налились; засучив рукава рубахи, схватил он коромысел и, дрожа всем телом, пошел навстречу приехавшим.

Проходя к дверям, еще раз взглянул в окно... Глазам не верится — Василий Борисыч!..

— Э!.. шут гороховый! — вскрикнул Чапурин добрым мягким голосом. — Упредил, леший ты этакий!.. И ясная улыбка разлилась по лицу его.

Бросил коромысел, но подошел к шкапу и достал оттуда шелковую плетку, которой, бывало, учил дочерей, как маленькие росли они.

Робкими шагами вступили в горницу новобрачные и, не говоря ни слова, повалились к ногам Патапа Максимыча.

— Прости нас, тятенька, Христа ради!.. Как Бог, так и ты, — заголосила, наконец, Параша, обнимая у отца ноги.

Василий Борисыч только всхлипывал. Он уже не помнил себя и только шептал стих на умягчение злых сердец: «Помяни, Господи, царя Давыда и всю кротость его!»

— Прочь! — оттолкнул ногой Парашу, громко закричал Патап Максимыч. — Прочь!.. Убирайтесь!.. С глаз моих долой!.. Знать вас не хочу!.. Духу чтоб вашего не было!..

Грозны и громки были крики его, но злобой не звучали. Обряд справлял Патап Максимыч.

— Тятенька!.. Прости, Христа ради! — со слезами молила Параша.

— Я те дам Христа ради!.. — кричал Патап Максимыч. — Уходом вздумали!.. Самокруткой!.. Вот тебе, вот тебе!.. — и усердно зачал плеткой хлестать то дочь, то зятя любезного.

Аксинья Захаровна прибрела, Груня за ней. Как увидела Аксинья Захаровна Парашу с Васильем Борисычем, так и всплеснула руками.

— Головоньку с плеч снесли! Без ножа вы, злодеи... меня зарезали!.. Погубители вы мои!.. Срам такой на дом честной навели!.. На то ль я растила тебя, паскудная, на то ль я кормила-поила тебя!.. Взрастила я, бедная, змею подколодную, вспоила, вскормила свою погубительницу!

— Мамынька!.. Прости меня, окаянную, благослови свое детище!.. — голосила Прасковья Патаповна у ног матери, но и та ее отталкивала, а Патап Максимыч по-прежнему пласткой работал.

— Я те прощу!.. Я те благословлю! — кричал он. Наконец, устал кричать, устал и плеткой хлестать.

— Простить, что ли, уж их, старуха? — с ясной улыбкой обратился он к Аксинье Захаровне.

— Как знаешь, кормилец, — жалобно промолвила Аксинья Захаровна. — Ты в дому голова — как ты, так и я...

— Ну, так и быть... Прощать так прощать, миловать так миловать!.. Вставайте!.. Бог вас простит, — стегнув в последний раз зятя с дочерью, сказал Патап Максимыч и бросил в сторону плетку.

Груня подбежала к божнице, взяла две иконы, одну подала Патапу Максимычу, другую Аксинье Захаровне.

Чин чином благословили новобрачных родители, потом расцеловались с ними. Перецеловались молодые и с Груней и с кумом Иваном Григорьичем. Скоро набралось людей полна горница. Радостно все поздравляли молодых с законным браком, хозяев поздравляли с зятем любезным.

— Подводу!.. — во все горло крикнул Патап Максимыч. — Наспех гони, Пантелей, за Никитишной!.. Свадебный стол!.. По дороге припасов на кормы мужикам закупи.

И пошло пированье в дому у Патапа Максимыча, и пошли у него столы почетные. Соезжалось на свадьбу гостей множество. Пировали те гости неделю целую, мало показалось Патапу Максимычу, другой прихватил половину. И сколь ни бывало пиров и столов по заволжским лесам, про такие, что были на свадьбе Василья Борисыча, слыхом никто не слыхал, никто даже во снах не видал. Во всю ширь разгулялся старый тысячник и на старости лет согрешил — плясать пошел на радостях.

ПРИМЕЧАНИЯ

Стр. 14. ...от Онуфрия воздвигнутые. — Онуфрий управлял скитом близ города Семенова с 1682 по 1715 год, был основателем особой старообрядческой секты. Онуфрий и его сторонники приняли «Письма» протопопа Аввакума (около 1621 — 1682) о Троице, Христе и Богородице, считали их «паче евангелия» и даже читали во время богослужения. В 1693, 1698, 1699 годах против «онуфриевщины» собирались раскольничьи соборы (см. «Отчет»).

Стр. 15. ...на Ветку жалобы грамоты о том писали. — В начале XVIII века город Ветка (вблизи Гомеля) был центром старообрядчества.

Стр. 15. ...от лет патриарха Иосифа. — Иосиф — московский патриарх (1642 — 1652), признаваемый раскольниками.

Стр. 37. ...помнившие Пугача и чуму московскую. — Пугач — Емельян Иванович Пугачев, вождь крестьянской революции 1773 — 1775 годов. Московская чума — вспыхнула в 1771 году.

Стр. 75. Покрещеванцы (иначе перекрещеванцы) — приверженцы беспоповщинских раскольничьих сект; переходивших из православия в их секту перекрещивали.

Стр. 75. Спасову согласию. — Спасово согласие — беспоповщинская старообрядческая секта, основанная во второй половине XVIII века.

Стр. 75. Поморские — секта старообрядцев-беспоповцев (основана во второй половине XVIII века в Поморье) в верховьях реки Выг.

Стр. 155. ...ржевские прядильни, гуслицкие ткачи...

пряничники-вязьмичи. — Ржев, Гуслицы, Вязьма — известные в XIX веке центры фабричной и кустарной промышленности.

Стр. 254. *...диаконова толка.* — «Диаконев толк» — секта в старообрядчестве — основана диаконом Александром в начале XVIII века.

Стр. 254. *...протопопа Аввакума.* — Протопоп Аввакум — один из основателей русского старообрядчества, писатель. Сельский священник села Лопатицы, Нижегородского уезда, Аввакум резко выступал против церковных реформ патриарха Никона, за что был в 1652 году сослан в Сибирь, позже заточен в монастырскую тюрьму и в 1682 году сожжен. Аввакумом написано свыше пятидесяти сочинений разного характера. Наиболее известным является «Житие» (автобиография) — ценнейший исторический и литературный документ XVII века.

Стр. 269. *...до Никоновой порухи* — то есть до церковной реформы патриарха Никона (1652 — 1658), в результате которой начался раскол.

Стр. 317. *...суздальской заточенницы царицы Евдокии.* — Евдокия Федоровна Лопухина, первая жена Петра I, в 1698 году была насильно пострижена в суздальском Покровском монастыре. Через полгода она сняла рясу и жила в Суздале свободно. Позднее, за связь с деятелями консервативной оппозиции была заточена в Шлиссельбургскую крепость.

Стр. 317. *Гремела нововводная музыка.* — Имеется в виду светская, заподноевропейская музыка, которая с начала XVII века получила широкое распространение при дворе и в богатых дворянских домах.

Стр. 331. *Подымался Пугач на десятом году после того, как Иргиз зачался.* — Поселение раскольников на Иргизе было разрешено в 1762 году. Крестьянское движение, возглавлявшееся Пугачевым, началось в 1773 году.

Стр. 361. *Филаретовский «Требник», «Маргарит» острожский, «Апостол» московский первопечатный* — церковные книги. «Богодухновенная книга потребник» содержала молитвы и описание порядка совершения разных церковных «треб» (причащения, крещения и т. д.), пострижения в монахи и т. п., была издана в 1624 году.

«Книга иже во святых отца нашего Иоанна Злато-

устого, архиепископа Костентина града, Маргарит глаголемаа» отпечатана в городе Остроге в 1596 году.

«Апостол» первопечатный был выпущен в Москве первопечатником Иваном Федоровым и Петром Мстиславцем (печатался с 1563 по 1564 год). Точное название книги: «Деяние апостольска и послания соборная и святого апостола Павла послания».

Стр. 361. *Дмитриеву... Дрябиным... Грозовым* — богатые купцы, стоявшие во главе петербургской старообрядческой общины с тридцатых годов прошлого века. Купец Григорий Дмитриевич Дмитриев среди старообрядцев был известен под именем Боровкова и «Каретника». Он вел деятельную переписку с иногородними старообрядцами и пользовался среди них большим влиянием.

Стр. 393. *...по соборным и святоотеческим правилам* — то есть по постановлениям апостольских и вселенских церковных соборов и по правилу «отцов» церкви.

Стр. 395. *Бывал прежде в Федосеевском согласии...* — Федосеевское согласие — община беспоповцев (основана Феодосием Васильевым). Центром ее с 1771 года стало Преображенское кладбище в Москве.

Стр. 458. *Про тот собор говорю я, матушка, что на Рогожском кладбище был...* — Имеется в виду собор 1832 года, на котором представители поповщинских старообрядческих общин Ветки, Стародубья, Керженца, Иргиза, Саратова, Перми, Екатеринбурга, Казани, Ржева, Торжка, Твери, Тулы и других городов подали правительству записку о невозможности присоединиться к официальной церкви; в то же время ими были приняты меры к созданию самостоятельной иерархии.

Стр. 509. *С самой Венгерской кампании* — Имеется в виду отправка Николаем I в 1849 году сотысячной армии русских солдат в Австрию для подавления восстания венгров.

Стр. 522. *...в обыскную книгу было бы вписано...* — В обыскную книгу записывался акт, удостоверяющий наличие необходимых условий для брака. Акт назывался «обыском»; отсюда название книги.

Стр. 529. *...до спуска флагов у Макарья* — то есть до окончания Нижегородской ярмарки.

Абие — тотчас.

Авсень (иначе *Овсень*, *Усень*, *Таусень*) — припев в старых обрядовых русских песнях, приуроченных к Новому году.

Адамант — драгоценный камень, алмаз.

Аз — я.

Азам — верхний кафтан в виде халата.

Амбрей (искаженное *амбра*) — душистое вещество (духи).

Аналогий (аналой) — столик с наклонной столешницей для икон и священных книг.

Апостольник — у монахов покрывало на шею и грудь.

Архиепископия — церковный округ.

Богун — болотная трава.

Бгяй — бодрствующий.

Бе — был.

Белец, *белица* — скитник, скитница, не принявшие монашества.

Бесстудный — бесстыдный.

Божедом — кладбищенский сторож, могильщик.

Браная скатерть — скатерть, вытканная узором.

Брашно — кушанье.

Бурмицкое зерно — крупный жемчуг.

Вагья — небольшое озерко, колодец в болоте.

Варнак — беглый каторжник.

Варовенный — веревочный.

Великая схима — последняя степень монашества,

предписывающая монаху самые строгие правила отречения от мира.

Великое повечерие — вечерняя церковная служба.

Верховка — низенькая поярковая шляпа.

Верховник, или летник — на севере название юго-запада.

Верхотина — верхнее течение реки, верховье.

Веси — знаешь.

Веснянка — народное название лихорадки, если она бывает весной.

Весь — село, деревня.

Вещба — заговор, тайное слово при заговорах, ворожке и т. п.

Влаятися — колебаться, метаться.

Внегда — когда.

Внити, вниде — войти, вошел.

Вои — войско, воины.

Волосник — повойник, иногда стеганный наголовок, надеваемый крестьянскими женщинами под платок.

Восхитити — похищать, уносить.

Всеобдержное чтение — общепотребительное чтение.

Вскуе (правильно: вскую) — зачем, для чего.

Выжлятник — в псовой охоте — охотник, ведающий гончей стаей собак.

Выспрь — вверх, ввысь.

Вязки — гибкие лесины, служащие для связи полосьев у саней.

Гарнитуровый — шелковый.

Галка — шум, крик, гвалт.

Головщик, головщица — глава хора в монастыре или скиту, обычно являлся запевалой.

Горка — картежная игра.

Горце — горько, неутешно.

Гостиник — лицо для приема посетителей в скиту или монастыре.

Дебелоустнат — толстогуб.

Демикотоновый — из плотной бумажной ткани — демикотона.

День недельный — воскресенье.

Десно — радостно, приятно.

Десятильник патриарший — сборщик пошлин (десятины) с церковей и монастырей в пользу патриарха.

Доблий — доблестный.

Довлети — удовлетворить.

Долони — лодони.

Доменный сок — шлак.

Домовина — гроб.

Дондеже — до тех пор, пока, покамест, доколе.

Дорадоровый — золотой.

Дресва — камень, растолченный в крупнозернистый песок; служит для мытья полов.

Дрючковый лес — березовый лес, идущий на дрючки — жерди, слег.

Дубец — розга.

Дымволок, или *дымник* — отверстие в потолке или стене черной избы для выхода дыма.

Епанча — верхняя одежда без рукавов в виде плаща.

Епархия — церковный округ.

Жальник — могила, погост.

Жила — жилье, жилище.

Жупель — горящая сера, горящая смола, смрад.

Забобоны — вздор, пустяки.

Забусеть — посереть, потемнеть.

Закоснить — замедлить, замешкать.

Запон — кожаный или холщовый фартук у кибитки, повозки или тарантаса.

Зимушний — бывший в прошлую зиму; зимушняя зима — прошлогодняя зима.

Злохудожный — злоковарный, злохитрый.

Игемон — начальник, вождь, руководитель.

Иерусалим горний, небесный — церковное название рая.

Иже, яже, еже — который, которая, которое.

Извод — редакция рукописного текста, отличающаяся от других списков этого памятника особенностями языка.

Извол — желание, воля.

Индикт — в византийско-церковном исчислении времени — период в пятнадцать лет.

Иночество — головной убор старообрядческих монахинь: камилавка (шапка), наметка и апостольник.

Иоппия — древнее название города Яффы в Палестине.

Калита — сума.

Калужинка — лужа, стоячая вода.

Камка — цветная шелковая ткань с узорами и разводами.

Камлот — плотная шерстяная ткань, с примесью шелка или хлопчатобумажной пряжи.

Камчатная скатерть — скатерть, сделанная из льняной узорчатой ткани (камчатки).

Кануфер (калуфер) — душистое растение, употребляется как пряность.

Карша — ветвистый обломок дерева или целое дерево с корнями, подмытое и снесенное водою в реку.

Касатая ложка — деревянная ложка с изогнутым черенком.

Кафтырь — особое покрывало у старообрядческих монахов, надевается поверх камилавки (шапки).

Кафизма — каждый из двадцати разделов псалтыря.

Каюк — лодка.

Киновия — монастырь.

Кир — титул высших духовных лиц.

Киса — кожаный или суконный дорожный мешок, стягивающийся шнурами.

Китайка — гладкая хлопчатобумажная ткань.

Клир — церковный причт, а также церковный хор.

Клирошанка — скитница, поющая на клиросе.

Клобук — головной убор монахов, цилиндрической формы сзади с висящим покрывалом.

Кобь — ворожба, гадание по приметам.

Кованцы — большие рыболовные крюки для ловли крупных рыб.

Коломенка — речное судно типа барки.

Коноводка — большая лодка, приводимая в движение конной тягой.

Косуля — тяжелая соха с одним лемехом, с отрезом и отвалом (палицею).

Косушка — полбутылка.

Кочедык — инструмент для плетения лаптей.

Кошт — расходы на содержание.

Крестовая ложка — деревянная ложка с вырезанным на головке черенка двуперстным сложением.

Круг — у казаков мирская сходка.

Кружало — в старину питейный дом, кабак.

Ктитор — церковный староста.

Куколь — черное покрывало, надеваемое монахами и монахинями на голову.

Кумышка — брага.

Купчая крепость — документ на покупку недвижимого имущества.

Курмыш — ряд изб, одна сторона улицы.

Кучиться — просить, кланяться, домогаться.

Латины — название западных христиан в церковных книгах Московской Руси, сохранившиеся у старообрядцев.

Левантиновый — сделанный из левантина (особой шелковой ткани).

Лестовка — старообрядческие четки, состояли из ременной или шелковой основы с нанизанными на нее шариками, служили монахам для напоминания о непрестанной молитве.

Летник, или верховник — южный ветер.

Ликоваться — прикладываться щеками, здороваясь друг с другом.

Лития — церковная служба.

Малое древо — небольшое било: доска и колотушка для подачи различных сигналов (в монастырях — созыв монахов).

Мамонить — соблазнять, прельщать.

Матка — компас.

Межень — середина лета (июнь, июль).

Межеумок — ложка средней величины, простая, широкая.

Мокрый угол — северо-западная сторона.

Мотовило — мотальное орудие, с развилиной на конце, для намотки пряжи с веретена.

Мочка — посуда с водой, в которой пряха мочит пальцы при прядене.

Моченец — лен, намоченный для дальнейшей обработки.

Муж кровей — разбойник, убийца.

Мшава — моховое болото.

Мшенник — клеть или амбар, законопаченный мохом.

Мыканый лен — чесанный на мыкале (особой щетке).

Мытарь — сборщик мыта (пошлины).

Налепа — восковые свечи, наклепленные одна на другую.

Наметка — черный креп, который надевается поверх шапки (камилавки) и спускается по плечам и спине инокини.

Напокон — наконец, под конец.

Не вемы — не знаем.

Не леть — нельзя.

Небрегоми — пренебрегаемы.

Невеглас — несведущий, неученый, не всегда.

Неключимый — негодный, горемычный.

Неумытый — неподкупный, неліцеприятный.

Нецыи — некоторые.

Неясыть — сказочная прожорливая, ненасытная птица.

Нырище — развалины башни или здания.

Обаче — однако, впрочем.

Обедник — юго-восток.

Обонпол — по другую сторону чего-либо, например, реки.

Объяринный — сделанный из объяри, волнистой шелковой материи — муара.

Обыде — нашла.

Овый — иной, некий.

Одрина — жилое строение, изба.

Окликка — обращение к мертвым на кладбищах, зов.

Омофор — часть епископского облачения, одеваемая на плечи.

Осенник — северо-запад.

Остаметь — остолбенеть, опешить.

Остуда — неприятность, обида.

Отжени — отгони.

Отятой — отверженный, отъявленный негодяй.

Отпуст — заключительная молитва по окончании церковной службы.

Певчая стая — скитский хор.

Пенязи — деньги.

Пестер (иначе пещур) — большая корзина из лыка или прутьев для переноски сена и другого корма скоту.

Плесна — ступня.

Повалушка — общая спальня.

Поветь — крыша над крестьянским двором, помещение под навесом для хранения хозяйственного инвентаря.

Поезжане — сопровождающие невесту и жениха при поездке в церковь и обратно.

Покучиться — попросить, поклоняться.

Полиелей — церковный праздник, во время которого на всенощной зажигались паникадила.

Полоть снег — особое святочное гаданье.

Полуночник — северо-восток.

Поне, понеже — ибо, потому что, поелику.

Пониток — домотканное сукно.

Понт — море.

Понт Евксинский — древнее название Черного моря.

Попенные — деньги, выплаченные в казну за вырубку леса (начислялись по количеству пней от срубленных деревьев).

Пополоветь — побледнеть.

Послух — свидетель, очевидец.

По́солонь — движение по солнцу — с востока на запад.

Презельный — превеликий, премногий.

Прещение — запрещение, угроза.

Приличиться — быть избалованным.

Припен — барыш, прирост.

Припол — пола одежды.

Присошек — железная лопатка у сохи (полица), служащая для отвала земли.

Приспешница — помощница.

Притещи — прийти, прибежать.

Пришипиться — притаиться, присмиреть.

Прокимен — стих из псалтыря, поется во время церковной службы.

Проща — молитва об отпущении грехов.

Расказити — исказить, испортить.

Распугать — распугать, разогнать.

Расшива — большое парусное плоскодонное судно.

Ротьба — клятва, божба.

Ряса — верхняя одежда духовенства.

Сбитень — горячий напиток из подожженного меду с пряностями: лавровым листом, имбирем и др.

Сбойна — жмыхи.

Сбуришь — кинуть, сбыть с рук.

Святокупец — купивший духовный сан.

Септемврий — сентябрь.

Середокрестная неделя — четвертая неделя великого поста.

Сибирка — кафтан со сборами, невысоким стоячим воротником.

Сиречь — то есть.

Сице — так.

Сквалдырник — плут.

Скосырь — ухарь, хват, щеголь.

Скрыня — ларец, сундук.

Скудельница — сторожка на кладбище и помещение при ней, где кладут временно покойников; кладбище; общее место погребенья.

Снеси — ешь.

Собинка — имущество, собственность, достояние. Автор обозначает этим словом совокупность дурных нравственных свойств и склонностей человека.

Соборне — сообща.

Соборные старицы — старшие монахини в скиту, входившие в состав «собора», то есть совета при игумене.

Соглас, или *согласие* — секта старообрядчества.

Соковая каша — каша с конопляным маслом.

Солея — возвышенное место в церкви под клиросами и перед алтарем.

Сорокуша — сорокаведерная бочка.

Сорочинское пшено — рис.

Сорочины — поминовение умерших в сороковой день после смерти.

Сочовка — пресная на масле лепешка с кашей, творогом.

Спорынья — успех, удача, выгода.

Старец, *старица* — монах, монахиня.

Стая — в скитах несколько изб под одной крышей, соединенных меж собой сенями и крытыми переходами.

Стень — тень.

Степенная старица — инокиня в скиту, имеющая какое-либо должностное звание (келарь, казначея и т. д.).

Стомах — желудок.

Стужающие — теснящие, докучающие.

Супрядки — сбор женщин, девушек на совместное пряденье, обычно носивший характер вечеринок.

Сырная неделя — масленица.

Тезоименит — тезка.

Тельное — кушанье из рыбы, очищенное от костей.

Титло — заголовок книги; надстрочный значок, обозначающий сокращение слова в церковнославянских книгах.

Тихвинка — речное судно.

Тма — множество.

Толмач — переводчик.

Томпаковый — сделанный из томпака (сплава меди с цинком).

Торбан — струнный музыкальный инструмент, разновидность украинской бандуры.

Тороватый — щедрый, расторопный, бойкий.

Точию — только.

Тризна — старинное название поминок по умершим; смесь пива, меда и браги, употребляемая на поминках.

Тропарь — церковное песнопение.

Тростить — повторять одно и то же до надоедливости.

Трудник, трудница — работающие в скитах бесплатно — по обету.

Тябло — полка для икон, ярус или ряд в иконостасе.

Убо — итак, следовательно, стало быть, посему.

Укрух — ломоть.

Уложить — решить, постановить.

Унзе — вонзился.

Уставщица — скитница, ведавшая службой.

Утыти — разжиреть, потучнеть.

Учуг — перегородка через реку с ловушками для рыбы.

Фиал — чаша, сосуд.

Хизнуть — хилеть, дряхлеть, разориться.

Хиротония — обряд посвящения в сан священнослужителей.

Холодник — женское верхнее платье.

Целовальник — продавец (сиделец) в питейных домах, кабаках.

Чапуруха — большая чарка.

Чернец, черница — монах, монахиня.

Черноризец — монах.

Черный поп — поп-монах.

Чивый — щедрый.

Шагровитый — рябой.

Шуе — влево.

Швейка — ящик для рукодельных принадлежностей с подушкой наверху.

Шунять — бранить, журить, унимать.

Юфть — кожа (бычья или коровья), выделанная на чистом дегте.

Юха — похлебка рыбная или мясная.

ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ МЕЛЬНИКОВ

(Андрей Печерский)

В ЛЕСАХ

В 2-х книгах

Книга 2

Ответственный за выпуск И. Левешов
Художники А. Жестарев, К. Васильев
Технический редактор Н. Уткина
Художественный редактор Т. Устинова
Корректоры Г. Федякова, М. Беляев

Сдано в набор 24.12.93. Подписано в печать 24.03.94.
Формат 84 × 108 ¹/₃₂. Бумага типографская № 2.
Гарнитура Балтика. Печать высокая. Усл. п. л. 30,24.
Уч.-изд. л. 31,68. Тираж 40 000 экз. Заказ 127.

Фирма «Фора»
153031, г. Иваново, ул. Некрасова, 47

Рыбинский Дом печати
Министерства печати и информации Российской Федерации
152901, г. Рыбинск, ул. Чкалова, 8





